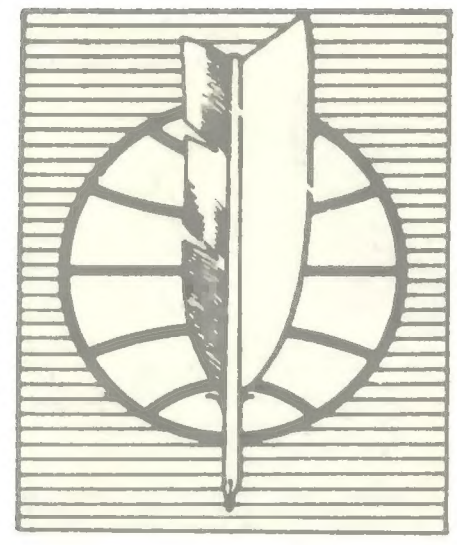
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МАРК ТВЕН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
ПРИНЦ И НИЩИЙ

МАРК ТВЕН



БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МАРК ТВЕН

Приключения Тома Сойера

•

Приключения Гекльберри Финна

•

Принц и нищий

•

Повести

Перевод с английского

Оформление тома
Г. МАЗУРИНА

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1978

И(Амер)
Т26

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.
Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Данилов С. П.
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

MARK TWAIN

The Adventures of Tom Sawyer, 1876
The Adventures of Huckleberry Finn, 1884—5
The Prince and the Pauper, 1882

Вступительная статья и комментарии
А. М. ЗВЕРЕВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Цветные иллюстрации
к «Приключениям Тома Сойера» и «Приключениям Гекльберри Финна»
Г Мазурина,
к «Принцу и нищему» Н. Цейтлина

Т 70803—456
М101(03)78 Подп. изд.

© Вступительная статья. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1978 г.

МАРК ТВЕН С ВЕЛИКОЙ МИССИСИПИ

Настоящая фамилия Марка Твена была Клеменс. Сэмюел Клеменс. В молодости, еще до того как стать писателем, он плавал лоцманом на пароходах по Миссисипи. Миссисипи — огромная река, она течет через всю Америку. В верховьях на ней много отмелей и песчаных островов, а ближе к устью она часто разбивается на рукава. Здесь течение очень сильное и то и дело попадаются опасные перекаты. В то время еще не было бакенов и других речных сигналов. Лоцман устраивался на носу судна, замерял глубину и кричал своему помощнику: «Марк твен!» — отметь, что до дна две сажени (около четырех метров) и, значит, пароход может пройти.

Твен плавал по реке до 1861 года, когда началась Гражданская война между Севером и Югом. Потом он жил далеко от Миссисипи, странствовал по свету и, случалось, годами не бывал у себя на родине. Но он все так же любил свою реку. На ее берегах он вырос. От Сент-Луиса до Нового Орлеана он знал на ней каждую излучину и каждую пристань. Знал сонное оцепенение приречных городков, где приезд нового человека — целое событие, о котором месяцами будут судачить, сходясь под вечер на пыльной площади. Знал их обитателей — простодушных, доверчивых людей с их тихими радостями и однообразными заботами. Знал их мечты, поверья, предрассудки, их искреннюю доброту, которая легко сменялась слепой жестокостью.

Перед будущим писателем здесь открылся особый мир. Он увидел будничную Америку, глушь, провинцию. С виду такая невзрачная, такая безликая, для его зоркого глаза она оказалась захватывающе интересной страной Тома Сойера и Гека Финна. С ним навсегда остался бескрайний простор Миссисипи, поросшие густыми лесами острова, тянущиеся на километр плоты, скалы, вырастающие из воды, вольная и могучая жизнь его родной реки.

И с 1863 года все, что он печатал, выходило за подписью «Марк Твен». Наверно, закончив книгу и подписывая ее, он снова и снова вспоминал места, где прошли его юные годы. И ему хо-

телось, чтобы в написанном им всегда была частичка неповторимого света, глоток неповторимого воздуха раздольных речных краев.

Сам он утверждал, будто стащил свое литературное имя у старого лоцмана Селлерса, знакомого Твену по его пароходной службе. На самом деле Твен просто разыгрывал своих читателей. Этот Селлерс был неплохой, но скучный, надоедливый человек; он помещал в газетах статьи и заметки, в которых описывал разные происшествия на Миссисипи, и пересыпал свой рассказ глубокомысленными заключениями и назидательными советами. Твена смешил степенный, наставительный тон этих корреспонденций, и он решил вышутить их автора.

Как-то Селлерс через газету предупредил, что вода на Миссисипи в этот год поднимется особенно высоко, и «для блага граждан Нового Орлеана» порекомендовал приготовиться к весеннему разливу. Твен тут же ухватился за представившийся случай и в своей статье написал, что разлив действительно будет необыкновенный: уже к середине января река затопит местную гостиницу — самый высокий дом в городе. «Для блага граждан Нового Орлеана» сообщалось, что Твен сам видел и хорошо помнит такое же наводнение: оно было не так уж и давно, всего сто с небольшим лет назад. А Твену, когда он все это писал, только что исполнилось двадцать шесть.

Он и до этого сочинял всякие забавные истории, вовсе не думая, что литература сделается его профессией. У Твена было нелегкое детство. Ему рано пришлось самому заботиться о своем обеде и паре крепких башмаков. С юных лет в нем проявилось замечательное свойство всюду в жизни находить смешное, смеяться и над собственными невзгодами, никогда не вешать носа. Чувство юмора не раз выручало Твена в трудные дни. Он и писать начал потому, что из него ключом бил юмор. По всей Миссисипи лоцманы и капитаны из уст в уста передавали веселые небылицы, которые он с совершенно серьезным видом рассказывал в кругу друзей.

Иногда ему удавалось, напечатав такой рассказик в газете, подработать несколько долларов. Но на них было не прожить. И Твен сменил не одно занятие, прежде чем писательство завладело им полностью и без остатка.

Семья Клеменсов была большая, и когда в 1847 году умер отец — невезучий торговец и столь же неудачливый судейский чиновник,— Сэму и его старшему брату Ориону ничего не оставалось, как самим добывать деньги. Сэму было в то время двенадцать лет. После уроков он шел не домой, а в типографию, где служил учеником наборщика; за это его кормили и одевали. Часто он вообще не ходил в школу, простаивал у печатного стан-

ка день напролет. А хозяева типографии были люди прижимистые, злые, и жилось у них будущему писателю скверно.

Твен почти не помнил деревушку Флорида, где он родился в 1835 году. Когда ему исполнилось четыре, Клеменсы обосновались в Ганнибале — крохотном городке на берегу Миссисипи, примерно в двухстах километрах от того места, где в нее впадает другая большая река, Миссури. В книгах о Томе Сойере и Геке Финне Твен описывает захолустный американский городишко, пышно названный Санкт-Петербург — как русская столица (в Америке есть свой Каир, своя Москва, свой Амстердам — американцы прошлого века любили прихвастнуть, что их страна лучше всех других, и присваивали имена самых знаменитых городов мира своим наскоро построенным поселкам, где было две-три улицы одноэтажных домов да деревянная церковь, куда в полдень, спасаясь от жары, забредали собаки и свиньи). Так вот, описанный Твеном Санкт-Петербург — это и есть Ганнибал времен его детства.

Город стоял на перекрестке двух больших дорог: одна, вниз по реке, вела из свободных штатов Севера в рабовладельческие штаты Юга, другая, через бескрайние степи, тянулась с обжитого Востока в неосвоенные богатые края — на Дальний Запад. В Ганнибале было тысячи три жителей и масса приезжих — они, впрочем, надолго не задерживались. Далеко, на тихоокеанском берегу, в Калифорнии в 1849 году нашли золото. Вспыхнула «золотая лихорадка». Рассказы о легкой удаче, о нажитых в одну минуту богатствах кружили головы конторщикам и фермерам, и они срывались с мест, надеясь вскоре вернуться с туго набитым кошельком. За Миссисипи начинались безлюдные пустоши, и в Ганнибале делали остановку на неделю-другую, чтобы приготовиться к долгому и трудному пути.

У Клеменсов был купленный за бесценок огромный земельный участок в штате Теннесси, но его никак не удавалось сбыть с рук — эта земля никого не интересовала, всех влекла сказочная Калифорния. Через много лет выяснилось, что миллионы лежали вбок от столбовой дороги искателей счастья, которые, оставив Теннесси в стороне, двигались в скрипучих повозках к Тихому океану, где почти всех их ожидал крах надежд, разорение и нищета. В земле Клеменсов оказались огромные залежи угля и железа, да только земля-то уже им не принадлежала — ею расплатились за долги. Орион и Сэм тоже побывали на золотоносных холмах Запада. Сэм поставил там заявочные столбы, поселился в хижине, продуваемой всеми ветрами, платил бешеные деньги за хлеб, не заработал ни цента и в конце концов понял, что старателя из него не вышло. Он бросил прииск и поступил работать в редакцию одной калифорнийской газеты.

Все это было позже, уже в годы Гражданской войны. А поначалу подмастерье Клеменс постигал тонкости типографского дела. И все время норовил удрать с другими мальчишками на реку. Вот там была для него настоящая жизнь, полная романтики.

Какие это были замечательные деньки! До глубокой старости Твен помнил их минута за минутой. Когда он принялся рассказывать о Томе и Геке, перед глазами писателя во всех своих ярких красках прошел мир его детства. Как будто он снова играл в индейцев на свалке за брошенным кожевенным заводом и в проулках Ганнибала, где буйно разрослась сорная трава. Как будто снова окружала его звенящая тишина окрестных полей. Как будто снова он искал клады в таинственных опустевших домах горожан, которые разъехались кто на Запад, кто на Юг. Как будто снова он подкладывал ужей в рабочую корзинку своей тети Патси и наслаждался ее испуганными криками. Как будто снова скучал в воскресной школе и придумывал что-нибудь необыкновенное — становился пиратом, прорывал подземный ход, ведущий через два океана прямо в Китай...

В истории Гека и Тома — история ранних лет самого Твена, и здесь совпадают даже подробности. Чуть наискосок от Ганнибала есть на Миссисипи пустынный остров Глескока, который в книгах о Геке и Томе называется Джексоновым островом. Юный Клеменс еще застал времена, когда там было полно черепах. В заводях кишела крупная рыба, ее можно было поймать простой удочкой и даже рубашкой.

И пещера, в которой будут плутать Том и Бекки и найдет свой конец Индеец Джо, тоже не выдумана писателем. Это пещера Макдоуэлла, она находится в нескольких милях от Ганнибала. Уже в пору детства Твена она была знаменита на весь штат. Сэм с друзьями облазил в ней десятки коридоров. Однажды он слишком увлекся и потерял в ее галереях дорогу. С ним была одна его одноклассница. Их свечи уже догорали, и хорошо, что взрослые, бросившись на поиски, успели заметить вдали слабый огонек.

Да и сам Индеец Джо — точнее, не индеец, а метис — был хорошо известен в Ганнибале. Он был совсем не такой жестокий, как в книжке, но в самом деле занимался какими-то темными делами, пил и скандалил. Как-то раз он действительно заблудился в пещере, провел там несколько дней, питался летучими мышами. Он все же сумел выбраться и потом рассказывал об этой истории всем и каждому, не подозревая, что среди его слушателей — будущий писатель и что его приключения, пусть приукрашенные фантазией Твена, и через полтора века будут увлекать читателей всего мира.

Был в Ганнибале городской пьяница и буян Джимми Финн — такие бывали в каждом заштатном городке; как пишет Твен, люди вроде Финна занимали «пост, в те дни совершенно определенный, хотя и неофициальный». У этого Джимми Финна был сын, которого звали Том Блэнкеншип. Сын враждовал с отцом и смолоду повел самостоятельную жизнь, ночуя в бочках, валявшихся около бойни, нигде не учась, вечно голодая, но зато наслаждаясь полной независимостью. Том был добр, справедлив и изобретателен в играх. Мальчикам из «хороших семей» категорически запрещалось иметь с ним дело, но тем ценнее была для всех таких мальчиков его дружба. В книгах Твена этот маленький бунтарь выведен под именем Гека Финна.

И был в Ганнибале живой как ртуть, впечатлительный, отважный и острый на язык мальчишка, которого звали Сэм Клеменс. От этого мальчишки, от самого себя, Марк Твен и взял больше всего, изображая Тома Сойера.

Но он не просто описал самого себя. Может быть, так ему было бы и легче, но тогда и книга получилась бы другая. Получились бы воспоминания уже не очень молодого Клеменса о юной поре его собственной жизни. Когда такие воспоминания пишет незаурядный человек, они бывают удивительно интересными. У Твена тоже есть книга воспоминаний. Она называется «Автобиография». Это прекрасная книга, умная, богатая наблюдениями и иронией. И все-таки во всем мире читают прежде всего «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Их читают уже целый век. Сегодня их любят не меньше, чем сто лет назад, когда Том и Гек впервые представились читателям.

Наверно, здесь все дело в том, что эти повести — больше, чем автобиография Сэмюела Клеменса, который их написал. В них есть то, что не умирает со смертью человека, прожившего свою жизнь и под старость оглянувшегося на нее, чтобы вспомнить самые радостные и самые печальные страницы и подвести итог. В них есть чудо искусства. Художник прикасается к такой ему знакомой и такой на вид безликой, бесцветной провинциальной американской жизни прошлого столетия. И за ее скучной размеренностью он обнаруживает неподражаемое и неповторимое переплетение добра и зла, красоты и уродства, благородных порывов и жестоких принципов, душевной щедрости и черствого ханжества, природной доброты и диких предрассудков, которые крепко въелись в души людей.

Случайно оказавшись в каком-то никому не ведомом Ганнибале, обычный человек едва ли подметил бы на его улицах что-нибудь интересное. Текла бестревожная однообразная жизнь. Время от времени ее плавный ход нарушали события действи-

тельно трагические — вроде убийства из-за денег или приезда работорговца, навеки разлучавшего негритянские семьи. Впрочем, для тогдашней Америки в таких событиях не было ничего исключительного. Они происходили повсюду, и к ним давно привыкли. И Ганнибал был город как город — один из тысячи захолустных городков, разбросанных от океана до океана.

Но Твен не был обычным человеком, он был художником. И он открыл глубокие противоречия в самóм однообразии, самóй бестревожности родного ему Ганнибала. Он открыл здесь свои драмы, и столкновения непримиримых взглядов, и борьбу справедливости с несправедливостью, высокой мечты с унылой прозой повседневности.

В каждой мелочи и каждой характерной черточке быта он находил этот особый отпечаток провинциальной Америки. Там в отношениях людей, в самом складе жизни тогда еще было настоящее добросердечие, искренность, простота. Об этом Твен и написал в своих книгах, особенно в «Томе Сойере», солнечной, радостной повести о детстве, которое пока почти не омрачено, потому что пока почти не открыт взрослый мир с его неизбежными сложностями и непонятными Тому и Геку устремлениями.

Но в той же американской провинции ничуть не меньше было грубой жажды богатства. И придавливала к земле косность раз и навсегда заведенных порядков. И с подозрением смотрели на всех тех, кто не соглашался с общепринятыми понятиями. И преследовали, добивали неудачников, сбившихся с дороги, проигравших в непрерывной борьбе за место под солнцем — словно бы испытывали при этом какое-то особое удовольствие. И проявляли бескрайнюю жестокость к рабам, со спокойной совестью торгуя людьми, как кипами хлопка, а все потому, что те родились чернокожими, и их уже не считали за людей.

Обычный американец времен Твена, возможно, не увидел бы во всем этом ничего особенного: так уж устроена жизнь, и о чем тут размышлять. Обычным людям несовместимое казалось естественным и нормальным. Можно было, как мисс Уотсон, каждый день повторять в церкви, что все в мире братья и должны любить друг друга, и быть при этом хоть немножко смешной, но совершенно искренней, а потом продать на страшную южную плантацию прекрасного человека негра Джима: ведь за него предлагают целых восемьсот долларов, и разве против такого соблазна устоять? Можно было, как тетя Салли, быть бесконечно заботливой и ласковой с Томом и Геком и держать того же Джима в цепях, дожидаясь, когда надсмотрщик с плеткой явится за своим «законным» беглым рабом.

Все это считалось в порядке вещей. Несовместимость не замечалась. Ее заметил и сказал о ней большой писатель — Марк

Твен. Для этого был нужен очень зоркий глаз. Для этого требовалась огромная смелость. Твену было не занимать ни того, ни другого.

На самое будничное, привычное, знакомое ему с детства он взглянул глазами художника, ищущего правды. И тогда выявилось, что ставший привычкой, незамечаемый порядок вещей таит в себе много несправедливого, ложного, жестокого. Что у людей, которых Твен знал и любил и среди которых он сам вырос, странные, порой простодушные и трогательные, но порою и совсем неверные, даже отталкивающие представления о том, к чему надо и к чему не надо стремиться, как следует поступать в нелегких жизненных ситуациях, чем дорожить и чего избегать. И что не жизнь скверно устроена — жизнь всегда остается прекрасной,— а скверно устроены отношения американцев друг с другом и порядки в их стране. Вот в чем было дело: из-за скверных установлений, когда главным в жизни считают деньги и находят вполне естественным держать других людей в нищете и рабстве,— из-за них-то и получалось, что даже неплохие от природы люди, живя в таком обществе, могли поступать бесчеловечно, да к тому же не понимали, сколько горя они способны причинить и как обедняют, как уродуют самих себя.

Это и есть одно из незаменимых качеств художника — его недоверие к привычному, к само собой разумеющемуся. В художнике живет способность видеть жизнь точно бы впервые. Все на свете для него внове, все подмечено только им одним.

Оттого и вещи, с которыми люди соприкасаются каждый день и на которые давно перестали обращать внимание, становятся на редкость интересными, необычными и непростыми, стоит им очутиться в поле зрения художника.

Взять хотя бы «Приключения Тома Сойера». Там ведь больше игр, чем приключений. Приключений как раз не так уж много — ну, разве что сцена на кладбище, когда Том и Гек становятся невольными свидетелями убийства, да еще поиски клада и скитания Тома и Бекки по подземному лабиринту. А так — обыкновенный сорванец, который занят обыкновенными мальчишескими делами: морочит старших, развлекается, как умеет, на скучных уроках, верховодит уличной ватагой, преследует тихонь и подлиз, дерется, мирится, затевает игры одна интереснее другой. Он смышлен, смел, благороден, справедлив, этот Том Сойер, который доставил столько хлопот своей старой тете да и всему Санкт-Петербургу.

Иногда он чуточку комичен: Том начитался книжек про знаменитых авантюристов и про неистовую любовь, и посмотрите, как он ухаживает за Бекки,— по всем книжным правилам, хоть его и подвело незнание анатомии, и цветок, который ему бро-

сила девочка, он прижал не к сердцу, а куда-то пониже, должно быть к желудку. Потом, в «Геке Финне», он будет по всем книжным правилам освобождать узника, заставив терпеливого Джима царапать какую-то чепуху на стене и прятать в тюфяк веревочную лестницу, когда было довольно просто сбить замок с двери сарая.

Он, конечно, не затеряется в толпе своих ровесников, потому что Том — это личность, не чета благонравному Сиду или чистюле Альфреду Темплю. Но в общем-то он из этой толпы особенно и не выделится — озорной мальчишка, каких полно в тихом городе Санкт-Петербурге, да и в любом другом городе. Почему же вот уже сто с лишним лет за его судьбой с таким интересом следят все новые читатели, почему книга о нем стала одной из самых популярных книг в мире? Не потому ли, что главное в ней — как раз не приключения, не кружащие голову опасности и неожиданности; таких книг и до Твена писали множество. Но до Твена всерьез не считалось, не замечалось, что подростки — это особый мир, особые законы, особое понимание жизни. Само собой разумелось, что сверстники Тома Сойера — все на одно лицо: они ни о чем не задумываются, ищут только забав и приключений и потихоньку перенимают у взрослых навыки практической жизни.

А Твен не поверил тому, что в его время разумелось само собой. За своими героями-подростками Томом и Геком он признал независимый строй мыслей и понятий — у каждого из них особенный — и посмотрел на окружающий мир так, как смотрели они. И в этом мире, будничном и спокойном до уныния, вдруг оказалась масса увлекательного. В самых простых вещах. Например, в побелке забора. Или в походах за черепашьими яйцами на остров. Или в проказах на Кардифской горе, где так хорошо играть в Робин Гуда. И даже тоскливые занятия в воскресной школе можно превратить в праздник — вот, пожалуйста: меняешь рыболовный крючок, лакрицу и дохлую крысу на целую кучу разноцветных билетиков и за них получаешь премиальную Библию, не зубря никаких стихов.

Мир становится поразительно интересным, красочным, таинственным и веселым, когда в нем торжествует живая, вольная жизнь. Когда она теснит окаменевшие условности и сметает на своем пути всякую неправду.

В Томе и Геке пульсирует эта вольная жизнь, которая не подчиняется никаким установленным понятиям о том, как должны вести себя «хорошие мальчики», если они нацелены «выбиться в люди». Твен не верит в такие понятия. Из «хороших мальчиков» — в этом убедил его опыт многих лет — выходят люди, черствые душой, глухие к красоте, сложности, величию мира.

Им лишь бы поспокойнее, поуютнее устроить свою жизнь, и в этих заботах проходит у них год за годом. Огромный мир, который лежит за стенами их дома, для них словно бы не существует. Они равнодушны к чужой беде. Их не тревожит несправедливость. Они не замечают вокруг себя ни радостей, ни горя.

Принц Эдуард, о котором Твен рассказал в повести-сказке «Принц и нищий», был таким вот «хорошим мальчиком». Никто не назвал бы его бессердечным и холодным — наоборот, он по-своему отзывчив и пылко бросается защищать правду и справедливость, как он их понимает. Только вот в чем беда: правда, справедливость для принца Эдуарда равнозначны его личным желаниям и капризам. Сами по себе, как вещи, обязательные для каждого, они в представлениях принца не существуют. Его воспитали так, что для него важен лишь его собственный интерес, лишь его собственная потребность и воля.

Он вырос в мире условностей, смешных правил придворного этикета, утонченной роскоши, праздности, лести, и принц не догадывается, что это тепличный, ненастоящий мир. От настоящего мира его заботливо изолируют с младенчества, и он даже и не подозревает, что есть другая жизнь, где много жестокости, страданий, слез, но зато умеют ценить дружбу и взаимовыручку, не разучились радоваться простым и неподдельным дарам — солнечному дню, теплому ночлегу, вкусной и сытной похлебке — и за правду, за человечность готовы, как Майлс Гендон, сложить голову.

Посмотрите, как трудно даются принцу уроки настоящей жизни, когда волею судьбы он вдруг оказывается лицом к лицу с нею. Теперь он вынужден по-новому взглянуть на понятия, которые ему привили во дворце, охраняемом стражниками от простолюдинов. И ему приходится ломать самого себя, отказываться от привычки в одном себе видеть меру истины, считая свои случайные желания потребностью народа, свои прихоти — благом страны. Но до чего же это болезненно — расставаться со всем тем, во что верил, что, не колеблясь, не задумываясь, признавал справедливым!

А Том Кенти, нищий со Двора Отбросов, наоборот, с легкостью усваивает ложные понятия, принятые в Вестминстерском дворце,— они ведь удобны, они освобождают от необходимости думать и о других, не только о своей беспечальной жизни. Всего несколько недель прошло, как его приняли за Эдуарда, а уже и незаконность его притязаний на трон не тяготит совесть Тома Кенти. Уже и об исчезнувшем принце он почти не вспоминает. Он даже готов отречься от своей матери — ей, привыкшей к побоям и голоду, одетой в лохмотья, не место среди блестящей свиты, которую юный самозванец из тщеславия увеличил вдвое.

Его страшит сама мысль вернуться в свой нищий квартал, сменить шелка на грязное тряпье и снова просить милостыню или идти к ворам.

Не странно ли, что люди так меняются, когда их высоко возносит или, напротив, сбрасывает на самое дно переменчивая судьба? Не странно ли, что в одном и том же городе в нескольких милях от Вестминстерского дворца расположен Двор Отбросов, и это два мира, между которыми, кажется, нет ничего общего. Или, может быть, все-таки есть? Ведь достаточно оказалось двум мальчикам случайно поменяться одеждой, и уже никто не взялся бы сказать, где принц, где нищий. И Том Кенти, пока он управлял государством, старался, как мог, насаждать разумность и справедливость, понимая их по-детски простодушно и куда вернее, чем сановники в раззолоченных мантиях. А Эдуард, пока он жил среди лондонского сброда, так же простодушно, так же по-детски и почти безошибочно отличал добро от зла, жертв от хищников и стремился, как умел, защищать добро, помогать гонимым и попавшим в беду.

Так, может быть, все дело в том, что одни щеголяют в королевских нарядах, а другие в рванье, одни рождаются во дворцах, а другие в трущобах, одни едят на золоте, а другие рады заплесневелой корке, подобранной на мусорной куче? Может быть, все дело в неравноправии, в скверном устройстве общества, и только, а душа у каждого человека простая и добрая? И, не будь в мире ни дворцов, ни трущоб, не будь необходимости жить в обществе, которое разделено на принцев и нищих, может быть, и не нашлось бы места для ожесточения, для себялюбия, для равнодушия, для недостойных стремлений непременно стать поближе к принцам, ради богатства и благополучия предавая других и обрекая на убогую, искусственную жизнь самого себя?

«Принц и нищий» создан зрелым человеком, который многое перевидал и передумал. В год издания этой повести автору исполнилось сорок семь. Он уже не был тем беззаботным и веселым человеком, для которого мир всегда радостен и прекрасен. Он все больше задумывался над очень непростыми вещами. Над тем, почему таким разным бывает человек в разных обстоятельствах своей биографии. И почему так трудно добру и разуму одержать верх над нелепостью и злом. И почему за долгие века люди не научились дорожить самым ценным, что есть на свете,— свободой и человечностью в отношениях друг с другом.

Готовых ответов Твен не признавал. В том, что его волновало, он стремился разобраться сам. Творчество становилось для него полем испытания устойчивых понятий — вроде того, что существующий порядок вещей естествен и незыблем, а люди в своем

поведении руководствуются только интересами практической выгоды. Все эти понятия Твен испытывал действительностью, которую он как художник видел в ее настоящей сложности. И не только действительностью Америки, которая его окружала. Твена интересовал и опыт других стран, других поколений. Он любил историю. Действие многих его книг происходит далеко от Америки в давно минувшие эпохи: во Франции времен Жанны д'Арк, в Англии при дворе полулегендарного короля Артура. А читателю «Принца и нищего» предстает Лондон XVI века.

Как точно и уверенно набросана здесь картина средневековья с его особыми порядками и отношениями, когда романтика неотделима от фанатизма, а рядом с уродством живет настоящая красота! И все-таки не эта картина была для Твена главной целью. История в его книге создает дистанцию, с которой отчетливее видны противоречия и сложность сегодняшнего общества, человека, мира. Главное в том, чтобы распутать эти противоречия и помочь правде и добру.

Обо всем этом думал Твен, работая над «Принцем и нищим», и раньше, когда писал «Тома Сойера», и потом, когда взялся за «Гека Финна». Кто знает, какая судьба ожидает взрослых Томаса Сойера и Гекльберри Финна? Но сейчас Том и Гек свободны. Они живут просто, нестесненно, естественно и поступают так, как подсказывает им сердце. Это и дорого в них Марку Твену. Как и сам он, его герои крепко связаны с огромной рекой, и им передался вольный дух Миссисипи. В них есть частица ее безмерной силы, ее природного величия, перед которым ничтожны помыслы и мечты «хороших мальчиков» и жалкими кажутся правила достойного поведения, вдалбливаемые в воскресной и обычной школе.

У Тома и Гека другой счет вещам. Не нужны найденные в пещере деньги, если, разбогатев, приходится терпеть добродетельные заботы вдовы Дуглас и держаться пай-мальчиком. Только что найденный в траве клещ куда интересней всей школьной премудрости.

Герои Твена ценят все то, что помогает им — всерьез или хотя бы на минуту — освободиться от взрослых правил, которые им навязывают, и жить привольно, как природа. Их родная стихия там — на острове, среди лесов, в пещере, где никто не бывал, на индейской территории, куда еще не добрались непрошеные благодетели с их нудными поучениями: исправно посещай воскресную школу, слушайся старших и станешь степенным, благополучным человеком. Здесь, в своем царстве они знают каждую тропку и умеют подмечать такое, что не откроется равнодушному, скучающему взрослому человеку — а много ли после этого стоит все его благополучие?

Кажется, что Том и Гек сами написали книги о себе — настолько свежим, непритупленным взглядом увидена здесь каждая мелкая подробность; такое острое восприятие мира бывает лишь в ранней юности. Но на самом деле эти книги написал Марк Твен. Ему было уже за сорок, когда вышел «Том Сойер», пятьдесят, когда появился «Гек Финн». За его плечами осталась нелегкая жизненная дорога, он успел побывать наборщиком и лоцманом, старателем, репортером, артистом, читавшим с эстрады свои смешные рассказы. Прежде чем стать писателем, он хлебнул немало горя, поколесил по свету, перевидал тысячи мест и тысячи людей. И если его глаз не ослабел, а душа не устала, то прежде всего потому, что он был настоящий художник, для которого мир как будто только что создан и еще никем не исследован. И еще потому, что он знал истинную цену заученным добродетелям и тупому благополучию и знал, что счастлив лишь человек, сумевший и в зрелые годы сохранить вольность духа и живое родство с природой, которыми наделены Том и Гек.

Но он знал и другое. Он был художник, и жизнь раскрывалась перед ним во всех причудливых и драматичных пересечениях своих сил, в своей бездонной сложности и бесконечной многоликости. И было бы слишком наивно думать, будто от этой жизни и впрямь можно сбежать на индейскую территорию — в пустынную страну по правому берегу Миссисипи, куда во времена Твена влекло всех американских мальчишек. Всерьез замышлять такое бегство — просто самообман. Да оно ведь и не нужно. Мир не делится на юных бунтарей и взрослых зануд, на романтиков и обывателей. В нем все гораздо серьезнее, все запутано и противоречиво. Прекрасное и отвратительное существуют в нем рядом, порою уживаясь в душе одного и того же человека. Сталкиваются полярно противостоящие начала — простосердечие и коварство, доброта и озлобленность, щедрость и себялюбие, жажда свободы и покорность сложившемуся порядку вещей, как он ни жесток.

До индейской территории, должно быть, нелегко добраться, зато потом все будет просто и ясно — романтики обретут свой родной дом. Гораздо сложнее разобраться в пестроте той жизни, которая окружает героев Твена, в невыдуманном и неупрощенном мире, с которым они соприкасаются день за днем. Но рано или поздно на смену игре приходит испытание всерьез. Кипит спор добра и зла, благородства и бездушия, мужества и трусости. И необходимо найти свою позицию в этом споре.

Том Сойер столкнется с этой необходимостью раньше всех, когда, преодолев страх, разоблачит на суде Индейца Джо и спасет неповинного человека. Том Кенти переживет минуту ре-

шающего выбора, когда на коронации перед ним окажется маленький оборвыш, в котором так легко и удобно было бы не признать законного короля. От такой необходимости и такого выбора нельзя сбежать, потому что игра тогда станет преступлением. Глубже, серьезнее всех героев Твена это поймет Гек.

В Томе Сойере очень много от мальчика Сэма Клеменса. Писателю Марку Твену ближе Гек. Твен не принимал на веру ни красивые фантазии, ни беспросветную мрачность. Он видел, как разнородна и удивительна жизнь на Миссисипи, сколько в ней странного, как близко, почти слитно существуют в ней неподдельная красота и самое настоящее уродство. Он добивался, чтобы жизнь в его книгах предстала во всех своих противоречиях, во всех своих — таких несхожих — проявлениях. Он был реалистом, первым замечательным реалистом в американской литературе. Иначе он не написал бы «Гека Финна».

И не случайно героем своей лучшей книги он сделал Гека. Том — фантазер и мечтатель, у него горячее сердце, но еще более пылкое воображение, и он не может без игры, даже когда дело идет о нешуточных вещах, например о спасении Джима. Гек тверже стоит на земле. Вместе с Джимом ему предстоит увидеть всю огромную и разноликую Америку. Сколько раз он будет поражаться неумению людей жить по-человечески, просто и разумно устраивать свои дела, так чтобы не обманывать друг друга, не гнаться за бесчестными деньгами, не сходить с ума от пустоты и скуки однообразных будней, не убивать по законам кровной мести, не преследовать только за цвет кожи. И обо всем этом Гек будет думать сосредоточенно, почти как взрослый. Недаром же Твен доверил ему самому вести рассказ. А из этого рассказа, наверно, можно узнать об Америке больше, чем из любой другой книги.

Конечно, не все понятно Геку в той жизни, которая перед ним прошла. Но одно он знает наверняка. Проплыв на плоту чуть не всю Миссисипи, он видел сказочную красоту и щедрость земли, он испытал чувство безграничной свободы. Люди же, которых он встречал, порабощены предрассудками и ничтожными стремлениями. И оттого-то так бессмысленна их жизнь. Чтобы она стала другой, нужно самому быть свободным и верить природе и своему сердцу, а не законам и принципам, существующим в таком обществе.

Вот это и был решающий выбор Гека Финна. На плоту, в компании беглого раба, на которого по закону он должен был немедленно донести, Гек оказался случайно и лишь потому, что не мог больше выдержать у вдовы и снова загорелся ребячьей мечтой о том, чтобы жить без всяких оков, о своей индейской территории. Плавание началось как игра, но скоро сделалось

опасным приключением — да и не приключением, а борьбой за справедливость, за честно устроенную жизнь, когда все люди свободны и все люди братья. Гек не знал таких выражений и сказал бы по-другому. Но чувствовал он именно это, потому что стал зрелым человеком.

А как же индейская территория, куда он теперь собирается удрать уже не от вдовы, а от тети Салли? Что ж, по годам он ведь только подросток, а какой подросток не мечтает отыскать в жизни что-то необыкновенно интересное. К тому же Геку «везде душно и тесно, а на плоту — нет». И у тети Салли ему вряд ли будет легко и свободно. Так что он непременно удерет. И, как другие герои Твена, примется снова искать уголок, где человеку можно всегда поступать по правде и справедливости, быть свободным и не уродовать себя смирением перед нелепыми и бесчеловечными порядками. Только это уже не игра. Это очень серьезно.

Трудно будет Геку найти в Америке такое место, о котором он мечтает. И все-таки пусть он его ищет. Без этих поисков, без этого упорства не прожить жизнь достойно и по-настоящему ярко, содержательно, интересно. А недостойной, скучной и неинтересной жизни Твен не принимал никогда — ни для себя, ни для своих героев. И поэтому никогда не станут скучными и неинтересными его книги.

А. Зверев

Приключения Тома Сойера

Перевод

КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО

Рисунки

Г ФИТИНГОФА

Глава первая

ТОМ ИГРАЕТ, СРАЖАЕТСЯ, ПРЯЧЕТСЯ

— Том!

Нет ответа.

— Том!

Нет ответа.

— Куда же он запропастился, этот мальчишка?.. Том!

Нет ответа.

Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков; потом вздернула очки на лоб и глянула из-под них. Она редко смотрела с к в о з ь очки, если ей приходилось искать такую мелочь, как мальчишка, потому что это были ее парадные очки, гордость ее сердца: она носила их только «для важности»; на самом же деле они были ей совсем не нужны; с таким же успехом она могла бы глядеть сквозь печные заслонки. В первую минуту она как будто растерялась и сказала не

очень сердито, но все же довольно громко, чтобы мебель могла ее слышать:

— Ну, попадись только! Я тебя...

Не досказав своей мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, всякий раз останавливаясь, так как у нее не хватало дыхания. Из-под кровати она не извлекла ничего, кроме кошки.

— В жизни своей не видела такого мальчишки!

Она подошла к открытой двери и, став на пороге, зорко вглядывалась в свой огород — заросшие сорняком помидоры. Тома не было и там. Тогда она возвысила голос, чтоб было слышно подальше, и крикнула:

— То-о-о-м!

Позади послышался легкий шорох. Она оглянулась и в ту же секунду схватила за край куртки мальчишку, который собирался улизнуть.

— Ну конечно! И как это я могла забыть про чулан! Что ты там делал?

— Ничего.

— Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это ты выпачкал губы?

— Не знаю, тетя!

— А я знаю. Это — варенье, вот что это такое. Сорок раз я говорила тебе: не смей трогать варенье, не то я с тебя шкуру спущу! Дай-ка сюда этот прут.

Розга взметнулась в воздухе — опасность была неминуемая.

— Ай! Тетя! Что это у вас за спиной!

Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки, чтобы уберечь себя от грозной беды, а мальчик в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на высокий дощатый забор — и был таков!

Тетя Полли остолбенела на миг, а потом стала добродушно смеяться.

— Ну и мальчишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Или мало он выкидывал со мной всяких штук? Могла бы на этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. Недаром говорится, что старого пса новым штукам не выучишь. Впрочем, господи боже ты мой, у этого мальчишки и штуки все разные: что ни день, то другая,— разве тут догадаешься, что́ у него на уме? Он будто знает, сколько он может мучить меня, покуда я не выйду из терпения. Он знает, что сто́ит ему на минуту сбить меня с толку или рассмешить, и вот уж руки у меня опускаются и я не в силах отхлестать его розгой. Не исполняю я своего долга, что верно, то верно, да простит меня бог. «Кто обходится без розги, тот губит ребенка»,

говорит священное писание[1]. Я же, грешная, балую его, и за это достанется нам на том свете — и мне, и ему. Знаю, что он сущий бесенок, но что же мне делать? Ведь он сын моей покойной сестры, бедный малый, и у меня духу не хватает пороть сироту. Всякий раз, как я дам ему увильнуть от побоев, меня так мучает совесть, что и сказать не умею, а выпорю — мое старое сердце прямо разрывается на части. Верно, верно сказано в писании: век человеческий краток и полон скорбей. Так оно и есть! Сегодня он не пошел в школу: будет лодырничать до самого вечера, и мой долг наказать его, и я выполню мой долг — заставлю его завтра работать. Это, конечно, жестоко, так как завтра

---

[1] Священным писанием христиане считают Библию — книгу, где собрано много легенд о боге и всевозможных «святых», а также Евангелие — книгу о «сыне божьем» Иисусе Христе. Во многих странах Евангелие входит в состав Библии.

у всех мальчиков праздник, но ничего не поделаешь, больше всего на свете он ненавидит трудиться. Спустить ему на этот раз я не вправе, не то я окончательно сгублю малыша.

Том и в самом деле не ходил нынче в школу и очень весело провел время. Он еле успел воротиться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок, или, говоря более точно, рассказать ему о своих приключениях, пока тот исполнял три четверти всей работы. Младший брат Тома, Сид (не родной брат, а сводный), к этому времени уже сделал все, что ему было приказано (собрал и отнес все щепки), потому что это был послушный тихоня: не проказничал и не доставлял неприятностей старшим.

Пока Том уплетал свой ужин, пользуясь всяким удобным случаем, чтобы стянуть кусок сахару, тетя Полли задавала ему разные вопросы, полные глубокого лукавства, надеясь, что он попадет в расставленные ею ловушки и проболтается. Как и все простодушные люди, она не без гордости считала себя тонким дипломатом и видела в своих наивнейших замыслах чудеса ехидного коварства.

— Том,— сказала она,— в школе сегодня небось было жарко?

— Да, 'м[1].

— Очень жарко, не правда ли?

— Да, 'м.

— И неужто не захотелось тебе, Том, искупаться в реке?

Тому почудилось что-то недоброе — тень подозрения и страха коснулась его души. Он пытливо посмотрел в лицо тете Полли, но оно ничего не сказало ему. И он ответил:

— Нет, 'м... не особенно.

Тетя Полли протянула руку и потрогала у Тома рубашку.

— Даже не вспотел,— сказала она.

И она самодовольно подумала, как ловко удалось ей обнаружить, что рубашка у Тома сухая; никому и в голову не пришло, какая хитрость была у нее на уме. Том, однако, уже успел сообразить, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы:

— Мы подставляли голову под насос — освежиться. У меня волосы до сих пор мокрые. Видите?

Тете Полли стало обидно: как могла она упустить такую важную косвенную улику! Но тотчас же новая мысль осенила ее.

— Том, ведь, чтобы подставить голову под насос, тебе не

---

[1] «'м» — первая и последняя буквы слова «мэдм», которое употребляется в Англии и в Америке при почтительном обращении к женщине.

пришлось распарывать воротник рубашки в том месте, где я зашила его? Ну-ка, расстегни куртку!

Тревога сбежала у Тома с лица. Он распахнул куртку. Воротник рубашки был крепко зашит.

— Ну хорошо, хорошо. Тебя ведь никогда не поймешь. Я была уверена, что ты и в школу не ходил, и купался. Ладно, я не сержусь на тебя: ты хоть и порядочный плут, но все же оказался лучше, чем можно подумать.

Ей было немного досадно, что ее хитрость не привела ни к чему, и в то же время приятно, что Том хоть на этот раз оказался пай-мальчиком.

Но тут вмешался Сид.

— Что-то мне помнится,— сказал он,— будто вы зашивали воротник белой ниткой, а здесь, поглядите, черная!

— Да, конечно, я зашила белой!.. Том!..

Но Том не стал дожидаться продолжения беседы. Убегая из комнаты, он тихо сказал:

— Ну и вздую же я тебя, Сидди!

Укрывшись в надежном месте, он осмотрел две большие иголки, заткнутые за отворот куртки и обмотанные нитками. В одну была вдета белая нитка, а в другую — черная.

— Она и не заметила бы, если б не Сид. Черт возьми! То она зашивает белой ниткой, то черной. Уж шила бы какой-нибудь одной, а то поневоле собьешься... А Сида я все-таки вздую — будет ему хороший урок!

Том не был Примерным Мальчиком, каким мог бы гордиться весь город. Зато он отлично знал, кто был примерным мальчиком, и ненавидел его.

Впрочем, через две минуты — и даже скорее — он позабыл все невзгоды. Не потому, чтобы они были для него менее тяжки и горьки, чем невзгоды, обычно мучающие взрослых людей, но потому, что в эту минуту им овладела новая могучая страсть и вытеснила у него из головы все тревоги. Точно так же и взрослые люди способны забывать свои горести, едва только их увлечет какое-нибудь новое дело. Том в настоящее время увлекся одной драгоценной новинкой: у знакомого негра он перенял особую манеру свистеть, и ему давно уже хотелось поупражняться в этом искусстве на воле, чтобы никто не мешал. Негр свистел по-птичьи. У него получалась певучая трель, прерываемая короткими паузами, для чего нужно было часто-часто дотрагиваться языком до нёба. Читатель, вероятно, помнит, как это делается,— если только он когда-нибудь был мальчишкой. Настойчивость и усердие помогли Тому быстро овладеть всей техникой этого дела. Он весело зашагал по улице, и рот его был полон сладкой музыки, а душа была полна благодарности. Он чувст-

вовал себя как астроном, открывший в небе новую планету, только радость его была непосредственнее, полнее и глубже.

Летом вечера долгие. Было еще светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. Всякое новое лицо любого пола и возраста всегда привлекало внимание жителей убогого городишки Санкт-Петербурга[1]. К тому же на мальчике был нарядный костюм — нарядный костюм в будний день! Это было прямо поразительно. Очень изящная шляпа; аккуратно застегнутая синяя суконная куртка, новая и чистая, и точно такие же брюки. На ногах у него были башмаки, даром что сегодня еще только пятница. У него был даже галстук — очень яркая лента. Вообще он имел вид городского щеголя, и это взбесило Тома. Чем больше Том глядел на это дивное диво, тем обтерханнее казался ему его собственный жалкий костюм и тем выше задирал он нос, показывая, как ему противны такие франтовские наряды. Оба мальчика встретились в полном молчании. Стоило одному сделать шаг, делал шаг и другой,— но только в сторону, вбок, по кругу. Лицо к лицу и глаза в глаза — так они передвигались очень долго. Наконец Том сказал:

— Хочешь, я тебя вздую!

— Попробуй!

— А вот и вздую!

— А вот и не вздуешь!

— Захочу и вздую!

— Нет, не вздуешь!

— Нет, вздую!

— Нет, не вздуешь!

— Вздую!

— Не вздуешь!

Тягостное молчание. Наконец Том говорит:

— Как тебя зовут?

— А тебе какое дело?

— Вот я покажу тебе, какое мне дело!

— Ну, покажи. Отчего не показываешь?

— Скажи еще два слова — и покажу.

— Два слова! Два слова! Два слова! Вот тебе! Ну!

— Ишь какой ловкий! Да если бы я захотел, я одною рукою мог бы задать тебе перцу, а другую пусть привяжут мне за спину.

— Почему ж не задаешь? Ведь ты говоришь, что можешь.

---

[1] Американцы часто дают своим мелким городишкам громкие названия столиц. У них есть несколько Парижей, Москва, Амстердам, Константинополь и т. д. Город, изображенный в этой книге, назван именем тогдашней русской столицы.

— И задам, если будешь ко мне приставать!

— Ай-яй-яй! Видали мы таких!

— Думаешь, как расфуфырился, так уж и важная птица! Ой, какая шляпа!

— Не нравится? Сбей-ка ее у меня с головы, вот и получишь от меня на орехи.

— Врешь!

— Сам ты врешь!

— Только стращает, а сам трус!

— Ладно, проваливай!

— Эй, ты, слушай: не уймешься, я расшибу тебе голову!

— Как же, расшибешь! Ой-ой-ой!

— И расшибу!

— Чего же ты ждешь? Пугаешь, пугаешь, а на деле и нет ничего! Боишься, значит?

— И не думаю.

— Нет, боишься!

— Нет, не боюсь!

— Нет, боишься!

Снова молчание. Пожирают друг друга глазами, топчутся на месте и делают новый круг. Наконец они стоят плечом к плечу. Том говорит:

— Убирайся отсюда!

— Сам убирайся!

— Не желаю.

— И я не желаю.

Так они стоят лицом к лицу, каждый выставил ногу вперед под одним и тем же углом. С ненавистью глядя друг на друга, они начинают что есть силы толкаться. Но победа не дается ни тому, ни другому. Толкаются они долго. Разгоряченные, красные, они понемногу ослабляют свой натиск; хотя каждый по-прежнему остается настороже. И тогда Том говорит:

— Ты трус и щенок! Вот я скажу моему старшему брату — он одним мизинцем отколотит тебя. Я ему скажу — он отколотит!

— Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат, еще старше, и он может швырнуть твоего вон через тот забор. (Оба брата — чистейшая выдумка.)

— Врешь!

— Мало ли что ты скажешь!

Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит:

— Посмей только переступить через эту черту! Я дам тебе такую взбучку, что ты с места не встанешь! Горе тому, кто перейдет за эту черту!

Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:

— Ну посмотрим, как ты вздуешь меня.

— Отстань! Говорю тебе: лучше отстань!

— Да ведь ты говорил, что поколотишь меня. Отчего ж не колотишь?

— Черт меня возьми, если не поколочу за два цента!

Чужой мальчик вынимает из кармана два больших медяка и с усмешкой протягивает Тому.

Том ударяет его по руке, и медяки летят на землю. Через минуту оба мальчика катаются в пыли, сцепившись, как два кота. Они дергают друг друга за волосы, за куртки, за штаны, они щиплют и царапают друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец неопределенная масса принимает отчетливые очертания, и в дыму сражения становится видно, что Том сидит верхом на враге и молотит его кулаками.

— Проси пощады! — требует он.

Но мальчик старается высвободиться и громко ревет — больше от злости.

— Проси пощады! — И молотьба продолжается.

Наконец чужой мальчик невнятно бормочет: «Довольно!» — и Том, отпуская его, говорит:

— Это тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься.

Чужой мальчик побрел прочь, стряхивая с костюмчика пыль, всхлипывая, шмыгая носом, время от времени оборачиваясь, качая головой и грозя жестоко разделаться с Томом «в следующий раз, когда поймает его». Том отвечал насмешками и направился к дому, гордый своей победой. Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, тот запустил в него камнем и угодил между лопатками, а сам кинулся бежать, как антилопа. Том гнался за предателем до самого дома и таким образом узнал, где тот живет. Он постоял немного у калитки, вызывая врага на бой, но враг только строил ему рожи в окне, а выйти не пожелал. Наконец появилась мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, грубым мальчишкой и велела убираться прочь. Том ушел, но, уходя, пригрозил, что будет бродить поблизости и задаст ее сыночку как следует.

Домой он вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил, что попал в засаду: перед ним стояла тетка; и, когда она увидела, что сталось с его курткой и штанами, ее решимость превратить его праздник в каторжную работу стала тверда, как алмаз.

Глава вторая

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАЛЯР

Наступила суббота. Летняя природа сияла — свежая, кипящая жизнью. В каждом сердце звенела песня, а если сердце было молодое, песня изливалась из уст. Радость была на каждом лице, каждый шагал упруго и бодро. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Кардифская гора, возвышавшаяся над городом, покрылась зеленью. Издали она казалась Обетованной землей — чудесной, безмятежной, заманчивой.

Том вышел на улицу с ведром известки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела у него из души, и там воцарилась тоска. Тридцать ярдов деревянного забора в девять футов[1] вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование — тяжелою ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в известку, провел ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился: как ничтожна белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашеного забора! В отчаянии он опустился на землю под деревом. Из ворот выбежал вприпрыжку Джим. В руке у него было жестяное ведро. Он напевал песенку «Девушки Буффало». Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе. Он вспомнил, что у насоса всегда собирается много народу: белые, мулаты[2], чернокожие: мальчишки и девчонки в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут меновую торговлю игрушками, ссорятся, дерутся, балуются. Он вспомнил также, что, хотя до насоса было не более полутораста шагов, Джим никогда не возвращался домой раньше чем через час, да и то почти всегда приходилось бегать за ним.

— Слушай-ка, Джим,— сказал Том,— хочешь, побели тут немножко, а за водою сбегаю я.

Джим покачал головой и сказал:

— Не могу, масса[3] Том! Старая хозяйка велела, чтобы я шел прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Она говорит: «Я уж знаю, говорит, что масса Том будет звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой». Она говорит: «Я сама, говорит, пойду смотреть, как он будет белить».

---

[1] Ярд — английская мера длины, равна 0,91 метра; в футе 0,3 метра.

[2] Мулаты — потомки от смешанных браков негров и белых.

[3] Масса — испорченное английское слово «мастэр», то есть барчук, молодой господин. Так прислуга называет господских детей.

— А ты ее не слушай! Мало ли что она говорит, Джим! Давай сюда ведро, я мигом сбегаю. Она и не узнает.

— Ой, боюсь, масса Том, боюсь старой миссис! Она мне голову оторвет, ей-богу, оторвет!

— Она! Да она пальцем никого не тронет, разве что стукнет наперстком по голове — вот и все! Кто же на это обращает внимание? Говорит она, правда, очень злые слова, ну, да ведь от слов не больно, если только она при этом не плачет. Джим, я дам тебе шарик. Я дам тебе мой белый алебастровый шарик.

Джим начал колебаться.

— Белый шарик, Джим, отличный белый шарик!

— Так-то оно так, вещь отличная! А только все-таки, масса Том, я крепко боюсь старой миссис.

— И к тому же, если ты захочешь, я покажу тебе мой волдырь на ноге.

Джим был всего только человек и не мог не поддаться такому соблазну. Он поставил ведро на землю, взял алебастровый шарик и, пылая любопытством, смотрел, как Том разбинтовывает палец ноги, но через минуту уже мчался по улице с ведром в руке и мучительной болью в затылке, между тем как Том принялся деятельно мазать забор, а тетушка покидала поле битвы с туфлей в руке и торжеством во взоре.

Но энергии хватило у Тома ненадолго. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать. Самая мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рассматривать их: обломки игрушек, шарики и тому подобная рухлядь; всей этой дребедени, пожалуй, достаточно, чтобы оплатить три-четыре минуты чужого труда, но, конечно, за нее не купишь и получаса свободы. Он снова убрал свое жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение, не меньше — блестящая гениальная мысль.

Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Ро́джерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал — верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах: «Дин-дон-дон, дин-дон-дон»,

так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся не торопясь заворачивать, осторожно, с надлежащей важностью, потому что представлял собою «Большую Миссу́ри», сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее.

— Стоп, машина, сэр! Динь-дилинь, динь-дилинь-динь!

Пароход медленно сошел с середины дороги и стал приближаться к тротуару.

— Задний ход! Дилинь-дилинь-динь!

Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам.

— Задний ход! Право руля! Тш, дилинь-линь! Чшш-чшш-чшш!

Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой колесо в сорок футов.

— Лево на борт! Лево руля! Дилинь-динь-динь! Чшш-чшш-чшш!

Теперь левая рука начала описывать такие же круги.

— Стоп, правый борт! Дилинь-динь-динь! Стоп, левый борт! Вперед и направо! Стоп! Малый ход! Динь-дилинь! Чуу-чуу-у! Отдай конец! Да живей, пошевеливайся! Эй ты, на берегу! Чего стоишь? Принимай канат! Носовой швартов![1] Накидывай петлю на столб! Задний швартов! А теперь отпусти! Машина остановлена, сэр! Дилинь-динь-динь! Шт! шт! шт! (Машина выпускала пары.)

Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал:

— Ага! Попался!

Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осторожно провел кистью опять и вновь откинулся назад — полюбоваться. Бен подошел и встал рядом. У Тома слюнки потекли при виде яблока, но он как ни в чем не бывало упорно продолжал свою работу. Бен сказал:

— Что, брат, заставляют работать?

Том круто повернулся к нему:

— А, это ты, Бен! Я и не заметил.

— Слушай-ка, я иду купаться... да, купаться! Небось и тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя, придется работать. Ну конечно, еще бы!

Том посмотрел на него и сказал:

---

[1] Швартов — канат, которым корабли причаливают к сваям пристани.

— Что ты называешь работой?

— А разве это не работа?

Том снова принялся белить забор и ответил небрежно:

— Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она по душе.

— Да что ты? Уж не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие — приятное?

Кисть продолжала гулять по забору.

— Приятное? А что же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белить заборы?

Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением художника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом,

там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше. Наконец сказал:

— Слушай, Том, дай и м н е побелить немножко!

Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал:

— Нет, нет, Бен... Все равно ничего не выйдет. Видишь ли, тетя Полли ужасно привередлива насчет этого забора: он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело, но тут она страшно строга — надо белить очень и очень старательно. Из тысячи... даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует.

— Да что ты? Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать... ну хоть немножечко. Будь я на твоем месте, я б тебе дал. А, Том?

— Бен, я бы с радостью, честное слово, но тетя Полли... Вот Джим тоже хотел, да она не позволила. Просился и Сид — не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить эту работу тебе? Если ты начнешь белить, да вдруг что-нибудь не так...

— Вздор! Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать! Слушай: я дам тебе серединку вот этого яблока.

— Ладно! Впрочем, нет, Бен, лучше не надо... боюсь я...

— Я дам тебе в с е яблоко — все, что осталось.

Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход «Большая Миссури» трудился и потел на припеке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было: мальчишки то и дело подходили к забору — подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея; а когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть,— и так далее, и так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались двенадцать алебастровых шариков, обломок зубной «гуделки»[1], осколок синей бутылки, чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ,

---

[1] «Г у д е л к а» — крохотный музыкальный инструмент со стальным язычком; его держат зубами; играют на нем, ударяя пальцем по концу язычка.

который ничего не хотел отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник — без собаки,— рукоятка ножа, четыре апельсиновые корки и старая, сломанная оконная рама.

Том приятно и весело провел время в большой компании, ничего не делая, а на заборе оказалось целых три слоя известки! Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города.

Том сказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее. Если бы он был таким же великим мудрецом, как и автор этой книги, он понял бы, что Работа есть то, что мы о б я з а н ы делать, а Игра есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготовлять бумажные цветы или, например, вертеть мельницу — работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан[1] — удовольствие. В Англии есть богачи джентльмены, которые в летние дни управляют четверкой, везущей омнибус за двадцать — тридцать миль, только потому, что это благородное занятие сто́ит им значительных денег; но, если бы им предложили жалованье за тот же нелегкий труд, развлечение стало бы работой, они сейчас же отказались бы от нее.

Некоторое время Том не двигался с места; он размышлял над той существенной переменой, какая произошла в его жизни, а потом направил свои стопы в главный штаб — рапортовать об окончании работы.

Глава третья

ЗАНЯТ ВОЙНОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Том предстал перед тетей Полли, сидевшей у открытого окошка в уютной задней комнате, которая была одновременно и спальней, и гостиной, и столовой, и кабинетом.

Благодатный летний воздух, безмятежная тишина, запах цветов и убаюкивающее жужжание пчел произвели на нее свое действие: она клевала носом над вязаньем, ибо единственной ее собеседницей была кошка, да и та дремала у нее на коленях. Для безопасности очки были подняты вверх и покоились на ее сединах.

---

[1] М о н б л а н — гора в Швейцарии.

Она была твердо уверена, что Том, конечно, уже давно убежал, и теперь удивилась, как это у него хватает храбрости являться к ней за суровой расправой.

Том вошел и спросил:

— А теперь, тетя, можно пойти поиграть?

— Как! Уже? Сколько же ты сделал?

— Все, тетя!

— Том, не лги! Я этого не выношу.

— Я не лгу, тетя. Все готово.

Тетя Полли не поверила. Она пошла посмотреть своими глазами. Она была бы рада, если бы слова Тома оказались правдой хотя бы на двадцать процентов. Когда же она убедилась, что весь забор выбелен, и не только выбелен, но и покрыт несколькими густыми слоями известки, и даже по земле вдоль забора проведена белая полоса, ее изумлению не было границ.

— Ну, знаешь,— сказала она,— вот уж никогда не подумала

бы... Надо отдать тебе справедливость, Том, ты можешь работать, когда захочешь.— Тут она сочла нужным смягчить комплимент и добавила: — Только очень уж редко тебе этого хочется. Это тоже надо сказать. Ну, иди играй. И смотри не забудь воротиться домой. Не то у меня расправа короткая!

Тетя Полли была в таком восхищении от его великого подвига, что повела его в чулан, выбрала и вручила ему лучшее яблоко, сопровождая подарок небольшой назидательной проповедью о том, что всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.

Как раз в ту минуту, когда она заканчивала речь подходящим текстом из Евангелия, Тому удалось стянуть пряник.

Он выскочил во двор и увидел Сида. Сид только что стал подниматься по лестнице. Лестница была снаружи дома и вела в задние комнаты второго этажа. Под рукой у Тома оказались очень удобные комья земли, и в одно мгновение воздух наполнился ими. Они бешеным градом осы́пали Сида. Прежде чем тетя Полли пришла в себя и подоспела на выручку, шесть или семь комьев уже попали в цель, а Том перемахнул через забор и скрылся. Существовала, конечно, калитка, но у Тома обычно не было времени добежать до нее. Теперь, когда он рассчитался с предателем Сидом, указавшим тете Полли на черную нитку, в душе у него воцарился покой.

Том обогнул улицу и юркнул в пыльный закоулок, проходивший у задней стены теткиного коровника. Скоро он очутился вне всякой опасности. Тут ему нечего было бояться, что его поймают и накажут. Он направился к городской площади, к тому месту, где, по предварительному уговору, уже сошлись для сражения две армии. Одной из них командовал Том, другой — его закадычный приятель Джо Га́рпер. Оба великих военачальника не снисходили до того, чтобы лично сражаться друг с другом,— это больше пристало мелкоте; они руководили сражением, стоя рядом на горке и отдавая приказы через своих адъютантов. После долгого и жестокого боя армия Тома одержала победу. Оба войска сосчитали убитых, обменялись пленными, договорились о том, из-за чего произойдет у них новая война, и назначили день следующей решающей битвы. Затем обе армии выстроились в шеренгу и церемониальным маршем покинули поле сражения, а Том направился домой один.

Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэ́чер, он увидел в саду какую-то новую девочку — прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами, заплетенными в две длинные косички, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках. Герой, только что увенчанный славой, был сражен без единого выстрела. Некая Эмми Ло́ренс тотчас же исчезла из его сердца, не

оставив там даже следа. А он-то воображал, что любит Эмми Лоренс без памяти, что обожает ее! Оказывается, это было лишь мимолетное увлечение, не больше. Несколько месяцев он добивался ее любви. Всего неделю назад она призналась, что любит его. В течение этих семи кратких дней он с гордостью считал себя счастливейшим мальчиком в мире, и вот в одно мгновение она ушла из его сердца, как случайная гостья, приходившая на минуту с визитом.

С набожным восторгом взирал он украдкой на этого нового ангела, пока не убедился, что ангел заметил его. Тогда он сделал вид, будто не подозревает о присутствии девочки, и начал «фигурять» перед ней, выкидывая (как принято среди мальчуганов) разные нелепые штуки, чтобы вызвать ее восхищение. Несколько времени проделывал он все эти затейливо-вздорные фокусы. Вдруг посреди какого-то опасного акробатического трюка глянул в ту сторону и увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том подошел ближе и уныло облокотился на забор; ему так хотелось, чтобы она побыла в саду еще немного... Она действительно чуть-чуть задержалась на ступеньках, но затем шагнула прямо к двери. Том тяжело вздохнул, когда ее нога коснулась порога, и вдруг все его лицо просияло: прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и бросила через забор цветок маргаритки.

Том обежал вокруг цветка, а затем в двух шагах от него приставил ладонь к глазам и начал пристально вглядываться в дальний конец улицы, будто там происходит что-то интересное. Потом поднял с земли соломинку и поставил ее себе на нос, стараясь, чтобы она сохраняла равновесие, для чего закинул голову далеко назад. Балансируя, он все ближе и ближе подходил к цветку; наконец наступил на него босою ногою, захватил его гибкими пальцами, поскакал на одной ноге и скоро скрылся за углом, унося с собой свое сокровище. Но скрылся он всего лишь на минуту, пока расстегивал куртку и прятал цветок на груди, поближе к сердцу или, быть может, к желудку, так как был не особенно силен в анатомии и не слишком разбирался в подобных вещах.

Затем он вернулся и до самого вечера околачивался у забо-

ра, по-прежнему выделывая разные штуки. Девочка не показывалась; но Том тешил себя надеждой, что она стоит где-нибудь у окошка и видит, как он усердствует ради нее. В конце концов он неохотно поплелся домой, и его бедная голова была полна фантастических грез.

За ужином он все время был так возбужден, что его тетка дивилась: что такое стряслось с ребенком? Получив хороший нагоняй за то, что кидал в Сида комками земли, Том, по-видимому, не огорчился нисколько. Он попробовал было стянуть кусок сахару из-под носа у тетки и получил за это по рукам, но опять-таки не обиделся и только сказал:

— Тетя, ведь не бьете вы Сида, когда он таскает сахар!

— Сид не мучит людей, как ты. Если за тобой не следить, ты не вылезал бы из сахарницы.

Но вот тетка ушла на кухню, и Сид, счастливый своей безнаказанностью, тотчас же потянулся к сахарнице, как бы издеваясь над Томом. Это было прямо нестерпимо! Но сахарница выскользнула у Сида из пальцев, упала на пол и разбилась. Том был в восторге, в таком восторге, что удержал свой язык и даже не вскрикнул от радости. Он решил не говорить ни слова, даже когда войдет тетка, а сидеть тихо и смирно, пока она не спросит, кто это сделал. Вот тогда он расскажет все,— и весело ему будет глядеть, как она расправится со своим примерным любимчиком. Что может быть приятнее этого! Он был так переполнен злорадством, что едва мог хранить молчание, когда воротилась тетка и встала над осколками сахарницы, меча молнии гнева поверх очков. Том сказал себе: «Вот оно, начинается!..» Но в следующую минуту он уже лежал на полу! Властная рука занеслась над ним снова, чтобы снова ударить его, когда он со слезами воскликнул:

— Постойте! Постойте! За что же вы бьете м е н я? Ведь разбил ее Сид!

Тетя Полли остановилась в смущении. Том ждал, что она сейчас пожалеет его и тем загладит свою вину перед ним. Но едва к ней вернулся дар слова, она только и сказала ему:

— Гм! Ну, все-таки, по-моему, тебе досталось недаром. Уж наверно, ты выкинул какую-нибудь новую штуку, пока меня не было в комнате.

Тут ее упрекнула совесть. Ей очень захотелось сказать мальчугану что-нибудь задушевное, ласковое, но она побоялась, что, если она станет нежничать с ним, он, пожалуй, подумает, будто она признала себя виноватой, а этого не допускала дисциплина. Так что она не сказала ни слова и с тяжелым сердцем занялась обычной работой. Том дулся в углу и растравлял свои раны. Он знал, что в душе она стоит перед ним на коленях, и это созна-

ние доставляло ему мрачную радость. Он решил не замечать заискиваний с ее стороны и не показывать ей, что он видит ее душевные муки. Он знал, что время от времени она обращает на него горестный взгляд и что в глазах ее слезы, но не желал обращать на это никакого внимания. Он представлял себе, как он лежит больной, умирающий, а тетка наклонилась над ним и заклинает его, чтобы он сказал ей хоть слово прощения; но он поворачивается лицом к стене и умирает, не сказав этого слова. Каково-то ей будет тогда? Он представлял себе, как его приносят домой мертвым: его только что вытащили из реки, кудри его намокли, и его страдающее сердце успокоилось навеки. Как она бросится на его мертвое тело, и ее слезы польются дождем, и ее губы будут молить господа бога, чтобы он вернул ей ее мальчика, которого она никогда, никогда не станет наказывать зря! Но он по-прежнему будет лежать бледный, холодный, без признаков жизни — несчастный, маленький страдалец, муки которого прекратились навек! Он так расстроил себя этими скорбными бреднями, что слезы буквально душили его, и ему приходилось глотать их. Все туманилось перед ним из-за слез. Всякий раз, когда ему приходилось мигнуть, в его глазах скоплялось столько влаги, что она изобильно текла у него по лицу и капала с кончика носа. И ему было так приятно услаждать свою душу печалью, что он не мог допустить, чтобы в нее вторгались какие-нибудь житейские радости. Всякое наслаждение только раздражало его — такой святой казалась ему его скорбь. Поэтому, когда в комнату влетела, приплясывая, его двоюродная сестра Мери, счастливая, что наконец воротилась домой после долгой отлучки, длившейся целую вечность — то есть неделю,— он, мрачный и пасмурный, встал и вышел из одной двери, в то время как песни и солнце входили вместе с Мери в другую.

Он бродил вдали от тех мест, где обычно собирались мальчишки. Его манили уединенные уголки, такие же печальные, как его сердце. Бревенчатый плот на реке показался ему привлекательным; он сел на самый край, созерцая унылую водную ширь и мечтая о том, как хорошо было бы утонуть в одно мгновение, даже не почувствовав этого и не подвергая себя никаким неудобствам. Потом он вспомнил о своем цветке, достал его из-под куртки — уже увядший и смятый,— и это еще более усилило его сладкую скорбь. Он стал спрашивать себя, пожалела бы его она, если бы знала, какая тяжесть у него на душе? Заплакала бы она и захотела бы обвить его шею руками и утешить его? Или она отвернулась бы от него равнодушно, как теперь отвернулся от него пустой и холодный свет? Мысль об этом наполнила его такой приятной тоской, что он стал перетряхивать ее

на все лады, покуда она не истрепалась до нитки. Наконец он встал со вздохом и ушел в темноту.

В половине десятого — или в десять часов — он очутился на безлюдной улице, где жила Обожаемая Незнакомка; он приостановился на миг и прислушался — ни звука. В окне второго этажа тусклая свеча озаряла занавеску... Не эта ли комната осчастливлена светлым присутствием его Незнакомки? Он перелез через изгородь, тихонько пробрался сквозь кусты и встал под самым окном. Долго он смотрел на это окно с умилением, потом лег на спину, сложив на груди руки и держа в них свой бедный, увядший цветок. Вот так он хотел бы умереть — брошенный в этот мир равнодушных сердец: под открытым небом, не зная, куда приклонить бесприютную голову; ничья дружеская рука не сотрет смертного пота у него со лба, ничье любящее лицо не склонится над ним с состраданием в часы его последней агонии. Таким о н а увидит его завтра, когда выглянет из этого окна, любуясь веселым рассветом,— и неужели из ее глаз не упадет ни единой слезинки на его безжизненное, бедное тело, неужели из ее груди не вырвется ни единого слабого вздоха при виде этой юной блистательной жизни, так грубо растоптанной, так рано подкошенной смертью?

Окно распахнулось. Визгливый голос служанки осквернил священное безмолвие ночи, и целый поток воды окатил останки распростертого мученика!

Фыркая и встряхиваясь, ошеломленный герой вскочил на ноги. Вскоре в воздухе подобно снаряду просвистел некий летящий предмет, послышалось негромкое ругательство, раздался звон разбитого стекла, и небольшая, еле заметная тень перелетела через забор и скрылась во мраке.

Когда Том, уже раздевшись, обозревал свою промокшую одежду при свете сального огарка, проснулся Сид. Быть может, и было у него смутное желание высказать несколько замечаний по поводу недавних обид, но он сразу передумал и лежал очень тихо, так как в глазах у Тома он заметил угрозу.

Том улегся, не утруждая себя вечерней молитвой, и Сид про себя отметил это упущение.

Глава четвертая

«КОЗЫРЯНИЕ» В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Солнце встало над безмятежной землей и своим ярким сиянием благословляло мирный городок. После завтрака тетя Полли совершила обычное семейное богослужение; оно начиналось

молитвой, воздвигнутой на прочном фундаменте библейских цитат, которые она кое-как скрепила жидким цементом своих собственных домыслов. С этой вершины, как с вершины Синая, ею была возвещена суровая заповедь закона Моисеева.

Затем Том препоясал, так сказать, свои чресла[1] и принялся набивать себе голову стихами из Библии. Сид уже давным-давно приготовил урок. Том напрягал все свои душевные силы, чтобы удержать в памяти полдесятка стихов. Он нарочно выбрал отрывок из нагорной проповеди, потому что там были самые короткие строки, какие он нашел во всем Евангелии. К концу получаса он получил только смутное представление о своем уроке, не больше, потому что в это время его ум бороздил все поля человеческой мысли, а руки находились в непрестанном движении, рассеянно блуждая там и сям. Мери взяла у него книгу и стала спрашивать урок, а он старался ощупью найти свою дорогу в тумане.

— Блаженны нищие духом... э... э...

— Нищие...

— Да... нищие... блаженны нищие... э... э...

— Духом...

— Духом; блаженны нищие духом... ибо... они...

— Ибо их... Ибо их...

— Ибо их... Блаженны нищие духом, ибо их... есть царствие небесное. Блаженны плачущие, ибо они... они...

— У-Т-Е...

— Ибо они... э...

— У-Т-Е...

— Ибо они УТЕ... Ну, хоть убей — не знаю, что они сделают!

— Утеш...

— О, утеш... Ибо они утеш... ибо они утеш... э... э... Блаженны плачущие, ибо, ибо... Что же они сделают? Отчего ты не подскажешь мне, Мери? Отчего ты такая бессовестная!

— Ах, Том! Несчастный ты, тупоголовый мальчишка! Я и не думаю дразнить тебя! Нет-нет! Просто тебе надо пойти и выучить все, как следует. Не теряй терпения, Том; в конце концов дело наладится, и, если ты выучишь этот урок, я подарю тебе одну очень, очень хорошую вещь. Будь умник, ступай займись.

— Ладно... Что же это будет такое, Мери? Скажи, что это будет такое?

---

[1] Библейское выражение «препоясать чресла» (то есть опоясать бедра) означает: приготовиться к битве, так как в древности мечи прикреплялись к поясам.

— Уж об этом не беспокойся, Том. Если я сказала: хорошую вещь — значит, хорошую.

— Знаю, Мери, знаю. Ладно, пойду подзубрю!

Действительно, он принялся очень усердно зубрить; под двойным напором любопытства и ожидаемой выгоды урок был блистательно выучен. За это Мери подарила ему новенький нож фирмы Барлоу, стоимостью в двенадцать с половиною центов, и судорога восторга, которую Том испытал, потрясла всю его душу. Хотя нож оказался тупой, но ведь то был «всамделишный» нож фирмы Барлоу, и в этом было нечто необычайно величественное. Откуда мальчишки Запада взяли, что у кого-нибудь будет охота подделывать такие дрянные ножи и что от подделки они станут еще хуже, это великая тайна, которая, можно думать, останется вовеки неразгаданной. Все же Тому удалось изрезать этим ножом весь буфет, и он уже собирался было приняться за комод, да его позвали одеваться, так как пора было идти в воскресную школу.

Мери дала ему жестяной таз, полный воды, и кусок мыла; он вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, затем обмакнул мыло в воду и положил его на прежнее место; затем засучил рукава, осторожно вылил воду на землю, вошел в кухню и принялся что есть силы тереть себе лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мери отняла у него полотенце.

— Как тебе не стыдно, Том! — воскликнула она.— Разве можно быть таким скверным мальчишкой! Ведь от воды тебе не будет вреда.

Том был немного сконфужен. Снова таз наполнили водой. На этот раз Том некоторое время стоял над ним, набираясь храбрости, наконец глубоко вдохнул в себя воздух и стал умываться. Когда он вторично вошел в кухню с закрытыми глазами, ощупью отыскивая полотенце, вода и мыльная пена, стекавшие

у него с лица, не позволяли сомневаться в его добросовестности. И все же, когда он вынырнул из-под полотенца, результаты оказались не слишком блестящие, так как чистое пространство, словно маска, занимало только часть его лица, ото лба до подбородка; выше и ниже этих границ тянулась обширная, не орошенная водой территория, вверху поднимавшаяся на лоб, а внизу ложившаяся темной полосой вокруг шеи. Мери энергично взялась за него, и после этого он стал человеком, ничем не отличавшимся от других бледнолицых: мокрые волосы были гладко причесаны щеткой, коротенькие кудряшки расположены с красивой симметричностью. (Он тотчас же стал тайком распрямлять свои локоны, и это стоило ему немалых трудов; он крепко прижимал их к голове, так как был уверен, что локоны делают его похожим на девчонку; они составляли несчастье всей его жизни.) Затем Мери достала для Тома костюм, вот уже два года надевавшийся им только в воскресные дни. Костюм назывался «тот, другой»,— и это дает нам возможность судить о богатстве его гардероба. Когда он оделся, Мери оправила его, застегнула куртку на все пуговицы, отвернула на плечи широкий воротник рубашки, почистила щеткой его платье и наконец увенчала его пестрой соломенной шляпой. Теперь у него стал приличный и в то же время страдальческий вид. Он действительно тяжко страдал: опрятность и нарядность костюма раздражали его. Он надеялся, что Мери забудет о его башмаках, но она тщательно намазала их, как было принято, салом и принесла ему. Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать то, чего он не хочет. Но Мери ласково попросила его:

— Ну, пожалуйста, Том... будь умницей!

И он, ворча, натянул башмаки. Мери оделась быстро, и все трое отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем, а Сид и Мери любили.

Занятия в воскресной школе длились от девяти до половины одиннадцатого; затем начиналась церковная служба. Мери и Сид всегда добровольно оставались послушать проповедь священника, Том также оставался,— но цели у него были более серьезные.

На церковных скамьях могло разместиться около трехсот человек; скамьи были с высокими спинками без подушек, здание маленькое, неказистое, и на крыше торчало нечто вроде узкого ящика из сосновых досок — колокольня. В дверях Том отстал от своих и обратился к одному из приятелей, тоже одетому в воскресный костюм:

— Послушай-ка, Белли, есть у тебя желтый билетик?

— Есть.

— Что возьмешь за него?
— А что дашь?
— Кусок лакрицы[1] и рыболовный крючок.
— Покажи.

Том показал. Вещи были в полном порядке; имущество перешло из рук в руки. Затем Том променял два белых шарика на три красных билетика и еще отдал несколько безделушек — за пару синих. Он подстерегал входящих мальчиков и скупал у них билетики различных цветов. Это продолжалось десять — пятнадцать минут. Затем он вошел в церковь вместе с гурьбой опрятно одетых и шумных детей, уселся на свое место и тотчас же затеял ссору с первым попавшимся мальчиком. Вмешался учитель, серьезный, пожилой человек; но едва только учитель отвернулся, Том дернул за волосы сидевшего на скамье впереди и, прежде чем тот успел оглянуться, уткнул нос в книгу. Через минуту он уже колол булавкой другого, так как ему захотелось услышать, как этот другой крикнет «ай!» — и снова получил от учителя выговор. Впрочем, и весь класс был, как на подбор, озорной, беспокойный, шумливый. Когда мальчишки стали отвечать урок, оказалось, что никто не знает стихов как следует, и учителю приходилось все время подсказывать. Но, как бы там ни было, они с грехом пополам добрались до конца урока, и каждый получил свою награду — маленький синий билетик с текстом из Библии: синий билетик был платой за два библейских стиха, выученных наизусть. Десять синих билетиков равнялись одному красному и могли быть обменены на него; десять красных равнялись одному желтому; а за десять желтых директор школы выдавал ученику Библию в очень простом переплете. (Стоила эта Библия при тогдашней дешевизне всего сорок центов.) У многих ли из моих читателей хватило бы сил и терпения заучить наизусть две тысячи стихов, хотя бы в награду им была обещана роскошная Библия с рисунками Доре?[2] А вот Мери заработала таким манером две Библии — ценой двухлетнего неустанного труда. А один мальчуган из немецкой семьи даже четыре или пять. Однажды он отхватил подряд, без запинки, три тысячи стихов; но такое напряжение умственных способностей оказалось слишком велико, и с этого дня он сделался идиотом — большое несчастье для школы, так как прежде в торжественных случаях, при публике, директор обыкновенно вызывал этого мальчика «трепать языком» (по выражению Тома). Из прочих учеников только старшие берегли свои билетики и

---

[1] Лакрица — сладкий затвердевший сок солодового корня.

[2] Поль Гюстав Доре́ (1833—1883) — известный французский художник, иллюстратор.

предавались унылой зубрежке в течение долгого времени, чтобы заработать Библию,— так что выдача этого приза была редким и достопримечательным событием. Ученик, получивший Библию, делался в этот день знаменитостью. Мудрено ли, что сердца других школьников по крайней мере на две недели загорались желанием идти по его стопам! Возможно, что умственный желудок Тома никогда и не стремился к такой пище, но нельзя сомневаться, что все его существо давно уже жаждало славы и блеска, связанных с получением Библии.

Ровно в назначенный час директор появился на кафедре. В руке у него был закрытый молитвенник. Его указательный палец был вложен между страницами книги. Директор потребовал, чтобы его слова были выслушаны с сугубым вниманием. Когда директор воскресной школы произносит свою обычную краткую речь, молитвенник у него в руке так же неизбежен, как ноты в руке у певца, который стоит на концертной эстраде и поет свое соло,— но для чего это нужно, нельзя догадаться, ибо ни в молитвенник, ни в ноты ни один из этих мучеников никогда не заглядывает.

Директор был плюгавый человечек лет тридцати пяти, стриженый, рыжий, с козлиной бородкой; верхние края его туго накрахмаленного стоячего воротничка доходили ему чуть не до ушей, а острые концы загибались вперед наравне с углами его рта, изображая собою забор, вынуждавший его смотреть только прямо или поворачиваться всем своим туловищем, когда нужно было глянуть куда-нибудь вбок. Опорой его подбородку служил широчайший галстук, никак не меньше банкового билета, окаймленный по краям бахромой; носки его сапог были по тогдашней моде круто загнуты кверху, словно полозья саней,— эффект, которого молодые люди в то время достигали упорным трудом и терпением, сидя по целым часам у стены и прижимая к ней носки своей обуви. Лицо у мистера Уо́лтерса было глубоко серьезное, сердце было чистое, искреннее; к священным предметам и местам он питал такие благоговейные чувства и так отделял все святое от грубо-житейского, что всякий раз, когда случалось ему выступать в воскресной школе, в его голосе незаметно для него самого появлялись особые ноты, которые совершенно отсутствовали в будние дни. Свою речь он начал такими словами:

— Теперь, детки, я просил бы вас минуты две-три сидеть как можно тише, прямее и слушать меня возможно внимательнее. Вот так! Так и должны вести себя все благонравные дети. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно; боюсь, что ей чудится, будто я сижу там, на ветке, и говорю свою речь каким-нибудь пташкам. (Одобрительное хихиканье.) Я хочу сказать вам, как отрадно мне видеть перед собою столько весе-

лых и чистеньких личиков, собранных в этих священных стенах, дабы поучиться добру.

И так далее, и тому подобное. Приводить остальное нет надобности. Вся речь директора была составлена по готовому образцу, который никогда не меняется,— следовательно, она известна всем нам. Последнюю треть этой речи подчас омрачали бои, возобновлявшиеся между озорными мальчишками. Было немало и других развлечений. Дети ерзали, шушукались, и их разнузданность порою дохлестывала даже до подножия таких одиноких, непоколебимых утесов, как Мери и Сид. Но все разговоры умолкли, как только голос директора стал понижаться, и конец его речи был встречен взрывом немой благодарности.

В значительной мере шушуканье было вызвано одним обстоятельством, более или менее редкостным,— появлением гостей: вошел адвокат Тэчер в сопровождении какого-то дряхлого старца. Вслед за ними появились джентльмен средних лет, очень внушительный, с седеющей шевелюрой, и величавая дама — несомненно, его жена. Дама вела за руку девочку. Тому все время не сиделось на месте, он был раздражен и взволнован. Кроме того, его мучили угрызения совести: он не смел встретиться глазами с Эмми Лоренс, не мог выдержать ее нежный взгляд. Но когда он увидел вошедшую девочку, его душа исполнилась блаженства. Он мгновенно начал «козырять» что есть мо́чи: тузить мальчишек, дергать их за волосы, корчить рожи — словом, упражняться во всех искусствах, которыми можно очаровать девочку и заслужить ее одобрение. К его восторгу примешивалась одна неприятность: воспоминание о том унижении, которое ему пришлось испытать в саду под окошком ангела; но память об этом событии была начертана, так сказать, на зыбком песке. Потоки блаженства, которое испытывал Том, смывали ее, не оставляя следа.

Гостей усадили на самом почетном месте, и как только мистер Уолтерс окончил свою речь, он представил посетителей школьникам.

Мужчина средних лет оказался весьма важной особой — не более не менее, как окружным судьей. Такого важного сановника дети еще никогда не видали; глядя на него, они спрашивали себя с любопытством, из какого материала он сделан, и не то жаждали услышать, как он рычит, не то боялись, как бы он не зарычал. Он прибыл из Константинополя[1], лежавшего в двенадцати милях отсюда; следовательно, путешествовал и видел свет; он собственными глазами видел здание окружного суда, на котором, как говорят, цинковая крыша. О благоговении, вызываемом подобными мыслями, свидетельствовала тишина во

[1] См. примечание на стр. 24.

всем классе и целая вереница внимательных глаз. То был великий судья Тэчер, родной брат адвоката, проживавшего здесь, в городке. Джефф Тэчер, школьник, тотчас же вышел вперед — чтобы, на зависть всей школе, показать, как близко он знаком с великим человеком. Если бы он мог слышать перешептыванья своих товарищей, они были бы для него сладчайшей музыкой.

— Смотри-ка, Джим, он идет туда! Да гляди же! Никак, он хочет пожать ему руку?.. Смотри! Честное слово, пожимает! Здоровается! Ого-го-го! Тебе небось хотелось бы быть на месте Джеффа?

Мистер Уолтерс «козырял» по-своему, суетливо выказывая свое усердие и свою расторопность: его советы, распоряжения, приказы так и сыпались на каждого, на кого он мог их обрушить. Библиотекарь тоже «козырял», бегая взад и вперед с целыми охапками книг, страшно при этом усердствуя, шумя, суетясь. Молоденькие учительницы «козыряли» по-своему, нежно склоняясь над детьми,— которых они незадолго до этого дергали за уши,— с улыбкой грозя хорошеньким пальчиком непослушным и ласково гладя по головке послушных. Молодые учителя «козыряли», проявляя свою власть замечаниями, выговорами и внедрением похвальной дисциплины. Почти всем учителям обоего пола вдруг понадобилось что-то в книжном шкафу, который стоял на виду — рядом с кафедрой. Они то и дело подбегали к нему (с очень озабоченным видом). Девочки, в свою очередь, «козыряли» на разные лады, а мальчики «козыряли» с таким усердием, что воздух был полон воинственных звуков и шариков жеваной бумаги. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в кресле, озаряя школу горделивой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собственного величия, ибо и он «козырял» на свой лад.

Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного блаженства: он жаждал показать своим высоким гостям чудо прилежания и вручить какому-нибудь школьнику Библию. Но хотя кое-кто из учащихся и скопил несколько желтых билетиков, этого было мало: мистер Уолтерс уже опросил всех лучших учеников. Ах, он отдал бы весь мир, чтобы снова вернуть рассудок мальчугану из немецкой семьи!

И вот в ту минуту, когда его надежда угасла, выступает вперед Том Сойер и предъявляет целую кучку билетов: девять желтых, девять красных и десять синих, и требует себе в награду Библию! Это был удар грома среди ясного неба. Мистер Уолтерс давно уже махнул рукою на Сойера и был уверен, что не видать ему Библии в ближайшие десять лет. Но против фактов идти невозможно: вот чеки с казенной печатью, и по ним необходимо платить. Тома возвели на помост, где восседали судья

и другие избранники, и само начальство возвестило великую новость. Это было нечто поразительное. За последние десять лет школа не видывала такого сюрприза; потрясение, вызванное им, было так глубоко, что новый герой как бы сразу поднялся на одну высоту со знаменитым судьею, и школа созерцала теперь два чуда вместо одного. Все мальчики сгорали от зависти, и больше всего мучились те, которые лишь теперь уразумели, что они сами помогли Тому добиться такого ужасного успеха, продав ему столько билетиков за те сокровища, которые он приобрел во время побелки забора. Они презирали себя за то, что их так легко одурачил этот коварный пройдоха, этот змей-обольститель.

Директор вручил Тому Библию со всей торжественностью, на какую был способен в ту минуту, но его речь была не слишком горяча — смутное чувство подсказывало бедняге, что здесь кроется какая-то темная тайна: было бы сущей нелепостью предположить, что этот мальчишка скопил в кладовых своей памяти две тысячи снопов библейской мудрости, когда у него не хватает ума и на дюжину.

Эмми Лоренс сияла от счастья и гордости. Она принимала все меры, чтобы Том заметил ее радость, но он не смотрел на нее. Это показалось ей странным; потом она немного встревожилась; потом в ее душу вошло подозрение — вошло и ушло и вошло опять; она стала присматриваться — беглый взгляд сказал ей очень много, и сердце ее разбилось: она ревновала, сердилась, плакала и ненавидела весь свет. И больше всех Тома... да, Тома (она была уверена в этом).

Тома представили судье, но несчастный едва смел дышать, язык его прилип к гортани, и сердце его трепетало — частью от страха перед грозным величием этого человека, но главным образом потому, что это был е е отец. Том готов был пасть перед ним на колени и поклониться ему,— если бы тут было темно. Судья положил Тому руку на голову, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Том запнулся, разинул рот и наконец произнес:

— Том.

— О нет, не Том, а...

— Томас.

— Вот это так. Я знал, что твое имя, пожалуй, немного длиннее. Хорошо, хорошо! Но все же у тебя, конечно, есть и фамилия; ты мне ее скажешь, не правда ли?

— Скажи джентльмену свою фамилию, Томас,— вмешался Уолтерс,— и, когда говоришь со старшими, не забывай прибавлять: «сэр». Надо уметь держать себя в обществе.

— Томас Сойер... сэр.

— Ну вот! Умница! Славный мальчик. Хороший мальчуган, молодчина! Две тысячи стихов — это много, очень, очень много! И ты никогда не пожалеешь, что взял на себя труд выучить их, ибо знание важнее всего на свете. Оно-то и делает человека великим и благородным. Ты сам когда-нибудь, Томас, будешь великим и благородным человеком; и тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: «Всем этим я обязан бесценной воскресной школе, которую посещал в детстве; всем этим я обязан моим дорогим наставникам, которые научили меня трудиться над книгами; всем этим я обязан доброму директору, который поощрял меня, и лелеял меня, и дал мне чудесную Библию, красивую, элегантную Библию, чтобы у меня

была собственная Библия и чтобы она всегда была при мне; и все это оттого, что меня так отлично воспитывали». Вот что ты скажешь, Томас,— и ты, конечно, никаких денег не взял бы за эти две тысячи библейских стихов. Никаких, никогда! А теперь не согласишься ли ты сказать мне и вот этой даме что-нибудь из выученного тобой,— я знаю, ты не откажешься, потому что мы гордимся детьми, которые любят учиться. Ты, конечно, знаешь имена всех двенадцати апостолов?.. Еще бы! Не скажешь ли ты нам, как звали двух первых?

Том дергал себя за пуговицу и тупо смотрел на судью. Потом вспыхнул, опустил глаза. У мистера Уолтерса упало сердце. «Ведь мальчишка не в состоянии ответить на самый простой вопрос,— сказал он себе,— зачем только судья спрашивает его?» Но все же он счел своим долгом вмешаться:

— Отвечай же джентльмену, Томас,— не бойся!

Том переминался с ноги на ногу.

— Мне-то ты ответишь непременно, — вмешалась дама. — Первых двух учеников Христа звали...

— Давид и Голиаф![1]

Опустим завесу жалости над концом этой сцены.

Глава пятая

ЖУК-КУСАКА И ЕГО ЖЕРТВА

Около половины одиннадцатого зазвонил надтреснутый колокол маленькой церкви, и прихожане стали собираться к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разбрелись в разные стороны по церковному зданию, усаживаясь на те же скамьи, где сидели их родители, чтобы все время быть под надзором старших. Вот пришла тетя Полли; Том, Сид и Мери уселись возле нее, причем Тома посадили поближе к проходу, подальше от раскрытого окна, чтобы он не развлекался соблазнительными летними зрелищами. Молящиеся мало-помалу заполнили все приделы. Вот старый бедняк почтмейстер, видавший некогда лучшие дни; вот мэр и его супруга,— ибо в числе прочих ненужностей в городке был и мэр; вот мировой судья; вот вдова Дуглас, красивая, нарядная женщина лет сорока, добрая, богатая, щедрая: ее дом на холме был не дом, а дворец, единственный дворец в городке; к тому же это был гостеприимный дворец, где устраивались самые роскошные пиршества, какими мог похва-

---

[1] На самом деле, по сказанию Библии, Давид был пастух, убивший силача Голиафа. Первыми учениками Христа Евангелие называет Петра и Андрея.

стать Санкт-Петербург. Вот скрюченный и досточтимый майор Уорд и его супруга. Вот адвокат Ри́версон, новая знаменитость, приехавшая в эти места издалека; вот местная красавица, и за нею целый полк очаровательных дев, разодетых в батисты и ленты; вот юные клерки[1]; все, сколько их есть в городке, стоят в притворе полукруглой стеной — напомаженные обожатели прекрасного пола,— стоят и, идиотски улыбаясь, сосут свои трости, покуда не пропустят сквозь строй всех девиц до последней. Наконец после всех пришел Вилли Меферсон. Примерный Ребенок, так заботливо охранявший свою маменьку, будто та была хрустальная. Он всегда сопровождал ее в церковь, и все пожилые дамы говорили о нем с восхищением. А мальчики — все до единого — ненавидели его за то, что он такой благовоспитанный, а главное, за то, что его благонравием постоянно «тычут им в нос». Каждое воскресенье у него из заднего кармана, будто случайно, торчал кончик белого носового платка (так было и теперь). У Тома носового платка никогда не водилось, и мальчиков, обладавших платками, он считал презренными франтами.

Когда вся церковь наполнилась народом, колокол зазвонил еще раз, чтобы предупредить запоздавших, и затем на церковь снизошла торжественная тишина, прерываемая только хихиканьем и шушуканьем певчих на хорах. Певчие всегда хихикают и шушукаются во время церковной службы. В одной церкви я видел певчих, которые вели себя более пристойно, но где это было, не помню. С тех пор прошло много лет, и я позабыл все подробности; кажется, это было где-то на чужой стороне.

Священник назвал гимн, который предстояло прочесть, и стал читать его — с завыванием, излюбленным в здешних краях. Начинал он на средних нотах и, постепенно карабкаясь вверх, взбирался на большую высоту, делал ударение на верхнем слове и затем вдруг летел вниз головой, словно в воду с трамплина:

Ужель к цветам на небеса я буду
вознесен,
Когда по морю крови плыть мой ближний
обречен?

[1] К л е р к — писец, конторщик, мелкий чиновник.

Священника считали превосходным чтецом. На церковных собраниях его всегда просили декламировать стихи, и, когда он кончал декламацию, дамы воздевали руки к небу и тотчас же беспомощно роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами, как бы желая сказать: «Никакие слова не выразят наших восторгов: это слишком прекрасно, с л и ш к о м прекрасно для нашей бренной земли».

После того как гимн был спет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в местный листок объявлений и стал подробно сообщать о предстоящих религиозных беседах, собраниях и прочих вещах, пока прихожанам не стало казаться, что этот длиннейший перечень дотянется до Страшного суда,— дикий обычай, который и поныне сохранился в Америке, даже в больших городах, несмотря на то что в стране издается уйма всевозможных газет. Подобные вещи случаются часто: чем бессмысленнее какой-нибудь закоренелый обычай, тем труднее положить ему конец.

Потом священник приступил к молитве. То была хорошая молитва, великодушная, щедрая, не брезгавшая никакими мелочами; никого не позабыла она: она молилась и об этой церкви, и о маленьких детях этой церкви, и о других церквах, имеющихся здесь в городке; и о самом городке; и об округе; и о штате, и о чиновниках штата, и о Соединенных Штатах; и о церквах Соединенных Штатов; и о Конгрессе[1], и о президенте; и о членах правительства; и о бедных мореходах, претерпевающих жестокие бури; и об угнетенных народах, стонущих под игом европейских монархов и восточных тиранов; и о просвещенных светом евангельской истины, но не имеющих глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать; и о язычниках далеких морских островов,— и заканчивалось все это горячей мольбой, чтобы слова, которые скажет священник, дошли до престола всевышнего и были подобны зерну, упавшему на плодородную почву, и дали богатую жатву добра. Аминь.

Послышалось шуршание юбок — прихожане, стоявшие во время молитвы, снова уселись на скамьи. Мальчик, биография которого излагается на этих страницах, не слишком наслаждался молитвой — он лишь терпел ее как неизбежную скуку, насколько у него хватало сил. Ему не сиделось на месте: он не вдумывался в содержание молитвы, а лишь подсчитывал пункты, которые были упомянуты в ней, для чего ему не нужно было вслушиваться, так как он издавна привык к этой знакомой дороге, которая была постоянным маршрутом священника. Но стоило священнику прибавить к своей обычной молитве хоть

---

[1] Американский парламент.

слово, как ухо Тома тотчас замечало прибавку, и вся его душа возмущалась: он считал удлинение молитвы бесчестным поступком, мошенничеством. Во время богослужения на спинку передней скамьи села муха. Эта муха положительно истерзала его: она спокойно терла свои передние лапки, обхватывала ими голову и полировала ее так усердно, что голова чуть не отрывалась от тела и видна была тоненькая ниточка шеи; потом задними лапками она чистила и скоблила крылья и разглаживала их, словно фалды фрака, чтоб они плотнее прилегли к ее телу; весь свой туалет она совершала так спокойно и медленно, словно знала, что ей ничто не угрожает. Да и в самом деле ей ничто не угрожало, потому что, хотя у Тома чесались руки сцапать муху, он не решался на это во время молитвы, так как был уверен, что погубит свою душу на веки веков. Но лишь только священник произнес последние слова, рука Тома сама собой прокралась вперед, и в ту минуту, когда прозвучало «аминь», муха очутилась в плену. Но тетка заметила этот маневр и заставила выпустить муху.

Священник произнес цитату из Библии и монотонным гудящим голосом начал проповедь, до того скучную, что вскоре многие уже клевали носами, несмотря на то что речь шла и о вечном огне, и о кипящей сере, а число избранных, которым уготовано было вечное блаженство, сводилось к столь маленькой цифре, что такую горсточку праведников, пожалуй, и не стоило спасать. Том сосчитал страницы проповеди: выйдя из церкви, он всегда мог сказать, сколько в проповеди было страниц, но зато ее содержание ускользало от него совершенно. Впрочем, на этот раз кое-что заинтересовало его. Священник изобразил величественную, потрясающую картину: как праведники всего мира соберутся в раю, и лев ляжет рядом с ягненком, и крошечный ребенок поведет их за собой. Пафос и мораль этого зрелища нисколько не тронули Тома; его поразила только та важная роль, которая выпадет на долю ребенка перед лицом народов всей земли; глаза у него засияли, и он сказал себе, что и сам не прочь быть этим ребенком, если, конечно, лев ручной.

Но тут опять пошли сухие рассуждения, и муки Тома возобновились. Вдруг он вспомнил, какое у него в кармане сокровище, и поспешил достать его оттуда. Это был большой черный жук с громадными, страшными челюстями — «жук-кусака», как называл его Том. Жук был спрятан в коробочку из-под пистонов. Когда Том открыл коробочку, жук первым долгом впился ему в палец. Понятное дело, жук был отброшен прочь и очутился в проходе между церковными скамьями, а укушенный палец Том тотчас же сунул в рот. Жук упал на спину и беспомощно барахтался, не умея перевернуться. Том смотрел на него и

жаждал схватить его снова, но жук был далеко. Зато теперь он послужил развлечением для многих других, не интересовавшихся проповедью. Тут в церковь забрел пудель, тоскующий, томный, разомлевший от летней жары; ему надоело сидеть взаперти, он жаждал новых впечатлений. Чуть только он увидел жука, его уныло опущенный хвост тотчас поднялся и завилял. Пудель осмотрел свою добычу, обошел вокруг нее, обнюхал с опаской издали; обошел еще раз; потом стал смелее, приблизился и еще раз нюхнул, потом оскалил зубы, хотел схватить жука — и промахнулся; повторил попытку еще и еще; видимо, это развлечение полюбилось ему; он лег на живот, так что жук очутился у него между передними лапами, и продолжал свои опыты. Потом ему это надоело, потом он стал равнодушным, рассеянным, начал клевать носом; мало-помалу голова его поникла на грудь, и нижняя челюсть коснулась врага, который и вцепился в нее. Пудель отчаянно взвизгнул, мотнул головой, жук отлетел в сторону на два шага и опять упал на спину. Те, что сидели побли-

зости, тряслись от беззвучного смеха; многие лица скрылись за веерами и носовыми платками, а Том был безмерно счастлив. У пуделя был глупый вид — должно быть, он и чувствовал себя одураченным, но в то же время сердце его щемила обида, и оно жаждало мести. Поэтому он подкрался к жуку и осторожно возобновил атаку: наскакивал на жука со всех сторон, едва не касаясь его передними лапами, лязгал на него зубами и мотал головой так, что хлопали уши. Но в конце концов и это ему надоело; тогда он попробовал развлечься мухой, но в ней не было ничего интересного; походил за муравьем, приникая носом к самому полу, но и это быстро наскучило ему; он зевнул, вздохнул, совершенно позабыл о жуке и преспокойно уселся на него! Раздался безумный визг, пудель помчался по проходу и, не переставая визжать, заметался по церкви; перед самым алтарем перебежал к противоположному проходу, стрелой пронесся к дверям, от дверей — назад; он вопил на всю церковь, и чем больше метался, тем сильнее росла его боль; наконец собака превратилась в какую-то обросшую шерстью комету, кружившуюся со скоростью и блеском светового луча. Кончилось тем, что обезумевший страдалец метнулся в сторону и вскочил на колени к своему хозяину, а тот вышвырнул его в окно; вой, полный мучительной скорби, слышался все тише и тише и наконец замер вдали.

К этому времени все в церкви сидели с пунцовыми лицами, задыхаясь от подавленного смеха. Даже проповедь немного застопорилась. И хотя она тотчас же двинулась дальше, но спотыкалась и хромала на каждом шагу, так что нечего было и думать о ее моральном воздействии. Прячась за спинки церковных скамеек, прихожане встречали заглушенными взрывами нечестивого хохота самые торжественные и мрачные фразы, как будто злосчастный священник необыкновенно удачно острил.

Все вздохнули с облегчением, когда эта пытка кончилась и было сказано последнее «аминь».

Том Сойер шел домой веселый; он думал про себя, что и церковная служба может быть иной раз не очень скучна, если только внести в нее некоторое разнообразие. Одно омрачало его радость: хотя ему и было приятно, что пудель поиграл с его жуком, но зачем же негодный щенок унес этого жука навсегда? Право же, это нечестно.

Глава шестая

ТОМ ЗНАКОМИТСЯ С БЕККИ

Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в понедельник утром, так как этим днем начиналась новая неделя долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в жизни совсем не было воскресений, так как после краткой свободы возвращение в темницу еще тяжелее.

Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы заболеть; тогда он останется дома и не пойдет в школу. Надежда слабая, но почему не попробовать! Он исследовал свой организм. Нигде не болело, и он снова ощупал себя. На этот раз ему показалось, что у него начинается резь в животе, и он обрадовался, надеясь, что боли усилятся. Но боли, напротив, вскоре ослабели и мало-помалу исчезли. Том стал думать дальше. И вдруг обнаружил, что у него шатается зуб. Это была большая удача; он уже собирался застонать для начала, но тут же сообразил, что, если он заикнется о зубе, тетка немедленно выдернет зуб,— а это больно. Поэтому он решил, что зуб лучше оставить про запас и поискать чего-нибудь другого. Некоторое время ничего не подвертывалось; затем он вспомнил, как доктор рассказывал об одной болезни, уложившей пациента в кровать на две или три недели и грозившей ему потерей пальца. Мальчик со страстной надеждой высунул из-под простыни ногу и начал исследовать больной палец. У него не было ни малейшего представления о том, каковы признаки этой болезни. Однако попробовать все-таки стоило, и он принялся усердно стонать.

Но Сид спал и не замечал его стонов.

Том застонал громче, и понемногу ему стало казаться, что палец у него действительно болит.

Сид не проявлял никаких признаков жизни.

Том даже запыхался от усилий. Он отдохнул немного, потом набрал воздуху и испустил целый ряд чрезвычайно удачных стонов.

Сид продолжал храпеть.

Том вышел из себя. Он сказал: «Сид! Сид!» — и стал легонько трясти спящего. Это подействовало, и Том опять застонал. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте, фыркнул и уставился на Тома. Том продолжал стонать. Сид сказал:

— Том! Слушай-ка, Том!

Ответа не было.

— Ты слышишь, Том? Том! Что с тобою, Том?

Сид, в свою очередь, тряхнул брата, тревожно вглядываясь ему в лицо.

Том простонал:

— Оставь меня, Сид! Не тряси!

— Да что с тобою, Том? Я пойду и позову тетю.

— Нет, не надо. Может быть, это скоро пройдет. Никого не зови. Не надо.

— Нет-нет, надо позвать! Да не стони так ужасно!.. Давно это с тобою?

— Несколько часов. Ой! Ради бога, не ворочайся, Сид! Ты просто погубишь меня.

— Отчего ты раньше не разбудил меня, Том? Ой, Том, перестань стонать! Меня прямо мороз подирает по коже от твоих стонов. Что у тебя болит?

— Я все тебе прощаю, Сид!.. (Стон.) Все, в чем ты передо мной виноват. Когда меня не станет...

— Том, неужели ты и вправду умираешь? Том, не умирай... ну, пожалуйста! Может быть...

— Я всех прощаю, Сид. (Стон.) Скажи им об этом, Сид. А одноглазого котенка и оконную раму отдай, Сид, той девчонке, что недавно приехала в город, и скажи ей...

Но Сид схватил одежду — и за дверь. Теперь Том на самом деле страдал,— так чудесно работало его воображение,— и стоны его звучали вполне естественно.

Сид сбежал по лестнице и крикнул:

— Ой, тетя Полли, идите скорей! Том умирает!

— Умирает?

— Да! Да! Чего же вы ждете? Идите скорей!

— Вздор! Не верю!

Но все же она что есть духу взбежала наверх. Сид и Мери — за нею. Лицо у нее было бледное, губы дрожали. Добежав до постели Тома, она едва могла выговорить:

— Том! Том! Что с тобой?

— Ой, тетя, я...

— Что с тобою, что с тобою, дитя?

— Ой, тетя, у меня на пальце гангрена![1]

Тетя Полли упала на стул и сперва засмеялась, потом заплакала, потом и засмеялась и заплакала сразу.

Это привело ее в себя, и она сказала:

— Ну и напугал же ты меня, Том! А теперь довольно: прекрати свои фокусы, и чтоб этого больше не было!

Стоны замолкли, и боль в пальце мгновенно прошла. Том почувствовал себя в нелепом положении.

— Право же, тетя Полли, мне казалось, что палец у меня

---

[1] Гангрена — страшная болезнь: омертвение части тела.

совсем омертвел, и мне было так больно, что я даже забыл про свой зуб.

— Зуб? А с зубом у тебя что?

— Шатается и страшно болит, прямо нестерпимо...

— Ну, будет, будет, не вздумай только хныкать опять! Открой-ка рот!.. Да, зуб действительно шатается, но от этого ты не умрешь... Мери, принеси шелковую нитку и горящую головню из кухни.

— Тетечка, не вырывайте, не надо, не рвите его — он уже больше не болит! Провалиться мне на этом месте, если он хоть чуточку болит! Тетечка, пожалуйста, не надо! Я и так все равно пойду в школу...

— Пойдешь в школу? Так вот оно что! Ты только для того и поднял всю эту кутерьму, чтобы увильнуть от занятий и удрать на реку ловить рыбу! Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты, словно нарочно, надрываешь мое старое сердце своими безобразными выходками!

Тем временем подоспели орудия для удаления зуба. Тетя Полли сделала петлю на конце нитки, надела ее на больной зуб и крепко затянула, а другой конец привязала к столбику кровати; затем схватила пылающую головню и ткнула ее чуть не в самую физиономию мальчика. Миг — и зуб повис на нитке, привязанной к столбику.

Но за всякое испытание человеку дается награда. Когда Том после завтрака отправился в школу, все товарищи, с которыми он встречался на улице, завидовали ему, так как пустота, образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему плевать совершенно новым, замечательным способом. Вокруг него собралась целая свита мальчишек, заинтересованных этим зрелищем; один из них, порезавший себе палец и до сих пор служивший предметом общего внимания и поклонения, сразу утратил всех до одного своих приверженцев, и слава его мгновенно померкла. Это страшно огорчило его, и он объявил с напускным презрением, что плевать, как Том Сойер,— пустяковое дело, но другой мальчик ответил на это: «Зелен виноград!» — и развенчанный герой удалился с позором.

Вскоре после этого Том повстречался с юным парией[1] Гекльберри Финном, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и в то же время боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, скверный мальчишка, не признававший никаких обязательных правил. И еще потому, что их дети — все до одного — души в нем не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали

---

[1] Пария — отверженный и бесправный человек.

подражать ему во всем. Том, как и все прочие мальчики из почтенных семейств, завидовал отверженному Гекльберри, и ему также было строго-настрого запрещено иметь дело с этим оборванцем. Конечно, именно по этой причине Том не упускал случая поиграть с ним. Гекльберри одевался в обноски с плеча взрослых людей; одежда его была испещрена разноцветными пятнами и так изодрана, что лохмотья развевались по ветру. Шляпа его представляла собою развалину обширных размеров; от ее полей свешивался вниз длинный обрывок в виде полумесяца; пиджак в те редкие дни, когда Гек напяливал его на себя, доходил ему чуть не до пят, так что задние пуговицы помещались значительно ниже спины; штаны висели на одной подтяжке и сзади болтались пустым мешком, а внизу были украшены бахромой и волочились по грязи, если Гек не засучивал их.

Гекльберри был вольная птица, бродил где вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую — в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться, над ним не было господина. Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, и сидеть в воде сколько заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться. Он мог не ложиться спать хоть до утра. Весной он первый из всех мальчиков начинал ходить босиком, а осенью обувался последним. Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнуренные, скованные по рукам и ногам «хорошо воспитанные» мальчики из почтенных семейств.

Том приветствовал романтического бродягу:

— Эй, Гекльберри! Здравствуй!

— Здравствуй и ты, если хочешь...

— Что это у тебя?

— Дохлая кошка.

— Дай-ка, Гек, посмотреть!.. Ишь ты, окоченела совсем. Где ты ее достал?

— Купил у одного мальчишки.

— Что дал?

— Синий билетик да бычий пузырь... Пузырь я достал на бойне.

— А где ты взял синий билетик?

— Купил у Бена Роджерса две недели назад... дал ему палку для обруча.

— Слушай-ка, Гек, дохлые кошки — на что они надобны?

— Как — на что? А бородавки сводить.

— Разве? Я знаю средство почище.

— А вот и не знаешь! Какое?

— Гнилая вода.

— Гнилая вода? Ничего она не стоит, твоя гнилая вода!

— Ничего не стоит? А ты пробовал?

— Я-то не пробовал. Но Боб Та́ннер — он пробовал.

— А кто тебе об этом сказал?

— Он сказал Джеффу Тэчеру, а Джефф сказал Джонни Бе́йкеру, а Джонни сказал Джиму Хо́ллису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот и знаю.

— Ну, так что же из этого? Все они врут. По крайней мере, все, кроме негра, его я не знаю. Но я еще не видывал негра, который не врал бы. Все это пустая болтовня! Теперь ты мне скажи, Гек, как сводил бородавки Боб Таннер?

— Да так: взял и сунул руку в гнилой пень, где скопилась дождевая вода.

— Днем?
— Ну конечно.
— Лицом ко пню?
— А то как же?
— И при этом говорил что-нибудь?
— Как будто ничего не говорил... Но кто его знает? Не знаю.

— Ага! Еще бы ты захотел свести бородавки гнилой водой, когда ты берешься за дело, как самый бестолковый дуралей! Из таких глупостей, разумеется, толку не будет. Надо пойти одному в чащу леса, заприметить местечко, где есть такой пень, и ровно в полночь стать к нему спиною, сунуть в него руку и сказать:

Ячмень, ячмень да гниль вода, индейская еда,
Все бородавки у меня возьмите навсегда!

А потом надо закрыть глаза и скоро-скоро отойти ровно на одиннадцать шагов и три раза повернуться на месте, а по дороге домой не сказать никому ни слова. Если скажешь,— пропало: колдовство не подействует.

— Да, похоже, что это правильный способ, только Боб Таннер... он сводил бородавки не так.

— Да уж наверно не так! Потому-то у него тьма бородавок, он самый бородавчатый из всех ребят в нашем городе. А если бы он знал, как действовать гнилой водой, на нем не было бы теперь ни одной бородавки. Я сам их тысячи свел этой песней,— да, Гек, со своих собственных рук. У меня их было очень много, потому что я часто возился с лягушками. Иногда я вывожу их бобом.

— Да, это средство верное. Я и сам его пробовал.
— А как?

— Берешь боб и разрезаешь его на две части, потом режешь свою бородавку ножом, чтобы достать каплю крови, и мажешь этой кровью одну половину боба, а потом выкапываешь ямку и зарываешь эту половину в землю... около полуночи на перекрестке дорог, в новолунье, а вторую половину сжигаешь. Дело в том, что та половина, на которой есть кровь, будет тянуть и тянуть к себе вторую половину, а кровь тем временем притянет к себе бородавку, и бородавка очень скоро сойдет.

— Верно, Гек, верно, хотя было бы еще лучше, если бы, закапывая в ямку половину боба, ты при этом приговаривал так: «В землю боб — бородавка долой; теперь навсегда я расстанусь с тобой!» Так было бы еще сильнее. Так сводит бородавки Джо Га́рпер, а уж он бывалый! Где только не был — доезжал чуть не до Кунвиля... Ну, а как же ты сводишь их дохлыми кошками?

— А вот как. Возьми кошку и ступай с ней на кладбище незадолго до полуночи — к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек, и вот в полночь явится черт, а может, два или три; но ты их не увидишь, только услышишь, будто ветер шумит, а может, и услышишь ихний разговор. И когда они потащат покойника, ты брось им вслед кошку и скажи: «Черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом,— тут и дело с концом, все трое долой от меня!» От этого всякая бородавка сойдет.

— Похоже на то. Сам-то ты когда-нибудь пробовал, Гек?

— Нет. Но мне сказывала старуха Го́пкинс.

— Ну, так это верно: говорят, она ведьма.

— «Говорят»! Я наверняка знаю. Она напустила порчу на отца. Отец мне сам рассказывал. Раз он идет и видит, что она на него напускает порчу. Он взял камень да в нее,— еле увернулась. И что же ты думаешь: в ту самую ночь он скатился во сне с навеса, пьяный, и сломал себе руку.

— Боже мой, страсти какие! А как же он догадался, что это она напустила порчу?

— Для отца это — плёвое дело. Он говорит: если ведьма пялит на тебя свои глазищи, ясно — она колдует. Хуже всего, если она при этом бормочет; это значит — она читает «Отче наш»[1] навыворот, задом наперед,— понимаешь?

— Слушай-ка, Гек, ты когда будешь пробовать кошку?

— Нынче ночью. Я так думаю, черти наверняка придут в эту ночь за старым грешником Ви́льямсом.

— Да ведь его еще в субботу похоронили, Гек. Они, поди, уж утащили его в субботнюю ночь!

— Глупости! До полуночи они не могли утащить его, а в полночь настало воскресенье. В воскресенье черти не очень-то бродят по земле.

— Верно, верно. Я и не подумал... Возьмешь меня с собой?

— Конечно, если ты не боишься.

— Боюсь! Ну вот еще! Ты не забудешь мяукнуть?

— Не забуду... И если тебе можно выйти, ты сам мяукни в ответ. А то в прошлый раз я мяукал, мяукал, пока старик Гейс не стал швырять в меня камнями, да еще приговаривает: «Черт бы побрал эту кошку!» Я выбил ему стекло кирпичом,— только ты смотри не болтай.

— Ладно. В ту ночь я не мог промяукать в ответ: за мною следила тетка; но нынче непременно мяукну... Слушай, Гек, что это у тебя?

— Так, пустяки — просто клещ.

---

[1] «О т ч е н а ш» — название молитвы.

— Где ты его нашел?

— В лесу.

— Что возьмешь за него?

— Не знаю. Неохота его продавать.

— Ну и не надо! Да и клещ-то крохотный.

— Ну, еще бы! Чужого клеща всегда норовят обругать. А для меня и этот хорош.

— Клещей в лесу пропасть. Я сам мог бы набрать их тысячу, если бы захотел.

— За чем же дело стало? Что же не идешь набирать?.. Ага! Сам знаешь, что не найдешь ничего. Этот клещ очень ранний. Первый клещ, какой попался мне нынче весной.

— Слушай, Гек, я дам тебе за него свой зуб.

— Покажи.

Том достал бумажку и осторожно развернул ее. Гекльберри сумрачно глянул на зуб. Искушение было сильное. Наконец он спросил:

— Настоящий?

Том вздернул верхнюю губу и показал пустоту меж зубами.

— Ну ладно,— сказал Гекльберри.— Значит, по рукам!

Том положил клеща в коробочку из-под пистонов, еще недавно служившую тюрьмой для жука, и мальчики расстались, причем каждый чувствовал, что стал богаче.

Дойдя до школы — небольшого бревенчатого дома, стоявшего в стороне от всех прочих зданий,— Том зашагал очень быстро, словно добросовестно спешил на урок. Он повесил шляпу на колышек и с деловитой торопливостью устремился к своей скамье. Учитель, восседая, как на троне, на высоком плетеном кресле, мирно дремал, убаюканный мерным жужжанием класса. Появление Тома разбудило его.

— Томас Сойер!

Том знал, что, когда учитель зовет его полным именем, это не предвещает ничего хорошего.

— Да, сэр.

— Подите сюда!.. Ну, сэр, а сегодня почему вы изволили опоздать?

Том хотел было соврать что-нибудь, но в эту минуту в глаза ему бросились длинные золотистые косы, которые он сразу узнал благодаря электрическому току любви. Он увидел, что единственное свободное место на той половине класса, где сидели девочки, было рядом с ней, и моментально ответил:

— Я остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном.

Учитель окаменел от изумления: он растерянно уставился

на Тома. Гудение в классе смолкло. Школьники спрашивали себя, не сошел ли с ума этот отчаянный малый. Наконец учитель сказал:

— Что... что ты сделал?

— Остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном!

Ошибиться в значении этих слов было невозможно.

— Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я когда-либо слыхал. За такую вину линейки мало. Снимите куртку!

Рука учителя трудилась, пока не устала. Пук розог стал значительно тоньше. Затем последовал приказ:

— Теперь, сэр, ступайте и садитесь с д е в о ч к а м и! И пусть это послужит вам уроком.

Ученики захихикали. Это как будто сконфузило Тома. Но на самом деле его смущение было вызвано другим обстоятельством: он благоговел перед неведомым ему божеством и мучительно радовался своей великой удаче. Он присел на краешек сосновой скамьи.

Девочка вздернула нос и отодвинулась. Все кругом шептались, перемигивались, подталкивали друг друга, но Том сидел смирно, облокотившись на длинную низкую парту, и, по-видимому, прилежно читал. На него перестали обращать внимание; класс опять наполнился унылым гудением. Мало-помалу мальчик начал поглядывать исподтишка на соседку. Та заметила, надула губки и на целую минуту отвернулась. Когда же она глянула украдкой в его сторону, перед нею лежал персик. Девочка отодвинула персик. Том мягким движением снова придвинул его. Она опять оттолкнула персик, но уже без всякой враждебности. Том терпеливо положил персик на прежнее место, и она уже не отодвигала его. Том нацарапал на грифельной доске: «Пожалуйста, возьмите,— у меня есть еще». Девочка посмотрела на доску, но лицо ее осталось равнодушным. Тогда он начал рисовать на доске, прикрывая свой рисунок левой рукой. Девочка на первых порах притворялась, будто не обращает внимания, но затем еле заметными признаками стало обнаруживаться ее любопытство. Мальчик продолжал рисовать, будто ничего не замечая. Девочка сделала было попытку поглядеть исподтишка, что он рисует, но Том опять-таки и виду не подал, что замечает ее любопытство. Наконец она сдалась и попросила нерешительным шепотом:

— Дайте посмотреть!

Том открыл часть карикатурно-нелепого дома с двумя фасадами и трубой, из которой выходил дым в виде штопора. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что позабыла обо всем на свете. Когда Том кончил, она бросила взгляд на рисунок и прошептала:

— Какая прелесть! Нарисуйте человечка!

Художник поставил во дворе перед домом человека, похожего на подъемный кран, и такого высокого, что для него не составило бы никакого труда перешагнуть через дом. Но девочка была не слишком требовательна. Она осталась довольна чудовищем и прошептала:

— Какой красивый! Теперь нарисуйте меня.

Том нарисовал песочные часы, увенчанные круглой луной, приделал к ним тонкие соломинки ручек и ножек и вооружил растопыренные пальчики громаднейшим веером.

— Ах, как хорошо! — сказала девочка.— Хотела бы я уметь рисовать!

— Это нетрудно. Я вас научу.

— В самом деле? Когда?

— На большой перемене. Вы ходите домой обедать?

— Если вы останетесь, и я останусь.

— Ладно. Вот здóрово! Как вас зовут?

— Бекки Тэчер. А вас? Впрочем, знаю — Томас Сойер.

— Меня называют так, когда хотят высечь. Когда я веду себя хорошо, меня зовут Том. Вы зовите меня Том. Ладно?

— Ладно.

Том опять начал писать на доске, пряча написанное от Бекки. Но теперь она перестала стесняться и попросила показать, что там такое.

Том отговаривался:

— Право же, тут нет ничего!

— Нет, есть!

— Нет, нету; да вам и смотреть-то не хочется.

— Нет, хочется! Правда, хочется. Пожалуйста, покажите!

— Вы кому-нибудь скажете.

— Не скажу, честное-пречестное-распречестное слово, не скажу!

— Никому, ни одной живой душе? До самой смерти?

— Никому не скажу. Покажите же!

— Да ведь вам вовсе не хочется...

— Ах, так! Ну, так я все равно посмотрю!

И своей маленькой ручкой она схватила его руку; началась борьба. Том делал вид, будто серьезно сопротивляется, но мало-помалу отводил руку в сторону, и наконец открылись слова: «Я в а с л ю б л ю!»

— Гадкий! — И девочка больно ударила его по руке, однако покраснела, и было видно, что ей очень приятно.

В то же мгновение Том почувствовал, что чья-то рука неотвратимо и медленно стискивает его ухо и тянет кверху все выше и выше.

Таким способом он был препровожден через весь класс на

свое обычное место под перекрестное хихиканье всей детворы, после чего в течение нескольких страшных минут учитель простоял над ним, не сказав ни единого слова, а затем так же безмолвно направился к своему трону. Но хотя ухо у Тома горело от боли, в сердце его было ликование.

Когда класс успокоился, Том самым добросовестным образом попытался углубиться в занятия, но в голове у него был ужасный сумбур. На уроке чтения он сбивался и путал слова, на уроке географии превращал озера в горы, горы в реки, а реки в материки, так что вся вселенная вернулась в состояние первобытного хаоса. Потом во время диктовки он так исковеркал самые простые слова, что у него отобрали оловянную медаль за правописание, которой он вот уже несколько месяцев так чванился перед всеми товарищами.

Глава седьмая

ГОНКИ КЛЕЩА И РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Чем больше старался Том приковать свое внимание к учебнику, тем больше разбегались его мысли. Наконец он вздохнул и, зевая, прекратил напрасные потуги. Ему казалось, что большая перемена никогда не наступит. Было очень душно, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Из всех усыпительных дней это был самый усыпительный. Монотонное бормотание двадцати пяти школьников, зубривших уроки, убаюкивало душу, как гудение пчел. Там, вдали, в пламенном сиянии солнца мерцали нежно-зеленые склоны Кардифской горы, окутанные дымкой зноя и окрашенные далью в пурпурные тона. Высоко в небе лениво парили одинокие птицы; кроме них, не было видно ни одного живого существа, если не считать двух-трех коров, да и те спали. Сердце Тома жаждало свободы. Найти бы хоть что-нибудь интересное, чтобы убить это нудное время! Он пошарил у себя в кармане, и вдруг лицо его озарилось восторг-

гом, и он бессознательно возблагодарил небеса за счастье, которое они даровали ему. Украдкой достал он из кармана коробочку, вынул оттуда клеща и положил на длинную плоскую парту. Клещ, должно быть, тоже просиял от восторга и тоже возблагодарил небеса, но радость его была преждевременна, потому что, как только он вздумал уйти, Том булавкой повернул его назад и заставил двинуться в другом направлении.

Рядом с Томом сидел его друг и приятель, угнетаемый такой же тоской, какая только что угнетала Тома; он с глубочайшей признательностью ухватился за представившееся ему развлечение. Приятеля звали Джо Гарпер. Мальчики дружили всю неделю, но по субботам воевали, как враги. Джо вытащил из-за отворота куртки булавку и стал помогать приятелю муштровать арестованного клеща. Оба чем дальше, тем больше увлекались этим спортом. Наконец Том объявил, что они только мешают друг другу и ни один не получает в полной мере того удовольствия, какое можно извлечь из клеща. Он положил на парту грифельную доску Джо Гарпера и провел посредине черту сверху донизу.

— Вот,— сказал он,— уговор такой: покуда клещ будет на твоей стороне, гоняй его сколько угодно, а я трогать не буду; но, если ты упустишь его и он уйдет ко мне, на мою половину, тогда уж гонять буду я.

— Ладно. Начинай! Пускай его!

Клещ очень скоро убежал от Тома и пересек экватор. Тогда за него взялся Джо. Затем клещ повернул и вскоре очутился во владениях Тома. Эти переходы повторялись довольно часто. Пока один мальчик гонял клеща, совершенно поглощенный этим интересным занятием, другой с не меньшим увлечением следил за ним. Оба склонили головы над доской, и их души умерли для всего остального. Под конец счастье, по-видимому, окончательно перешло на сторону Джо. Клещ, возбужденный и взволнованный не меньше самих мальчиков, кидался то туда, то сюда, но каждый раз, когда победа была, так сказать, в руках Тома и пальцы его рвались к насекомому, булавка Джо ловко преграждала клещу путь, и тот оставался во владениях Джо. Тому стало наконец невтерпеж. Искушение было слишком сильно. Он протянул руку и стал подталкивать клеща в свою сторону. Джо мгновенно вышел из себя:

— Том, не смей его трогать!

— Я хочу только немножко подхлестнуть его, Джо!

— Это нечестно, сэр, оставьте его в покое!

— Эх ты, да я только чуть-чуть...

— Оставьте клеща в покое, говорят вам!

— А вот не оставлю!

— Ты не имеешь права: он на моей стороне.

— Да клещ-то чей, Джо Гарпер?

— Мне все равно, чей бы он ни был... он на моей стороне, и ты не смей его трогать!

— Как так — не смей! Клещ мой, и я волен делать с ним все, что хочу!

Вдруг страшный удар обрушился на плечи Тома. Точно такой же достался и Джо. В продолжение двух минут учитель усерднейшим образом выколачивал пыль из их курток; вся школа ликовала и радовалась. Приятели были слишком поглощены своей забавой и не заметили, что незадолго перед тем в классе внезапно водворилась тишина, так как учитель подошел к ним на цыпочках и наклонился над ними. Довольно долго он следил за их игрой, прежде чем со своей стороны внес в нее некоторое разнообразие.

Когда наконец пробило двенадцать и наступила большая перемена, Том подбежал к Бекки Тэчер и прошептал ей на ухо:

— Надень шляпку, будто уходишь домой, а когда дойдешь до угла, улизни от других, поверни в переулок и возвращайся сюда. Я пойду по другой дороге, тоже убегу от своих и очень скоро буду здесь.

Таким образом, Том вышел из школы с одной группой школьников, а Бекки — с другой. Вскоре они встретились в дальнем конце переулка и вернулись в опустевшую школу. Они уселись рядом, положив перед собою грифельную доску. Том дал Бекки грифель и, водя ее рукой, создал еще один удивительный домик. Когда интерес к искусству чуть-чуть ослабел, они принялись болтать. Том был безмерно счастлив.

— Любишь ты крыс? — спросил он.

— Ой, ненавижу!

— И я тоже... когда они живые. Но я говорю про дохлых — вертеть их на веревочке над головой.

— Нет, я крыс вообще не очень люблю. А вот что я люблю — так это жевать резинку.

— Еще бы! Жалко, что у меня ее нет.

— В самом деле? У меня есть немножко. Я дам тебе пожевать, только ты потом отдай.

Это им обоим понравилось, и они стали жевать по очереди, болтая ногами от избытка удовольствия.

— Была ты когда-нибудь в цирке?

— Да, и папа обещал взять меня туда еще раз, если я буду хорошая.

— А я был в цирке три или даже четыре раза — много раз! Там куда веселее, чем в церкви: все время представляют что-нибудь. Я, когда вырасту, поступлю клоуном в цирк.

— Правда? Вот хорошо! Они все такие разноцветные, милые...

— Да-да, и при этом кучу денег загребают... Бен Роджерс говорит: по доллару в день... Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?

— А это что такое?

— Ну, помолвлена, чтобы выйти замуж?

— Нет.

— А хотела бы?

— Пожалуй... Не знаю. А как это делается?

— Как? Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, только за него,— понимаешь, никогда, никогда, никогда! — и потом вы целуетесь. Вот и все. Это каждый может сделать!

— Целуемся? А для чего целоваться?

— Ну, для того, чтобы... ну, так принято... Все это делают.

— Все?

— Ну да, все влюбленные. Ты помнишь, что я написал на доске?

— Д-да.

— Что же?

— Не скажу.

— Так, может, я скажу тебе?

— Д-да... только когда-нибудь в другой раз.

— Нет, теперь.

— Нет, не теперь — завтра.

— Нет-нет, теперь, Бекки! Ну, пожалуйста! Я потихоньку, я шепну тебе на ухо.

Видя, что Бекки колеблется, Том принял молчание за согласие, обнял девочку за талию, приложил губы к самому ее уху и повторил свои прежние слова. Потом сказал:

— Теперь ты мне шепни то же самое.

Она долго отнекивалась и наконец попросила:

— Отвернись, чтобы не видеть меня,— и тогда я скажу. Только ты никому не рассказывай,— слышишь, Том! Никому. Не расскажешь? Правда?

— Нет-нет, я никому не скажу, будь покойна. Ну, Бекки?

Он отвернулся, а она так близко наклонилась к его уху, что от ее дыхания стали трепетать его кудри, и прошептала застенчиво:

— Я... вас... люблю!

Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь от Тома, который гонялся за ней; потом забилась в угол и закрыла лицо белым передничком. Том схватил ее за шею и стал уговаривать:

— Ну, Бекки, теперь уж все кончено,— только поцеловаться. Тут нет ничего страшного, это пустяки. Ну, пожалуйста, Бекки!

Он дергал ее за передник и за руки.

Мало-помалу она сдалась, опустила руки и подставила ему лицо, раскрасневшееся от долгой борьбы; а Том поцеловал ее в алые губы и сказал:

— Ну, вот и все, Бекки. Теперь уж ты никого не должна любить, только меня, и ни за кого, кроме меня, не выходить замуж, никогда, никогда и во веки веков! Ты обещаешь?

— Да, я никого не буду любить, Том, только тебя одного, и ни за кого другого не пойду замуж. И ты смотри ни на ком не женись, только на мне!

— Само собой. Конечно. Такой уговор! И по дороге в школу или из школы ты должна идти со мной,— если за нами не будут следить,— и в танцах выбирай меня, а я буду выбирать тебя. Так всегда делают жених и невеста.

— Ах, как хорошо! Никогда не слыхала об этом.

— Это ужасно весело! Вот мы с Эмми Лоренс...

Бекки Тэчер широко раскрыла глаза, и Том понял, что сделал промах. Он остановился в смущении.

— О Том! Так я уже не первая... У тебя уже была невеста...

Девочка заплакала.

— Перестань, Бекки! Я больше не люблю ее.

— Нет, любишь, любишь! Ты сам знаешь, что любишь.

Том пытался было обнять ее за шею, но Бекки оттолкнула его, повернулась лицом к стене и продолжала рыдать. Том начал уговаривать ее, называл ласковыми именами и повторил свою попытку, но она опять оттолкнула его. Тогда в нем проснулась гордость. Он направился к двери и решительными шагами вышел на улицу. Смущенный и расстроенный, он встал неподалеку от школы, взглядывая поминутно на дверь, в надежде, что Бекки одумается и выйдет вслед за ним на крыльцо. Но она не выходила. Ему стало очень грустно: а ведь, пожалуй, он и в самом деле виноват. Ему было трудно заставить себя сделать первый шаг к примирению, но он поборол свою гордость и вошел в класс. Бекки все еще стояла в углу и плакала, повернувшись лицом к стене. У Тома защемило сердце, он подошел к ней и постоял немного, не зная, с чего начать.

— Бекки,— проговорил он несмело,— я люблю только тебя, а других я и знать не хочу.

Никакого ответа. Одни рыдания.

— Бекки (просительным голосом), Бекки! Ну скажи что-нибудь...

Опять рыдания.

Тогда Том вытащил самую лучшую свою драгоценность — медную шишечку от каминной решетки — и, протянув ее так, чтобы Бекки могла увидеть ее, сказал:

— Ну, Бекки... ну, возьми же! Дарю.

Она оттолкнула его руку, шишечка упала и покатилась по полу.

Тогда Том вышел на улицу и решил уйти куда глаза глядят и в этот день не возвращаться в школу. Бекки вдруг заподозрила что-то неладное. Она бросилась к двери — Тома не было видно. Она обежала вокруг дома, надеясь найти его на площадке для игр, но его не было и там. Тогда она стала кричать:

— Том, вернись! Том!

Она чутко прислушивалась, но никто не откликнулся. Кругом была тишина и пустыня. Она села и снова заплакала: она чувствовала себя виноватой. Между тем снова начали собираться школьники; надо было затаить свое горе, утихомирить свое разбитое сердце и взвалить на себя бремя долгого, томительного, тоскливого дня. У нее еще не было подруги, и ей не с кем было поделиться своим горем.

Глава восьмая

БУДУЩИЙ ХРАБРЫЙ ПИРАТ

Том сначала колесил по переулкам, сворачивая то вправо, то влево, и в конце концов оставил далеко позади ту дорогу, по которой ученики обычно возвращаются в школу. А потом побрел в гору — понуро и медленно. По пути он раза два или три перешел вброд небольшой ручеек, так как среди мальчишек существует поверье, будто таким образом они заметают за собою следы и ставят погоню в тупик. Через полчаса он уже миновал богатую усадьбу вдовы Дуглас, стоявшую на вершине Кардифской горы. Школа еле виднелась внизу — там, позади, в долине. Путник углубился в густой лес, пошел, пренебрегая тропинками, в самую чащу и уселся на мху под развесистым дубом.

Здесь, в лесу, было тихо и душно. В мертвом полуденном зное умолкло даже пение птиц. Природа погрузилась в дремоту; ее сон по временам нарушался лишь стуком дятла, доносившимся издали. И от этого стука лесная тишина казалась еще более глубокой, а тоска одиночества — еще более гнетущей. Сердце Тома терзала печаль, которая была в полной гармонии с окружавшей его природой. Он долго сидел в задумчивости, упершись локтями в колени и положив подбородок на руки. Ему ка-

залось, что жизнь в лучшем случае — суета и страдание, и он готов был завидовать Джимми Годжесу, который недавно скончался. «Как хорошо,— думал он,— лежать в могиле, спать и видеть разные сны, во веки веков, и пусть ветер шепчет о чем-то в ветвях, пусть ласкает траву и цветы на могиле, а тебя ничто не беспокоит, и ты ни о чем не горюешь, никогда, во веки веков». Ах, если бы у него были хорошие отметки в воскресной школе, он, пожалуй, был бы рад умереть и покончить с постылой жизнью... А эта девочка... ну, что он ей сделал? Ничего. Он желал ей добра. А она прогнала его, как собаку — прямо как собаку. Когда-нибудь она пожалеет об этом, но, может быть, будет поздно. Ах, если б он мог умереть не навсегда, а на время!

Но в молодости сердца эластичны и, как их ни сожми, расправляются быстро. Тома незаметно захватили опять помыслы здешнего мира. Что, если он сию минуту пойдет куда глаза глядят и таинственно исчезнет для всех? Что, если он уйдет далеко-далеко, в неведомые страны, за моря, и никогда не вернется? Каково-то почувствует себя Бекки тогда!.. Он вспомнил, как собирался сделаться клоуном в цирке, но теперь ему было гадко подумать об этом, ибо шутовство и паясничество и цветное трико в обтяжку показались ему унизительными в такое мгновение, когда его душа воспарила к туманным и величавым высотам романтики. Нет, он пойдет в солдаты и вернется домой через много лет, покрытый ранами и славой. Или, еще лучше, уйдет к индейцам, будет охотиться с ними на буйволов, блуждать по тропе войны, средь высоких гор и бездорожных прерий Дальнего Запада, и когда-нибудь вернется домой великим индейским вождем и в сонное летнее утро, ощетинившись перьями, размалеванный, страшный, ввалится прямо в воскресную школу с диким воинственным кличем, от которого кровь стынет в жилах. Вот выпучат глаза его товарищи! Вот будут ему завидовать! Но нет, есть на свете еще более великолепное поприще. Он будет пиратом! Да-да! Теперь он ясно видел перед собой свое будущее, озаренное неописуемым блеском. Его имя будет греметь во всем мире, заставляя людей содрогаться от ужаса. Как гордо будет он носиться по бурным морям на длинном, низком черном корабле «Демон бури», с черным зловещим флагом, развевающимся на носу корабля! И, достигнув вершины славы, он нежданно-негаданно появится в своем старом родном городишке и войдет в церковь, загорелый, обветренный, в черном бархатном камзоле и в таких же штанах, с алой перевязью, в высоких ботфортах, а за поясом у него будут торчать пистолеты, сбоку — нож, заржавевший от пролитой крови, на голове у него будет мягкая шляпа с опущенными книзу полями, с развевающимися

перьями, в руке — черное развернутое знамя, а на знамени — череп и скрещенные кости. И с каким восторгом, с каким упоением он услышит, как шепчутся вокруг: «Это Том Сойер, пират! Черный Мститель Испанских морей!»

Да, решено! Он окончательно избрал свою дорогу. Он убежит из дому и начнет новую жизнь. Завтра же утром он отправится в путь. Чтобы быть готовым к утру, необходимо приняться за дело сейчас же. Нужно собрать все свое богатство. Неподалеку лежало трухлявое дерево. Том подошел к нему и начал карманным ножом «Барлоу» копать землю под одним из его концов. Скоро нож наткнулся на какой-то деревянный предмет, и Том по звуку узнал, что внутри пустота. Он сунул туда руку и торжественно произнес заклинание:

— Чего тут не было, приди! А что тут есть, останься!

Он соскоблил верхний слой земли, и внизу оказалась тонкая сосновая дощечка. Он поднял дощечку — под нею открылся аккуратно сделанный тайник для сокровищ, дно и стены которого были выложены такими же дощечками. В тайнике лежал алебастровый шарик. Изумлению Тома не было границ. Он со смущенным видом почесал затылок:

— Эге-ге! Вот так штука!

Он с досадой отшвырнул шарик и принялся размышлять. Дело в том, что его обманула поверье, которое он и его товарищи принимали за непреложную истину. Если зароешь шарик, произнеся над ним необходимые заклинания, и в течение двух недель не будешь трогать его, а потом откроешь тайник с тем заклинанием, которое сейчас было произнесено, то вместо одного шарика ты найдешь все, какие были когда-либо потеряны тобою, как бы далеко ни лежали они друг от друга. Но чуда не произошло, это ясно, и все, во что верил Том, было подорвано в корне. Он столько раз слышал об удачных попытках такого рода и никогда не слыхал о неудачных. Ему не пришло в голову, что он и сам пробовал этот способ не раз, а потом никогда не мог найти места, где был закопан шарик. Он долго раздумывал и наконец решил, что тут вмешалась какая-то ведьма и разрушила чары. Но ему хотелось окончательно убедиться в этом, и, выискав чистенькое песчаное местечко, в центре которого было углубление в виде воронки, он лег на землю, прильнул губами к самой ямке и проговорил:

Бук-букашка, расскажи мне, что хочу я знать.
Бук-букашка, расскажи мне, что хочу я знать.

Песок зашевелился, оттуда на мгновение выполз черный жучок и тотчас же испуганно юркнул обратно.

— Ага, не говорит! Значит, тут и вправду не обошлось без ведьмы. Я так и знал.

Тому хорошо было известно, что с ведьмами тягаться никому не под силу, и он приуныл. Потом ему пришло в голову, что не худо бы найти хоть тот шарйк, который он только что бросил, и он принялся терпеливо искать его, но ничего не нашел. Он вернулся к своему тайнику и встал на то самое место, с которого только что бросил шарик, потом вынул из кармана другой и бросил его в том же направлении:

— Брат, поди сыщи брата!

Он заметил, где остановился шарик, и стал искать там, но не нашел. Должно быть, второй шарик или не докатился, или залетел слишком далеко. Он попробовал еще раз, другой, третий и наконец добился успеха: оба шарика лежали на расстоянии фута друг от друга.

В эту минуту с зеленой опушки донесся слабый звук игрушечной жестяной трубы. Том быстро сбросил с себя куртку и штаны, опоясался одной из подтяжек, разрыл кучу хвороста за гнилым деревом, вытащил оттуда самодельные лук, стрелу, деревянный меч, а также жестяную трубу, мигом вооружился и в одной развевающейся рубашке помчался навстречу врагу. Под большим вязом он протрубил ответный сигнал, потом стал пробираться на цыпочках, настороженно оглядываясь по сторонам, и негромко скомандовал воображаемому отряду:

— Стой, молодцы! Останься в засаде, пока не затрублю!

Появился Джо Гарпер в такой же легкой одежде и тоже вооруженный с головы до пят. Том окликнул его:

— Стой! Кто смеет ходить по Шервудскому лесу без моего разрешения?

— Гай Ги́сборн не нуждается ни в чьем разрешении! Кто ты, который... который...

— ...смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью?» — поспешно подсказал ему Том, так как оба они говорили на память «по книге».

— ...который смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью?

— Кто я? Я — Робин Гуд[1], в чем очень скоро убедится твой презренный труп.

— Так это ты, знаменитый разбойник! Воистину я буду рад помериться с тобою мечом за обладание дорогами этого веселого леса. Защищайся!

---

[1] Робин Гуд — знаменитый герой старинных английских легенд и песен. Том Сойер начитался историй о его разбойничьих подвигах; самые занимательные из этих историй — встречи Робин Гуда с рыцарем Гаем Гисборном и монахом Таком.

Они выхватили деревянные мечи, бросили остальное оружие на землю, стали в боевую позицию, нога к ноге, и начали серьезный поединок по всем правилам искусства: два удара вверх и два вниз.

Наконец Том сказал:

— Ну, драться так драться! Поддай жару!

Они так усердно «поддали жару», что оба запыхались и вспотели.

— Падай же! Падай! — крикнул Том.— Почему ты не падаешь?

— Не стану я падать! Сам падай — тебе ведь хуже моего приходится.

— Ну так что ж? Это ничего не значит. Мне падать не полагается. В книге ведь не так — там сказано: «И он одним ловким ударом в спину поразил насмерть злосчастного Гая Гисборна». Ты должен повернуться и подставить мне спину, чтобы я мог ударить тебя.

Против такого авторитета возражать не приходилось: Джо повернулся, принял удар и упал.

— А теперь...— сказал Джо, поднимаясь на ноги,— теперь дай мне убить т е б я — это будет по совести.

— Да ведь так нельзя, этого в книге нет!

— Ну, это нечестно! Это, по-моему, подлость!

— Ну ладно, Джо,— ведь ты можешь быть монахом Таком или сыном мельника Мачем и пристукнуть меня дубинкой по голове. Или, хочешь, я буду шериф нотингемский, а ты Робин Гуд на одну минутку, и ты убьешь меня.

Это удовлетворило Джо Гарпера, и игра продолжалась. Затем Том опять сделался Робин Гудом и, по вине вероломной монахини, плохо ухаживавшей за его запущенной раной, смертельно ослабел от потери крови, после чего Джо, изображавший собой целую толпу рыдающих разбойников, с грустью оттащил его прочь, вложил лук в его ослабевшие руки, и Том сказал: «Где упадет эта стрела, там и похороните бедного Робин Гуда, под деревом в зеленой дубраве». Затем он пустил стрелу, откинулся назад и упал бы мертвым, но кругом оказалась крапива, и он вскочил с неподобающей покойнику прытью.

Мальчики оделись, спрятали доспехи и пошли прочь, сокрушаясь, что теперь нет разбойников, и спрашивая себя, чем могла бы современная цивилизация восполнить такой пробел. Оба утверждали, что предпочли бы лучше сделаться на один год разбойниками Шервудского леса, чем президентами Соединенных Штатов на всю жизнь.

Глава девятая

ТРАГЕДИЯ НА КЛАДБИЩЕ

В этот вечер Тома с Сидом, как всегда, в половине десятого послали спать. Они прочли молитву на сон грядущий, и Сид скоро уснул. Но Том не спал, с тревожным нетерпением ожидая сигнала. В тот миг, когда ему показалось, что уже недалеко до рассвета, он услышал, как часы бьют десять. Было от чего прийти в отчаяние. Он не мог даже вертеться на постели, как того требовали его возбужденные нервы, потому что боялся разбудить Сида. Он лежал смирно и напряженно вглядывался в темноту. Кругом стояла удручающая тишина. Понемногу из этого безмолвия стали выделяться маленькие, еле заметные звуки. Прежде всего — тиканье часов. Таинственное потрескивание старых балок. Слабый скрип ступеней. Ясно: по дому бродили духи. Из комнаты тети Полли доносился глухой мерный храп. Затем началась несносная трескотня сверчка, а где именно стрекочет сверчок — этого не может определить никакая человеческая мудрость. Затем — в стене, у изголовья кровати, зловещее тик-тик жучка-точильщика. Том вздрогнул: это означало, что чьи-то дни сочтены. Затем прозвучал в ночном воздухе отдаленный собачий вой, и тотчас же, еще дальше, слабее, завыла другая собака. Том переживал мучительные минуты. Наконец он проникся убеждением, что время исчезло и началась вечность. Против воли он стал погружаться в дремоту. Часы пробили одиннадцать — он не слыхал. Вдруг, смешанное с бесформенными видениями сна, послышалось унылое мяуканье кошки. Где-то неподалеку открылось окно, и этот шум разбудил Тома. Раздался крик: «Брысь, проклятая!» — и о стену теткиного дровяного сарая со звоном разбилась пустая бутылка. Том вскочил как встрепанный, мигом оделся, вылез из окна, пополз на четвереньках по крыше, раза два тихонько мяукнул в ответ, потом перескочил на крышу дровяного сарая и оттуда спрыгнул на землю. Гекльберри Финн ждал его внизу с дохлой кошкой в руках. Мальчики двинулись в путь и скоро исчезли во мраке. Через полчаса они уже пробирались в высокой траве кладбища.

Кладбище было старинное, западного типа. Расположенное на холме городка, оно было обнесено ветхим дощатым забором, который местами повалился внутрь, а местами наружу, но нигде не стоял прямо. Все кладбище заросло травой и сорняками. Старые могилы осели. Ни один надгробный камень не стоял на своем месте, над могилами возвышались сгнившие доски с закруглением наверху, источенные червями и клонившиеся к земле, ища опоры и не находя ее. На всех досках когда-то было

начертано: «Вечная память такому-то», но буквы на большинстве из них так стерлись, что теперь их нельзя было прочесть и при дневном свете.

Тихий ветер стонал в ветвях, и Тому со страху мерещилось, что это души умерших жалуются,— зачем люди тревожат их покой. Приятели говорили мало и только шепотом: время и место, тишина и торжественность действовали на них угнетающе. Они нашли свежую могильную насыпь, которую искали, и притаились под тремя большими вязами, в нескольких шагах от нее.

Ждали они, как им показалось, довольно долго. Вдали кричала сова, и это был единственный звук, нарушавший мертвую тишину. Мысли Тома становились все мрачнее, и он решил прогнать их разговором.

— Как ты думаешь, Гекки,— начал он шепотом,— нравится покойникам, что мы пришли сюда?

Гекльберри шепнул в ответ:

— Кто их знает, не знаю! А жутко здесь... Правда?

— Еще бы!

Наступило долгое молчание; оба мальчика задумались над тем, как относятся покойники к их посещению. Затем Том шепнул:

— Слушай-ка, Гекки, как ты думаешь, старикашка Вильямс слышит, что мы говорим?

— Конечно, слышит. По крайней мере, душа его слышит.

Снова молчание.

— Жалко,— сказал Том,— что я назвал его просто Вильямс, а не мистер Вильямс. Но ведь я не хотел его обидеть. Его все называют старикашкой.

— Надо быть осторожнее, когда говоришь о покойниках, Том.

Это отбило у Тома охоту продолжать разговор. Вдруг он схватил товарища за руку:

— Тсс!

— Что там такое, Том?

И оба прижались друг к другу. Сердца у них сильно стучали.

— Тсс! Вот опять! Неужели не слышишь?

— Я...

— Ага! Наконец-то и ты услыхал.

— Господи, Том, они идут! Они идут! Это они! Что нам делать?

— Не знаю. Ты думаешь, они нас увидят?

— Ох, Том, ведь они видят в темноте, как кошки. И зачем только я пошел!

— Да ты не бойся... Может, они нас не тронут. Ведь мы ни-

чего плохого не делаем. Если мы будем сидеть тихо-тихо, может, они нас и не заметят.

— Ладно. Попробую... Боже, я весь дрожу!

— Тсс! Слушай.

Мальчики, еле дыша, еще крепче прижались друг к другу. С другого конца кладбища до них донеслись приглушенные голоса.

— Смотри! Смотри! — шепнул Том.— Что это там такое?

— Это адский огонь! Ой, как страшно!

Во мраке появились какие-то смутные фигуры. Перед ними качался старинный жестяной фонарь, рассыпая по земле, как веснушки, бесчисленные искорки света.

— Это дьяволы, теперь уж наверняка! — шепнул Гекльбери и вздрогнул.— Целых три! Ну, мы пропали! Ты можешь прочесть молитву?

— Попробую... Да ты не бойся — они нас не тронут. «Боже, на сон грядущий спаси и помилуй меня...»

— Тсс!

— В чем дело, Гек?

— Это л ю д и! По крайней мере, один из них. У него голос Меффа По́ттера.

— Быть не может!

— Уж я его знаю! Ты притаись, не дыши. Он нас и не увидит: он пьян, как всегда,— пьянчужка.

— Ладно. Я буду тихо... Остановились. Ищут чего-то... Не могут найти. Вот опять сюда... Ишь как бегут! Опять ближе... Опять дальше... А теперь — ой, как близко! И прямо сюда. Слушай-ка, Гек, я и другой голос узнал — это Индеец Джо!

— И в самом деле, проклятый метис![1] Уж лучше бы черти, ей-богу! И чего им тут нужно, хотел бы я знать...

Шепот оборвался, так как три человека дошли до могилы и остановились невдалеке от того места, где спрятались мальчики.

— Здесь,— сказал третий и поднял фонарь так, что на его лицо упал свет. Это оказался молодой доктор Ро́бинсон.

Поттер и Индеец Джо несли носилки с веревкой и двумя лопатами. Они опустили свою ношу на землю и начали разрывать могилу. Доктор поставил фонарь в головах могилы, а сам сел на землю, прислонившись к одному из вязов. Он был так близко, что мальчики могли бы дотронуться до него.

— Скорей, скорей! — сказал он негромко.— Каждую минуту может взойти луна.

---

[1] М е т и с ы — люди смешанной крови: дети от смешанных браков белых и индейцев.

Они что-то проворчали в ответ и продолжали копать. Некоторое время был слышен лишь скрежет лопат, отбрасывающих в сторону мелкие камешки и комья земли,— звук однообразный и унылый. Наконец раздался глухой стук о дерево: лопата наткнулась на гроб, и через несколько минут копавшие подняли его наверх. Теми же лопатами они сбросили крышку, вытащили тело и бесцеремонно бросили его на землю[1]. В эту минуту луна вышла из-за туч и осветила бледное лицо мертвеца. Придвинули носилки, положили на них труп, покрыли одеялом и привязали веревкой. Поттер вынул большой складной нож, отрезал болтавшийся конец веревки и сказал:

— Вот, костоправ, мы и кончили это грязное дело. Подавайте нам еще пятерку, а не то он останется тут.

— Правильно! — сказал Индеец Джо.

— Что это значит? Позвольте! — возразил доктор.— Вы ведь потребовали деньги вперед, и я заплатил вам сполна.

— Заплатить-то вы заплатили, но у нас с вами есть и другие счеты,— сказал Джо, подходя к доктору. (Доктор встал на ноги.) — Пять лет назад я пришел на кухню вашего папаши, а вы меня выгнали в шею. Я просил, чтобы мне дали поесть, а меня вытолкали, как воришку и жулика. А когда я поклялся, что отплачу вам за это, хотя бы через сто лет, ваш папаша посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Вы думали, я забыл? Нет, недаром во мне индейская кровь! Теперь вы у меня в руках, и мы с вами сочтемся, так и знайте!

Он с угрозой поднес кулак к самой физиономии доктора. Тот неожиданно размахнулся и одним ударом свалил негодяя на землю. Поттер выронил нож и закричал:

— Эй, вы! Я товарища бить не позволю!

И кинулся на доктора. Они схватились врукопашную и стали наносить друг другу удары, топча траву и взрывая землю каблуками. Индеец Джо вскочил на ноги; глаза его горели ненавистью; он схватил брошенный Поттером нож и, крадучись, словно кошка, весь изогнувшись, стал бегать вокруг, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар. Вдруг доктор, вырвавшись из объятий противника, схватил тяжелую доску с могилы Вильямса и так сильно ударил ею Поттера, что тот повалился на землю; в то же мгновение метис изловчился и вонзил нож по самую рукоятку в грудь молодому человеку. Тот покачнулся и упал на Поттера, заливая его своей кровью. В это время на

---

[1] В те времена вследствие религиозных суеверий медикам запрещали изучать анатомию на человеческих трупах. Поэтому врачи и студенты принуждены были нанимать гробокопателей, которые тайно добывали для них из могил свежепогребенные трупы.

луну набежали тучи и покрыли мраком эту страшную сцену. Перепуганные мальчики бросились бежать в темноте без оглядки.

Когда луна опять показалась из-за туч, Индеец Джо в глубокой задумчивости стоял над двумя телами.

Доктор пробормотал что-то невнятное, раза два вздохнул и затих.

— Ну вот, черт тебя возьми, мы и свели наши счеты! — негромко сказал метис.

И он обобрал убитого. Потом вложил злополучный нож в правую руку Поттера и уселся на пустом гробу. Прошло три, четыре, пять минут. Поттер зашевелился и начал стонать. Он сжал в руке нож, поднес его к глазам, вздрогнул и уронил на землю; потом поднялся и сел, оттолкнув от себя тело убитого доктора; посмотрел на него, бессмысленно огляделся вокруг и встретил взгляд метиса.

— Боже мой! Как же это случилось, Джо?

— Скверное дело! — сказал тот, не двигаясь с места.— За что это ты его?

— Я? Я тут ни при чем.

— Ладно, рассказывай! Этим беде не поможешь!

Поттер побледнел и весь дрожал.

— Я думал, у меня хмель прошел. Не следовало мне пить нынче вечером. До сих пор шумит в голове — хуже, чем когда мы шли сюда... Я как в тумане — ничего не помню. Скажи мне, Джо, по совести скажи, старый друг, неужто это я его укокошил? Ведь я не хотел убивать, у меня и в помыслах этого не было,— клянусь душой и честью, Джо! Скажи мне, как это вышло, Джо? Как ужасно! Такой молодой... такие надежды подавал...

— Вы двое сцепились; он хвать тебя доской по башке; ты так и повалился. Потом встал, как полоумный, весь дрожишь и шатаешься, и вдруг выхватил нож да и пырнул его в тот самый момент, как он нанес тебе новый удар. Ну, уж после этого ты как упал, так и не шевельнулся, словно деревянный чурбан.

— Ох, я сам не понимал, что делаю! Провалиться мне на месте, если вру! Это все от водки — пьяный был,— ну и распалился вдобавок... Да я и ножом-то владеть не умею, Джо. Драться случалось, не спорю, но только без ножа, на кулачках. Это тебе всякий скажет... Джо, не выдавай меня! Дай слово, что не выдашь меня, Джо! Я всегда тебя любил, Джо, всегда стоял за тебя. Ты ведь помнишь, не правда ли? Ты никому не скажешь, Джо?

Несчастный упал перед убийцей на колени и сложил руки с мольбой. Тот глядел на него равнодушно и тупо.

— Ладно, Мефф Поттер, ты всегда поступал со мною по чести, по совести, и я не стану тебя выдавать. Будь спокоен, мое слово верное. Тут и говорить больше не о чем.

— Джо, ты — ангел, ей-богу! Буду благословлять тебя до последнего вздоха...

И Поттер заплакал.

— Ну, хватит! Не время хныкать! Ступай вон той дорогой, а я — этой. Да смотри не оставляй за собою улик!

Поттер пустился рысцой, потом прибавил ходу и побежал что есть духу.

Глядя ему вслед, метис пробормотал:

— Если у него и вправду отшибло память от удара и выпивки, он не скоро вспомнит о ноже. А и вспомнит, побоится вернуться на кладбище — куриная душонка, слюнтяй.

Прошло две-три минуты, и на убитого, на труп, завернутый в одеяло, на гроб без крышки, на разрытую могилу глядел только месяц с неба. Вокруг снова была тишина.

Глава десятая

ВОЙ СОБАКИ ПРОРОЧИТ БЕДУ

Мальчики бежали к городку со всех ног. Они онемели от ужаса. По временам они тревожно оглядывались, словно опасаясь погони. Всякий пень, встававший у них на пути, казался им живым человеком, врагом, при виде которого у них захватывало дух. Когда они бежали мимо деревянных домишек, стоявших на окраине города, сторожевые псы проснулись и залаяли. От этого лая у мальчиков словно выросли крылья.

— Только бы добежать до старой кожевни,— прошептал Том, едва переводя дыхание.— Я больше не могу...

Гекльберри ничего не ответил: он задыхался от быстрого бега. Мальчики, не отрывая глаз, глядели на старую кожевню, куда им так хотелось попасть, и напрягли последние силы. Наконец они добежали до нее и, ворвавшись — плечом к плечу — в открытую дверь, сейчас же упали на пол, под защиту полумрака, царившего в заброшенном здании. Они были счастливы, но страшно устали. Мало-помалу они отдышались, и Том проговорил тихим голосом:

— Гекльберри, как ты думаешь, что из всего этого выйдет?

— Если доктор Робинсон умрет, думаю, выйдет виселица.

— Да не может быть!

— Уж это наверное, Том.

Том задумался и через минуту спросил:

— Кто же донесет? Мы?

— Что ты? Да как это можно? Ведь если случится такое да Индейца Джо не повесят, он нас тогда прикончит, верно тебе говорю! Тогда уж нам смерть неминуемая. И это так же верно, как то, что мы сейчас лежим на полу.

— Я и сам так думаю, Гек.

— Если уж кому доносить, то пускай Мефф Поттер доносит: пожалуй, у него на это глупости хватит. Вечно пьян...

Том помолчал; он снова задумался. Наконец сказал еле слышно:

— Гек, а ведь Меффу Поттеру ничего не известно... Как же он может донести об убийстве?

— То есть как это так — не известно?

— Очень просто: ведь Индеец Джо всадил в доктора нож как раз в ту минуту, когда доктор ударил Поттера могильной доской. Где ему было видеть? Где ему было узнать об убийстве?

— Черт возьми, а ведь правда, Том!

— И потом, ты подумай,— может быть, от этого удара Поттер и совсем окочурился.

— Нет, Том, это вряд ли. Ведь он был выпивши. Я это сразу заметил. Да он и всегда ходил выпивши. А... когда мой отец нахлещется, его можно треснуть по голове чем угодно... хоть церковью, ему ничего не сделается, честное слово! Он и сам говорил сколько раз! Значит, и Мефф Поттер такой же. Вот если бы Поттер был трезвый, он, пожалуй, от такого угощения и помер бы... кто его знает...

Снова наступила тишина; Том опять погрузился в свои мысли.

— Гекки, ты уверен, что не проговоришься? — наконец спросил он.

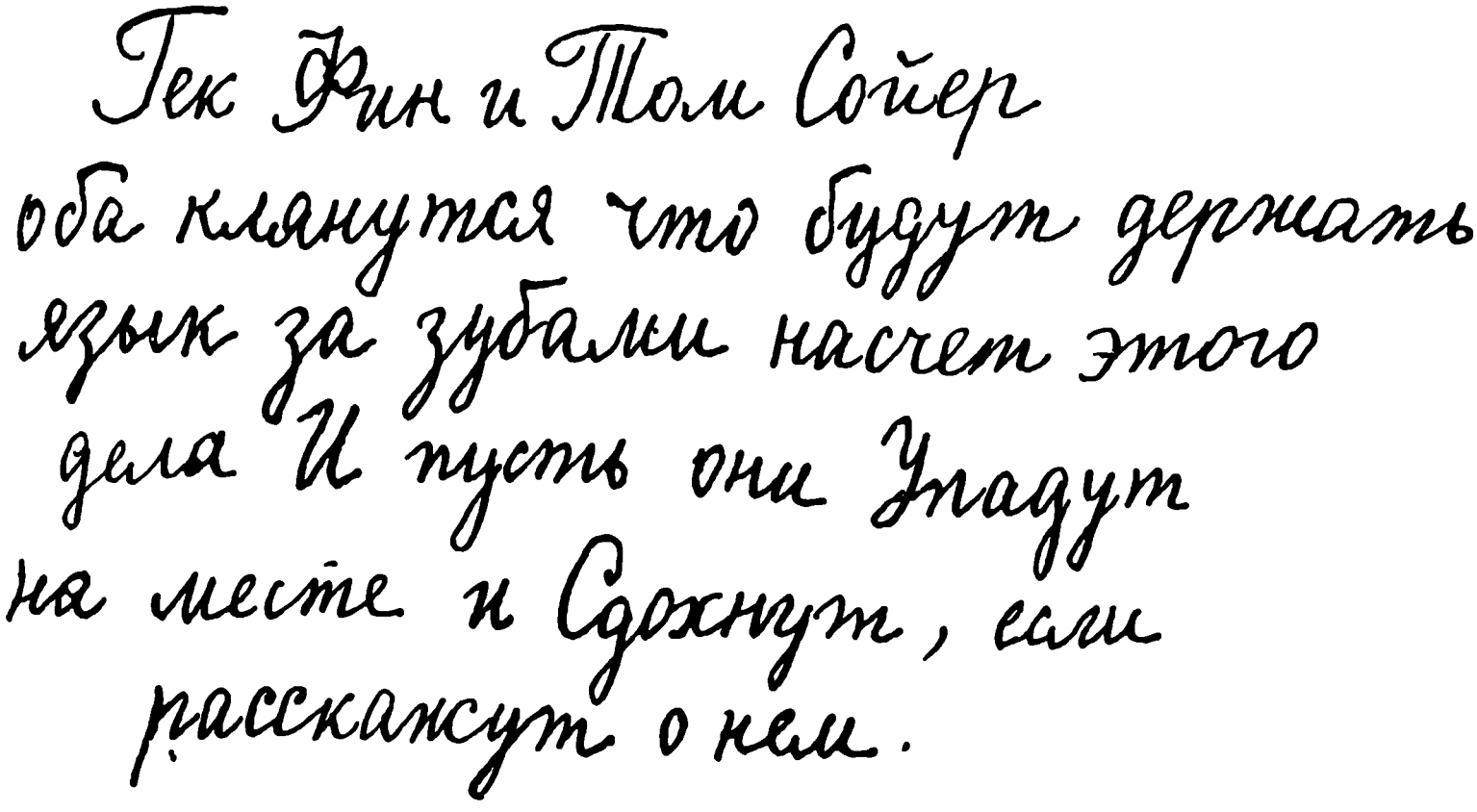
— Хочешь не хочешь, Том, а нам надо помалкивать. Сам понимаешь,— этот дьявол метис... Если мы донесем, а его не повесят, он утопит нас обоих, как котят... И знаешь что, Том! Давай-ка мы дадим друг другу клятву, что будем держать язык за зубами. Это будет вернее всего.

— Правильно, Гек. Это самое лучшее. Поднимем руки и поклянемся, что мы...

— Э, нет, это не годится для такого дела... Это хорошо в обыкновенных делах, в пустяках, особенно с девчонками, потому что они в конце концов все равно проболтаются, чуть попадутся; но в таком большом деле надо, чтобы договор был писаный. И кровью.

Том всей душой одобрил эту мысль. Она была и таинственна, и мрачна, и страшна, и вполне гармонировала со всеми событиями, с окружающей обстановкой, с ночной порой. Он под-

нял с полу чистую сосновую дощечку, блестевшую в лунном свете, вытащил из кармана кусок «красной охры», сел так, чтоб свет падал на дощечку, и с трудом нацарапал следующие строки, причем каждой черточке, которая шла сверху вниз, он помогал языком, зажимая его между зубами и отпуская его при каждой черточке, которая шла снизу вверх:



Гекльберри пришел в восторг от того, что Том умеет так ловко писать и так красно выражаться. Он вытащил из отворота своей куртки булавку и хотел уже уколоть себе палец, но Том остановил его:

— Погоди! Булавка-то медная. На ней может быть ярь-медянка.

— Ярь-медянка? А это что за штука?

— Яд такой. Попробуй проглотить — увидишь.

Том размотал нитку с одной из своих иголок, и оба мальчика по очереди укололи себе большие пальцы и выдавили по капле крови.

Проделав это несколько раз и пользуясь мизинцем вместо пера, Том вывел внизу начальные буквы своего имени, затем научил Гекльберри, как писать Г. и Ф., и клятва была принесена. Они торжественно, с разными церемониями и заклинаниями зарыли дощечку возле самой стены, считая, что теперь оковы, связывающие их языки, уже навеки замкнуты на ключ, а самый ключ заброшен далеко-далеко.

Сквозь большой пролом в другом конце полуразрушенного здания прокралась какая-то фигура, но мальчики не заметили ее.

— Том,—прошептал Гекльберри,— ты уверен, что после этого мы уже не проболтаемся... никогда?

— Разумеется, уверен. Что бы ни случилось, теперь мы — молчок. А иначе мы тут же упадем мертвыми на месте. Разве ты забыл?

— Да... в самом деле... конечно.

Еще некоторое время они продолжали шептаться. Вдруг невдалеке за стеной, всего в каких-нибудь десяти шагах, уныло и протяжно завыла собака. Мальчики в безумном ужасе прижались друг к другу.

— Кому это она воет? — еле дыша, прошептал Гекльберри.— Тебе или мне?

— Не знаю... посмотри в щелку! Да живее!

— Нет, ты посмотри!

— Не могу... не могу я, Гек!

— Ну же, Том... слышишь, она опять!

— Господи, как я рад! — прошептал Том.— Я узнаю ее... по голосу: это Булл Харбисон[1].

— Ну, слава богу! Знаешь, я прямо насмерть перепугался — я думал, это собака бродячая.

Собака завыла снова. У мальчиков опять упало сердце.

— Ох, нет! Это не она,— прошептал Гекльберри.— Погляди-ка, Том!

Том, трепеща от страха, приложил глаза к щелке и еле слышно промолвил:

— Ой, Гек, это бродячая собака!

— Смотри, Том, смотри поскорее: на кого она воет?

— Должно быть, на нас обоих, Гек. Ведь мы рядом, совсем близко друг к дружке...

— Ох, Том, мы пропали! Уж я знаю, куда попаду. Я был такой грешник, такой скверный мальчишка...

— А я? Так мне и надо! Вот что значит не ходить в школу и делать, чего не велят... Я мог бы стать таким же хорошим, как Сид, если б только постарался как следует, да нет, не старался, нет, нет... Ну, если только я спасусь от беды на этот раз, я буду дневать и ночевать в воскресной школе!

Том начал тихонько всхлипывать.

— Это ты-то скверный? — И Гекльберри тоже захныкал.— Ты, Том Сойер, черт возьми, сущий ангел в сравнении со мной! О боже, боже, хотел бы я хоть вполовину быть таким «скверным» как ты!

Том проглотил слезы и шепнул:

---

[1] Если бы у мистера Харбисона был раб, по имени Булл, Том сказал бы о нем «Булл Харбисона», но если имя Булл принадлежало сыну или псу этого господина, каждого из них называли Булл Харбисон. *(Примеч. Марка Твена.)*

— Смотри, Гекки, смотри! Она стоит к нам з а д о м!

Гек посмотрел, и сердце его наполнилось радостью:

— Да, задом... Вот здóрово! Она так и раньше стояла?

— Ну да, а я, дурак, не заметил. Вот хорошо! Но на кого она воет?

Вой прекратился. Том навострил уши.

— Тс! Что это? — шепнул он.

— Вроде как бы хрюкает свинья... Нет, Том, это кто-то храпит...

— Верно! Где же он храпит, Гек?

— По-моему, в том конце. Храп как будто идет оттуда. Там ночевал иногда отец вместе со свиньями, но это не он. Он, бывало, так захрапит, что держись — с ног сшибет! К тому же, я думаю, что ему уже не вернуться в наш город.

Жажда приключений снова ожила в мальчиках.

— Гек, ты пойдешь поглядеть, если я пойду впереди?

— Неохота мне, Том. А вдруг там Индеец Джо?

Том оробел. Но искушение было слишком сильно, и мальчики решили пойти посмотреть, уговорившись тотчас же повернуть и дать тягу, если только храп прекратится. На цыпочках, один за другим, они стали подкрадываться к спящему. Не доходя нескольких шагов, Том наступил на какую-то палку; она сломалась и громко хрустнула. Спящий застонал, повернулся, и его лицо попало в полосу лунного света. Это был Мефф Поттер. У мальчиков кровь застыла в жилах, и они ужасно оробели, когда спящий пошевелился; но теперь все их страхи рассеялись. Они тихонько прошмыгнули сквозь пролом, прошли вместе несколько шагов и уже были готовы разойтись, как вдруг в ночной тишине снова раздался зловещий протяжный вой. Они оглянулись и увидели незнакомую собаку, стоявшую в двух шагах от того места, где лежал Поттер; ее морда была обращена к нему, а нос был поднят к небу.

— Так это она на н е г о! — в один голос воскликнули мальчики.

— А знаешь, Том? Говорят, около дома Джонни Миллера выла бродячая собака как раз в полночь,— уже недели две тому назад,— и козодой[1] влетел к нему в комнату, сел на перила лестницы и запел в тот же вечер, а до сих пор никто у них в доме не умер.

— Да, я знаю. Ну, так что ж из того? Ведь Греси Миллер в ту же субботу упала в камин и страшно обожглась.

— Да, но она не умерла. И не только н е у м е р л а, а наоборот, поправляется.

---

[1] К о з о д о й — полуночная птица.

— Ладно, погоди, увидишь, что будет. Ее дело пропащее, все равно как и Меффа Поттера. Так говорят негры, а уж они эти дела понимают.

И мальчики расстались в раздумье.

Когда Том влезал в окно своей спальни, ночь подходила к концу. Раздеваясь, он принял все меры, чтобы не шуметь, и, засыпая, поздравил себя с тем, что никто не узнал о его смелых проделках. Ему и в голову не приходило, что тихо храпевший Сид на самом деле не спал, и не спал уже около часа.

Когда Том открыл глаза, Сид успел уже одеться и уйти. Час был поздний: и воздух, и солнечный свет ясно говорили об этом. Том был поражен. Почему его не разбудили, почему не растормошили, как всегда? Эта мысль наполнила его дурными предчувствиями. В пять минут он оделся и сошел вниз, хотя его клонило ко сну и он чувствовал во всем теле усталость. Семья еще сидела за столом, но завтрак уже кончился. Никто не сказал Тому ни одного слова упрека, но все глаза были отвращены от него, и в комнате стояла такая торжественная тишина, что сердце преступника пронзил леденящий холод. Он сел и старался казаться веселым. Напрасный труд — никакого отклика! Никто даже не улыбнулся, и он тоже погрузился в молчание, и сердце его сжала тоска.

После завтрака тетка отвела его в сторону, и Том почти повеселел, так как его осенила надежда, что дело ограничится розгами; но вышло не так. Тетя Полли стала плакать и жаловаться. Она спросила, как у него хватило духу разбить ее старое сердце, и в конце концов сказала ему, что теперь он может делать все, что угодно: губить себя, покрывать позором ее седины, свести ее в могилу,— все равно исправлять его бесполезно; она уж и пытаться не станет. Это было хуже, чем тысяча розог, и сердце у Тома заныло еще больше, чем тело. Он тоже плакал, просил прощения, снова и снова обещал исправиться и наконец был отпущен, но чувствовал, что простили его не совсем и что прежнего доверия к нему нет.

Он ушел прочь и был так несчастен, что даже не испытывал желания отомстить Сиду, и тот совершенно напрасно поспешил улизнуть от него через заднюю калитку. Том приплелся в школу печальный и мрачный и вместе с Джо Гарпером подставил спину под розги за то, что вчера не явился в школу. Во время экзекуции у него был вид человека, душа которого удручена более тягостным горем и совершенно не чувствительна к таким пустякам. Вернувшись на свое место, он облокотился на парту и, подпирая подбородок руками, уставился в стену каменным взглядом, выражавшим страдание, дошедшее до последних пределов. Под локтем он почувствовал какой-то твердый предмет. Том

долго не глядел на него. Наконец уныло переменил положение и со вздохом взял этот предмет. Он был завернут в бумагу. Том развернул ее. Глубокий, протяжный, огромный вздох вырвался у него из груди — и сердце его разбилось. То была его медная шишечка от каминной решетки!

Последняя соломинка сломала спину верблюда.

Глава одиннадцатая

ТОМ ИСПЫТЫВАЕТ МУКИ СОВЕСТИ

Около полудня весь город был внезапно взбудоражен ужасной новостью. Не надо было и телеграфа, о котором в ту пору не мечтали,— весть эта переходила от человека к человеку, от толпы к толпе, от дома к дому с почти телеграфной быстротой. Разумеется, учитель отпустил школьников домой: весь город счел бы странным, если бы учитель не догадался об этом.

Возле убитого нашли окровавленный нож, и, как рассказывали, кто-то признал, что нож принадлежит Меффу Поттеру. Говорили также, что ночью, часов около двух, один запоздалый горожанин, возвращаясь домой, видел, как Поттер умывался в ручье, и что Поттер, завидя его, тотчас же куда-то исчез,— обстоятельство подозрительное, в особенности умывание: оно было делом весьма необычным для Поттера. Говорили также, что уже обшарили весь город, разыскивая «убийцу» (обыватели всегда очень быстро находят улики и выносят приговоры), но нигде не могли его найти. По всем направлениям разосланы верховые, и шериф[1] «уверен», что преступника поймают до ночи.

Весь город устремился на кладбище. Том забыл о своем разбитом сердце и присоединился к толпе — не потому, что у него было такое желание, он предпочел бы оказаться за тысячу миль,— но его влекла туда роковая, необъяснимая сила. Придя на это страшное место, он легко проскользнул вперед и снова увидел то же мрачное зрелище. Ему казалось, что с тех пор, как он был здесь, прошла целая вечность. Кто-то ущипнул его за руку. Он оглянулся и встретился глазами с Гекльберри. Тотчас же оба стали смотреть в разные стороны, тревожно вопрошая себя, не заметил ли кто, как они переглянулись друг с другом. Но все были заняты разговорами и не отрывали глаз от ужасного зрелища.

«Бедный малый!», «Несчастный молодой человек!», «Вот урок похитителям трупов!», «Не миновать Меффу Поттеру висе-

[1] Шериф — должностное лицо, исполняющее в округе обязанности судьи или полицейского.

лицы, если его удастся поймать!» — слышалось со всех сторон. А священник сказал:

— Так судил господь, тут десница всевышнего.

Том содрогнулся с головы до ног, так как взор его упал на неподвижное лицо Индейца Джо. В это мгновение толпа забурлила и подалась назад. Послышались крики:

— Это он, он! Он идет сюда сам!

— Кто, кто? — завопили двадцать голосов.

— Мефф Поттер!

— Смотрите, остановился... Следите за ним — он хочет уйти. Держите его, не пускайте!

Зеваки, сидевшие на деревьях над головой Тома, сообщили, что Мефф Поттер и не думает уходить — он только смущен и не знает, что делать.

— Бесстыдная наглость! — заметил один из зрителей.— Пришел, чтобы тихо и мирно полюбоваться своим злодеянием... не ожидал, что здесь будет народ.

Толпа расступилась, и к могиле торжественно приблизился шериф, ведя Поттера за руку. Лицо несчастного сильно осунулось, и его глаза выражали мучительный страх. Когда он увидел убитого, он затрясся, словно его хватил паралич, закрыл лицо руками и заплакал.

— Не я это сделал, друзья мои,— говорил он рыдая,— даю вам честное слово, не я...

— Кто же тебя обвиняет? — загремел чей-то голос.

Стрела попала в цель. Поттер поднял голову и осмотрелся вокруг с горькой безнадежностью во взоре. Он увидел Индейца Джо и воскликнул:

— Ну, Индеец Джо! Ты же обещал, что никогда...

— Это ваш нож? — И шериф поднес к самому его лицу орудие убийства.

Поттер упал бы, если бы его не подхватили и не усадили тихонько на землю. Потом он сказал:

— Что-то говорило мне, что если я не вернусь сюда и не найду...— Он вздрогнул и, безнадежно махнув рукой, промолвил: — Скажи им, Джо, скажи им,— теперь уж нечего...

Гекльберри и Том онемели от ужаса и не отрывая глаз глядели на бессердечного лгуна, когда он повел свой хладнокровный рассказ об убийстве. Каждую минуту они ожидали, что вот с безоблачного неба на его голову низвергнется молния, и дивились, почему так медлит божья кара. Когда же он и по окончании рассказа остался цел и невредим, у них возникло робкое желание нарушить клятву и спасти жизнь несправедливо обвиненному Поттеру, но это желание увяло и скоро совсем исчезло, потому, что им сделалось ясно, что этот негодяй Джо продал душу дьяволу, а с дьяволом шутки плохи: только сунься в его дела — и сгинешь на веки веков.

Кто-то спросил Поттера:

— Почему же ты не убежал? Зачем пришел сюда?

— Я не мог иначе... не мог! — простонал Поттер.— Я и хотел убежать, но сами ноги привели меня сюда!

И он зарыдал опять.

Через несколько минут на следствии Индеец Джо столь же спокойно повторил свое показание под присягой, и мальчики, видя, что небесные молнии так-таки и не поразили его, окончательно убедились, что Джо продал себя сатане. Он вдруг сделался в их глазах самым интересным, хотя и самым страшным существом на земле, и они не могли отвести от его лица зачарованных глаз.

Про себя они решили следить за ним по ночам, когда представится случай, в надежде как-нибудь хоть мельком увидеть его ужасного повелителя — дьявола.

Индеец Джо помог поднять с земли тело убитого и уложить в повозку, чтобы увезти его прочь. В толпе пробежал трепет: все стали шептать, что как раз в эту минуту из раны просочились капли крови[1]. Мальчики подумали было, что эта счастливая случайность укажет толпе истинного убийцу, но им пришлось разочароваться, потому что многие тут же сказали:

— Все это потому, что Мефф Поттер стоял в трех шагах от убитого.

Страшная тайна и угрызения совести целую неделю не давали Тому спать по ночам, и однажды утром во время завтрака Сид сказал:

— Том, ты так вертишься и так много болтаешь во сне, что я из-за тебя не мог уснуть...

Том побледнел и потупил глаза.

— Это дурной знак,— серьезно сказала тетя Полли.— Что у тебя на уме, Том?

— Ничего! Ничего особенного!

Однако рука мальчика дрогнула так, что он пролил на скатерть свой кофе.

— И мелешь ты все такой вздор,— продолжал Сид.— Нынче ночью ты, например, зарядил: «Это кровь, это кровь, вот что это такое!» И опять, и опять, без конца. А потом: «Не мучьте меня так,— я скажу». Скажешь? Что такое ты скажешь?

Все поплыло перед Томом. Трудно сказать, чем бы это могло кончиться, но, к счастью, тревожное выражение сошло с лица тети Полли, и она, сама того не зная, пришла Тому на выручку. Она сказала:

— Ох! Это все из-за того страшного убийства. Мне и самой оно снится чуть не каждую ночь. Иногда я вижу во сне, что убийца — я.

Мери сказала, что то же самое бывает и с ней. Сид, по-видимому, удовлетворился этим объяснением. Том поспешил уйти под первым благовидным предлогом и после этого целую неделю, притворяясь, что у него болят зубы, стягивал себе челюсть на ночь платком. Он не знал, что Сид нарочно не спит по ночам и нередко, ослабив его повязку и приподнявшись на локте, прислушивается к его словам и потом опять поправляет повязку. Душевная тревога Тома мало-помалу улеглась; зубная боль надоела ему и была отменена. Если Сид и вывел какие-либо заключения из отрывистых слов, произносимых его братом во сне, он оставил их при себе.

---

[1] Существует старинное поверье, что если к трупу убитого приблизится убийца, раны на теле убитого начнут кровоточить.

Тому казалось, что его товарищи никогда не перестанут производить следствие над дохлыми кошками,— эта забава всякий раз напоминала ему о страшном событии. Сид подглядел, что в этой игре Том никогда не выступает в качестве главного следователя, хотя до сих пор Том очень любил, чтобы во всех играх первые роли предоставлялись ему. Сид точно так же подметил, что Том уклоняется и от роли свидетеля; в этом тоже была какая-то странность. Не ускользнуло от Сида и то обстоятельство, что Тому вообще эти игры противны и что он уклоняется от них при малейшей возможности. Сид ломал себе голову над этими загадками, но не говорил ничего. Впрочем, подобные игры в конце концов вышли из моды и перестали терзать совесть Тома.

В это печальное время Том чуть не каждый день, улучив удобную минуту, пробирался к маленькому решетчатому оконцу тюрьмы, в которой был заключен «убийца», и контрабандой приносил ему разные лакомства, какие удавалось добыть. Тюрьмой было невзрачное кирпичное зданьице, которое стояло у болота, на краю городка. Сторожа при ней не полагалось, да в ней и заключенных почти никогда не бывало. Эти маленькие подарки значительно успокаивали совесть Тома.

У обитателей городка было сильное желание наказать Индейца Джо за похищение трупов: вымазать его дегтем, вывалять в перьях и вывезти из города верхом на шесте. Но он внушал такой страх, что не находилось никого, кто решился бы взять на себя в этом деле почин, а потому оно не состоялось. На обоих допросах метис начинал свой рассказ прямо с драки, не упоминая о предварительном похищении трупа; поэтому сочтено было за лучшее до поры до времени не привлекать его к суду.

Глава двенадцатая

КОТ И «БОЛЕУТОЛИТЕЛЬ»

У Тома появились новые большие тревоги: Бекки Тэчер перестала ходить в школу. Эти-то тревоги и отвлекли его ум от мучительной тайны, волновавшей его. Том несколько дней пытался разжечь в себе гордость и выбросить Бекки из головы, но это ему не удавалось. Он начал бродить по вечерам вокруг ее дома и чувствовал себя очень несчастным. Она заболела. Что, если она умрет? Эта мысль удручала его. Он перестал интересоваться военными стычками, и даже морские пираты уже не увлекали его. Очарование жизни исчезло, осталась одна тоска. Он забросил обруч и палку: они не давали ему былых наслаж-

дений. Его тетка встревожилась и стала его лечить, пробуя на нем всевозможные средства. Она принадлежала к числу тех людей, которые страстно увлекаются всякими патентованными снадобьями и новоизобретенными лечебными методами. Без устали проделывала она всевозможные медицинские опыты. Как только в этой области появлялось что-нибудь свежее, она жаждала испробовать новинку — не на себе, потому что никогда не хворала, но на первом, кто попадался ей под руку. Она выписывала все медицинские журнальчики, жульнические брошюрки френологов[1], и величавое невежество, наполнявшее их, было для нее слаще меда. Их бредни о вентиляции комнат и о том, как нужно ложиться в постель, и как подниматься с постели, и что есть, и что пить, и сколько нужно делать моциону, и какое поддерживать в себе состояние духа, и какую одежду носить,— все это было для нее непререкаемой истиной, и она никогда не замечала, что журналы, полученные в нынешнем месяце, ниспровергают все то, что сами же рекомендовали в прошлом. Она была честна и простодушна — и потому легко становилась их жертвой. Она собирала все шарлатанские журналы и все шарлатанские снадобья и, говоря фигурально, вооруженная смертью, мчалась на бледном коне, «а за нею все силы ада». Она очень удивилась бы, если бы узнала, что для своих страждущих соседей она не ангел-целитель и не «ханаанский бальзам»[2].

В то время только что входило в моду водолечение, и удрученное состояние Тома подвернулось как раз кстати. Тетка поднимала его с постели чуть свет, уводила в дровяной сарай, окатывала целым ливнем холодной воды и растирала полотенцем, жестким, как скребница; потом обвертывала его мокрой простыней и укрывала одеялами, чтобы довести его до седьмого пота, и несчастный потел так, что, по его собственному выражению, «у него все желтые пятна души выступали наружу сквозь поры».

Несмотря на все это, мальчик бледнел и хирел, и вид у него был очень печальный. Тетка присоединила к прежнему лечению горячие ванны, «сидячие» ванны, души и обливания. Но мальчик оставался унылым, как погребальные дроги. Чтобы помочь воде, тетка стала кормить его жидкой овсянкой и облепила нарывными пластырями. Кроме того, она ежедневно наполняла его, словно кувшин, всевозможными шарлатанскими снадобьями.

---

[1] Ф р е н о́ л о г и — мнимые ученые, утверждавшие, что форма черепа человека выражает его умственные и душевные качества.

[2] «Х а н а а н с к и й б а л ь з а м» — легендарное лечебное средство, якобы исцеляющее от всех болезней.

Понемногу Том стал вполне равнодушен ко всем пыткам. Это равнодушие вселило в сердце старухи тревогу. Необходимо было во что бы то ни стало вывести Тома из такого бесчувствия. Как раз в это время она впервые услыхала о новом лекарстве, «болеутолителе», и тотчас же выписала это лекарство в огромном количестве. Отведала его и обрадовалась: то был настоящий огонь в жидком виде. Она бросила водолечение, отказалась от всяких лекарств и возложила все надежды на новое снадобье. Она дала Тому выпить полную чайную ложку и с замиранием сердца стала ждать результатов. Тревога ее моментально прошла и душа успокоилась, ибо «равнодушие» Тома, несомненно, в одну секунду исчезло. Если бы она посадила его на горячие угли, он не мог бы стать более оживленным и пылким.

Том почувствовал, что пора на самом деле проснуться от спячки. Такая жизнь вполне соответствовала его горестному настроению, но в ней было слишком много разнообразия и слишком мало пищи для души. Он стал придумывать всевозможные способы избавиться от этого бедствия и наконец напал на мысль притвориться, будто «болеутолитель» пришелся ему по вкусу: он стал так часто просить новую порцию снадобья, что тетке это надоело, и она сказала, чтоб он сам принимал его, когда вздумается, а ее оставил в покое. Будь это Сид, к ее радости не примешивалось бы никакой тревоги, но, так как дело касалось Тома, она стала потихоньку наблюдать за бутылкой. Лекарства действительно становилось все меньше, но ей и в голову не приходило, что Том лечит не себя, а щель в полу гостиной.

Однажды, когда он лечил таким образом щель, к нему подошел теткин рыжий кот, замурлыкал и, жадно поглядывая на чайную ложку, попросил, чтобы ему дали попробовать.

— Ой, Питер, не проси, если тебе не хочется!

Питер дал понять, что ему хочется.

— Смотри не ошибись... пожалеешь...

Питер выразил уверенность, что ошибки здесь нет никакой.

— Ну, если ты просишь, я дам, я не жадный, но только смотри: не понравится — пеняй на себя.

Питер согласился на эти условия. Том раскрыл ему рот и влил туда ложку «болеутолителя». Питер подскочил вверх на два ярда, затем издал воинственный клич и заметался кругами по комнате, налетая на мебель, опрокидывая цветочные горшки и поднимая страшный кавардак. Затем он встал на задние лапы и заплясал на полу в припадке безумной радости, закинув голову и вопя на весь дом о своем безмятежном блаженстве. Затем он опять заметался по комнате, неся на своем пути разрушение и хаос. Тетя Полли вошла как раз в ту минуту, когда он, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, исполнил свой за-

ключительный номер: крикнул во все горло «ура» и выскочил в окно, увлекая за собой остальные горшки. Старая леди окаменела от изумления, оглядывая комнату поверх очков, а Том катался по полу, изнемогая от смеха.

— Что такое с нашим котом?

— Не знаю, тетя,— едва мог пролепетать Том.

— В жизни своей не видала подобных чудес! С чего это он так ошалел?

— Право же, не знаю, тетя Полли. Кошки всегда кувыркаются, когда у них какая-нибудь радость.

— Неужели?

В голосе тети Полли было что-то такое, что заставило Тома насторожиться.

— Да, 'м. То есть я так думаю.

— Ты так думаешь?

— Да, 'м.

Старушка нагнулась. Том с интересом и тревогой следил за ее движениями, но слишком поздно догадался, к чему она клонит. Из-под полога кровати торчала улика — чайная ложка. Тетя Полли вытащила ее оттуда и потрясла над его головой. Том вздрогнул и опустил глаза. Тетя Полли подняла его с полу за обычную рукоятку — за ухо — и больно стукнула по голове наперстком.

— Ну, сэр, извольте объяснить, за что вы так мучаете бессловесную тварь?

— Я дал ему лекарство из жалости... потому что у него нет тетки.

— Нет тетки! Что за вздор ты городишь, глупец! При чем здесь тетка?

— Как — при чем! Будь у него тетка, она выжгла бы ему все потроха, припекла бы ему все кишки без пощады... Она не поглядела бы, что он кот, а не мальчик!..

Тетя Полли ощутила угрызения совести. Ее лечение представилось ей в новом свете: то, что было жестокостью по отношению к коту, могло быть жестокостью и по отношению к ребенку. Сердце ее стало смягчаться, и она устыдилась. Слезы выступили у нее на глазах, и, положив руку на голову Тома, она мягко сказала:

— Я ведь старалась для твоей же пользы, Том. И это п р и н е с л о тебе пользу.

Том серьезно посмотрел ей в лицо. Только углы его рта вздрагивали еле заметной усмешкой.

— Я знаю, тетя, что вы желали мне добра, да и я Питеру тоже. Это принесло и е м у пользу. Я никогда еще не видывал, чтобы он так лихо танцевал...

— Ну, будет, будет, Том, не раздражай меня снова. Веди себя хорошенько, будь умницей... и больше тебе не будет лекарств.

Том пришел в школу до начала уроков. Все заметили, что такие необычайные случаи повторяются за последнее время каждый день. И сегодня, как всегда в эти дни, вместо того чтобы играть с товарищами, мальчик околачивался на школьном дворе, у ворот. Отказываясь от игр, он объяснял, что ему нездоровится, и вид у него действительно был очень болезненный. Он притворялся, что смотрит по сторонам, но на самом деле все время смотрел на дорогу. Как только вдали показался Джефф Тэчер, Том просиял, но через минуту лицо его сделалось снова печальным. Когда Джефф вошел в ворота, Том подбежал к не-

му, всячески стараясь навести его на разговор о Бекки, но тот был туповат и не понял его намеков. Том все ждал и ждал, проникаясь надеждой всякий раз, как вдали показывалось развевающееся платьице, и всем сердцем ненавидел ту, кому принадлежало оно, как только убеждался, что она не Бекки. Наконец платьица перестали показываться, и Том окончательно приуныл. Грустный и задумчивый, он вошел в пустой класс и уселся на свое место — страдать. В это время у ворот мелькнуло еще одно платье, и у Тома ёкнуло сердце. Миг — и он уже был во дворе, неистовствуя, как индеец: он кричал, хохотал, гонялся за мальчишками, прыгал через забор с опасностью для жизни, кувыркался, ходил на голове — словом, совершал всевозможные геройские подвиги, все время при этом поглядывая в сторону Бекки — смотрит ли она? Но она, казалось, не обращала на все это никакого внимания и ни разу не посмотрела в его сторону. Неужели она не замечает его? Он стал совершать свои подвиги поближе к ней. Он носился вокруг нее с боевыми криками, сорвал с кого-то кепку и забросил ее на крышу, врезался в толпу мальчишек, расшвырял их в разные стороны, растянулся на земле перед самым носом у Бекки и чуть не сбил ее с ног. Она отвернулась, вздернула нос и сказала:

— Пф! Некоторые воображают, что они интереснее всех... и всегда петушатся...

Щеки у Тома вспыхнули. Он поднялся с земли и, понурый, раздавленный, медленно побрел прочь.

Глава тринадцатая

ШАЙКА ПИРАТОВ ПОДНИМАЕТ ПАРУСА

Том принял твердое, бесповоротное решение. В душе у него был мрак безнадежности. Он говорил себе, что он одинок, всеми покинут, что никто в мире не любит его. Потом, когда люди узна́ют, до чего они довели его, может быть, они раскаются и пожалеют о нем. Он старался быть хорошим и делать добро, но ему не хотели помочь. Если уж им надо непременно избавиться от него — что ж, он уйдет, и пусть бранят е г о сколько хотят. Сделайте одолжение, браните! Разве одинокий, всеми брошенный мальчик имеет какое-нибудь право роптать? Он не хотел, но приходится. Они сами вынудили его стать на путь преступлений. Иного выбора у него нет.

Он дошел уже почти до конца Лугового переулка, и звон школьного колокола, сзывавшего в классы, еле долетел до него. Том всхлипнул при мысли, что никогда-никогда больше не услы-

шит хорошо знакомого звона. Это было тяжко, но что же делать — его заставляют. Его, бесприютного, гонят блуждать по пустынному миру — и тут ничего не поделаешь. Но он прощает им всем... да, прощает. Тут его всхлипывания стали сильнее и чаще.

Как раз в эту минуту он повстречался со своим лучшим другом Джо Гарпером. У того тоже были заплаканные глаза и в душе, очевидно, созрел великий и мрачный план. Несомненно, они представляли собой «две души, окрыленные единой мечтою». Том, вытирая глаза рукавом, поведал о своем решении уйти из дому, где так жестоко обращаются с ним и где он ни в ком не встречает сочувствия,— уйти и никогда не возвращаться. В заключение он выразил надежду, что Джо не забудет его.

Но тут обнаружилось, что Джо и сам собирался просить своего друга о том же и давно уже ищет его. Мать отстегала Джо за то, что он будто бы выпил какие-то сливки, а он не пробовал их и даже в глаза не видал. Очевидно, он ей надоел и она хочет от него отвязаться. Если так, ему ничего не остается, как исполнить ее желание: он надеется, что она будет счастлива и никогда не пожалеет о том, что выгнала своего бедного мальчика к равнодушным и бесчувственным людям, чтобы он страдал и умер.

Оба страдальца шли рядом, поверяя свои скорби друг другу. Они уговорились стоять друг за друга, как братья, и никогда не расставаться, пока смерть не избавит их от мук. Затем они принялись излагать свои планы. Джо хотел бы уйти в отшельники, жить в уединенной пещере, питаясь сухими корками, и умереть от холода, нужды и душевных терзаний, но, выслушав Тома, признал, что преступная жизнь имеет свои преимущества, и согласился сделаться пиратом.

В трех милях от Санкт-Петербурга, там, где река Миссисипи достигает более мили ширины, есть длинный, узкий, поросший деревьями остров с песчаной отмелью у верхнего конца — вполне подходящее место для изгнанников. Остров был необитаем и лежал ближе к противоположному берегу, поросшему густым, дремучим лесом, где тоже не было ни одного человека. Потому-то они и решили поселиться на этом острове — острове Джексона. Им и в голову не пришло спросить себя, кто будет жертвами их пиратских набегов. Затем они разыскали Гекльберри Финна, и он охотно присоединился к их шайке; Геку было все равно, какую карьеру избрать, он был к этому вполне равнодушен. Они расстались, уговорившись встретиться на берегу реки, в уединенном месте на две мили выше городка, в свой излюбленный час, то есть в полночь. Там, у берега, был виден небольшой бревенчатый плот, который они решили похи-

тить. Условлено было, что каждый захватит с собой удочки и рыболовные крючки, а также съестные припасы, те, какие удастся украсть — по возможности, самым загадочным и таинственным образом, как и подобает разбойникам. Еще до вечера каждый из них успел с наслаждением распространить среди товарищей весть, что скоро в городе «кое-что услышат». Все, кому был дан этот туманный намек, получили также приказ «держать язык за зубами и ждать».

Около полуночи Том явился с вареным окороком и еще кое-какой провизией и притаился в густой заросли на невысокой круче у самого берега. С кручи было видно то место, где они должны были встретиться. Было тихо, сияли звезды. Могучая река покоилась внизу, как спящий океан. Том прислушался — ни звука. Тогда он тихо, протяжно свистнул. Снизу донесся ответный свист. Том свистнул еще два раза, и ему снова ответили. Потом чей-то приглушенный голос спросил:

— Кто идет?

— Том Сойер, Черный Мститель Испанских морей. Назовите ваши имена!

— Гек Финн, Кровавая Рука, и Джо Гарпер, Гроза Океанов.

Эти прозвища Том позаимствовал из своих излюбленных книг.

— Ладно. Скажите пароль!

Потом чей-то приглушенный голос спросил:

— Кто идет?

— «К р о в ь»!

Том швырнул сверху свой окорок и сам скатился вслед за ним, разодрав и кожу и одежду. С кручи можно было спуститься по отличной, очень удобной тропинке, бегущей вдоль берега, но она, к сожалению, была лишена тех опасностей, которые так ценят пираты. Гроза Океанов раздобыл огромный кусок свиной грудинки и еле дотащил его до места. Финн Кровавая Рука стянул где-то сковороду и целую пачку полусырых табачных листьев, а также несколько стеблей маиса, чтобы заменить ими трубки, хотя, кроме него, ни один из пиратов не курил и не жевал табаку. Черный Мститель Испанских морей объявил, что нечего и думать пускаться в путь без огня. Это была благоразумная мысль: спички в таких отдаленных местах были в те времена еще мало известны. В ста шагах выше по течению мальчики увидели костер, догорающий на большом плоту, подкрались к нему и стащили головню. Из этого они устроили целое приключение: поминутно «цыкали» друг на друга и прикладывали пальцы к губам, призывая к безмолвию, хватались руками за воображаемые рукоятки кинжалов и зловещим шепотом

К стр. 35

приказывали, если только «враг» шевельнется, «всадить ему нож по самую рукоятку», потому что «мертвый не выдаст». Мальчуганы отлично знали, что плотовщики ушли в город и либо шатаются по лавкам, либо пьянствуют — все же им не было бы никакого оправдания, если бы они вели себя не так, как полагается заправским пиратам.

Затем они двинулись в путь. Том командовал. Гек работал кормовым веслом, Джо — носовым. Том стоял на середине корабля. Мрачно нахмурив брови, скрестив руки на груди, он командовал негромким, суровым шепотом:

— Круче к ветру!.. Уваливай под ветер!

— Есть, сэр!

— Так держать!

— Есть, сэр!

— Держи на румб![1]

— Есть держать на румб, сэр!

Так как мальчики ровно и спокойно гребли к середине реки, все эти приказания отдавались «для виду» и ничего, собственно, не означали.

— Какие подняты на корабле паруса?

— Нижние, марсели и бом-кливера, сэр!

— Поднять бом-брамсели! Живо! Десяток матросов на форстень-стаксели! Пошевеливайся!

— Есть, сэр!

— Распусти грот-брамсель! Шкоты и брасы! Поживей, молодцы!

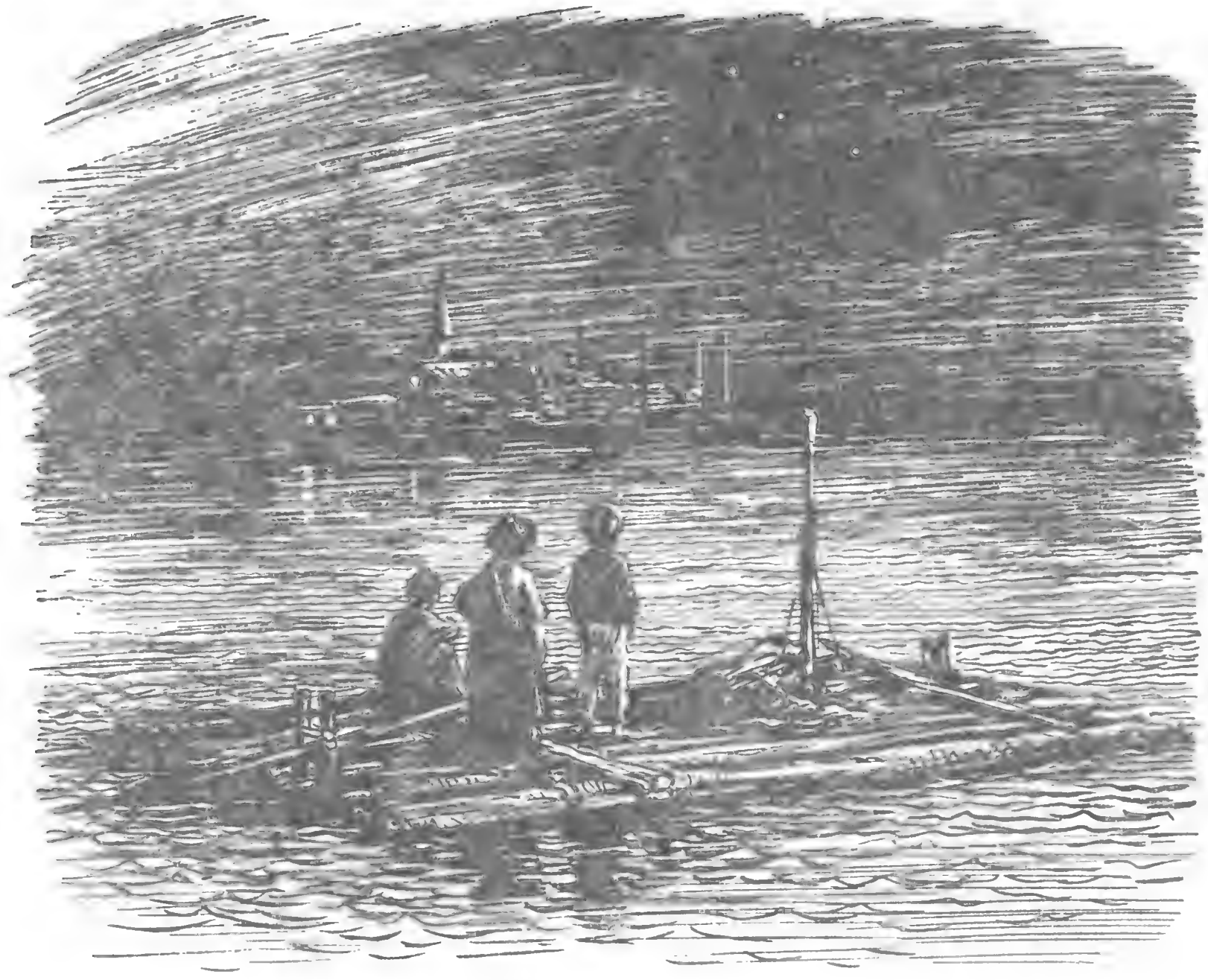
— Есть, сэр!

— Клади руль под ветер! Лево на борт! Будь наготове, чтобы встретить врага! Лево руля! Ну, молодцы! Навались дружней! Так держать!

— Есть, сэр!

Плот миновал середину реки, мальчики направили его по течению и положили весла. Уровень воды в реке был невысок, так что течение оказалось не особенно сильное: две или три мили в час. Минут сорок мальчики плыли в глубоком молчании. Как раз в это время они проходили мимо своего городка, который был теперь так далеко. Городок мирно спал. Только по двум-трем мерцающим огонькам можно было угадать, где он лежит — над широким туманным простором воды, усеянной алмазами звезд. Спящим жителям и в голову не приходило, какое великое событие совершается в эту минуту. Черный Мститель Испанских морей все еще стоял неподвижно, скрестив на груди руки и «глядя в последний раз» на то место, где некогда он знал столько радостей, а потом изведал столько мук. Ему страш-

[1] Румб — каждое из тридцати двух делений на круге компаса.



но хотелось, чтобы о н а увидела, как он несется по бурным волнам и безбоязненно глядит в лицо смерти, идя навстречу гибели с мрачной улыбкой. Тому не потребовалось большого усилия фантазии, чтобы вообразить, будто с острова Джексона не видать городка, будто сам он далеко-далеко и «в последний раз» глядит на родные места с разбитым и в то же время торжествующим сердцем... Остальные пираты тоже навеки прощались с родными местами, так что их чуть было не пронесло мимо острова; но они вовремя заметили опасность и предупредили ее. Около двух часов ночи плот сел на песчаную отмель ярдах в двухстах от верхней оконечности острова, и они долго ходили взад и вперед по колено в воде, пока не перетаскали туда всю добычу. На плоту был старый парус; они сняли его и натянули между кустами вместо навеса, чтобы укрыть провиант; сами они в хорошую погоду будут спать под открытым небом — как и подобает разбойникам.

Они развели костер около упавшего дерева в мрачной чаще леса, шагах в двадцати — тридцати от опушки, поджарили себе на сковороде немного свинины на ужин и съели половину всего запаса кукурузных лепешек. Ах, какое великое счастье — пи-

ровать на приволье, в девственном лесу, на неисследованном и необитаемом острове, вдали от людского жилья! Никогда не вернутся они к цивилизованной жизни. Вспыхивающий огонь освещал их лица и бросал красноватый отблеск на деревья — эту колоннаду их лесного храма,— на глянцевитые листья и на гирлянды дикого винограда. Когда были съедены последние кусочки грудинки и последние ломти кукурузных лепешек, мальчики в приятнейшем расположении духа растянулись на траве. Правда, они могли бы найти более прохладное место, но лежать у костра в лесу так увлекательно, так романтично!

— Ну, р а з в е не славно? — воскликнул Джо.

— Чудесно! — отозвался Том.

— Что сказали бы другие ребята, если бы увидели нас?

— Что? Да они прямо умерли бы от зависти! Правда, Гекки?

— Уж это так! — отвечал Гекльберри.— Не знаю, как другие, а я доволен. Лучше мне не надо. Не каждый день случается набивать себе досыта брюхо, и, кроме того, сюда уж никто не придет и не даст тебе по шее, ни за́ что ни про́ что. И не обругает тебя.

— Такая жизнь как раз по мне,— объявил Том.— Не надо вставать рано утром, не надо ходить в школу, не надо умываться и проделывать всю эту чушь. Видишь ли, Джо, покуда пират на берегу, ему куда легче живется, чем отшельнику: никакой работы, сиди сложа руки. Отшельник обязан все время молиться. И живет он в одиночку, без компании.

— Это верно,— сказал Джо.— Прежде я об этом не думал, а теперь, когда я сделался пиратом, я и сам вижу, что разбойничать куда веселее.

— Видишь ли,— объяснил ему Том,— теперь отшельники не в таком почете, как прежде, а к пирату люди всегда относятся с большим уважением. Отшельники должны непременно носить жесткое рубище, посыпать себе голову пеплом, спать на голых камнях, стоять под дождем и...

— А зачем они посыпают себе голову пеплом,— перебил его Гек,— и зачем наряжаются в рубище?

— Не знаю... Такой уж порядок. Если ты отшельник, хочешь не хочешь, а должен проделывать все эти штуки. И тебе пришлось бы, если бы ты пошел в отшельники.

— Ну нет! Шалишь! — сказал Гек.

— А что бы ты сделал?

— Не знаю... Сказал бы: не хочу — и конец.

— Нет, Гек, тебя и слушать не будут. Такое правило. И как бы ты нарушил его?

— А я бы убежал, вот и все.

— И был бы не отшельник, а олух! Осрамился бы на всю жизнь!

Кровавая Рука ничего не ответил, так как нашел себе более интересное дело. Он уже выдолбил из кукурузного початка трубку, а теперь приладил к ней широкий стебель и, набив ее доверху табачными листьями, как раз в ту минуту прикладывал к ней уголек из костра. Выпустив облако ароматного дыма, он почувствовал себя на вершинах блаженства. Остальные пираты, глядя на него, испытывали жгучую зависть и тайно решили усвоить как можно скорее этот великолепный порок. Гек опять обратился к Тому:

— А что же они делают, пираты?

— О! Пираты живут очень весело: берут в плен корабли и сжигают их, и забирают себе золото, и закапывают его в землю на своем острове в каком-нибудь страшном месте, где его стерегут привидения и всякая нечисть. А матросов и пассажиров они убивают — заставляют их пройтись по доске...[1]

— А женщин увозят к себе на остров,— вставил Джо.— Женщин они не убивают.

— Да,— поддержал его Том,— женщин они не убивают. Они благородные люди. И потом, женщины всегда красавицы.

— И какая на них одежда роскошная — вся в золоте, в серебре, в брильянтах! — восторженно прибавил Джо.

— На ком? — спросил Гек.

— На пиратах.

Гек Финн безнадежным взором оглядел свой собственный наряд.

— Костюм у меня не пиратский,— сказал он с глубокой печалью,— но у меня только этот и есть.

Мальчики утешили его, говоря, что красивого костюма ему ждать недолго: как только они начнут свои набеги, у них будет и золото, и платье, и все. А для начала годятся и его лохмотья, хотя обыкновенно богатые пираты, начиная свои похождения, предварительно запасаются соответствующим гардеробом.

Мало-помалу разговор прекратился: у маленьких беглецов слипались глаза, их одолевала дремота. Трубка выскользнула из пальцев Кровавой Руки, и он заснул сном усталого праведника. Гроза Океанов и Черный Мститель уснули не так скоро. Молитву на сон грядущий они прочитали про себя и лежа, так как некому было заставить их стать на колени и прочитать ее вслух.

---

[1] Пираты завязывали пленным глаза и заставляли их пройти над морем по узкой доске. Обычно пленные срывались с доски и тонули.

Говоря откровенно, они решили было и совсем не молиться, но боялись, что небо ниспошлет на их головы специальную молнию, которая истребит их на месте. Вскоре они стали засыпать. Но как раз в эту минуту в их души прокралась непрошеная, неотвязная гостья, которая называется совестью. Они начали смутно опасаться, что, убежав из дому, поступили, пожалуй, не совсем хорошо; потом они вспомнили об украденном мясе, и тут начались настоящие муки. Они пытались успокоить совесть, напоминая ей, что им и прежде случалось десятки раз похищать из кладовой то конфеты, то яблоко, но совесть находила эти доводы слабыми и не хотела умолкать. Под конец им стало казаться, что стянуть леденец или яблоко — это пустая проделка, но взять чужой окорок, чужую свинину и тому подобные ценности — это уже настоящая к р а ж а, против которой и в Библии есть особая заповедь. Поэтому они решили в душе, что, пока они останутся пиратами, они не запятнают себя таким преступлением, как кража. Тогда совесть согласилась заключить перемирие, и эти непоследовательные пираты тихо и спокойно уснули.

Глава четырнадцатая

ЛАГЕРЬ СЧАСТЛИВЫХ ПИРАТОВ

Проснувшись поутру, Том долго не мог сообразить, где он. Он сел, протер глаза и осмотрелся — лишь тогда он пришел в себя. Был прохладный серый рассвет. Глубокое безмолвие леса было проникнуто восхитительным чувством покоя. Ни один листок не шевелился, ни один звук не нарушал раздумья великой Природы. На листьях и травах бусинками блестела роса. Белый слой пепла лежал на костре, и тонкий синий дымок поднимался прямо над ним. Джо и Гек еще спали.

Далеко в глубине леса крикнула какая-то птица; отозвалась другая; где-то застучал дятел. По мере того как белела холодная серая мгла, звуки росли и множились — везде проявлялась жизнь. Чудеса Природы, стряхивающей с себя сон и принимающейся за работу, развертывались перед глазами глубоко задумавшегося мальчика. Маленькая зеленая гусеница проползла по мокрому от росы листу. Время от времени она приподнимала над листом две трети своего тела, как будто принюхиваясь, а затем ползла дальше.

— Снимает мерку,— сказал Том.

Когда гусеница приблизилась к нему, он замер и стал неподвижен, как камень, и в его душе то поднималась надежда, то падала, в зависимости от того, направлялась ли гусеница прямо

к нему или выказывала намерение двинуться по другому пути. Когда гусеница остановилась и на несколько мучительных мгновений приподняла свое согнутое крючком туловище, раздумывая, в какую сторону ей двинуться дальше, и наконец переползла к Тому на ногу и пустилась путешествовать по ней, его сердце наполнилось радостью, ибо это значило, что у него будет новый костюм — о, конечно, раззолоченный, блестящий пиратский мундир! Откуда ни возьмись, появилась целая процессия муравьев, и все они принялись за работу; один стал отважно бороться с мертвым пауком и, хотя тот был впятеро больше, поволок его вверх по дереву.

Бурая божья коровка, вся в пятнышках, взобралась на головокружительную высоту травяного стебля. Том наклонился над ней и сказал:

Божья коровка, лети-ка домой,—
В твоем доме пожар, твои детки одни.

Божья коровка сейчас же послушалась, полетела спасать малышей, и Том не увидел в этом ничего удивительного: ему было издавна известно, что божьи коровки всегда легкомысленно верят, если им скажешь, что у них в доме пожар; он уже не раз обманывал их, пользуясь их простотой и наивностью. Затем, бодро толкая перед собою свой шар, появился навозный жук, и Том тронул его пальцем, чтобы поглядеть, как он прижмет лапки к телу и притворится мертвым. К этому времени птицы распелись вовсю как безумные. Дрозд, северный пересмешник, уселся на дереве над самой головой Тома и с большим удовольствием принялся передразнивать трели своих пернатых соседей. Как голубой огонек, промелькнула в воздухе крикливая сойка, села на ветку в двух шагах от мальчика, склонила головку набок и с жадным любопытством уставилась на незнакомых пришельцев. Быстро пробежали друг за другом серая белка и другой зверек, покрупнее, лисьей породы. Они по временам останавливались и садились на задние лапки, чтобы глянуть и фыркнуть на нежданных гостей, потому что эти лесные зверушки, по всей вероятности, никогда раньше не видали человека и не знали, бояться его или нет. Теперь уже вся Природа проснулась и начала шевелиться. Длинные копья солнечных лучей там и сям пронизали густую листву. Откуда-то выпорхнуло несколько бабочек.

Том растолкал остальных пиратов; все они с громким криком помчались к реке, мигом сбросили с себя всю одежду — и давай гоняться друг за дружкой, играть в чехарду в неглубокой прозрачной воде, окружающей белую песчаную отмель. Их нисколько не тянуло туда, в городок, еще спавший вдали, за ве-

личавой пустыней воды. Ночью плот смыло; он был унесен либо прихотливым течением, либо незначительным подъемом воды, но мальчишкам это даже доставило радость: теперь было похоже на то, что мост между ними и цивилизованным миром сожжен.

Они вернулись в лагерь удивительно свежие, счастливые и страшно голодные; скоро походный костер запылал у них снова. Гек нашел неподалеку источник чистой холодной воды, мальчики смастерили себе чашки из широких дубовых и ореховых листьев и решили, что вода, подслащенная чарами дикого леса, весьма недурно заменит им кофе. Джо стал нарезать к завтраку ветчину. Но Том и Гек попросили его повременить с этим делом: они побежали к реке, к одному местечку, обещающему неплохую добычу, и забросили удочки. Добыча не заставила себя долго ждать. Джо не успел еще потерять терпение, как они вернулись к костру, таща превосходного карпа, двух окуней, маленького сома — словом, достаточно провизии, чтобы накормить целую семью. Они поджарили рыбу вместе с грудинкой и были поражены: никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что чем скорее изжаришь пресноводную рыбу, тем она приятнее на вкус, и не думали о том, какой прекрасной приправой к еде служит сон в лесу, беготня на открытом воздухе, купанье и в значительной степени — голод.

Позавтракав, они улеглись в тени, подождали, пока Гек выкурит трубочку, а затем отправились в глубь леса на разведку. Они весело шагали через гниющий валежник, продираясь сквозь заросли, между стволами могучих лесных королей, с венценосных вершин которых свисали до самой земли длинные виноградные плети как знаки их царственной власти. Время от времени в чаще попадались прогалины, очень уютные, устланные коврами травы и сверкавшие цветами, как драгоценными камнями.

В пути многое доставляло им радость, но ничего необыкновенного они не нашли. Они установили, что остров имеет около трех миль в длину и четверть мили в ширину и что он отделяется от ближайшего берега узким проливом, шириной в какие-нибудь двести ярдов. Купались они чуть не каждый час и потому вернулись в лагерь уже под вечер. Они были слишком голодны и не стали тратить время на рыбную ловлю, но превосходно пообедали холодной ветчиной, а затем улеглись в тени поболтать. Их беседа скоро начала прерываться, а потом и совсем замерла. Чувство одиночества, тишина и торжественность леса понемногу оказывали на них свое действие. Они задумались. Их охватила какая-то смутная тоска. Вскоре она приняла более определенную форму первых проблесков тоски по дому. Даже Финн Кровавая Рука и тот начал с грустью мечтать о чу-

жих ступеньках и пустых бочках. Но каждый устыдился своей слабости, и ни у кого не хватило отваги высказать свою мысль вслух.

С некоторых пор до них издалека доносился какой-то особенный звук, но они не замечали его, как мы иногда не замечаем тиканья часов. Однако таинственный звук мало-помалу стал громче, и не заметить его было нельзя. Мальчики вздрогнули, переглянулись и стали прислушиваться. Наступило долгое молчание, глубокое, ничем не нарушаемое. Затем они услышали глухое и мрачное «бум!».

— Что это? — спросил Джо еле слышно.

— Не знаю! — шепотом отозвался Том.

— Это не гром,— сказал Гекльберри в испуге,— потому что гром, он...

— Замолчите! — крикнул Том.— И слушайте.

Они подождали с минуту, которая показалась им вечностью, и затем торжественную тишь опять нарушило глухое «бум!».

— Идем посмотрим!

Все трое вскочили и побежали к берегу, туда, откуда был виден городок. Раздвинув кусты, они стали вглядываться в даль. Посередине реки, на милю ниже Санкт-Петербурга, плыл по течению небольшой пароход, обычно служивший паромом. Было видно, что на его широкой палубе толпится народ. Вокруг пароходика шныряло множество лодок, но мальчики не могли разобрать, что делают сидящие в них люди.

Внезапно у борта парохода взвился столб белого дыма; когда этот дым превратился в безмятежное облако, до слуха зрителей донесся тот же унылый звук.

— Теперь я знаю, в чем дело! — воскликнул Том.— Кто-то утонул!

— Верно,— заметил Гек.— То же самое было и прошлым летом, когда утоп Билли Тернер; тогда тоже стреляли из пушки над водой — от этого утопленники всплывают наверх. Да! А еще возьмут ковриги хлеба, наложат в них живого серебра[1] и пустят по воде: где лежит тот, что утоп, там хлеб и остановится.

— Да, я слыхал об этом,— сказал Джо.— Не понимаю, отчего это хлеб останавливается?

— Тут, по-моему, дело не в хлебе, а в том, какие над ним слова говорят, когда пускают его по воде,— сказал Том.

— Ничего не говорят,— возразил Гек.— Я видал: не говорят ничего.

— Странно!..— сказал Том.— А может, потихоньку гово-

---

[1] Ртуть.

рят... про себя — чтобы никто не слыхал. Ну конечно! Об этом можно было сразу догадаться.

Мальчики согласились, что Том совершенно прав, так как трудно допустить, чтобы какой-то ничего не смыслящий кусок хлеба без всяких магических слов, произнесенных над ним, мог действовать так разумно, когда его посылают по такому важному делу.

— Черт возьми! Хотел бы я теперь быть на той стороне! — сказал Джо.

— И я тоже,— отозвался Гек.— Страсть хочется знать, кто это там утоп!

Мальчики глядели вдаль и прислушивались. Вдруг в уме у Тома сверкнула догадка:

— Я знаю, кто утонул. Мы!

В тот же миг они почувствовали себя героями. Какое торжество, какое счастье! Их ищут, их оплакивают; из-за них сердца надрываются от горя; из-за них проливаются слезы, люди вспоминают о том, как они были жестоки к этим бедным погибшим мальчикам, мучаются поздним раскаянием, угрызениями совести. И как чудесно, что о них говорит целый город, им завидуют все мальчики — завидуют их ослепительной славе. Это лучше всего. Из-за одного этого, в конце концов, стоило сделаться пиратами.

С наступлением сумерек пароходик занялся своей обычной работой, и лодки исчезли. Пираты вернулись в лагерь. Они ликовали. Они гордились той почетной известностью, которая выпала на их долю. Им было лестно, что они причинили всему городу столько хлопот. Они наловили рыбы, приготовили ужин и съели его, а потом стали гадать, что теперь говорят и думают о них в городке, и при этом рисовали себе такие картины общего горя, на которые им было очень приятно смотреть. Но когда тени ночи окутали их, разговор понемногу умолк; все трое пристально смотрели в огонь, а мысли их, видимо, блуждали далеко-далеко: Возбуждение теперь улеглось, и Том и Джо не могли не вспомнить о некоторых близких им людях, которым вряд ли было так же весело от этой забавной проделки. Явились кое-какие сомнения. У обоих стало на душе неспокойно, оба почувствовали себя несчастными и два-три раза невольно вздохнули. В конце концов Джо робко осмелился спросить у товарищей, как отнеслись бы они к мысли о возвращении в цивилизованный мир... конечно, не сейчас, но...

Том осыпал его злыми насмешками. Гек, которого никак нельзя было обвинить, что его тянет к родному очагу, встал на сторону Тома, и поколебавшийся Джо поспешил «объяснить», что, в сущности, он пошутил. Джо был рад, когда его простили,

оставив на нем только легкую тень подозрения, будто он малодушно скучает по дому. На этот раз бунт был подавлен — до поры до времени.

Мрак ночи сгущался. Гек все чаще клевал носом и наконец захрапел; за ним и Джо. Том некоторое время лежал неподвижно, опираясь на локоть и пристально вглядываясь в лица товарищей. Потом он тихонько встал на колени и начал при мерцающем свете костра шарить в траве. Найдя несколько свернувшихся в трубку широких кусков тонкой белой коры платана, он долго рассматривал каждый кусок и наконец выбрал два подходящих; затем, стоя на коленях возле костра, он с трудом нацарапал на каждом куске несколько строк своей «красной охрой». Один из них он свернул по-прежнему трубкой и сунул в карман, а другой положил в шляпу Джо, немножко отодвинув ее от ее владельца. Кроме того, он положил в шляпу несколько сокровищ, бесценных для каждого школьника, в том числе кусок мела, резиновый мяч, три рыболовных крючка и один из тех шариков, которые называются «взаправду хрустальными». Затем осторожно, на цыпочках он стал пробираться между деревьями. Когда же почувствовал, что товарищи остались далеко позади и не услышат его шагов, пустился что есть духу бежать прямо к отмели.

Глава пятнадцатая

ТОМ УКРАДКОЙ ПОСЕЩАЕТ РОДНОЙ ДОМ

Через несколько минут Том уже шагал по отмели вброд, направляясь к иллинойскому берегу. Он прошел полдороги, и лишь тогда река дошла ему до пояса; дальше нельзя было идти вброд, потому что мешало течение. До противоположного берега оставалась всего какая-нибудь сотня ярдов, и Том, не задумываясь, пустился вплавь. Он плыл против течения, забирая наискосок, но его сносило вниз гораздо быстрее, чем он ожидал. Все-таки в конце концов он приблизился к берегу, поплыл вдоль него, отыскал подходящее низкое место и вылез из воды. Ощупав карман куртки, он убедился, что кора не пропала, и пошел дальше по прибрежному лесу. С его одежды потоками сбегала вода. Еще не было десяти часов, когда он вышел из леса на открытое место — против самого города — и увидел, что у высокого берега, в тени деревьев, стоит пароходик. Все было тихо под мерцавшими звездами. Том неслышно спустился с кручи, напряженно глядя по сторонам, соскользнул в воду, проплыл несколько шагов и пробрался в ялик, который был привязан к

корме пароходика. Он улегся на дно, под скамейки, и с замиранием сердца стал ждать.

Вскоре ударил надтреснутый колокол, и чей-то голос скомандовал: «Отчаливай!» Через минуту нос челнока подбросило волной, которую подняли колеса пароходика, и путешествие началось. Том был счастлив своей удачей; он знал, что это последний рейс и что дальше пароходик никуда не пойдет. Прошло двенадцать или пятнадцать томительно долгих минут. Колеса перестали работать. Том вылез из ялика и в темноте поплыл к берегу. Чтобы не наткнуться на случайных прохожих, он проплыл лишних полсотни ярдов и вышел на берег ниже, чем ему было нужно.

Тут он сразу же пустился бежать, выбирая самые пустынные переулки, и вскоре очутился у теткиного забора на задворках. Он перелез через забор, подкрался к флигелю и заглянул в окно гостиной, так как там горел свет. В комнате сидели тетя Полли, Сид, Мери, мать Джо Гарпера и о чем-то разговаривали. Они расположились у кровати. Кровать была между ними и дверью. Том подошел к двери и начал осторожно поднимать щеколду; затем тихонько толкнул дверь; она скрипнула; он продолжал осторожно нажимать, вздрагивая всякий раз, когда раздавался скрип; наконец, как ему показалось, перед ним раскрылась такая широкая щель, что он мог протиснуться сквозь нее на коленях; он просунул голову и осторожно пополз.

— Отчего это пламя свечи так запрыгало? — сказала тетя Полли. (Том пополз быстрее.) — Должно быть, дверь не закрыта. Ну да, конечно. С некоторых пор тут творятся престранные вещи. Поди закрой дверь, Сид!

Том как раз вовремя нырнул под кровать. Он дал себе время отдышаться и затем подполз так близко, что, пожалуй, мог бы дотронуться до теткиной ноги.

— Так вот, я говорю,— продолжала тетя Полли,— что он был вовсе не *злой*, а только озорник, ветрогон — то, что называется сорвиголова. Но что с него взыщешь? Сущий жеребенок. А зла он никогда никому не желал. И сердце у него было золотое. Добрее мальчугана я не знала...

И она заплакала.

— И мой Джо был такой же: шалит, балуется, как будто в нем тысяча бесов, а добрый, ласковый, лучше не надо! Господи, прости меня, грешную! Ведь я задала ему трепку за сливки, а у самой из головы вон, что сама же я эти сливки выплеснула, потому что они прокисли!.. И только подумать, что я никогда больше не увижу его тут, на земле,— бедного, обиженного мальчика, никогда, никогда, никогда!

И миссис Гарпер зарыдала так, словно сердце у нее вот-вот разорвется.

— Я надеюсь, что Тому теперь хорошо в небесах,— сказал Сид.— Но если бы он вел себя немножечко лучше... тут, на земле...

— С и д! (Том почувствовал, как сердито загорелись у тетки глаза, хоть и не мог ее видеть.) Не смей говорить дурно о моем Томе, когда его нет в живых! Да, сударь, теперь о нем позаботится бог, а вы не беспокойтесь, пожалуйста... Ох, миссис Гарпер, уж и не знаю, как я это переживу! Просто и представить себе не могу! Он всегда был для меня утешением, хотя часто терзал мое старое сердце.

— Бог дал, бог и взял. Благословенно будь имя господне! Но это так тяжко, так тяжко! Не дальше как в прошлую субботу мой Джо подходит ко мне и как бабахнет пистоном под самым моим носом! Я в ту же минуту так оттолкнула его, что он упал. Не знала я тогда, что он скоро... Ах, сделай он это теперь, я расцеловала бы и благословила его...

— Да, да, да, я отлично понимаю ваши чувства, миссис Гарпер, отлично понимаю! Не дальше как вчера перед обедом мой Том напоил кота «болеутолителем», так что кот чуть не перевернул весь дом. И я, прости меня, господи, стукнула Тома по голове наперстком. Бедный мой мальчик, несчастный, погибший малыш! Зато теперь уже кончились все его муки. И последние его слова, что я услышала от него, были слова упрека...

Но это воспоминание оказалось слишком тяжким для старухи, и она горько заплакала. Том тоже стал всхлипывать,— впрочем, ему было жалко не столько других, сколько себя. Он слышал, как плакала Мери, время от времени поминая его ласковым словом. И в конце концов он возгордился: никогда он не думал, что он такой замечательный мальчик. Все-таки горе тетки очень взволновало его; ему хотелось выскочить из-под кровати и сразу осчастливить ее; такие театральные эффекты были ему всегда по душе. Но он не поддался искушению и продолжал лежать смирно, прислушиваясь к дальнейшему разговору.

Из отдельных фраз он узнал, как объясняют их исчезновение; сначала думали, что они утонули во время купания; затем хватились, что нет плота; затем кто-то из мальчиков вспомнил, как Том и Джо заявляли, что в городе о них «скоро услышат». Тогда местные мудрецы, пораскинув умом, решили, что мальчики уплыли на плоту и скоро объявятся в ближайшем городишке вниз по течению; но около полудня плот нашли прибитым к миссурийскому берегу в пяти-шести милях от города, и тогда все надежды рухнули: мальчики, несомненно, уто-

нули — иначе голод пригнал бы их домой к ночи, а пожалуй, и раньше. А тела их не были найдены лишь потому, что катастрофа, как полагали, произошла на самой середине реки,— иначе они добрались бы до берега, так как плавали все трое отлично. Сегодня среда. Если тела не найдутся до воскресного утра, значит, никакой надежды уже нет и в воскресенье, во время обедни, их будут отпевать как умерших. Том вздрогнул.

Миссис Гарпер, рыдая, простилась со всеми и направилась было к двери. Но тут обе осиротевшие женщины, под влиянием внезапного порыва, кинулись друг к другу в объятия и, прежде чем расстаться, поплакали всласть. Тетя Полли гораздо нежней, чем всегда, поцеловала на ночь Сида и Мери. Сид всхлипнул, а Мери ушла вся в слезах.

Тетя Полли упала на колени и стала молиться о Томе. В ее словах и в ее дрожавшем голосе чувствовалась такая безмерная любовь, ее молитва была так горяча и трогательна, что Том опять залился слезами.

Мальчику еще долго пришлось лежать тихо и смирно после того, как тетя Полли улеглась; по временам у нее вырывались какие-то печальные возгласы, она все время беспокойно ворочалась, металась из стороны в сторону. Наконец она затихла и лишь изредка стонала во сне. Том выполз, медленно и осторожно встал на ноги и, заслонив рукою свечу, долго смотрел на спящую. Сердце его было переполнено жалостью к ней. Он вытащил из кармана кору и положил возле свечки, но потом приостановился, размышляя. Ему пришла в голову счастливая мысль, и лицо его просияло. Он сунул кору в карман, наклонился над теткой и поцеловал ее в поблекшие губы, а затем неслышно вышел вон, закрыв за собой дверь на щеколду.

Он дошел до пристани, где обыкновенно стоял пароходик, и, не увидев никого на берегу, смело взошел на судно. Он знал, что на пароходике никого нет, кроме сторожа, а тот имел обыкновение забираться в каюту и спать непробудным сном. Том отвязал челнок от кормы, неслышно спустился в него и начал грести вверх по реке. Проехав с милю, он приналег на весла, пересек реку и причалил как раз там, где следовало, потому что это дело было для него привычное. Ему очень хотелось завладеть челноком — ведь челнок тоже до некоторой степени судно и, следовательно, законная добыча пирата,— но он знал, что челнок будут повсюду искать, а это может навести на след беглецов. Поэтому он просто прыгнул на берег и вошел в лес.

В лесу он хорошенько отдохнул, мучительно стараясь побороть сон, и потом поплелся к лагерю. Ночь была на исходе, а когда он дошел до отмели, уже совсем рассвело. Он посидел еще немного и лишь тогда, когда солнце, высоко поднявшись, позо-

лотило могучую реку великолепным огнем, бросился в воду опять. Немного погодя он, весь мокрый, добрался до лагеря как раз в ту минуту, когда Джо говорил:

— Нет, Гек, Том человек надежный. Он вернется. Верно тебе говорю. Он не удерет. Он знает, что это стыд для пирата. А пиратская честь ему дороже всего. Он затевает какую-то новую штуку. Но какую, хотел бы я знать!

— Ну, а вещи все-таки наши?

— Наши, Гек, но не совсем. В письме сказано, чтобы мы взяли их, если он не вернется к завтраку.

— А он тут как тут! — воскликнул Том, торжественно появляясь перед ними. Это был редкий театральный эффект.

Скоро они устроили обильный завтрак из ветчины и рыбы и принялись его уничтожать, а тем временем Том рассказал (не без прикрас) свои похождения. Когда рассказ был выслушан до конца, мальчишки еще больше заважничали и стали чувствовать себя великими героями. Том прилег в тени, чтобы выспаться до полудня, а прочие пираты отправились удить рыбу и исследовать остров.

Глава шестнадцатая

ПЕРВЫЕ ТРУБКИ.— «Я ПОТЕРЯЛ НОЖИК»

После обеда вся разбойничья шайка двинулась на песчаную отмель за черепашьими яйцами. Мальчики тыкали палками в песок и, найдя мягкое местечко, опускались на колени и начинали рыть руками. Из одной ямки добывали сразу по пяти-шести десятков яиц. Яйца были совершенно круглые, белые, чуть поменьше грецкого ореха. В этот вечер у пиратов был роскошный ужин — они объедались яичницей; так же великолепно пировали они на следующее утро, в пятницу.

После завтрака они прыгали и скакали на отмели, с громкими криками гоняясь друг за другом, сбрасывая с себя на бегу одежду, а потом, голые, мчались далеко-далеко, к мелководью, продолжая бесноваться и там. Сильное течение порою сбивало их с ног, но от этого им становилось еще веселее. Они нагибались все вместе к воде и брызгали друг в друга, причем каждый подкрадывался к врагу осторожно, отвернув лицо, чтобы самого не забрызгали. Затем они вступали врукопашную тут же, в воде, пока победитель не окунал остальных с головой. Кончалось тем, что оказывались под водою все трое. Все трое превращались в клубок белеющих рук и ног и когда снова появлялись над гладью реки, то и пыхтели, и фыркали, и смеялись, и отплевывались, и жадно хватали воздух.

Выбившись из сил, они выбегали на пляж, кидались врастяжку на сухой, раскаленный песок и закапывались в него, а затем снова бросались в воду, и все начиналось сначала. Наконец им пришло в голову, что их кожа смахивает на трико телесного цвета; они начертили на песке круг и устроили цирк, в котором было целых три клоуна, так как ни один не хотел уступить другому эту завидную роль.

Затем они достали свои шарики и стали играть в «подкидалку», в «тянуху», в «тёпки», пока и эта забава не наскучила им. Тогда Гек и Джо снова пошли купаться, а Том не рискнул и остался на берегу, так как обнаружил, что, когда он сбрасывал штаны, у него развязался шнурок, которым к его лодыжке была привязана трещотка гремучей змеи. Он никак не мог понять, почему с ним не сделалась судорога, раз на нем не было этого волшебного талисмана. Он так и не отважился войти в воду, покуда не нашел своей трещотки, а тем временем его товарищи уже устали и вышли полежать на берегу. Мало-помалу они разошлись кто куда, разомлели от скуки, и каждый с тоской смотрел в ту сторону, где дремал под солнцем родной городок. Том бессознательно писал на песке большим пальцем ноги слово «Бекки». Потом он спохватился, стер написанное и выбранил себя за свою слабость, но не мог удержаться и снова написал это имя, потом снова стер и, чтобы спастись от искушения, кликнул товарищей.

Но Джо упал духом почти безнадежно. Он так тосковал по дому, что у него уже не было сил выносить эти муки. Каждую минуту он готов был заплакать. Гек тоже приуныл. Том был подавлен, но изо всех сил старался скрыть свою печаль. У него была тайна, которую до поры до времени он не хотел открывать товарищам; но, если ему не удастся стряхнуть с них мятежную тоску, он, так и быть, откроет им эту тайну теперь же. И с напускной веселостью он сказал:

— Бьюсь об заклад, что на этом острове и до нас побывали пираты! Давайте обойдем его еще раз. Здесь, наверно, где-нибудь зарыто сокровище. Что вы скажете, если мы наткнемся на полусгнивший сундук, набитый золотом и серебром? А?

Но это вызвало лишь слабый восторг, да и тот в ту же минуту потух без единого отклика.

Том сделал еще два-три заманчивых предложения, но все его попытки были напрасны. Джо уныло тыкал палкой в песок, и вид у него был самый мрачный. Наконец он сказал:

— Ох, ребята, бросим-ка эту затею! Я хочу домой. Здесь очень скучно.

— Да нет же, Джо, ты привыкнешь,— уговаривал Том.— Ты подумай, какая здесь рыбная ловля!

— Не надо мне твоей рыбы... Хочу домой!

— Но, Джо, где ты сыщешь другое такое купанье?

— А на что мне твое купанье? Теперь мне на него наплевать, когда никто не запрещает купаться. Я иду домой, как хотите...

— Фу, какой стыд! Малюточка! К мамаше захотел!

— Ну да, к мамаше! И тебе захотелось бы, если бы у тебя была мать. И я такой же малюточка, как ты.

Джо готов был заплакать.

— Ну хорошо, пусть наша плаксивая деточка отправляется домой, к своей мамаше, мы ее отпустим, не правда ли, Гек? Бедненький, он по мамаше соскучился! Ну что ж! Пусть идет! Тебе ведь нравится здесь, не правда ли, Гек? Мы с тобой останемся, а?

Гек сказал: «Д-а-а», но в его голосе не чувствовалось особенной радости.

— Больше я не стану с тобой разговаривать! Я с тобой в ссоре на всю жизнь! — объявил Джо, вставая.— Так и знай!

Он угрюмо отошел и стал одеваться.

— Велика важность! — отозвался Том.— Пожалуйста! Ступай домой, и пусть над тобой все смеются. Хорош пират, нечего сказать! Гек и я—не такие плаксы, как ты. Мы останемся здесь,— правда, Гек? Пусть идет, если хочет. Обойдемся и без него.

Несмотря на свое напускное хладнокровие, Том в душе был встревожен и с волнением смотрел, как насупленный Джо продолжает одеваться. Еще более беспокоил его вид Гека, жадно следившего за сборами Джо. В молчании Гека Том чувствовал что-то зловещее. Джо оделся и, не прощаясь, пошел вброд по направлению к иллинойскому берегу. У Тома упало сердце. Он посмотрел на Гека. Тот не выдержал этого взгляда и опустил глаза.

— Мне бы тоже хотелось уйти, Том,— сказал он наконец.— Как-то скучно здесь стало, а теперь будет еще скучнее. Пойдемка и мы с тобой, Том!

— Не пойду. Можете все уходить, если вам угодно, а я остаюсь.

— Том, я бы лучше пошел...

— Ну и ступай, кто тебя держит?

Гек начал собирать свою одежду, разбросанную на песке.

— Шел бы и ты с нами, Том! — уговаривал он.— Право, подумай хорошенько. Мы подождем тебя на берегу.

— Долго же вам придется ждать!

Гек уныло поплелся прочь. Том стоял и смотрел ему вслед, испытывая сильнейшее желание отбросить в сторону всякую гордость и пойти с ними. Он надеялся, что мальчики вот-вот остановятся, но они продолжали брести по колено в воде. Чув-

ство страшного одиночества охватило Тома. Он окончательно подавил в себе гордость и бросился догонять друзей:

— Стойте! Стойте! Мне надо вам что-то сказать!

Те остановились и обернулись к Тому. Нагнав их, Том открыл им свою великую тайну. Они слушали сурово и враждебно, но потом сообразили, к чему он ведет, очень обрадовались и испустили громкий воинственный клич. Они в один голос признали, что его выдумка — чудо и что, если бы он сообщил о ней раньше, они не подумали бы уходить.

Том пробормотал какое-то объяснение, но на самом деле он боялся, что даже эта тайна не в силах удержать их надолго, и приберег ее в виде последнего средства.

Мальчики весело вернулись в лагерь и с величайшей охотой принялись за прежние игры, все время болтая об удивительной выдумке Тома и восхищаясь его изобретательностью. После вкусного обеда, состоявшего из рыбы и яичницы, Том сказал, что теперь ему хочется научиться курить. Джо ухватился за эту мысль и объявил, что он тоже не прочь. Гек сделал трубки и набил их табаком. До сих пор оба новичка курили только сигары из виноградных листьев, но такие сигары щипали язык и считались недостойными мужчин.

Они растянулись на земле, опираясь на локти, и начали очень осторожно, с опаской втягивать в себя дым. Дым был неприятен на вкус, и их немного тошнило, но все же Том заявил:

— Да это совсем легко! Знай я это раньше, я уж давно научился бы.

— И я тоже,— подхватил Джо.— Плёвое дело!

— Сколько раз я, бывало, смотрю, как курят другие, и думаю: «Вот бы и мне научиться! Да нет, думаю, это мне не под силу»,— сказал Том.

— И я тоже. Правда, Гек? Ведь ты слышал это от меня? Вот пусть Гек скажет.

— Да-да, сколько раз,— сказал Гек.

— Ну, и я тоже ему говорил сотни раз. Однажды это было возле бойни. Помнишь, Гек? Там были еще Боб Таннер, Джонни Миллер и Джефф Тэчер. Ты помнишь, Гек, что я сказал?

— Еще бы,— ответил Гек.— Это было в тот день, как я потерял белый шарик... Нет, не в тот день, а накануне.

— Ага, я говорил! — сказал Том.— Гек помнит.

— Я думаю, что я мог бы курить такую трубку весь день,— сказал Джо.— Меня ничуть не тошнит.

— И меня тоже! — сказал Том.— Я мог бы курить весь день, но держу пари, что Джефф Тэчер не мог бы.

— Джефф Тэчер! Куда ему! Он от двух затяжек свалится. Пусть только попробует! Увидит, что это такое!

— Само собой, не сумеет, и Джонни Миллер тоже. Хотелось бы мне посмотреть, как Джонни Миллер справится со всей этой штукой!

— Куда ему! — сказал Джо.— Он, бедняга, ни на что не способен. Одна затяжка — и он свалится с ног.

— Верно, Джо. Слушай-ка: если бы наши ребята могли увидеть нас теперь!

— Вот было бы здорово!

— Но, чур, никому ни слова! А когда-нибудь, когда все будут в сборе, я подойду к тебе и скажу: «Джо, есть у тебя трубка? Покурить охота». А ты ответишь как ни в чем не бывало: «Да, есть моя старая трубка и другая есть, только табак у меня не очень хорош». А я скажу: «Ну, это все равно, был бы к р е п о к». И тогда ты вытащишь трубки, и мы оба преспокойно закурим. Пускай полюбуются!

— Вот здорово, Том! Я бы хотел, чтобы это было с е й ч а с.

— И я! Мы им скажем, что научились курить, когда были пиратами,— то-то будут завидовать нам!

— Еще бы! Наверняка позавидуют!

Разговор продолжался, но вскоре он начал чуть-чуть увядать, прерываться. Паузы стали длиннее. Пираты сплевывали всё чаще и чаще. Все поры во рту у мальчишек превратились в фонтаны: они едва успевали очищать подвалы у себя под языком, чтобы предотвратить наводнение. Несмотря на все их усилия, им заливало горло, и каждый раз после этого начинало ужасно тошнить. Оба сильно побледнели, и вид у них был очень жалкий. У Джо выпала трубка из ослабевших пальцев, у Тома тоже. Фонтаны так и били что есть силы, и насосы работали вовсю. Наконец Джо выговорил расслабленным голосом:

— Я потерял ножик... Пойду поищу...

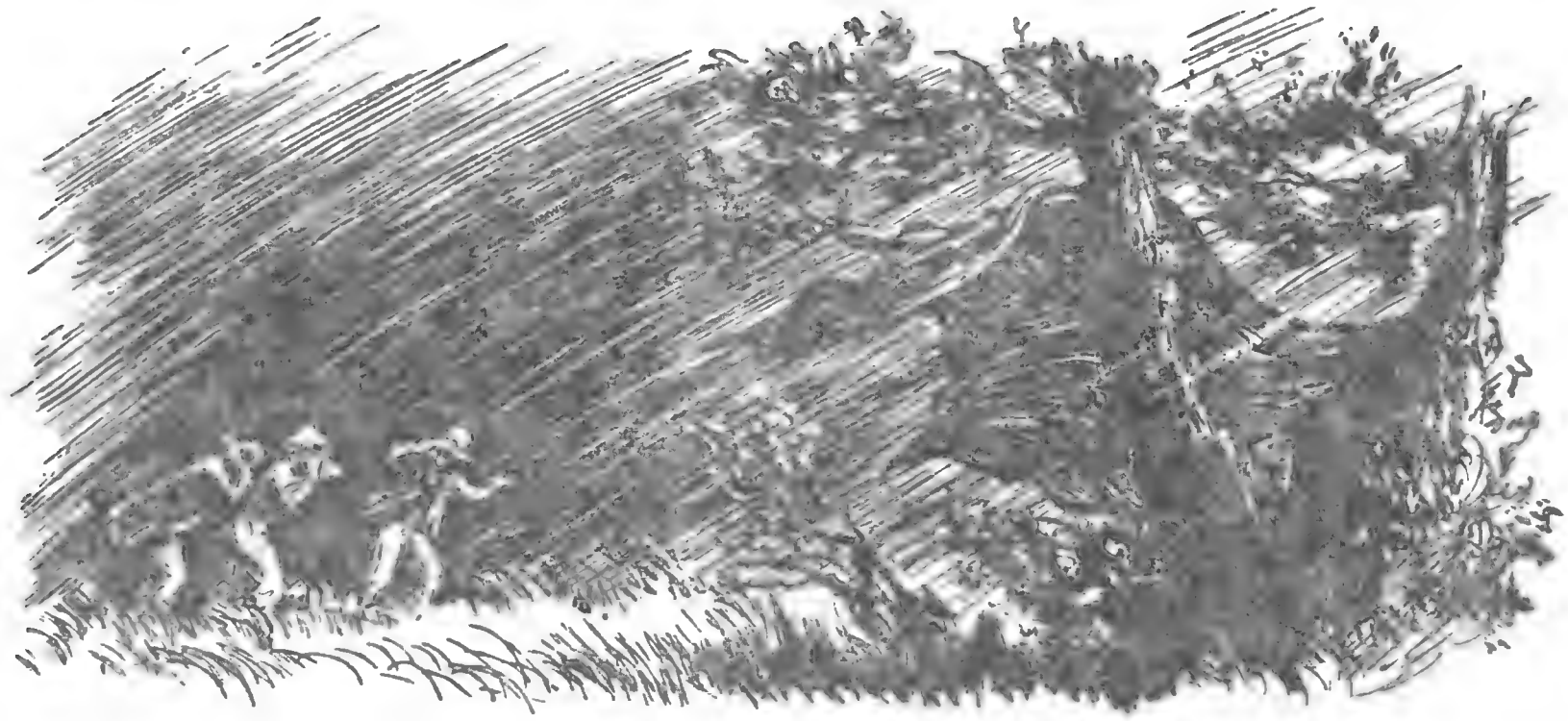
Том дрожащими губами произнес, запинаясь:

— Я помогу тебе. Ты иди в эту сторону, а я туда... к ручью... Нет, Гек, ты не ходи за нами, мы сами найдем.

Гек снова уселся на место и прождал целый час. Потом он соскучился и пошел разыскивать товарищей. Он нашел их в лесу далеко друг от друга; оба были бледны и спали крепким сном. Но что-то подсказало ему, что теперь им полегчало, а если и случилось им пережить несколько неприятных минут, то теперь уже все позади.

За ужином в тот вечер оба смиренно молчали, и, когда Гек после ужина, набив трубку для себя, захотел набить и для них, оба в один голос сказали: «Не надо», так как они чувствуют себя очень неважно,— должно быть, съели какую-нибудь дрянь за обедом.

Около полуночи Джо проснулся и разбудил товарищей.



В воздухе была духота, которая предвещала недоброе. Мальчики все теснее прижались к огню, как бы ища у него дружеской помощи, хотя ночь была горяча и удушлива. Они сидели молча в напряженном ожидании. Царила торжественная тишина. Позади костра все было проглочено черной тьмою. Вдруг дрожащая вспышка тускло озарила листву и исчезла. Потом сверкнула другая, немного ярче. И еще, и еще. Потом в ветвях деревьев пронесся чуть слышный стон; мальчики почувствовали у себя на щеках чье-то беглое дыхание и затрепетали при мысли, что это пронесся Дух Ночи. Затем стало тихо. И вдруг опять какой-то призрачный блеск превратил ночь в день и с необычайной отчетливостью озарил каждую травинку, что росла у их ног. Озарил он и три бледных, перепуганных лица. По небу сверху вниз прокатился, спотыкаясь, рокочущий гром и понемногу умолк, угрюмо ворча в отдалении. Струя холодного воздуха зашевелила все листья, подхватила золу костра и разметала ее снежными хлопьями. Снова яростный огонь осветил весь окрестный лес, и в ту же секунду раздался громовой удар: будто прямо над головой у мальчишек раскололись вершины деревьев. Среди наступившей тьмы пираты в ужасе прижались друг к другу. По листьям застучали редкие крупные капли дождя.

— Скорее в палатку! — скомандовал Том.

Они бросились бежать врассыпную, спотыкаясь о корни деревьев и путаясь в диком винограде. Буйный, взбесившийся ветер с неистовым воем пронесся в лесу, и всё заголосило вслед за ним. Ослепительные молнии одна за другой сверкали почти непрерывно, раскаты грома не смолкали ни на миг. Хлынул неистовый ливень, и нараставший ураган, свирепея, гнал его над землей сплошным водопадом.

Мальчики что-то кричали друг другу, но воющий ветер и громовые раскаты совсем заглушали их крик, наконец они один

за другим кое-как добрались до палатки и забились под нее, перепуганные, мокрые, продрогшие; с их одежды ручьями струилась вода, но их утешало хоть то, что они терпят беду все вместе. Разговаривать они не могли бы, даже если бы буря не заглушала их голосов,— так яростно хлопал над ними старый парус. Гроза все усиливалась; наконец порыв ветра сорвал парус со всех его привязей и унес прочь. Мальчики схватились за руки и, поминутно спотыкаясь и набивая себе синяки, бросились бежать под защиту огромного дуба, стоявшего на берегу. Теперь битва была в полном разгаре. При непрерывном сверкании молний всё вырисовывалось с необычайной ясностью, отчетливо, без теней: гнущиеся деревья, бушующая река, вся белая от пены, крутые бегущие гребни, смутные очертания высоких утесов на другом берегу, видневшихся сквозь гущу тумана и косую завесу дождя. То и дело какой-нибудь лесной великан, побежденный в бою, с треском валился на землю, ломая молодые деревья; неослабевающие раскаты грома превратились в оглушительные взрывы, резкие, сухие, невыразимо ужасные. Под конец гроза напрягла все свои силы и забушевала над островом с такой небывалой яростью, что казалось, она разнесет его в клочья, сожжет его, зальет водой по самые верхушки деревьев и до смерти оглушит всякое живое существо — и всё это в одну секунду, мгновенно. То была страшная ночь для бесприютных детей.

Но наконец бой утих, враждовавшие войска принялись отступать, их угрозы и проклятья звучали всё глуше и глуше, и мало-помалу на земле водворился прежний мир. Мальчики вернулись в свой лагерь порядком напуганные, но оказалось, что им все-таки повезло и им следует радоваться, так как в большой платан, под которым они всегда ночевали, ударила ночью молния, и они все трое погибли бы, если бы остались под ним.

Всё в лагере было залито водой, в том числе и костер, ибо они были беспечны, как и всякие мальчики этого возраста, и не приняли мер, чтобы укрыть его от потоков дождя. Это было очень неприятно: все трое промокли до костей и дрожали от холода. Они красноречиво выражали свое огорчение, но потом заметили, что огонь пробрался далеко под большое бревно и все еще тлеет снизу (в том месте, где оно выгнулось вверх и не касалось земли), и таким образом небольшая частица костра, величиной с ладошку, была спасена от потопа. Мальчики принялись за дело: стали терпеливо подкладывать щепочки и обломки коры, сохранившиеся сухими под лежачими стволами деревьев. В конце концов им удалось умилостивить огонь, и он разгорелся опять. Они навалили больших веток, огонь заревел, как горн, и они опять повеселели. Подсушив над огнем вареный окорок, они отлично поужинали, а затем уселись у костра и до самого рас-

света толковали о своем ночном приключении, хвастливо приукрашая его; спать все равно было негде, потому что кругом не осталось ни одного сухого местечка.

С первыми лучами солнца мальчиков стала одолевать дремота; они отправились на песчаную отмель и легли спать. Вскоре солнце порядком прижгло их, они поднялись и хмуро начали готовить себе завтрак. После еды они чувствовали себя как заржавленные: руки и ноги у них еле двигались, и им снова захотелось домой. Том подметил эти тревожные признаки и делал все, что мог, чтобы развлечь пиратов. Но их не соблазняли ни алебастровые шарики, ни цирк, ни купание. Он напомнил им об их великой тайне, и ему удалось вызвать проблеск веселья. Покуда это веселье не успело рассеяться, Том поспешил заинтересовать их новой выдумкой. Он предложил им забыть на время, что они пираты, и сделаться для разнообразия индейцами. Эта мысль показалась им заманчивой: они мигом разделись и, разрисовав себя с ног до головы черной грязью, стали полосатыми, как зебры. После этого они двинулись в лес, чтобы напасть на английских поселенцев, причем, конечно, каждый был вождем.

Мало-помалу они разделились на три враждующих племени. Испуская страшные воинственные кличи, они выскакивали из засады и кидались друг на друга, убивая и скальпируя неприятеля целыми тысячами. Это был кровопролитный день, и они остались им очень довольны.

К ужину они собрались в лагере, голодные и счастливые. Но тут возникло небольшое затруднение: враждующие индейцы должны были тотчас же заключить между собой мир, иначе они не могли преломить хлеба дружбы; но как же можно заключить мир, не выкурив «трубки мира»? Где же это слыхано, чтобы мир заключался без трубки? Двое индейцев даже чуть-чуть пожалели, что не остались на всю жизнь пиратами. Но иного выбора не было, и, волей-неволей принуждая себя казаться веселыми, они потребовали трубку, и каждый затянулся по очереди, как полагается. В конце концов они даже обрадовались, что стали индейцами, так как все-таки кое-что выиграли: оказалось, они уже могут немного курить, не чувствуя потребности идти разыскивать потерянный ножик. Правда, их мутило и теперь, но не так мучительно, как прежде. Они поспешили воспользоваться таким благоприятным обстоятельством. После ужина они осторожно повторили свой опыт, и на этот раз он увенчался успехом, так что вечер прошел очень весело. Они были так горды и счастливы своим новым достижением, словно им удалось содрать кожу и скальпы с шести индейских племен. Оставим же их покуда в покое: пусть курят, болтают и хвастаются. До поры до времени мы можем обойтись и без них.

Глава семнадцатая

ПИРАТЫ ПРИСУТСТВУЮТ НА СОБСТВЕННЫХ ПОХОРОНАХ

Совсем не так весело было в маленьком городе в тот тихий субботний вечер. Тетя Полли, Мери, Сид и вся семья мисс Гарпер со скорбью, обливаясь слезами, надели глубокий траур. В городке всегда было не слишком-то шумно, но теперь в нем царила небывалая тишина. Жители занимались своими обычными делами кое-как, с рассеянным видом, мало разговаривали и часто вздыхали. Даже детям субботний отдых, казалось, был в тягость. Игры у них не клеились и понемногу прекращались сами собой.

К концу дня Бекки Тэчер грустно бродила одна по опустелому школьному двору и чувствовала себя очень несчастной. Там не нашлось ничего, что могло бы ее утешить.

«Ох, если бы у меня была хоть та медная шишечка! — думала она.— Ничего у меня не осталось на память о нем...»

Бекки подавила рыдания.

Вдруг она остановилась и сказала себе:

— Это как раз тут и было... О, если бы тот разговор повторился опять, я ни за что, ни за что на свете не сказала бы ему того, что сказала! Но его нет, и я никогда, никогда, никогда не увижу его!

Эта мысль окончательно сразила ее, и она удалилась в слезах. Потом пришла целая ватага ребят, школьных товарищей Тома и Джо, и все, глядя через забор и понизив голос из уважения к погибшим, вспоминали, как Том сделал то-то и то-то — в последний раз, когда они видели его,— и что сказал Джо, причем в любом, самом незначительном слове им чудилось зловещее пророчество. И каждый в точности указывал место, где стояли погибшие мальчики, и прибавлял при этом: «А я стоял вот так, как сейчас стою, а он — как ты стоишь, совсем близко, и он улыбнулся вот так, и на меня вдруг точно что-то нашло — так вдруг жутко стало, понимаете? Ну, тогда я, конечно, ничего не знал, а теперь вижу, в чем дело!»

Подняли спор о том, кто в последний раз видел погибших живыми; многие приписывали эту печальную честь себе, причем слова их более или менее опровергались показаниями прочих свидетелей; когда же, наконец, было дознано, кто последний видел покойных и разговаривал с ними, эти счастливцы преисполнились важности, а все остальные глазели на них разинув рты, и завидовали. Один бедный малый, не найдя ничего лучшего, объявил не без гордости:

— А меня Том Сойер здорово отколотил как-то раз!

Но его попытка покрыть себя славой не увенчалась успехом. Ведь то же могли сказать о себе чуть не все остальные мальчишки, так что лавры его оказались дешевыми. Школьники разошлись, продолжая благоговейно вспоминать о погибших героях.

На другое утро, когда кончился урок в воскресной школе, церковный колокол зазвонил не так, как всегда, а медлительно и очень печально. Эти плачущие, похоронные звуки, казалось, вполне подходили к тихой задумчивости, которая царила в природе в то тихое воскресное утро. Горожане стали собираться в церкви, останавливаясь на паперти, чтобы шепотом потолковать о печальном событии. Но в самой церкви уже никто не шушукался. Тишину нарушало лишь унылое шуршание платьев, когда женщины пробирались к своим скамьям. Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. И какое наступило напряженное, полное ожидания безмолвие, когда в церковь вошла тетя Полли, за нею Мери и Сид, за ними семейство Гарперов — все в глубочайшем трауре... Молящиеся, как один человек,— в том числе и старый священник,— почтительно встали и стояли до тех пор, пока осиротелые родственники погибших усаживались на передней скамье. Затем опять наступило многозначительное молчание, прерываемое лишь глухими рыданиями, а потом священник простер руки и начал молиться. Пропели трогательный гимн, за которым последовал текст: «Я есмь воскресение и жизнь».

Затем началась проповедь, и священник в горячей речи стал превозносить погибших мальчиков; он изобразил их такими добрыми, даровитыми, умными, что в церкви не осталось ни одного человека, который не почувствовал бы угрызений совести; каждый спрашивал себя: как же могло случиться, что он не заметил великих достоинств этих несчастных детей и видел только их недостатки?

Священник рассказал несколько умилительных случаев из их жизни: у мальчиков, оказывается, был нежный, великодушный характер; слушатели легко могли теперь убедиться, как благородны и прекрасны были поступки необыкновенных детей, и вспоминали со скорбью, что, покуда эти дети были живы, те же самые поступки казались такими озорными проделками, за которые надо было выпороть хорошим ремнем. Речь священника становилась все трогательнее, публика все больше умилялась, и наконец все единодушно присоединились к рыданиям родственников, и сам священник, не сдержав своих чувств, прослезился на кафедре.

На хорах послышался шум, на который никто не обратил внимания; через минуту скрипнула входная дверь. Священник

отнял платок от залитых слезами глаз и... остолбенел! Сначала одна пара глаз, потом другая последовала за взглядом священника, а потом все присутствующие, охваченные единым порывом, поднялись со своих мест и в изумлении глядели, как три утопленника маршируют по среднему проходу между скамьями: впереди Том, за ним Джо, а сзади смущенный, растерянный Гек, в обвислых лохмотьях. Они все время сидели на пустых хорах, слушая надгробную речь о самих себе!

Тетя Полли, Мери и Гарперы кинулись к своим воскресшим любимцам, душили их поцелуями и благодарили господа бога за их спасение, а бедный Гек стоял сконфуженный, не зная, что ему делать и куда деваться от стольких неприязненных взглядов. Он озирался по сторонам и уже хотел было улизнуть, когда Том схватил его и сказал тете Полли:

— Это никуда не годится! Кто-нибудь должен же обрадоваться Геку!

— И обрадуются, непременно обрадуются! Я первая очень рада, что вижу его, бедного сиротку!

И тетя Полли принялась осыпать мальчика ласками, которые еще сильнее смутили его.

Вдруг священник изо всех сил закричал:

— Восхвалим господа за все его щедроты и милости! От всего сердца воспоем ему славу!

И все запели. Весело звучал старинный благодарственный гимн, потрясая стропила церкви,— и Том Сойер, морской пират, оглядываясь на завидовавших ему сверстников, сознавал в душе, что это лучшая минута его жизни.

Расходясь по домам, прихожане говорили друг другу, что хотя их и обманули бесстыдно, но они, пожалуй, готовы снова очутиться в дураках, лишь бы еще раз услышать благодарственный гимн, исполненный с таким одушевлением.

В этот день Том получил столько тумаков и поцелуев,— в зависимости от изменчивого настроения тети Полли,— что хватило бы на целый год, и едва ли он мог бы сказать, в чем сильнее выражалась теткина любовь к нему и благодарность богу — в поцелуях или в тумаках.

Глава восемнадцатая

ТОМ РАССКАЗЫВАЕТ СВОЙ ВЕЩИЙ СОН

В этом и заключалась великая тайна Тома: он задумал вернуться домой вместе со своими пиратами и присутствовать на собственных похоронах. В субботу вечером добрались они

верхом на бревне до миссурийского берега, выбрались на сушу в пяти-шести милях ниже своего городка, переночевали в соседнем лесу, чуть свет пробрались задворками к церкви и окончательно выспались на церковных хорах, среди хаоса поломанных скамеек...

В понедельник утром, за завтраком, и тетя Полли, и Мери были чрезвычайно добры к Тому и с любовью выполняли все его желания. Разговоров за столом было много — гораздо больше, чем всегда. И тетя Полли, между прочим, сказала:

— Видишь ли, Том, может быть, это и забавно — заставить всех мучиться чуть не целую неделю, лишь бы только вам, мальчишкам, было весело, но мне очень грустно, что у тебя такое недоброе сердце и что ты способен причинить мне такие страдания. Если ты мог переплыть реку на бревне, чтобы присутствовать на своих собственных похоронах, ты мог заглянуть и домой, чтобы подать мне какой-нибудь знак, что ты не умер, а просто сбежал.

— Да, это ты мог бы сделать, Том,— сказала Мери,— и, я уверена, ты так и поступил бы, если бы это пришло тебе в голову.

— Правда, Том? — спросила тетя Полли, и по ее лицу было видно, что ей очень хотелось, чтобы это было именно так.— Ну скажи, прислал бы ты нам весточку, если бы это пришло тебе в голову?

— Н...не знаю... Ведь это испортило бы всю нашу игру.

— Ах, Том, а я-то надеялась, что ты хоть настолько любишь меня! — сказала тетя Полли с таким огорчением, что Том поневоле смутился.— Мне бы дорого было, если бы ты хоть подумал об этом, не говоря уже — сделал...

— Ну, тетушка, это еще не беда,— вступилась Мери.— Том ведь такой сумасшедший; он всегда впопыхах, ему некогда думать.

— Тем хуже! А вот Сид подумал бы. Сид пришел бы и сказал, что он жив. Ах, Том, когда-нибудь, оглянувшись назад, ты пожалеешь, что так мало думал обо мне, когда это ничего тебе не стоило... пожалеешь, но будет поздно.

— Ну, полно, тетя, ведь вы же знаете, что я вас люблю,— сказал Том.

— Пожалуй, знала бы, если бы твои слова подтверждались поступками.

— Я, право, тетя, очень жалею, что не подумал об этом,— сказал Том, и в голосе его прозвучало раскаяние.— Зато я, по крайней мере, видел вас во сне,— это ведь тоже чего-нибудь стоит.

— Положим, это не много,— ведь и кошка иногда видит

сны,— но все-таки это лучше, чем ничего. Что же тебе снилось?

— А вот что. В среду вечером я видел во сне, будто вы сидите возле кровати... вон там, а Сид у ящика для дров, а рядом с ним будто бы Мери...

— Что же, мы так и сидели. Мы всегда так сидим. Я рада, что ты хоть чуточку, хоть во сне вспомнил о нас.

— Потом мне снилось, что здесь была мама Джо Гарпера.

— А ведь она и вправду была! Что же тебе снилось еще?

— Много чего! Но теперь уже все перепуталось.

— Ну, попробуй вспомнить! Неужто не можешь?

— Еще мне снилось, что будто бы ветер... да, ветер задул...

— Припомни, Том! Ветер задул... что же он задул?

Том крепко прижал пальцы ко лбу и после минуты тревожного ожидания воскликнул:

— Вспомнил! Вспомнил! Ветер задул свечу.

— Господи помилуй! Дальше, Том, дальше!

— Погодите, дайте припомнить... Ах, да! Вы вроде сказали, что вам кажется, будто эта дверь...

— Дальше, Том!

— Погодите, дайте мне подумать минутку, одну минутку! Да, вы сказали, что вам кажется, будто дверь приоткрылась...

— Да ведь я именно так и сказала... Помнишь, Мери? Ну, дальше?

— Потом... потом... Ну, я не знаю, но мне кажется, будто вы послали Сида, чтобы он... чтобы он...

— Ну? Ну? Куда я послала Сида? Куда? Куда?

— Вы послали его, вы... да, вы, вы послали его... закрыть дверь.

— Боже мой! Никогда не слыхала ничего подобного! Вот и не верь после этого снам! Сейчас же побегу рассказать обо всем Си́рини Гарпер. Посмотрим, будет ли она после этого болтать всякий вздор о нелепости суеверий. Рассказывай же, Том, что было дальше!

— Теперь, тетя, у меня все прояснилось! Потом вы сказали, что я не злой, а только... озорник и сорвиголова и что с меня взыскивать все равно что... как это вы сказали? — с жеребенка, что ли...

— Да-да, я именно так и сказала! Ах ты господи! Ну, что же дальше, Том?

— Потом вы заплакали.

— Верно, верно, заплакала! И не в первый раз. А потом?

— Потом и миссис Гарпер заплакала и стала говорить, что Джо тоже хороший... и так ей жалко, что она отхлестала его за сливки, которые сама же и выплеснула...

— Том, дух божий снизошел на тебя! Это был вещии, пророческий сон! Господи, боже мой! Рассказывай дальше!

— Потом Сид сказал... он сказал...

— Я, кажется, ничего не говорил,— сказал Сид.

— Нет, Сид, ты говорил,— сказала Мери.

— Замолчите, не мешайте Тому! Ну, Том, что же он сказал?

— Он сказал, что надеется, что на небе мне будет лучше, чем тут, на земле. Но если бы я сам был получше...

— Вы слышите? Это его подлинные слова.

— И вы велели ему замолчать.

— Еще бы! Конечно, велела. Нет, здесь, несомненно, был ангел. Где-нибудь здесь был ангел!

— Потом миссис Гарпер стала говорить про Джо, как он хлопнул пистоном под самым ее носом, а вы ей рассказали про Питера и про «болеутолитель».

— Верно! Верно!

— Потом вы долго рассказывали, что из-за нас обыскали всю реку и что отпевать нас будут в воскресенье, а потом вы с миссис Гарпер стали обниматься и плакать, а потом она ушла...

— Именно, именно так! Это так же верно, как и то, что я сижу сейчас на этом месте! Если бы ты сам все видел своими глазами, ты не мог бы рассказать вернее. А потом что было? Ну, Том!

— Потом вы, кажется, молились за меня, и я видел вас и слышал каждое ваше слово. А потом вы легли спать, и мне стало вас так жалко, что я взял и написал на куске коры: «Мы не умерли, мы только убежали и стали пиратами», и положил кору возле свечки, а вы в это время спали, и лицо у вас во сне было такое доброе-доброе, что я подошел, нагнулся и поцеловал вас прямо в губы.

— Правда, Том, правда? Ну, за это я тебе все прощаю!

И она так сильно сжала мальчика в объятиях, что он почувствовал себя последним негодяем.

— Все это, конечно, прекрасно... хотя это был всего-навсего сон,— заметил Сид про себя, но достаточно громко.

— Молчи, Сид! Человек делает во сне то же самое, что он сделал бы наяву... Вот тебе самое большое яблоко, Том! Я берегла его на тот случай, если ты когда-нибудь вернешься домой. И ступай поскорее в школу... Благодарение господу богу, что он сжалился надо мною и возвратил мне тебя, ибо он милосерден и долготерпелив к тем, кто верует в него и блюдет его заповеди, хотя я и не достойна его благодати... Впрочем, если бы одним лишь достойным он даровал свои милости, мало нашлось бы людей, которые сейчас улыбались бы тут, на земле, и после кончины имели бы право на вечное успокоение в раю. Ну, ступайте

же, Сид, Мери, Том, уходите скорее — некогда мне растабарывать с вами!

Дети отправились в школу, а старушка поспешила к миссис Гарпер рассказать ей про вещий сон Тома и сокрушить таким образом ее неверие в чудеса. Сид не счел нужным высказывать то, что он думал, когда уходил из дому. А думал он вот что:

«Тут что-то не так. Разве можно видеть такой длинный и складный сон — без единой ошибки?»

Каким героем теперь сделался Том! Он не шалил и не прыгал, но шествовал важно, с достоинством, как подобает пирату, сознающему, что на него устремлены все взгляды. И действительно это было так: он старался делать вид, что не замечает ни взглядов толпы, ни ее перешептываний, но и то и другое доставляло ему величайшее наслаждение. Малыши бегали за ним по пятам, гордясь тем, что их видят в одной компании с ним и что он терпит их возле себя,— словно он барабанщик во главе процессии или слон во главе зверинца, входящего в город. Его сверстники делали вид, будто они и не знают, что он убегал из дому, но в глубине души их терзала зависть. Они отдали бы все на свете за его темный загар и за его блестящую известность. Но Том не расстался бы ни с тем, ни с другим даже в том случае, если бы ему предложили взамен целый цирк.

В школе ученики так носились с ним и с Джо Гарпером, и в их взглядах выражалось такое красноречивое восхищение героями, что те невыносимо заважничали. Они начали рассказывать свои похождения жадно внимавшим слушателям, но именно только начали: с такой богатой фантазией, какой обладали они, можно было изобретать без конца всё новые и новые подвиги! Когда же они извлекли свои трубки и принялись с самым невозмутимым видом попыхивать ими, они достигли вершины почета.

Том решил, что теперь он может обойтись без Бекки Тэчер. С него довольно славы. Он будет жить ради славы. Теперь, когда он так знаменит, Бекки, пожалуй, и пожелает мириться. Ну и пусть! Она увидит, что он может быть так же холоден и равнодушен, как иные... Но вот и она. Том сделал вид, что не замечает ее. Он отошел в сторону, присоединился к кучке мальчиков и девочек и начал разговаривать с ними. Скоро Том увидел, что Бекки весело бегает взад и вперед с пылающим лицом и прыгающими глазами, притворяясь, будто совершенно поглощена погоней за подругами, и взвизгивая от радости каждый раз, как ей удается поймать одну из них. Но в то же время он заметил, что она норовит поймать тех, кто поближе к нему, а чуть поймает, исподтишка поглядит на него. Это льстило его злобному тщеславию и, вместо того чтобы смягчить его сердце,

придавало ему еще больше самодовольства и спеси и заставляло еще сильнее скрывать, что он видит ее. Тогда она перестала гоняться за девочками и начала нерешительно расхаживать неподалеку, время от времени вздыхая и украдкой бросая на Тома печальные взгляды. Вдруг она заметила, что Том чаще всех обращается к Эмми Лоренс. Мучительная тоска охватила ее. Она взволновалась, встревожилась и сделала попытку уйти. Но вместо этого ее непослушные ноги подвели ее вплотную к той группе, где стояли Эмми и Том. Она остановилась совсем близко и с притворной веселостью обратилась к одной из подруг:

— Какая ты гадкая, Мери Остин! Почему ты не была в воскресной школе?

— Я была. Разве ты не видала меня?

— Нет, вот странно. Где же ты сидела?

— Как всегда, в классе мисс Питерс. А я тебя видела.

— В самом деле? Забавно, что я тебя не заметила. Я хотела сказать тебе о пикнике.

— Вот интересно! Кто устраивает?

— Моя мама... для меня.

— Ах, как хорошо! А мне она позволит прийти?

— Ну конечно. Пикник — мой. Кого хочу, того и приглашаю. И тебя приглашу непременно, еще бы!

— Ах, какая ты милая! Когда же это будет?

— Скоро. Может быть, на каникулах.

— Вот весело будет! Ты позовешь всех девочек и мальчиков?

— Да, всех моих друзей... и тех, кто хотел бы со мною дружить. Она украдкой посмотрела на Тома, но Том в это время рассказывал Эмми Лоренс про страшную бурю на острове и про то, как молния разбила большущий платан «в мелкие щепки» как раз в ту минуту, когда он стоял «в трех шагах».

— А мне можно прийти на пикник? — спросил Гресси Миллер.

— Да.

— А мне? — спросила Салли Роджерс.

— Да.

— И мне тоже? — спросила Сузи Гарпер.— И Джо можно?

— Да.

Все задавали один и тот же вопрос и, получив утвердительный ответ, радостно хлопали в ладоши, так что в конце концов напросились на приглашение все, кроме Тома и Эмми.

Но тут Том равнодушно отошел прочь, не прерывая разговора, и увел с собой Эмми. У Бекки дрожали губы, слезы выступили у нее на глазах, но она скрыла свое огорчение под напускной веселостью и продолжала болтать. Однако у нее пропал

всякий интерес к пикнику, да и ко всему остальному. Она поспешила отделаться от окружавших ее подруг, ушла в укромное местечко и «выплакалась всласть», как выражаются женщины, а потом сидела там, оскорбленная, мрачная, пока не раздался звонок. Тогда она встала, взор ее засверкал местью, она тряхнула косичками и сказала, что теперь она знает, что делать.

На перемене Том продолжал ухаживать за Эмми Лоренс, упиваясь своим торжеством. Гуляя с нею, он все время старался найти Бекки, чтобы и дальше терзать ее сердце. Наконец он отыскал ее — и все его счастье мгновенно потухло: она сидела на скамейке за школьным домом у задней стены вместе с Альфредом Темплем; оба рассматривали книгу с картинками и были так поглощены этим занятием, что, казалось, не замечали ничего остального. Головами они касались друг друга. В жилах Тома заклокотала жгучая ревность. Он буквально возненавидел себя: как он мог отвергнуть тот путь примирения, который сама Бекки предложила ему! Он называл себя дураком и другими нелестными прозвищами, какие только мог придумать в тот миг. Ему хотелось плакать от злости. Они прошли дальше. Эмми продолжала весело болтать, потому что сердце ее радостно пело, но у Тома словно отнялся язык. Он не слушал ее и, когда она останавливалась в ожидании ответа, бормотал бессвязно «да-да», порой совсем невпопад. При этом он все время лавировал так, чтобы снова и снова проходить мимо задней стены и омрачать свои взоры этим возмутительным зрелищем. Его тянуло туда против воли. И какую ярость вызывало в нем то, что Бекки (так казалось ему) не обращала на него никакого внимания! Но она видела его и чувствовала, что выигрывает сражение, и бы-

ла рада, что он испытывает те же муки, какие только что испытала она.

Веселая болтовня Эмми стала для него невыносимой. Том намекал ей, что у него есть дела, что ему нужно кое-где побывать, что он и без того опоздал, но напрасно — девочка щебетала, как птица. «Ах,— думал Том,— провались ты сквозь землю! Неужто я никогда от тебя не избавлюсь?» Наконец он объявил, что ему необходимо уйти — и возможно скорее. Эмми простодушно сказала, что после уроков будет ждать его тут же, поблизости, и за это он возненавидел ее.

«И хоть бы кто другой,— говорил он себе, скрежеща зубами,— только бы не этот франтик из Сен-Луи, воображающий, что он так шикарно одет и что у него такой аристократический вид! Ну, погоди! Я вздул тебя в первый же день, чуть ты приехал в наш город, и вздую тебя опять. Погоди, мистер, уж я доберусь до тебя! Я хвачу тебя вот этак...» И Том стал делать такие движения, словно он беспощадно избивает врага: махал кулаками, лягался, наносил воздуху удар за ударом. «Вот тебе! Вот тебе! Что, получил? Просишь пощады? Ну ладно! Ступай, и пусть это тебе будет наукой!» Воображаемая драка завершилась полной победой Тома.

Наступило двенадцать часов. Он убежал домой. Ему было совестно видеть, как благодарна и счастлива Эмми, и, кроме того, страдания ревности дошли у него до последних пределов. Бекки снова принялась рассматривать картинки с Альфредом, но время шло, а Том не приходил, чтобы мучиться, и это омрачало ее торжество. Картинки наскучили ей, она стала молчаливой, рассеянной, потом загрустила. Два или три раза она настораживалась, заслышав чьи-то шаги, но надежды ее были напрасны: Том не появлялся. Под конец она почувствовала себя очень несчастной и жалела, что завела свою месть так далеко. Бедняга Альфред, заметив, что ей, неизвестно почему, стало с ним очень скучно, то и дело твердил: «Вот еще хорошенькая картинка! Смотри!» Девочка наконец потеряла терпение и крикнула: «Ах, отстань от меня! Надоели твои картинки!» Расплакалась, встала и ушла. Альфред бросился за ней, стараясь утешить ее, но она сказала:

— Оставь меня в покое, пожалуйста! Уходи! Я тебя ненавижу!

Мальчик стоял в замешательстве, не понимая, что он ей сделал: ведь она обещала, что всю большую перемену будет смотреть с ним картинки, и вдруг в слезах ушла. Альфред грустно поплелся в опустевшую школу. Он был оскорблен и разгневан. Ему было нетрудно угадать, в чем дело: девочка разговаривала с ним только для того, чтобы подразнить Тома Сойера. При

этой мысли его ненависть к Тому, конечно, ничуть не уменьшилась. Ему хотелось придумать какой-нибудь способ так насолить врагу, чтоб самому остаться вне опасности. В это время ему попался на глаза учебник Тома. Вот удобный случай! Он с радостью раскрыл книжку на той странице, где был заданный урок, и залил всю страницу чернилами. Бекки как раз в эту минуту заглянула со двора в окно и увидела, что он делает, но скрылась поскорее незамеченная. Она побежала домой; ей хотелось разыскать Тома и рассказать ему про книгу. Том обрадуется, будет ей благодарен, и все неприятности кончатся. Но на полдороге она передумала: ей вспомнилось, как обошелся с ней Том, когда она говорила о своем пикнике. Это воспоминание вызвало у нее мучительный стыд и обожгло ее словно огнем. «Так Тому и надо»,— решила она. Пусть его высекут за испорченную книгу — ей все равно: она ненавидит его и будет ненавидеть всю жизнь.

Глава девятнадцатая

ЖЕСТОКИЕ СЛОВА: «Я НЕ ПОДУМАЛ»

Том пришел домой нахмуренный, мрачный, и первые же слова, какие он услышал от тетки, показали ему, что здесь его горе не встретит сочувствия.

— Том, я с тебя шкуру спущу!

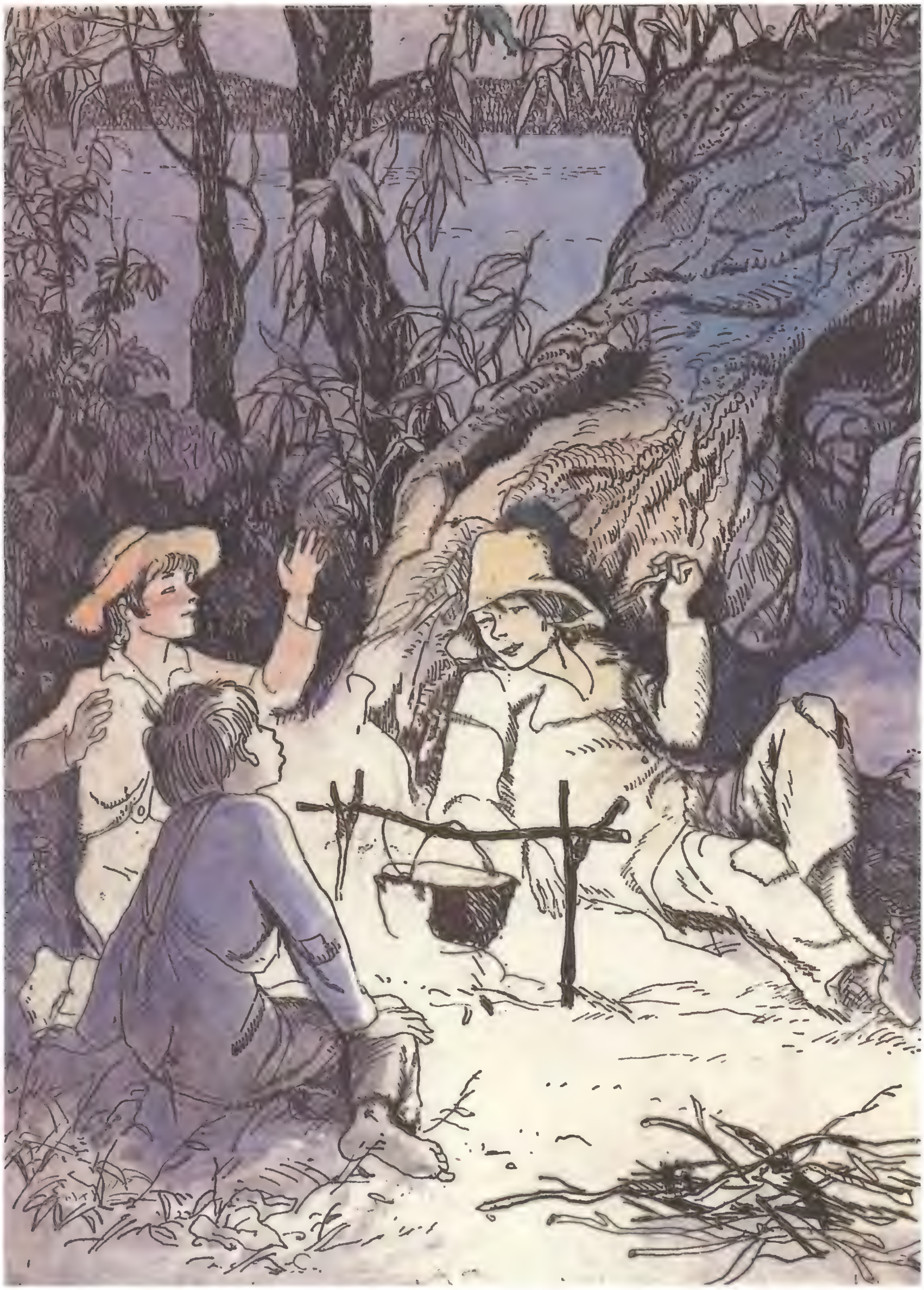
— Тетушка, что я сделал?

— И ты еще спрашиваешь! Я, как старая дура, иду к Сирини Гарпер и думаю, что она вслед за мной поверит всей этой чуши насчет твоего чудесного сна, и здравствуйте! Оказывается, ее Джо рассказал ей, что ты просто-напросто прокрался в тот вечер сюда и подслушал наш разговор. Не знаю, Том, что может выйти из мальчика, который так бессовестно лжет! Мне больно подумать, что ты дал мне пойти к Сирини Гарпер, чтобы все смеялись надо мной, как над дурой,— и даже не попытался меня удержать!

Теперь вся эта история представилась Тому в ином освещении. До сих пор его утренняя проделка казалась ему очень милой и ловко придуманной шуткой. Теперь же она сразу потускнела, стала ничтожной и жалкой. Он повесил голову и в первую минуту не знал, что ответить; потом сказал:

— Тетя, мне жалко, что я это сделал... но я как-то не подумал.

— Ах, милый мой, ты никогда не думаешь! Ты никогда ни о чем не думаешь, только о себе и своих удовольствиях. Небось тебе пришло в голову явиться сюда с Джексонова острова



К стр. 99

ночью, чтобы посмеяться над нашим несчастьем! Пришло в голову морочить меня россказнями о том, что ты видел во сне, а вот пожалеть нас, избавить от горя,— об этом ты не подумал!

— Тетя, я теперь понимаю, что это было мерзко, но я не хотел сделать подлость, даю вам честное слово. Да и кроме того... тогда вечером... я приходил совсем не для того, чтобы смеяться над вами.

— А для чего же?

— Я хотел сказать вам, чтобы вы не беспокоились о нас... что мы не утонули.

— Том, Том! Я возблагодарила бы господа бога в самой горячей молитве, если бы только могла поверить, что тебе пришла в голову такая добрая мысль, но ты сам знаешь, что этого не было... и я знаю, Том.

— Было, было! Даю вам честное слово, что было! Не сойти мне с этого места, было!

— Ах, Том, не лги... не выдумывай... Это во сто раз хуже.

— Это, тетя, не ложь, это правда. Мне хотелось, чтобы вы не горевали, вот я и пришел тогда вечером.

— Я отдала бы все на свете, чтобы поверить тебе: это искупило бы все твои грехи. Если бы это было так, я даже не жалела бы о том, что ты убежал из дому и натворил столько бед... Но нет, всё неправда... Иначе ты непременно сказал бы мне, для чего ты пришел.

— Видите ли, когда вы стали говорить, что нас будут отпевать, как покойников, мне вдруг представилось, как будет чудесно, если мы проберемся в церковь и спрячемся там на хорах... и, конечно, мне очень захотелось, чтоб так оно и было. Поэтому я сунул кору обратно в карман и не сказал ни словечка.

— Какую кору?

— А ту, где я написал вам, что мы ушли в пираты. Я так теперь жалею, что вы не проснулись, когда я вас поцеловал! Ужасно жалею — честное слово!

Суровые складки на лице тети Полли, разгладились, и в глазах ее засияла внезапная нежность.

— А ты правда поцеловал меня, Том?

— Ну да, поцеловал.

— И это верно?

— Еще бы!

— Почему же ты меня поцеловал, Том?

— Потому что я вас так любил в ту минуту, и вы стонали во сне, и мне было очень вас жалко.

Это, пожалуй, было похоже на правду. Старушка сказала с дрожью в голосе, которой она не могла скрыть:

— Поцелуй меня еще раз, Том! И... ступай в школу, и... не приставай ко мне больше.

Едва только он ушел, тетя Полли побежала в чулан и вытащила рваную куртку, которую он носил во время своих разбойничьих подвигов. Взяв куртку в руки, она вдруг остановилась и сказала себе:

— Нет, лучше не надо! Бедный мальчик! Я уверена, что он солгал... но то была святая ложь, святая — потому что ею он думал утешить меня. Я надеюсь... я знаю, что господь простит его, потому что он солгал по доброте. Но мне не хотелось бы убедиться, что это ложь, и я не стану смотреть!

Она отложила куртку и с минуту раздумывала; дважды она протягивала к ней руку и дважды отдергивала; наконец решилась, подкрепив себя мыслью: «Это добрая, добрая ложь,— я не позволю себе огорчаться». И она сунула руку в карман. Через минуту она уже читала строки, написанные Томом на куске коры, и говорила сквозь слезы:

— Теперь я могла бы простить ему хоть миллион грехов!

Глава двадцатая

ТОМ ЖЕРТВУЕТ СОБОЙ РАДИ БЕККИ

В поцелуе тети Полли было что-то такое, от чего все горести Тома рассеялись, и на душе у него стало опять хорошо и легко. Он пошел в школу, и ему посчастливилось: в самом начале Лугового переулка он встретился с Бекки Тэчер. Том всегда действовал под влиянием минуты. Он, не задумываясь, подбежал к Бекки и одним духом сказал:

— Сегодня, Бекки, я вел себя очень скверно и жалею об этом! Больше не буду никогда-никогда, до самой смерти! Давай помиримся... хочешь?

Девочка остановилась и презрительно посмотрела ему в лицо:

— Я была бы вам очень благодарна, мистер Томас Сойер, если бы вы оставили меня в покое. Больше я с вами не разговариваю.

Она вздернула нос и прошла мимо. Том был так ошеломлен, что даже не нашелся ответить: «А мне наплевать... Недотрога!» А потом уже было поздно. Поэтому он ничего не сказал, но в душе у него вспыхнула злоба. Уныло поплелся он по школьному двору и все время жалел, что Бекки не мальчик,— вот бы здорово он ее вздул! В это время она как раз прошла мимо, и он сказал ей какую-то колкость. Она ответила тем же, и таким образом они окончательно стали врагами. Разгневанная Бекки еле

могла дождаться, когда же начнутся уроки,— так ей хотелось, чтобы Тома поскорее высекли за испорченный учебник. Если и было у нее мимолетное желание выдать Альфреда Темпля, теперь оно совершенно исчезло после тех оскорбительных слов, которые только что крикнул ей Том.

Бедная! Она не знала, что ее тоже подстерегает беда.

Учитель этой школы, мистер Доббинс, дожил до зрелого возраста и чувствовал себя неудачником. Смолоду мечтал он о том, чтобы сделаться доктором, но из-за бедности принужден был довольствоваться скромной долей школьного учителя в этом захолустном городишке. Каждый день, сидя в классе, он вынимал из ящика стола какую-то таинственную книгу и урывками, в те промежутки, когда ученики не отвечали уроков, погружался в чтение. Эта книга хранилась у него всегда под замком. Не было школьника, который не сгорал бы желанием заглянуть в эту книгу, но случая не представлялось никогда. Что это за книга? У каждой девочки, у каждого мальчика были свои догадки, но догадок было много, а дознаться до правды не представлялось никакой возможности. И вот Бекки, проходя мимо учительского стола, стоявшего неподалеку от двери, заметила, что в замке торчит ключ! Можно ли было пропустить такой редкостный случай? Она оглянулась — вокруг ни души. Через минуту она уже держала книгу в руках. Заглавие «Анатомия», сочинение профессора такого-то, ничего ей не объяснило, и она принялась перелистывать книгу. На первой же странице ей попалась красиво нарисованная и раскрашенная фигура голого человека. В эту минуту на страницу упала чья-то тень: в дверях показался Том Сойер и краем глаза глянул на картинку. Бекки торопливо захлопнула книгу, но при этом нечаянно разорвала картинку до середины. Она сунула книгу в ящик, повернула ключ и разревелась от стыда и досады.

— Том Сойер! Вас только и хватает, что на всякие пакости! Какая подлость — встать за спиной и подглядывать!

— Откуда же я знал, что ты тут на что-то глядишь?

— Стыдитесь, Том Сойер! Вы, конечно, наябедничаете на меня и... Что мне делать? Что же мне делать? Меня высекут, уж это наверное, а меня в школе еще ни разу не секли...— Она топнула ногой и прибавила: — Ну и жалуйтесь, у вас подлости хватит! Я тоже кое-что знаю. И это скоро случится. Погодите — увидите! Гадкий, гадкий, гадкий!

Она зарыдала опять и бросилась вон из комнаты.

Том остался на месте, ошарашенный ее нападением. Потом он сказал себе:

— Что за глупый народ — девчонки! Никогда не секли в школе! Велика важность, что высекут! Все они — ужасные тру-

сихи и неженки. Понятно, я не стану фискалить и ни слова не скажу старику Доббинсу про эту дуреху... Я могу расквитаться с ней как-нибудь по-другому, без подлости. Но она все равно попадется. Доббинс спросит, кто разорвал его книгу. Никто не ответит. Тогда он начнет, как всегда, перебирать всех по очереди; спросит первого, спросит второго и, когда дойдет до виноватой, сразу узнает, что это она, даже если она будет молчать. У девчонок все можно узнать по лицу — выдержки у них никакой. Ну и высекут ее... наверняка... Попалась теперь Бекки Тэчер, от розги ей не уйти!

Подумав немного, Том прибавил:

— Что ж, поделом! Ведь она была бы рада, если бы в такую беду попал я,— пусть побывает в моей шкуре сама!

И он побежал во двор и присоединился к толпе сорванцов, затеявших какую-то игру. Через несколько минут пришел учитель, и начался урок. Том не особенно интересовался занятиями. Он поминутно смотрел в ту сторону, где сидели девочки, и лицо Бекки внушало ему беспокойство. Вспоминая ее поведение, он не имел ни малейшей охоты жалеть ее и все же не мог подавить в себе жалость, не мог вызвать в себе злорадство. Но вот через некоторое время учитель увидел в книге Тома пятно, и все внимание мальчика было поглощено его собственным делом. Бекки на мгновение вышла из своего мрачного оцепенения и обнаружила большой интерес к происходящей перед нею расправе. Она знала, что все уверения Тома, будто он не обливал своей книги чернилами, все равно не помогут ему. Так и случилось. За то, что он отрицал свою вину, его наказали больнее. Бекки думала, что она будет рада, и пыталась уверить себя, что действительно радуется, но это было не так-то легко. Когда дело дошло до розги, Бекки захотелось встать и сказать, что во всем виноват Альфред Темпль, но она сделала над собой усилие и заставила себя сидеть смирно. «Ведь Том,— размышляла Бекки,— наверняка наябедничает, что это я разорвала картинку. Так вот же, не скажу ни слова! Даже если бы надо было спасти ему жизнь!»

Том получил свою порцию розог и вернулся на место, не чувствуя большого огорчения. Он думал, что, может быть, и вправду как-нибудь нечаянно во время драки с товарищами опрокинул чернильницу на книгу. Так что отрицал он свою вину только для формы, только оттого, что таков был обычай, и он лишь из принципа твердил о своей правоте.

Прошел целый час. Учитель сидел на троне и клевал носом. От гуденья школьников, зубривших уроки, самый воздух стал какой-то сонный. Мистер Доббинс выпрямился, зевнул, отпер ящик стола и нерешительно потянулся за книгой, словно не

зная, взять ее или оставить в столе. Большинство учеников смотрели на это весьма равнодушно, но среди них было двое таких, которые напряженно следили за каждым движением учителя. Несколько минут мистер Доббинс рассеянно нащупывал книгу, затем вынул ее и уселся поудобнее в кресле, готовясь читать. Том бросил взгляд на Бекки. У нее был беззащитный, беспомощный вид, точно у затравленного кролика, в которого прицелился охотник. Том моментально забыл свою ссору с ней. Скорее на помощь! Надо сейчас же что-нибудь предпринять, сейчас же, не теряя ни секунды! Но самая неотвратимость беды мешала ему изобрести что-нибудь. Великолепно! Блестящая мысль! Он подбежит, схватит книгу, выскочит в дверь — и был таков! Но он чуточку поколебался, и удобный момент был упущен: учитель уже открыл книгу. Если бы можно было вернуть этот миг!

«Слишком поздно, теперь для Бекки уже нет никакого спасения».

Еще минута, и учитель обвел глазами школу. Все глаза под его взглядом опустились. В этом взгляде было что-то такое, от чего даже невиновные затрепетали в испуге. Наступила пауза; она тянулась так долго, что можно было сосчитать до десяти. Учитель все больше распалялся гневом. Наконец он спросил:

— Кто разорвал эту книгу?

Ни звука. Можно было бы услышать, как упала булавка. Все молчали.

Учитель впивается глазами в одно лицо за другим, ища виновного.

— Бенджамен Роджерс, ты разорвал эту книгу?

Нет, не он. И опять тишина.

— Джозеф Гарпер, ты?

Нет, не он. Тревога Тома с каждым мигом росла. Эти вопросы и ответы были для него медленной пыткой. Учитель оглядел ряды мальчиков, подумал немного и обратился к девочкам:

— Эмми Лоренс?

Та отрицательно мотнула головой.

— Греси Миллер?

То же самое.

— Сюзен Гарпер, это сделала ты?

Нет, не она. Теперь очередь дошла до Бекки Тэчер. Том дрожал с головы до ног; положение казалось ему безнадежным.

— Ребекка Тэчер (Том взглянул на ее лицо: оно побелело от страха), ты разорвала... нет, гляди мне в глаза... (она с мольбой подняла руки) ты разорвала эту книгу?

Тут в уме у Тома молнией пронеслась внезапная мысль. Он вскочил на ноги и крикнул:

— Это сделал я!

Вся школа в недоумении поглядела на безумца, совершающего такой невероятный поступок. Том, постояв минуту, собрал свои растерянные мысли и выступил вперед, чтобы принять наказание. Изумление, благодарность, восторженная любовь, засветившаяся в глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню таких наказаний. Увлеченный величием собственного подвига, он без единого крика перенес самые жестокие удары, какие когда-либо наносил мистер Доббинс, и так же равнодушно принял дополнительную кару — приказ остаться в школе на два часа после уроков. Он знал, кто будет ждать его там, у ворот, когда его заточение кончится, и потому не считал двухчасовую скуку слишком тяжкой...

В этот вечер, отправляясь спать, Том тщательно и долго обдумывал, как он отомстит Альфреду Темплю. Бекки, в припадке стыда и раскаяния, поведала ему обо всем, не скрывая и своего ужасного предательства. Но даже планы мщения скоро уступили место более приятным мечтам, и, засыпая, он все еще слышал последнее восклицание Бекки: «Том, как м о г ты быть таким великодушным!»

Глава двадцать первая

КРАСНОРЕЧИЕ — И ПОЗОЛОЧЕННЫЙ КУПОЛ УЧИТЕЛЯ

Приближались каникулы. Учитель, всегда строгий, стал еще строже и требовательнее: ему хотелось, чтобы школа могла щегольнуть на экзаменах перед посторонними зрителями. Розги и линейка редко лежали теперь без работы — по крайней мере в младших классах. Только юноши и девицы лет восемнадцати — двадцати были избавлены от телесного наказания. А бил ми-

стер Доббинс больно, мускулы у него были здоровые, так как до старости ему было далеко, хотя он и прятал под париком обширную, сияющую лысину. По мере приближения великого дня вся таившаяся в нем склонность к мучительству стала пробиваться наружу: он, казалось, находил злобное наслаждение в том, чтобы карать за самые ничтожные проступки. Мудрено ли, что младшие школьники целые дни трепетали и мучились, а по ночам строили планы жестокого мщения! Они не упускали случая устроить учителю какую-нибудь пакость. Но силы были неравные, и он всегда оказывался победителем. За каждой удавшейся местью следовала такая грозная и страшная расправа, что мальчики всегда покидали поле битвы с большими потерями. Наконец они устроили заговор и придумали план, обещавший им блестящую победу. Они столковались с учеником живописца, малевавшего вывески: посвятили его в свою тайну и просили оказать им помощь. Тот пришел в восторг, и не удивительно: учитель столовался в доме его отца, и у мальчика было много причин ненавидеть злого педагога. Как нарочно, жена учителя собралась куда-то в гости к своим деревенским знакомым и должна была уехать через несколько дней. Значит, ничто не могло помешать задуманной мести. Перед всяким великим событием учитель любил подкрепляться спиртными напитками, и ученик живописца обещал, что накануне экзамена, как только педагог охмелеет и уснет в своем кресле, он «сделает всю эту штуку», а потом разбудит его и препроводит в школу.

Но вот наступил этот замечательный день. К восьми часам вечера здание школы было ярко освещено и украшено венками, гирляндами из листьев и цветов. Учитель, как на троне, сидел в большом кресле на высоком помосте. Сзади находилась доска. Было видно, что он изрядно нагрузился вином. Три ряда боковых скамеек, справа и слева, да шесть рядов посредине были заняты местными сановниками и родителями учеников. Налево, за скамьями взрослых, на широкой временной платформе сидели школьники, которые должны были отвечать на экзамене: ряды мальчиков, так чисто умытых и одетых, что они чувствовали себя словно связанными; ряды неуклюжих подростков; белоснежные ряды девочек и взрослых девиц, разряженных в батист и кисею и, видимо, ни на минуту не забывавших, что у них голые руки, что на них старинные бабушкины побрякушки, розовые и синие банты и цветы в волосах. Остальные места занимали школьники, не участвовавшие в испытаниях.

Началось с того, что встал какой-то крошечный мальчик и робким голоском пролепетал:

О, вам, я знаю, непривычно,
Чтоб говорил малыш публично... —

и т. д., сопровождая свою декламацию мучительно аккуратными судорожными жестами, словно машина — машина, в которой что-то немного испортилось. Тем не менее он благополучно добрел до конца и, жестоко испуганный, был награжден дружными аплодисментами, отвесил свой механический поклон и удалился.

Сконфуженная маленькая девочка просюсюкала «У Мери был ягненок» и т. д., сделала реверанс, внушающий острую жалость, получила свою порцию рукоплесканий и, пунцовая от счастья, уселась на место.

Затем очень самоуверенно вышел вперед Том Сойер и начал декламировать неугасимое, неистребимое «Дайте мне волю иль дайте мне смерть!» с великолепной свирепостью и бешеной жестикуляцией, но, дойдя до половины, запнулся. Тут его охватило смущение, он почувствовал страх перед публикой; ноги подкашивались, в горле что-то давило; он не мог произнести ни слова. Правда, слушатели отнеслись к нему с явным сочувствием, но все они молчали, и их молчание было для него даже более тягостно, чем их сочувствие. Учитель мрачно нахмурился, и это довершило катастрофу. Том еще немного побарахтался и вернулся на свое место уничтоженный. Были слабые хлопки, но они замерли в самом начале.

Далее следовало: «Мальчик стоял на пылающей палубе», а также «Ассирияне шли, как на стадо волки́» и другие перлы декламации.

Затем наступила очередь новых состязаний: чтение вслух и диктант. Жидкий латинский класс не без успеха продекламировал стишки.

Затем юные леди должны были самолично читать свои собственные сочинения. Это было гвоздем всей программы. Каждая по очереди выходила к самому краю платформы, откашливалась, подносила к глазам свою рукопись (перевязанную хорошенькой ленточкой) и начинала читать, старательно соблюдая «выражение» и знаки препинания. Темы сочинений были те же, какие в подобных случаях разрабатывали мамаши, бабушки и прабабушки этих девиц и вообще все предки по женской линии, начиная с крестовых походов: «Дружба», «Воспоминания о былом», «Промысел божий в истории», «Царство мечты», «Польза культуры», «Формы политического устройства государств», «Меланхолия», «Любовь к родителям», «Сердечные склонности» и т. д., и т. д.

Главной особенностью всех этих сочинений была тщательно взлелеянная меланхолия. Вторая особенность — целые потоки всяких нарядных и красивых словечек. Третья особенность — притянутые за уши излюбленные обороты и фразы, которые от

частого употребления истрепались до последних пределов. А самое заметное (и самое зловредное) качество всех этих рукописей — навязчивая и невыносимая мораль, которая всегда неизменно помахивала на последней странице своим куцым хвостом. Какова бы ни была тема, нужно было какой угодно ценой выжать из своих мозгов нравоучение, над которым всякий религиозный и высоконравственный ум мог бы поразмыслить не без пользы. Фальшь этой морали очевидна для всякого, но это не мешает ей и по нынешний день процветать в наших школах; возможно, что они останутся в моде, покуда существует земля. Нет такой школы во всей нашей стране, где юные девицы не считали бы своим долгом заканчивать свои сочинения религиозной проповедью. И чем распущеннее какая-нибудь великовозрастная школьница, чем меньше в ней религиозного чувства, тем набожнее, длиннее и строже мораль ее классных сочинений. Впрочем, довольно об этом, ибо суровая правда приходится по вкусу не многим.

Лучше вернемся к экзаменам. Первое прочитанное сочинение носило заглавие: «Такова ли должна быть Жизнь?»[1]

Может быть, у читателя хватит терпения вынести хотя бы краткий отрывок:

> На обычных тропах бытия с каким радостным волнением предвкушают юные умы какое-нибудь долгожданное празднество. Воображение рисует им картины веселья, окрашенные в розовый цвет. В мечтах слалюбивая поклонница моды видит себя в самом центре ликующей и восхищенной толпы. Ее изящная фигура, облаченная в белоснежные ткани, кружится в упоении веселого танца; у нее самая легкая поступь, и глаза ее сияют ярче всех в этой празднично-ликующей толпе. В таких сладостных грезах время быстро проносится мимо, и приходит желанный час, когда она может вступить в тот рай, о котором так пылко мечтала. Какими волшебными представляются ей все очарования этого нового мира! Каждое новое видение соблазняет ее все более и более. Но вскоре она обнаруживает, что под этой блестящей поверхностью всё — тлен и суета. Лесть, которая так услаждала ее душу, теперь лишь раздражает ее слух; пышные бальные залы потеряли свою привлекательность, и с разрушенным здоровьем и с удрученным сердцем она уходит оттуда, унося непоколебимую уверенность, что никакие земные утехи не могут утолить ее духовную жажду!

И так далее и так далее. Чтение все время сопровождалось одобрительным гулом; слышались тихие возгласы: «Как мило!», «Как красноречиво!», «Как верно!» и т. д. И когда вся эта ка-

---

[1] Сочинения, которые цитируются здесь, заимствованы без изменений из книжки, напечатанной под заглавием «Проза и поэзия одной дамы, живущей на Западе», так как в них точнейшим образом выдержан стиль, свойственный сочинениям школьниц, и никакая подделка не могла бы сравниться с ними. *(Примеч. Марка Твена.)*

нитель завершилась удручающе-пошлой моралью, все восторженно захлопали в ладоши.

Потом встала хрупкая, печальная дева, с интересной бледностью лица, происходящей от пилюль и несварения желудка, и прочитала «поэму».

Я приведу из этой поэмы лишь две строфы:

ПРОЩАНИЕ МИССУРИЙСКОЙ ДЕВЫ С АЛАБАМОЙ[1]

Алабама, прощай! И хоть ты мне мила,
Но с тобою пора мне расстаться.
О, печальные мысли во мне ты зажгла,
И в душе моей скорби гнездятся.
По твоим я блуждала цветистым лесам,
Над струями твоей Таллапусы,
И внимала Талласси бурливым волнам
Над зелеными склонами Кусы.

И, прощаясь с тобой, не стыжусь я рыдать,
Мне не стыдно тоскою терзаться,
Не чужбину судьба мне велит покидать,
Не с чужими должна я расстаться,—
В этом штате я знала уют и привет,
Алабама моя дорогая!
И была б у меня бессердечная tête[2],
Не любила бы если б тебя я!

Мало кому из слушателей было известно, что такое tête, но тем не менее поэма понравилась.

Потом появилась смуглая, черноглазая, черноволосая девица, выдержала эффектную паузу, сделала трагическое лицо и начала нараспев:

ВИДЕНИЕ

Темна была бурная ночь. Вокруг небесного престола не мерцала ни единая звездочка; но глухие раскаты грома постоянно раздавались в ушах, а бешеная молния бушевала, пируя, в облачных чертогах небес, словно она презирала ту власть, которой укротил ее бешенство знаменитый Франклин![3] Даже буйные ветры единодушно решили покинуть свои тайные убежища и неистовствовали, как бы пытаясь придать еще более ужаса этой потрясающей сцене.

В эту годину мрака и отчаяния душа моя жаждала участия души человеческой,— вот ко мне явилась она —

Мой лучший друг, мой идеал, наставница моя,
Развеяла мою печаль, утешила меня.

---

[1] Алабама — один из североамериканских штатов.

[2] La tête (франц.) — голова.

[3] Бенджамин Франклин (1706—1790) — североамериканский политический деятель и ученый. Изобретатель громоотвода.

Она шествовала, как одно из тех небесных созданий, какие являются в грезах юным романтическим душам на осиянных дорогах эдема[1], царица красоты, не украшенная никакими драгоценностями, только собственной непревзойденной прелестью. Так тиха и беззвучна была ее нежная поступь, что, если бы не магический трепет, внушенный мне ее прикосновением, она прошла бы мимо, незамеченная, подобно другим красавицам, не выставляющим свою красу напоказ. Печать неразгаданной скорби лежала у нее на лице, как заледенелые слезы на белоснежном одеянии Декабря, когда она указала перстом на борьбу враждующих стихий и приказала мне обратить мою мысль на тех двоих, что присутствуют здесь.

Этот кошмар занимал десять страниц и заканчивался необыкновенно суровой проповедью, сулившей такие ужасные кары тем, кто не принадлежит к пресвитерианской церкви, что его удостоили высшей награды. Мэр города, вручая автору награду, произнес горячую речь; по его словам, он «никогда не слыхал ничего красноречивее» и «сам Дэниэл Уэбстер[2] мог бы гордиться подобным шедевром ораторского искусства».

Тут нужно указать мимоходом, что число сочинений, где фигурировало слово «пленительный» и где разные житейские передряги именовались «страницей жизни», было нисколько не ниже обычного.

Учитель, размякший и подобревший от выпивки, отодвинул кресло и, повернувшись спиной к публике, начал рисовать на доске карту Америки, чтобы проэкзаменовать учеников по географии. Но нетвердая рука плохо слушалась его, и по классу пронеслось сдержанное хихиканье. Хорошо понимая, в чем дело, он старался поправиться: стирал нарисованное и чертил снова, но выходило еще хуже, и хихиканье раздавалось громче. Он сосредоточил все внимание на работе и решил не обращать никакого внимания на смех. Он чувствовал, что все взоры устремлены на него, и думал, что дело идет на лад. Но хихиканье в классе не умолкало, а, наоборот, заметно усиливалось. И не удивительно! Как раз над головой учителя в потолке был чердачный люк, и вдруг из этого люка появилась кошка на веревке, причем голова ее была туго стянута тряпкой, чтобы она не мяукала. Медленно спускаясь все ниже и ниже, она изгибалась всем телом, тянулась вверх и старалась поймать когтями веревку, но ловила только воздух. Хихиканье становилось громче, кошка была уже в каких-нибудь шести дюймах от поглощенного своим делом учителя... ниже, ниже, еще немножко ниже... и вдруг она отчаянно вцепилась когтями в парик и вместе со своим трофеем моментально была вознесена на чердак. И вокруг голого черепа

---

[1] Эдем — райский сад.

[2] Дэниэл Уэбстер (1782—1852) — политический деятель США, знаменитый оратор.

мистера Доббинса неожиданно распространилось сияние, так как сын живописца позолотил ему лысину!

После этого собрание разошлось. Мальчики были отомщены. Наступили каникулы.

Глава двадцать вторая

ГЕК ФИНН ЦИТИРУЕТ БИБЛИЮ

Том вступил в новое общество — «Юных друзей трезвости», так как членам этого общества выдавали шикарные «знаки отличия». С него было взято обещание никогда не курить, не жевать табаку, не ругаться скверными словами. После этого он открыл одну новую истину: если хочешь, чтобы человек что-нибудь сделал, пусть даст зарок, что не станет делать этого во веки веков. Вернейший способ! То́му тотчас же мучительно захотелось и ругаться и пьянствовать. Это желание росло, и только надежда, что скоро может представиться случай покрасоваться перед публикой в пунцовом шарфе, удерживала его, а то он непременно ушел бы из общества. Приближалось Четвертое июля[1]; впрочем, на третьи сутки после того, как он пробыл в веригах трезвости, он перестал о нем думать и возложил все свои надежды на старого мирового судью Фрезера, который лежал при смерти; вероятно, судье будут устроены пышные похороны, так как судья важная персона. И тогда, на его погребении, можно будет щеголять пунцовым шарфом. Три дня подряд Том проявлял глубокий интерес к состоянию здоровья судьи и с душевным волнением справлялся, как он себя чувствует. Иногда надежды Тома поднимались на такую высоту, что он дерзновенно вынимал из комода свои знаки отличия и примерял их перед зеркалом. Но судья чувствовал себя то лучше, то хуже. Наконец разнесся слух, что ему сильно полегчало, а потом — что он и совсем поправляется. Том был так возмущен, будто над ним насмеялись. Он тотчас же вышел из общества. И что же? Ночью судье стало хуже, и он умер. Том решил, что после этого никому невозможно верить. Похороны были роскошные. Юные члены общества трезвости так важно шагали в процессии, что их бывший товарищ чуть не лопнул от зависти. Зато теперь Том был вольная птица — это тоже чего-нибудь стоило! Он мог пьянствовать и ругаться сколько душе угодно. Но странное дело! Теперь ему уже не хотелось. Именно потому, что не было никакого

---

[1] Четвертое июля — праздник в Соединенных Штатах Америки: годовщина принятия «Декларации независимости» (1776). (См. примечание на стр. 304).

запрета, все его греховные желания исчезли и потеряли свою привлекательность.

Вскоре Том с удивлением заметил, что каникулы, о которых он столько мечтал, становятся ему как будто в тягость.

Он начал было вести дневник, но за три дня не случилось никаких происшествий, и он бросил.

Но вот в городок приехал негритянский оркестр и произвел на всех большое впечатление. Том и Джо Гарпер собрали свой оркестр из ребят и были счастливы целых два дня.

Даже пресловутое Четвертое июля прошло неудачно: лил дождь, процессия не состоялась, а величайший человек в мире (так, по крайней мере, думал Том), мистер Вентон, настоящий сенатор Соединенных Штатов, принес ему сплошное разочарование, ибо оказался отнюдь не великаном двадцати пяти футов росту, а самым заурядным человечком.

Приехал цирк. Мальчики три дня после того давали цирковые представления в палатке из дырявых ковров, взимая за вход с мальчиков по три булавки, а с девочек по две; но потом и это надоело.

Затем явился гипнотизер[1] и френолог, и после их отъезда стало еще скучнее.

Иногда устраивались вечеринки для мальчиков и девочек, но они бывали так редко и доставляли так много веселья, что промежутки между ними ощущались, как боль.

Бекки Тэчер уехала на лето с родителями в свой родной городок Константинополь, и с ее отъездом померкла вся радость жизни.

Страшная тайна убийства была для Тома непреодолимым страданием. Она, словно язва, терзала его упорной, неутихающей болью.

Потом пришла корь.

В течение двух долгих недель Том провалялся в постели, как узник, умерший для мира и для всех человеческих дел. Болезнь была тяжелая, ничто не интересовало его. Когда он наконец встал на ноги и в первый раз поплелся, шатаясь, по городу, он везде нашел перемену к худшему. В городке началось возрождение религии, и все стали толковать о «божественном» — не только взрослые, но даже малые дети. Том прошел весь город из конца в конец, страстно надеясь увидеть хоть одного грешника, но и тут его ждало разочарование. Он пошел к Джо Гарперу, но

---

[1] Гипнотизером называется человек, могущий усыплять людей искусственным способом и подчинять их своей воле. В Америке гипнотизированием нередко занимались шарлатаны, показывавшие свое искусство за деньги.

тот изучал Евангелие, и Том, грустный, поспешил уйти от этого унылого зрелища. Он стал разыскивать Бена Роджерса, но оказалось, что Бен посещает беднейших жителей и при этом таскает с собою корзину, полную религиозных брошюрок. Когда он наконец разыскал Джима Холлиса, тот стал уверять, что небо послало Тому корь для того, чтобы он покаялся в своих прегрешениях. Каждая новая встреча прибавляла еще одну тонну к той тяжести, которая душила его; в полном отчаянии он кинулся искать пристанища в объятиях Гекльберри Финна, но и тот встретил его текстом из Библии. Этого Том не выдержал: сердце его разорвалось; он еле добрел до дома и упал на кровать, чувствуя, что во всем городе он — единственный грешник, обреченный на вечные муки в аду.

Ночью разразилась страшная буря с проливным дождем, зловещими раскатами грома и ослепительными молниями.

Том закутался в одеяло с головой и в ужасе ждал своей гибели: у него не было ни тени сомнения, что вся эта суматоха затеяна из-за него. Он был уверен, что своими грехами истощил долготерпение господа бога и теперь ему не будет пощады. Если бы кто-нибудь вздумал выдвинуть артиллерию против ничтожной букашки, Том счел бы это напрасной тратой сил и снарядов, но он вовсе не находил странным, что небеса соорудили дорогостоящую грозу, чтобы сокрушить такую букашку, как он.

Мало-помалу гроза стала затихать и прошла, не выполнив своей главной задачи. Первым побуждением мальчика было возблагодарить господа бога и мгновенно исправиться, вторым — подождать еще немножко, так как не похоже на то, чтобы гроза разразилась опять.

На следующий день снова пришлось приглашать докторов: болезнь Тома возобновилась. Три недели, в течение которых Том пролежал на спине, показались ему на этот раз целой вечностью. Когда наконец он вышел из дому, он даже не радовался, что смерть пощадила его. Он помнил, каким одиноким и бесприютным был он в последнее время. Он лениво побрел по улицам и увидел, что Джим Холлис вместе с другими мальчишками судит кошку за убийство птички. Жертва кошки находилась тут же. Дальше в укромном закоулке сидели Джо Гарпер и Гекльберри Финн и уплетали краденую дыню. Бедняги! К ним, как недавно к Тому, вернулась их недавняя болезнь.

Глава двадцать третья

СПАСЕНИЕ МЕФФА ПОТТЕРА

Наконец сонная атмосфера всколыхнулась — и очень сильно: назначен был день суда над убийцей. В городке только об этом и говорили. Том не знал, куда деваться от разговоров. При каждом намеке на убийство сердце у него так и вздрагивало. Нечистая совесть внушала ему, что такие разговоры ведутся при нем неспроста, что ему расставляют сети. Правда, он не давал себе ясного отчета, как могут заподозрить его в том, что он знает хоть что-нибудь об этом убийстве, но все же городские кривотолки не могли не тревожить его. Его то и дело бросало в озноб. Он увел Гека в укромное место, чтобы поговорить по душам. Нужно же хоть на короткое время дать волю языку и разделить с товарищем по несчастью свое тяжелое бремя! К тому же он хотел убедиться, что Гек не проговорился.

— Гек, ты кому-нибудь говорил насчет этого?

— Насчет чего?

— Сам знаешь...

— Понятно, нет.

— Ни слова?

— Ни единого словечка, провались я на этом месте! А почему ты спрашиваешь?

— Да так, я боялся.

— Ну, Том Сойер, нам и двух дней не прожить бы, если бы мы проболтались. Ты ведь с а м знаешь.

Тому стало немного легче. Помолчав, он спросил:

— Гек, тебя никто не может заставить проговориться?

— Меня? Ну уж нет! Разве только мне захочется, чтобы этот дьявол метис утопил меня в реке,— тогда пожалуй...

— Значит, все в порядке. Я так думаю, что, пока мы держим язык на привязи, никто нас не тронет. А все-таки давай поклянемся опять. Так будет вернее!

— Ладно.

И они опять дали друг другу торжественную и страшную клятву.

— А что говорят, Гек? Я столько наслушался разных историй.

— Что говорят? Да все одно: Мефф Поттер, Мефф Поттер, Мефф Поттер. Меня даже в пот кидает — прямо ушел бы и спрятался.

— Вот-вот! И со мной то же самое. А ведь его дело пропащее! Ему крышка. Тебе его не бывает жалко... иногда?

— Очень часто... да, очень часто. Правда, он человек непутевый, но ведь и зла никому не делал. Никому никогда. Наловит немного рыбки — было бы на что выпить, а потом слоняется без дела... Так ведь, господи, все мы такие! Ну, не все, а многие: папаша, например, и тому подобные. А все-таки он вроде добрый: дает мне раз половину своей рыбы, а ее только и хватило бы, что на него одного. А сколько раз он заступался за меня, выручал из беды!

— Мне он чинил бумажных змеев и привязывал крючки к моим удочкам. Очень было бы здорово, если б мы помогли ему убежать из тюрьмы!

— Ишь куда хватил! Как же мы ему поможем? Да и какой ему от этого прок? Убежит, а его поймают.

— Д-да, это так... Это верно. Но мне прямо слышать противно, что его ругают, как черта, а он совсем ни в чем не виноват.

— И мне тоже, Том. Понимаешь, я слыхал... говорят, что он самый кровожадный злодей во всем штате, и дивятся, как это его до сих пор не повесили!

— Да-да, я своими ушами слышал, что, если он будет отпущен на волю, его повесят по закону Линча[1].

— Так и сделают: повесят.

Мальчики еще долго толковали о Поттере, но от этого им не сделалось легче. Когда стемнело, они стали околачиваться возле маленькой уединенной тюрьмы, питая смутную надежду, что какой-нибудь неожиданный случай сразу выведет их из всех затруднений. Но ничего такого не случилось: по-видимому, ни ангелы, ни добрые феи не заинтересовались злосчастным узником.

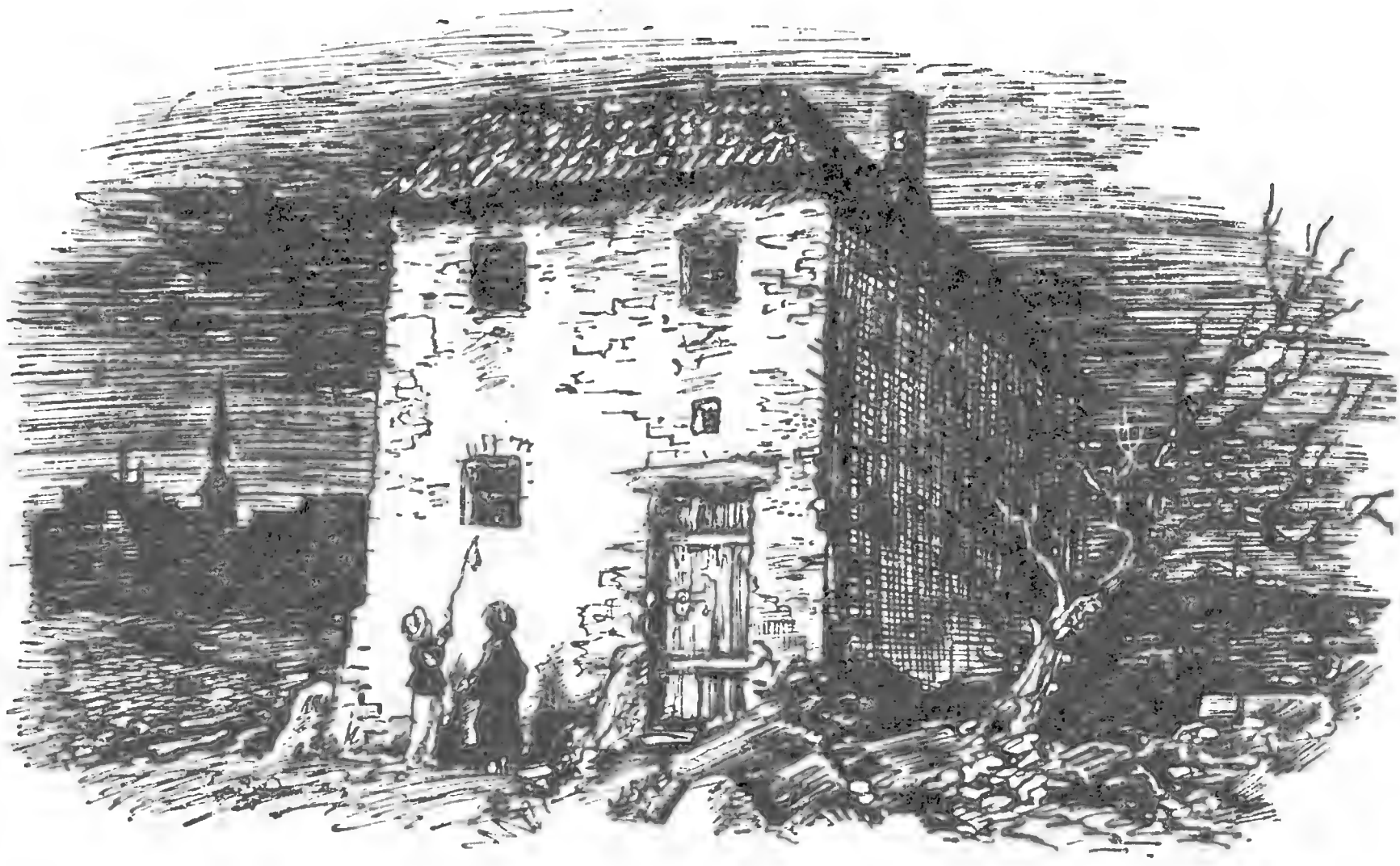
Одно они могли сделать, и делали уже несколько раз: просунули Поттеру сквозь решетку немного табаку и несколько спичек. Его поместили в нижнем этаже, а сторожей не было.

Его благодарность за такие дары и прежде смущала их совесть. А в этот раз она кольнула их еще больнее. Они почувствовали себя последними трусами и предателями, когда Поттер сказал им:

— Спасибо вам за вашу доброту, ребятки! Никто во всем городе не жалеет меня, только вы одни. И я этого не забуду, нет-нет! Я часто говорю себе: ведь я всем малышам чинил бумажных змеев и всякую штуку и показывал, где лучше ловится рыба, со всеми был вроде как товарищ, но все отвернулись от старого Меффа — теперь, когда Мефф в беде... А Том не отвернулся, и Гек не отвернулся... нет, они не забыли его... и он не

---

[1] Расправа без суда. Линчевание применялось и применяется в Америке главным образом к неграм.



забудет их... Да, ребятки, я сделал страшное дело: пьян я был, не в своем уме... в этом-то вся причина... А теперь меня, того гляди, повесят... И правильно... правильно... Это лучше всего. Честное слово, лучше! Ну, да что толковать об этом! Не стоит нагонять на вас тоску, на моих лучших друзей. Я только вот что хочу вам сказать: если не хотите попасть за решетку, не пейте этого проклятого вина... Станьте немного в сторонке, к западу... Вот так. Человеку в такой беде первое утешение видеть лица друзей, а ко мне сюда никто не ходит, только вы. Добрые лица друзей... добрые лица друзей... Влезьте один другому на спину, чтобы я мог до вас дотянуться... Вот так. Ну, теперь пожмите-ка мне руку,— ваши-то руки пролезут в решетку, а моя чересчур велика. Маленькие ручонки и слабые, а все-таки они здорово помогли Меффу Поттеру, и помогли бы еще больше, если бы только могли!

Том ушел домой совсем несчастный, и сны, которые он видел в ту ночь, были полны всяких ужасов. На другой день и на третий день он с утра до вечера вертелся у здания суда. Какая-то неодолимая сила влекла его внутрь, но он принуждал себя остаться на улице. То же самое испытывал и Гек. Они старательно избегали друг друга. Время от времени и тот и другой уходили куда-нибудь подальше, но те же зловещие чары снова тянули их к прежнему месту. Когда из зала суда на улицу выходил какой-нибудь зевака, Том с жадностью ловил каждое слово, но вести были печальные: бедный Поттер все больше за-

путывался в беспощадных сетях правосудия. Под конец второго дня городские толки свелись к одному: что все показания Индейца Джо подтвердились и что не может быть ни малейших сомнений, какой приговор будет вынесен Поттеру.

Том вернулся домой поздно вечером — и к постели добрался через окошко. Он был сильно взволнован и долго не мог заснуть. На другой день весь город толпился с утра у судебного здания, так как это был решающий день. Народу набилось полная зала — и мужчин и женщин. Наконец долгожданные присяжные вошли гуськом и заняли свои места. Через несколько минут ввели Поттера, бледного, запуганного, жалкого; вся его фигура выражала отчаяние. Он был закован в цепи; его усадили так, чтобы все любопытные могли глазеть на него. На таком же видном месте сидел Индеец Джо, невозмутимый, как всегда. Снова наступило молчание, затем вышел судья, и шериф объявил заседание открытым. Как всегда, члены суда стали шушукаться между собой и собирать какие-то бумаги. Эта мелочная возня и всякие другие проволочки создавали торжественную атмосферу тревожного, напряженного ожидания.

Вызвали свидетеля, видевшего, как Мефф Поттер умывался у ручья рано утром в тот день, когда было обнаружено убийство. Свидетель показал, что, завидев его, Мефф Поттер тотчас же пустился бежать. Предложив еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику:

— Теперь ваша очередь: допросите свидетеля.

Подсудимый поднял глаза, но опустил их опять, когда услышал, что защитник ответил:

— У меня вопросов к свидетелю нет.

Следующий свидетель показал, что он нашел нож возле трупа убитого.

Опять прокурор сказал, обращаясь к защитнику:

— Вы можете допросить свидетеля.

И защитник опять ответил:

— У меня вопросов к свидетелю нет.

Третий свидетель показал под присягой, что часто видел этот нож в руках у Поттера.

И опять прокурор обратился к защитнику:

— Вы можете допросить свидетеля.

Защитник Поттера отказался допрашивать и этого свидетеля.

На лицах у присутствующих появилось выражение досады. Что за странный защитник! Неужели он не сделает ни малейшего усилия, чтобы спасти своего клиента от петли?

Несколько свидетелей показали, что Поттер, приведенный на место убийства, был очень смущен. Сразу было видно по его

поведению, что он-то и есть преступник. И этих свидетелей адвокат отпустил, не подвергая их перекрестному допросу.

Каждая мельчайшая подробность прискорбных событий, происходивших в то памятное утро на кладбище, была досконально изложена свидетелями, но защитник Меффа Поттера даже не попытался допрашивать ни одного из них. Публика была возмущена и так громко роптала, что судья сделал ей строгое внушение.

После этого встал прокурор и сказал:

— Вполне надежные свидетели установили под присягой тот факт, что это страшное преступление совершил не кто иной, как несчастный, сидящий ныне на скамье подсудимых. Больше мне нечего прибавить: обвинение вполне доказано.

Бедный Поттер застонал и закрыл лицо руками, тихонько раскачиваясь взад и вперед. В зале суда воцарилось тягостное молчание. Даже мужчины были взволнованы, а женщины зарыдали от жалости.

Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье:

— Достопочтенный сэр! В начале судебного заседания я заявил о моем намерении доказать, что мой клиент совершил это страшное убийство в бессознательном состоянии, в беспамятстве, под влиянием спиртных напитков. Но я изменил свое намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных...

И он обратился к приставу:

— Вызовите Томаса Сойера!

На лицах у всех, не исключая самого Поттера, выразилось изумление. Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошел к судейскому столу. У мальчика был растерянный вид, потому что он ужасно испугался. Его привели к присяге.

— Томас Сойер, где вы были семнадцатого июня, около полуночи?

Том глянул на железное лицо Индейца Джо, и его язык прилип к гортани. Слушатели затаили дыхание, но голос не повиновался Тому. Однако через несколько мгновений мальчик чуть-чуть овладел собой, так что некоторые сидевшие в зале расслышали его тихий ответ:

— На кладбище.

— Пожалуйста, громче. Не бойтесь. Итак, вы были...

— На кладбище.

Презрительная улыбка мелькнула на лице Индейца Джо.

— Не были ли вы поблизости от могилы Горса Вильямса?

— Да, сэр.

— Пожалуйста, чуточку громче. Как близко вы были от могилы?

— Так же близко, как теперь от вас.
— Вы спрятались или стояли на виду?
— Спрятался.
— Где?
— За вязами, рядом с могилой.
Индеец Джо чуть заметно вздрогнул.
— С вами был еще кто-нибудь?
— Да, сэр, я пошел туда с...
— Остановитесь, погодите. Нет надобности называть сейчас вашего спутника. В свое время мы допросим и его... Вы что-нибудь принесли с собой на кладбище?
Том колебался. Он был, видимо, сконфужен.
— Говорите, не бойтесь, мой друг,— истина всегда достопочтенна. Что же вы принесли туда?
— Только... дохлую кошку.
По зале пронеслась струя веселья. Судья позвонил в колокольчик.
— Мы представим суду скелет этой кошки. А теперь, мой друг, расскажите нам все, что вы видели, расскажите, как умеете, все без утайки и не бойтесь ничего.
Том начал — сперва нерешительно, потом понемногу увлекся; речь его полилась живее; скоро в зале суда раздавался один только его голос, остальные звуки затихли, слушатели с разинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово, не замечая времени,— так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства:
— А когда доктор хватил Меффа Поттера доской по голове и тот упал, Индеец Джо кинулся на него с ножом и...
Трах! Быстрее молнии метис вскочил на окно, оттолкнул пытавшихся удержать его и был таков!

Глава двадцать четвертая

БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ДНИ — И УЖАСНЫЕ НОЧИ

Том еще раз сделался знаменитым героем. Взрослые опять баловали его, а дети завидовали ему. Он стяжал себе бессмертную славу: местная газетка расхвалила его до небес. Некоторые даже предсказывали, что быть ему президентом, если его до той поры не повесят.
Как водится, легковерная, переменчивая публика раскрыла свои объятия Меффу Поттеру и ласкала его с такой же горячностью, с какой только что бранила и оскорбляла его. В данном

случае это рисует людей с самой лучшей стороны, и, значит, порицать их за это не следует.

Дни Тома были днями торжества и веселья, но его ночи были исполнены ужаса. Индеец Джо постоянно омрачал его сны и грозил ему жестокой расправой. Никакие соблазны не могли выманить мальчика из дому после заката. Бедный Гек находился в таком же состоянии тревоги и страха, так как вечером накануне суда Том рассказал всю историю защитнику Поттера, и Гек страшно боялся, что его причастность к этому делу выйдет наружу, хотя бегство метиса и избавило Гека от горькой необходимости давать показания в суде. Кроме того, он упросил адвоката держать его дело в секрете. Но с тех пор как совесть погнала Тома поздно вечером в дом адвоката и принудила его, несмотря на все страшные клятвы, рассказать о тайне, которую он обязался хранить, Гек утратил веру в человечество.

Днем, слушая, как благодарит его Мефф Поттер, Том был рад, что сказал об этом деле всю правду, но по ночам он жалел, что не держал языка за зубами. То он боялся, что Индейца Джо никогда не поймают, то боялся, что его поймают. Он чувствовал, что вздохнет спокойно лишь тогда, когда увидит этого человека мертвым.

Обыскали всю округу, предложили награду за поимку метиса, но так и не нашли его. Из Сен-Луи выписали чудо-всезнайку, сыщика, внушающего почтительный страх. Тот пошарил, понюхал, покачал головой с самым глубокомысленным видом и достиг такого же поразительного успеха, какой обычно выпадает на долю всех представителей этой профессии, а именно: он объявил, что «напал на след». Но ведь «след» повесить за убийство нельзя, и потому после отъезда сыщика Том по-прежнему чувствовал себя в страшной опасности.

Но дни проходили, и с каждым днем бремя тревоги, угнетавшее Тома, становилось все легче и легче.

Глава двадцать пятая

ПОИСКИ КЛАДА

В жизни каждого нормального мальчика наступает пора, когда он испытывает безумное желание пойти куда-нибудь и порыться в земле, чтобы выкопать спрятанный клад. Это желание в один прекрасный день охватило и Тома. Он пытался разыскать Джо Гарпера, но безуспешно. Затем он стал искать Бена Роджерса, но тот ушел удить рыбу. Наконец он наткнулся на Гека

Финна. Гек Кровавая Рука — вот самый подходящий товарищ! Том увел его в такое местечко, где никто не мог их подслушать, и там открыл ему свои тайные планы. Гек согласился. Гек всегда был согласен принять участие в любом предприятии, обещавшем развлечение и не требовавшем денежных затрат, потому что времени у него было так много, что он не знал, куда его девать, и, конечно, поговорка «Время — деньги» была неприменима к нему.

— Где же мы будем копать? — спросил Гек.

— О, повсюду, в разных местах!

— Разве клады зарыты повсюду?

— Конечно, нет, Гек. Их зарывают порой на каком-нибудь острове, порой в гнилом сундуке, под самым концом какой-нибудь ветки старого, засохшего дерева, как раз в том месте, куда тень от нее падает в полночь; но всего чаще их закапывают в подполе домов, где водятся привидения.

— Кто же их зарывает?

— Понятно, разбойники. А ты думал — кто? Начальницы воскресных училищ?

— Не знаю. Будь это мой клад, я не стал бы его зарывать — я тратил бы все свои деньги и жил бы в свое удовольствие.

— Я тоже. Но разбойники денег не тратят: они всегда зарывают их в землю.

— Что же, они потом не приходят за ними?

— Нет, они всё время мечтают прийти, но потом обыкновенно забывают приметы или возьмут да умрут. И вот клад лежит себе да полеживает и покрывается ржавчиной. А потом кто-нибудь найдет старую, пожелтевшую бумагу, в которой указано, по каким приметам искать. Да и бумагу-то эту нужно разбирать целую неделю, если не больше, потому что в ней всё закорючки да ироглифы[1].

— Иро... что?

— И-ро-глифы... разные картинки... каракульки, которые с первого взгляда как будто ничего и не значат.

— И у тебя есть такая бумага, Том?

— Нет.

— Как же ты узнаешь приметы?

— Мне и не нужно примет. Клады всегда закапываются под таким домом, где водится нечистая сила, или на острове, или под сухим деревом, у которого одна какая-нибудь ветка длиннее всех прочих. На острове Джексона мы уже пытались искать и можем попытаться еще раз когда-нибудь после. Старый дом с

---

[1] Том хотел сказать «иероглифы» — знаки древних египетских надписей, высеченные на камнях; эти знаки изображали зверей, птиц и т. д. Иероглифами часто называют строки, которые трудно прочесть.

привидениями есть у ручья за Стилл-Хауз, а там сухих деревьев сколько хочешь.

— И под каждым деревом клад?

— Ишь чего захотел! Конечно, нет!

— Так как же ты узнаешь, под каким копать?

— Будем копать под всеми.

— Ну, Том, ведь этак мы проищем все лето!

— Что за беда! Зато представь себе, что мы найдем медный котел с целой сотней замечательных долларов, покрытых ржавчиной, или полусгнивший сундук, полный брильянтов. Что ты тогда скажешь?

У Гека загорелись глаза:

— Вот это здорово! Этого мне хватит на всю мою жизнь. Только на что мне брильянты? Ты подай мне мою сотню долларов, а брильянтов мне и даром не надо.

— Ладно! Уж я-то брильянтов не брошу, можешь быть спокоен. Некоторые из них стоят по двадцати долларов штука. И нет ни одного, который стоил бы дешевле доллара.

— Будто?

— Честное слово, спроси кого хочешь. Ты разве никогда не видел брильянтов, Гек?

— Насколько я помню, нет.

— Но у королей целые горы брильянтов.

— Так ведь я не знаком с королями.

— Где ж тебе! Вот если бы ты очутился в Европе, ты увидел бы целую кучу королей. Там они так и кишат, так и прыгают...

— Прыгают?

— Ах ты чудак! Ну зачем же им прыгать?

— Но ведь ты сам сказал: они прыгают.

— Глупости! Я только хотел сказать, что в Европе их сколько угодно. И, конечно, они не прыгают, зачем бы им прыгать? Поглядел бы ты на них, там их тьма-тьмущая — вот таких, как тот горбатый Ричард...[1]

— Ричард? А как его фамилия?

— Никакой у него фамилии нет. У королей одни лишь имена.

— Ну, что ты!

— Правду тебе говорю.

— Если так, не хотел бы я быть королем. Может, им и нравится, чтобы их звали, как негров, одним только именем, мне же это совсем не по вкусу. Но погоди, где же мы будем копать?

---

[1] Горбатый Ричард — английский король Ричард III (1483—1485).

— Не знаю. Разве начать с того старого дерева, там, на пригорке, за ручьем?

— Ладно.

Они достали сломанную кирку и лопату и отправились в путь. Идти надо было три мили. На место они пришли, задыхаясь, изнемогая от зноя, и улеглись в тени ближайшего вяза отдохнуть и покурить.

— До чего хорошо! — сказал Том.

— Угу!

— Слушай-ка, Гек, если мы выроем клад, что ты сделаешь со своей половиной?

— Я? Каждый день буду покупать пирожок и стакан содовой воды, буду ходить в каждый цирк, какой приедет в наш город. Уж я знаю, что мне делать, чтобы весело прожить!

— Неужто ты ничего не отложишь в запас?

— Откладывать? Это к чему же?

— А к тому, чтобы хватило и на будущий год.

— Ну, это зря. Если я не истрачу всех денег, в наш город как-нибудь вернется мой батька и наложит на них свою лапу. А уж после него не поживишься! Будь покоен, очистит все!.. А ты что сделаешь со своей долей, Том?

— Куплю барабан, взаправдашнюю саблю, красный галстук, бульдога-щенка и женюсь.

— Женишься?

— Ну да.

— Том, ты... ты не в своем уме!

— Погоди — увидишь.

— Ничего глупее ты не мог выдумать, Том. Возьми хоть бы моего отца с матерью — ведь они дрались с утра до вечера. Этого мне никогда не забыть!

— Вздор! На которой я женюсь, та драться не станет.

— А по мне, они все одинаковые. Нет, Том, ты подумай хорошенько! Я тебе говорю — подумай. Как зовут девчонку?

— Она вовсе не девчонка, а девочка.

— Ну, это-то все равно. Одни говорят: девочка, другие — девчонка; кто как хочет, так и говорит. И то и другое правильно. А как ее зовут, Том?

— Когда-нибудь скажу, не теперь.

— Ладно, как знаешь. Только если ты женишься, я останусь один-одинешенек.

— Ну вот еще! Переедешь к нам и будешь жить у меня... А теперь довольно валяться — давай копать!

Они трудились, обливаясь по́том, около получаса, но ничего не нашли; проработали еще с полчаса, и опять никаких результатов. Наконец Гек сказал:

— Клады всегда зарывают так глубоко?

— Нет, не всегда — иногда! И не все. Мы, должно быть, не там копаем.

Выбрали другое местечко и снова принялись за работу. Теперь она шла не так быстро, но все же кое-как подвигалась вперед. Одно время оба рыли молча, затем Гек перестал копать, оперся на лопату, вытер рукавом со лба крупные капли пота и сказал:

— Где мы будем копать потом, когда покончим с этой ямой?

— Я думаю, не попробовать ли старое дерево за домом вдовы на Кардифской горе?

— Что ж, место подходящее. А только как ты думаешь, Том, вдова не отберет у нас клада? Ведь это ее земля.

— Отобрать у нас клад! Пусть попробует! Нет уж, клад такое дело: кто его нашел, тот и бери. А в чьей он земле, все равно.

Гек успокоился. Они продолжали копать, но через некоторое время Гек сказал:

— Черт возьми, мы опять не на том месте копаем! Ты как думаешь?

— Странно, Гек, ужасно странно,— я не понимаю... Случается, что и ведьмы мешают. По-моему, тут пакостят ведьмы.

— Ну вот еще! Что за ведьмы? Разве у них есть сила днем?

— Верно, верно! Я и не подумал. А, теперь я понимаю, в чем дело! Вот дураки мы с тобой! Ведь надо сначала найти, куда тень от самой длинной ветки падает ровно в полночь, там и копать.

— Ах, чтоб его! Значит, все это время мы работали, как идиоты, зря! А теперь, черт возьми, придется еще раз идти сюда ночью. Такую ужасную даль! Тебе можно будет выбраться из дому?

— Уж я выберусь. И потом, надо покончить сегодня же ночью, иначе, если кто увидит наши ямы, сейчас же догадается, что мы тут делали, и сам выроет клад.

— Ну что ж! Я опять приду к тебе под окно и мяукну.

— Ладно. Спрячем кирку и лопату в кустах...

Ночью, около двенадцати, мальчики пришли к тому же дереву и, усевшись в тени, стали ждать. Место было дикое, а время такое, которое издавна считается страшным. Черти шептались в шумящей листве, привидения прятались в каждом темном углу, издали глухо доносился собачий лай, сова отзывалась на него зловещими криками. Торжественность обстановки подавляла мальчиков, и они почти не разговаривали. Наконец они решили, что полночь уже наступила, заметили, куда падает

тень, и принялись копать. Их окрыляла надежда: работать стало куда интереснее, и усердие их возросло. Яма становилась все глубже и глубже, и каждый раз, как кирка ударялась обо что-нибудь твердое, у них замирали сердца, но каждый раз их ждало новое разочарование. То был либо корень, либо камень. Наконец Том сказал:

— Опять не то место, Гек. Опять мы работаем зря.

— Как — не то? Мы не могли ошибиться. Мы начали как раз там, куда упала тень.

— Знаю, но не в этом дело.

— А в чем же?

— А в том, что мы определили время наугад. Может, тогда было слишком рано или слишком поздно.

Гек выронил лопату.

— Верно... В том-то и штука. Ну, значит, это дело придется оставить. Ведь точного времени нам все равно никогда не узнать. И потом, очень уж страшно, когда кругом кишат ведьмы и черти. Так и кажется, что кто-то стоит за спиной, а я боюсь оглянуться, потому что, может, другие стоят впереди и только того и ждут, чтобы я оглянулся. У меня все время мороз подирает по коже.

— И мне жутковато, Гек. Когда зарывают под деревом деньги, в ту же яму почти всегда кладут мертвеца, чтобы он приглядывал за ними.

— Господи помилуй!

— Да-да, кладут,— мне говорили об этом не раз.

— Ну, знаешь, Том, неохота мне возиться с мертвецами. Уж с ними всегда попадешь в беду.

— Мне тоже неохота ворошить их, Гек. Вдруг тот, что здесь лежит, высунет свой череп и что-нибудь скажет!

— Да ну тебя, Том! Очень страшно!

— Еще бы, Гек, я прямо сам не свой!..

— Слушай, Том, бросим-ка это место. Попытаем счастья где-нибудь еще.

— Пожалуй, так будет лучше,— сказал Том.

— Куда же нам идти?

Том подумал немного и сказал:

— Вон туда, в тот дом, где привидения.

— Ну его! Не люблю привидений, Том. Они еще хуже покойников. Покойник, может, и заговорит иногда, но не шатается вокруг тебя в саване и не заглядывает тебе прямо в лицо, не скрежещет зубами, как все эти привидения и призраки. Мне такой штуки не вынести, Том, да и никто не вынесет.

— Да, но ведь привидения шатаются только по ночам; днем они копать не помешают.

— Так-то оно так, но тебе ли не знать, что люди в этот дом и днем не заходят, не то что ночью!

— Люди вообще не любят ходить в те места, где кого-ни-будь зарезали или убили. Но ведь в том доме и ночью ничего не видать — только голубой огонек мелькнет иногда из окошка, а настоящих привидений там нету.

— Ну, Том, если ты где увидишь голубой огонек, можешь ручаться, что тут и привидение недалеко. Это уж само собой понятно: только привидениям они и нужны.

— Так-то оно так, но все-таки они днем не разгуливают. Чего же нам бояться?

— Ладно, покопаем и там, если хочешь, только все-таки опасно.

В это время они спускались с горы. Внизу посреди долины, ярко освещенной луной, одиноко стоял заколдованный дом; забор вокруг него давно исчез; даже ступеньки крыльца заросли сорной травой; труба обрушилась; в окнах не было стекол, угол крыши провалился. Мальчики долго разглядывали издали покинутый дом, почти уверенные, что вот-вот в окне мелькнет голубой огонек; разговаривая шепотом, как и следует разговаривать ночью в таком заколдованном месте, они свернули направо, сделали большой крюк, чтобы не проходить мимо страшного дома, и вернулись домой через лес, по другому склону Кардифской горы.

Глава двадцать шестая

СУНДУЧОК С ЗОЛОТОМ ПОХИЩЕН НАСТОЯЩИМИ РАЗБОЙНИКАМИ

На другой день, около полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву взять кирку и лопату.

То́му не терпелось скорей отправиться в дом с привидениями. Гек тоже стремился туда, хотя, по правде говоря, не слишком ретиво.

— Слушай-ка, Том,— начал он,— ты знаешь, какой нынче день?

Мысленно пересчитав дни недели, Том испуганно взглянул на товарища:

— Ой-ой-ой! А я и не подумал, Гек.

— Я тоже не подумал, а сейчас меня словно ударило: ведь нынче у нас пятница.

— Черт возьми! Вот как надо быть осторожным, Гек! Нам, пожалуй, не уйти бы от беды, если б мы начали такое дело в пятницу.

— Нет, не п о ж а л у й, а наверняка. Есть, может быть, счастливые дни, но, уж конечно, не пятница.

— Это всякому дурню известно. Не ты первый открыл это, Гек.

— Разве я говорю, что я первый? Да и не в одной пятнице дело. Мне сегодня ночью снился такой нехороший сон... крысы.

— Крысы — уж это наверняка к беде. Что же, они дрались?

— Нет.

— Ну, это еще хорошо, Гек! Если крысы не дерутся, это значит, беда либо будет, либо нет. Нужно только держать ухо востро — и авось не попадемся. Оставим это дело: сегодня мы больше копать не будем, давай лучше играть. Ты знаешь Робин Гуда, Гек?

— Нет. А кто такой Робин Гуд?

Один из величайших людей, когда-либо живших в Англии... ну, самый, самый лучший! Разбойник.

— Ишь ты, вот бы мне так! Кого же он грабил?

— Только епископов, да шерифов, да богачей, да королей. Бедных никогда не обижал. Бедных он любил и всегда делился с ними по совести.

— Вот, должно быть, хороший он был человек!

— Еще бы! Он был лучше и благороднее всех на земле. Теперь таких людей уже нет — правду тебе говорю! Привяжи Робин Гуду руку за спину — он другой рукой вздует кого хочешь...

А из своего тисового лука[1] он попадал за полторы мили в десятицентовую монетку.

— А что такое тисовый лук?

— Не знаю. Какой-то такой лук, особенный... И если Робин Гуд попадал не в середину монетки, а в край, он садился и плакал. И, конечно, ругался. Так вот мы будем играть в Робин Гуда. Эта игра — первый сорт! Я тебя научу.

— Ладно.

Они до вечера играли в Робин Гуда, время от времени кидая жадные взгляды на заколдованный дом и обмениваясь мыслями о том, что будут они делать здесь завтра. Когда солнце начало спускаться к западу, они пошли домой, пересекая длинные тени деревьев, и скоро скрылись в лесу на Кардифской горе.

В субботу, вскоре после полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву. Сперва они покурили и поболтали в тени, потом немного повозились в своей яме — без особой надежды на успех. Они были бы рады сейчас же уйти, но, по словам Тома, нередко бывает, что люди бросают копать, когда до клада остается всего пять-шесть дюймов, не больше, а затем приходит другой, копнет разок лопатой — и готово: берет себе все сокровище. Но и на этот раз их усилия не увенчались успехом. Вскинув свои инструменты на плечо, мальчики ушли, сознавая, что они не шутили с судьбой, но добросовестно сделали всё, что требуется от искателей клада.

И вот наконец они подошли к дому, где живут привидения. Мертвая тишина, царившая под палящим солнцем, показалась им зловещей и жуткой. Было что-то гнетущее в пустоте и заброшенности этого дома. Мальчики не сразу осмелились войти. Они тихонько подкрались к двери и, дрожа, заглянули внутрь. Перед ними была комната, заросшая густою травой, без пола, без штукатурки, с полуразвалившейся печью; окна без стекол, разрушенная лестница; повсюду висели лохмотья старой паутины. Они бесшумно вошли, и сердца у них усиленно бились. Разговаривали они шепотом, чутко прислушиваясь к малейшему шуму, напрягая мускулы, готовые, в случае чего, мгновенно обратиться в бегство.

Но мало-помалу они попривыкли, и страх сменился у них любопытством. С интересом осматривали они все окружающее, восхищаясь своей собственной смелостью и в то же время удивляясь ей. Потом им захотелось заглянуть и наверх. Это означало некоторым образом отрезать себе отступление, но они стали подзадоривать друг друга, и, конечно, результат был один: они бросили в угол кирку и лопату и вскоре оказались на втором

---

[1] Тис — дерево. В старину из него изготовлялись самые крепкие луки.

этаже. Там было такое же запустение. В одном углу они нашли чулан, суливший им какую-то тайну, но в чулане ничего не оказалось. Теперь они совсем приободрились и вполне овладели собой. Они уже хотели спуститься вниз и начать работу, как вдруг...

— Ш-ш! — произнес Том.

— Что это? — прошептал Гек, бледнея от страха.

— Ш-ш!.. Там... ты слышишь?

— Да. Ой, давай убежим!

— Тише! Не дыши! Подходят к двери...

Мальчики растянулись на полу, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь щели в половицах и замирая от страха.

— Вот остановились... Нет... идут... Пришли. Тише, Гек, ни звука! Ох, и зачем я пошел сюда!

Вошли двое. Оба мальчика сразу подумали:

«Ага, это глухонемой старик, испанец. Его в последнее время видели в городке раза два или три, а другого мы никогда не видали».

«Другой» был нечесаный, грязный, оборванный, с очень неприятным лицом. «Испанец» был закутан в плащ. Такие плащи обычно носят в Америке испанцы. У него были косматые седые бакенбарды; из-под его сомбреро[1] спускались длинные седые волосы, глаза были прикрыты зелеными очками. Когда они вошли, «другой» говорил что-то «испанцу» тихим голосом. Оба сели рядом на землю, лицом к двери, спиной к стене, и говоривший продолжал свой рассказ. Теперь он держался уже чуть посмелее и стал говорить более внятно.

— Нет,— сказал он,— я все обдумал, и мне это дело не нравится. Опасное.

— Опасное! — проворчал «глухонемой испанец», к великому удивлению мальчиков.— Эх ты, размазня!

При звуке этого голоса они вздрогнули и разинули рты. То был голос Индейца Джо! Наступило молчание. Затем Джо сказал:

— Уж на что было опасно последнее дельце, однако сошло же с рук.

— Нет, тут большая разница. То — далеко, вверх по реке, и никакого другого жилья по соседству. А раз дело провалилось, никто даже не узнает, что там работали мы.

— Куда опаснее приходить сюда днем: стоит только глянуть на нас, чтобы заподозрить худое!

— Знаю, знаю! Но ведь не было другого подходящего места, где мы могли бы укрыться после того дурацкого дела. Мне

---

[1] Сомбреро — мексиканская шляпа с большими полями.

вообще неохота оставаться в этой хибарке. Я еще вчера хотел выбраться, да нечего было и думать уйти незаметно, пока эти проклятые мальчишки копошились там, на горе, и весь дом был у них на виду.

«Проклятые мальчишки» снова затрепетали от страха, услышав эти слова. Какое счастье, что они побоялись начинать свое дело в пятницу и решили отложить его на день! В глубине души они жалели, что не отложили его на целый год.

Бродяги достали что-то съестное и начали завтракать. После долгого раздумья Индеец Джо сказал:

— Слушай, малый, ступай-ка ты вверх по реке... назад в свои места, и жди от меня вестей. А я рискну — пойду еще раз в городок поглядеть. «Опасное» дело мы сварганим потом, когда я хорошенько все выведаю и дождусь более удобной минуты. А потом в Техас! Смоемся туда оба!

На том и порешили. Вскоре и тот и другой стали зевать во весь рот, и метис сказал:

— Смерть спать хочется! Теперь твой черед сторожить.

Он улегся в высокой траве на полу и вскоре захрапел. Товарищ раза два толкнул его; храп умолк. А затем и сторживший стал клевать носом: голова его опускалась все ниже и ниже. Теперь уже храпели оба.

Мальчики с облегчением перевели дух.

— Ну, теперь или никогда! — шепнул Том.— Идем!

— Не могу,— сказал Гек.— Если проснутся, я прямо умру!

Том уговаривал, Гек упирался. Наконец Том медленно и осторожно поднялся с пола и пошел один. Но при первом же его шаге расхлябанные половицы так страшно заскрипели, что он присел на месте, полумертвый от страха. Пробовать еще раз он не стал. Минуты ползли нестерпимо медленно; мальчики лежали на полу, и им казалось, что время кончилось и даже вечность успела уже поседеть. Поэтому они очень обрадовались, когда увидели, что солнце наконец-то садится.

Один из спящих перестал храпеть. Индеец Джо приподнялся, сел, огляделся вокруг, посмотрел на товарища, который спал, свесив голову на колени, угрюмо усмехнулся, потом толкнул его ногой и сказал:

— Вставай! Вот так сторож!.. Впрочем, ладно... Ничего не случилось.

— Да неужто я уснул?

— Так, немножко. Ну, брат, пора нам в путь. А что мы сделаем с нашим добром?

— Уж и не знаю. Оставить разве тут, как всегда? Ведь пока мы не соберемся на юг, оно нам не понадобится. А таскать на себе шестьсот пятьдесят серебром — дело нелегкое.

— Ладно... можно будет прийти еще раз...

— Лучше всего ночью... как ходили все время... так будет вернее.

— Да, но вот что, дружище: ведь мне, может быть, еще не скоро представится случай обделать то дельце... мало ли что может случиться... денежки же у нас припрятаны плохо. Давай-ка мы лучше закопаем их... да поглубже!

— Правильно,— отозвался товарищ Индейца Джо и, перейдя через всю комнату, встал на колени, приподнял одну из внутренних плит очага и вытащил оттуда мешок, в котором что-то приятно зазвенело. Он вынул из мешка долларов тридцать для себя и столько же для метиса и передал ему весь мешок; тот стоял на коленях в углу и копал землю кривым ножом.

Мальчики вмиг позабыли все свои страхи и горести. Они жадными глазами следили за каждым движением бродяг. Экая удача! Такого богатства они и вообразить не могли. Шестьсот долларов! Этого достаточно, чтобы сделать богачами полдюжины мальчиков! Клад сам давался в руки без всяких хлопот. Им уже не придется копать наугад, не зная наверное, там ли они копают, где нужно. Мальчики поминутно подталкивали друг друга локтями, и каждый понимал, что эти толчки означают: «Теперь ты небось рад, что мы забрались сюда?»

Нож метиса ударился обо что-то твердое.

— Эге! — сказал он.

— Что там такое? — спросил его товарищ.

— Прогнившая доска... Нет, кажется, сундучок. Иди-ка сюда, помоги вытащить! Посмотрим, какого черта он тут... Погоди, не надо,— я пробил в нем дыру.

Он сунул руку в ящик и, вытащив ее, сказал:

— Слушай-ка, да тут деньги!

Оба наклонились над пригоршней монет. Золото! Мальчики наверху были потрясены не меньше, чем сами бродяги, и испытывали такую же радость.

Товарищ Индейца Джо сказал:

— Тут нечего мешкать. Скорей за работу! Я только что видел там в углу, в траве, за печкой, заржавленную, старую кирку.

Он побежал и принес инструменты, оставленные мальчиками. Индеец Джо взял кирку, критически осмотрел ее, покачал головой, что-то пробормотал про себя и принялся за работу.

Скоро сундук был вытащен. Он оказался не очень большим, весь окован железом и когда-то, пока годы не подточили его, был, должно быть, замечательно прочен. Несколько минут бродяги в блаженном безмолвии созерцали сокровище.

— Ого-го, да здесь тысячи долларов, дружище! — сказал Индеец Джо.

К стр. 189

— Говорят, в этих местах одно лето работала шайка Марре-ла,— заметил незнакомец.

— Знаю,— сказал Индеец Джо.— Похоже, что они и запря-тали.

— Теперь тебе незачем затевать то дело.

Метис нахмурился.

— Ты меня не знаешь,— сказал он.— Да и о деле тебе из-вестно не все. Тут суть не в грабеже, а в м е с т и.— И в его гла-зах блеснуло злое пламя.— Мне будет нужна твоя помощь... А когда покончим это дело, тогда и в Техас! Ступай домой к своей Нэнси, к своим малышам и жди от меня вестей.

— Ладно, будь по-твоему. А с этим что мы сделаем? Опять закопаем?

— Да... (Наверху восторг и ликованье.) Нет, клянусь вели-ким Сахемом[1], нет! (Глубокая скорбь наверху.) Я и забыл: ведь на кирке была свежая земля. (Мальчикам чуть не сделалось дурно от ужаса.) Откуда тут взялись эти кирка и лопата? От-куда на них свежая земля? Какие люди принесли их сюда и ку-да они девались, эти люди? Слыхал ты что-нибудь? Видел ты кого-нибудь? Как! Зарыть эти деньги опять, чтобы кто-нибудь пришел, увидел, что земля разрыта, и выкопал их? Нет, этого не будет, нет-нет! Мы перенесем их ко мне в берлогу.

— Верно, верно! Я об этом и не подумал! В которую? Но-мер первый?

— Нет, номер второй, под крестом. Первая не годится, че-ресчур на виду.

— Ладно. Уже темнеет, скоро можно будет отправляться.

Индеец Джо поднялся на ноги, подошел к одному окну, по-том к другому и осторожно выглянул наружу.

— Кто мог принести сюда эту кирку и лопату? — спросил он.— Как ты думаешь, уж не спрятались ли они там, наверху?

У мальчиков захватило дух. Индеец Джо положил руку на нож, на минуту остановился в раздумье и потом направился к лестнице. Мальчики вспомнили о чулане, но не в силах были тронуться с места. Ступени лестницы заскрипели под тяжелыми шагами метиса.

Леденящий ужас вывел мальчиков из оцепенения и пробудил в них решимость. Они хотели кинуться в чулан, как вдруг раз-дался треск гнилых подломившихся досок, и Индеец Джо сва-лился вниз вместе с обломками лестницы. Он вскочил на ноги со страшным ругательством, а его товарищ сказал:

— И чего было лезть? Сидят, ну и пусть сидят,— нам-то

---

[1] С а х е м а м и в Северной Америке назывались главные вожди неко-торых индейских племен.

какое дело? Вздумают спрыгнуть сюда и убиться до смерти,— пожалуйста, милости просим! Через четверть часа, когда станет темно, пусть гонятся за нами по пятам — я и на это согласен. А по-моему, если и увидели нас, они наверняка решили, что мы дьяволы, или привидения, или еще какая-нибудь чертовщина. Небось и сейчас еще бегут без оглядки...

Джо поворчал немного, потом согласился с товарищем, что надо, не тратя времени, воспользоваться скудными остатками дня и собираться в путь. Вскоре они выскользнули из дому под покровом сгустившихся сумерек и направились к реке, унося с собой драгоценный сундучок.

Том и Гек встали еле живые, зато вздохнули с облегчением. Они долго смотрели им вслед сквозь широкие просветы между бревнами. Пойти за ними? Ну нет! Уж и то хорошо, что удалось благополучно спуститься на землю, не сломав себе шеи, и направиться в город по другой дороге, через гору. По пути они мало разговаривали, так как бранили себя за то, что допустили оплошность: надо же было им притащить сюда кирку и лопату! Не будь этого, Индеец Джо никогда не подумал бы, что ему угрожает опасность. Он закопал бы серебро вместе с золотом до той поры, когда ему удастся осуществить свою «месть», а затем вернулся бы, и оказалось бы, к его великому горю, что сокровища и след простыл! Какая досада! И как это их угораздило притащить сюда кирку и лопату!

Они решили следить за «испанцем», когда тот снова появится в городе и станет искать случая, чтобы привести в исполнение свою жестокую месть. Может быть, таким образом им удастся узнать, где находится «номер второй». Вдруг у Тома мелькнула страшная мысль:

— Месть! А что, Гек, если это он хочет отомстить нам?

— Ох, не говори! — сказал Гек, замирая от страха.

Они долго толковали об этом и, пока дошли до города, решили, что метис мог иметь в виду кого-нибудь другого или, по крайней мере, одного только Тома, так как только Том выступал против него на суде.

Мало, мало утешения доставила Тому мысль, что опасность грозит лишь ему одному! Он находил, что в компании было бы, пожалуй, приятнее.

Глава двадцать седьмая

ДРОЖАТ И ВЫСЛЕЖИВАЮТ

Приключения этого дня терзали Тома всю ночь. Его сны были мучительны. Четыре раза он протягивал руку к сокровищу, и четыре раза оно исчезало, как только он пробуждался и начинал сознавать печальную действительность. Под утро, лежа в постели и припоминая подробности великого приключения, он заметил, что оно представляется ему удивительно неясным, далеким, будто все это случилось в другом мире или очень давно. Ему пришло в голову, что, может быть, все приключение просто приснилось ему. Слишком уж много было там золота — такого множества наяву не бывает. Том никогда не видал даже пятидесяти долларов зараз и, как всякий мальчик из небогатой семьи, воображал, что разговоры о «сотнях» и «тысячах» — одни разговоры, не больше, а на самом деле таких огромных денег и не бывает на свете. Он не мог себе ни на минуту представить, чтобы кто-нибудь на самом деле обладал такой большой суммой, как сто долларов чистой монетой. Если исследовать его представления о кладах, оказалось бы, что эти клады состоят из горсточки медных монет и из целой кучи туманных, великолепных, неосязаемых, недосягаемых долларов.

Но чем больше он думал, тем яснее и резче обрисовывались в его памяти подробности его приключения, и в конце концов он пришел к мысли, что, пожалуй, это и не было сном. Следовало бы поскорее проверить и выяснить. Он наскоро позавтракал и отправился разыскивать Гека.

Гек сидел на планшире[1] барки, меланхолично болтая ногами в воде, и вид у него был очень унылый. Том решил не расспрашивать Гека. Пусть Гек сам заговорит о вчерашнем. Если не заговорит, значит, Том и вправду видел все это во сне.

— Здорово, Гек!

— Здорово!

Минута молчания.

— Эх, Том, если бы мы оставили эту проклятую кирку и лопату под деревом, деньги были бы в наших руках! Жалость-то какая, а!

— Так, значит, это был не сон... нет, не сон! А я, пожалуй, даже хотел бы, чтобы это был сон. Честное слово, хотел бы!

— Какой там сон?

— Да я про это, про вчерашнее. Я уж было подумал, что мне все приснилось.

---

[1] Планшир — верхний край корабельного борта.

— «Приснилось»! Не обломись под ним лестница, он бы тебе показал, какой это сон! Мне тоже всю ночь снилось, как этот черт, одноглазый испанец, гонялся за мною, чтоб ему провалиться сквозь землю!

— Нет, ему не надо проваливаться. Мы должны н а й т и его и выследить деньги.

— Никогда нам его не найти. Такая удача бывает только раз: упустил — и пропало! Кончено. И знаешь: меня так и трясет лихорадка, только я подумаю, что могу встретиться с ним!

— И меня тоже. А все-таки я хотел бы увидать и выследить, где у него номер второй.

— Номер второй? В том-то и дело. Я уже думал об этом, но ни до чего не додумался. Как по-твоему, что это такое?

— Не знаю. Что-то уж очень хитро... Слушай-ка, Гек, может быть, это номер дома?

— Пожалуй, и так. Да нет... конечно, нет. Где же в нашем городишке номера на домах?

— И правда. Дай-ка мне подумать... Знаешь, а может быть, это номер комнаты... где-нибудь в таверне?[1]

— Похоже на то! Ведь у нас только две таверны, так что проверить нетрудно.

— Подожди здесь, Гек. Я скоро вернусь.

И Том исчез. Он избегал показываться на улицах в обществе Гека. Он вернулся через полчаса. В лучшей таверне, куда он зашел сначала, номер второй давно уже занимал один молодой адвокат. Он и сейчас живет в этом номере. В таверне похуже номер второй был какой-то таинственный. Хозяйский сынишка рассказал Тому, что этот номер все время заперт и что никто не входит туда и не выходит оттуда, кроме как ночной порой. Он не знал причины этой странности; она заинтересовала его, но не слишком, и недолго думая он решил, что во втором номере водятся привидения и черти. Между прочим, он заприметил, что прошлой ночью там был свет.

— Вот что я узнал, Гек. Наверно, это и есть тот номер второй, который нам нужен.

— Должно быть, так и есть, Том. Что же нам делать?

— Погоди, дай подумать.

Том думал долго и наконец сказал:

— Вот что надо сделать. Задняя дверь этого второго номера выходит в маленький переулок между таверной и старым кирпичным складом. Постарайся добыть как можно больше ключей, а я стащу все теткины, и в первую же темную ночь мы по-

---

[1] Таверна — харчевня (чаще всего с постоялым двором). На Юге Соединенных Штатов тавернами называются небольшие гостиницы.

пробуем открыть эту дверь. И не забудь выслеживать Индейца Джо — ведь помнишь, он говорил, что придет поглядеть, подходящее ли теперь время для мести. Как только увидишь его, ступай за ним следом, и, если он не войдет в номер второй, значит, мы не угадали.

— Господи!.. Как же я пойду за ним один?

— Да ведь это ночью. Он, может быть, и не увидит тебя, а если увидит, ничего не подумает.

— Ну, если в темную ночь, я, пожалуй, пойду. Не знаю, не знаю... попробую...

— Если будет темно, и я пойду за ним, Гек. Он может решить, что задуманная месть не налаживается, да и явится сюда за деньгами.

— Правильно, Том, правильно! Я буду следить за ним, буду, честное слово!

— Вот это дело! Только смотри не оплошай, Гек. А уж я не подведу, будь покоен!

Глава двадцать восьмая

В БЕРЛОГЕ ИНДЕЙЦА ДЖО

В тот же вечер Том и Гек вышли на опасную работу. До девяти часов они слонялись у таверны. Один наблюдал издали за входной дверью, другой — за дверью, выходившей в переулок. В переулке никто не показывался; никто, похожий на «испанца», не входил в таверну и не выходил из нее. Ночь обещала быть ясной, и Том отправился домой, условившись с приятелем, что, если потемнеет, тот придет под окно и мяукнет; тогда Том вылезет к нему из окна, и они пойдут пробовать ключи. Но по-прежнему было светло, и около двенадцати Гек покинул свой наблюдательный пост и отправился спать в пустую бочку из-под сахара.

Во вторник мальчикам опять не повезло. В среду тоже. Но в четверг ночь обещала быть темной. Том вовремя сбежал из дому, запасшись старым теткиным жестяным фонарем и большим полотенцем,— чтобы прикрыть фонарь, если понадобится. Фонарь он спрятал в бочке, где ночевал Гек, и оба стали на стражу. За час до полуночи таверну закрыли и потушили огни (единственные в окрестности). «Испанец» так и не появился. Никто не входил в переулок и не выходил из него. Обстоятельства складывались благоприятно. Ночь была черная, и тишина нарушалась только отдаленными и редкими раскатами грома.

Том достал фонарь, засветил его в бочке, тщательно обернул полотенцем, и оба смельчака во мраке подкрались к таверне. Гек остался на часах, а Том ощупью пробрался в переулок. Потом наступила пора тревожного ожидания, и Геку сделалось так тяжело, словно его придавила гора. Он уже начал желать, чтобы перед ним во тьме блеснул свет; правда, это испугало бы его, но, по крайней мере, служило бы доказательством, что Том еще жив. Прошло, казалось, несколько часов с тех пор, как Том исчез. «Конечно, ему сделалось дурно. А может быть, он умер. Может быть, сердце у него разорвалось от волнения и ужаса». Встревоженный Гек подходил все ближе и ближе к переулку, пугая себя разными страхами и ежеминутно ожидая, что вот-вот разразится катастрофа, которая отнимет у него последнее дыхание. Отнимать, впрочем, оставалось немного: он еле дышал, а сердце у него колотилось так сильно, что могло разорваться на части.

Вдруг блеснул фонарь, и мимо промчался Том.

— Беги! — шепнул он.— Беги что есть силы!

Повторять было незачем: первого слова оказалось вполне достаточно. Прежде чем Том повторил это слово, Гек уже мчался со скоростью тридцати или сорока миль в час. Мальчики ни разу не остановились, пока не достигли сарая заброшенной бойни в нижней части города. Не успели они укрыться в нем, как

разразилась гроза, хлынул дождь. Отдышавшись немного, Том начал рассказывать:

— Ох, и страшно же было, Гек! Я попробовал два ключа, старался действовать как можно тише, поднялся такой скрежет, что я еле дышал от страха. Ключ ни за что не хотел поворачиваться. Вдруг я, сам не замечая, что делаю, схватился за ручку, и дверь распахнулась! Она не была заперта! Я вбегаю туда, сбрасываю полотенце и...

— Что?.. Что же ты увидел, Том?

— Гек, я чуть было не наступил на руку Индейца Джо!

— Не может быть!

— Да! Лежит на полу и спит как убитый, раскинув руки, все с тем же пластырем на глазу.

— Господи, что же ты сделал! Он проснулся?

— Нет, не шелохнулся. Пьян, должно быть. Я схватил полотенце,— и бежать!

— Вот уж я бы не подумал о полотенце, ей-богу!

— А я поневоле подумал: мне бы влетело от тетки, если бы я потерял полотенце.

— Слушай, Том, а сундучок ты видел?

— Гек, у меня не было времени глядеть по сторонам. Ничего я не видел — ни сундучка, ни креста. Ничего, только бутылку и жестяную кружку на полу возле Индейца Джо. И еще я видел в комнате два бочонка и множество бутылок. Теперь ты понимаешь, какой там водится дух?

— Какой же?

— Спиртной! Может быть, во всех тавернах Общества трезвости имеется такая комната с «духом»? Как ты думаешь, Гек?

— Пожалуй, что и так. Подумать только!.. Слушай-ка, Том, а ведь теперь самое время взять сундучок, если Индеец Джо лежит пьяный.

— Что ж! Поди попробуй!

Гек вздрогнул:

— Нет... неохота...

— И мне неохота, Гек. Рядом с ним всего одна бутылка. Этого мало. Будь три — другое дело. Тогда он был бы достаточно пьян, и я, пожалуй, пошел бы...

Наступило долгое молчание. Оба мальчика глубоко задумались. Затем Том сказал:

— Знаешь что, Гек, не будем и пробовать, пока не узнаем наверное, что Индейца Джо в этой комнате нет. А то очень уж страшно. Если мы будем следить за ним каждую ночь, когда-нибудь мы наверняка увидим, как он выходит на улицу, и тогда быстрее молнии подцепим его сундучок.

— Ладно, согласен. Я готов сторожить нынче ночью и каждую ночь до самого утра, только остальную работу ты уж возьми на себя.

— Ладно, возьму. От тебя же требуется только одно: в случае чего, ты рысью пробежишь по Гупер-стрит и мяукнешь у меня под окном. А если я буду крепко спать, бросишь горсть песку мне в окно, и я тотчас же выбегу.

— Ладно! Договорились.

— Ну, Гек, гроза прошла, я побегу домой. Скоро начнет светать — часа через два взойдет солнце. Ты там пока посторожи — ладно?

— Хорошо. Уж если я обещал, будь покоен. Целый год буду бродить по ночам около этой таверны. Весь день буду спать, а всю ночь сторожить.

— Это правильно. А где ты будешь спать?

— На сеновале у Бена Роджерса. Он ничего, позволяет. Их негр, дядя Джек, тоже не гонит меня. Я таскаю воду для Джека, когда ему требуется. Иной раз попросишь у него есть — он даст, когда сам не сидит без хлеба. Замечательно добрый негр! Любит меня за то, что я никогда не задираю носа перед ним, перед негром. Случается, я даже ем вместе с ним. Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай. Мало ли чего не сделаешь с голоду! Натворишь такого, что и не снится тебе, когда у тебя сытый желудок.

— Ну, если днем я обойдусь без тебя, Гек, я не стану тебя будить... Незачем тормошить тебя зря. А ночью в любое время, чуть что заметишь, сейчас же ко мне — и мяукни.

Глава двадцать девятая

ГЕК СПАСАЕТ ВДОВУ ДУГЛАС

Первое, что Том услыхал утром в пятницу, была радостная весть: семейство судьи Тэчера вернулось вчера вечером в город. На время Индеец Джо и сокровище отступили для него на второй план, и первое место в его мыслях заняла Бекки. Они встретились и чудесно провели время, бегая вместе с другими школьниками наперегонки, играя в прятки. В конце дня Том, к довершению всех радостей, узнал еще одну приятную новость: Бекки так замучила свою мать, приставая к ней с просьбами назначить на завтра день давно обещанного пикника, что та наконец согласилась. Девочка не помнила себя от восторга. Том тоже был очень счастлив. Еще до заката солнца были разосланы приглашения, и детвора всего города стала лихорадочно готовиться к

празднику, заранее предвкушая удовольствие. Том был так возбужден, что не спал до глубокой ночи, и все надеялся, что Гек вот-вот мяукнет у него под окном и что ему удастся тотчас же раздобыть сокровище, чтобы завтра поразить им Бекки и всех участников пикника. Но надежда его не оправдалась: в эту ночь сигнала не было.

Пришло утро, и часам к десяти веселая, неугомонная компания собралась в доме судьи Тэчера. Все приготовления были закончены. Взрослые не имели тогда обыкновения омрачать пикники своим присутствием. Считалось, что дети будут в безопасности под крылышком нескольких девиц лет восемнадцати и юношей лет двадцати трех. Для пикника был нанят старый пароходик, обычно служивший паромом, и скоро вся веселая толпа двинулась по главной улице, нагруженная корзинами с провизией. Сид был болен и не мог участвовать в общем веселье; Мери осталась дома, чтобы ему не было скучно.

Миссис Тэчер на прощанье сказала Бекки:

— Раньше ночи тебе не вернуться домой. Пожалуй, тебе лучше будет переночевать у какой-нибудь подруги, что живет неподалеку от пристани.

— Я, мамочка, пойду ночевать к Сюзи Гарпер.

— Отлично! Будь же умницей и веди себя там хорошо!

Когда они вышли, Том сказал Бекки:

— Слушай-ка, знаешь, что мы сделаем? Чем идти к Джо Гарперу, мы взберемся на гору и переночуем у вдовы Дуглас. У нее будет сливочное мороженое. У нее чуть не каждый день мороженое — целые горы! Она очень нам обрадуется, честное слово!

— Вот будет весело!

Потом Бекки на секунду задумалась и спросила:

— Но что скажет мама?

— А откуда она узнает?

Девочка опять подумала и нерешительно выговорила:

— Это, собственно, нехорошо... но...

— Ну какое там «но»? Вздор! Мама твоя не узнает... Да и что тут дурного? Ей ведь нужно, чтобы с тобой ничего не случилось. Она и сама послала бы тебя туда, если б это пришло ей в голову. Верно тебе говорю!

Радушное гостеприимство вдовы Дуглас оказалось соблазнительной приманкой. Мечта о мороженом и уговоры Тома восторжествовали над колебаниями девочки. Было решено никому не говорить об этой вечерней программе. Но тут Тому пришло в голову, что Гек как раз нынче ночью может прийти к нему под окно, и эта мысль чуть было не испортила ему предстоящего праздника. Все же он не мог отказаться от намерения попиро-

вать у вдовы. «Да и зачем отказываться? — рассуждал он сам с собой.— В прошлую ночь не было сигнала, почему же в нынешнюю будет?» Нынче вечером Тома наверняка ожидает веселье, а клад будет ли, нет ли,— еще неизвестно! Как и всякий мальчишка, он без дальних размышлений решил уступить более сильному соблазну — и прогнал от себя на весь день мысль о сундучке с деньгами.

В трех милях от городка вниз по течению пароходик остановился против поросшей лесом долины и причалил к берегу. Толпа хлынула на берег, и скоро лесные дали и скалистые вершины холмов огласились криками и смехом. Были испробованы все разнообразные способы выбиться из сил и хорошенько вспотеть. Наконец веселая компания, вооружившись колоссальным аппетитом, сбежалась к своей стоянке и стала жадно истреблять привезенные вкусные яства. За пиршеством последовал освежительный отдых: все уселись в тени развесистых дубов и принялись разговаривать. Немного погодя раздался крик:

— Кто хочет в пещеру?

Оказалось, хотят все. Достали пачки свечей и тотчас же всей оравой начали карабкаться на гору. Вход в пещеру был довольно высоко на склоне. Он напоминал букву «А». Массивная дубовая дверь была открыта.

Вошли в небольшую прихожую, холодную как погреб. Сама природа воздвигла ее стены из крепкого известняка, покрытого каплями сырости, словно холодным потом. Стоять в этой черной тьме и смотреть на зеленую долину, залитую солнцем,— тут была и поэзия и тайна. Но скоро впечатление ослабело, все стали озорничать и баловаться, как прежде. Чуть только кто-нибудь зажигал свечу, все гурьбой бросались на него; начиналась борьба, владелец свечи храбро защищался, но свечу очень скоро выбивали у него из рук или просто тушили. Во мраке раздавались взрывы хохота, и возня начиналась снова. Впрочем, всему на свете бывает конец. Мало-помалу процессия стала спускаться гуськом по крутому склону главной галереи. Вереница мерцающих огней тускло озарила скалистые стены чуть не до самого верху, где они соединялись в виде свода на высоте шестидесяти футов. Этот главный ход был не шире восьми или десяти футов. На каждом шагу и влево и вправо от него ответвлялись боковые, еще более узкие ходы, ибо пещера Мак-Дугала была не что иное, как обширный лабиринт извилистых и кривых коридоров, сходившихся и снова расходившихся, но не имевших выхода. Говорили, что в этой путанице трещин, расселин и пропастей можно было бродить дни и ночи и все же не найти выхода, можно было спускаться все глубже и глубже и всюду находить одно и то же — лабиринт под лабиринтом, и не было им

конца. Ни один человек не мог похвалиться, что «знает» пещеру. Узнать ее было невозможно. Большинство молодых людей знали в ней только малый участок; дальше никто заходить не отважился. Том Сойер знал пещеру не хуже и не лучше других.

Процессия прошла около трех четвертей мили по главной галерее, а затем отдельные пары и группы стали сворачивать в боковые ходы, бегать по мрачным коридорам, неожиданно налетая друг на друга в тех местах, где коридоры сходились. Здесь можно было потерять друг друга из виду на целые полчаса, не уходя за пределы «известной» части пещеры.

Мало-помалу одна группа за другой выбегала к выходу; запыхавшиеся, веселые, закапанные с ног до головы свечным салом, вымазанные глиной, все были в полном восторге от удачно проведенного дня.

С изумлением обнаружили, что в разгаре веселья никто не заметил, как идет время и надвигается вечер. Пароходный колокол звонил уже полчаса, призывая пассажиров обратно. Звон показался таким романтическим: он достойно завершал этот радостный день, полный необыкновенных приключений. Все были очень довольны. Когда нагруженный буйной ватагой пароходик снова отчалил от берега и побежал по реке, никто, кроме капитана, не пожалел о потерянном времени.

Гек уже был на своем посту, когда пароходные огни, мерцая, проплыли мимо пристани. С пароходика до него не доносилось ни малейшего шума: молодежь присмирела и стихла, как это всегда бывает с людьми, утомленными до смерти. Сначала Гек удивился немного, что́ это за судно и почему оно не остановилось у пристани, но потом забыл о нем и сосредоточил все свои мысли на предстоящей задаче. Ночь становилась облачной и темной. Пробило десять, стук колес умолк. Разбросанные кое-где огоньки гасли один за другим, исчезли последние пешеходы. Городок погрузился в дремоту, и маленький сторож остался наедине с тишиной и призраками. Пробило одиннадцать. В таверне погасли огни. Теперь мрак был повсюду. Гек ждал, как ему казалось, мучительно долго, но ничего не случилось. В душу его закралось сомнение. К чему все это? В самом деле, к чему? Не лучше ли махнуть на все рукой и уйти спать?

Вдруг до его слуха донесся какой-то шум. Он мгновенно насторожился. Дверь, выходившая в переулок, тихо закрылась. Гек бросился к углу кирпичного склада. Через минуту мимо него прошмыгнули два человека; у одного как будто было что-то под мышкой. Должно быть, сундучок! Значит, они хотят унести сокровище куда-то в другое место. Что же теперь делать? Позвать Тома? Это было бы глупо: они за это время успеют уйти

с сундучком, а потом и следов не отыщешь. Нет, он пойдет за ними и выследит их,— в такую темень где им заметить его! Гек вышел из засады и пошел за ними, неслышно, как кошка, ступая босыми ногами и держась поодаль, но на таком расстоянии, чтобы бродяги не могли скрыться из виду.

Сначала они шагали по улице, которая шла вдоль реки, миновали три квартала, свернули на Кардифскую гору. По этой тропинке они стали взбираться. На склоне горы, как раз на полдороге, они миновали усадьбу старика валлийца и, не замедляя шага, поднимались все выше и выше. «Ага,— подумал Гек,— они хотят закопать деньги в старой каменоломне». Но и там они не остановились. Они шли выше, к вершине горы; потом свернули на узкую тропку, вьющуюся между кустами сумаха[1], и сразу пропали во тьме. Гек зашагал быстрее, и ему удалось подойти к ним довольно близко, так как видеть его они не могли. Сначала он бежал рысью, потом немного замедлил шаг, боясь, как бы в темноте не наткнуться на них, прошел еще немного, потом остановился совсем. Прислушался — ни звука; только и слышно, как стучит его сердце. Сверху, с

---

[1] Сумах, или желтник,— невысокое деревце с густой лис

горы, до него донеслось уханье совы — звук, не предвещающий добра. Но шагов не слышно. Черт возьми! Неужто все пропало? Гек уже собирался дать тягу, как вдруг в трех шагах от него кто-то кашлянул. Сердце у Гека ушло в пятки, но он пересилил страх и остался на месте, трясясь всем телом, словно все двенадцать лихорадок напали на него зараз: он чувствовал сильную слабость и боялся, что вот-вот упадет. Теперь ему стало ясно, где он находится: он стоит у забора, окружающего усадьбу вдовы Дуглас, в пяти шагах от перелаза.

«Ладно,— подумал он,— пусть закапывают здесь — будет легко отыскать».

Затем послышался тихий голос — голос Индейца Джо:

— Черт бы ее побрал! У нее, кажется, гости,— в окнах огни, хоть и поздно.

— Никаких огней я не вижу.

Это был голос того незнакомца, которого они видели в заколдованном доме. Сердце у Гека похолодело от ужаса: так вот кому они собираются мстить! Первой мыслью его было пуститься наутек. Потом он вспомнил, что вдова Дуглас нередко бывала добра к нему, а эти люди, быть может, идут убивать ее. Значит, надо поскорее предупредить вдову Дуглас. Но нет, у него не хватает духу, да и никогда не хватит: ведь они могут заметить его и схватить.

Все это и еще многое другое пронеслось у него в голове, прежде чем Индеец Джо успел ответить на последние слова незнакомца:

— Тебе кусты заслоняют свет. Подвинься сюда... вот так. Теперь видишь?

— Да. У нее и в самом деле гости. Не лучше ли бросить это дело?

— Бросить, когда я навсегда уезжаю отсюда! Бросить, когда, может быть, другого такого случая вовек не представится! Говорю тебе еще раз: мне ее денег не надо — можешь взять их себе. Но ее муж обидел меня... не раз обижал... он был судья и посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Но это не все, нет, не все! Это только самая малая часть. Он велел меня высечь! Да, в ы с е ч ь плетьми перед самой тюрьмой, как негра! И весь город видел мой позор. В ы с е к меня, понимаешь? Он перехитрил меня, умер, но я расквитаюсь с н е й!

— Не убивай ее! Слышишь? Не надо!

— Убить ее? Разве я говорил, что убью? Е г о я убил бы, будь он здесь, но не ее. Если хочешь отомстить женщине, незачем ее убивать. Изуродуй ее, вот и все! Вырежь ей ноздри, обруби уши, как свинье!

— Боже, да ведь это...

— Тебя не спрашивают! Лучше помалкивай! Целее будешь. Я привяжу ее к кровати. А помрет от потери крови — тут уж вина не моя. Плакать не стану, пускай околеет! Ты, приятель, поможешь мне по дружбе — затем ты сюда и пришел; одному мне, пожалуй, не справиться. А струсишь — я прикончу тебя! Понимаешь? А придется убить тебя — я убью и ее, и тогда уж никто не узнает, чьих рук это дело!

— Ну что ж! Делать так делать. Чем скорее, тем лучше... меня всего так и трясет.

— Сейчас? При гостях? Ох, гляди у меня, ты что-то лукавишь! Нет, мы подождем, пока в доме потушат огни. Спешить некуда.

Гек почувствовал, что теперь должна наступить тишина, еще более жуткая, чем этот разговор о кровавом злодействе. Поэтому он затаил дыхание и робко шагнул назад, осторожно нащупывая ногой, куда бы ее поставить, для чего ему пришлось балансировать вправо и влево на другой ноге, и при этом он так пошатнулся, что чуть не упал. С такими же предосторожностями и с таким же риском он сделал еще шаг назад, потом еще и еще.

Вдруг у него под ногой хрустнул сучок. Гек затаил дыхание и остановился, прислушиваясь. Ни звука, глубокая тишина. Обрадованный, он осторожно повернулся между двумя сплошными рядами кустов, как поворачивается корабль в узком проливе, и быстро, но бесшумно зашагал прочь. Добравшись до каменоломни, он почувствовал себя в безопасности и пустился бежать со всех ног. Все ниже и ниже под гору, и вот наконец он добежал до усадьбы валлийца и принялся барабанить в его дверь кулаками. Из окон высунулись голова старика фермера и его двух дюжих сыновей.

— Что за шум? Кто там стучит? Чего надо?

— Впустите скорее! Я вам все скажу...

— Кто ты такой?

— Гекльберри Финн. Скорее! Впустите меня!

— Гекльберри Финн! Вот так здорово! Не такое это имя, чтобы перед ним раскрывались все двери. Но все-таки, ребята, впустите его. Посмотрим, какая случилась беда.

— Пожалуйста, только никому не говорите, что это я вам сказал,— таковы были первые слова Гека, когда ему отперли дверь,— не то мне несдобровать! Меня убьют! Но вдова жалела меня иногда, и я хочу вам рассказать все как есть. И расскажу, если вы обещаете никому не говорить, что это я...

— Честное слово, у него есть что сказать, это он неспроста! — воскликнул старик.— Ну, малый, выкладывай, что знаешь, мы никому... ни за что!

Через три минуты старик и его сыновья, захватив с собой надежное оружие, были уже на вершине холма и, взведя курки, тихонько пробирались по тропинке между кустами сумаха. Гек довел их до этого места, но дальше не пошел. Он притаился за большим камнем и начал прислушиваться. Наступила томительная, тревожная тишина. Вдруг послышался треск выстрелов и чей-то крик. Гек не ждал продолжения. Он вскочил на ноги и помчался вниз без оглядки.

Глава тридцатая

ТОМ И БЕККИ В ПЕЩЕРЕ

В воскресенье утром, чуть только стала заниматься заря, Гек в потемках взобрался на гору и тихонько постучался к старику валлийцу. Все обитатели дома спали, но спали тревожным сном, потому что не успели еще успокоиться после ночных треволнений. Из окна спросили:

— Кто там?

Гек негромко ответил испуганным голосом:

— Пожалуйста, впустите! Это всего только я, Гек Финн.

— Перед этим именем, мальчик, дверь нашего дома всегда открыта и днем и ночью. Добро пожаловать!

Странно прозвучали эти слова в ушах маленького бродяги. Никогда еще он не слыхал таких приятных речей. Он даже и припомнить не мог, чтобы кто-нибудь сказал ему: «Добро пожаловать!» Дверь тотчас отперли. Гека усадили на стул, а старик и его молодцы-сыновья стали торопливо одеваться.

— Ну, дружок, я думаю, ты здорово голоден. Завтрак будет скоро готов, чуть только взойдет солнце,— и горячий завтрак, будь покоен! А я и мои мальчики думали, что ты переночуешь у нас.

— Я страсть перепугался,— объяснил Гек,— и дал стрекача. Как вы начали палить из пистолетов, я побежал что есть духу и целых три мили бежал без передышки. А теперь я пришел разузнать насчет этого дела, и нарочно до свету, чтобы не наткнуться на них, на чертей, даже если они уже мертвые.

— Бедняга, тебе худо пришлось в эту ночь: вид у тебя очень измученный. Ну, не беда! Вот постель; как позавтракаешь, так и ложись... Нет, милый, они не убиты,— и это нам очень досадно. Видишь, как оно вышло. По твоему описанию мы знали, где их захватить; подкрались к ним близко-близко,— ведь на этой тропинке между кустами сумаха темно, как в погребе. Остановились так шагах, должно быть, в пятнадцати, и вдруг... что ты

думаешь? — вдруг я чувствую, что вот-вот чихну. Экая, ей-богу, беда! Я и так и сяк, все стараюсь сдержаться, но ничего не поделаешь — чихнул-таки что есть мочи. А шел я впереди, держа пистолет наготове. Только я чихнул, мошенники юркнули с тропинки в кусты, в кустах захрустели ветки, а я кричу своим: «Пали, ребята!» И стреляю туда, где хрустело. Мальчики тоже. Но негодяи пустились наутек через лес. Мы за ними. Мне сдается, что мы промахнулись. Перед тем как пуститься бежать, они тоже выпустили в нас по заряду, но пули просвистели, не сделав вреда. Едва только затихли их шаги, мы прекратили погоню, сбежали с горы и подняли на ноги полицейских. Те собрали людей и оцепили берег; а как только рассветет, шериф сделает облаву в лесу. Мои мальчики тоже пойдут. Хорошо бы нам знать, каковы эти разбойники с виду,— нам было бы легче искать. Но ведь ты, пожалуй, и не рассмотрел их в потемках?

— Нет, я заприметил их в городе и пошел вслед за ними.

— Отлично! Так говори, говори же, дружок, какие они из себя?

— Один из них старый глухонемой испанец, которого видели в нашем городе раз или два, а другой — такой жалкий оборванец, этакая мерзкая рожа...

— Довольно, милый... Мы знаем обоих. Встретили их как-то в лесу; они шатались у дома вдовы, а как завидели нас — наутек!.. Ну, ребята, живо к шерифу, позавтракать успеете и завтра!

Сыновья валлийца сейчас же ушли. Когда они направились к двери, Гек кинулся за ними и крикнул:

— Пожалуйста, ни слова о том, что я видел их!

— Ладно. Не хочешь — не скажем. Но ведь тебя только похвалили бы за это.

— Ой, нет-нет! Ради бога, ни слова!

Когда молодые люди ушли, старик обратился к Геку:

— Они не скажут, и я не скажу. Но почему ты не хочешь, чтобы об этом узнали?

Гек не стал вдаваться в объяснения, но только твердил, что он слишком уж много знает об одном из этих людей и не хочет, чтобы тот знал, что он знает, и что если тот узнает, то непременно убьет его.

Старик еще раз обещал хранить тайну, но спросил:

— Как это тебе пришло в голову следить за ними, дружок? Подозрительны они тебе показались, что ли?

Гек молчал, придумывая подходящий ответ. И наконец сказал:

— Видите ли, я ведь тоже бродяга,— по крайней мере, так

все говорят, и я не могу ничего возразить против этого. Вот я иной раз и не сплю по ночам, все хожу по улицам да думаю, как бы начать жить по-другому. Так было и в прошлую ночь. Уснуть я не мог, ну, и бродил по улице, раздумывая об этих делах. А была уже полночь. Прохожу мимо старого кирпичного склада, что рядом с таверной «Трезвость», стал у стены и думаю... И вдруг вижу — бегут мимо эти два человека и что-то несут под мышкой. Я так и решил, что краденое. Один курил, и другой захотел прикурить,— вот они и остановились в двух шагах от меня. Сигары осветили их лица, и я признал в высоком глухонемого испанца — седые бакенбарды и пластырь на глазу. А другой был этот насупленный дьявол в лохмотьях.

— Неужели при свете сигары ты мог разглядеть его лохмотья?

Гек на минуту смутился.

— Уж не знаю, но, должно быть, разглядел...

— Ну, и что ж? Они пошли, а ты...

— А я за ними... да... Так оно и вышло. Хотелось узнать, что они такое затевают. Я проследил их до самого забора вдовы — до перелаза... Там я стал в темноте и слушаю: тот, в лохмотьях, заступается за вдову, а испанец божится, что изуродует ей все лицо... Ну, да ведь это я рассказывал и вам и вашим обоим...

— Как! Глухонемой говорил?

Гек снова сделал страшную ошибку. Он всячески старался, чтобы старику даже и в голову не могло прийти, кто такой этот «испанец», но его язык как будто поставил себе специальной задачей устраивать ему всякие каверзы. Гек несколько раз пытался загладить свою оплошность, но старик не сводил с него глаз, и он делал промах за промахом. Наконец валлиец сказал:

— Слушай, малый, меня ты не бойся. Я ни за что на свете не трону волоска на твоей голове. Нет, я буду защищать тебя... да, защищать! Этот испанец не глухонемой. Ты нечаянно проговорился, и теперь уж ничего не поделаешь. Ты что-то знаешь об этом испанце и не хочешь сказать. Доверься мне, скажи. И будь покоен — я тебя не выдам.

Гек посмотрел в честные глаза старика, потом нагнулся и шепнул ему на ухо:

— Это не испанец, это Индеец Джо!

Валлиец чуть не свалился со стула.

— Ну, теперь дело ясное, теперь я понимаю. Когда ты говорил про обрубленные уши и вырезанные ноздри, я был уверен, что ты это сам выдумал, для красоты, потому что белые

люди таким манером не мстят. Но индеец! Это, конечно, совсем другое дело.

За завтраком беседа продолжалась, и, между прочим, старик сказал, что, перед тем как уйти, он с сыновьями зажег фонарь и осмотрел перелаз на заборе и землю вокруг перелаза, нет ли где пятен крови. Пятен они не нашли, но захватили большой узел с...

— С чем?

Если бы слова были молнией, и тогда они не быстрее сорвались бы с побелевших губ Гека. Глаза у него округлились, дыхание перехватило, и он уставился на старика в ожидании ответа. Валлиец, в свою очередь, смотрел на него три секунды... пять секунд... десять... и потом ответил:

— Узел с воровским инструментом... Но что с тобой?

Гек откинулся на спинку кресла, редко, но глубоко дыша, чувствуя несказанную радость. Валлиец серьезно, с любопытством смотрел на него и через некоторое время сказал:

— Да, связку воровских инструментов. Это как будто очень тебя успокоило. Но чего ты боялся? Что́ же, по-твоему, мы должны были найти?

Гек был прижат к стене. Старик не сводил с него испытующих глаз. Мальчик отдал бы все на свете, чтобы придумать подходящий ответ, но ему ничего не приходило в голову, а пытливый взгляд старика все глубже проникал ему в душу. Ответ подвернулся нелепый, но взвешивать слова было некогда, и Гек еле слышно пролепетал наудачу:

— Я думал, что вы нашли... учебники для воскресной школы.

Бедный мальчик был слишком подавлен и не мог улыбнуться, но старик расхохотался так громко и весело, что у него заколыхалось все тело, и в конце концов, нахохотавшись вдоволь, объявил, что такой здоровый смех — это все равно что деньги в кармане, потому что он избавляет от расходов на доктора.

— Бедняга! — прибавил он.— Ты такой замученный и бледный... тебе, должно быть, сильно нездоровится. Оттого ты и мелешь чушь. Ну, да не беда, все пройдет. Отдохнешь, выспишься... как рукой снимет.

Геку досадно было думать, что он оказался таким простофилей и навлек на себя подозрение своей неуместной тревогой — ведь понял же он из разговора злодеев, там, у перелаза, что в узле, который они несли из харчевни, не было никакого сокровища. Впрочем, это была только догадка, наверняка он этого не знал. Вот почему упоминание о находке так взволновало его.

Но, в общем, он был даже рад, что произошел этот случай. Теперь он наверное знал, что в найденном узле нет сокровища. Значит, все превосходно и ничего не потеряно. Да, дела как будто складываются очень неплохо: сундучок, должно быть, до сих пор останется в номере втором, обоих негодяев поймают сегодня же и посадят в тюрьму, а нынче ночью он и Том без хлопот, никого не боясь, пойдут и захватят все золото.

Только что они кончили завтракать, как в дверь постучали. Гек поспешно спрятался, так как совсем не желал, чтобы кто-нибудь мог подумать, что он имеет хоть какое-нибудь отношение к ночному событию. Валлиец ввел в комнату нескольких леди и джентльменов, в том числе и вдову Дуглас, и заметил, что на горе́ там и сям мелькают группы горожан, спешивших поглядеть на место происшествия. Следовательно, новость уже стала известна.

Валлийцу пришлось рассказать посетителям историю этой ночи. Вдова стала благодарить его за то, что он спас ей жизнь.

— Ни слова, сударыня! Есть другой человек, которому вы, быть может, еще больше обязаны, чем мне и моим сыновьям, но он не позволяет мне назвать его имя. Нам и в голову не пришло бы пойти к тому месту, если бы не он.

Разумеется, слова эти возбудили такое любопытство, что даже главное событие отступило на задний план. Но валлиец только разжег любопытство гостей и не выдал им тайны. Благодаря этому их любопытство скоро передалось всему городу. Когда гости узнали остальные подробности, вдова сказала:

— Я уснула, читая в кровати, и все время спокойно спала. Почему вы не пришли и не разбудили меня?

— Решили, что не стоит,— ответил валлиец.— Думали так: негодяи едва ли вернутся — ведь они остались без инструментов и не могли взломать дверь. Зачем же было будить вас? Чтобы напугать до смерти? Кроме того, три моих негра до утра простояли на страже возле вашего дома. Вот только сейчас воротились.

Пришли новые посетители, и в течение двух часов старик только и делал, что повторял свой рассказ.

В это утро по случаю каникул в воскресной школе не было обычных занятий, но все-таки все спозаранку собрались в церковь. Повсюду только и говорили, что о страшном ночном событии. Все уже знали, что полиция до сих пор не напала на след злоумышленников. По окончании проповеди жена судьи Тэчера нагнала миссис Гарпер, двинувшуюся вместе с толпою к выходу, и сказала:

— Что же, моя Бекки так и проспит у вас весь день? Впрочем, я знала, что она до смерти устанет...

— Ваша Бекки?

— Да. (Испуганный взгляд.) Разве она не ночевала у вас?

— Нет.

Миссис Тэчер побледнела и опустилась на церковную скамью. Как раз в это время мимо проходила тетя Полли, о чем-то оживленно беседуя с приятельницей.

— Здравствуйте, миссис Тэчер! — сказала тетя Полли.— Доброго утра, миссис Гарпер! А у меня мальчишка опять потерялся. Должно быть, эту ночь он спал у вас... или у вас... а теперь боится прийти в церковь — знает, что ему будет хорошая взбучка.

Миссис Тэчер слабо покачала головой и еще больше побледнела.

— У нас его не было,— сказала миссис Гарпер, тоже начиная беспокоиться.

Лицо тети Полли выразило явную тревогу.

— Джо Гарпер, ты видел нынче утром моего Тома? — спросила она.

— Нет.

— А когда ты видел его в последний раз?

Джо попытался припомнить, но не мог сказать наверняка. Выходившие из церкви стали останавливаться. В толпе начались перешептывания. Тень беспокойства появилась на каждом лице. Детей и младших учителей засыпали вопросами. Оказалось, никто не заметил, были ли Том и Бекки на пароходике, когда все возвращались домой: было ведь очень темно; никому и в голову не пришло проверить, все ли в сборе. Наконец один юноша брякнул, что, возможно, они остались в пещере. Миссис Тэчер упала в обморок. Тетя Полли зарыдала, ломая руки.

Тревожная весть переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу. Через пять минут уже трезвонили во все колокола, и весь город был на ногах! Происшествие на Кардиффской горе мгновенно показалось ничтожным, грабители были сразу забыты. Седлали лошадей, отвязывали лодки. Послали за пароходиком. Не прошло и получаса с момента страшного открытия, как около двухсот человек направлялись уже и по реке, и по суше к пещере.

Весь городок казался вымершим — так он опустел. Весь день женщины навещали тетю Полли и миссис Тэчер, пытаясь утешить их: плакали вместе с ними, и это было лучше всяких слов.

Всю томительную ночь городок ожидал известий, но когда наконец забрезжило утро, из пещеры было получено только не-

сколько слов: «Пришлите еще свечей и провизии». Миссис Тэчер чуть не обезумела от горя, тетя Полли — тоже. Судья Тэчер то и дело присылал из пещеры сказать, чтобы они не теряли надежды, но его слова не приносили им утешения.

На другой день, на рассвете, старик валлиец вернулся домой, весь испачканный свечным салом и глиной и еле держась на ногах. Он нашел Гека в той самой постели, куда его уложили вчера. Мальчик был в бреду и метался в горячке. Все врачи были в пещере, так что за больным взялась ходить вдова Дуглас, говоря, что она сделает для него все, что возможно, так как, хорош он или плох, он все-таки создание божье — не бросать же его без призора. Валлиец сказал, что у Гека есть свои добрые качества, и вдова согласилась с ним:

— Вы совершенно правы. То, что создано господом богом, имеет на себе его печать. Каждое творение его рук не может быть без божьей благодати.

К полудню в городок начали возвращаться отдельные группы до смерти усталых людей, но те горожане, у которых осталось хоть немного энергии, все еще продолжали поиски. Нового узнали только то, что в пещере обшарены все дальние галереи, куда никто не заглядывал раньше; что будут осмотрены все расселины, все закоулки, что в лабиринте коридоров там и сям мелькают вдали огоньки и что по мрачным переходам то и дело перекатывается глухое эхо отдаленных криков и пистолетных выстрелов.

В одном месте, далеко от той части пещеры, которую обычно посещают туристы, нашли имена «Бекки и Том», выведенные на камне копотью свечи, и тут же валялся закапанный салом обрывок ленточки. Миссис Тэчер узнала ленточку и разрыдалась над ней. Она говорила, что это последняя память о ее погибшем ребенке. Ничто не может быть драгоценнее, потому что это — последний предмет, с которым Бекки рассталась, перед тем как ее застигла ужасная смерть. Иные рассказывали, что во время поисков замечали вдали какой-то мерцающий свет и человек двадцать с криком радости кидались в ту сторону, пробуждая громкое эхо, но, увы, их радость была преждевременной: они находили не детей, а кого-нибудь из своих.

Так прошли три страшных дня и три страшные ночи. Тоскливо тянулись часы. Весь город впал наконец в какое-то безнадежное оцепенение. У каждого работа валилась из рук. Даже случайно сделанное открытие, что владелец таверны «Трезвость» тайно торгует спиртными напитками, при всей своей чудовищности, не взволновало почти никого. Когда больной Гек на некоторое время пришел в себя, он завел разговор о таверне и наконец спросил, смутно опасаясь услышать ужасную весть,

не нашли ли чего-нибудь в таверне «Трезвость» за время его болезни.

— Нашли,— отвечала вдова.

Гек дико взглянул на нее и подскочил на кровати.

— Что? Что такое нашли?

— Крепкие напитки. Водку... И таверна теперь закрыта... Ложись, дитя мое... Как ты меня напугал!

— Скажите мне только одно, только одно слово, пожалуйста! Кто нашел? Том Сойер?

Вдова залилась слезами.

— Тише, тише, мой милый, я уже сказала: тебе нельзя так много говорить. Ты очень, очень болен.

«Так, значит, кроме водки, ничего не нашли, потому что, если бы нашли деньги, это вызвало бы страшный переполох во всем городе. Значит, сокровище исчезло на веки веков, навсегда... Но она-то о чем плачет? Странное дело! Кажется, о чем бы ей плакать?»

Эти мысли смутно шевелились в уме Гека и так утомили его, что он заснул.

«Ну вот он и спит, бедняжка,— говорила себе вдова.— «Том Сойер нашел»! Поди теперь найди Тома Сойера! Уж мало осталось таких, у кого хватает упорства и сил искать твоего Тома Сойера».

Глава тридцать первая

НАШЛИСЬ И ПОТЕРЯЛИСЬ ОПЯТЬ

Вернемся теперь к Тому и Бекки и посмотрим, что делали они на пикнике. Сперва они бродили по мрачным боковым коридорам, осматривая вместе со всеми уже знакомые им чудеса пещеры, носившие несколько вычурные названия, как, например: «Гостиная», «Собор», «Дворец Аладдина» и прочее. Потом все стали играть в прятки, и Том и Бекки усердно принимали участие в этой веселой игре, но в конце концов она немного наскучила им; они пошли вдвоем по извилистой галерее, высоко держа свечи и разбирая путаницу чисел, имен, адресов и изречений, которыми были расписаны скалистые стены (копотью свечей). Продолжая идти вперед и болтая, они не заметили, как очутились в такой части пещеры, где на стенах уже не было надписей. Они вывели копотью свои имена под нависшим камнем и пошли дальше. Вскоре они набрели на небольшой ручеек, который, переливаясь через выступ скалы и принося с собой известковый осадок, в течение многих столетий образовал из блестящего прочного камня кудрявую, кружевную Ниа-

гару. Худенький Том легко протиснулся сквозь узкую расселину за водопадом и озарил его свечой, чтобы доставить удовольствие Бекки. Тут он заметил, что водопад прикрывает собою крутые ступеньки, нечто вроде естественной лестницы, заключенной в узкую щель между двумя каменными стенами. Им в тот же миг овладела честолюбивая жажда открытий. Бекки откликнулась на его призыв, и они, оставив копотью знак на камне, чтобы не сбиться с пути, отправились делать открытия. Они долго шли по извилистому коридору то вправо, то влево, забираясь все глубже и глубже в тайники подземелья, сделали еще одну пометку и свернули в сторону в поисках новых чудес, о которых можно было бы рассказать там, наверху. В одном месте они нашли просторную пещеру, где с потолка спускалось множество блестящих сталактитов[1] длиной и толщиной с человеческую ногу. Они обошли эту пещеру кругом, любуясь и вос-

[1] Сталактиты — затвердевшие массы извести, спускающиеся с потолка некоторых пещер наподобие больших сосулек. Навстречу им с пола пещеры поднимается такая же масса в виде известковых конусов — сталагмитов.

хищаясь ее красотой. В пещеру вело много коридоров; они пошли по одному из них и вскоре увидели чудесный родник, дно которого было выложено сверкающими, как иней, кристаллами. Родник протекал в самом центре какой-то высокой пещеры; ее стены подпирались рядами фантастических колонн, создавшихся благодаря слиянию больших сталактитов со сталагмитами в результате многовекового падения капель воды. Под сводами этой пещеры огромными гирляндами висели летучие мыши, по нескольку тысяч в каждой. Свет вспугнул их, они ринулись вниз — сотни и сотни летучих мышей — и с резким писком стали бешено кидаться на свечи. Том знал их повадки и хорошо понимал, какой опасностью грозят эти твари. Он схватил Бекки за руку и вбежал вместе с нею в первый попавшийся коридор. И хорошо сделал, так как одна из летучих мышей потушила крылом свечу Бекки — в ту самую минуту, как Бекки выходила из пещеры.

Летучие мыши долго гнались за детьми, но беглецы поминутно сворачивали в новые и новые коридоры, попадавшиеся на пути, и таким образом наконец-то избавились от этих зловредных тварей. Вскоре Том увидел подземное озеро, туманные очертания которого исчезали вдали во мраке. То́му захотелось пойти исследовать его берега, но он решил, что лучше будет сначала присесть отдохнуть. Тут в первый раз мертвая тишина подземелья наложила на душу детей свою влажную, липкую руку.

— Ой,— сказала Бекки,— я и не заметила... Ведь, кажется, уже очень давно не слышно ничьих голосов?

— Еще бы, Бекки! Подумай сама — мы глубоко под ними; я даже не знаю, куда мы зашли,— к северу, к югу или к востоку. Здесь мы и не можем их слышать.

Бекки встревожилась:

— А давно мы уже тут, внизу, Том? Лучше бы нам вернуться.

— Да, пожалуй, это будет лучше всего. Пожалуй...

— А ты можешь найти дорогу, Том? Здесь такие кривые ходы, у меня все в голове перепуталось.

— По-моему, я мог бы найти, не будь этих летучих мышей. Задуют они наши свечи,— ну, что мы тогда станем делать! Давай поищем другую дорогу, чтобы не проходить мимо них.

— Хорошо, но только бы нам не заблудиться. Это был бы такой ужас!

И девочка вздрогнула при одной мысли о грозной опасности.

Они свернули в какой-то коридор и долго шли молча, вглядываясь в каждый переход, не покажется ли он знакомым; но

нет, это были неизвестные места. Каждый раз, когда Том исследовал новый ход, Бекки наблюдала за выражением его лица, надеясь уловить какой-нибудь утешительный признак, и каждый раз он беззаботно твердил ей:

— Это еще не тот, но ты не беспокойся, пожалуйста, в свое время найдем и его.

Однако с каждой новой неудачей он все больше падал духом и вскоре начал сворачивать направо и налево наобум, как попало, в отчаянной надежде найти наконец ту дорогу, которая была им нужна.

Он по-прежнему говорил: «Все отлично», но на сердце у него была такая свинцовая тяжесть, что голос его утратил былую беспечность, как будто он говорил не «все отлично», а «все пропало».

Бекки в смертельном страхе прижималась к нему, всеми силами стараясь удержать слезы, но они текли и текли.

Наконец она сказала:

— Том, ничего, что летучие мыши,— вернемся той же самой дорогой. А так мы все больше и больше запутываемся.

Том остановился.

— Прислушайся! — сказал он.

Глубокая тишина. Такая глубокая, что они слышали свое дыхание. Том крикнул. Голос его долго отдавался под пустыми сводами и замер вдали слабым звуком, похожим на чей-то насмешливый хохот.

— Ой, Том, не надо, это так страшно! — сказала Бекки.

— Страшно-то страшно, но все же лучше кричать, Бекки: б ы т ь м о ж е т, они услышат нас.

И он крикнул еще раз.

В этом «б ы т ь м о ж е т» было еще больше леденящего ужаса, чем в том дьявольском хохоте: тут слышалось признание, что уже не осталось надежды. Дети стояли тихо и вслушивались, но никто не откликнулся. Том повернул назад и ускорил шаги. Но какая-то нерешительность во всех его движениях и взглядах выдала Бекки другую страшную истину: он не мог найти дорогу и назад, к той пещере, где были летучие мыши.

— О Том, почему ты не делал пометок?

— Бекки, я такой идиот! Мне и в голову не приходило, что нам придется возвращаться тем путем. Я не могу найти дорогу. У меня все спуталось...

— Том, Том, мы пропали! Пропали! Нам никогда, никогда не выбраться из этого ужасного места! О, зачем мы ушли от других!

Она упала на землю и так бурно зарыдала, что Том пришел в отчаяние: ему казалось, что она сейчас умрет или сойдет с ума. Он сел рядом с ней и обнял ее. Она спрятала лицо у него

на груди и прижалась к нему, изливая весь свой ужас, все свои запоздалые сожаления, а далекое эхо превращало ее рыдания в язвительный хохот. Том умолял ее собраться с духом, не терять надежды, но она говорила, что это ей не под силу. Тогда он стал упрекать и бранить себя за то, что принес ей такое несчастье, и это подействовало лучше всего. Она сказала, что попытается взять себя в руки, встанет и пойдет за ним, куда бы он ни повел ее, только пусть он не говорит таких слов, потому что она и сама виновата ничуть не меньше его.

И они пошли наудачу, бесцельно... просто затем, чтобы идти, не сидеть на месте,— ведь больше они ничего не могли сделать. Вскоре надежда как будто опять воскресла в их сердцах — не потому, что для этого была какая-нибудь причина, а потому, что таково уж свойство надежды: она возрождается снова и снова, пока человек еще молод и не привык терпеть неудачи.

Немного погодя Том взял у Бекки свечу и задул ее. Такая бережливость означала очень многое: слова были не нужны. Бекки поняла, что́ это значит, и опять упала духом. Она знала, что у Тома есть целая свеча и еще три или четыре огарка в кармане,— и все же он счел нужным экономить.

Мало-помалу усталость начала предъявлять свои права; дети пытались не обращать на нее внимания, потому что им делалось страшно при мысли, что они будут сидеть тут, когда каждая минута так дорога; двигаясь в каком бы то ни было направлении, хоть наобум, они все же шли куда-то и, может быть, к выходу, но сесть — это значило обречь себя на смерть и ускорить ее приближение.

Наконец утомленные ноги Бекки отказались служить. Она села. Том примостился рядом, и они стали говорить о доме, об оставленных друзьях, об удобных постелях и, главное, о солнечном свете. Бекки плакала. Том старался придумать что-нибудь такое, чтобы успокоить ее, но все его успокоительные речи уже потеряли силу, оттого что он столько раз повторял их, и зазвучали жестокой насмешкой. Бекки до того изнемогла, что в конце концов стала дремать и заснула. Том был рад. Он сидел, вглядывался в ее осунувшееся лицо и видел, как постепенно под влиянием приятных снов оно приняло обычное спокойное выражение, на губах у нее заиграла улыбка, да так и осталась надолго. Безмятежность ее лица немного успокоила Тома, и боль его мало-помалу утихла. Мысли его ушли в прошлое и стали блуждать среди дремотных воспоминаний. Он так погрузился в эти воспоминания, что и не заметил, как Бекки проснулась и тихонько засмеялась. Но смех тотчас же замер у нее на губах, и за ним последовал стон.

— О, как я могла уснуть! Я хотела бы никогда, никогда не просыпаться!.. Нет-нет, Том, я сказала неправду! Не смотри на меня так! Этого я больше никогда не скажу!

— Я рад, что ты поспала, Бекки: теперь ты отдохнула, и мы найдем дорогу, вот увидишь!

— Попробуем, Том, но я видела во сне такую прекрасную страну! Мне кажется, мы скоро там будем.

— Может, будем, а может, нет. Ну, Бекки, гляди веселее! Пойдем-ка и поищем опять.

Они встали и пошли рука об руку, но уже без всякой надежды. Они пытались сообразить, сколько времени находятся в пещере; им казалось — несколько дней, а быть может, недель, между тем этого, очевидно, не могло быть, так как свечи у них еще не сгорели.

Так прошло много времени, а сколько — они и сами не знали. Том сказал, что надо идти тихо-тихо и прислушиваться, не каплет ли где вода,— нужно найти источник. Вскоре они в самом деле нашли ручеек, и Том заявил, что пора сделать новый привал.

Хотя оба они смертельно устали, Бекки сказала, что она могла бы пройти еще немножечко. К ее удивлению, Том отказался,— нельзя было понять почему. Они сели. Том взял кусочек глины и прилепил свечу к стене. На них снова нахлынули невеселые мысли, и некоторое время они не произносили ни слова. Бекки первая нарушила молчание:

— Том, я ужасно хочу есть.

Том вытащил что-то из кармана.

— Помнишь? — спросил он.

Бекки слабо улыбнулась:

— Это наш свадебный пирог, Том.

— Да... Я хотел бы, чтобы он был величиной с бочонок, потому что больше у нас ничего нет.

— Я спрятала его на пикнике, хотела положить под подушку, чтобы мы увидели друг друга во сне... Так всегда поступают большие[1]. Но это будет наш последний...

Бекки не договорила.

Том разделил пирог на две части. Бекки съела свою долю с аппетитом, а Том едва дотронулся до своей. Холодной воды было вдоволь — нашлось, чем закончить пир. Немного погодя Бекки предложила идти дальше. Том ничего не ответил и, помолчав, сказал:

---

[1] В некоторых странах суеверные девушки кладут кусок свадебного пирога под подушку, чтобы им приснился жених.

— Бекки, можешь ты спокойно выслушать, что я тебе скажу?

Бекки побледнела, но сказала, что, кажется, может.

— Так вот что, Бекки: нам надо остаться здесь, где есть вода для питья... Это наш последний огарок.

Бекки дала волю слезам. Том утешал ее как мог, но напрасно. Наконец она сказала:

— Том!

— Что, Бекки?

— Они хватятся нас и пойдут искать!

— Еще бы! Разумеется, пойдут.

— Может быть, они уже теперь ищут нас, Том?

— Может, и теперь. Это вернее всего.

— Когда же они заметили, что нас нет? Как ты думаешь, Том?

— Думаю — когда вернулись на пароход.

— Том, тогда, пожалуй, было уж очень темно. Разве они увидели, что мы не пришли?

— Не знаю, но, во всяком случае, твоя мама сразу подняла тревогу, когда все остальные вернулись домой.

На лице у Бекки появилось выражение испуга, и Том по ее глазам догадался, что сделал промах. Ведь Бекки должна была провести эту ночь у подруги, и дома ее не ждали. Дети смолкли и задумались. Вдруг Бекки снова разразилась рыданиями, и Том понял, что ей, как и ему, пришла в голову страшная мысль: воскресное утро может наполовину пройти, и только тогда миссис Тэчер узнает, что Бекки не ночевала у миссис Гарпер.

Дети не сводили глаз с последнего огарка свечи, следя за тем, как он тихо и безжалостно тает. Наконец осталось только полдюйма фитиля; слабый огонек поднялся, упал, вскарабкался по тонкой струйке дыма, задержался одну секунду на ее верхнем конце,— и потом воцарился ужас беспросветного мрака.

Сколько времени прошло, прежде чем Бекки мало-помалу заметила, что она плачет в объятиях Тома, ни один из них сказать не мог. Они знали одно: что через очень долгий, как им казалось, промежуток времени оба сбросили с себя мертвое оцепенение сна и снова вернулись к сознанию постигшего их несчастья. Том сказал, что сейчас воскресенье, а быть может, даже понедельник. Он пытался втянуть Бекки в разговор, но она была слишком придавлена горем; все ее надежды рухнули. Том уверял, что их отсутствие должны были заметить уже давным-давно и теперь, наверное, их ищут. Он будет кричать во все горло — авось кто-нибудь услышит и придет. Он крикнул; но

в темноте отдаленное эхо прозвучало так страшно, что он больше не пытался кричать.

Часы шли, и голод опять начал терзать бедных узников. У Тома сохранился кусочек от доставшейся ему половинки пирога; они разделили его и съели, но от этого стали как будто еще голоднее. Жалкая кроха только раздразнила аппетит.

Через некоторое время Том сказал:

— Ш-ш!.. Ты слышала?

Оба затаили дыхание и стали прислушиваться. Кто-то как будто кричал — далеко-далеко. Том тотчас же откликнулся и, взяв Бекки за руку, стал ощупью пробираться по коридору в ту сторону, откуда донесся крик. Потом он опять прислушался: звук раздался опять и как будто немного ближе.

— Это они! — сказал Том.— Идут сюда! Идем, Бекки, не бойся, теперь все хорошо!

Радость пленников дошла до восторга, но бежать они не могли, так как на каждом шагу попадались провалы и надо было двигаться с опаской. Вскоре они остановились перед одним таким провалом — и не могли сделать ни шагу вперед. Яма могла иметь и три фута и сто футов глубины — все равно перейти через нее было невозможно. Том лег на живот и перегнулся вниз сколько мог. Никакого дна. Нужно стоять и ждать, пока за ними придут. Они прислушались, но крики звучали все глуше и дальше... Еще минута — и они смолкли совсем. Какая жалость, какая тоска! Том кричал, пока не охрип, но никто не откликался. Все же он обнадеживал Бекки, но прошла целая вечность тревожного ожидания, а звуков больше не было слышно.

Дети ощупью добрались до своего ручейка. Томительно потянулись часы. Они снова уснули и проснулись голодные, убитые горем. Том был уверен, что теперь уже вторник.

Вдруг его осенило. Поблизости было несколько боковых коридоров. Не лучше ли исследовать их, чем томиться тягостным бездельем? Он вынул из кармана бечевку от бумажного змея, привязал ее к выступу скалы и двинулся в путь вместе с Бекки, разматывая клубок на ходу. Но приблизительно через двадцать шагов коридор оборвался; он оканчивался пропастью. Том стал на колени и начал исследовать стену, ведущую вниз, а потом, насколько мог вытянуть руку, принялся ощупывать ту, которая была за углом, потом потянулся немного вправо, и в это мгновение в каких-нибудь двадцати ярдах из-за края утеса высунулась чья-то рука со свечой! Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой выдвинулся и весь человек — Индеец Джо! Том оцепенел, не мог двинуть ни рукой, ни ногой и страшно обрадовался, когда «испанец» в ту же минуту пустился бежать и

вскоре пропал из виду. Тому показалось очень странным, как это Джо не узнал его голоса, не кинулся на него и не убил за показание в суде; но, должно быть, эхо изменило его голос. «Все дело, конечно, в этом»,— говорил себе мальчик. От перенесенного страха каждый мускул в его теле ослабел, и он сказал себе, что, если у него хватит сил вернуться к источнику, он там и останется и уже никуда не пойдет, чтобы снова не наткнуться на Индейца Джо. Он скрыл от Бекки, что видел его. Он сказал, что крикнул просто так, наудачу.

Но голод и безвыходность положения в конце концов оказались сильнее всяких страхов. Тоскуя, сидели они у источника, потом заснули и спали долго — и проснулись с другими чувствами. Муки голода стали гораздо сильнее. Том считал, что теперь уже среда или четверг... может быть, даже пятница или суббота; значит, люди уже потеряли надежду и перестали искать их. Он предложил исследовать другой коридор. Он готов был рискнуть чем угодно, даже встреча с Индейцем Джо больше не пугала его. Но Бекки была очень слаба. Она как бы оцепенела от горя, ее ничем нельзя было расшевелить. Она говорила, что останется тут, где сидит, и будет ждать смерти; смерть уже недалека. Пусть Том возьмет бечевку и идет, если хочет, но она умоляет его возвращаться почаще, чтобы поговорить с ней, и берет с него слово, что, когда настанет страшная минута, он будет сидеть тут, поблизости, и держать ее за руку, пока не придет конец.

Том поцеловал ее, чувствуя в горле комок, и сделал вид, что не теряет надежды либо найти выход из пещеры, либо встретиться с теми, кто их ищет.

Он взял в руку бечевку от змея и ощупью пополз на четвереньках по одному из коридоров, терзаемый мучительным голодом и предчувствием близкой гибели.

Глава тридцать вторая

«ВЫХОДИТЕ! НАШЛИСЬ!»

Вторник близился к концу. Надвигались вечерние сумерки. Городок Санкт-Петербург все еще оплакивал погибших детей. Их так и не нашли. За них молились прихожане в церкви; немало возносилось к небу и одиноких молитв, идущих от самого сердца, а из пещеры по-прежнему не было добрых вестей. Многие горожане оставили поиски и вернулись к своим повседневным занятиям, решив, что детей уже не удастся найти. Миссис Тэчер была очень больна и почти непрерывно бредила. Видев-

шие ее говорили, что просто сердце у них разрывается, когда она зовет свою дочь, поднимает голову и целую минуту прислушивается, а потом с тяжелым стоном опускает ее на подушки. Тетя Полли впала в глубокую тоску, и ее седы́е волосы совсем побелели. Во вторни́к вечером весь городок отошел ко сну мрачный: уже ни на что не надеялись.

Среди ночи на городской колокольне неожиданно поднялся безумный трезвон, и в один миг улицы наполнились ошалелыми полуодетыми людьми, которые неистово кричали: «Выходите! Выходите! Нашлись! Нашлись!», били в железные сковороды и трубили в рожки. Все население толпой побежало к реке навстречу Тому и Бекки. Они ехали в открытой коляске, которую с криком везли горожане. Толпа окружила коляску, присоединилась к процессии, торжественно пошла по главной улице и, не переставая, орала «ура».

Всюду сияли огни. Спать уже не ложился никто. Еще никогда городок не переживал такой замечательной ночи. За первые полчаса в доме судьи Тэчера перебывали чуть не все горожане. Они по очереди, один за другим, целовали спасенных детей, жали руку миссис Тэчер, пытались что-то сказать, но не могли — и затопили весь дом потоками радостных слез.

Тетя Полли была совершенно счастлива. Почти так же ликовала миссис Тэчер. Ей недоставало только одного: чтобы гонец, отправленный в пещеру, сообщил ее мужу, что дети нашлись. Том лежал на диване и рассказывал взволнованным слушателям необычайную историю своих приключений, украшая ее поразительно эффектными выдумками. В заключение он рассказал, как он оставил Бекки одну и отправился на разведку, как он исследовал две галереи на всю длину бечевки, как пошел по третьей и, когда клубок бечевки размотался у него весь до конца, хотел было вернуться, но вдруг увидал вдали какой-то проблеск, вроде как бы дневной свет; как он бросил бечевку и стал ощупью пробираться туда, потом просунул голову и плечи в небольшое отверстие и увидел, что перед ним катит волны широкая Миссисипи! Подумать только, что, будь это ночью, он не увидел бы проблеска света и ему не пришло бы в голову дойти до конца галереи! Затем он рассказал, как он вернулся к Бекки и сообщил ей радостную весть, а она попросила его, чтобы он не приставал к ней с пустяками, потому что у нее уже нет сил, она чувствует, что скоро умрет, и рада этому. По его словам, он долго уговаривал ее и наконец убедил, и она чуть с ума не сошла от счастья, когда, пробравшись ощупью к тому месту, своими глазами увидела голубую полоску дневного света; он рассказал, как он протиснулся через отверстие и помог Бекки; как они сели на землю и заплакали от радости, как мимо

проезжали какие-то люди на лодке, и Том окликнул их и сказал им: «Мы только что из пещеры, и нам до смерти хочется есть»; как эти люди сперва не поверили, потому что, говорили они, этого никак не может быть: «Пещера не здесь, а в пяти милях отсюда, там, вверх по реке, в долине», затем все же взяли их в лодку, отвезли в какой-то дом, накормили ужином, дали им отдохнуть и через два-три часа после того, как стемнело, отвезли их домой.

Еще до рассвета судью Тэчера и горсточку людей, помогавших ему в поисках, разыскали в пещере по тем длинным бечевкам, которыми они обвязались, отправляясь туда, и сообщили им великую новость.

Для Тома и Бекки не могли пройти даром три дня и три ночи блужданий в пещере и голода, и в этом они скоро убедились. Всю среду и весь четверг они пролежали в постели, и казалось, что с каждым часом они все больше устают и слабеют. Том в четверг начал понемногу вставать, в пятницу пошел бродить по городу и в субботу был почти здоров; но Бекки до самого воскресенья не выходила из комнаты, а выйдя, имела такой вид, будто перенесла изнурительную болезнь.

Том, узнав, что Гек лежит в постели, еще в пятницу отправился навестить больного, но его не пустили. То же случилось и в субботу, и в воскресенье. Потом его стали пускать каждый день, но при этом строго-настрого запретили рассказывать о приключениях в пещере и вообще касаться волнующих тем. Вдова Дуглас все время присутствовала при их разговорах и следила, чтобы Том не нарушил запрета. О событиях на Кардифской горе Том уже знал от своих домашних. Точно так же рассказали ему, что тело одного из бродяг найдено было в реке близ пароходной пристани: по всей вероятности, тот утонул, пытаясь спастись от погони.

Недели через две после освобождения из пещеры Том отправился навестить Гека, который за это время набрался уже достаточно сил и мог вести какие угодно разговоры без вреда для здоровья.

А у Тома было что порассказать Геку. Дом судьи Тэчера был по дороге, и мальчик зашел повидаться с Бекки. Судья и его знакомые втянули Тома в разговор, и кто-то в шутку спросил, не хочется ли ему еще раз побывать в пещере. Том ответил, что он не прочь хоть сейчас.

— Я нисколько не сомневаюсь, Том, что и кроме тебя найдется немало охотников пробраться в пещеру,— сказал судья,— но мы приняли меры. В этом подземелье уже никто никогда не заблудится.

— Почему?

К стр. 226

— Потому что я еще две недели назад распорядился обшить всю дверь листовым железом и запереть ее на три замка. А ключи у меня.

Том побелел как полотно.

— Что с тобой, мальчик?.. Эй, кто-нибудь! Стакан воды!

Принесли воду и прыснули Тому в лицо.

— Ну вот, теперь все прошло. Что же это было с тобой, Том?

— Ох, судья, там, в пещере, Индеец Джо!

Глава тридцать третья

ГИБЕЛЬ ИНДЕЙЦА ДЖО

В пять минут новость разнеслась по всему городку, и тотчас же около десятка лодок, нагруженных людьми, направилось к пещере Мак-Дугала, и вскоре за ними последовал и пароходик, битком набитый пассажирами. Том Сойер сидел в одной лодке с судьей Тэчером.

Как только открыли дверь, глазам прибывших представилось в смутном полумраке подземелья печальное зрелище. У самого входа лежал мертвый Индеец Джо, прижавшись лицом к дверной щели, как будто его тоскующий взор до последней минуты не мог оторваться от света и радости вольного мира. Том был взволнован, потому что по опыту знал, какие страдания должен был вытерпеть этот несчастный. В нем пробудилась жалость, но в то же время он испытывал огромное облегчение, так как с этой минуты почувствовал себя в безопасности; лишь теперь по-настоящему понял, каким тяжким бременем лежал у него на душе вечный страх с того дня, когда он обличал на суде этого свирепого убийцу.

Кривой нож Индейца Джо валялся тут же, сломанный пополам. Толстая нижняя перекладина двери была вся изрезана этим ножом, но скучный, тяжелый труд не мог привести ни к чему, так как снаружи скала образовывала порог, и нож был бессилен сладить с твердым камнем. Пострадал не камень, а нож. Но даже не будь этой каменной преграды, труд метиса все равно пропал бы даром, так как, если бы ему и посчастливилось как-нибудь вырезать перекладину, он не мог бы протиснуться под дверью — и он знал это. Он кромсал бревно лишь для того, чтобы чем-нибудь занять свой измученный ум. Обычно в расселинах стен неподалеку от входа всегда торчало с полдесятка сальных огарков, оставленных туристами; теперь не было ни одного. Узник отыскал их и съел. Он ухитрился поймать не-

сколько летучих мышей и тоже съел их, оставив одни когти. Несчастный погиб голодной смертью. Невдалеке медленно вырастал из земли сталагмит, образованный в течение веков крохотными каплями воды, которые падали с висевшего над ним сталактита. Узник отломал верхушку сталагмита и положил на него камень, в котором выдолбил ямку для собирания драгоценных капель, падавших на нее каждые три минуты с мрачной регулярностью маятника. В двадцать четыре часа набиралась таким образом десертная ложка. Эта капля падала, когда пирамиды были еще новыми зданиями; когда разрушали Трою; когда было положено основание Риму; когда распинали Христа; когда Вильгельм Завоеватель создавал Британскую империю; когда Колумб отправлялся в море; когда была еще животрепещущей новостью Лексингтонская битва[1]. Капля падает и теперь и будет падать, когда все события, о которых я сейчас говорил, потонут во мгле преданий и будут поглощены черной ночью забвения. Неужели все в мире имеет свою цель и свой смысл? Неужели эта капля терпеливо падала в течение пяти тысяч лет только для того, чтобы в свое время утолить жажду этой человеческой букашки? И есть ли у нее иная важная цель, которую ей предстоит осуществить в течение следующих десяти тысячелетий? Все это праздные вопросы. Много, много лет прошло с того времени, как злополучный метис выдолбил ямку в камне, но и до сих пор всякий турист, пришедший полюбоваться чудесами пещеры Мак-Дугала, дольше всего пялит глаза на э́тот печальный камень и на эти неторопливо падающие капли воды. Среди достопримечательностей пещеры «Чаша Индейца Джо» занимает первое место. Даже «Дворец Аладдина» не может соперничать с нею.

Индейца Джо похоронили невдалеке от входа в пещеру; на эти похороны съехался народ в лодках и фургонах из всех соседних городишек, из деревушек и ферм на семь миль в окружности. Люди привезли с собой детей, а также еду и выпивку, и говорили потом, что похороны метиса доставили им почти столько же удовольствия, сколько они получили бы, если бы им удалось посмотреть, как его вздернут на виселицу.

Похороны положили конец одному начинанию, которое с каждым днем все росло: собирались подать губернатору штата прошение, чтобы он помиловал Индейца Джо. Под прошением было множество подписей. По этому поводу состоялось изряд-

---

[1] Здесь перечисляются различные события древней и новой истории: падение Трои (XII век до н. э.), основание Рима (753 год до н. э.), открытие Америки Колумбом (1492 год) и т. д. Лексингтонская битва (под городом Лексингтоном в Америке) была первым боевым столкновением американцев с англичанами в войне за независимость (1775 год).

ное количество митингов, где произносились горячие речи и проливались обильные слезы. Был избран комитет безмозглых дам, которые должны были пойти к губернатору в глубоком трауре, разжалобить его своими рыданиями и умолять, чтобы он стал милосердным ослом и попрал ногами свой долг. Индеец Джо обвинялся в убийстве пяти жителей города, но что же из этого? Будь он самим сатаной, нашлось бы достаточное число слабовольных людишек, готовых подписаться под петицией о его помиловании и капнуть на нее одну слезу из своих многоводных запасов.

На другое утро после похорон Том увел Гека в укромное место, чтобы обсудить с ним одно очень важное дело. К этому времени Гек уже знал от валлийца и вдовы Дуглас все подробности о приключениях Тома. Но, по словам Тома, была одна вещь, которой они не сказали ему; о ней-то он и хотел завести разговор. Лицо Гека омрачилось.

— Я знаю, в чем дело,— сказал Гек.— Ты был в номере втором и не нашел там ничего... только виски. Мне никто не говорил, что ты ходил туда, но я сам догадался, чуть только услыхал про виски. Я сразу сообразил, что денег ты не достал, иначе ты нашел бы способ пробраться ко мне и сообщить эту новость. Кому-кому, а мне ты сказал бы. Том, я так и чувствовал, что нам не дастся в руки этот клад.

— Что ты, Гек! Это не я донес на хозяина таверны. Ты ведь знаешь, что в субботу, когда я уехал на пикник, таверна была открыта. Разве не помнишь? Ты должен был караулить около нее в ту ночь.

— Еще бы! Но знаешь, мне теперь кажется, что это было давно-давно, чуть ли не год назад. Это было в ту ночь, когда я шел по пятам Индейца Джо и выследил его до самого дома вдовы...

— Так это ты его выследил?

— Да. Только об этом ни слова! У него, наверно, остались товарищи. Очень мне нужно, чтобы они разозлились и в отместку наделали мне каких-нибудь пакостей! Ведь если б не я, он преспокойно удрал бы в Техас.

И Гек под строжайшим секретом рассказал все свои приключения. Том до сих пор слыхал только часть этих приключений — ту, которая касалась валлийца.

— Понимаешь,— закончил Гек, возвращаясь к главной теме разговора,— те, кто таскал виски из второго номера, вытащили оттуда и деньги. Во всяком случае, наше дело пропащее, Том.

— Гек, эти деньги никогда и не бывали во втором номере!

— Что? — Гек испытующим взглядом впился в лицо товарища.— Том, ты опять напал на след этих денег?

— Гек, они в пещере!

У Гека загорелись глаза:

— Повтори, что ты сказал, Том!

— Деньги в пещере!

— Том, скажи по-честному: ты серьезно говоришь или шутишь?

— Серьезно, Гек... Я никогда за всю свою жизнь не говорил так серьезно. Хочешь пойти со мной и помочь мне достать эти деньги?

— Еще бы! Конечно, пойду! То есть если мы можем пробраться туда по каким-нибудь меткам, а то как бы нам не заблудиться...

— Гек, мы смело можем пробраться туда, решительно ничем не рискуя.

— Вот здорово! Но почему ты думаешь, что деньги...

— Погоди, Гек, сам увидишь. Если мы не найдем денег, я тебе отдам свой барабан и все, что у меня есть. Ей-богу, отдам!

— Ладно, идет. Когда, ты говоришь, надо идти?

— Да хоть сейчас, если хочешь. У тебя силы хватит?

— А это далеко от входа? Я уже дня три на ногах, но больше мили мне никак не пройти, Том. Да-да, я чувствую: никак не пройти.

— Всякому другому пришлось бы идти миль пять, но я поведу тебя самым коротким путем, которого, кроме меня, никто не знает. Я свезу тебя в лодке, Гек, подвезу к самому входу... буду грести туда и обратно,— тебе и пальцем шевельнуть не придется.

— Едем сейчас, Том!

— Ладно! Нам нужно захватить хлеба и мяса, да трубки, да пару пустых мешков, да две-три бечевки от бумажного змея, да еще несколько этих новоизобретенных штучек, которые называются спичками. Сколько раз жалел, что их у меня не было там, в пещере!

Вскоре после полудня мальчики взяли взаймы у одного горожанина его маленький ялик, пользуясь тем, что горожанина не было дома, и сразу двинулись в путь. Миновав главный вход в пещеру и проехав еще несколько миль, Том сказал:

— Видишь тот крутой откос, что идет вниз от пещеры? Откос кажется гладким и ровным: ни домов, ни лесных складов, одни кусты, да и те похожи друг на дружку. Но вон там, где оползень, видишь, белеется? Это и есть моя примета. Ну, давай выходить!

Они вышли на берег.

— Вот отсюда, где мы стоим, Гек, ты мог бы без труда дотронуться удочкой до той дыры, через которую я вылез из пещеры. Попробуй-ка отыщи ее.

Гек обшарил все кругом и ничего не нашел. Том с гордостью вошел в самую чащу сумаха.

— Вот она! Полюбуйся-ка, Гек! Лучшая лазейка во всех здешних местах. Только смотри никому ни гугу! Уж сколько времени я собираюсь в разбойники, да не было этакой лазейки, а идти кружным путем такая скука! Теперь эта лазейка — наша, о ней никому ни слова. Мы в нее не пустим никого, только Джо Гарпера да Бена Роджерса,— потому что ведь надобно, чтобы у нас была шайка, а если вдвоем, так это уж какие разбойники! Шайка Тома Сойера — здорово звучит, Гек, не правда ли?

— Еще бы! А кого мы будем грабить?

— Да кого придется. Будем устраивать засады и нападать на проезжих — так всегда поступают разбойники.

— И будем убивать своих пленников?

— Нет, не всегда. Лучше держать их в пещере, пока не уплатят выкупа!

— А что это такое — выкуп?

— Деньги. Ты приказываешь пленнику собрать у своих друзей сколько может, и если в течение года друзья не дадут выкупа, тогда ты убиваешь его. Такое у разбойников правило. Но женщин нельзя убивать. Их просто запирают на замок, а убивать их нельзя. Женщины всегда красавицы и богачки, и при этом страшные трусихи. Ты берешь у них часы и все такое, но говорить надо с ними учтиво, сняв шляпу. Разбойники — самый вежливый народ на земле, это ты прочтешь в каждой книге. Ну, женщины через несколько дней непременно в тебя влюбляются. Посидят в пещере недельку-другую, а потом, смотришь, и перестали плакать, а потом ты уже не можешь от них отвязаться. Гонишь их прочь, они повертятся — и обратно. Так во всех книгах написано.

— Да ведь это чудесно, Том! Это, пожалуй, даже лучше, чем быть пиратом.

— Еще бы! Куда лучше! Ближе к дому, и в цирк недалеко, и вообще...

К этому времени все было готово, и мальчики влезли в пещеру. Том шел впереди. Они дошли до другого конца галереи, прикрепили там свои бечевки и двинулись дальше. Через несколько шагов они очутились у источника, и Том почувствовал, как холодная дрожь пробегает у него по всему телу. Он показал Геку остаток фитиля на кучке глины возле самой стены

и описал, как они с Бекки следили за угасающим пламенем.

Мало-помалу они понизили голос до шепота: тишина и тьма действовали на них угнетающе. Они продолжали свой путь, вскоре свернули в другой коридор и всё шли, пока не добрались до площадки, которая обрывалась пропастью. При свечах обнаружилось, что это вовсе не бездна, а крутой глинистый склон глубиной в двадцать — тридцать футов, не больше.

— Теперь я покажу тебе одну штуку, Гек,— шепнул Том.

Он поднял свечу повыше и сказал:

— Загляни-ка за угол, как можно дальше. Видишь, там... на большом камне... выведено копотью свечи.

— Том, так это же крест!

— Понимаешь теперь, где номер второй? П о д к р е с т о м — ага! Понял? Тут-то я и видел Индейца Джо со свечой в руке.

Гек долго глядел на таинственный знак, а потом сказал дрожащим голосом:

— Том, давай уйдем!

— Как! И оставим сокровище?

— Да... оставим. Дух Индейца Джо наверняка бродит где-нибудь тут, поблизости.

— Нет, Гек, нет! Если он и бродит, так в том месте, где Джо умер,— у входа в пещеру, в пяти милях отсюда.

— Нет, Том, дух Индейца Джо не там. Он как раз возле денег, деньги стережет. Уж я знаю обычаи духов, да и тебе они тоже известны.

Том начал опасаться, что Гек, пожалуй, прав, и смутный страх закрался к нему в сердце. Вдруг его осенило:

— Экие мы дураки с тобой оба! Ведь не станет же дух Индейца Джо бродить в тех местах, где крест!

Довод оказался убедительным и произвел большое впечатление.

— Верно, Том. Я и не подумал. Ты прав. Наше счастье, что тут крест. Спустимся же и попробуем найти сундучок.

Том полез первый и по пути высекал в глиняном обрыве неровные ступеньки. Гек следовал за ним. Из той пещеры, где стояла большая скала, выходило четыре галереи. Мальчики осмотрели три галереи и ничего не нашли. В той, что была поближе к основанию скалы, оказался глубокий тайник; там были постланы одеяла, валялись старая подтяжка, шкурка от окорока и дочиста обглоданные куриные кости. Но сундука там не было. Мальчики тщательно обшарили все, но ничего не нашли. Наконец Том сказал:

— Он говорил «п о д к р е с т о м». Это и есть под крестом. Не совсем, но довольно близко. Не может же сундук быть под самой скалой — ведь она вросла в землю.

Они снова принялись за поиски. Шарили долго и наконец, огорченные неудачей, в изнеможении опустились на землю. Гек ничего не мог придумать. Вдруг Том после долгого молчания сказал:

— Посмотри-ка, Гек. С одной стороны скалы земля закапана свечным салом и видны следы чьих-то ног, а с другой стороны чисто и гладко. Почему бы это так? Бьюсь об заклад, что деньги все же п о д скалой! Попробую там покопать.

— Это ты неплохо придумал! — с живостью подхватил Гек.

Том вытащил свой нож, «настоящий Барлоу»; не успел он прокопать и четырех дюймов, как наткнулся на что-то деревянное.

— Ого! Гек, ты слышишь?

Гек тоже стал усердно копать, выгребая глину руками. Вскоре показались какие-то доски, они были тотчас же отброшены прочь. Под ними открылась расселина, которая вела под скалу. Том заглянул внутрь и просунул свечку как можно дальше, но так и не увидел, где кончается эта нора. Он сказал, что пойдет поглядит. Согнувшись в три погибели, Том пролез сквозь узкое отверстие. Извилистый ход шел все глубже и глубже. Том пробирался впереди, Гек — за ним. Они свернули сперва вправо, потом влево. Том прошел еще один короткий поворот и вдруг воскликнул:

— Что это, Гек, смотри!

Это был тот самый сундучок, наполненный золотом. Стоял себе в уютной пещерке; тут же рядом мальчики увидели пустой бочонок из-под пороха, два ружья в кожаных чехлах, две-три пары старых мокасин, кожаный ремень и разную рухлядь, которая от сырости промокла насквозь.

— Наконец-то вот оно! — сказал Гек, запуская руку в груду потускневших монет. — Ну, Том, теперь мы с тобой богачи!

— Гек, я знал наверняка, что этот сундук будет наш. Просто не верится; но все же он в н а ш и х р у к а х. Однако не время болтать! Надо сейчас же унести эти деньги. Постой-ка — могу ли я поднять сундучок?

Сундучок весил фунтов пятьдесят. Том приподнял его, но нести не мог: очень тяжело и неудобно.

— Я так и думал,— сказал Том.— Помнишь, когда о н и подняли этот сундук там, в заколдованном доме, я видел, что им тяжело. Хорошо, что я не забыл прихватить с собой мешки.

Вскоре деньги были пересыпаны в мешки. Мальчики потащили их наверх к той скале, что была помечена крестом.

— Давай перенесем эти ружья и все остальное,— предложил Гек.

— Нет, Гек, оставим их там. Они будут очень кстати, когда мы начнем разбойничать. Мы там и будем держать эти вещи и там же будем устраивать оргии. Это удивительно подходящее местечко для оргий.

— А что это за оргии?

— Не знаю... но у разбойников всегда бывают оргии — значит, и нам придется устраивать оргии. Ну, идем же, Гек, мы и то здесь засиделись слишком долго. По-моему, час теперь поздний, да и проголодался я сильно. В лодке мы поедим и покурим.

Вскоре они вышли в заросли сумаха. Осторожно осмотревшись кругом, убедились, что на берегу никого нет, и вскоре уже сидели в своем ялике, уплетали еду и курили. Когда солнце стало склоняться к горизонту, они оттолкнулись от берега и

пустились в обратный путь. Том работал веслами, держась поближе к берегу все время, пока длились вечерние сумерки, и весело болтал с Геком. Вскоре после наступления темноты ялик причалил к берегу.

— Вот что, Гек,— сказал Том,— спрячем-ка деньги у вдовы Дуглас на чердаке ее дровяного сарая; утром я приду, мы их сосчитаем и поделим, а потом приищем для них безопасное местечко в лесу. Ты пока останься здесь и стереги, а я сбегаю за тележкой Бенни Тэйлора. Мигом вернусь.

Он исчез и вскоре вернулся с тележкой. Мальчики положили в нее два мешка, прикрыли их старым тряпьем и стали взбираться на гору, таща за собой свой груз. Добрели до домика валлийца и остановились отдохнуть. Только собрались они двинуться дальше, как на пороге появился хозяин:

— Эй, кто тут?

— Гек и Том Сойер.

— Отлично! Ступайте со мной, мальчуганы, мы вас давно поджидаем. Ну, марш вперед! Рысью! А я повезу тележку. Однако не мешало бы ей быть немного полегче. Что у вас тут? Кирпичи или железный лом?

— Железный лом.

— Я так и думал. Наши мальчишки готовы, как дурни, собирать, не жалея времени, всякую железную рухлядь, за которую им дадут в кузнице центов пять или шесть, а работать небось не желают, хотя бы им дали вдвое. Но так уж устроены люди! Ну, марш, торопитесь, не мешкайте!

Мальчишки захотели узнать, из-за чего им надо торопиться.

— Не скажу. Увидите, когда придем к миссис Дуглас.

Гек привык к несправедливым обвинениям и потому не без опаски сказал:

— Право же, мистер Джонс, мы ничего худого не сделали.

Валлиец расхохотался:

— Не знаю, Гек, не знаю, дружок! Насчет этого нам ничего не известно. Да ведь вы и вдова как будто друзья...

— Она всегда была добра ко мне, это верно.

— Ну вот видишь! Так чего ты боишься?

Гек, не отличавшийся быстротой соображения, не успел еще подыскать ответ, когда его вместе с Томом втолкнули в гостиную миссис Дуглас. Мистер Джонс оставил тележку за дверью и вошел вслед за ними.

Гостиная была ярко освещена, и в ней собрались все именитые жители города. Здесь были Тэчеры, Гарперы, Роджерсы, тетя Полли, Сид, Мери, священник, редактор местной газеты и еще множество народу, все разодетые по-праздничному. Вдова встретила мальчиков так ласково, как редко встречают гостей,

явившихся в такой грязной одежде: мальчики были закапаны свечным салом, измазаны глиной.

Тетя Полли вся побагровела от стыда, нахмурилась и погрозила Тому. Но никто не страдал и вполовину так сильно, как сами мальчики.

— Том еще не заходил домой,— пояснил мистер Джонс,— и я думал, что он не найдется, но потом столкнулся с ним и с Геком у самой моей двери и сейчас же привел их сюда.

— И отлично сделали,— сказала вдова.— Идите за мной, мальчики!

Она привела их в спальню.

— Вымойтесь и переоденьтесь,— сказала она.— Здесь два новых костюма, рубашки, носки — все, что требуется. Это, собственно, для Гека... Нет-нет, Гек, не благодари! Один куплен мистером Джонсом, другой купила я. Но они годятся вам обоим. Одевайтесь же, мы подождем. А как будете готовы, приходите вниз.

И она ушла.

Глава тридцать четвертая

ЗОЛОТОЙ ПОТОК

— Том,— сказал Гек,— можно удрать через это окно, если только найдется веревка. Окно невысоко от земли.

— Вздор! Чего нам удирать?

— Ну, знаешь, не привык я к такой компании. Это мне, ей-богу, не под силу. Не пойду я туда, Том!

— Пустяки, ничего не значит. А вот я так ни капельки не волнуюсь. И тебя не дам в обиду, будь спокоен.

Появился Сид.

— Том,— сказал он,— тетя весь день поджидала тебя. Мери приготовила тебе воскресный костюм; все беспокоились, куда ты пропал... Слушай, а откуда у вас на штанах свечное сало и глина?

— Мистер Сидди, советую вам не соваться в чужие дела... И что это они вздумали праздновать?

— Просто у вдовы сегодня гости, она ведь часто устраивает у себя вечеринки. Сегодня — в честь валлийца и его сыновей за то, что они в ту ночь спасли ее от смерти. И, знаешь, я могу рассказать тебе еще кое-что, если тебе интересно.

— Ну?

— Вот что: сегодня вечером старый мистер Джонс собирается всех удивить, но я подслушал его секрет, когда он говорил о нем тете, и думаю, что теперь это уже совсем не секрет. Все зна-

ют... вдова тоже... хоть и притворяется, будто не знает. Понятно, мистеру Джонсу надо было привести сюда Гека. Без Гека весь секрет провалился бы.

— Да в чем же секрет?

— А в том, что это Гек выследил грабителей до усадьбы вдовы. Мистер Джонс воображает, что он преподнесет всем необыкновенный сюрприз, а на деле ничего у него не получится.

Сид весело хихикнул.

— Сид, это ты разболтал?

— Не все ли равно кто? К т о - т о сказал — и кончено.

— Сид, в целом городе есть только один человек, способный на такую низость,— это ты! Будь ты на месте Гека, ты позорно улизнул бы с горы и даже не заикнулся бы про этих грабителей. Ты только и способен на подлости и терпеть не можешь, чтобы хвалили других за какое-нибудь хорошее дело. Вот тебе! Получай! А благодарности не нужно, как говорит вдова.— Том дал Сиду хорошую затрещину и выпроводил его пинками за дверь.— Теперь убирайся! И ступай наябедничай тете, если хочешь, чтобы завтра тебя вздули опять!

Через несколько минут гости вдовы уже сидели за столом и ужинали; для детей были накрыты маленькие столики, по обычаю тех мест и тех времен. Улучив подходящий момент, мистер Джонс произнес свою краткую речь. Он поблагодарил вдову за честь, оказанную ему и его сыновьям, но в то же время объяснил, что тут есть еще одно лицо, скромность которого...

И так далее, и так далее, и так далее. Мистер Джонс был опытным мастером театральных эффектов. Он с большим сценическим искусством раскрыл перед слушателями тайну участия Гека во всем этом деле, но интерес к рассказу мистера Джонса был уже сильно подорван, и удивление публики выразилось отнюдь не так шумно, как могло быть при других обстоятельствах. Тем не менее вдова очень удачно притворилась, будто она страшно удивлена, и осыпала Гека такими хвалами и такими изъявлениями своей благодарности, что несчастный почти позабыл о тех муках, которые доставлял ему новый костюм, ибо он испытывал теперь еще горше муки — оттого, что все глядели на него и хвалили его.

Вдова тут же объявила, что она решила взять Гека к себе в дом и дать ему приличное воспитание, а затем, когда у нее будут свободные деньги, она поможет ему начать какое-нибудь маленькое торговое дело.

Тут пришла очередь Тома. Он сказал:

— Гек в этом не нуждается. Гек и сам богатый человек.

Только соблюдение светских приличий помешало собравшимся встретить эту милую шутку дружным смехом, показы-

вающим, что они вполне оценили все остроумие Тома. Но и молчание вышло довольно неловким. Том поспешил нарушить его:

— У Гека есть деньги. Вы, может, не поверите, но их у него целая куча. Не смейтесь, пожалуйста, я вам сейчас покажу. Погодите минутку!

Том выбежал из комнаты. Все с недоумением и любопытством переглядывались и вопросительно смотрели на Гека, но тот молчал как убитый.

— Сид, что такое с Томом? — спросила тетя Полли.— Он... Нет, никогда не знаешь, чего ждать от этого мальчишки! И за всю свою жизнь...

Тетя Полли не докончила фразы, так как вошел Том, сгибаясь под тяжестью мешков. Он высыпал на стол кучу золотых монет и воскликнул:

— Вот! Что я вам говорил? Половина — Гека, другая — моя!

При виде такого множества золота у зрителей захватило дух. С минуту никто не мог выговорить ни слова, все глядели на стол и молчали. Затем в один голос потребовали объяснения. Том охотно согласился. Рассказ был длинный, но такой увлекательный! Все слушали как зачарованные, никто не смел вставить ни слова. Когда Том кончил, мистер Джонс сказал:

— А я-то воображал, что приготовил для вас хороший сюрприз! Но не могу не признать, что по сравнению с этим мой сюрприз — жалкий пустяк.

Деньги сосчитали. Оказалось, что их немногим больше двенадцати тысяч долларов. Такой суммы зараз не видел никто из присутствующих, хотя тут было немало гостей, имущество которых стоило гораздо дороже.

Глава тридцать пятая

БЛАГОВОСПИТАННЫЙ ГЕК ВСТУПАЕТ В РАЗБОЙНИЧЬЮ ШАЙКУ

Читатель без труда поймет, что неожиданное богатство, доставшееся Тому и Гёку, вызвало большой переполох в убогом городишке Санкт-Петербурге. Такая громадная сумма, да еще золотом,— это было похоже на чудо. О находке столько толковали, на нее глядели с такой жадностью и так громко восхищались ею, что многие граждане прямо-таки спятили от пережитых потрясений. В Санкт-Петербурге и окрестных городишках каж-

дый дом с привидениями был разобран по бревнышку, доска за доской. В каждом таком доме разворотили фундамент, отыскивая зарытые клады,— и не мальчики, а взрослые мужчины, люди степенные, совсем не мечтатели. Где бы ни появились Том с Геком, за ними ухаживали, ими восхищались, на них таращили глаза, как на диво. Мальчики были не в силах припомнить, чтобы когда-нибудь в прежнее время их словам придавали хоть малейшее значение, а теперь всякое их словечко подхватывалось и повторялось на все лады, как премудрость. В каждом их поступке видели что-то замечательное. Они как будто совсем потеряли способность действовать и говорить, как обыкновенные мальчики. Люди стали рыться в их прошлой жизни и обнаружили, что они обладают талантами, ставящими их выше заурядных детей. Местная газетка напечатала их биографии.

Вдова Дуглас положила деньги Гека в банк из шести процентов годовых, а судья Тэчер, по просьбе тети Полли, поступил точно так же с деньгами Тома. Теперь у каждого мальчика был огромный доход: по доллару каждый день и даже в воскресенье полдоллара — ровно столько, сколько получал священник, вернее — сколько ему было обещано, потому что на самом деле ему никогда не удавалось собрать эту сумму со своих прихожан. В то доброе старое время стол и квартира для мальчика стоили всего лишь доллар с четвертью за целую неделю, включая сюда расходы на ученье, на одежду, на стирку и прочее.

Судья Тэчер проникся большим уважением к Тому. Он говорил, что обыкновенному мальчику никогда не удалось бы вывести его дочь из пещеры.

Когда Бекки по секрету рассказала отцу, как Том спас ее от розги, приняв на себя ее вину, судья был заметно тронут. Когда же она стала просить, чтобы отец не судил Тома строго за ужасную ложь, благодаря которой розга досталась ему, а не ей, судья в порыве восторга объявил, что то была самоотверженная, благородная, великодушная ложь — ложь, которая достойна того, чтобы высоко поднять голову и шагать плечом к плечу с прославленной Правдой Джорджа Вашингтона — той Правдой, которую он сказал про топор[1]. Бекки тогда же подумала, что никогда еще отец не был таким величавым и важным, как в ту минуту, когда, шагая по комнате, он топнул ногой и произ-

---

Джордж Вашингтон (1732—1799) — первый президент Соединенных Штатов Америки. Во всех американских школьных книгах он изображается как один из самых правдивых людей на земле. Существует легендарный рассказ, будто когда он шестилетним ребенком порезал топориком кору одного из вишневых деревьев в саду своего строгого отца, то, не боясь наказания, сам признался в своей вине.

нес эти чудесные слова. Она сейчас же побежала к Тому и рассказала ему все.

Судья Тэчер утверждал, что из Тома со временем выйдет либо великий полководец, либо великий юрист. Он говорил, что похлопочет о том, чтобы мальчика приняли в Национальную военную академию; затем пусть он прослушает курс юридических наук в лучшем учебном заведении страны и таким образом подготовится к любой из этих профессий, а быть может, к обеим сразу.

Богатство, доставшееся Геку Финну, и покровительство вдовы Дуглас ввели Гека в светское общество — вернее, втянули туда, втиснули насильно, и Гек невыносимо страдал. Слуги вдовы умывали его, чистили ему платье, причесывали его гребнем и щеткой, каждую ночь укладывали его на отвратительно чистые простыни, где не было ни единого грязного пятнышка, которое он мог бы прижать к своему сердцу, как лучшего друга. Ему приходилось есть при помощи ножа и вилки; приходилось пользоваться салфетками, тарелками, чашками; приходилось учиться по книжке; приходилось посещать церковь; приходилось разговаривать так благопристойно и чинно, что слова стали казаться ему очень невкусными; куда бы он ни повернулся, оковы и барьеры цивилизации держали его в плену. Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам.

Три недели он мужественно терпел эти муки, но наконец не выдержал и в один прекрасный день исчез. Миссис Дуглас в великой тревоге двое суток искала его повсюду. Его искали во всех закоулках, обшарили реку, надеясь выудить его мертвое тело. Наконец на третьи сутки рано утром Тому Сойеру пришла мудрая мысль обследовать пустые бочки за покинутой бойней, и в одной из них он нашел беглеца. Гек только что проснулся, позавтракал объедками, которые ему удалось где-то подцепить, и теперь блаженствовал с трубкой в зубах. Он был немыт, нечесан и одет в свое прежнее ветхое рубище, которое делало его таким живописным в те дни, когда он был еще свободен и счастлив.

Том вытащил его из бочки, рассказал ему, сколько причинил он хлопот, и потребовал, чтобы он воротился домой. Лицо Гека сразу утратило выражение спокойного счастья и сделалось очень печальным.

— Брось этот разговор! — сказал он.— Ведь я пробовал, да ничего не выходит! Не для меня это все... Не привык я. Вдова добрая, обращается со мной хорошо, но не вынести мне этих порядков! Изволь каждое утро вставать в один и тот же час; хочешь не хочешь, ступай умываться; потом тебе зверски царапают голову гребнем; она не позволяет мне спать в дровяном сарае. А эта проклятая одёжа! Она меня душит, Том. Как будто и воздух сквозь нее не проходит, и такая она — черт бы ее побрал! — франтовская: ни сесть, ни лечь, ни на земле повалять-ся. А с погребов я не скатывался вот уже целую вечность. Потом иди в церковь, сиди там и хлопай ушами — ненавижу нудные проповеди! — даже мух нельзя в церкви ловить, даже табаку нельзя пожевать. И все воскресенье носи башмаки, а снимать их не смей. Вдова и ест по звонку, и ложится в постель по звонку, и встает по звонку... И такие ужасные порядки во всем — никакому человеку не вытерпеть.

— Да ведь все так живут, Гек.

— Ах, Том, какое мне до этого дело! Я — не все, мне это невтерпеж. Связан по рукам и ногам — прямо смерть. А еда там дается мне слишком легко — даже нет интереса набивать ею брюхо. А захочется рыбку поудить — проси позволения; поплавать — проси позволения. Кажется, скоро и дохну́ть без спросу нельзя будет. Потом изволь выражаться так вежливо, что и говорить пропадает охота. Я и так уж убегаю каждый день на чердак — выругаться хорошенько, чтобы отвести душу,— не то я бы помер, ей-богу! Вдова не позволяет курить, не позволяет кричать, нельзя ни зевать, ни потягиваться, и почесываться не смей...— Тут он выкрикнул с особой обидой и болью: — И все время она молится, Том! Молится — чтоб ей пусто бы-

ло! — с утра до вечера. Никогда не видал такой женщины!.. Я не мог не удрать от нее... да, я иначе не мог. К тому же скоро откроется школа, мне пришлось бы ходить и туда, а этого я прямо не выдержу! Оказывается, Том, быть богатым вовсе не такое веселое дело. Богатство — тоска и забота, тоска и забота... Только и думаешь, как бы скорей околеть. А вот эта рвань — она по мне, и эта бочка — по мне, и я с ними век не расстанусь. Том, ни за что не стряслась бы надо мною такая беда, если б не эти проклятые деньги! И возьми ты мою долю себе и пользуйся ею как хочешь, а мне выдавай центов по десять — и то не часто, потому что я терпеть не могу даровщинки. Только то и приятно, что трудно достать. И поди попроси хорошенько вдову, чтобы она оставила меня в покое.

— Гек, ты же знаешь, что денег твоих я не возьму... Это было бы нечестно... И к тому же, если ты еще немного потерпишь, вот увидишь сам — тебе эта жизнь понравится.

— Понравится? Понравится мне сидеть на раскаленной плите, если я посижу на ней подольше?.. Нет, Том, не хочу быть богатым, не желаю жить в гнусных и душных домах! Я люблю этот лес, эту реку, эти бочки — от них я никуда не уйду. Ведь —

черт бы его побрал — как раз теперь, когда у нас есть пещера, и ружья, и все, что надо для того, чтоб разбойничать, нужно же было подвернуться этим дурацким деньгам и все испортить!

Том поспешил воспользоваться удобным случаем:

— Послушай-ка, Гек, никакое богатство не помешает мне уйти в разбойники.

— Да что ты говоришь! Ей-богу, правда?

— Такая же правда, как то, что я сижу здесь. Но тебя нельзя будет принять в шайку, Гек, если ты останешься таким оборванцем.

Радость Гека мгновенно угасла:

— Нельзя будет принять меня в шайку разбойников? Принял же ты меня в шайку пиратов!

— Да, но то совсем другое дело. Разбойники — не чета пиратам. Почти во всех странах разбойники принадлежат к самому высшему обществу — всё больше графы да герцоги.

— Но послушай, Том! Ты всегда был мне другом: ты примешь меня в шайку, ведь правда, Том? Примешь? Правда?

— Гек, я-то, конечно, принял бы, но что скажут люди? Они скажут: «Шайка Тома Сойера! Брр! Шайка, подумаешь! Какие-то оборванцы!» Оборванец — это они будут говорить про тебя. Тебе небось это будет не очень приятно — и мне, конечно, тоже.

Гек с минуту молчал: в душе у него происходила борьба.

— Хорошо,— сказал он наконец.— Я снова вернусь к вдове Дуглас и постараюсь прожить у нее... ну, хоть месяц. Авось и привыкну. Только ты уж возьми меня в шайку, Том!

— Ладно, Гек, по рукам! Пойдем, старина, и я упрошу вдову, чтобы она не слишком прижимала тебя.

— Правда упросишь, Том? Правда?.. Вот хорошо! Если она не будет притеснять меня в главном, я буду курить потихоньку и ругаться тоже потихоньку и как-нибудь перетерплю... Когда же ты соберешь свою шайку и начнешь заниматься разбоем?

— Скоро. Мы, может быть, сегодня же вечером соберемся все вместе и устроим посвящение.

— Устроим что?

— Посвящение.

— Это еще что за штука?

— Это значит, что мы все поклянемся стоять друг за дружку и никогда не выдавать секретов шайки, даже если нас будут резать на куски; что мы убьем всякого, кто обидит кого-нибудь из нашей шайки, и не только его, но и всех его родичей.

— Вот это здорово, Том!

— Еще бы не здорово! А клятву нужно приносить непременно в полночь, в самом глухом, в самом страшном месте, какое только можно отыскать. Лучше всего в доме, где водится нечистая сила. Впрочем, нынче все такие дома разворочены...

— Это не беда, лишь бы в полночь.

— Да. А клятву мы будем приносить на гробу и расписываться кровью.

— Вот это дело! В миллион раз шикарнее, чем быть пиратом. Уж так и быть, Том, я буду жить у вдовы, хоть бы мне пришлось околеть! А если сделаюсь знаменитым разбойником и все заговорят обо мне, она сама будет гордиться и чваниться, что в свое время пригрела меня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наша летопись кончена. Так как в ней изложена биография м а л ь ч и к а, она должна остановиться именно здесь; если бы она двинулась дальше, она превратилась бы в биографию м у ж ч и н ы. Когда пишешь роман о взрослых, точно знаешь, где остановиться,— на свадьбе; но когда пишешь о детях, приходится ставить последнюю точку там, где тебе удобнее.

Большинство героев этой книги здравствует и посейчас; они преуспевают и счастливы. Может быть, когда-нибудь после я сочту небесполезным снова заняться историей изображенных в этой книге детей и погляжу, какие вышли из них мужчины и женщины; поэтому я поступил бы весьма неразумно, если бы сообщил вам теперь о их нынешней жизни.

Приключения Гекльберри Финна

Перевод

Н. ДАРУЗЕС

Рисунки

Г. ФИТИНГОФА

Глава первая

МОИСЕЙ В ТРОСТНИКАХ

Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего. Я еще не видал таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Полли и вдовы, да разве еще Мери. Про тетю Полли — это Тому Сойеру она тетя,— про Мери и вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке, и там почти все правда, только кое-где приврано,— я уже про это говорил.

А кончается книжка вот чем: мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. Мы получили по шесть тысяч долларов на брата — и все золотом. Такая была

куча деньжищ — смотреть страшно! Ну, судья Тэчер все это взял и положил в банк, и каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли, и так круглый год — не знаю, кто может такую уйму истратить! Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать, только мне у нее в доме жилось неважно: уж очень она донимала всякими порядками и приличиями — просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял и смылся. Надел опять свои старые лохмотья, залез в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя прилично. Ну, я и вернулся.

Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами; но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Опять она одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел и целый день ходил как связанный. И опять все пошло по-старому. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать — непременно приходи вовремя. А сядешь за стол — никак нельзя сразу приниматься за еду: надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не поворчит немножко над едой, хотя еда была, в общем, неплохая; одно только плохо — что каждая вещь сварена сама по себе. (То ли дело куча всяких огрызков и объедков в помойном ведре! Бывало, перемешаешь их хорошенько — они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче.)

В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея[1] в тростниках, а я просто разрывался от любопытства — до того хотелось узнать, чем дело кончится; как вдруг она проговорилась, что этот самый Моисей давным-давно помер, и мне сразу стало неинтересно — плевать я хотел на покойников.

Скоро мне захотелось курить, и я спросил разрешения у вдовы. Но она не позволила: сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая и мне надо от нее отучаться. Бывают же такие люди! Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже: носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня — да и вообще кому он нужен, если давным-давно помер, сами понимаете,— а меня ругает за то, что я курю, а ведь в этом хоть какой-нибудь смысл есть. А сама небось нюхает табак — это ничего, ей-то можно.

---

[1] Моисей — по библейскому преданию, один из древнейших предводителей еврейского народа, которого ребенком нашли в тростниках.

Ее сестра, мисс Уотсон, старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась, но в конце концов вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучища смертная, и я все вертелся на стуле. А мисс Уотсон все приставала: «Не клади ноги на стул, Гекльберри»; «Не скрипи так, Гекльберри, сиди смирно»; «Не зевай и не потягивайся, Гекльберри, веди себя как следует!» Потом она стала проповедовать насчет преисподней, а я возьми да и скажи, что хорошо бы туда попасть. Она просто взбеленилась, а я ничего плохого и не думал, лишь бы удрать куда-нибудь — до того мне у них надоело, а куда — все равно. Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама нипочем бы так не сказала: она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадет, и решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал — все равно никакого толку не будет, одни неприятности.

Тут она пустилась рассказывать про рай — и пошла, и пошла. Будто бы делать там ничего не надо — знай прогуливайся целый день с арфой да распевай, и так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить я этого опять-таки не стал. Спросил только, как она думает: попадет ли туда Том Сойер? А она говорит: «Нет, ни в коем случае!» Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе.

Мисс Уотсон все ко мне придиралась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться, а потом все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком, поставил его на стол, сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселом, только ничего не вышло: такая напала тоска, хоть помирай. Светили звезды, и листья в лесу шелестели так печально; где-то далеко ухал филин — значит, кто-то помер; слышно было, как кричит козодой и воет собака — значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то, и я никак не мог понять, о чем он шепчет, и от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того как стонет привидение, когда силится рассказать, что у него на сердце, и не может добиться, чтобы его поняли; вот ему и не лежится спокойно в могиле, оно скитается по ночам и стонет. Мне стало так страшно и тоскливо, так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной... А тут еще паук опустился ко мне на плечо. Я его сбил щелчком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь съежился. Я и сам знал, что это не к добру, хуже не бывает приметы, и здорово перепугался,

просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках и каждый раз при этом крестился, потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьм, и все-таки не успокоился. Это помогает, когда найдешь подкову и, вместо того чтобы прибить над дверью, потеряешь ее; а только я не слыхивал, чтоб таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука.

Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку; в доме теперь было тихо, как в гробу, и, значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени; я услышал, как далеко в городе начали бить часы: бум! бум! — пробило двенадцать, а после опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышал, как в темноте под деревьями хрустнула ветка — что-то там двигалось. Я сидел не шевелясь и прислушивался. И вдруг кто-то мяукнул еле слышно: «Мя-у! Мя-у!» Вот здорово! Я тоже мяукнул как можно тише: «Мяу! Мяу!», а потом погасил свечку и вылез в окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. Гляжу — так и есть: Том Сойер меня дожидается.

Глава вторая

СТРАШНАЯ КЛЯТВА НАШЕЙ ШАЙКИ

Мы пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветки не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы присели и затихли. Большой негр мисс Уотсон — его звали Джим — сидел на пороге кухни: мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла свечка. Он вскочил и около минуты прислушивался, вытянув шею; а потом и говорит:

— Кто там?

Он еще послушал, потом подошел на цыпочках и остановился как раз между нами: можно было до него дотронуться пальцем. Ну, должно быть, времени прошло порядочно, и ничего не было слышно, а мы все были так близко друг от друга. И вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке, а почесать его я боялся; потом зачесалось ухо, потом спина, как раз между лопатками. Думаю, если не почешусь — сейчас помру. Я это сколько раз потом замечал: если ты где-нибудь в гостях, или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь — вообще когда никак нельзя почесаться, непременно зачешется во всех местах сразу.

Тут Джим и говорит:

— Эй, кто это? Где же вы? Ведь я все слышал, лопни мои глаза! Ладно, я знаю, что мне делать: сяду и буду сидеть, пока опять что-нибудь не услышу.

И он уселся на землю, как раз между мной и Томом, прислонился спиной к дереву и вытянул ноги так, что одной ногой чуть не задел мою. Тут у меня зачесался нос. Так зачесался, что слезы выступили на глазах, а почесать я боялся. Потом начало чесаться в носу. Потом зачесалось под носом. Я просто не знал, как усидеть на месте. Такая напасть продолжалась минут шесть или семь, а мне показалось, что много дольше. Теперь у меня чесалось в одиннадцати местах разом. Я решил, что больше минуты нипочем не вытерплю, но кое-как сдержался: думаю, уж постараюсь. И тут как раз Джим начал громко дышать, потом захрапел, и у меня сразу все прошло.

Том подал мне знак — еле слышно причмокнул губами,— и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли шагов на десять, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джима к дереву. А я говорю: «Лучше не надо. Он проснется и поднимет шум, и тогда увидят, что меня нет на месте». Том сказал, что у него маловато свечей, надо бы пробраться в кухню и взять побольше. Я его останавливал, говорил, что Джим может проснуться и войти в кухню. Но Тому хотелось рискнуть; мы забрались туда, взяли три свечки, и Том оставил на столе пять центов в уплату. Потом мы с ним вышли; мне не терпелось поскорее убраться подальше, а Тому вздумалось подползти на четвереньках к Джиму и сыграть с ним какую-нибудь шутку. Я его дожидался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго — так было кругом пусто и тихо.

Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на самой верхушке горы по ту сторону дома. Том сказал, что снял шляпу с Джима и повесил ее на сучок как раз над его головой, а Джим немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джим рассказывал, будто ведьмы околдовали его, усыпили и катались на нем по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шляпу на сучок, чтобы сразу видно было, чье это дело. А во второй раз Джим рассказывал, будто они доехали на нем до Нового Орлеана; потом у него с каждым разом получалось все дальше и дальше, так что в конце концов он стал говорить, будто ведьмы объехали на нем вокруг света, замучили его чуть не до смерти, и спина у него была вся стерта, как под седлом. Джим так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Негры приходили за много миль послушать, как Джим будет про это рассказывать, и он стал поль-

зоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повстречав Джима, чужие негры останавливались, разинув рты, и глядели на него, словно на какое-нибудь чудо. Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм; но как только кто-нибудь заведет об этом речь, Джим сейчас же вмешается и скажет: «Гм! Ну, что ты можешь знать про ведьм!»

И тот негр сразу притихнет и замолчит. Пятицентовую монетку Джим надел на веревочку и всегда носил на шее; он рассказывал, будто этот талисман[1] ему подарил сам черт и сказал, что им можно лечить от всех болезней и вызывать ведьм когда вздумается, стоит только пошептать над монеткой; но Джим никогда не рассказывал, что он такое шепчет. Негры собирались со всей округи и отдавали Джиму все, сколько у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку; однако они ни за что на свете не дотронулись бы до нее, потому что монета побывала в руках у черта. Джим стал теперь никуда не годный работник — уж очень возгордился, что видел черта и возил на себе ведьм по всему свету.

Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз, на городок, там светилось всего три или четыре огонька — верно, в тех домах, где лежали больные; вверху над нами ярко сияли звезды, а ниже города текла река в целую милю шириной, так величественно и плавно. Мы спустились с горы, разыскали Джо Гарпера с Беном Роджерсом и еще двух или трех мальчиков — они прятались на старой кожевне. Мы отвязали лодку и спустились по реке мили на две с половиной, до большого оползня на гористой стороне, и там высадились на берег.

Когда мы подошли к кустам, Том Сойер заставил всех нас поклясться, что мы не выдадим тайны, а потом показал ход в пещеру — там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечки и поползли на четвереньках в проход. Проползли мы, должно быть, шагов двести, и тут открылась пещера. Том поискал по проходам и скоро нырнул в одном месте под стенку — вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, всю запотевшую и холодную, и тут остановились.

Том сказал:

— Ну вот, мы соберем шайку разбойников и назовем ее «Шайка Тома Сойера». Кто захочет с нами разбойничать,

---

[1] Талисман — какой-нибудь предмет, по суеверным понятиям приносящий счастье и удачу.

тот должен будет принести клятву и подписаться своей кровью.

Все согласились. Тогда Том достал листок бумаги, где у него была написана клятва, и прочел ее. Она требовала, чтобы все мальчики дружно стояли за шайку и никому не выдавали ее тайн; а если кто-нибудь обидит мальчика из нашей шайки, то мальчик, которого назначат убить обидчика и всех его родных, не должен ни есть, ни спать, пока не убьет их всех и не вырежет у них на груди крест — знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто принадлежит к шайке; а если кто-нибудь поставит, то шайка подаст на него в суд; если же он не послушается и опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а потом сожгут труп и развеют пепел по ветру; кровью вычеркнут его имя из списка и больше о нем не будут поминать, а проклянут и забудут навсегда.

Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он ее придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов — у всякой порядочной шайки есть такая клятва.

Некоторые говорили, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том нашел, что это недурная мысль, взял и вписал ее карандашиком.

Тут Бен Роджерс и говорит:

— А вот у Гека Финна никаких родных нет; как с ним быть?

— Ну и что ж, ведь отец у него есть? — говорит Том Сойер.

— Да отец-то есть, только где ты его теперь разыщешь? Он, бывало, все валялся пьяный на старой кожевне, вместе со свиньями, но вот уже больше года его не видно в наших краях.

Посоветовались они между собой и совсем было собрались меня вычеркнуть; говорят, у каждого мальчика должны быть родные или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Ну, и никто ничего не мог придумать, все стали в тупик и молчали. Я сперва чуть не заплакал, а потом вдруг придумал: взял да и предложил им мисс Уотсон — пускай ее убивают. Все согласились:

— Ну что ж, она годится. Теперь все в порядке. Гека принять можно.

Тут все стали колоть себе пальцы булавкой и расписываться кровью, и я тоже поставил на бумаге свой значок.

— Ну, а чем же эта шайка будет заниматься? — спрашивает Бен Роджерс.

— Ничем, только грабежами и убийствами.

— А что же мы будем грабить? Дома, или скот угонять, или...

— Глупости какие! Это не грабеж — забирать скот и тому подобное, это кража,— говорит Том Сойер.— Мы не воры. Воровать — это совсем не шикарно. Мы разбойники. Наденем маски и будем останавливать дилижансы и кареты на большой дороге, убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги.

— И обязательно надо их убивать?

— Ну еще бы! Самое лучшее. Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать — кроме тех, кого приведем сюда в пещеру и будем держать, пока не дадут выкупа.

— Выкупа? А что это такое?

— Не знаю. Только так уж полагается. Я про это читал в книжках, и нам, конечно, тоже придется так делать.

— Да как же мы сможем, когда не знаем, что это такое?

— Как-нибудь уж придется. Говорят тебе, во всех книжках так,— не слышишь, что ли? Ты что же, хочешь делать все по-своему, не так, как в книжках, чтобы мы совсем запутались?

— Ну да, тебе хорошо говорить, Том Сойер, а как же они станут выкупаться — чтоб им пусто было! — если мы не знаем, как это делается? А ты сам как думаешь, что это такое?

— Уж не знаю. Сказано: надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут.

— Вот это еще на что-нибудь похоже! Это нам подойдет. Чего же ты раньше не сказал? Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти. И возни, наверно, с ними не оберешься — корми их да гляди, чтобы не удрали.

— Что это ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут удрать, когда при них будет часовой и застрелит их, как только они пошевельнутся?

— Часовой? Вот это ловко! Значит, кому-нибудь придется сидеть и всю ночь не спать только из-за того, чтобы их стеречь? По-моему, это глупо. А почему же нельзя взять дубину да и выкупить их сразу дубиной по башке?

— Потому что в книгах этого нет — по этому по самому. Вот что, Бен Роджерс: хочешь ты делать дело как следует или не хочешь? Ты что же, думаешь, люди, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему полагается? Учить их ты собираешься, что ли? И не мечтай! Нет, сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам.

— Ну и ладно. Мне-то что! Я только говорю: по-дурацки получается все-таки... Слушай, а женщин мы тоже будем убивать?

— Эх, Бен Роджерс, если бы я был такой неуч, как ты, я бы помалкивал! Убивать женщин! С какой же это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Приводишь их в пещеру и обращаешься с ними как можно вежливей, а там они в тебя мало-помалу влюбляются и уж сами больше не хотят домой.

— Ну, если так, тогда я согласен, только не вижу в этом ничего хорошего. Скоро у нас в пещере пройти нельзя будет: столько набьется женщин и всякого народу, который дожидается выкупа, что самим разбойникам деваться будет некуда. Ладно, валяй дальше, я ничего не говорю!

Маленький Томми Барнс успел уже заснуть и, когда его разбудили, испугался, заплакал, стал проситься домой к маме и сказал, что больше не хочет быть разбойником.

Все подняли его на смех и стали дразнить плаксой, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдет и выдаст все их тайны. Но Том дал ему пять центов, чтобы он молчал, и сказал, что мы все сейчас пойдем домой, а на будущей неделе соберемся и тогда кого-нибудь ограбим и убьем.

Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и нельзя ли начать с будущего воскресенья, но все мальчики решили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что об этом не может быть и речи. Уговорились встретиться и назначить день как можно скорее, потом мы выбрали Тома Сойера атаманом шайки, а Джо Гарпера — помощником и отправились домой.

Я влез на крышу сарая, а оттуда — в окно, уже перед самым рассветом. Мое новое платье было все закапано свечным салом и вымазано в глине, и сам я устал как собака.

Глава третья

ЗАСАДА НА АРАБОВ

Ну и пробрала же меня утром старая мисс Уотсон за испачканную одежду! Зато вдова совсем не ругалась, только отчистила свечное сало и глину и такая была печальная, что я решил вести себя получше, если смогу. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала молиться, только ничего из этого не вышло. Она велела мне молиться каждый день — и чего я попрошу, то даст-

ся мне. Но не тут-то было! Я пробовал. Один раз вымолил себе удочку, только без крючков. А на что она мне сдалась без крючков-то! Раза три или четыре я пробовал вымолить себе и крючки, но почему-то ничего не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Уотсон помолиться вместо меня, а она обозвала меня дураком и даже не сказала за что. Так я и не понял, в чем дело.

Один раз я долго сидел в лесу, все думал про это. Думаю, если человек может вымолить все, что угодно, так почему же дьякон Уинн не вымолил обратно свои деньги, когда проторговался на свинине? Почему вдова не может вымолить серебряную табакерку, которую у нее украли? Почему мисс Уотсон не помолится, чтоб ей потолстеть? Нет, говорю себе, тут что-то не так. Пошел и спросил у вдовы, а она говорит: можно молиться только о «духовных благах». Этого я никак не мог понять; ну, она мне растолковала: это значит — я должен помогать другим, делать для них все, что могу, заботиться о них постоянно и совсем не думать о себе. И о мисс Уотсон тоже заботиться — так я понял.

Я пошел в лес и долго раскидывал умом и так и этак и все не мог понять, какая мне от этого польза,— разве только другим людям; и решил в конце концов не ломать над этим голову — может, как-нибудь и так обойдется. Иной раз, бывало, вдова сама возьмется за меня и начнет рассказывать о промысле божием, да так занятно, что прямо слюнки текут; а на другой день, глядишь, мисс Уотсон опять твердит свое и опять сбивает меня с толку. Я так и понял, что есть два бога: с богом вдовы несчастный грешник еще как-нибудь поладит, а уж если попадется в лапы богу мисс Уотсон, то спуску не жди. Все это я обдумал и решил, что лучше пойду под начало к богу вдовы, если я ему гожусь, хотя никак не мог взять в толк, на что я ему нужен и какая от меня прибыль, когда я ровно ничего не знаю, и веду себя неважно, и роду самого простого.

Моего отца у нас в городе не видали уже больше года, и я совсем успокоился; я его и видеть-то больше не хотел. Трезвый, он, бывало, все меня колотил, попадись только ему под руку, хотя я по большей части удирал от него в лес, как только увижу, что он околачивается поблизости. Так вот, как раз в это самое время его выловили из реки, милях в двенадцати выше города,— я слыхал это от людей. Во всяком случае, решили, что это он и есть: утопленник был ростом с отца, и в лохмотьях, и волосы длинные-предлинные; все это очень на отца похоже, только лица никак нельзя было разобрать: покойник так долго пробыл в воде, что оно и на лицо не очень-то было похоже.

Говорят, он плыл по реке лицом вверх. Его выловили из воды и закопали на берегу. Но я недолго радовался, потому что мне вспомнилась одна штука. Я отлично знал, что мужчина-утопленник должен плыть по реке не вверх лицом, а вниз. Вот потому-то я и догадался, что это был вовсе не отец, а какая-нибудь утопленница в мужской одежде. И опять я стал беспокоиться. Все ждал, что старик вот-вот заявится, и мне вовсе этого не хотелось.

Почти целый месяц мы играли в разбойников, а потом я бросил. И все мальчики тоже. Никого мы не ограбили и не убили — так только, дурака валяли. Выбегали из лесу и бросались на погонщиков свиней или на женщин, которые везли на рынок зелень и овощи, но никогда никого не трогали. Том Сойер называл свиней «слитками», а репу и зелень — «драгоценностями». И, вернувшись в пещеру, мы хвастались тем, что́ сделали и сколько человек убили и ранили. Но я не видел, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горящей палкой, которую он называл «пароль» (знак для всей шайки собираться вместе), а потом сказал нам, что он получил от своих лазутчиков тайное сообщение, будто завтра около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов, с двумя сотнями слонов, шестью сотнями верблюдов и тысячей вьючных мулов, нагруженных алмазами, а охраняют их всего-навсего четыреста солдат, так что мы устроим засаду, перебьем их всех и захватим добычу. Он велел нам наточить мечи, вычистить ружья и быть всем наготове. Он даже на воз с брюквой не мог напасть без того, чтобы не наточить мечи и не начистить ружья, хотя какой толк их точить, когда это простые палки и ручки от щеток — сколько ни точи, ни на волос лучше не будут. Мне как-то не верилось, что мы можем побить такую массу испанцев и арабов, хотелось только поглядеть на верблюдов и слонов; поэтому на другой день, в субботу, я был тут как тут и сидел вместе с другими в засаде; и как только дали сигнал, мы выскочили из кустов и скатились с горы. Но никаких испанцев и арабов там не было; верблюдов и слонов — тоже. Оказалось, что это всего-навсего экскурсия воскресно́й школы, да и то один первый класс.

Мы на них набросились и разогнали ребят по всей долине. Но только никакой добычи нам не досталось, кроме пряников и варенья, да еще Бен Роджерс подобрал тряпичную куклу, а Джо Гарпер — молитвенник и душеспасительную книжку; а потом за нами погналась учительница, и мы все это побросали — и бежать. Никаких алмазов я не видел, так и сказал Тому Сойеру. А он уверял, что они все-таки были там: горы

алмазов, и арабы, и слоны, и много всего. Я спрашиваю:

— Почему же тогда мы ничего не видели?

А он говорит:

— Если бы ты хоть что-нибудь знал, хоть прочел бы книжку, которая называется «Дон Кихот», тогда бы не спрашивал. Тут,— говорит,— все дело в колдовстве.

А на самом деле там были сотни солдат, и слоны, и сокровища, и все прочее, только у нас оказались враги — чародеи, как Том их назвал,— и все это нам назло они превратили в воскресную школу. Я говорю:

— Ладно, тогда нам надо напасть на этих самых чародеев.

Но Том Сойер обозвал меня болваном.

— Да что ты! — говорит.— Ведь чародей может вызвать целое полчище духов, и они тебя вмиг изрубят, не успеешь «мама» выговорить. Ведь они вышиной с дерево, а толщиной с церковь.

— Ну,— говорю,— а если мы тоже вызовем духов себе на помощь, побьем мы тех, других, или нет?

— Как же это ты их вызовешь?

— Не знаю. А те как вызывают?

— Как? Потрут старую жестяную лампу или железное кольцо, и тогда со всех сторон слетаются духи, гром

гремит, молния кругом так и сверкает, дым клубится, и все, что духам ни прикажешь, они сейчас же делают. Им ничего не стоит вырвать с корнем дроболитную башню и трахнуть ею по голове директора воскресной школы или вообще кого угодно.

— Для кого же это они так стараются?

— Да для всякого, кто потрет лампу или кольцо. Они повинуются тому, кто трет лампу или кольцо, и должны делать все, что он ни велит. Если велит выстроить дворец в сорок миль длиной из одних брильянтов и наполнить его доверху жевательной резинкой или чем ты захочешь и похитить дочь китайского императора тебе в жены — они все это должны сделать, да еще за одну ночь, прежде чем взойдет солнце. Мало того: они должны таскать этот дворец по всей стране, куда только тебе вздумается, понимаешь?

— Вот что,— говорю я,— по-моему, все они просто ослы, если не оставят этот дворец себе, вместо того чтобы валять дурака и упускать такой случай. Да и того еще мало: будь я дух, я бы этого, с лампой, послал к черту. Стану я отрываться от дела и лететь к нему из-за того, что он там потрет какую-то дрянь!

— Придумал тоже, Гек Финн! Да ведь ты должен явиться, когда он потрет лампу, хочешь ты этого или нет.

— Что? Это если я буду ростом с дерево и толщиной с церковь? Ну ладно уж, я к нему явлюсь; только ручаюсь чем хочешь — я его загоню на самое высокое дерево, какое найдется в тех местах!

— А ну тебя, Гек Финн, что толку с тобой разговаривать! Ты уж, кажется, совсем ничего не понимаешь — будто круглый дурак.

Дня два или три я все думал об этом, а потом решил сам посмотреть, есть тут хоть сколько-нибудь правды или нет. Взял старую жестяную лампу и железное кольцо, пошел в лес и тер и тер, пока не вспотел, как индеец. Думаю себе: выстрою дворец и продам; только ничего не вышло — никакие духи не явились. Так что, по-моему, всю эту чепуху Том Сойер сам выдумал, как всегда выдумывает. Он-то, кажется, поверил и в арабов и в слонов, ну, а я — дело другое: по всему было видать, что это воскресная школа.

Глава четвертая

ГАДАНЬЕ ПО ШАРУ

Ну так вот, прошло месяца три или четыре, и зима уж давно наступила. Я почти каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и писать немножко и выучил таблицу умножения наизусть до шестью семь — тридцать пять, а дальше, я так думаю, мне нипочем не одолеть, хоть до ста лет учись. Да и вообще я до математики не охотник.

Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемножку. Когда мне, бывало, уж очень надоест, я удеру с уроков, а на следующий день учитель меня выпорет; это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дольше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко всем порядкам у вдовы я тоже мало-помалу привык — как-то притерпелся. Всего тяжелей было приучаться жить в доме и спать на кровати; до наступления холодов я все-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житье мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать — оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я постепенно исправляюсь и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится.

Как-то утром меня угораздило опрокинуть за завтраком солонку. Я поскорей схватил щепотку соли, чтобы бросить ее через левое плечо и отвести беду, но тут мисс Уотсон вмешалась некстати и остановила меня. Говорит: «Убери руки, Гекльберри! Вечно ты насоришь кругом!» Вдова за меня заступилась, только поздно, беду все равно уже нельзя было отвести, это я отлично знал. Я вышел из дому, чувствуя себя очень неважно, и все ломал голову, где эта беда надо мною стрясется и какая она будет. В некоторых случаях можно отвести беду, но только это был не такой случай — я даже и не пробовал ничего делать, а просто шатался по городу в самом унылом настроении и ждал беды.

Я вышел в сад и перебрался через перелаз высокого забора. На земле было с дюйм только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы: кто-то шел от каменоломни, потоптался немного около перелаза, а потом пошел дальше вдоль забора. Странно было, что он не завернул в сад, простояв столько времени у забора. Я не мог понять, в чем дело. Что-то уж очень чудно... Хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал, а потом заметил: на левом каблуке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отвадить нечистую силу. В одну минуту я кубарем скатился с

горы. Время от времени я оглядывался, но никого не было видно. Я бросился к судье Тэчеру.

— Ну, милый, ты совсем запыхался,— сказал он.— Ведь ты пришел за процентами?

— Нет, сэр,— говорю я.— А разве для меня что-нибудь есть?

— Да, вчера вечером я получил за полгода больше ста пятидесяти долларов. Целый капитал для тебя. Я лучше положу их вместе с остальными шестью тысячами, а не то ты истратишь их, если возьмешь.

— Нет, сэр,— говорю,— я не хочу их тратить. Мне их совсем не надо — ни шести тысяч, ничего. Я хочу, чтобы вы их взяли себе — и шесть тысяч и все остальное.

Он удивился и, как видно, не мог понять, в чем дело, потому что спросил:

— Как так? Что ты этим хочешь сказать?

— Не спрашивайте меня ни о чем. Возьмите их, пожалуйста. Возьмете?

Он говорит:

— Право, не знаю, что тебе сказать... А что случилось?

— Пожалуйста, возьмите их,— говорю я,— и не спрашивайте ни о чем — тогда мне не придется врать.

Судья задумался, а потом говорит:

— О-о! Кажется, понимаю. Ты хочешь продать мне свой капитал, а не подарить. Вот это правильно!

Потом написал что-то на бумажке, перечел про себя и говорит:

— Вот видишь, тут сказано: «за вознаграждение». Это значит, что я приобрел у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Теперь распишись.

Я расписался и ушел.

У Джима, негра мисс Уотсон, был большой волосяной шар, величиной с кулак; он его вынул из бычьего сычуга и теперь гадал по нему. Джим говорил, что в шаре будто бы сидит дух и этот дух все знает. Вот я и пошел вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь, я видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать и останется здесь или нет. Джим достал шар, что-то пошептал над ним, а потом подбросил кверху. Шар упал, как камень, и откатился не дальше чем на дюйм. Джим попробовал еще раз и еще раз; получалось все то же самое. Джим стал на колени, приложил ухо к шару и прислушался. Все равно никакого толку не было; Джим сказал, что шар не хочет говорить. Бывает иногда, что без денег шар нипочем не станет говорить. Я сказал ему, что у меня есть старая фальшивая монета в четверть доллара, никуда

не годная, потому что медь просвечивает сквозь серебро; но даже и без того ее нельзя было бы сбыть — такая она скользкая, точно сальная; сразу видать, в чем дело. (Я решил лучше не говорить про доллар, который мне дал судья.) Я сказал, что монета плохая, но, может, шар ее возьмет, не все ли ему равно. Джим понюхал ее, покусал, потер и обещал сделать так, что шар примет ее за настоящую. Он сказал, что разрежет сырую картофелину пополам и положит в нее монету на всю ночь; наутро меди уже не будет видно, и на ощупь она не будет скользкая, так что ее и в городе кто угодно возьмет с удовольствием, а не то что волосяной шар. А ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это.

Джим сунул монету под шар, лег и опять прислушался. На этот раз все оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валяй»,— говорю. Вот шар и стал нашептывать Джиму, и Джим пересказывал мне:

— Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать. То думает, что уйдет, а другой раз думает, что останется. Всего лучше ни о чем не беспокоиться, пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела. Один — весь белый, так и светится, а другой — весь черный. Белый его поучит-поучит добру, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, ну, и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете, будете болеть, но все обойдется в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна блондинка, а другая брюнетка. Одна богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды, чтобы чего-нибудь не случилось, потому вам на роду написано, что вы кончите жизнь на виселице.

Когда я вечером зажег свечку и вошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной!

Глава пятая

ПАПАША НАЧИНАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Я затворил за собой дверь. Потом повернулся, смотрю — вот он, папаша! Я его всегда боялся — уж очень здорово он меня драл. Мне показалось, будто я и теперь испугался, а потом понял, что ошибся, то есть сперва-то, конечно, встряска была порядочная, у меня даже дух захватило — так он неожиданно по-

явился, только я сразу же опомнился и увидел, что вовсе не боюсь, даже и говорить не о чем.

Отцу было лет около пятидесяти и на вид не меньше того. Волосы, длинные, нечесаные и грязные, висели космами, и только глаза блестели сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы черные, совсем без седины; свалявшиеся баки тоже черные. В лице, хоть его почти не было видно, ни кровинки — оно было совсем бледное; но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно — как рыбье или лягушечье брюхо. А одёжа — сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено; сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, и он ими пошевеливал время от времени. Шляпа валялась тут же на полу — старая, черная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом, точно кастрюлька с крышкой.

Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Свечу я поставил на пол.

Я заметил, что окно открыто: значит, он забрался сначала на сарай, а оттуда в комнату. Он осмотрел меня с головы до пят, а потом говорит:

— Ишь ты, как вырядился — фу-ты ну-ты! Небось думаешь, что ты теперь важная птица,— так, что ли?

— Может, думаю, а может, и нет,— говорю я.

— Ты смотри не очень-то груби! — говорит он.— Понабрался дури, пока меня не было! Я с тобой живо разделаюсь, собью с тебя спесь! Тоже, образованный стал — говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметки теперь не годится, раз он неграмотный? Я это все из тебя выколочу! Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?

— Вдова велела.

— Вдова? Вот оно как! А кто это вдове позволил совать нос не в свое дело?

— Никто не позволял.

— Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят! А ты смотри школу свою брось — слышишь? Вот я им покажу! Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом, важность на себя напустил какую! Ну, если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня! Твоя мать ни читать, ни писать не умела, так неграмотная и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею, а он, смотри ты, какой франт ученый! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю!

Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Ва-

шингтона[1] и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату.

— Правильно. Читать ты умеешь. А я было тебе не поверил. Ты смотри у меня, брось задаваться, я этого не потерплю! Следить за тобой буду, франт эдакий, и ежели только поймаю тебя около этой самой школы, всю шкуру спущу! Проучу тебя — опомниться не успеешь! Хорош сынок, нечего сказать!

Он взял в руки синюю с желтым картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил:

— Это еще что такое?

— Это мне дали за то, что я хорошо учусь.

Он разодрал картинку пополам и сказал:

— Я тебе тоже дам кое-что: ремня хорошего!

Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос, а потом сказал:

— Подумаешь, какой неженка! И кровать у него, и просты-

---

[1] Генерал Вашингтон — Джордж Вашингтон (см. примечание на стр. 205) был главнокомандующим американской армии в войне с Англией за независимость (1775—1783).

ни, и зеркало, и ковер на полу, а родной отец должен валяться на кожевенном заводе рядом со свиньями! Хорош сынок, нечего сказать! Ну, да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь из тебя повыбью! Ишь напустил на себя важность — разбогател, говорят! А? Это каким же образом?

— Все врут — вот каким.

— Слушай, ты как это со мной разговариваешь? Я терпел, терпел, но больше терпеть не намерен, так что ты язык не распускай! Два дня я пробыл в городе и только и слышу, что про твое богатство. И ниже по реке я тоже про это слыхал. Потому и приехал. Ты мне эти деньги достань к завтраму — они мне нужны.

— Нет у меня никаких денег!

— Врешь! Они у судьи Тэчера. Ты их возьми. Они мне нужны.

— Говорят вам, нет у меня никаких денег! Спросите сами у судьи Тэчера, он вам то же скажет.

— Ладно, я его спрошу... Уж я его заставлю сказать! Он мне денежки выложит, а не то я ему покажу! Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги.

— Всего один доллар, да и тот мне самому нужен...

— Мне какое дело, что он тебе нужен! Давай, и все тут.

Он взял монету и попробовал ее на зуб — не фальшивая ли, потом сказал, что ему надо в город, купить себе виски, а то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вылез на крышу сарая, но снова просунул голову в окно и принялся ругать меня за то, что я набрался дури и знать не хочу родного отца. После этого я уже думал было, что он совсем ушел, а он опять просунул голову в окно и велел мне бросить школу, не то он меня подстережет и выдерет как следует.

На другой день отец напился пьян, пошел к судье Тэчеру, обругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги, но ничего из этого не вышло; тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду.

Вдова с судьей Тэчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали и кого-нибудь из них назначили в опекуны; только судья у нас был новый, он недавно приехал и еще не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми, тем паче отнимать у отца единственного сына. Так что вдове с судьей Тэчером пришлось это дело бросить.

Отец так обрадовался, что унять его не было никакой возможности. Он обещал драть меня ремнем до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял три доллара у судьи, а старик их отнял и напился и в пьяном виде шатался по всему городу, орал,

безобразничал, ругался и колотил в сковородку чуть ли не до полуночи; его посадили под замок, а наутро повели в суд и опять засадили на неделю. Но он сказал, что очень доволен: своему сыну он теперь хозяин и сумеет показать ему, где раки зимуют.

После того как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и крепкое, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать,— можно сказать, принял его, как родного. А после ужина он завел разговор насчет трезвости и прочего, да так, что старика слеза прошибла и он сознался, что столько лет вел себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство, и надеется, что судья ему в этом поможет, не отнесется к нему с презрением. Судья ответил, что просто готов обнять его за такие слова, и при этом прослезился; и жена его тоже заплакала; а отец сказал, что никто до сих пор не понимал, какой он человек; и судья ответил, что он этому вполне верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не повезло, нуждается в сочувствии; и судья ответил, что это совершенно верно, и оба они опять прослезились. А перед тем как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку:

— Посмотрите на эту руку, господа и дамы! Возьмите ее и пожмите. Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело: теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше умрет, а уж за старое не возьмется! Попомните мои слова, не забывайте, что я их сказал! Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь!

И все они один за другим, по очереди, пожали ему руку, утирая слезы. А жена судьи так даже поцеловала ему руку. После этого отец дал подписку не пить — поставил на бумаге крестик. Судья сказал, что это историческая святая минута... Что-то вроде этого. Старика отвели ночевать в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить; он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутыль сорокаградусной, влез обратно и давай пировать; а на рассвете опять полез в окно, пьяный, как стелька, скатился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замерз насмерть; кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли посмотреть, что делается в комнате для гостей, так пришлось мерить глубину лотом[1], а потом уже пускаться вплавь.

---

[1] Лот — прибор для измерения глубины; простейший вид лота — гиря на длинной веревке.

Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит.

Глава шестая

ПАПАША БОРЕТСЯ С АНГЕЛОМ СМЕРТИ

Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэчера, чтоб он отдал ему мои деньги, а потом принялся и за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил, только я все равно ходил в школу, а от него прятался или убегал куда-нибудь. Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу назло. Суд все откладывали; похоже было, что никогда не начнут, так что я время от времени занимал у судьи Тэчера доллара два-три для старика, чтобы избавиться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался вдребезги; и всякий раз, напившись, шатался по городу и буянил; и всякий раз, как набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен: такая жизнь была ему как раз по душе.

Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы, и наконец та ему пригрозила, что, если он такой привычки не бросит, ему придется плохо. Ну и взбеленился же он! Обещал, что покажет, кто Геку Финну хозяин.

И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увез в лодке мили за три вверх по реке, а там переправился на ту сторону в таком месте, где берег был лесистый и жилья совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки в самой чаще леса, так что и найти ее было невозможно, если не знать, где она стоит.

Он меня не отпускал ни на минуту, и удрать не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирал на ночь дверь, а ключ клал себе под голову. У него было ружье — украл, наверно, где-нибудь,— и мы с ним ходили на охоту, удили рыбу; этим и кормились. Частенько он запирал меня на замок и уезжал в лавку мили за три, к перевозу, там менял рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, напивался, пел песни, а потом колотил меня. Вдова все-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала человека мне на выручку, но отец прогнал его, пригрозив ружьем. А в скором времени я и сам привык тут жить, и мне даже нравилось — все, кроме ремня.

Жилось ничего себе — хоть целый день ничего не делай, знай покуривай да лови рыбу; ни тебе книг, ни ученья. Так прошло месяца два, а то и больше; я весь оборвался, ходил гряз-

ный и уже не понимал, как это мне могла нравиться жизнь у вдовы в доме, где надо было умываться, и есть на тарелке, и причесываться, и ложиться и вставать вовремя, и вечно корпеть над книжкой, да еще старая мисс Уотсон, бывало, тебя пилит все время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил было ругаться, потому что вдова этого не любила, а теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говоря, нам в лесу жилось совсем не плохо.

Но мало-помалу старик повадился драться палкой; вот этого я уж не стерпел. Я был весь в рубцах. И дома ему больше не сиделось: уедет, бывало, а меня запрет. Один раз он запер меня, а сам уехал и не возвращался три дня. Такая была тоска! Я уж начал думать, что он потонул и мне никогда отсюда не выбраться. Мне что-то стало страшно, и я решил, что как-никак, а надо удирать. Я много раз пробовал выбраться из дома, только все не мог найти лазейку. Окно было такое, что и собаке не пролезть. По трубе я тоже подняться не мог: она оказалась чересчур узкая. Дверь была сколочена из толстых и прочных дубовых досок. Отец, когда уезжал, старался никогда не оставлять в хижине ножа и вообще ничего острого; я, должно быть, раз сто обыскал все кругом и, можно сказать, почти все время только этим и занимался — больше делать все равно было нечего. Однако на этот раз я все-таки нашел кое-что: старую, ржавую пилу без ручки, засунутую между стропилами и кро-

вельной дранкой. Я ее смазал и принялся за работу. В дальнем углу хибарки, позади стола, была прибита к стене гвоздями старая попона, чтобы ветер не дул в щели и не гасил свечку. Я залез под стол, приподнял попону и начал отпиливать кусок толстого нижнего бревна — такой, чтобы можно было пролезть. Времени это отняло порядочно, и дело уже шло к концу, когда я услышал в лесу выстрел из отцова ружья. Я поскорей уничтожил все следы моей работы, опустил попону и спрятал пилу, а вскорости явился и отец.

Он был сильно не в духе — то есть такой, как всегда. Рассказал мне, что был в городе и что все там идет черт знает как. Адвокат ему сказал, что выиграет процесс и получит деньги, если удастся довести дело до суда, но есть много способов оттянуть разбирательство, и судья Тэчер сумеет это устроить. А еще ходят слухи, будто бы затевается новый процесс, для того чтобы отобрать меня у отца и отдать под опеку вдове, и на этот раз надеются его выиграть. Я очень расстроился, потому что мне не хотелось больше жить у вдовы, чтобы меня опять притесняли да воспитывали, как это у них называется. Тут старик начал ругаться и ругал всех и каждого, кто только на язык попадался, а потом еще раз выругал всех подряд для верности, чтоб уж никого не пропустить, а после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени, обозвал как нельзя хуже и пошел себе чертыхаться дальше.

Он орал, что еще посмотрит, как это вдова меня отберет, что будет глядеть в оба, и если только они попробуют устроить ему такую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, милях в шести отсюда; и пускай тогда ищут хоть сто лет — все равно не найдут. Я опять очень расстроился, но ненадолго. Я подумал: не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезет!

Старик послал меня к лодке перенести вещи, которые привез: мешок кукурузной муки, фунтов на пятьдесят, большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутыль виски в четыре галлона, да старую книжку и две газеты для пыжей, да еще паклю. Я вынес все это на берег, потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть. Я обдумал все как следует и решил, что, когда убегу из дому, возьму с собой в лес ружье и удочки. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране — лучше по ночам; пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей; и уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут. Я решил выпилить бревно и удрать нынче же ночью, если старик напьется, а уж напьется он обязательно! Я так задумался, что не заметил, сколько прошло времени, пока старик не окликнул меня и не спросил, что я там — сплю или утонул.

Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стал готовить ужин, а старик тем временем успел хлебнуть разок-другой из бутылки; духу у него прибавилось, и он опять разошелся. Он начал пить еще в городе, провалялся всю ночь в канаве, и теперь на него просто смотреть было страшно. Ни дать ни взять, Адам — сплошная глина. После хорошей выпивки он всегда принимался ругать правительство. И на этот раз тоже:

— А еще называется правительство! Ну, на что это похоже, полюбуйтесь только! Вот так закон! Отбирают у человека сына — родного сына! — а ведь человек его растил, заботился о нем, деньги на него тратил! Да! А как только вырастил в конце концов этого сына, вот, думает, пора бы и отдохнуть, пускай теперь сын поработает, поможет отцу чем-нибудь,— тут закон его и цап! И это называется правительство! Да еще мало того: закон помогает судье Тэчеру оттягать у меня капитал. Вот как этот закон поступает: человека с капиталом в шесть тысяч долларов, даже больше, пихает в старую хибару, вроде этой, и заставляет носить такие лохмотья, что свинье было бы стыдно. А еще называется правительство! Человек у такого правительства своих прав добиться не может. Да что, в самом деле! Иной раз думаешь: вот возьму и уеду из этой страны навсегда. Да, я им так и сказал, прямо в глаза старику Тэчеру! Многие слыхали и могут повторить мои слова. Говорю: да я за два цента бросил бы эту проклятую страну и больше в нее даже не заглянул бы! Вот этими самыми словами. Взгляните, говорю, на мою шляпу, если, по-вашему, это шляпа. Верх отстает, а все остальное сползает ниже подбородка, так что и на шляпу вовсе не похоже: голова сидит как в печной трубе. Поглядите на нее, говорю: вот какую шляпу приходится носить, а ведь я один из первых богачей в городе, только вот своих прав не могу добиться... Да, замечательное у нас правительство, просто замечательное! Ты только послушай. Был там один вольный негр из Огайо — мулат, почти такой же белый, как белые люди. Рубашка на нем белее снега, шляпа так и блестит, и одет он так хорошо, как никто во всем городе: часы с цепочкой на нем золотые, палка с серебряным набалдашником — просто фу-ты ну-ты, важная персона! И что бы ты думал? Говорят, будто он учитель в каком-то колледже, умеет говорить на разных языках и все на свете знает. Да еще мало того. Говорят, будто он имеет право голосовать у себя на родине! Ну, этого я уж не стерпел! Думаю, до чего ж мы эдак дойдем? Как раз был день выборов, я и сам хотел идти голосовать, если б не хлебнул лишнего, а когда узнал, что есть у нас в Америке такой штат, где этому негру позволяют голосовать, я взял да и не пошел. Сказал, что

никогда больше голосовать не буду. Так прямо и сказал, и все меня слышали. Да пропади пропадом хоть вся страна — все равно я больше никогда в жизни голосовать не буду! И смотри ты, как этот негр нахально себя ведет: он бы мне и дороги не уступил, если б я его не отпихнул в сторону. Спрашивается, почему этого негра не продадут с аукциона? Вот что я желал бы знать! И как бы ты думал, что мне ответили? Его, говорят, нельзя продать, пока он не проживет в этом штате полгода, а он еще столько не прожил. Ну вот тебе и пример. Какое же это правительство, если нельзя продать вольного негра, пока он не прожил в штате шести месяцев? А еще называется правительство, и выдает себя за правительство, и воображает, будто оно правительство, а целые полгода с места не может сдвинуться, чтобы забрать этого жулика, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке, и...

Папаша до того разошелся, что уже не замечал, куда его несут ноги,— а они его не больно-то слушались, так что, наткнувшись на бочонок со свининой, он полетел вверх тормашками, ободрал себе коленки и принялся ругаться на чем свет стоит; больше всего досталось негру и правительству, но, между прочим, и бочонку тоже влетело порядком. Он довольно долго скакал по комнате, сначала на одной ноге, потом на другой, хватаясь то за одну коленку, то за другую, а потом как двинет изо всех сил левой ногой по бочонку! Только это он зря сделал, потому что как раз на этой ноге сапог у него порвался и два пальца торчали наружу; он так взвыл, что у кого угодно волосы встали бы дыбом, повалился наземь и стал кататься по грязному полу, держась за ушибленные пальцы, а ругался он теперь так, что прежняя ругань просто в счет не шла. После он и сам это говорил. Ему приходилось слышать старика Соуберри Хэгана в его лучшие дни, так будто бы он и его перещеголял; но, по-моему, это он уж хватил через край.

После ужина отец взялся за бутыль и сказал, что виски хватит на две попойки и одну белую горячку. Это у него была такая поговорка. Я решил, что через какой-нибудь час он напьется в стельку и уснет, а я тогда украду ключ или допилю бревно и выберусь наружу; либо то, либо другое. Он все пил и пил, а потом повалился на свое одеяло. Но мне не повезло. Он не уснул крепко, а все ворочался, и стонал, и метался во все стороны; и так продолжалось очень долго. Под конец мне так захотелось спать, что глаза сами собой закрывались, и не успел я опомниться, как крепко уснул, а свеча осталась гореть.

Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг раздался страшный крик, и я вскочил на ноги. Отец метался во все сто-

роны как сумасшедший и кричал: «Змеи!» Он жаловался, что змеи ползают у него по ногам, а потом вдруг подскочил да как взвизгнет — говорит, будто одна укусила его в щеку,— но я никаких змей не видел. Папаша начал бегать по комнате, все кругом, кругом, а сам кричит: «Сними ее! Сними ее! Она кусает меня в шею!» Я никогда не видел, чтобы у человека были такие дикие глаза. Скоро он выбился из сил, упал на пол, а сам задыхается; потом стал кататься по полу быстро-быстро, расшвыривая вещи во все стороны и молотя по воздуху кулаками, кричал и вопил, что его схватили черти. Мало-помалу он унялся и некоторое время лежал смирно, только стонал. Потом совсем затих и ни разу даже не пикнул. Я услышал, как далеко в лесу ухает филин и воют волки, и от этого тишина стала еще страшнее. Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову набок, и говорит еле слышно:

— Топ-топ-топ... это мертвецы... топ-топ-топ... это они за мной идут, но я с ними не пойду... Ох, вот они! Не троньте меня, не троньте! Руки прочь — они холодные! Пустите!.. Ох, оставьте меня, несчастного, в покое!

Потом он стал на четвереньки и пополз и все просит, чтоб мертвецы его не трогали; завернулся в одеяло и полез под стол, а сам все просит, потом как заплачет! Даже сквозь одеяло было слышно.

Потом он сбросил одеяло, вскочил на ноги как полоумный, увидел меня и давай за мной гоняться. Он гонялся за мной по всей комнате со складным ножом, называя меня Ангелом Смерти, кричал, что убьет меня и тогда я уж больше не приду за ним. Я его просил успокоиться, говорил, что это я, Гек; а он только смеялся, да так страшно! И все ругался, орал и бегал за мной. Один раз, когда я извернулся и нырнул ему под руку, он схватил меня сзади за куртку, и я уж думал было, что тут мне и крышка, однако с быстротой молнии выскочил из куртки и этим спасся. Скоро старик совсем выдохся; сел на пол, привалившись спиной к двери, и сказал, что отдохнет минутку, а потом уж убьет меня. Нож он подсунул под себя и сказал, что поспит сначала, наберется сил, а там посмотрит, кто тут есть.

Очень скоро он задремал. Тогда я взял старый стул с провалившимся сиденьем, влез на него как можно осторожнее, чтоб не наделать шуму, и снял со стены ружье. Я засунул в него шомпол, чтобы проверить, заряжено оно или нет, потом пристроил ружье на бочонок с репой, а сам уселся за бочонком, нацелился в папашу и стал дожидаться, когда он проснется. И до чего же медленно и тоскливо потянулось время!

Он гонялся за мной по всей комнате со складным ножом.

Глава седьмая

Я УДИРАЮ ОТ ПАПАШИ

— Вставай! Чего это ты выдумал?

Я открыл глаза и оглянулся, силясь понять, где же это я нахожусь. Солнце уже взошло — значит, я спал долго. Надо мной стоял отец; лицо у него было довольно хмурое и к тому же опухшее. Он сказал:

— Что это ты затеял с ружьем?

Я сообразил, что он ничего не помнит из того, что вытворял ночью, и сказал:

— Кто-то к нам ломился, вот я и подстерегал его.

— А почему же ты меня не разбудил?

— Я пробовал, да ничего не вышло: вы не просыпались.

— Ну ладно, нечего языком трепать! Поди погляди, не попалась ли на удочку рыба к завтраку. Я через минуту приду.

Он отпер дверь, и я побежал к реке. Я заметил, что вниз по течению плывут обломки веток, всякий сор и даже куски коры: значит, река начала подниматься. Я подумал, что жил бы припеваючи, будь я теперь в городе. В июньское половодье мне всегда везло, потому что, как только оно начинается, вниз по реке плывут дрова и целые звенья плотов, иной раз бревен по двенадцати вместе: только и дела, что ловить их да продавать на дровяные склады и на лесопилку.

Я шел по берегу и одним глазом высматривал отца, а другим следил, не принесет ли река что-нибудь подходящее. И вдруг гляжу — плывет челнок, да какой — просто загляденье! — футов тринадцать или четырнадцать в длину; плывет себе как миленький. Я бросился в воду головой вниз по-лягушечьи, прямо в одежде, и поплыл к челноку. Я ждал, что кто-нибудь в нем лежит,— у нас часто так делают шутки ради, а когда подплывешь к челноку поближе, вскакивают и поднимают человека на смех. Но на этот раз вышло по-другому. Челнок и в самом деле был пустой, я влез в него и пригнал к берегу. Думаю, вот старик обрадуется, когда увидит: долларов десять такая штука стоит! Но когда я добрался до берега, отца еще не было видно; я завел челнок в устье речки, заросшее ивняком и диким виноградом, и тут мне пришло в голову другое: думаю, спрячу его получше, а потом, вместо того чтобы убегать в лес, спущусь вниз по реке миль на пятьдесят и поживу подольше на одном месте, а то чего ради бедствовать, таскаясь пешком!

От хибарки это было совсем близко, и мне все казалось, что идет мой старик, но я все-таки успел спрятать лодку, а потом

взял да и выглянул из-за куста; гляжу, отец уже спустился к реке по тропинке и целится из ружья в какую-то птицу. Значит, он ничего не видел.

Когда он подошел, я усердно трудился, вытаскивая лесу. Он поругал меня немножко за то, что я так копаюсь; но я ему наврал, будто свалился в воду, оттого и пришлось возиться так долго. Я так и знал — папаша заметит, что я весь мокрый, и начнет расспрашивать. Мы сняли с удочек пять сомов и пошли домой.

Оба мы умаялись и легли после завтрака соснуть, и я принялся обдумывать, как бы мне надуть вдову и отца, чтобы они меня не искали. Это было бы куда верней, чем полагаться на удачу. Разве успеешь убежать далеко, пока они тебя хватятся! Мало ли что может случиться... Я долго ничего не мог придумать, а потом отец встал напиться воды и говорит:

— Если кто-нибудь в другой раз будет шататься вокруг дома, разбуди меня, слышишь? Этот человек не с добром приходил. Я его застрелю. Если он еще придет, ты меня разбуди, слышишь?

Он повалился и опять уснул; зато его слова надоумили меня, что надо делать. Ну, думаю, теперь я так устрою, что никому и в голову не придет меня разыскивать.

Часам к двенадцати мы проснулись и пошли на берег. Река быстро поднималась, и по ней плыло много всякого леса. Скоро показалось звено плота — девять бревен, связанных вместе. Мы взяли лодку и подтащили их к берегу. Потом пообедали. Другой на месте папаши просидел бы на реке весь день, чтобы наловить побольше, но это было не в его обычае. Девяти бревен на один раз для него было довольно; ему загорелось ехать в город продавать. Он запер меня, взял лодку и около половины четвертого потащил плот на буксире в город. Я решил, что в эту ночь он домой не вернется, подождал, пока, по моим расчетам, он отъедет подальше, вытащил пилу и опять принялся пилить то самое бревно. Прежде чем отец переправился на другой берег, я уже выбрался на волю; лодка вместе с плотом казалась простым пятнышком на воде где-то далеко-далеко.

Я взял мешок кукурузной муки и отнес его туда, где был спрятан челнок, раздвинул ветки и спустил в него муку; потом отнес туда же грудинку, потом бутыль с виски. Я забрал весь сахар и кофе и сколько нашлось пороху и дроби; забрал пыжи, забрал ведро и флягу из тыквы, забрал ковш и жестяную кружку, свою старую пилу, два одеяла, котелок и кофейник. Я унес и удочки, и спички, и остальные вещи — все, что стоило хотя бы цент. Забрал все дочиста. Мне нужен был топор, только другого топора не нашлось, кроме того, что лежал в дровах, а я уж знал,

почему его надо оставить на месте. Я вынес ружье, и теперь все было готово.

Я сильно подрыл стену, когда пролезал в дыру и вытаскивал столько вещей. Все это я заровнял и хорошенько присыпал сверху землей, чтобы не видно было опилок. Потом вставил выпиленный кусок бревна на старое место, подложил под него два камня, а один камень приткнул сбоку, потому что в этом месте бревно было выгнутое и не совсем доходило до земли. Шагов за пять от стены, если не знать, что кусок бревна выпилен, ни за что нельзя было этого заметить, да и стена была задняя — вряд ли кто-нибудь станет там шататься и разглядывать.

К челноку я ходил по траве и следов не оставил. Я постоял на берегу и посмотрел, что делается на реке. Все спокойно. Тогда я взял ружье и зашел поглубже в лес — хотел подстрелить какую-нибудь птицу, а потом увидел дикого поросенка: в здешних местах свиньи быстро дичают, если случайно забегут сюда с какой-нибудь луговой фермы. Я убил этого поросенка и понес его к хибарке.

Я взял топор и взломал дверь, причем постарался изрубить ее посильнее; принес поросенка, подтащил его поближе к столу, разрубил ему горло и положил его на землю, чтобы вытекала кровь (я говорю: «на землю», потому что в хибарке не было дощатого пола, а просто земля — твердая, сильно утоптанная). Ну, потом я взял старый мешок, наложил в него больших камней, сколько мог снести, и поволок его от убитого поросенка к дверям, а потом по песку к реке и бросил в воду; он пошел ко дну и скрылся из виду. Сразу было видно, что здесь что-то тащили по земле. Мне очень хотелось, чтобы тут был Том Сойер: я знал, что таким делом он заинтересовался бы и сумел бы придумать что-нибудь почуднее. В такого рода делах никто не сумел бы развернуться лучше Тома Сойера.

Напоследок я вырвал у себя клок волос, хорошенько намочил топор в крови, прилепил волосы к лезвию и зашвырнул топор в угол. Потом взял поросенка и понес его, завернув в куртку (чтобы не капала кровь), а когда отошел подальше от дома, вниз по реке, то бросил поросенка в воду. Тут мне пришла в голову еще одна штука. Я достал из лодки мешок с мукой и старую пилу и отнес их в дом. Я поставил мешок на старое место и прорвал в нем снизу дыру пилой, потому что ножей и вилок у нас не водилось — отец, когда стряпал, управлялся одним складным ножом. Потом протащил мешок шагов сто по траве и через ивовые кусты к востоку от дома, где было мелкое озеро миль в пять шириной, все заросшее тростником,— уток там под осень бывало порядочно. С другой стороны из озера вытекала заболоченная протока или ручей, который тянулся на много

миль — не знаю куда, только не впадал в реку. Мука сеялась всю дорогу, так что получился тоненький белый след до самого озера. А еще я бросил там папашин точильный камень, чтобы похоже было, будто его уронили случайно. Потом завязал дыру в мешке веревочкой, чтобы мука больше не сыпалась, и отнес мешок вместе с пилой обратно в челнок.

К этому времени уже начало темнеть. Я спустил челнок вниз по реке до такого места, где ивы нависли над водой, и стал ждать, пока взойдет луна. Я привязал челнок покрепче к иве, потом перекусил малость, а после этого улегся на дно выкурить трубочку и обдумать свои планы. Я сказал себе: они пойдут по следу мешка с камнями до берега, потом начнут искать мое тело в реке. А там пойдут по мучному следу до озера и по вытекающей из него речке искать грабителей, которые убили меня и украли вещи. В реке им искать нечего, кроме моего мертвого тела. Скоро им это надоест, и они перестанут обо мне думать. Вот и хорошо, а я буду жить там, где мне захочется. Остров Джексона мне вполне подходит, я этот остров хорошо знаю, и там никогда никого не бывает. А по ночам можно будет переправляться в город: пошатаюсь там и подтибрю, что мне нужно. Остров Джексона — самое для меня подходящее место.

Я здорово устал и не успел опомниться, как уснул. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Я сел и огляделся по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Река казалась очень широкой, во много миль шириной. Луна светила так ярко, что можно было сосчитать все бревна, которые плыли очень далеко от берега, черные и словно неподвижные. Кругом стояла мертвая тишина, по всему было видать, что поздно, и пахло попозднему. Вы понимаете, что я хочу сказать... не знаю, как это выразить словами.

Я хорошенько потянулся, зевнул и только хотел было отвязать лодку и пуститься дальше, как вдруг по воде до меня донесся шум. Я прислушался и скоро понял, в чем дело: это был тот глухой, ровный стук, какой слышишь, когда весла ворочаются в уключинах тихой ночью. Я поглядел сквозь листву ивы — так и есть: далеко, около того берега, плывет лодка. Я не мог разглядеть, сколько в ней человек. Лодка все приближалась, и, когда она поравнялась со мной, я увидел, что в ней сидит только один человек. Уж не отец ли, думаю, хоть я его и не ждал. Он спустился ниже меня по течению, потом подгреб к берегу по тихой воде, причем проехал так близко, что я мог бы дотронуться до него дулом ружья. Это и правда был отец — да еще трезвый, судя по тому, как он работал веслами.

Я не стал терять времени. В следующую минуту я уже летел вниз по течению, без шума, но быстро, держась в тени бе-

рега. Я сделал мили две с половиной, потом выбрался на четверть мили ближе к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань и люди оттуда могли увидеть и окликнуть меня. Я старался держаться среди плывущих бревен, а потом лег на дно челнока и пустил его по течению. Я лежал, отдыхая и покуривая трубочку и глядя в небо — ни облачка на нем. Небо кажется очень глубоким, когда лежишь на спине в лунную ночь; раньше я этого не знал. И как далеко слышно по воде в такую ночь! Я слышал, как люди разговаривают на пристани. Слышал даже все, что они говорят,— все до единого слова. Один сказал, что теперь дни становятся длинней, а ночи короче. Другой ответил, что эта ночь, ему думается, не из коротких,— и тут они засмеялись; он повторил свои слова — и они опять засмеялись; потом разбудили третьего и со смехом пересказали ему; только он не засмеялся — он буркнул что-то отрывистое и сказал, чтоб его оставили в покое. Первый заметил, что он непременно расскажет это своей старухе — ей, наверно, очень понравится; но это сущие пустяки по сравнению с теми шуточками, какие он отпускал в свое время. Я услышал, как один из них сказал, что сейчас около трех часов и он надеется — рассвет задержится не больше чем на неделю. После этого голоса стали всё удаляться и удаляться, и я уже не мог разобрать слов, слышал только неясный говор да время от времени смех, и то, казалось, очень издалека.

Теперь я был много ниже пристани. Я привстал и милях в двух с половиной ниже по течению увидел остров Джексона, заросший лесом,— он стоял посредине реки, большой, темный и грузный, словно пароход без огней. Выше острова не видно было следов отмели — вся она скрылась теперь под водой. До острова я добрался в два счета. Я стрелой пронесся мимо его верхней части — такое быстрое было течение,— потом вошел в стоячую воду и пристал с той стороны, которая ближе к иллинойскому берегу. Я направил челнок в узкую бухточку, которую давно знал; мне пришлось раздвинуть ветки ивы, чтобы попасть туда; и когда я привязал челнок, снаружи он был совсем незаметен.

Я вышел на берег, сел на бревно в верхнем конце острова и стал смотреть на широкую реку, на черные плывущие бревна и на город в трех милях отсюда, где еще мерцали три-четыре огонька. Огромный плот плыл по реке; сейчас он был на милю выше острова, и посредине плота горел фонарь. Я смотрел, как он подползает все ближе, а когда он поравнялся с тем местом, где я стоял, кто-то там крикнул: «Эй, на корме! Бери правей!» Я слышал это так ясно, как будто человек стоял со мной рядом.

Небо стало понемногу светлеть; я пошел в лес и лег соснуть перед завтраком.

Глава восьмая

ДЖИМ — НЕГР МИСС УОТСОН

Когда я проснулся, солнце поднялось так высоко, что, наверно, было уже больше восьми часов. Я лежал на траве, в прохладной тени, думая о разных разностях, и чувствовал себя довольно приятно, потому что хорошо отдохнул. В просветы между листвой было видно солнце, но вообще тут росли всё больше высокие деревья, и под ними было очень темно. Там, где солнечный свет просеивался сквозь листву, на земле лежали пятнышки вроде веснушек, и эти пятнышки слегка двигались — значит, наверху был ветерок. Две белки уселись на сучке и, глядя на меня, затараторили очень дружелюбно.

Я разленился, мне было очень хорошо и совсем не хотелось вставать и готовить завтрак. Я было опять задремал, как вдруг мне послышалось, что где-то выше по реке раскатилось глухое «бум». Я проснулся, приподнялся на локте и прислушался; через некоторое время слышу опять то же самое. Я вскочил, побежал на берег и посмотрел сквозь листву; гляжу, по воде расплывается клуб дыма, довольно далеко от меня, почти наравне с пристанью. А вниз по реке идет пароходик, битком набитый народом. Теперь-то я понял, в чем дело! Бум! Смотрю, белый клуб дыма оторвался от парохода. Это они, понимаете ли, стреляли из пушки над водой, чтобы мой труп всплыл наверх.

Я здорово проголодался, только разводить костер мне было никак нельзя, потому что дым могли увидеть.

Я сидел, глядя на пороховой дым, и прислушивался к выстрелам. Река в этом месте шириной в милю, и в летнее утро смотреть на нее всегда приятно, так что я проводил бы время очень недурно, глядя, как они ищут мой труп, если бы только было чего поесть. И тут я вдруг вспомнил, что при этом всегда наливают ртуть в ковриги хлеба и пускают по воде, потому что хлеб всегда плывет прямехонько туда, где лежит утопленник, и останавливается над ним. Ну, думаю, надо смотреть в оба: как бы не прозевать, если какая-нибудь коврига подплывет ко мне поближе. Я перебрался на иллинойский край острова; думаю — может, мне и повезет. И не ошибся: гляжу, плывет большая коврига, и я чуть было не подцепил ее длинной палкой, да поскользнулся, и она проплыла мимо. Конечно, я стал там, где течение ближе всего подходит к берегу,— настолько-то я смыслил в этом деле. Через некоторое время подплывает другая коврига, и на этот раз я ее не упустил. Я вытащил затычку, вытряхнул небольшой шарик ртути и запустил в ковригу зубы. Хлеб был белый, какой одни только богачи едят, не то что простецкая кукурузная лепешка.

Я выбрал удобное местечко, где листва была погуще, и уселся на бревно, очень довольный, жуя хлеб и поглядывая на пароходик. И вдруг меня осенило. Говорю себе: уж наверно, вдова, или пастор, или еще кто-нибудь молился, чтобы этот хлеб меня нашел. И что же, так оно и вышло. Значит, правильно: молитва доходит — то есть в том случае, когда молятся такие люди, как вдова или пастор; а моя молитва не подействует. Наверно, действует только молитва праведников.

Я закурил трубочку и просидел довольно долго — курил и смотрел, что делается. Пароходик шел вниз по течению, и я по-

думал, что, когда он подойдет ближе, можно будет разглядеть, кто там на борту, а пароход должен был подойти совсем близко к берегу в том месте, куда прибило хлеб.

Как только пароходик подошел поближе, я выколотил трубку, побежал туда, где я выловил хлеб, и лег за бревно на берегу, на открытом месте. Бревно было с развилиной, и я стал в нее смотреть...

Скоро пароходик поравнялся со мной; он шел так близко от острова, что можно было перекинуть сходни и сойти на берег. На пароходе были почти все, кого я знал: отец, судья Тэчер, Бекки Тэчер, Джо Гарпер, Том Сойер с тетей Полли, Сидом и Мери и еще много народу. Разговор шел про убийство. Но тут вмешался капитан и сказал:

— Теперь смотрите хорошенько! Здесь течение подходит совсем близко к берегу: может, тело выбросило на берег и оно застряло где-нибудь в кустах у самой воды. Во всяком случае, будем надеяться.

Ну, а я надеялся совсем на другое. Все столпились на борту и, наклонившись над перилами, старались вовсю — глядели мне чуть ли не в самое лицо. Я-то их отлично видел, а они меня нет. Потом капитан скомандовал: «От борта!» — и пушка выпалила прямо в меня, так что я оглох от грохота и чуть не ослеп от дыма; думал, тут мне и конец. Если бы пушку зарядили ядром, то они наверняка получили бы то самое мертвое тело, за которым гонялись. Ну, опомнился — гляжу, ничего мне не сделалось, цел, слава богу. Пароход прошел мимо и скрылся из виду, обогнув мыс. Время от времени я слышал выстрелы, но все дальше и дальше; а после того как прошло около часа, и совсем ничего не стало слышно. Остров был в три мили длиной. Я решил, что они доехали до конца острова и махнули рукой на это дело. Оказалось, однако, что пока еще нет. Они обогнули остров и пошли под парами вверх, по миссурийскому рукаву, изредка стреляя из пушки. Поравнявшись с верхним концом острова, пароходик перестал стрелять, повернул к миссурийскому берегу и пошел обратно к городу.

Я понял, что теперь могу успокоиться: больше никто меня искать не станет. Я вытащил свои пожитки из челнока и устроил себе уютное жилье в чаще леса. Из одеяла я соорудил что-то вроде палатки, чтобы вещи не мочило дождем. Я поймал сменка, распорол ему брюхо пилой, а на закате развел костер и поужинал. Потом закинул удочку, чтобы наловить рыбы к завтраку.

Когда стемнело, я уселся у костра с трубкой и чувствовал себя сначала очень недурно, а потом соскучился и пошел на берег. Слушал, как плещется река, считал звезды, бревна и плоты, ко-

торые плыли мимо, а после этого лег спать. Нет лучше способа провести время, когда скучаешь: уснешь, а там, глядишь, куда и скука девалась.

Так прошло три дня и три ночи. Никакого разнообразия — все одно и то же. Зато на четвертый день я обошел кругом весь остров, исследовал его вдоль и поперек. Я был тут хозяин, весь остров, так сказать, принадлежал мне — надо же было узнать о нем побольше, а главное, надо было убить время. Я нашел много крупной, совсем спелой земляники, еще зеленый виноград и зеленую малину, а ежевика только-только начала завязываться. «Все это со временем придется очень кстати»,— подумал я.

Ну, я пошел шататься по лесу и забрел к нижнему концу острова, как мне казалось. Со мной было ружье, только я ничего не подстрелил: я его взял для защиты, а какую-нибудь дичь решил добыть поближе к дому. И тут я чуть не наступил на здоровенную змею, но она ускользнула от меня, извиваясь среди травы и цветов, а я пустился за ней, стараясь подстрелить ее; пустился бегом — и вдруг наступил прямо на костер, который еще дымился.

Сердце у меня заколотилось. Я не стал особенно разглядывать, осторожно спустил курок, повернул и, прячась, побежал со всех ног обратно. Время от времени я останавливался на минуту там, где листва была погуще, и прислушивался, но так громко дышал, что ничего не мог расслышать. Прокрался еще подальше и опять прислушался; потом опять и опять. Если я видел пень, то принимал его за человека; если сучок трещал у меня под ногой, я чувствовал себя так, будто дыхание мне кто-то переломил пополам и у меня осталась короткая половинка.

Когда я добрался до места ночлега, мне было здорово не по себе, душа у меня совсем ушла в пятки. «Однако,— думаю,— сейчас не время валять дурака». Я поскорей собрал свои пожитки и отнес их в челнок, чтобы они не были на виду; загасил огонь и разбросал золу кругом, чтоб костер был похож на прошлогодний, а потом залез на дерево.

Я, должно быть, просидел на этом дереве часа два, но так ничего и не увидел и не услышал — мне только чудилось, будто я слышу и вижу много всякой всячины. Ну, не сидеть же там целый век! В конце концов я взял да и слез, засел в чащу и все время держался настороже. Поесть мне удалось только ягод да кое-каких остатков от завтрака.

К тому времени, как начало темнеть, я здорово проголодался. И вот, когда стало совсем темно, я потихоньку спустился к реке и, пока луна не взошла, переправился на иллинойский берег — за четверть мили от острова. Там я забрался в лес, сварил себе ужин и совсем было решил остаться на ночь, как вдруг

слышу: «цок-цок, цок-цок», и думаю — это лошади, а потом слышу и голоса. Я поскорее собрал все опять в челнок, а сам, крадучись, пошел по лесу — не узнаю ли чего-нибудь. Отошел я не так далеко и вдруг слышу голос:

— Нам лучше остановиться здесь, если найдем подходящее место; лошади совсем выдохлись. Давайте посмотрим...

Я не стал дожидаться, оттолкнулся от берега и тихонько переправился обратно. Челнок я привязал на старом месте и решил, что переночую в нем.

Спал я неважно: почему-то никак не мог уснуть, все думал. И каждый раз, как просыпался, мне чудилось, будто кто-то схватил меня за шиворот. Так что сон не пошел мне на пользу. В конце концов я и говорю себе: «Нет, так невозможно: надо узнать, кто тут есть на острове вместе со мной. Хоть тресну, да узнаю!» И после этого мне сразу стало как-то легче.

Я взял весло, оттолкнулся шага на два и повел челнок вдоль берега, оставаясь все время в тени. Взошла луна; там, где не было тени, было светло почти как днем. Я греб чуть ли не целый час; везде было тихо, и все спало мертвым сном. За это время я успел добраться до конца острова. Подул прохладный ветерок, поднимая рябь,— значит, ночь была на исходе. Я шевельнул веслом и повернул челнок носом к берегу, потом вылез и, крадучись, пошел к опушке леса. Там я сел на бревно и стал смотреть сквозь листву. Я увидел, как луна ушла с вахты и реку начало заволакивать тьмой; потом над деревьями забелела светлая полоска — и я понял, что скоро рассветет. Тогда я взял ружье и, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, пошел к тому месту, где я наступил на золу от костра. Но мне что-то не везло: никак не мог найти то место. Потом смотрю — так и есть: сквозь деревья мелькает огонек. Я стал подкрадываться, осторожно и не торопясь. Подошел поближе; смотрю — на земле лежит человек, я чуть не умер со страху. Голова у него была закутана одеялом, и он уткнулся носом чуть не в самый костер. Я сидел за кустами футах в шести от него и не сводил с него глаз. Уже почти рассвело. Скоро человек зевнул, потянулся и сбросил одеяло. Смотрю — а это Джим, негр мисс Уотсон! Ну и обрадовался же я! Говорю ему:

— Здорово, Джим! — и вылез из-за кустов.

Он как подскочит да как вытаращит на меня глаза! Потом бросился на колени, сложил руки и начал упрашивать:

— Не тронь меня, не тронь! Я никогда мертвецов не обижал. Я их всегда любил, все, что мог, для них делал. Ступай обратно в реку, откуда пришел, оставь в покое старика Джима, он с тобой всегда дружил...

Ну, мне недолго пришлось ему объяснять, что я не мертвец.

Уж очень я обрадовался Джиму. Теперь мне было не так тоскливо. Я не боялся, что он станет кому-нибудь рассказывать, где я прячусь,— я так ему и сказал. Я говорил, а он сидел и смотрел на меня, а сам все молчал. Наконец я сказал:

— Теперь уже совсем рассвело. Давай-ка завтракать. Раздуй костер получше.

— А какой толк его раздувать, когда варить все равно нечего, кроме земляники и всякой дряни!.. Да ведь у тебя есть ружье? Значит, можно раздобыть чего-нибудь и получше земляники.

— Земляника и всякая дрянь...— говорю я.— Ты только это и ел?

— Ничего другого не мог достать,— говорит он.

— Да с каких же пор ты на острове, Джим?

— С тех самых пор, как тебя убили.

— Неужто все это время?

— Ну да.

— И ничего не ел, кроме этой дряни?

— Да, сэр, совсем ничего.

— Да ведь ты, верно, с голоду помираешь?

— Просто лошадь съел бы! Верно, съел бы. А ты давно на острове?

— С той самой ночи, как меня убили.

— Да ну! А что же ты ел? Ах да, ведь у тебя ружье! Да-да, у тебя ружье. Это хорошо. Ты теперь подстрели что-нибудь, а я разведу костер.

Мы с ним пошли туда, где был спрятан челнок, и, покуда он разводил костер на лужайке под деревьями, я принес муку, грудинку, кофе, кофейник, сковородку, сахар и жестяные кружки, так что Джим прямо остолбенел от изумления: он думал, что все это колдовство. Да еще я поймал порядочного сома, а Джим выпотрошил его своим ножом и поджарил.

Когда завтрак был готов, мы развалились на траве и съели его прямо с огня. Джим ел так, что за ушами трещало,— уж очень он изголодался. Мы наелись до отвала, а потом легли отдыхать. Немного погодя Джим начал:

— Послушай-ка, Гек, а кого же это убили в той хибарке, если не тебя?

Тут я рассказал ему все как есть, а он сказал, что это очень ловко, даже Тому Сойеру лучше не придумать.

Я спросил:

— А ты как сюда попал, Джим, зачем тебя принесло?

Он замялся и, должно быть, с минуту молчал; потом сказал:

— Может, лучше не говорить...

— Почему, Джим?

— Мало ли почему... Только ты меня не выдашь? Правда, Гек?

— Провалиться мне, если выдам!

— Ну ладно, я тебе верю, Гек. Я... я убежал.

— Джим!

— Смотри же, ты обещал не выдавать! Ты помнишь, что обещал, Гек?

— Да уж ладно. Обещал — и не выдам. Честное индейское, не выдам! Пускай все меня назовут подлым аболиционистом[1], пускай презирают за это — наплевать! Я никому не скажу, да и вообще я туда больше не вернусь. Так что валяй рассказывай.

— Ну вот, видишь ли, как было дело. Старая хозяйка — то есть мисс Уотсон — все ко мне придиралась, просто жить не давала, а все-таки обещала, что в Орлеан меня ни за что не продаст. Но только я заметил, что последнее время около дома все вертится один работорговец, и стал беспокоиться. Как-то поздно вечером я подкрался к двери — а дверь-то была не совсем прикрыта — и слышу: старая хозяйка говорит вдове, что собирается продать меня на Юг, в Орлеан; ей бы не хотелось, но только за меня дают восемьсот долларов, а против такой кучи денег где же устоять! Вдова начала ее уговаривать, чтоб она меня не продавала, только я-то не стал дожидаться, чем у них кончится, взял да и дал тягу.

Спустился я с горы; думаю, стяну лодку где-нибудь на реке выше города. Народ еще не спал, и я спрятался в старой бочарне на берегу и стал ждать, пока все разойдутся. Так и просидел всю ночь. Все время кто-нибудь шатался поблизости. Часов около шести утра мимо начали проплывать лодки, а в восемь или девять в каждой лодке только про то и говорили, что твой папаша приехал в город и рассказывает, будто тебя убили. В лодках сидели дамы и господа, все они ехали смотреть то место. Иной раз лодки приставали к берегу для отдыха, прежде чем переправиться на ту сторону; вот из разговоров я и узнал про убийство. Мне было очень жалко, что тебя убили, Гек... Ну, теперь-то мне, конечно, не жалко.

Я пролежал под стружками целый день. Есть очень хотелось, а бояться я не боялся: я знал, что вдова со старой хозяйкой сразу после завтрака пойдут на молитвенное собрание и там пробудут целый день, а про меня подумают, что я еще на рассвете ушел пасти коров, и хватятся меня только вечером, когда стемнеет.

Остальная прислуга меня тоже не хватится, это я знал: они все улизнули гулять, пока старух дома нету.

---

[1] Аболиционист — так называли в США в XIX веке сторонников движения за освобождение негров от рабства.

Ну ладно... Как только стемнело, я вылез и пошел по берегу против течения; прошел, должно быть, мили две, а то и больше — там уж и домов никаких не было. Тогда я решил, что́ мне делать. Понимаешь, если бы я пошел пешком, меня выследили бы собаки; если же украсть лодку и переплыть на ту сторону, лодки хватятся, узнают, где я пристал на той стороне, и найдут мой след. Нет, думаю, для меня самое подходящее дело — плот: он следов не оставляет.

Скоро вижу — из-за поворота показался огонек. Я бросился в воду и поплыл, а сам толкаю перед собой бревно. Так я заплыл на середину реки, спрятался среди плывущих бревен, а голову держу пониже и гребу против течения — жду, пока плот подойдет. Потом подплыл к корме и уцепился. Тут нашли облака, стало совсем темно, так что я вылез и лег на плоту. Люди там собрались на середине, поближе к фонарю. Река все поднималась, течение было сильное, и я сообразил, что к четырем часам проплыву с ними миль двадцать пять вниз по реке, а там перед рассветом слезу в воду, доплыву до берега и уйду в лес на иллинойской стороне.

Но только мне не повезло. Мы почти что поравнялись с островом, и вдруг на корму идет человек с фонарем. Вижу, дожидаться нечего, спрыгнул за борт да и поплыл к острову. Я думал, что где угодно вылезу на берег, да разве тут вылезешь — уж очень круто. Пришлось мне плыть до нижнего конца острова, пока не нашел подходящего места. Я спрятался в лесу и решил с плотами больше не связываться, раз там расхаживают с фонарями взад и вперед. Трубка, пачка табаку и спички были у меня в шапке, они не промокли, так что все оказалось в порядке.

— Значит, все это время ты не ел ни хлеба, ни мяса? Чего же ты не поймал себе черепаху?

— А как ее поймать? На нее ведь не бросишься и не схватишь, а камнем ее разве убьешь? Да и как же их ночью ловить? А днем я на берег не выходил.

— Да, верно. Тебе, конечно, пришлось все время сидеть в лесу. Ты слышал, как стреляли из пушки?

— Еще бы! Я знал, что это тебя ищут. Я видел, как они плыли мимо,— глядел на них из-за кустов.

Какие-то птенцы порхнули мимо — пролетят два шага и сядут. Джим сказал, что это к дождю. Есть такая примета: если цыплята перепархивают с места на место, значит, будет дождь; ну и с птенцами, наверно, то же самое. Я хотел поймать несколько штук, только Джим не позволил. Он сказал, что это к смерти. У него отец был очень болен; кто-то из детей поймал птицу, и старуха бабушка сказала, что отец умрет,— так оно и вышло.

А еще Джим сказал, что не надо пересчитывать, сколько чего готовится к обеду, потому что это не к добру. То же самое, если вытряхивать скатерть после захода солнца. А еще если у человека есть пчелы и этот человек умрет, то пчелам непременно нужно об этом сказать на следующее утро, до того как взойдет солнце; а не то они ослабеют, перестанут работать и все передохнут. Джим сказал, будто пчелы не жалят дураков, только я этому не верю: я сам сколько раз пробовал, и они меня не жалили.

Кое-что из этого я слыхал и раньше, только не все. Джим знал много примет и сам говорил, что почти все знает. Выходило, что почти все приметы не к добру, и потому я спросил Джима, не бывает ли счастливых примет. Он сказал:

— Совсем мало, и то от них никакой нет пользы. Зачем тебе знать, что скоро тебе счастье привалит? Чтобы избавиться от него?

А еще он сказал:

— Если у тебя волосатые руки и волосатая грудь — это верная примета, что разбогатеешь. Ну, от такой приметы еще есть какой-то прок, потому что когда-то оно будет! Понимаешь, может, ты сначала долго будешь бедный и, может, с горя возьмешь да и повесишься, если не будешь знать, что потом разбогатеешь.

— А у тебя волосатые руки и грудь, Джим?

— Что ты спрашиваешь? Не видишь разве сам, что волосатые?

— Ну, и что ж, ты богатый?

— Нет. Зато один раз был богатый и еще когда-нибудь разбогатею. Один раз у меня было четырнадцать долларов, только я стал торговать и разорился.

— Чем же ты торговал, Джим?

— Движимостью.

— Какой движимостью?

— Ну, известно какой — скотом. Купил за десять долларов корову. Но только больше я своими деньгами так бросаться не стану. Корова-то возьми да и сдохни у меня на руках.

— Значит, ты потерял десять долларов?

— Нет, потерял-то я не все. Я потерял около девяти — шкуру и сало я продал за доллар десять центов.

— Стало быть, у тебя осталось пять долларов десять центов. Ну и что ж, ты опять их пустил в оборот?

— Как же! Знаешь одного негра, еще у него хозяин старый мистер Брэдиш? Так вот, этот негр завел банк и сказал, что кто внесет один доллар, через год получит еще четыре доллара. Все негры сделали вклады, только денег у них было мало. У меня одного было много. Вот мне и захотелось получить больше четырех

долларов, и я ему сказал, что, если он мне столько не даст, я сам открою банк. Ну, а этому негру, конечно, не хотелось, чтоб я тоже заводил банк,— двум банкам у нас делать нечего; он мне обещал, что если я вложу пять долларов, то в конце года он мне выплатит целых тридцать пять.

Так я и сделал. Думаю, сейчас же пущу я эти тридцать пять долларов в оборот, чтоб деньги зря не лежали. Один негр, его зовут Боб, поймал большую плоскодонку, а хозяин его про это не знал; я ее купил и сказал, что дам ему в конце года тридцать пять долларов; только плоскодонку украли в ту же ночь, а на другой день одноногий негр объявил, что банк лопнул. Так никто из нас и не получил никаких денег.

— А куда же ты девал десять центов, Джим?

— Сначала я хотел их истратить, а потом увидел сон, и во сне голос сказал мне, чтоб я их отдал одному негру, по имени Валаам, а попросту — Валаамов осел. Он и вправду дурак, надо тебе сказать. Зато, говорят, он счастливый, а мне, вижу, все что-то не везет. Голос сказал: «Пускай Валаам пустит эти десять центов в рост, а прибыль отдаст тебе!» Ну, Валаам деньги взял, а потом в церкви услыхал от проповедника, что кто дает бедному, тот дает богу, и ему за это воздастся сторицей. Он взял и отдал деньги нищему, а сам стал ждать, что из этого выйдет.

— Ну, и что же из этого вышло, Джим?

— Да ничего не вышло. Я никак не мог получить деньги обратно, и Валаам тоже не получил. Теперь уж я денег в долг никому не дам, разве только под залог. А проповедник еще говорит, что непременно получишь во сто раз больше! Мне бы хоть свои десять центов получить обратно, я и то был бы рад, и то было бы ладно.

— Ну, Джим, это еще не беда, раз ты все равно когда-нибудь разбогатеешь.

— Да я ведь и теперь богатый, если рассудить. Я ведь сам себе хозяин, а за меня дают восемьсот долларов. Кабы мне эти деньги, я бы и не просил больше.

Глава девятая

ПЛАВУЧИЙ ДОМ

Мне захотелось еще раз взглянуть на одно место, которое я приметил посредине острова, когда его осматривал; вот мы с Джимом и отправились и скоро туда добрались, потому что остров был всего в три мили длиной и в четверть мили шириной.

Это был довольно длинный и крутой холм, или горка, футов

в сорок высотой. Мы еле-еле вскарабкались на вершину — такие там были крутые склоны и непролазные кусты. Мы исходили и излазили все кругом и в конце концов нашли хорошую, просторную пещеру почти на самом верху, на той стороне, что ближе к Иллинойсу. Пещера была большая, как две-три комнаты вместе, и Джим мог стоять в ней выпрямившись. В пещере было прохладно. Джим решил сейчас же перенести туда наши вещи, но я сказал, что незачем нам все время лазить вверх и вниз.

Джим сказал, что если мы спрячем челнок в укромном месте и перетаскаем все пожитки в пещеру, то сможем прятаться здесь, когда кто-нибудь переправится на остров, и без собак нас нипочем не найти. А кроме того, птенцы недаром предсказывали дождь, так неужели я хочу, чтобы все промокло?

Мы вернулись обратно, взяли челнок, подплыли поближе к пещере и перетаскали туда все наши вещи. Потом отыскали такое место, где можно было спрятать челнок под густыми ивами. Мы сняли несколько рыб с крючков, опять закинули удочки и пошли готовить обед.

Вход в пещеру был такой широкий, что можно было бы вкатить бочонок; с одной стороны входа пол немножко приподнимался, и там было ровное место, очень удобное для очага. Мы развели там огонь и сварили обед.

Мы расстелили одеяла прямо на полу, уселись и пообедали. Все остальные вещи мы разместили в глубине пещеры, так, чтобы они были под рукой. Скоро потемнело, начала сверкать молния, загремел гром; значит, птицы-то оказались правы. Сейчас же полил и дождь, сильный, как из ведра, а такого ветра я еще никогда не видывал. Это была самая настоящая летняя гроза. Стало так темно, что снаружи все казалось черно-синим и очень красивым; а дождь лил так сильно, что деревья чуть подальше виднелись смутно и как будто сквозь паутину; а то вдруг налетит вихрь, пригнет деревья и вывернет листья светлой стороной наизнанку, а после того поднимется такой здоровый ветер, что деревья машут ветвями как бешеные; а когда тьма делалась всего черней и гуще, вдруг — фсс! — и становилось светло как днем; становилось видно на сотню шагов дальше прежнего, как гнутся на ветру верхушки деревьев; а через секунду опять делалось темно, как в пропасти, и со страшной силой грохотал гром, а потом раскатывался по небу все ниже, ниже, словно пустые бочки по лестнице,— знаете, когда лестница длинная, а бочки сильно подскакивают.

— Вот это здорово, Джим! — сказал я.— Я бы никогда отсюда не ушел. Дай-ка мне еще кусок рыбы да горячую лепешку.

— Ну вот видишь, а без Джима не был бы ты здесь. Сидел бы ты в лесу без обеда и еще промок бы до костей. Да-да, сынок!

Куры уж знают, когда дождик пойдет, и птицы в лесу тоже...

Дней десять или двенадцать река все поднималась и поднималась и наконец вышла из берегов. В низинах остров залило водой на три-четыре фута, и иллинойский берег тоже. По эту сторону острова река стала шире на много миль, а миссурийская сторона как была, так и осталась в полмили шириной, потому что миссурийский берег — это сплошная стена утесов.

Днем мы ездили вокруг острова на челноке. В глубине леса было очень прохладно и тенисто, даже когда солнце жарило вовсю. Мы с трудом пробирались между деревьями, а местами дикий виноград заплел все так густо, что приходилось подаваться назад и искать другую дорогу. Ну, и на каждом поваленном дереве сидели кролики, змеи и прочая живность; а после того как вода простояла день-другой, они от голода сделались такие смирные, что подъезжай и прямо бери их руками кто хочет; только, конечно, не змеи и не черепахи — эти соскакивали в воду. На горе, где была наша пещера, они кишмя кишели. Если бы мы захотели, то могли бы завести себе сколько угодно ручных зверей.

Как-то вечером мы выловили небольшое звено от плота — хорошие сосновые доски. Звено было в двенадцать футов шириной и в пятнадцать-шестнадцать футов длиной, а над водой выдавался дюймов на шесть, на семь прочный ровный настил. Иной раз мы видели днем, как мимо проплывали бревна, только не ловили их: при дневном свете мы носу не показывали из пещеры.

В другой раз ночью перед самым рассветом мы плыли к верхнему концу острова и вдруг видим — с западной стороны плывет целый дом. Дом был двухэтажный и здорово накренился. Мы подъехали и забрались в него — влезли в окно верхнего этажа. Но было еще совсем темно, ничего не видно; тогда мы вылезли, привязали челнок и сели дожидаться, пока рассветет.

Когда мы поравнялись с нижним концом острова, начало светать. Мы заглянули в окно. Разглядели кровать, стол, два старых стула, и еще на полу валялось много разных вещей, а на стене висела одежда. В дальнем углу лежало что-то вроде человека. Джим окликнул:

— Эй, ты!

Но тот не пошевельнулся. Тогда и я тоже окликнул его. А потом Джим сказал:

— Он не спит, он мертвый. Ты не ходи, я сам пойду погляжу.

Он влез в окно, подошел к лежащему человеку, нагнулся, поглядел и говорит:

— Это мертвец. Да еще к тому же и голый. Его застрелили сзади. Должно быть, дня два или три, как он умер. Поди сюда, Гек, только не смотри ему в лицо — уж очень страшное.

Я совсем не стал на него смотреть. Джим прикрыл его старым тряпьем, только это было ни к чему: я глядеть на него не собирался. На полу валялись старые, замасленные карты, пустые бутылки из-под виски и еще две маски из черного сукна, а все стены были сплошь исписаны самыми скверными словами и разрисованы углем. На стене висели два заношенных ситцевых платья, соломенная шляпка, юбки и рубашки и кое-что из мужской одежды. Много вещей мы снесли в челнок — могло пригодиться. На полу валялась старая соломенная шляпа, какие носят мальчишки; я ее тоже прихватил. А еще там лежала бутылка из-под молока, заткнутая тряпкой, чтоб ребенку сосать. Мы бы взяли и бутылку, да только она была разбитая. Были еще обшарпанный, старый сундук и кожаный чемодан со сломанными застежками; и тот и другой стояли раскрытые, но ничего дельного в них не осталось. По тому, как были разбросаны вещи, видно было, что хозяева убежали второпях и не смогли унести с собой все пожитки.

Нам достались: старый жестяной фонарь, большой нож без ручки, новенький карманный ножик фирмы Барлоу (такой ножик ни в одной лавке не купишь дешевле чем за полдоллара), много сальных свечей, жестяной подсвечник, фляжка, жестяная кружка, рваное ватное одеяло, дамская сумочка с иголками, булавками, нитками, куском воска, пуговицами и прочей чепухой, топорик и гвозди, перемет потолще моего мизинца, с большущими крючками, свернутая в трубку оленья шкура, собачий ошейник, подкова, пузырьки с лекарствами, но без ярлыков; а когда мы собрались уже уходить, я нашел довольно приличную скребницу, а Джим — старый смычок от скрипки и деревянную ногу. Ремни вот только оторвались, а так совсем хорошая нога, разве только что мне она была длинна, а Джиму коротка́. А другую ногу мы так и не нашли, сколько ни искали.

Так что, вообще говоря, улов был неплохой. Когда мы собрались отчаливать от дома, уже рассвело. Мы были на четверть мили ниже острова; я велел Джиму лечь на дно челнока и прикрыл его ватным одеялом, а то, если б он сидел, издалека было бы видно, что это негр. Пока я греб к иллинойскому берегу, нас отнесло еще на полмили вниз по течению. Потом я держался под самым берегом, в полосе стоячей воды, и мы вернулись на остров без всяких приключений, никого не встретив.

Вдруг видим — с западной стороны плывет целый дом.

Глава десятая

ЧЕМ ГРОЗИТ ЗМЕИНАЯ КОЖА

После завтрака мне пришла охота поговорить про мертвеца и про то, как его убили, только Джим не захотел. Он сказал, что этим можно накликать беду, а кроме того, как бы мертвец не повадился к нам таскаться по ночам — ведь человек, который не похоронен, скорей станет везде шляться, чем тот, который устроен и лежит себе спокойно на своем месте. Это, пожалуй, было верно, так что я спорить не стал, только все думал об этом: мне любопытно было знать, кто же это его застрелил и для чего.

Мы хорошенько осмотрели одежду, которая нам досталась, и нашли восемь долларов серебром, зашитые в подкладку старого пальто из попоны. Джим сказал, что эти люди, наверно, украли пальто — ведь если бы они знали про зашитые деньги, так не оставили бы его здесь. Я ответил, что, верно, они и убили его хозяина, только Джим не захотел про это разговаривать.

Я ему сказал:

— Вот ты думаешь, что это не к добру. А что ты говорил позавчера, когда я принес змеиную кожу, которую нашел на горе? Ты говорил, будто нет хуже приметы, как взять в руки змеиную кожу. А что плохого случилось? Мы вон сколько всего набрали, да еще восемь долларов в придачу! Хотел бы я, чтоб у нас каждый день бывала такая беда, Джим!

— Ничего не значит, сынок, ничего не значит. Ты не очень-то расходись. Беда еще впереди. Попомни мои слова: еще впереди.

Так оно и вышло. Этот разговор был у нас во вторник, а в пятницу после обеда мы лежали на травке у обрыва; у нас вышел весь табак, я пошел в пещеру за табаком и наткнулся там на гремучую змею. Я ее убил, свернул кольцом и положил Джиму на одеяло: думаю, вот будет потеха, когда Джим найдет у себя на постели змею! Но, конечно, к вечеру я про нее совсем позабыл. Пока я разводил огонь, Джим бросился на одеяло, а там оказалась подружка убитой змеи, которая и укусила Джима.

Джим вскочил да как заорет! И первое, что мы увидели при свете, была эта гадина: она свернулась кольцом и уже приготовилась опять броситься на Джима. Я ее в одну минуту укокошил палкой, а Джим схватил папашину бутыль с водкой и давай хлестать.

Он был босиком, и змея укусила его в пятку. А все оттого, что я, дурак, позабыл: если где-нибудь оставить мертвую змею, подружка обязательно приползет и обовьется вокруг нее. Джим велел мне отрубить змеиную голову и выбросить, а потом снять со змеи кожу и поджарить кусочек мяса. Я так и сделал. Он

съел и сказал, что это его должно вылечить. И еще он велел мне снять с нее гремушки и привязать ему к руке. Потом я потихоньку вышел из пещеры и забросил обеих змей подальше в кусты: мне вовсе не хотелось, чтобы Джим узнал, что все это вышло из-за меня.

Джим все потягивал да потягивал из бутыли, и время от времени на него находило: он вдруг начинал вертеться и орать как полоумный, а потом опомнится — и опять за бутыль.

Ступня у него здорово распухла, и вся нога выше ступни — тоже; а потом мало-помалу начала действовать водка. Ну, думаю, теперь дело пойдет на поправку. Хотя, по мне, лучше змеиный укус, чем папашина водка.

Джим пролежал четыре дня и четыре ночи. После этого опухоль спала, и он выздоровел. Я решил, что ни за какие коврижки больше не дотронусь до змеиной кожи — ведь вон что из этого получается. Джим сказал, что в следующий раз я ему, надо полагать, поверю: брать в руки змеиную кожу — это уж такая дурная примета, что хуже не бывает; может, это еще и не

конец. Он говорил, что в сто раз лучше увидеть молодой месяц через левое плечо, чем дотронуться до змеиной кожи. Ну, я и сам теперь начал так думать, хотя раньше всегда считал, что нет ничего глупей и неосторожней, чем глядеть на молодой месяц через левое плечо. Старый Хэнк Банкер вот так поглядел один раз, да еще и похвастался. И что же? Не прошло и двух лет, как он свалился пьяный с дроболитной башни и расшибся, можно сказать, в лепешку; его всунули между двух дверей вместо гроба и, говорят, так и похоронили; сам я этого не видел, а слыхал от отца. И, уж конечно, вышло это оттого, что он, как дурак, глядел на месяц через левое плечо.

Так вот дни проходили за днями, и река опять спа́ла и вошла в берега. Мы первым делом насадили на большой крючок ободранного кролика, закинули лесу в воду и поймали сома ростом с человека: длиной он был в шесть футов два дюйма, а весил фунтов двести. Мы, конечно, даже вытащить его не могли: он бы нас зашвырнул в Иллинойс. Мы просто сидели и смотрели, как он рвался и метался, пока не издох. В желудке у него мы нашли медную пуговицу, круглый шар и много всякой дряни. Мы разрубили шар топором, и в нем оказалась катушка. Джим сказал, что, должно быть, она пролежала у него в желудке очень долго, если успела так обрасти и превратиться в шар. По-моему, крупнее этой рыбы никогда не ловили на Миссисипи. Джим сказал, что такого большого сома он первый раз видит. В городе за него дали бы хорошие деньги. Такую рыбу там на рынке продают на фунты, и многие покупают: мясо у сома белое как снег, его хорошо жарить.

На другое утро мне что-то стало скучно и захотелось как-нибудь развлечься. Я сказал Джиму, что, пожалуй, переправлюсь за реку и разузнаю, что там делается. Джиму эта мысль пришлась по вкусу; он только посоветовал мне подождать до темноты, а в городе держать ухо востро. Подумав еще немножко, он сказал — не взять ли мне что-нибудь из старья и не переодеться ли девочкой. Это тоже была хорошая мысль. Мы укоротили одно ситцевое платье, я закатал штаны до колен и влез в него. Джим застегнул сзади все крючки, и оно пришлось мне как раз впору. Я надел соломенный капор, завязал ленты под подбородком, и тогда заглянуть мне в лицо стало не так-то просто — вроде как в печную трубу. Джим сказал, что теперь меня вряд ли кто узнает даже днем. Я практиковался целый день, чтобы привыкнуть к женскому платью, и понемногу стал себя чувствовать в нем довольно удобно. Только Джим сказал, что у девочек походка не такая; а еще он сказал, чтоб я бросил привычку задирать платье и засовывать руки в карманы. Я это запомнил, и дело пошло на лад.

Как только стемнело, я поехал в челноке вверх по течению, держась иллинойского берега.

Я переправился в город немного ниже пристани, и течением меня снесло к окраине. Привязав челнок, я пошел по берегу. В маленькой хибарке, где очень давно никто не жил, теперь горел свет, и мне захотелось узнать, кто это там поселился. Я подкрался поближе и заглянул в окно. Женщина лет сорока сидела за простым сосновым столом и вязала при свече. Лицо было незнакомое: она, должно быть, недавно сюда приехала, потому что всех городских я знал. На этот раз мне повезло, потому что я уже начинал трусить: зачем, думаю, я пошел? Ведь по голосу могут узнать, кто я такой. А если эта женщина хоть два дня прожила в таком маленьком городишке, она, конечно, сможет рассказать все, что мне нужно. Я постучал в дверь, дав себе слово ни на минуту не забывать, что я девчонка.

Глава одиннадцатая

ЗА НАМИ ГОНЯТСЯ!

— Войдите,— сказала женщина, и я вошел.— Садись.

Я сел. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими блестящими глазками и спросила:

— Как же тебя зовут?

— Сара Вильямс.

— А где ты живешь? Здесь где-нибудь поблизости?

— Нет, мэм, в Гукервилле, это за семь миль отсюда, вниз по реке. Я всю дорогу шла пешком и очень устала.

— И проголодалась тоже, я думаю. Сейчас поищу что-нибудь.

— Нет, не надо. Я так проголодалась, что зашла на ферму в двух милях отсюда, и сейчас мне есть не хочется. Вот почему я так поздно. Моя мать лежит больная, денег у нас нет, и ничего нет; я пошла к моему дяде, Абнеру Муру. Мать сказала: он живет на том конце города. Я тут никогда еще не бывала. Вы его знаете?

— Нет, я еще не всех знаю. Мы тут и двух недель не прожили. До того конца города не так-то близко. Оставайся у нас ночевать. Да сними шляпу.

— Нет, я лучше немного отдохну,— сказал я,— а потом пойду дальше. Я темноты не боюсь.

Она сказала, что одну меня не отпустит, а вот придет ее муж часика через полтора, тогда он меня проводит. Потом она начала рассказывать про своего мужа, про тех родственников,

которые живут вверх по реке, и про тех, которые живут вниз по реке, и что раньше они с мужем жили гораздо лучше, и что напрасно они переехали в наш город, надо было просто не обращать ни на что внимания, и так далее, и так далее; я уже начал думать, что зря я надеялся у нее разузнать, что делается в нашем городе, но в конце концов она добралась-таки до моего отца и до того, как меня убили; ну, тут уж, думаю, пусть ее болтает. Она рассказала мне и про то, как мы с Томом Сойером нашли двенадцать тысяч (только по ее словам выходило двадцать), и про моего папашу, и про то, что он человек пропащий, и что я тоже пропащий; наконец добралась и до того, как меня убили. Я спросил:

— А кто же это сделал? Мы про это убийство слыхали в Гукервилле, только вот не знаем, кто убил Гека Финна.

— Ну, по-моему, и у нас тут найдется много таких, которые хотели бы узнать, кто его убил. Некоторые думают, что сам старик Финн и убил.

— Да что вы...

— Сначала почти все так думали. А он так и не узнает никогда, что его чуть-чуть не линчевали. Только к ночи передумали и решили, что убил беглый негр по имени Джим.

— Да ведь он...

Я остановился. Решил, что лучше помолчу. А она все говорила и даже не слышала, что я что-то сказал.

— Этот негр сбежал в ту самую ночь, когда убили Гека Финна. Так что за него обещают награду — триста долларов. И за старика Финна тоже назначили награду — двести долларов. Он, видишь ли, явился в город утром, рассказал про убийство и вместе со всеми ездил искать тело, а после того взял да и скрылся. Его в тот же вечер собирались линчевать, только он, видишь ли, удрал. Ну, а на другой день оказалось, что и негр тоже удрал: его никто не видел после десяти часов вечера в ту ночь, когда было совершено убийство, так что стали думать на него. А на другой день, когда весь город только об этом и говорил, вдруг возвращается старый Финн, идет прямо к судье Тэчеру и поднимает шум: требует, чтобы тот ему дал денег и устроил облаву на этого негра по всему Иллинойсу. Судья дал немного, и старик в тот же вечер напился пьяный и до полуночи шлялся по улицам с какими-то двумя подозрительными личностями, а потом ушел вместе с ними. Ну вот, с тех пор он не возвращался, и у нас тут думают, что он и не вернется, пока все это не уляжется. Небось сам убил, а подстроил все так, чтобы думали на грабителей; а там, глядишь, зацапает себе Гековы денежки, и по судам таскаться не надо будет. Но кое-кто говорит: «Где ему убить, он даже и на это не годится!» А я думаю:

ох, и хитер же! Если он еще год не вернется, то ничего ему за это не будет. Доказать-то ведь, понятное дело, ничего нельзя; все тогда успокоится, и он заберет себе Гековы денежки без всяких хлопот.

— Пожалуй, что так. Кто ж ему помешает!.. Значит, теперь больше никто не думает, что это негр убил?

— Да нет, думают еще. Многие все-таки считают, что это он. Но негра должны скоро поймать, так что, может, и добьются от него правды.

— Как, разве его и сейчас еще ловят?

— Плохо же ты соображаешь, как я погляжу! Ведь триста долларов на дороге не валяются. Некоторые думают, что негр и сейчас где-нибудь недалеко. Я тоже так думаю, только помалкиваю. На днях я разговаривала со стариком и старухой, что живут рядом, в бревенчатом сарае, и они сказали, между прочим, что никто никогда не бывает на том вон острове, который называется остров Джексона. «Разве там никто не живет?» — спрашиваю. «Нет, говорят, никто не живет». Я больше ничего им не сказала, только призадумалась. За день или за два до того я там как будто видела дымок, на верхнем конце острова; ну, думаю, этот негр, скорее всего, там и прячется; во всяком случае, думаю, стоило бы весь остров обыскать. С тех пор я больше дыма не видела, так что, может, негр оттуда уже удрал, если это был он. Мой муж нынче съездит и посмотрит вместе с одним соседом. Он уезжал вверх по реке, а сегодня вернулся два часа назад, и я ему все это рассказала.

Мне стало до того не по себе — просто не сиделось на месте. Надо было чем-нибудь занять руки: я взял со стола иголку и начал вдевать в нее нитку. Руки у меня дрожали, и дело не ладилось. Женщина замолчала, и я взглянул на нее: она смотрела на меня как-то странно и слегка улыбалась. Я положил на место иголку с ниткой, будто бы очень заинтересовался ее словами,— да так оно и было,— и сказал:

— Триста долларов — это уйма денег. Хорошо бы, они достались моей матери! А ваш муж поедет туда нынче ночью?

— Ну, а как же! Он пошел в город вместе с тем соседом, про которого я говорила, за лодкой и за вторым ружьем, если удастся у кого-нибудь достать. Они поедут после полуночи.

— А может, будет лучше видно, если они подождут до утра?

— Еще бы не лучше! И негру тоже будет лучше видно. После полуночи он, верно, заснет, а они прокрадутся в лес и в темноте сразу увидят костер, если негр его развел.

— Я об этом не подумала.

Женщина все так же странно смотрела на меня, и мне сделалось очень не по себе. Потом она спросила:

— Как, ты сказала, тебя зовут, деточка?

— М-мери Вильямс.

Кажется, в первый раз я сказал не «Мери», а как-то по-другому, так что я не смотрел на нее; я, кажется, сказал «Сара». Она меня вроде как приперла к стене, и по глазам это, должно быть, было видно,— вот я и боялся на нее взглянуть. Мне хотелось, чтоб она еще что-нибудь сказала: чем дольше она молчала, тем хуже я себя чувствовал.

Вдруг она и говорит:

— Деточка, по-моему, ты сначала сказала «Сара», когда вошла.

— Да, верно: Сара Мери Вильямс. Мое первое имя Сара. Одни зовут меня Сара, а другие — Мери.

— Ах, вот как!

— Да, мэм.

Теперь мне стало легче, но все-таки хотелось удрать. Взглянуть на нее я не решался.

Ну, тут она начала говорить, какие нынче тяжелые времена, и как им с мужем плохо живется, и что крысы обнаглели и разгуливают по всему дому, словно они тут хозяева, и еще много рассказывала, так что мне совсем полегчало. Насчет крыс это она верно сказала. Одна то и дело высовывала нос из дыры в углу. Женщина сказала, что она нарочно держит под рукой всякие вещи, чтобы бросать в крыс, когда остается одна, а то они ей покоя не дают. Она показала мне свинцовую полосу, скрученную узлом, заметив, что вообще-то она попадает метко, только на днях вывихнула руку и не знает, попадет ли теперь. Выждав случай, она швырнула этой штукой в крысу, но не попала и охнула — так больно ей было. Потом попросила меня швырнуть, если крыса высунется еще раз. Мне хотелось поскорей уйти, пока старик не вернулся, но, конечно, я и виду не подавал. Я взял эту штуку и, как только крыса высунулась, нацелился и швырнул,— и если бы крыса сидела на месте, так ей бы не поздоровилось. Женщина сказала, что удар замечательный и что в следующий раз я непременно попаду. Она встала и принесла обратно свинец, а потом взяла моток пряжи и попросила, чтобы я ей помог размотать. Я расставил руки, она надела на них пряжу, а сама все рассказывает про свои дела. Вдруг она прервала рассказ и говорит:

— Ты поглядывай за крысами. Лучше держи свинец на коленях, чтобы был под рукой.

И она тут же бросила мне свинец; я сдвинул колени и поймал его.

А она все говорила; но прошло не больше минуты, как она сняла пряжу у меня с рук, поглядела мне в глаза прямо и очень ласково и говорит:

— Ну, так как же тебя зовут по-настоящему?

— Т-то есть как это?

— Как тебя по-настоящему зовут? Билл, Том, или Боб, или еще как-нибудь?

Меня даже в дрожь бросило, я прямо не знал, как мне быть. Однако я сказал:

— Пожалуйста, не смейтесь над бедной девочкой! Если я вам мешаю, то...

— Ничего подобного. Сядь на место и сиди. Я тебя не обижу и никому про тебя не скажу. Ты только доверься мне, открой свой секрет. Я тебя не выдам; мало того: я тебе помогу. И мой старик поможет, если надо. Ты ведь, должно быть, беглый подмастерье, только и всего. Это ничего не значит. Что ж тут такого! С тобой обращались плохо, вот ты и удрал. Бог с тобой, сынок, я про тебя не скажу никому. Ну, а теперь выкладывай мне все, будь умником.

Тогда я ответил, что не буду больше притворяться, лучше уж все скажу начистоту, только пускай и она сдержит свое слово. И я рассказал ей, что отец с матерью у меня умерли, а меня отдали на воспитание в деревню к старому скряге-фермеру, в тридцати милях от реки. Обращается он со мной так плохо, что я терпел-терпел и не вытерпел: он уехал куда-то дня на два, вот я и воспользовался этим случаем, стащил старое платье у его дочки и удрал и в три ночи прошел эти тридцать миль до реки. Я шел ночью, а днем куда-нибудь прятался и отсыпался; у меня с собой был мешок с хлебом и мясом, который я взял из дому, и этого мне за глаза хватило на всю дорогу. Мой дядя, Абнер Мур, позаботится, наверно, обо мне, вот почему я пришел сюда, в Гошен.

— В Гошен, сынок? Это не Гошен, это Санкт-Петербург. Гошен на десять миль выше по реке. А кто тебе сказал, что это Гошен?

— Сказал один человек; я его встретил сегодня на рассвете, когда собирался свернуть в лес, чтобы выспаться. Он мне сказал, что от перекрестка надо повернуть направо и через пять миль будет Гошен.

— Пьян был, наверно. Он тебе сказал как раз наоборот.

— Он и вел себя как пьяный. Ну, да теперь уж все равно. Надо идти. Я буду в Гошене до рассвета.

— Погоди минутку. Я дам тебе поесть, а то ты проголодаешься.

Она накормила меня и спрашивает:

— А ну-ка, скажи мне: если корова лежит, то как она поднимается с земли — передом или задом? Отвечай живей, не раздумывай: передом или задом?

— Задом.

— Так. А лошадь?

— Лошадь передом.

— С какой стороны дерево обрастает мхом?

— С северной стороны.

— Если пятнадцать коров пасутся на косогоре, то сколько из них смотрят в одну сторону?

— Все пятнадцать.

— Ну, кажется, ты на самом деле жил в деревне. Я думала, может, ты опять меня хочешь надуть. Так как же тебя зовут по-настоящему?

— Джордж Питерс, мэм.

— Так ты не забывай этого, Джордж. А то еще, чего доброго, скажешь мне, что тебя зовут Александер, а потом, когда я тебя поймаю, начнешь вывертываться и говорить, что ты Джордж Александер. И не показывайся женщинам в этом платье. Девочка у тебя получается плохо, но мужчин ты, пожалуй, сумеешь провести. Господь с тобой, сынок, разве так вдевают нитку в иголку? Ты держишь нитку неподвижно и насаживаешь на нее иголку, а надо иголку держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так и делают, а мужчины — всегда наоборот. А когда швыряешь палкой в крысу или еще в кого-нибудь, встань на цыпочки и занеси руку над головой, да постарайся, чтобы это у тебя вышло как можно нескладней, и промахнись этак шагов на пять, на шесть. Бросай, вытянув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и локтем, выставив левое плечо вперед, как мальчишки; и запомни: когда девочке бросают что-нибудь на колени, она их расставляет, а не сдвигает вместе, как ты сдвинул, когда ловил свинец. Я ведь заметила, что ты мальчик, еще когда ты вдевал нитку, а все остальное я пустила в ход для проверки. Ну, теперь отправляйся к своему дяде, Сара Мери Вильямс Джордж Александер Питерс, а если попадешь в беду, дай знать миссис Джудит Лофтес — то есть мне, а я уж постараюсь тебя выручить. Все время держись берега, а когда в следующий раз пустишься в бега, захвати с собой башмаки и носки. Дорога по берегу каменистая — я думаю, ты все ноги собьешь, пока доберешься до Гошена.

Я прошел по берегу шагов сто, а потом повернул обратно и шмыгнул туда, где стоял мой челнок,— довольно далеко от дома, вниз по реке. Я вскочил в челнок и поскорее поднялся вверх по течению, а когда поравнялся с островом, пустился наперерез.

Я снял капор — теперь он был мне ни к чему и только мешал смотреть. Выехав на середину реки, я услышал, как начали бить часы; я остановился и прислушался: бой донесся по воде хотя и слабо, но ясно — одиннадцать. У верхнего конца острова я даже не остановился передохнуть, хотя совсем выбился из сил, а побежал в лес, где прежде была моя стоянка, и развел там хороший костер, на сухом, высоком месте. Потом спрыгнул в челнок и давай изо всех сил грести к нашей стоянке, мили полторы вниз по реке. Я причалил к берегу, скорей пробрался сквозь кусты вверх по горе и ввалился в нашу пещеру. Джим лежал на земле и крепко спал. Я разбудил его:

— Вставай скорее и собирайся, Джим! Нельзя терять ни минуты! Нас ищут. За нами погоня!

Джим не стал ни о чем расспрашивать, ни слова не сказал, но по тому, как он работал, видно было, до чего он перепугался. Через полтора часа все наши пожитки были сложены на плоту, и плот можно было вывести из заводи под ивами, где он был у нас спрятан. Первым делом мы потушили костер в пещере и после этого даже свечи не зажигали.

Я отъехал от берега на челноке и огляделся по сторонам; но если где-нибудь поблизости и была лодка, то я ее не заметил, потому что в темноте при звездах не много разглядишь. Потом мы вывели плот из заводи и тихо-тихо поплыли в тени берега, огибая нижний конец острова,— и все это без единого слова.

Глава двенадцатая

«ЛУЧШЕ ЕЕ НЕ ТРОГАТЬ»

Было, наверное, уже около часа ночи, когда мы в конце концов миновали остров; нам все казалось, что плот еле-еле движется. Если бы нам навстречу попалась лодка, мы пересели бы в челнок и поплыли бы к иллинойскому берегу; и хорошо, что ни одна лодка нам не повстречалась, потому что мы не положили в челнок ни ружья, ни удочки, ни съестного. Мы так спешили, что обо всем этом нам и подумать было некогда. А держать все вещи на плоту, конечно, не очень-то умно.

Если эти люди поехали искать Джима на остров, то, наверно, нашли там разведенный мною костер и всю ночь ждали Джима возле него. Во всяком случае, мы никого не видели, и, если мой костер их не обманул, я не виноват. Я изо всех сил старался их надуть.

Как только показались первые проблески дня, мы пристали к косе у начала большой излучины на иллинойском берегу,

нарубили топором зеленых веток и прикрыли ими плот, чтобы было похоже на заросшую ямку. Коса — это песчаная отмель, заросшая кустами так густо, словно борона зубьями.

По миссурийскому берегу тянулись горы, а по иллинойской стороне — высокий лес, и фарватер здесь проходил ближе к миссурийскому берегу, поэтому мы не боялись, что кто-нибудь на нас наткнется. Мы простояли там весь день, глядя, как плывут по течению мимо миссурийского берега плоты и пароходы и как борются с течением пароходы, идущие вверх по реке. Я передал Джиму свой разговор с женщиной в городе, и он сказал, что это ловкая бестия, и если б она сама пустилась за нами в погоню, то не сидела бы всю ночь, любуясь на костер,— «нет, сэр, она взяла бы с собой собаку».— «Так почему же тогда,— сказал я,— она не велела мужу захватить собаку?» Джим сказал, что это ей, конечно, пришло в голову перед тем, как мужчины отправились за реку; вот они, верно, и пошли в город за собакой и оттого потеряли так много времени, а не то мы не сидели бы тут на косе, в шестнадцати или семнадцати милях от города,— «нет, не сидели бы, мы опять попали бы в этот самый город». А я сказал: «Неважно, почему им не удалось нас поймать, главное — что не поймали».

Как только начало темнеть, мы высунули головы из кустов и поглядели вниз и вверх по реке, а потом на ту сторону и ничего подозрительного не увидели; тогда Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь и чтобы вещи не промокали. Джим сделал в шалаше и пол, на фут выше всего остального плота, так что теперь одеяла и прочие пожитки не заливало волной, которую разводили пароходы. Посредине шалаша мы положили слой глины дюймов в шесть или семь толщиной и обвели его бортом, чтобы глина держалась покрепче,— это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду; в шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее наш старый фонарь,— потому что полагается зажигать фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить; а для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажигать фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекатом,— вода в реке стояла еще высоко, берега там, где пониже, были под водой, и пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение послабее.

В эту вторую ночь мы плыли часов семь, а то и восемь, при скорости течения больше четырех миль в час. Мы удили рыбу,

разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, глядеть на звезды! Не хотелось даже громко разговаривать, да и смеялись мы очень редко, и то потихоньку. Погода, в общем, стояла все время ясная, и с нами ровно ничего не случилось — ни в эту ночь, ни в другую, ни в третью.

Каждую ночь мы проплывали мимо городов; некоторые из них стояли высоко на темном берегу, только и видна была блестящая грядка огней — ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сен-Луи; над ним стояло целое зарево. У нас в Санкт-Петербурге говорили, будто в Сен-Луи живет двадцать, а то и тридцать тысяч человек, но я этому не верил, пока сам не увидел в два часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука: все спали.

Каждый вечер часов около десяти я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на десять, на пятнадцать муки, копченой грудинки и еще чего-нибудь для еды; а иной раз я захватывал и курицу, которой не сиделось на насесте. Отец всегда говорил: «Если попадется под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому, а доброе дело даром никогда не пропадет»,— это такая у него была поговорка. Но я ни разу не видывал, чтобы курица не пригодилась самому папаше.

Утром, на рассвете, я забирался на поля и заимствовал арбуз, или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех позаимствовать, если собираешься когда-нибудь отдать; а от вдовы я слышал, что это тоже воровство, только называется по-другому, и ни один порядочный человек так делать не станет. Джим сказал, что отчасти прав папаша, а отчасти — вдова, так что нам лучше выбросить какие-нибудь два-три предмета из списка и никогда не заимствовать их — тогда не грех будет заимствовать при случае все остальное. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, сидя на плоту, и всё старались решить, от чего нам лучше отказаться: от дынь-канталуп, от арбузов или еще от чего-нибудь. К рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от лесных яблок и финиковых слив[1]. Прежде мы себя чувствовали как-то не совсем хорошо, а теперь нам стало куда легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому что лесные яблоки вообще никуда не годятся, а финиковые сливы поспеют еще не скоро — месяца через два, через три.

Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая

---

[1] Финиковая слива — южный плод, напоминающий хурму.

просыпалась слишком рано или отправлялась на ночлег слишком поздно. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо.

На пятую ночь ниже Сен-Луи нас захватила сильная гроза с громом, молнией и дождем как из ведра. Мы забрались в шалаш, а плот предоставили собственной воле. Когда вспыхивала молния, нам видны были широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обоим ее берегам.

Вдруг я сказал:

— Эй, Джим, погляди-ка вон туда!

Впереди был пароход, который разбился о скалу. Нас несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился; часть верхней палубы торчала над водой, и при каждой новой вспышке как на ладони видно было каждый маленький шпинек и возле большого колокола — кресло с повешенной на его спинку старой шляпой.

Ночь была такая глухая и непогожая и все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому другому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода, который торчал так угрюмо и одиноко посредине реки, захотелось на него забраться и поглядеть, что там такое. Я сказал:

— Давай причалим к нему, Джим.

Джим сначала ни за что не хотел. Он сказал:

— Чего я там не видал, на разбитом пароходе? Нам и тут не плохо; и лучше уж его не трогать, оставить в покое. Да там, наверно, и сторож есть.

— Сам ты сторож! — говорю я.— Там и стеречь-то нечего, кроме лоцманской будки да кают; и неужто ты думаешь, что кто-нибудь станет в такую ночь рисковать жизнью ради лоцманской будки и кают, когда пароход каждую минуту может развалиться и затонуть?

Джим на это ничего сказать не мог, даже и не пытался.

— А кроме того,— говорю я,— мы могли бы позаимствовать что-нибудь стоящее из капитанской каюты. Сигары небось есть — центов по пять за штуку наличными. Пароходные капитаны всегда богачи, получают долларов шестьдесят в месяц; им плевать, сколько бы вещь ни стоила,— они все равно купят, лишь бы понравилось... Сунь в карман свечку, Джим: я не успокоюсь, пока мы не обыщем весь пароход. Неужели ты думаешь, что Том Сойер упустил бы такой случай? Да ни за какие коврижки! Он бы это назвал «приключением» — вот как! И хоть помирал бы, но залез бы на разбитый пароход. И еще проделал бы это с шиком, постарался бы придумать что-нибудь этакое... Ни дать ни взять, сам Христофор Колумб открывает царство небесное. Эх, жалко, что Тома Сойера здесь нету!

Джим поворчал немножко, но все-таки сдался. Он сказал, что

говорить надо как можно меньше, и то потихоньку. Молния как раз вовремя показала нам разбитый пароход; мы причалили к грузовой стреле с правого борта и привязали к ней плот.

Палуба здорово накренилась и была очень покатая. В темноте мы кое-как перебрались на левый борт, к надстройке, осторожно нащупывая дорогу ногами и растопыривая руки, чтобы не напороться на тали, потому что впотьмах не было видно ни зги. Скоро мы наткнулись на световой люк и полезли дальше; еще один шаг — и мы очутились перед дверью, открытой настежь, и — вот вам самое честное слово! — увидели в глубине салона свет и в ту же минуту услышали голоса.

Джим шепнул мне, что ему что-то не по себе и нам лучше отсюда уйти. Я сказал: «Ладно» — и уже хотел было вернуться на плот, как вдруг слышу — кто-то застонал, а потом говорит:

— Ох, не троньте меня, ребята! Я, ей-богу, не донесу.

Другой голос ответил ему очень громко:

— Врешь, Джим Тернер! Знаем мы тебя. Тебе всегда надо больше других, и ты всегда берешь сколько хочешь, а не то, мол, донесу на вас, если не дадите. Но теперь с нас хватит. Во всей стране не сыщется предателя и пса подлее тебя!

К этому времени Джим уже пополз обратно к плоту. Я просто разрывался от любопытства; небось, думаю, Том Сойер ни за что не ушел бы теперь, ну, так и я тоже останусь — погляжу, что такое тут творится. Я стал на четвереньки в узеньком коридорчике и пополз в темноте к корме — и полз до тех пор, пока между мной и салоном не осталась всего одна каюта. Вижу, в салоне лежит на полу человек, связанный по рукам и ногам, а над ним стоят какие-то двое; один из них держит в руке тусклый фонарь, а другой — пистолет, целится в голову лежащего на полу человека и говорит:

— Эх, руки чешутся! Да и следовало бы пристрелить тебя, подлеца!

Человек на полу только ежился и все повторял:

— Не надо, Билл, я, ей-богу, не донесу...

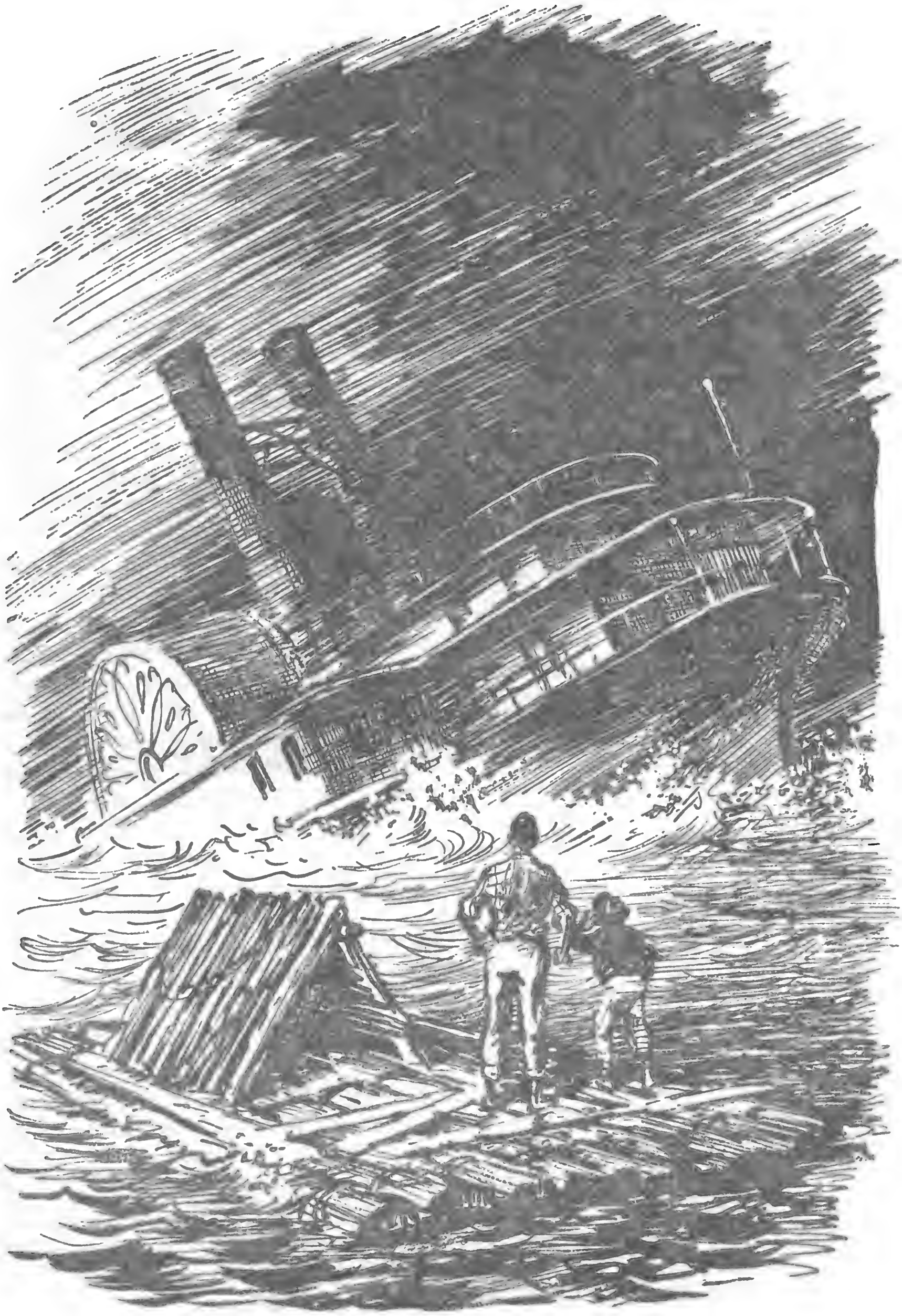
И каждый раз человек с фонарем смеялся и отвечал на это:

— Верно, не донесешь! Вот уж это ты правду говоришь, можно ручаться!

А один раз он сказал:

— Смотри ты, как клянчит! А ведь если бы мы его не осилили да не связали, он бы нас обоих убил. А за что? Так, зря. Потому только, что мы не хотим отдавать свою законную долю,— вот за что! Но теперь, я полагаю, ты никому больше грозить не станешь, Джим Тернер... Убери свой пистолет, Билл!

Билл ответил:



Впереди был пароход, который разбился о скалу.

— И не подумаю, Джейк Паккард. Я за то, чтоб его убить. Так ему и надо! Разве он сам не убил старика Хэтфилда?

— Да я-то не хочу его убивать; уж я знаю почему.

— Спасибо тебе за такие слова, Джейк Паккард! Я их не забуду, пока жив,— сказал человек на полу и вроде как бы всхлипнул.

Паккард, не обращая на него внимания, повесил фонарь на стенку и пошел как раз туда, где я лежал в темноте, а сам сделал Биллу знак идти за ним. Я поскорей попятился назад шага на два, только палуба уж очень накренилась, так что я не успел посторониться вовремя и, чтоб они на меня не наткнулись и не поймали, юркнул в каюту, как раз около того места, где они стояли. Тот, другой, двигался ощупью, хватаясь за стенки в темноте, а когда Паккард добрался до моей каюты, сказал ему:

— Сюда! Входи сюда.

Он и вошел, а Билл за ним. Прежде чем они вошли, я уже юркнул на верхнюю койку, забился в самый угол и очень жалел, что я тут; они стояли совсем рядом, ухватившись руками за край койки, и разговаривали. Я их не видел, но знал, где они стоят, потому что они пили виски и от них несло спиртным. Я порадовался, что ничего не пил, только разница была невелика: они бы меня все равно не учуяли, потому что я даже не дышал. Уж очень я перепугался. Да и кто бы мог дышать, слушая такой разговор? Они говорили тихо и серьезно. Билл хотел убить Тернера. Он сказал:

— Он говорит, что донесет, и обязательно донесет. Даже если мы оба отдадим ему теперь нашу долю, это все равно не поможет, после того как мы поссорились да так здорово его угостили. Он нас выдаст, это уж верно, я тебе говорю. По-моему, лучше его убрать.

— И по-моему, тоже,— очень спокойно сказал Паккард.

— Прах тебя возьми, а ведь я думал, что ты против! Ну что ж, тогда все в порядке. Идем прикончим его.

— Погоди минутку, я еще не все сказал. Слушай. Стрелять хорошо, но можно сделать дело и без шума, если надо. Вот что я тебе скажу: нечего так уж гоняться за веревкой на шею, когда можно сделать то, что ты затеял, по-другому, нисколько не хуже и в то же время ничем не рискуя. Ведь верно?

— Еще бы не верно! А как же это устроить?

— Вот что я думаю: мы пошарим тут по каютам и заберем вещи, какие еще остались, а потом — на берег и спрячем товар. А после того — подождем. Я вот что говорю: пройдет не больше двух часов, как пароход развалится и затонет. Понял? Тернер тоже утонет, и никто не будет в этом виноват, кроме него самого. По-моему, это куда лучше, чем убивать. К чему убивать

человека, когда можно обойтись и без этого? Убивать и глупо и грешно. Ну как, прав я или нет?

— Да, пожалуй, ты прав... А вдруг пароход не развалится и не затонет?

— Что ж, подождем часа два — посмотрим... Так, что ли?

— Ну ладно, пошли.

Они отправились, и я тоже вылез, весь в холодном поту, и пополз к носу. Там было темно, как в погребе, но едва я выговорил хриплым шепотом «Джим», как он охнул возле моего локтя, и я сказал ему:

— Скорее, Джим, некогда валять дурака да охать! На пароходе целая шайка убийц, и если мы не отыщем, где у них лодка, и не пустим ее вниз по реке, чтоб они не могли сойти с парохода, одному из шайки придется плохо. А если мы найдем лодку, то им всем крышка — шериф их заберет. Живей поворачивайся! Я обыщу левый борт, а ты правый. Начинай от плота и...

— Ох, господи! Господи! От плота? Нету больше плота, он отвязался и уплыл! А мы тут остались!

Глава тринадцатая

ЧЕСТНАЯ ПОЖИВА С «ВАЛЬТЕРА СКОТТА»

У меня захватило дух и подкосились ноги. Остаться на разбитом пароходе с этой шайкой! Однако распускать нюни было некогда. Теперь уж во что бы то ни стало надо было найти эту лодку — она была нужна нам самим. И вот мы стали пробираться по правому борту, а сами дрожим и трясемся — еле-еле добрались до кормы; мне казалось, что прошло не меньше недели. Никаких следов лодки. Джим сказал, что дальше он, кажется, идти не может: он так боится, что у него и сил больше нет — совсем ослаб. А я сказал: все равно надо идти, потому что если мы тут останемся, то нам уж наверняка придется плохо. И мы пошли дальше. Мы стали искать кормовую часть надстройки, нашли ее, а потом насилу пробрались ощупью по световому люку, цепляясь за выступы, потому что одним краем он был уже в воде. Только мы подобрались вплотную к двери, смотрим — и лодка тут как тут. Я едва разглядел ее в темноте. Ну и обрадовался же я! Еще секунда — и я бы в нее забрался, но тут как раз открылась дверь. Один из бандитов высунул голову в двух шагах от меня, я уж думал, что теперь мне крышка, а он опять убрал голову и говорит:

— Перевесь подальше этот чертов фонарь, Билл, чтоб его не было видно!

Он бросил в лодку мешок с какими-то вещами, влез в нее сам и уселся. Это был Паккард. Потом вышел Билл и тоже сел в лодку. Паккард сказал тихим голосом:

— Готово, отчаливай!

Я едва удержался за выступ — до того вдруг ослабел. Но тут Билл сказал:

— Погоди, а его ты обыскал?

— Нет. А ты?

— Тоже нет. Значит, его доля при нем и осталась.

— Ну, так пойдем; какой толк брать барахло, а деньги оставлять!

— Послушай, а он не догадается, что у нас на уме?

— Может, и догадается. Но надо же нам забрать эти деньги. Идем!

И они вылезли из лодки и пошли обратно в каюту. Дверь за ними захлопнулась, потому что крен был как раз в эту сторону. Я в один миг очутился в лодке, и Джим тоже скатился вслед за мной. Я схватил нож, перерезал веревку, и мы поплыли.

До весел мы и не дотронулись, не промолвили ни слова, даже шепотом, боялись даже вздохнуть. Мы быстро скользили вниз по течению, в мертвой тишине проплыли мимо кожуха и мимо пароходной кормы; еще секунда-другая — и мы очутились шагов за сто от разбитого парохода; тьма поглотила его, и ничего уже нельзя было разглядеть. Теперь мы были в безопасности и сами знали это.

Когда мы отплыли по течению шагов на триста — четыреста, в дверях надстройки на секунду сверкнул искоркой фонарь, и мы поняли, что мошенники хватились своей лодки и начинают понимать, что им придется так же плохо, как и Тернеру.

Джим взялся за весла, и мы пустились вдогонку за своим плотом. Только теперь я в первый раз пожалел этих мошенников — раньше мне, должно быть, было некогда. Я подумал, как это страшно, даже для убийц, очутиться в таком безвыходном положении. Думаю, почем знать... может, я и сам когда-нибудь стану убийцей — небось мне такая штука тоже не понравится! И потому я сказал Джиму:

— Как только увидим огонек, сейчас же причалим к берегу, повыше или пониже шагов на сто, в таком месте, где можно будет хорошенько спрятать тебя вместе с лодкой, а потом я придумаю что-нибудь: пойду искать людей — пускай заберут эту шайку и спасут их всех, чтобы можно было повесить потом, когда придет их время.

Однако из этого ничего не вышло. Скоро опять началась гроза, на этот раз пуще прежнего. Дождь так и хлестал, и нигде не видно было ни огонька — должно быть, все спали. Мы нес-

лись вниз по реке и глядели, не покажется ли где огонек или наш плот. Прошло очень много времени, и дождь наконец перестал, но тучи всё не расходились, и молния еще поблескивала; как вдруг при одной такой вспышке видим — впереди что-то чернеет на воде: мы — скорее туда.

Это был наш плот. До чего же мы обрадовались, когда опять перебрались на него! И вот впереди, на правом берегу, замигал огонек. Я сказал, что сейчас же туда отправлюсь. Лодка была до половины завалена добром, которое воры собрали на разбитом пароходе. Мы свалили все в кучу на плоту, и я велел Джиму плыть помаленьку дальше, зажечь фонарь, когда он увидит, что уже проплыл мили две, и не гасить огня, пока я не вернусь; потом я взялся за весла и направился туда, где горел свет. Когда я подплыл ближе, показались еще три-четыре огонька, повыше, на горе. Это был городок. Я перестал грести немного выше того места, где горел огонь, и меня понесло по течению. Проплывая мимо, я увидел, что это горит фонарь на большом пароме. Я объехал паром вокруг, отыскивая, где спит сторож; в конце концов я нашел его на битенге[1]; он спал, свесив голову на колени. Я раза два или три толкнул его в плечо и начал плакать.

Он вскочил как встрепанный, потом видит, что это я, потянулся хорошенько, зевнул и говорит:

— Ну, что там такое? Не плачь, мальчик... Что случилось?

Я говорю:

— Папа, и мама, и сестра, и...— Тут я опять всхлипнул.

Он говорит:

— Ну, будет тебе, что ты так расплакался? У всех бывают неприятности, обойдется как-нибудь. Что же с ними такое случилось?

— Они... они... Это вы сторож на пароме?

— Да, я,— говорит он самодовольным тоном.— Я и капитан, и владелец, и первый помощник, и лоцман, и сторож, и старший матрос; а иной раз бывает, что я же и груз, и пассажиры. Я не так богат, как старый Джим Хорнбэк, и не могу швырять деньги направо и налево каждому встречному и поперечному, как он швыряет; но я ему много раз говорил, что не поменялся бы с ним местами; матросская жизнь как раз по мне, а жить за две мили от города, где нет ничего интересного и не с кем слова сказать, я нипочем не стану, даже за все его капиталы... Я говорю...

Тут я перебил его и сказал:

---

[1] Битенг — двойная металлическая тумба или деревянная стойка, за которую крепят причальные канаты.

— Они попали в такую ужасную беду...

— Кто это?

— Да они: папа, мама, сестра и мисс Гукер. И если б вы подъехали туда со своим паромом...

— Куда это «туда»? Где они?

— На разбитом пароходе.

— На каком это?

— Да только один и есть.

— Как, неужто на «Вальтере Скотте»?

— Да.

— Господи! Как же это они туда попали, скажи на милость?

— Само собой, не нарочно.

— Еще бы! Господи боже ты мой, ведь им не быть живыми, если они оттуда не выберутся как можно скорей! Да как же это они туда попали?

— Очень просто. Мисс Гукер была в гостях в городе...

— А, в Бутс-Лендинге! Ну, а потом?

— Она была там в гостях, а к вечеру поехала со своей негритянкой на конском пароме ночевать к своей подруге, мисс... как ее?.. забыл фамилию; они потеряли кормовое весло, и их отнесло течением мили за две, прямо на разбитый пароход, кормой вперед, и паромщик с негритянкой и лошадьми потонули, а мисс Гукер за что-то уцепилась и влезла на этот самый пароход. Через час после захода солнца мы подъехали на нашей шаланде, а было уже так темно, что мы не заметили разбитого парохода и тоже налетели на него; только мы все спаслись, кроме Билла Уиппла... такой был хороший мальчик! Лучше бы я утонул вместо него, право...

— Господи боже ты мой, я в жизни ничего подобного не слыхивал! А потом что же вы стали делать?

— Ну, мы кричали-кричали, только река там такая широкая — никто нас не услышал. Вот папа и говорит: «Надо кому-нибудь добраться до берега, чтоб нам помогли». Я только один умею плавать, поэтому я бросился в реку и поплыл, а мисс Гукер сказала: если я никого раньше не найду, то здесь у нее есть дядя, так чтобы я его разыскал — он все устроит. Я вылез на берег и просил встречных что-нибудь сделать, а они говорят: «Как, в такую темень? И течение такое сильное. Не стоит и пробовать, ступай к парому». Так если вы теперь поедете...

— Я бы и поехал, ей-богу, да и придется, пожалуй... А кто же, прах вас возьми, заплатит за это? Как ты думаешь? Может, твой отец?

— Не беспокойтесь. Мисс Гукер мне сказала, что ее дядя Хорнбэк...

— Черт возьми, так он ей дядя? Послушай, ступай вон туда, где горит огонь, а оттуда свернешь к западу — через четверть мили будет харчевня; скажи там, чтобы свели тебя поскорей к Джиму Хорнбэку, он за все заплатит. И не копайся — он захочет узнать, что случилось. Скажи ему, что я его племянницу выручу раньше, чем он успеет добраться до города; а я побежал будить своего механика.

Я пошел на огонек, а как только капитан скрылся за углом, повернул обратно, сел в лодку, проехал вверх по течению шагов шестьсот около берега, а потом спрятался между дровяными баржами; я успокоился только тогда, когда паром отошел от пристани. Но, вообще-то говоря, мне было очень приятно, что я так хлопочу из-за этих жуликов: ведь мало кто стал бы их выручать. Мне хотелось, чтобы вдова про это узнала. Она, наверно, гордилась бы тем, что я помогаю таким мерзавцам, потому что вдова и вообще все добрые люди очень любят помогать всяким мерзавцам да мошенникам.

И вдруг гляжу — по темной реке плывет разбитый пароход. Меня сначала даже в холодный пот бросило, а потом я стал грести к пароходу. Он почти совсем затонул, и я сразу увидел, что едва ли кто тут остался живой. Я объехал кругом парохода, покричал немного, но никто мне не ответил — все было тихо, как в могиле. Мне стало их жалко, но не очень; я подумал: если они никого не жалели, то и я не буду их жалеть.

Потом появился паром; я отъехал на середину реки, направляясь наискосок и вниз по течению; потом, когда решил, что меня уже не видно с парома, перестал грести и оглянулся: вижу, они крутятся около парохода, вынюхивают, где останки мисс Гукер,— капитан понимал, что дядюшка Хорнбэк их потребует! Скоро поиски прекратились, и паром направился к берегу, а я налег на весла и стрелой полетел вниз по реке.

Прошло много-много времени, прежде чем показался фонарь на плоту у Джима; а когда показался, то мне все чудилось, будто он от меня миль за тысячу. Когда я доплыл до плота, небо начинало уже светлеть на востоке; мы причалили к острову, спрятали плот, потопили лодку, а потом легли и заснули как убитые.

Глава четырнадцатая

БЫЛ ЛИ СОЛОМОН МУДРЕЦОМ?

Проснувшись, мы пересмотрели все добро, награбленное шайкой на разбитом пароходе; там оказались и сапоги, и одеяла, и платье, и всякие другие вещи, а еще — много книг, подзорная

труба и три ящика сигар. Такими богачами мы с Джимом еще никогда в жизни не были. Сигары оказались первый сорт. До вечера мы валялись в лесу и разговаривали; я читал книжки, и вообще мы недурно провели время. Я рассказал Джиму обо всем, что произошло на пароходе и на пароме, и сообщил ему кстати, что это и называется приключением; а он ответил, что не желает больше никаких приключений. Джим рассказал, что в ту минуту, когда я залез в надстройку, а он прокрался обратно к плоту и увидел, что плота больше нет, он чуть не умер со страху: так и решил, что ему теперь крышка, чем бы дело ни кончилось, потому что если его не спасут, так он утонет; а если кто-нибудь его спасет, так отвезет домой, чтоб получить за него награду, а там мисс Уотсон продаст его на Юг. Что ж, он был прав; он почти всегда бывал прав, голова у него работала здорово — для негра, конечно.

Я долго читал Джиму про королей, про герцогов и про графов, про то, как пышно они одеваются, в какой живут роскоши и как называют друг друга «ваше величество», «ваша светлость» и «ваша милость» вместо «мистер». Джим только глаза таращил — так все это казалось ему любопытно.

— А я и не знал, что их так много. Я даже ни про кого из них и не слыхивал никогда, кроме как про царя Соломона[1], да еще, пожалуй, видел королей в карточной колоде, если только они идут в счет. А сколько король получает жалованья?

— Сколько получает? — сказал я.— Да хоть тысячу долларов, если ему вздумается. Сколько хочет, столько и получает,— всё его.

— Вот это здорово! А что ему надо делать, Гек?

— Да ничего не надо! Тоже выдумал! Сиди себе на троне,— вот и все.

— Нет, верно?

— Еще бы не верно! Просто сидит на троне... ну, может, если война, так поедет на войну. А в остальное время ничего не делает: или охотится, или... Ш-ш! Слышишь? Что это за шум?

Мы вскочили и побежали глядеть, но ничего особенного не было — это за мысом шумело пароходное колесо,— и мы уселись на прежнее место.

— Да,— говорю я,— а в остальное время, если им скучно, они затевают драку с парламентом; а если делают не по-ихнему, так король просто велит рубить всем головы. А то больше прохлаждается в гареме.

— Где прохлаждается?

— В гареме.

— А что это такое — гарем?

— Это такое место, где король держит своих жен. Неужто не слыхал про гарем? У Соломона он тоже был; а жен у него было чуть не миллион.

— Да, верно, я и позабыл. Гарем — это что-то вроде пансиона, по-моему. Ну, должно быть, и шум же у них в детской! Да еще, я думаю, эти жены все время ругаются, а от этого шуму только больше. А еще говорят, что Соломон был первый мудрец на свете! Я этому ни на грош не верю. И вот почему. Да разве умный человек станет жить в таком кавардаке? Нет, не станет. Умный человек возьмет и построит котельный завод, а захочется ему тишины и покоя — он возьмет да и закроет его.

— А все-таки он был первый мудрец на свете; это я от самой вдовы слыхал.

---

[1] Соломон — по библейскому преданию, царь, мудростью.

— Мне все равно, что бы там вдова ни говорила. Не верю я, что он был мудрец. Иной раз он поступал совсем глупо. Помнишь, как он велел разрубить младенца пополам?

— Ну да, мне вдова рассказывала.

— Вот-вот! Глупей ничего не придумаешь! Ты только посмотри, что получается: пускай этот пень будет одна женщина, а ты будешь другая женщина, а я Соломон, а вот этот доллар — младенец. Вы оба говорите, что он ваш. Что же я делаю? Мне бы надо спросить у соседей, чей это доллар, и отдать его настоящему хозяину в целости и сохранности — умный человек так и сделал бы,— так нет же: я беру доллар и разрубаю его пополам; одну половину отдаю тебе, а другую — той женщине. Вот что твой Соломон хотел сделать с ребенком! Я тебя спрашиваю: куда годится половинка доллара? Ведь на нее ничего не купишь. А на что годится половина ребенка? Да я и за миллион половинок ничего не дал бы.

— Ну, Джим, ты совсем не понял, в чем тут суть. Ей-богу, не понял.

— Кто? Я? Да ну тебя! Что ты мне толкуешь про твою суть! Когда есть смысл, я его вижу, а в этом никакого смысла нет. Спорили ведь не из-за половинки, а из-за целого младенца; а если человек думает, что он этот спор может уладить одной половинкой, так, значит, в нем ни капли мозгу нет. Ты мне не рассказывай про твоего Соломона, Гек, я его и без тебя знаю.

— Говорят тебе, ты не понял, в чем суть.

— А ну ее, твою суть! Что я знаю, то знаю. По-моему, настоящая суть вовсе не в этом — дальше надо глядеть. Суть в том, какие у этого Соломона привычки. Возьми, например, человека, у которого всего один ребенок или два,— неужто такой человек станет детьми бросаться? Нет, не станет, он себе этого не может позволить. Он знает, что детьми надо дорожить. А если у него пять миллионов детей бегает по всему дому, тогда, конечно, дело другое. Ему все равно, что младенца разрубить надвое, что котенка. Все равно много останется. Ребенком больше, ребенком меньше — для Соломона это все один черт.

Первый раз вижу такого негра. Если взбредет ему что-нибудь в голову, так этого уж ничем оттуда не выбьешь. Ни от одного негра Соломону так не доставалось. Тогда я перевел разговор на других королей, а Соломона оставил в покое. Рассказал ему про Людовика XVI[1], которому в старые времена отрубили голову во Франции, и про его маленького сына, дельфина[2], ко-

---

[1] Людовик XVI — французский король. Во время французской буржуазной революции XVIII века казнен восставшим народом.

[2] Гек хотел сказать «дофин». Дофином назывался наследник французского короля.

торый тоже должен был царствовать, а его взяли да и посадили в тюрьму; говорят, он там и умер.

— Бедняжка!

— А другие говорят — он убежал из тюрьмы и спасся. Будто бы уехал в Америку.

— Вот это хорошо! Только ему тут не с кем водить знакомство — королей у нас ведь нет. Правда, Гек?

— Нету.

— Значит, и должности для него здесь нет. Что же он тут будет делать?

— Я почем знаю! Некоторые из них поступают в полицию, а другие учат людей говорить по-французски.

— Что ты, Гек, да разве французы говорят не по-нашему?

— Да, Джим; ты бы ни слова не понял из того, что они говорят, ни единого слова!

— Вот это да! Отчего же это так получается?

— Не знаю отчего, только это так. Я в книжке читал про ихнюю тарабарщину. А вот если подойдет к тебе человек и спросит: «Парле ву франсе?» — ты что подумаешь?

— Ничего не подумаю, возьму да и тресну его по башке,— то есть если это не белый. Позволю я негру так меня ругать!

— Да что ты, это не ругать! Это просто значит: «Говорите ли вы по-французски?»

— Так почему же он не спросит по-человечески?

— Он так и спрашивает. Только по-французски.

— Смеешься ты, что ли? Я и слушать тебя больше не хочу. Чушь какая-то!

— Слушай, Джим, а кошка умеет говорить по-нашему?

— Нет, не умеет.

— А корова?

— И корова не умеет.

— А кошка говорит по-коровьему или корова по-кошачьему?

— Нет, не говорят.

— Это уж само собой так полагается, что они говорят по-разному, верно ведь?

— Конечно, верно.

— И само собой так полагается, чтобы кошка и корова говорили не по-нашему?

— Ну еще бы, конечно!

— Так почему же и французу нельзя говорить по-другому, не так, как мы говорим? Вот ты мне что скажи!

— А кошка разве человек?

— Нет, Джим.

— Так зачем же кошке говорить по-человечески? А корова разве человек? Или она кошка?

— Конечно, нет.

— Так зачем же ей говорить по-человечески или по-кошачьи? А француз — человек?

— Человек.

— Ну вот видишь! Так почему же, черт его возьми, он не говорит по-человечески? Вот ты что мне скажи!

Тут я понял, что нечего попусту толковать с негром — все равно его ничему путному не выучишь. Взял да и плюнул.

Глава пятнадцатая

БЕДНОГО ДЖИМА ДУРАЧАТ

Мы думали, что за три ночи доберемся до Каира, на границе штата Иллинойс, где Огайо впадает в Миссисипи,— только этого мы и хотели. Плот мы продадим, сядем на пароход и поедем вверх по Огайо; там свободные штаты, и бояться нам будет нечего.

Ну, а на вторую ночь спустился туман, и мы решили причалить к заросшему кустами островку — не ехать же дальше в тумане! Но когда я, держа наготове веревку, подъехал в челноке к кустам, гляжу — не к чему даже и привязывать плот: торчат одни тоненькие прутики. Я обмотал веревку вокруг куста поближе к воде, но течение здесь было такое сильное, что куст вырвало с корнями и плот поплыл дальше. Я заметил, что туман становится все гуще и гуще, и мне стало так неприятно и жутко, что я, кажется, с полминуты не мог двинуться с места, а плот тем временем уже исчез из виду: в двадцати шагах ничего нельзя было разглядеть. Я прыгнул в челнок, перебежал на корму, схватил весло и начал отпихиваться. Челнок не поддавался. Я так спешил, что позабыл его отвязать. Я вскочил и начал развязывать веревку, только руки у меня тряслись от волнения, и я долго ничего не мог с ними поделать.

Отчалив, я сейчас же пустился догонять плот, держась вдоль островка. Все шло хорошо, пока островок не кончился, но в нем не было и шестидесяти шагов в длину, а после этого я влетел в густой белый туман и потерял всякое представление о том, где нахожусь.

Грести, думаю, не годится: того и гляди, налечу на отмель или на берег; подожду — и пускай меня несет по течению; а все-таки невмоготу было сидеть сложа руки. Я крикнул и прислушался. Откуда-то издалека донесся едва слышный крик, и мне сразу стало веселей. Я стрелой полетел в ту сторону, а сам прислушиваюсь, не раздастся ли крик снова. Опять слышу крик —

и оказывается, я еду совсем не туда, а забрал вправо. А в следующий раз, гляжу, я забрал влево и опять недалеко уехал, потому что кружил то в одну, то в другую сторону, а крик-то был слышен все время прямо передо мной.

Думаю: хоть бы этот дурак догадался бить в сковородку да колотил бы все время; но он не догадался, и эти промежутки тишины между криками сбивали меня с толку. А я все греб и греб — и вдруг слышу крик позади себя. Тут уж я совсем запутался. Или это кто-нибудь другой кричит, или я повернул кругом.

Я бросил весло. Слышу, опять кричат, опять позади меня, только в другом месте, и теперь крик не умолкал, только все менял место, а я откликался, пока крик не послышался опять впереди меня; тогда я понял, что лодку повернуло носом вниз по течению и, значит, все в порядке, если это Джим кричит, а не какой-нибудь плотовщик. Когда туман, я плохо разбираюсь в голосах, потому что в тумане не видно и не слышно по-настоящему, все кажется другим и звучит по-другому.

Крик все не умолкал, и через какую-нибудь минуту я налетел на крутой берег с большими деревьями, похожими в тумане на клубы дыма; меня отбросило влево и понесло дальше, между корягами, где бурлила вода,— такое быстрое там было течение.

Через секунду-другую я снова попал в густой белый туман; кругом стояла тишина. Теперь я сидел неподвижно, слушая, как бьется мое сердце, и, кажется, даже не дышал, пока оно не отстукало сотню ударов.

Вдруг я понял, в чем дело, и махнул на все рукой. Этот крутой берег был остров, и Джим теперь был по другую его сторону. Это вам не отмель, которую можно миновать за десять минут. На острове рос настоящий большой лес, как и полагается на острове в пять-шесть миль длиной и больше чем в полмили шириной.

Минут, должно быть, пятнадцать я сидел тихо, насторожив уши. Меня, само собой, несло вниз по течению со скоростью четырех-пяти миль в час, но этого обыкновенно не замечаешь — наоборот, кажется, будто лодка стоит на воде неподвижно; а если мелькнет мимо коряга, то даже дух захватывает — думаешь: вот здорово мчится коряга! А что сам мчишься, это и в голову не приходит. Если вы думаете, что ночью на реке, в тумане, ничуть не страшно и не одиноко, попробуйте сами хоть разок, тогда узнаете.

Около получаса я все кричал: нет-нет и крикну; наконец слышу — откуда-то издалека доносится отклик; я попробовал плыть на голос, только ничего не вышло; я тут же попал, долж-

но быть, в целое гнездо островков, потому что смутно видел их по обеим сторонам челнока — то мелькала узкая протока между ними, а то, хоть и не видно было, я знал, что отмель близко, потому что слышно было, как вода плещется о сушняк и всякий мусор, прибитый к берегу. Тут, среди отмелей, я сбился и не слышал больше крика; сначала попробовал догнать его, но это было хуже, чем гоняться за блуждающим огоньком. Я еще никогда не видел, чтобы звук так метался и так быстро и часто менял место.

Я старался держаться подальше от берега, и раз пять-шесть мне пришлось изо всех сил отталкиваться от него, чтобы не налететь на островки; я подумал, что и плот, должно быть, то и дело наталкивается на берег, а не то он давно уплыл бы вперед и крика не было бы слышно: плот несло быстрее челнока.

Немного погодя меня как будто опять вынесло на открытую воду, только никаких криков я больше ниоткуда не слышал. Я подумал, что Джим налетел на корягу и теперь ему конец. Я здорово умаялся и решил лечь на дно челнока и больше ни о чем не думать. Засыпать я, конечно, не собирался, только мне так хотелось спать, что глаза сами собой закрывались; ну, говорю себе, вздремну хоть на минутку.

Я, должно быть, задремал не на одну минутку, потому что, когда проснулся, звезды ярко сияли, туман рассеялся и меня несло кормой вперед по большой излучине реки. Сначала я никак не мог понять, где я; мне казалось, что все это я вижу во сне; а когда начал что-то припоминать, то смутно, словно прошлую неделю.

Река тут была страшно широкая, и лес по обоим берегам рос густой-прегустой и высокий-превысокий, стена стеной, насколько я мог рассмотреть при звездах. Я поглядел вниз по течению и увидел на воде черное пятно. Я погнался за ним, а когда догнал, то это оказались всего-навсего два бревна, связанные вместе. Потом увидел еще пятно и погнался за ним тоже, потом еще одно — и на этот раз угадал правильно: это был плот.

Когда я добрался до плота, Джим сидел и спал, свесив голову на колени, а правую руку положив на весло. Другое весло было сломано, и весь плот был покрыт илом, листьями и сучками. Значит, и Джиму тоже пришлось не сладко.

Я привязал челнок, улегся на плоту под самым носом у Джима, начал зевать и потягиваться, а потом говорю:

— Эй, Джим, разве я уснул? Чего ж ты меня не разбудил?

— Господи помилуй! Никак, это ты, Гек? И ты не помер и не утонул — ты опять здесь? Даже не верится, сынок, просто не верится! Дай-ка я погляжу на тебя, сынок, потрогаю. Нет, в са-

мом деле, ты не помер! Вернулся живой и здоровый, такой же, как был, все такой же, слава богу!

— Что это с тобой, Джим? Выпил ты, что ли?

— Выпил? Я выпил? Когда же это я мог выпить?

— Так отчего же ты несешь такую чепуху?

— Как — чепуху?

— Как! А чего же ты болтаешь, будто я только что вернулся и будто меня тут не было?

— Гек... Гек Финн, погляди-ка ты мне в глаза... погляди мне в глаза! Разве ты никуда не ездил?

— Я — ездил? Да что это ты? Никуда я не ездил. Куда мне ездить?

— Послушай, Гек, тут, ей-ей, что-то неладно... да-да! Может, я не я? Может, я не тут, а еще где-нибудь? Вот ты что мне скажи!

— По-моему, ты здесь, дело ясное, а вот мозги у тебя набекрень, старый дуралей!

— У кого — у меня? Нет, ты мне ответь: разве ты не ездил в челноке с веревкой привязывать плот к кустам на отмели?

— Нет, не ездил. К каким еще кустам? Никаких кустов я не видал.

— Ты не видал кустов на отмели? Ну как же, ведь веревка сорвалась, плот понесло по реке, а ты остался в челноке и пропал в тумане...

— В каком тумане?

— В каком? В том самом, который был всю ночь. И ты кричал, и я кричал, а потом мы запутались среди островков, и один из нас сбился с дороги, а другой все равно что сбился, потому что не знал, где находится,— ведь так было дело? А я наткнулся на целую кучу этих самых островов и еле оттуда выбрался, чуть-чуть не потонул! Разве не так было дело, сынок, не так разве? Вот что ты мне скажи!

— Ну, Джим, я тут ничего не понимаю. Никакого я не видел тумана, ни островов, и вообще никакой путаницы не было — ровно ничего! Мы с тобой сидели всю ночь и разговаривали, и всего-то прошло минут десять, как ты уснул, да и я, должно быть, тоже. Напиться ты за это время не мог — значит, тебе все это приснилось.

— Да как же все это могло присниться в десять минут?

— А все-таки приснилось же, раз ничего этого не было.

— Да как же, Гек, ведь я все это так ясно помню...

— Не все ли равно, ясно или не ясно. Ничего этого не было. Я-то знаю, потому что я тут все время был.

Джим молчал минут пять — должно быть, размышлял. Потом говорит:

— Ну ладно, Гек, может, мне это и приснилось, только убей меня бог, если я когда-нибудь видел такой удивительный сон! И никогда я так не уставал во сне, как на этот раз.

— Что ж тут такого! Бывает, что и во сне тоже устаешь. Только это был вещий сон... Ну-ка, расскажи мне все по порядку, Джим.

Джим пустился рассказывать и рассказал все, как было, до самого конца, только здорово приукрасил. Потом сказал, что теперь надо «истолковать» сон, потому что он послан нам в предостережение. Первая отмель — это человек, который хочет нам добра, а течение — это другой человек, который нас от него старается отвести. Крики — это предостережения, которые время от времени посылаются нам свыше, и, если мы не постараемся понять их, они нам принесут несчастье, вместо того чтоб избавить от беды. Куча островков — это неприятности, которые грозят нам, если мы свяжемся с нехорошими людьми и вообще со всякой дрянью; но если мы не будем соваться не в свое дело, не будем с ними переругиваться и дразнить их, тогда мы выберемся из тумана на светлую, широкую реку, то есть в свободные штаты, и больше у нас никаких неприятностей не будет.

Когда я перелез на плот, было совсем темно от туч, но теперь небо опять расчистилось.

— Ну ладно, Джим, это ты все хорошо растолковал,— говорю я,— а вот это что значит?

Я показал ему на сор и листья на плоту и на сломанное весло. Теперь их было отлично видно.

Джим поглядел на сор, потом на меня, потом опять на сор. Вещий сон так крепко засел у него в голове, что он никак не мог выбить его оттуда и сообразить, в чем дело. Но когда он сообразил, то пристально поглядел на меня, уже не улыбаясь, и сказал:

— Что эта штука значит? Я тебе скажу. Когда я устал грести и звать тебя и заснул, у меня просто сердце разрывалось, потому что ты пропал, а что будет со мной и с плотом, я даже и не думал. А когда я проснулся и увидел, что ты опять тут, живой и здоровый, я так обрадовался, что чуть не заплакал, готов был стать на колени и ноги тебе целовать. А тебе бы только врать да морочить голову старику Джиму! Это все мусор, дрянь; и дрянь те люди, которые своим друзьям сыплют грязь на голову и поднимают их на смех.

Он встал и поплелся в шалаш, залез туда и больше со мной не разговаривал. Но и этого было довольно. Я почувствовал себя таким подлецом, что готов был целовать ему ноги, лишь бы он взял свои слова обратно.

Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем я пе-

реломил себя и пошел унижаться перед негром; однако я пошел и даже ничуть об этом не жалею и никогда не жалел. Больше я его не разыгрывал, да и на этот раз не стал бы морочить ему голову, если бы знал, что он так обидится.

Глава шестнадцатая

ЗМЕИНАЯ КОЖА ДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛО

Мы проспали почти весь день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный-длинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронная процессия. На каждом конце плота было по четыре длинных весла; значит, плотовщиков должно было быть никак не меньше тридцати человек. Мы насчитали на нем пять больших шалашей, довольно далеко один от другого, посредине горел костер, и на обоих концах стояло по шесту с флагом. Выглядел он просто замечательно. Быть плотовщиком на таком плоту — это тебе не пустяки!

Нас донесло течением до большой излучины, и тут набежали облака, и ночь сделалась душная. Река здесь была очень широкая, и по обоим ее берегам стеной стоял густой лес; не видно было ни одной прогалины, ни одного огонька. Мы разговаривали насчет Каира: узнаем мы его или нет, когда до него доплывем. Я сказал, что, верно, не узнаем; говорят, там всего около десятка домов, а если огни погашены, то как узнать, что проезжаешь мимо города? Джим сказал, что там сливаются вместе две большие реки, вот поэтому и будет видно. А я сказал, что нам может показаться, будто мы проезжаем мимо острова и опять попадаем в ту же самую реку. Это встревожило Джима и меня тоже. Спрашивается, что же нам делать? Я предложил причалить к берегу, как только покажется огонек, и сказать там, что мой отец остался на шаланде, по реке он плывет первый раз и послал меня узнать, далеко ли до Каира. Джим нашел, что это неплохая мысль, так что мы выкурили по трубочке и стали ждать.

Делать было нечего, только глядеть в оба, когда покажется город, и не прозевать его. Джим сказал, что уж он-то наверно не прозевает: ведь как только он увидит Каир, так в ту же минуту станет свободным человеком; а если прозевает, то опять очутится в рабовладельческих штатах, а там прощай свобода! Чуть ли не каждую минуту он вскакивал и кричал:

— Вот он, Каир!

Но это был все не Каир. То это оказывались блуждающие огоньки, то светляки, и он опять усаживался сторожить Каир.

Джим говорил, что его бросает то в жар, то в холод оттого, что он так скоро будет на свободе. И меня тоже, скажу я вам, бросало то в жар, то в холод: я только теперь сообразил, что он и в самом деле скоро будет свободен, а кто в этом виноват? Я, конечно. Совесть у меня была нечиста, и я никак не мог ее успокоить. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял и не мог ни на минуту забыть — меня жгло как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват: ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это не помогало, совесть все твердила и твердила мне: «Ведь ты знал, что он беглый: мог бы добраться в лодке до берега и сказать кому-нибудь». Это было правильно, и отвертеться я никак не мог. Вот в чем была загвоздка! Совесть шептала мне: «Что тебе сделала бедная мисс Уотсон? Ведь ты видел, как удирает ее негр, и никому не сказал ни слова. Что тебе сделала бедная старуха, за что ты ее так обидел? Она тебя учила грамоте, учила, как надо себя вести, была к тебе добра как умела. Плохого она тебе ничего не сделала».

Мне стало так не по себе и так стыдно, хоть помирай. Я бегал взад и вперед по плоту и ругал себя, и Джим тоже бегал взад и вперед по плоту мимо меня. Нам не сиделось на месте. Каждый раз, как он подскакивал и кричал: «Вот он, Каир!», меня прошибало насквозь, точно пулей, и я думал, что, если это в самом деле окажется Каир, я тут же умру со стыда.

Джим громко разговаривал все время, пока я думал. Он говорил, что в свободных штатах он первым долгом начнет копить деньги и ни за что не истратит зря ни единого цента; а когда накопит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы в тех местах, где жила мисс Уотсон, а потом они вдвоем будут работать и выкупят обоих детей; а если хозяин не захочет их продать, то он подговорит какого-нибудь аболициониста, чтобы тот их выкрал.

От таких разговоров у меня по спине мурашки забегали. Прежде он никогда не посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменился от одной мысли, что скоро будет свободен! Недаром говорит старая пословица: «Дай негру палец — он заберет всю руку». Вот что, думаю, выходит, если действовать без соображения. Этот самый негр, которому я все равно что помогал бежать, вдруг набрался храбрости и заявляет, что он украдет своих детей, а я даже не знаю их хозяина и никакого худа от него не видал.

Мне было обидно слышать это от Джима — такая с его стороны низость! Совесть начала меня мучить пуще прежнего, пока, наконец, я не сказал ей: «Да оставь ты меня в покое! Ведь еще

не поздно: я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и заявить». Я сразу успокоился и повеселел, и на душе стало куда легче. Все мои огорчения как рукой сняло. Я стал глядеть, не покажется ли где огонек, и даже что-то напевал про себя. Наконец замигал огонек, и Джим крикнул:

— Мы спасены, Гек, спасены! Скачи и пляши от радости! Это добрый старый Каир, я уж знаю!

Я сказал:

— Я поеду в челноке, погляжу сначала. Знаешь, Джим, это, может, еще и не Каир.

Он вскочил, приготовил челнок, положил на дно свою старую куртку, чтобы мне было мягче сидеть, подал весло, а когда я отчаливал, крикнул вслед:

— Скоро я прямо запляшу от радости, буду кричать, что это все из-за Гека! Я теперь свободный человек! А где ж мне было освободиться, если бы не Гек? Это все Гек сделал! Джим никогда тебя не забудет, Гек! Такого друга у Джима никогда не было, а теперь ты вовсе единственный друг у старика Джима!

А я-то греб, старался изо всех сил, спешил донести на него! Но как только он это сказал, у меня и руки опустились. Теперь я греб еле-еле и сам не знал, рад я, что поехал, или не рад. Когда я отъехал шагов на пятьдесят, Джим крикнул:

— Вон он едет, верный Гек! Единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима!

Ну, мне просто нехорошо стало. Однако надо же это сделать! Нельзя отвиливать. А тут как раз плывет ялик, и в нем два человека с ружьями; они остановились, и я тоже.

Один из них и спрашивает:

— Что это там такое?

— Плот,— говорю я.

— А ты тоже с этого плота?

— Да, сэр.

— Мужчины на нем есть?

— Всего один, сэр.

— Видишь ли, нынче ночью сбежало пять негров, вон оттуда, чуть повыше излучины. У тебя кто там: белый или черный?

Я не сразу ответил. Хотел было, только слова никак не шли с языка. С минуту я силился собраться с духом и все им рассказать, только храбрости не хватило — струсил хуже зайца. Но вижу, что ничего у меня не выйдет, махнул на все рукой и говорю:

— Белый.

— Ну, мы сами поедем посмотрим.

— Да уж, пожалуйста,— говорю,— ведь там мой папаша.

Помогите мне — возьмите плот на буксир до того места, где фонарь горит на берегу. Он болен, и мама тоже, и Мери Энн.

— Ах ты, черт возьми! Нам некогда, мальчик... Ну, да, я думаю, помочь надо. Цепляйся своим веслом — поедем.

Я прицепился, и они налегли на весла. После того как они сделали два-три взмаха веслами, я сказал:

— Папаша будет вам очень благодарен. Все уезжают, как только попросишь дотянуть плот до берега, а мне самому это не под силу.

— Подлость какая! Нет, все-таки чудно что-то... А скажи-ка, мальчик, что такое с твоим отцом?

— С ним... у него... да нет, ничего особенного.

Они перестали грести. До плота теперь оставалось совсем немного. Первый сказал:

— Мальчик, ты врешь! Что такое у твоего отца? Говори правду, тебе же будет лучше.

— Я скажу, сэр. Честное слово, скажу, только не бросайте нас, ради бога! У него... у него... Вам ведь не надо подъезжать близко к плоту, вы только возьмете нас на буксир... Пожалуйста, я вам брошу веревку.

— Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живее! — говорит один.

Они повернули назад.

— Держись подальше, мальчик,— против ветра. Черт возьми, боюсь, как бы не нанесло заразу ветром! У твоего папы черная оспа — вот что, мальчик, и ты это прекрасно знаешь. Что ж ты нам сразу не сказал? Хочешь, чтобы мы все перезаразились?

— Нет,— говорю я, а сам всхлипываю.— Я раньше все так и говорил, а они тогда уезжали и бросали нас.

— Бедняга, а ведь это, пожалуй, верно. Нам тебя очень жалко, только вот какая штука... Понимаешь, нам оспой болеть не хочется. Слушай, я тебе скажу, что делать. Ты сам и не пробуй причалить к берегу, не то разобьешь все вдребезги. Проплывешь еще миль двадцать вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Тогда будет уже светло; а когда станешь просить, чтобы вам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. Не будь дураком, а то опять догадаются, в чем дело. Мы тебе добра хотим, так что ты уж отъезжай от нас еще миль на двадцать, будь любезен. Туда, где фонарь горит, не стоит ехать — это всего-навсего лесной склад... Слушай, твой отец, наверно, бедный, не повезло ему, надо сказать. Вот, смотри, я кладу золотую монету в двадцать долларов на эту доску — возьмешь, когда подплывет поближе. Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять, да ведь и с оспой тоже шутки плохи, сам знаешь.

— Погоди, Паркер,— сказал другой.— Вот еще двадцать от меня, положи на доску... Прощай, мальчик! Ты так и сделай, как мистер Паркер тебе говорит, тогда все будет в порядке.

— Да-да, мальчик, верно! Ну, прощай, всего хорошего! Если где увидишь беглого негра, зови на помощь и хватай его — тебе за это денег дадут.

— Прощайте, сэр,— говорю я.— А беглых негров я уж постараюсь не упускать.

Они поехали дальше, а я перелез на плот, чувствуя себя очень скверно: ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо; если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак: и надо бы, да он не может, и ничего у него не получится. Потом я подумал с минуту и говорю себе: постой, а если б ты поступил как надо и выдал бы Джима, было бы тебе лучше, чем сейчас? Нет, говорю, все равно было бы плохо; я так же неважно себя чувствовал бы, как и сейчас. Что толку стараться делать все, как полагается, когда от этого тебе одно только беспокойство; а когда поступаешь как не надо, то беспокойства никакого, а награда все равно одна и та же. Я стал в тупик и ответа не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану, а буду всегда действовать, как покажется сподручней. Я заглянул в шалаш. Джима там не было. Я оглядел весь плот — его не было нигде. Я крикнул:

— Джим!

— Я здесь, Гек. Их больше не видно? Говори потише.

Он сидел в реке за кормой, один только нос торчал из воды. Я сказал ему, что никого больше не видно, и он влез на плот.

— Я ведь все слышал и скорей соскользнул в воду; хотел уж плыть к берегу, если они причалят к плоту. Потом, думаю, опять приплыву, когда они уедут. А здорово ты их надул, Гек! Ловкая вышла штука! Я тебе вот что скажу, сынок: по-моему, только это и спасло старика Джима. Джим никогда этого не забудет, голубчик!

Потом мы стали говорить про деньги. Очень недурно заработали — по двадцати долларов на брата. Джим сказал, что теперь мы можем ехать на пароходе палубными пассажирами и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов и что двадцать миль для плота сущие пустяки, только хотелось бы, чтобы мы были уже там.

На рассвете мы причалили к берегу, и Джим все старался спрятать плот получше. Потом он целый день увязывал наши пожитки в узлы и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом.

Вечером, часов около десяти, мы увидели огни какого-то города в излучине на левом берегу.

Я поехал в челноке узнать, что это за город. Очень скоро мне повстречался человек в ялике, который ловил рыбу на дорожку[1]. Я подъехал поближе и спросил:

— Скажите, мистер, это Каир?

— Каир? Нет! Одурел ты, что ли?

— Так какой же это город?

— Если тебе хочется знать, поезжай да спроси. А будешь тут околачиваться да надоедать, так смотри — получишь у меня!

Я повернул обратно к плоту. Джим ужасно расстроился, но я ему сказал, что следующий город, наверно, и будет Каир.

Перед рассветом нам попался еще один город, и я опять хотел поехать на разведку, только берег тут был высокий, и я не поехал. Джим сказал, что Каир на низком берегу. А я про это и позабыл. Для дневной остановки мы выбрали заросший кустами островок, поближе к левому берегу. Я начал кое о чем догадываться. И Джим тоже. Я сказал:

— Может, мы прозевали Каир в тумане тогда ночью?

Джим ответил:

— Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм всегда не везет. Я так и думал, что змеиная кожа даст себя знать.

— Лучше бы я ее в глаза не видал, Джим! Лучше бы она мне и не попадалась!

— Ты не виноват, Гек: ты не знал. Не ругай себя за это.

Когда совсем рассвело, так оно и оказалось: поближе к берегу текла светлая вода реки Огайо, а дальше к середине начиналась мутная вода — старая грязнуха Миссисипи! Так что с Каиром все было кончено.

Мы потолковали, как нам быть. На берег нечего было и соваться; вести плот против течения мы тоже не могли. Только и оставалось, дождавшись темноты, пробираться назад в челноке — будь что будет.

Мы проспали весь день в кустах, чтобы набраться сил, а когда после наступления сумерек вышли к плоту, оказалось, что челнок исчез!

Мы долго молчали. Да и говорить-то было нечего. Оба мы отлично знали, что это действует змеиная кожа, да и какой толк от разговоров? Опять, пожалуй, накличешь беду, как будто нам этого мало, а там оно и пойдет одно за другим, пока не научимся держать язык за зубами. Потом мы обсудили, что нам делать, и решили, что ничего другого не остается, как плыть вниз по реке на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и

---

[1] Дорожка — рыболовная снасть.

ехать на нем обратно. Мой отец взял бы челнок взаймы, если бы поблизости никого не случилось, но мы этого делать не собирались, чтобы за нами не было погони. Когда стемнело, мы пустились в путь на плоту.

Всякий, кто еще не поверил, как опасно брать в руки змеиную кожу, даже после всего, что с нами случилось, обязательно поверит, когда почитает дальше, что она с нами натворила.

Челноки обыкновенно покупают с плотов, стоящих на причале у берега. Но пока что мы таких плотов не видели и ехали себе да ехали — должно быть, больше трех часов подряд. И тьма сделалась какая-то серая, очень густая, а это тоже гадость не лучше тумана: не разберешь, какие берега у реки, и вдаль тоже ничего не видно. Было уже очень поздно и совсем тихо; вдруг слышим — вверх по реке идет пароход. Мы зажгли фонарь — думали, что с парохода нас заметят. Обыкновенно низовые пароходы проходили далеко от нас; они огибают отмели и, чтобы бороться с течением, ищут стоячей воды под высоким берегом, но в такие ночи они идут прямо по фарватеру против течения.

Мы слышали, как пыхтит пароход, но не видели его, пока он не подошел совсем близко. Он шел прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не задев его; иногда колесо откусывает конец весла, а потом лоцман высовывается и хохочет, хвастается — вот он какой ловкач! Мы так и думали, что пароход постарается пройти поближе, не задев плота, но он шел прямехонько на нас. Он был большой и несся быстро, словно черная туча, усеянная рядами светлячков по бокам; и вдруг он навалился на нас, большой и страшный, и длинный ряд открытых топок засверкал, как раскаленные докрасна зубы, а огромный нос и кожухи нависли прямо над нами. Оттуда заорали на нас, зазвонили в колокол, чтобы остановить машину, поднялась ругань, зашипел пар, и не успел Джим спрыгнуть в воду с одной стороны, а я — с другой, как пароход с треском прошел прямо по плоту.

Я нырнул — и нырнул как можно глубже, так, чтобы достать до дна, потому что надо мной должно было пройти тридцатифутовое колесо, и я старался оставить ему побольше места. Обыкновенно я мог продержаться под водой минуту, а тут, должно быть, продержался минуты полторы. Потом скорей вынырнул наверх, и то чуть не задохся. Я выскочил из воды до подмышек, отфыркиваясь и выплевывая воду. Течение здесь, конечно, было ужасно сильное, и, конечно, пароход тронулся секунд через десять после того, как остановился, потому что на плотовщиков они обычно не обращают внимания; теперь он пыхтел где-то выше по реке, и в темноте мне его не было видно, хоть я и слышал пыхтение.

Я раз двадцать окликнул Джима, но не услышал ответа; тогда я ухватился за доску, какая попалась под руку, и поплыл к берегу, толкая эту доску перед собой. Но скоро я разобрал, что течение здесь повертывает к левому берегу, а это значило, что я попал на перекат; и потому я свернул влево.

Это был один из тех перекатов, которые идут наискосок и тянутся на целых две мили, так что я переправлялся очень долго. Я благополучно доплыл до берега и вылез. Впереди почти ничего нельзя было разглядеть, но я пошел напрямик, без дороги, и, пройдя около четверти мили, наткнулся впотьмах на большой старинный бревенчатый дом. Я хотел было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут на меня выскочили собаки, завыли и залаяли, и у меня хватило догадки не двигаться с места.

Глава семнадцатая

ГРЭНДЖЕРФОРДЫ БЕРУТ МЕНЯ К СЕБЕ

Прошло около минуты, и кто-то крикнул из окна, не высовывая головы:

— Тише вы!.. Кто там?

Я сказал:

— Это я.

— Кто это «я»?

— Джордж Джексон, сэр.

— Что вам нужно?

— Мне ничего не нужно, сэр, я только хочу пройти мимо, а собаки меня не пускают.

— Так чего же ты шатаешься тут по ночам, а?

— Я не шатался, сэр, я упал за борт с парохода.

— Ах, вот как, упал?.. Ну-ка, высеките огонь кто-нибудь... Как, ты сказал, тебя зовут? Повтори!

— Джордж Джексон, сэр. Я еще мальчик.

— Послушай, если ты говоришь правду, то тебе нечего бояться: никто тебя не тронет. Только не шевелись, стой смирно, где стоишь... Разбудите Боба и Тома и принесите ружья... Джордж Джексон, есть еще кто-нибудь с тобой?

— Никого, сэр.

Я услышал, как в доме забегали люди, и увидел свет. Тот же человек крикнул:

— Убери свечу, Бетси, старая ты дура, в уме ли ты? Поставь ее на пол за дверью... Боб, если вы с Томом готовы, займите свои места!

— Мы готовы.

— Ну, Джордж Джексон, знаешь ты Шепердсонов?

— Нет, сэр, никогда про них не слыхал.

— Что ж, может, это и правда, а может, и нет. Ну, все готово. Входи, Джордж Джексон. Да смотри не торопись — иди медленно. Если с тобой кто-нибудь есть, пусть останется позади; если он покажется, его застрелят. Подходи теперь. Подходи медленно, отвори дверь сам — ровно настолько, чтобы пролезть, слышишь?

Я не спешил, да и не мог бы спешить при всем желании. Я осторожно, в полной тишине подходил к двери; только слышно было, как бьется мое сердце,— так мне казалось. Собаки молчали, так же как и люди, но шли за мной по пятам. Дойдя до крыльца с тремя вытесанными из бревен ступеньками, я услышал, как в доме отпирают двери и отодвигают засов. Я взялся за ручку и тихонько нажал на дверь — еще и еще, пока кто-то не сказал: «Так. Теперь довольно, просунь голову в дверь». Просунуть-то я просунул, а сам думаю: сейчас ее отрубят.

Свеча стояла на полу, и все они собрались вокруг и с четверть минуты глядели на меня, а я на них. Трое взрослых мужчин целились в меня из ружей, так что я даже зажмурился, сказать по правде; самый старый, лет шестидесяти, уже седой, двое других лет по тридцати или больше — все трое видные, красивые, а еще очень славная седенькая старушка и позади нее две молодые женщины, которых я плохо разглядел.

Старик сказал:

— Ну, так... я думаю, все в порядке. Входи!

Как только я вошел, старый джентльмен сам запер дверь, за-

двинул засов и велел молодым людям с ружьями идти в комнаты; все пошли в большую гостиную с новым лоскутным ковром на полу, собрались в угол, чтобы их не видно было из передних окон,— в боковой стене окон не было. Свечу подняли повыше, все стали меня разглядывать и говорили: «Нет, он не из Шепердсонов, в нем нет ничего шепердсоновского».

Потом старик сказал, что я, верно, ничего не буду иметь против обыска,— он не хочет меня обидеть, только проверит, нет ли при мне оружия. Он не стал лазить по карманам, а только провел руками поверх одежды и сказал, что все в порядке. Он велел мне не стесняться, быть как дома и рассказать, кто я такой; но тут вмешалась старушка:

— Господь с тобой, Саул! Бедняжка насквозь промок, а может быть, он и голоден. Как ты думаешь?

— Ты права, Рэчел,— я и позабыл.

Тогда старушка сказала:

— Бетси (это негритянке), сбегай принеси ему, бедняжке, чего-нибудь поесть, поскорей!.. А вы, девочки, ступайте разбудите Бака и скажите ему... Ах, вот он и сам... Бак, возьми этого чужого мальчика, сними с него мокрое платье и дай ему что-нибудь из своего, сухое.

Баку на вид казалось столько же, сколько и мне,— лет тринадцать-четырнадцать или около того, хотя он был немножко выше меня ростом. Он был в ночной рубашке, весь взлохмаченный. Он вышел, зевая и протирая кулаком глаза, а другой рукой тащил за собой ружье. Он спросил:

— Разве Шепердсонов тут не было?

Ему ответили, что нет, это была ложная тревога.

— Ну ладно,— сказал он.— А если б они сунулись, я бы хоть одного да подстрелил!

Все засмеялись, и Боб сказал:

— Где тебе, Бак! Они успели бы снять с нас скальпы, пока ты там раскачивался.

— Конечно, никто за мной не пришел, это просто свинство! Всегда меня затирают — так я никогда себя не покажу.

— Ничего, Бак,— сказал старик,— еще успеешь себя показать! Все в свое время, не беспокойся. А теперь ступай, делай, что мать тебе велела.

Мы с Баком поднялись наверх в его комнату, он дал мне свою рубашку, куртку и штаны, и я все это надел. Пока я переодевался, он спросил, как меня зовут, но, прежде чем я успел ему ответить, он пустился мне рассказывать про сойку и про кролика, которых позавчера поймал в лесу, а потом спросил, где был Моисей, когда погасла свечка. Я сказал, что не знаю, никогда даже и не слыхал про это.

— Ну, так угадай,— говорит он.

— Как же я угадаю,— говорю я,— когда в первый раз это слышу?

— А догадаться ты не можешь? Ведь это совсем просто.

— Какая свечка? — говорю я.

— Не все ли равно какая,— говорит он.

— Не знаю, где он был,— говорю я.— Ну, скажи: где?

— В темноте — вот где!

— А если ты знал, так чего же ты меня спрашивал?

— Да ведь это же загадка, неужто не понимаешь? Скажи, ты у нас долго будешь гостить? Оставайся совсем. Мы с тобой здорово повеселимся, уроков у нас сейчас нет... Есть у тебя собака? У меня есть; бросишь в воду щепку — она лезет и достает. Ты любишь по воскресеньям причесываться и всякие там глупости? Я-то, конечно, не люблю, только мать меня заставляет. Черт бы побрал эти штаны! Пожалуй, надо надеть, только не хочется — уж очень жарко. Ты готов? Ну ладно, пошли, старик!

Холодная кукурузная лепешка, холодная солонина, свежее масло, пахтанье — вот чем они меня угощали внизу, и ничего вкуснее я никогда в жизни не едал. Бак и его мама и все остальные курили коротенькие трубочки, кроме двух молодых девушек и негритянки, которая ушла. Все курили и разговаривали, а я ел и тоже разговаривал. Обе девушки сидели, завернувшись в одеяла, с распущенными волосами. Все они меня расспрашивали, а я им рассказывал, как мы с папашей и со всем семейством жили на маленькой ферме в самой глуши Арканзаса, и как сестра Мери Энн убежала из дому и вышла замуж, и больше мы про нее ничего не слыхали, а Билл поехал ее разыскивать и тоже пропал без вести, а Том и Морт умерли, и больше никого не осталось, кроме нас с отцом, и он так и сошел на нет от забот и горя; а я после его смерти собрал, какие остались, пожитки, потому что ферма была не наша, и отправился вверх по реке, палубным пассажиром, а потом свалился в реку с парохода; вот каким образом я попал сюда. Они мне сказали тогда, что я могу у них жить сколько захочу. После этого начало светать, и все разошлись по своим спальням, и я тоже пошел спать вместе с Баком, а когда проснулся поутру, то — поди ж ты! — совсем позабыл, как меня зовут. Около часа я лежал и все припоминал, а когда Бак проснулся, спросил у него:

— Ты умеешь писать, Бак?

— Умею,— говорит он.

— А вот мое имя небось не знаешь, как пишется!

— Знаю не хуже твоего,— говорит он.

— Ладно,— говорю я,— валяй.

— Д-ж-о-р-д-ж Д-ж-е-к-с-о-н — вот тебе! — говорит он.

— Правильно, знаешь,— говорю я,— а я думал, что нет. Это не такое имя, чтобы всякий мог его правильно написать, не выучив наперед.

Я и сам записал его потихоньку: вдруг спросят, как оно пишется, а я и отбарабаню без запинки, будто для меня это дело привычное.

Семья была очень хорошая, и дом тоже был очень хороший. Я еще никогда не видал в деревне такого хорошего дома, с такой богатой обстановкой. Парадная дверь запиралась не на железный засов и не на деревянный с кожаным ремешком, а надо было повертывать медную щищку — все равно как в городских домах. В гостиной не стояло ни одной кровати, ничего похожего на кровать, а ведь даже в городе во многих гостиных стоят кровати. Камин был большой, выложенный внизу кирпичами; а чтобы кирпичи были всегда чистые и красные, их поливали водой и терли другим кирпичом; иногда их покрывали, на городской манер, слоем красной краски, которая называется «испанская коричневая». Таган был медный и такой большой, что и бревно выдержал бы. Посредине каминной доски стояли часы под стеклом, и на нижней половине стекла был нарисован город с кружком вместо солнца, и видно было, как за стеклом ходит маятник. Приятно было слушать, как они тикают; а иногда в дом заходил бродячий часовщик, чистил их и приводил в порядок, и тогда они били раз двести подряд, пока совсем не выдохнутся. Хозяева не расстались бы с этими часами ни за какие деньги.

Справа и слева от часов стояло по большому заморскому попугаю из чего-то вроде мела, самой пестрой раскраски. Рядом с одним попугаем стояла глиняная кошка, а рядом с другим — глиняная собака, и если их нажать, они пищали; только рот у них не раскрывался и морда была все такая же равнодушная. Они пищали снизу. Сзади всех этих штучек были засунуты два больших развернутых веера из крыльев дикого индюка. На столе посреди комнаты стояла красивая корзина с целой грудой яблок, апельсинов, персиков и винограда, гораздо лучше и румяней настоящих, только видно было, что они не настоящие, потому что местами они облупились и под краской белел гипс или мел — из чего там они были сделаны.

Стол был покрыт красивой клеенкой с нарисованным красной и синей краской орлом и каймой вокруг. Мне сказали, что эту клеенку привезли из самой Филадельфии. По всем четырем углам стола ровными стопками были разложены книги. Одна из них была большая семейная Библия с картинками. Другая — «Путь паломника», про одного человека, который бросил свою

семью, только там не говорилось почему. Я много раз за нее принимался, в разное время. Написано было интересно, но не очень понятно. Еще там были «Дары дружбы», со всякими интересными рассказиками и стишками, только стихов я не читал. Еще были «Речи» Генри Клея и «Домашний лечебник» доктора Ганна; из него можно было узнать, что надо делать, если кто-нибудь заболеет или умрет. Был еще молитвенник и разные другие книжки. А еще там стояли красивые плетеные стулья, совсем крепкие — не то чтобы какие-нибудь продавленные или дырявые, вроде старой корзины.

На стенах у них висели картины — больше всего Вашингтоны, да Лафайеты[1], да всякие битвы, да шотландская королева Мария Стюарт, а одна картина называлась «Подписание Декларации»[2]. Были еще такие картинки, которые у них назывались «пастель»; это одна из дочерей сама нарисовала, когда ей было пятнадцать лет; теперь она уже умерла. Таких картинок я еще нигде не видел — уж очень они были черные. На одной была нарисована женщина в узком черном платье, туго подпоясанная под мышками, с рукавами вроде капустных кочнов и в большой черной шляпе вроде совка, с черной вуалью, а из-под платья видны были тоненькие белые ножки в черных узеньких, как долото, туфельках, с черными тесемками крест-накрест. Она стояла под плакучей ивой, задумчиво опираясь правым локтем на могильный памятник, а в левой руке держала белый платок и ридикюль, и под картинкой было написано: «Ах, неужели я больше тебя не увижу!» На другой — молодая девушка с волосами, зачесанными на макушку, и с гребнем в прическе, большим, как спинка стула, плакала в платок, держа на ладони мертвую птичку лапками вверх, а под картинкой было написано: «Я никогда больше не услышу твоего веселого щебетанья, увы!» Была и такая картинка, где молодая девица стояла у окна, глядя на луну, а по щекам у нее текли слезы; в одной руке она держала распечатанный конверт с черной печатью, другой рукой прижимала к губам медальон на цепочке, а под картинкой было написано: «Ах, неужели тебя больше нет! Да, увы, тебя больше нет!» Картинки были хорошие, но мне они как-то не очень нравились, потому что если, бывало, взгрустнется немножко, то от них делалось еще хуже. Все очень жалели, что эта девочка умерла, потому что у нее была начата еще не одна такая картин-

---

[1] Лафайет — французский офицер, сражавшийся в войне за независимость добровольцем в американской армии.

[2] «Подписание Декларации».— В Декларации независимости 4 июля 1776 года было провозглашено отделение тринадцати американских колоний от Англии и образование независимого государства США.

ка, и уже по готовым картинкам всякому было видно, как много потеряли ее родные. А по-моему, с ее характером ей, верно, куда веселей на кладбище. Перед болезнью она было начала еще одну картинку — говорят, самую лучшую,— и днем и ночью только о том и молилась, чтобы не умереть, пока не кончит ее, но ей не повезло: так и умерла — не кончила.

На этой картинке молодая женщина в длинном белом платье собиралась броситься с моста; волосы у нее были распущены, она глядела на луну, по щекам у нее текли слезы; две руки она сложила на груди, две протянула перед собой, а еще две простирала к луне. Художница хотела сначала посмотреть, что будет лучше, а потом стереть лишние руки, только, как я уже говорил, она умерла, прежде чем успела на чем-нибудь окончательно остановиться, а родные повесили эту картинку у нее над кроватью и в день ее рождения всегда убирали цветами. А в остальное время картинка была задернута маленькой занавесочкой. У молодой женщины на этой картинке было довольно приятное лицо, только рук уж очень много, и от этого она, по-моему, смахивала на паука.

Когда эта девочка была еще жива, она завела себе альбом и наклеивала туда из «Пресвитерианской газеты» объявления о похоронах, заметки о несчастных случаях и долготерпеливых страдальцах и сама сочиняла про них стихи. Стихи были очень хорошие. Вот что она написала про одного мальчика по имени Стивен Даулинг Ботс, который упал в колодец и утонул:

ОДА НА КОНЧИНУ СТИВЕНА ДАУЛИНГА БОТСА

Хворал ли юный Стивен
И умер ли он от хвори?
И рыдали ль друзья и родные,
Не помня себя от горя?

Ах, Стивена Даулинга Ботса
Конец ожидал иной!
Хоть плач родных раздается —
Не хворь тому виной.

Не свинкой его раздуло,
И сыпью не корь покрыла —
Нет, вовсе не корь и не свинка
Несчастного Ботса сгубила.

Неразделенной любовью
Не был бедняжка сражен;
Объевшись сырой морковью,
От колик не умер он.

К судьбе несчастного Ботса
Склоните печальный слух.
Свалившись на дно колодца,
Взлетел к небесам его дух.

Достали его, откачали,
Но уже поздно было:
Туда, где нет печали,
Душа его воспарила.

Если Эммелина Грэнджерфорд умела писать такие стихи, когда ей не было еще четырнадцати лет, то что могло из нее выйти со временем! Бак говорил, что сочинять стихи для нее было плевое дело. Она даже ни на минуту не задумывалась. Бывало, придумает строчку, а если не может подобрать к ней рифму, то зачеркнет, напишет новую строчку и жарит дальше. Она особенно не разбиралась и с удовольствием писала стихи о чем угодно, лишь бы это было что-нибудь грустное. Стоило кому-нибудь умереть, будь это мужчина, женщина или ребенок, покойник еще и остыть не успеет, а она уж тут как тут со своими стихами. Она называла их «данью покойному». Соседи говорили, что первым являлся доктор, потом Эммелина, а потом уже гробовщик; один только раз гробовщик опередил Эммелину, и то она задержалась из-за рифмы к фамилии покойного, а звали его Уистлер. От этого удара она так и не могла оправиться, все чахла да чахла и недолго после этого прожила. Бедняжка, сколько раз я заходил к ней в комнату! И когда ее картинки расстраивали мне нервы и я начинал на нее сердиться, то доставал ее старенький альбом и читал.

Мне вся эта семья нравилась, и покойники и живые, и я вовсе не хотел ни с кем из них ссориться. Когда бедная Эммелина была жива, она сочиняла стихи для всех покойников, и казалось несправедливым, что теперь, когда она умерла, никто не напишет для нее стихов; я попробовал сочинить хоть один стишок, только у меня ничего не вышло.

Комнату Эммелины всегда чистенько убирали, и все вещи были расставлены так, как ей нравилось при жизни, и никто никогда там не спал.

Старушка сама наводила порядок в комнате, хотя у них было много негров, часто сидела там с шитьем и Библию тоже почти всегда читала там.

Так вот, я уже рассказывал про гостиную; на окнах там висели красивые занавески, белые, с картинками: замки, сплошь обвитые плющом, и стада на водопое. Там стояло еще старенькое пианино, набитое, должно быть, жестяными сковородками, и для меня первое удовольствие было слушать, как дочки поют «Расстались мы» или играют «Битву под Прагой». Стены во

всех комнатах были выбелены, на полу почти везде лежали ковры, а снаружи весь дом был оштукатурен. Он был в два флигеля, а между флигелями были настланы полы и сделана крыша, так что иногда там накрывали стол к обеду, и место это было самое уютное и прохладное. Ничего не могло быть лучше! А стряпали у них очень вкусно, и еды подавались целые горы!

Глава восемнадцатая

КАК ГАРНИ СКАКАЛ ЗА СВОЕЙ ШЛЯПОЙ

Полковник Грэнджерфорд был, что называется, джентльмен, настоящий джентльмен с головы до пяток, и вся его семья была такая же благородная. Как говорится, в нем была видна порода, а это для человека так же важно, как для лошади; я слыхал это от вдовы Дуглас, а что она была из первых аристократок у нас в городе, с этим никто даже и не спорил; и мой папаша тоже всегда так говорил, хотя сам-то он был не породистей дворняжки. Полковник был очень высокого роста, очень худой, смуглый, но бледный, без единой капли румя́нца; каждое утро он брил начисто все лицо; у него были очень тонкие губы, тонкий нос с горбинкой и густые брови, а глаза черные-пречерные, и сидели они так глубоко, что смотрели на вас, как будто из пещеры. Лоб у него был высокий, а волосы седые и длинные, до самых плеч. Руки — худые, с длинными пальцами, и каждый божий день он надевал чистую рубашку и полотняный костюм, такой белый, что смотреть больно. А по воскресеньям одевался в синий фрак с медными пуговицами. Он носил трость красного дерева с серебряным набалдашником. Шутить он не любил, нини, и говорил всегда тихо. А доброты был такой, что и сказать нельзя — всякий сразу это видел и чувствовал к нему доверие. Улыбался он редко, и улыбка была приятная. Но уж если, бывало, выпрямится, как майский шест[1], и начнет метать молнии из-под густых бровей, то сначала хотелось поскорей залезть на дерево, а потом уже узнавать, в чем дело. Ему не приходилось никого одергивать: при нем все вели себя как следует. Все любили его общество, когда он бывал в духе; я хочу сказать, что при нем было хорошо, как при солнышке. Когда он хмурился, как грозовая туча, то гроза продолжалась какие-нибудь полминуты — но этого хватало: потом целую неделю все ходили по струнке.

---

[1] Майский шест — высокий разукрашенный шест на лужайке, вокруг которого устраивались весенние гулянья.

Когда он вместе со своей старушкой входил утром в столовую, все дети вставали со стульев, желали им доброго утра и не садились до тех пор, пока не сядут старики. После этого Том с Бобом подходили к буфету, где стоял графин, смешивали стаканчик виски с водой и подавали отцу, а он ждал со стаканом в руке, пока они не нальют себе; потом они кланялись и говорили: «За ваше здоровье, сударь! За ваше здоровье, сударыня!» — а старики слегка кивали головой и благодарили, и все трое пили. А потом Боб с Томом наливали ложку воды на сахар и капельку виски или яблочной на дно своих стаканов и давали нам с Баком, и мы тоже пили за здоровье стариков.

Боб был старший, а Том — второй, оба высокие, широкоплечие молодцы, загорелые, с длинными черными волосами и черными глазами. Они одевались с головы до ног во все белое, как и полковник, и носили широкополые панамы.

Еще была мисс Шарлотта (лет двадцати пяти), высокая, гордая, величественная, но если ее не сердить, такая добрая, что и сказать нельзя. А когда рассердится, то взглянет, бывало, не хуже отца — просто душа уйдет в пятки. Собой она была красавица.

Ее сестра, мисс София, тоже была красавица, только совсем в другом роде: кроткая и тихая, как голубка; ей было всего двадцать лет.

У каждого из них был свой негр для услуг, и у Бака тоже. Моему негру делать было нечего, потому что я не привык, чтобы мне прислуживали, зато негру Бака не приходилось сидеть сложа руки.

Вот и все, что оставалось теперь от семьи, а прежде было еще три сына — их всех троих убили; и была еще Эммелина, которая умерла.

У старика было много ферм и около сотни негров. Иногда наезжали целой толпой гости, верхом, за десять, за пятнадцать миль, гостили пять-шесть дней, пировали, катались по реке, днем устраивали пикники в лесу, а вечером танцевали в доме. По большей части все это была родня. Мужчины ездили в гости с ружьями. Народ все был видный, можно сказать.

В этих местах жил и еще один аристократический род, семей пять или шесть,— почти все они были по фамилии Шепердсоны. Это были такие же благородные, воспитанные, богатые и знатные люди, как и Грэнджерфорды. Шепердсоны и Грэнджерфорды пользовались одной пароходной пристанью, двумя милями выше нашего дома, и я, когда бывал с нашими на пристани, частенько видел там Шепердсонов, гарцующих на красивых лошадях.

Как-то днем мы с Баком пошли в лес на охоту и вдруг слышим конский топот. А мы как раз переходили дорогу. Бак закричал:

— Скорей! Беги в лес!

Мы побежали, а потом стали смотреть из-за кустов на дорогу. Скоро показался красивый молодой человек, похожий на военного; он ехал рысью по дороге, отпустив поводья. Поперек седла у него лежало ружье. Я его и раньше видел. Это был молодой Гарни Шепердсон. Вдруг ружье Бака выстрелило над самым моим ухом, и с головы Гарни слетела шляпа. Он схватился за ружье и поскакал прямо к тому месту, где мы прятались. Но мы не стали его дожидаться, а пустились бежать через лес. Лес был не густой, и я то и дело оглядывался, чтоб увернуться от пули; я два раза видал, как Гарни прицеливался в Бака из ружья, а потом повернул обратно, в ту сторону, откуда приехал,— должно быть, за своей шляпой; так я думаю, только этого я не видал. Мы не останавливались, пока не добежали до дому. Глаза у старого джентльмена загорелись — я думаю, от радости,— а потом лицо у него как будто разгладилось, и он сказал довольно ласково:

— Мне не нравится эта стрельба из-за куста. Почему ты не вышел на дорогу, мой мальчик?

— Шепердсоны никогда не выходят, отец. Они пользуются всяким удобным случаем.

Мисс Шарлотта подняла голову, как королева, слушая рассказ Бака; ноздри у нее раздувались, глаза сверкали. Молодые люди нахмурились, но не сказали ни слова. Мисс София побледнела, а когда услышала, что Гарни остался цел, опять порозовела.

Как только мне удалось вызвать Бака к кормушке под деревьями и мы остались с ним вдвоем, я спросил:

— Неужто ты хотел его убить, Бак?

— А то как же!

— Что же он тебе сделал?

— Он? Ничего он мне не сделал.

— За что же ты хотел его убить?

— Да так — только за то, что у нас кровная вражда.

— А что такое кровная вражда?

— Чему же тебя учили? Неужели ты не знаешь, что такое кровная вражда?

— Первый раз слышу. Ну-ка, расскажи!

— Ну вот,— сказал Бак,— кровная вражда — это вот что: бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет да и убьет первого, потом их братья поубивают друг друга, потом за них вступаются двоюродные братья, а когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Только это долгая песня, времени проходит много.

— А ваша вражда давно началась?

— Еще как давно! Лет тридцать или около того. Была какая-то ссора, а потом из-за нее судились; и тот, который проиграл процесс, пошел и застрелил того, который выиграл,— да так оно и следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы то же.

— А из-за чего вышла ссора, Бак? Из-за земли?

— Я не знаю. Может быть.

— Ну, а кто же первый стрелял? Грэнджерфорд или Шепердсон?

— Господи, ну почем я знаю! Ведь это так давно было.

— И никто не знает?

— Папа, я думаю, знает, и еще кое-кто из стариков знает; они только не знают, из-за чего в самый первый раз началась ссора.

— И много было убитых, Бак?

— Да! То и дело кого-нибудь хоронят. Но не всех же убивают! У папы в плече сидит крупная дробь, только он не обращает внимания, не думает об этом, и все, Боба тоже здорово полоснули ножом, а Том был ранен два раза.

— А в этом году кого-нибудь убили, Бак?

— Да, у нас одного и у них одного. Месяца три назад мой кузен Бад ехал через лес на той стороне реки, а оружия с собой не захватил — такая глупость! — и вдруг в одном глухом месте слышит за собой топот; смотрит — за ним скачет Плешивый Шепердсон с ружьем в руках; скачет, а седые волосы развеваются по ветру. Баду надо бы соскочить с лошади да спрятаться

в кусты, а он решил, что старик его не догонит, и так они скакали миль пять во весь дух, и старик всё нагонял да нагонял; наконец Бад видит, что дело плохо, остановил лошадь и повернулся лицом к старику, чтобы пуля попала не в спину, а в грудь, старик подъехал поближе и убил его наповал. Только недолго ему пришлось радоваться: не прошло и недели, как наши его уложили.

— По-моему, этот старик был трус, Бак.

— А по-моему, нет. Вот уж нет! Среди Шепердсонов нет трусов, ни единого нет! И среди Грэнджерфордов тоже нет. Один раз этот старик честно дрался с тремя Грэнджерфордами и в полчаса одолел их. Все они были верхом, а он соскочил с лошади и засел за кучей дров, а лошадь поставил перед собой, чтобы загородиться от пуль. Грэнджерфорды с лошадей не слезли, все гарцевали вокруг старика и палили в него, а он палил в них. И он и его лошадь вернулись домой израненные и в крови, зато Грэнджерфордов принесли домой одного убитым, а другого раненым, он умер на следующий день. Нет, сэр, если кому нужны трусы, так нечего и время тратить искать их у Шепердсонов — там таких не водится!

В следующее воскресенье мы все поехали в церковь, мили за три, и все верхом. Мужчины взяли с собой ружья — Бак тоже взял — и держали их между коленями или ставили к стенке, чтобы были под рукой. И Шепердсоны тоже так сделали. Проповедь была самая обыкновенная — насчет братской любви и прочего тому подобного, такая все скучища! Говорили, что проповедь хорошая, и, когда ехали домой, все толковали про веру и про добрые дела, про благодать и предопределение и не знаю еще про что, так что мне показалось, будто такого скучного воскресенья у меня еще никогда в жизни не было.

Через час после обеда или около того все задремали — кто в кресле, кто у себя в комнате,— и стало еще скучней. Бак со своей собакой улегся на траву и крепко уснул на солнышке. Я пошел в нашу комнату и хотел было тоже вздремнуть. Смотрю, тихая мисс София стоит на пороге своей комнаты, что рядом с нашей; она позвала меня к себе, тихонько затворила дверь и спрашивает, люблю ли я ее, а я сказал, что люблю; а потом она спросила, могу ли я исполнить одну ее просьбу и никому об этом не говорить, и я ответил, что могу. Тогда она сказала, что забыла свое Евангелие в церкви, оставила его на скамье между двумя другими книгами, так не схожу ли я потихоньку за этой книгой и не принесу ли ее сюда, только никому ничего не говоря. Я сказал, что принесу. И вот я потихоньку выбрался из дому и побежал по дороге; смотрю — в церкви никого уже нет, кроме одной или двух свиней: дверь никогда не запиралась, а

свиньи летом любят валяться на тесовом полу, потому что он прохладный. Если вы заметили, большинство людей ходят в церковь только по необходимости, ну, а свиньи — другое дело.

Ох, думаю, тут что-то неладно! Не может быть, чтобы она так беспокоилась из-за Евангелия. Я потряс книжку, смотрю — из нее выскочил маленький клочок бумаги, а на нем написано карандашом: «В половине третьего». Я стал еще искать, но ничего больше не нашел. Я так ничего и не понял, взял и положил бумажку обратно, а когда вернулся домой и поднялся наверх, мисс София стояла в дверях своей комнаты и ждала меня. Она втащила меня в комнату и закрыла дверь, потом стала перелистывать Евангелие, пока не нашла записку, а когда прочла ее, то очень обрадовалась, и не успел я опомниться, как она схватила меня за плечи, обняла и сказала, что я самый хороший мальчик на свете и чтобы я никому ничего не говорил. Глаза у нее засветились, она вся покраснела и стала очень хорошенькая. Меня сильно разбирало любопытство, и, переведя дух, я сейчас же спросил, о чем была записка; а она спросила, читал я ее или нет, а я сказал, что не читал. Тогда она спросила, умею ли я читать по писаному, а я сказал, что не умею, разве только если написано печатными буквами, и она тогда сказала, что в записке ничего особенного не было, это просто закладка, и чтобы я шел играть.

Я пошел к реке, раздумывая обо всем этом, и вдруг заметил, что за мной идет мой негр. Когда мы отошли от дома настолько, что нас нельзя было увидеть из окна, он оглянулся по сторонам, а потом подбежал ко мне и говорит:

— Мистер Джордж, не хотите ли пойти со мной на болото? Я вам покажу целую кучу водяных змей.

Думаю, тут что-то дело нечисто, он и вчера то же говорил. Ну кому нужны водяные змеи, чтобы за ними бегать! Не знает он этого, что ли? Интересно, что у него на уме... Говорю ему:

— Ладно, ступай вперед.

Я прошел за ним около полумили, потом он пустился наперерез через болото и еще полмили брел по щиколотку в воде. Скоро мы подошли к небольшому островку сухой земли, густо заросшему деревьями, кустами и плющом, и тут негр сказал:

— Вы ступайте туда, это всего два шага — они там и есть. А я их раньше видел, на что они мне сдались!

Он повернул обратно, зашлепал по болоту и скрылся за деревьями. А я пошел напрямик и скоро наткнулся на маленькую полянку, с комнату величиной, всю увитую плющом; вдруг вижу — прямо на земле спит человек, и, честное слово, это был мой Джим!

Я его разбудил и думал, что он очень удивится, когда меня

увидит, но не тут-то было. Он чуть не заплакал — до того мне обрадовался, но ни капли не удивился. Сказал, что в ту ночь он все время плыл позади меня и слышал, как я кричал, только боялся откликаться: не хотел, чтобы его подобрали и опять продали в рабство.

— Я,— говорит,— немножко ушибся и не мог быстро плыть, так что здорово отстал от тебя под конец; а когда ты вылез на берег, я подумал, что на берегу сумею как-нибудь тебя догнать и без крика; а когда увидел тот дом, то перестал спешить и пошел медленнее. Я был еще далеко и не слыхал, что они тебе говорят, и собак тоже боялся; а когда все успокоилось, я понял, что ты теперь в доме, и ушел в лес дожидаться, пока рассветет. Рано утром негры проходили мимо на работу в поле, взяли меня с собой и показали мне это место — тут вода, и собаки не могут меня учуять; и каждый вечер они приносят мне чего-нибудь поесть и рассказывают, как ты там живешь.

— Почему же ты не сказал раньше моему Джеку, чтобы он привел меня сюда?

— Зачем же было тебя беспокоить, Гек, раньше времени! А теперь у нас все готово. При случае я покупал кастрюльки и сковородки, а по ночам чинил плот...

— Какой плот, Джим?

— Наш старый плот.

— Да разве его не расшибло вдребезги?

— Нет, не расшибло. Его здорово потрепало, это верно,— одно звено совсем оторвалось. А все-таки беда не так велика, только наши вещи почти все потонули. Мы бы увидели плот, если б нам не пришлось нырять так глубоко и плыть так долго под водой, да еще ночь не была бы такая темная; а мы с тобой перепугались, да и голову потеряли, как говорится. Ну, да это ничего, теперь он опять стал как новый, и вещей у нас много новых вместо тех, которые потонули.

— А откуда же взялся плот, Джим? Ты его поймал, что ли?

— Как же я его поймаю тут, в лесу? Нет, негры его нашли — он тут недалеко зацепился за корягу в излучине — и спрятали в речке под ивами, а потом такой подняли крик из-за того, кому он достанется, что и до меня скоро дошло, и я этому сразу положил конец — сказал им, что плот никому из них не достанется, потому что он наш с тобой. Спрашиваю: неужто они хотят захватить имущество белого джентльмена, чтоб им за это влетело? Потом дал им по десять центов на брата, и они были довольны-предовольны: думают, почаще бы плоты приплывали, чтоб им разбогатеть. Они все ко мне очень добры, и если мне что нужно, то два раза просить не приходится, сынок. Этот Джек — хороший негр, совсем не глупый.

— Да, не дурак. Он ведь мне не говорил, что ты здесь, просто позвал сюда, будто хочет мне показать водяных змей. Если что-нибудь случится, так он ни в чем не замешан: может сказать, что нас вместе не видал, и это будет правда.

Мне не хочется много рассказывать про следующий день. Постараюсь покороче. Я проснулся на рассвете и хотел было перевернуться на другой бок и опять уснуть, как вдруг заметил, что в доме очень тихо — никого не видно и не слышно. Этого никогда еще не бывало. Потом я заметил, что и Бак уже встал и ушел. Ну, я тоже встал, а сам не знаю; что и думать; иду вниз — никого нет, и везде тихо, как в мышиной норке. То же самое и на дворе. Думаю: что бы это могло значить? Около дров встречаю своего Джека и спрашиваю:

— Что такое случилось?

Он говорит:

— А вы разве не знаете, мистер Джордж?

— Нет,— говорю,— не знаю.

— Мисс София сбежала! Ей-богу, не вру. Сбежала среди ночи, и никто не видел когда, сбежала, чтобы обвенчаться, знаете ли, с молодым Гарни Шепердсоном — по крайней мере, все так думают. Родные-то узнали об этом всего полчаса назад... Может, немножко больше... и, сказать по правде, времени терять не стали. Сейчас же за ружья, да и на лошадей — мы и оглянуться не успели. Женщины кинулись поднимать родственников, а старый хозяин с сыновьями поскакали к реке, чтобы перехватить по дороге молодого человека и убить его, а то как бы он не переправился за реку с мисс Софией. Большая будет передряга...

— Бак ушел и не стал меня будить?

— Ну еще бы! Они не хотели впутывать вас в это дело. Мистер Бак зарядил ружье и говорит: хоть тресну, да застрелю кого-нибудь из Шепердсонов! Ну, я думаю, их там много будет — уж одного-то наверняка застрелят, коли случай подвернется.

Я побежал к реке, не медля ни минуты. Скоро я услышал вдали ружейные выстрелы. Как только я завидел лавчонку у пароходной пристани и штабель дров, я стал пробираться под деревьями и кустами, пока не нашел удобное место, а там залез на развилину тополя, куда не долетали пули, и стал смотреть. Перед тополем, совсем близко, был другой штабель дров, в четыре фута высотой, и я хотел сначала спрятаться за ним, но, пожалуй, лучше сделал, что не спрятался.

На открытом месте перед лавкой, с криком и руганью, гарцевали четверо или пятеро верховых, стараясь попасть в двух молодых Грэнджерфордов, сидевших за поленницей, рядом с пароходной пристанью, но им это не удавалось. Каждый раз, как кто-нибудь из верховых выезжал из-за штабеля дров к реке,

в него стреляли. Мальчики сидели за дровами спиной к спине, так что им видно было в обе стороны.

Скоро всадники перестали гарцевать и вопить. Они подъехали ближе к лавке; тогда один из мальчиков встал, прицелился хорошенько из-за штабеля и выбил одного из седла. Верховые соскочили с лошадей, подхватили раненого и понесли его в лавку, и в ту же минуту оба мальчика пустились бежать. Они были уже на полдороге к тому дереву, на котором я сидел, когда их заметили. Как только мужчины их увидели, они опять вскочили на лошадей и погнались за ними. Стали уже их нагонять, только ничего из этого не вышло: мальчики все-таки выбежали намного раньше, успели добраться до того штабеля, который был перед моим деревом, засели за ним, и, значит, у них опять был выигрыш перед Шепердсонами. Один из мальчиков был Бак, а другой — худенький юноша лет девятнадцати.

Всадники повертелись некоторое время, потом ускакали куда-то. Как только они скрылись из виду, я окликнул Бака и сказал ему об этом. Сначала он ничего не мог понять, когда услышал мой голос с дерева, и ужасно удивился. Он велел мне смотреть в оба и сказать ему, когда всадники опять покажутся; они, верно, затевают какую-нибудь подлость и уехали ненадолго. Мне захотелось убраться с этого дерева, только я побоялся слезать. Бак начал плакать и браниться и сказал, что они с Джо (это был другой мальчик, его двоюродный брат) еще отплатят за этот день. Он сказал, что его отец и двое братьев убиты и двое или трое Шепердсонов тоже. Шепердсоны устроили им засаду. Бак сказал, что его отцу и братьям надо было бы подождать других родственников — Шепердсонов было слишком много. Я спросил его, что стало с молодым Гарни и мисс Софией. Он ответил, что они успели переправиться за реку и теперь в безопасности. Но до чего же Бак выходил из себя, что ему не удалось убить Гарни тот раз в лесу,— я просто ничего подобного не слыхивал!

И вдруг — бах! бах! бах! — раздались три или четыре выстрела: Шепердсоны объехали кругом через лес, спешились и подкрались сзади. Мальчики бросились к реке — оба они были ранены — и поплыли вниз по течению, а Шепердсоны бежали за ними по берегу, стреляли и кричали: «Смерть им, смерть!» Мне сделалось так нехорошо, что я чуть не свалился с дерева. Все я рассказывать не буду, а то, если начну, мне опять станет нехорошо. Уж лучше бы я тогда ночью не вылезал здесь на берег, чем такое видеть. До сих пор все это стоит у меня перед глазами, даже снилось сколько раз. Я сидел на дереве, пока не стемнело: все боялся слезть. Время от времени я слышал далеко

в лесу выстрелы, а два раза маленькие отряды верховых с ружьями проносились мимо лавки; я это видел и понял, что еще не все кончилось. Я сильно приуныл и решил, что больше не подойду к этому дому: ведь, по-моему, все это вышло из-за меня, как ни верти. Клочок бумажки, должно быть, для того и был вложен, чтобы мисс София где-нибудь встретилась с Гарни в половине третьего и убежала с ним; а мне надо было рассказать ее отцу про эту бумажку и про то, как странно вела себя мисс София; тогда он, может, посадил бы ее под замок и не случилось бы такого ужасного несчастья.

Я слез с дерева, стал осторожно пробираться вперед вдоль реки и скоро нашел в воде у самого берега два мертвых тела; долго возился, пока не вытащил их на песок, потом прикрыл им лица и ушел поскорее. Когда я прикрывал лицо Баку, я даже заплакал — ведь он со мной дружил и был ко мне очень добр.

Теперь совсем стемнело. К дому я и близко не подходил, а обошел его лесом и побежал на болото. Джима на островке не было, так что я побрел через болото к речке и пролез через ивняки; мне не терпелось поскорей залезть на плот и выбраться из этого страшного места. Плота не было! Ой, до чего же я испугался! У меня даже дух захватило. А потом как закричу! Шагах в двадцати от меня отозвался голос:

— Господи, это ты, сынок? Только не шуми.

Это был голос Джима — я в жизни не слыхал ничего приятней. Я побежал по берегу и перескочил на плот, а Джим схватил меня и давай обнимать — до того он мне обрадовался. Он сказал:

— Слава богу, сынок, а я уж было думал, что ты опять помер. Джек сюда приходил, сказал, что, должно быть, тебя убили, потому что домой ты не вернулся; я сию минуту собирался спустить плот к устью речки, чтоб быть наготове и отчалить, как только Джек придет опять и скажет, что ты и вправду умер. Господи, до чего я рад, что ты вернулся, сынок!

Я сказал:

— Ну ладно, все это хорошо. Они меня не найдут и подумают, что меня убили и мой труп уплыл вниз по реке,— там, на берегу, кое-что наведет их на такую мысль. Так не теряй времени, Джим, поскорее выводи плот на большую воду!

Я не мог успокоиться до тех пор, пока плот не очутился на середине Миссисипи, двумя милями ниже пристани. Тут мы вывесили сигнальный фонарь и решили, что теперь мы опять свободны и в безопасности. Со вчерашнего дня у меня ни крошки во рту не было: Джим достал кукурузные лепешки, пахтанье, свинину с капустой и зелень — ничего нет вкусней, если все это приготовить как следует; покуда я ужинал, мы разговаривали,

и нам было очень хорошо. Я был рад-радехонек убраться подальше от кровной вражды, а Джим — с болота. Мы так и говорили, что нет лучше дома, чем плот. Везде кажется душно и тесно, а на плоту — нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно.

Глава девятнадцатая

ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРЦОГА И ДОФИНА

Прошло два или три дня и две или три ночи; можно, пожалуй, сказать, что они проплыли — так спокойно, гладко и приятно они шли. Вот как мы проводили время. Река тут была необъятной ширины, громадина — местами прямо мили в полторы. Мы плыли по ночам, а днем прятались и отдыхали. Бывало, как только ночь подходит к концу, мы останавливаемся и привязываем плот — почти всегда там, где нет течения, под берегом, потом нарежем ивовых и тополевых веток и прикроем ими плот. После этого закинем удочки и лезем в реку, чтобы освежиться немножко, а потом сядем на песчаное дно, где вода по колено, и смотрим, как светает. Нигде ни звука, полная тишина, весь мир точно уснул, редко-редко заквакает где-нибудь лягушка. Первое, что видишь, если смотреть вдаль над рекой,— это темная полоса — лес на другой стороне реки, а больше сначала ничего не разберешь; потом светлеет край неба, а там светлая полоска расплывается все шире и шире, и река, если смотреть вдаль, уже не черная, а серая; видишь, как далеко-далеко плывут по ней небольшие черные пятна — это шаланды и всякие другие суда, и длинные черные полосы — это плоты; иногда слышится скрип весел в уключинах или неясный говор — когда так тихо, звук разносится по воде далеко; мало-помалу становится видна и рябь на воде, и по этой ряби узнаешь, что тут быстрое течение разбивается о корягу, оттого в этом месте и рябит; потом видишь, как клубится туман над водой, краснеет небо на востоке, краснеет река, и можно уже разглядеть далеко-далеко, на том берегу, бревенчатый домик на опушке леса — должно быть, сторожку при лесном складе, а построен домик кое-как, щели такие, что кошка пролезет; потом поднимается мягкий ветерок и веет тебе в лицо прохладой и свежестью, и запахом леса и цветов, а иногда и кое-чем похуже, потому что на берегу валяется дохлая рыба и от нее здорово несет тухлятиной; а вот уже и светлый день, и все вокруг словно просияло улыбкой — солнце взошло, и певчие птицы заливаются вовсю!

Теперь легкий дымок от костра совсем незаметен, и мы снимаем с удочек рыбу и готовим себе горячий завтрак. А после этого отдыхаем и любуемся на речной простор; отдыхаем-отдыхаем, а там, глядишь, и заснули. Проснемся после и смотрим — что же нас разбудило? Иной раз видишь — поднимается против течения и пыхтит пароход, далеко у противоположного берега,— только и можно разобрать, бортовое у него колесо или кормовое; и после этого целый час ничего не слышно и не видно: настоящая водяная пустыня. Потом видишь, как далеко-далеко по реке тянется плот и какой-нибудь разиня колет на плоту дрова — на плоту всегда колют дрова,— видишь, как сверкает опускающийся топор, и только, когда он занесен над головой, слышится: трах! — так много времени нужно, чтобы звук долетел по воде. Вот так мы и проводили день, валяясь на травке и прислушиваясь к тишине. Один раз был густой туман, и на плоту и лодках, проходивших мимо, колотили в сковороды, чтобы пароход не наскочил на них. Одна шаланда, а может, и плот, проплыла так близко, что мы слышали говор, смех и брань — хорошо слышали, а видеть не видели, так что мороз по коже подирал: похоже было, будто это духи разговаривают. Джим так и решил, что это духи, а я с ним не согласился:

— Ну нет, духи так не станут говорить: «Черт бы побрал этот чертов туман!»

Мы отчаливали, как только стемнеет; выведем плот на середину реки, бросим весла, он и плывет по течению, как ему вздумается. Потом закурим трубки, спустим ноги в воду и разговариваем обо всем на свете. Мы все время ходили голышом, и днем и ночью, если только нас не допекали москиты; в новой одежде, которую мне дали родные Бака, я чувствовал себя как-то неловко, оттого что она была очень хорошая, а я вообще не охотник наряжаться.

Случалось, что на всей реке долго-долго не было ни души, кроме нас. Вдали, у того берега, виднелись отмели и островки, да иной раз мелькнет кое-где огонек — свеча в окне какой-нибудь хибарки, а иной раз и на воде увидишь искорку-другую — на плоту или на шаланде, или услышишь, как там поют или играют на скрипке. Хорошо нам жилось на плоту! Бывало, все небо над нами усеяно звездами, а мы лежим на спине, глядим на них и спорим: что они — сотворены или сами собой народились? Джим думал, что сотворены, а я — что сами народились: уж очень много понадобилось бы времени, чтобы наделать столько звезд. Джим сказал — может, их луна мечет, как лягушка икру; что ж, это было похоже на правду, я спорить с ним не стал; я видел, сколько у лягушки бывает икры, так что, само собой, это вещь возможная. Мы следили и за падучими звезда-

ми, как они чертят небо и летят вниз. Джим думал, что эти звезды испортились и их выкидывают из гнезда.

Один или два раза в ночь мы видели, как мимо в темноте проходил пароход, время от времени рассыпая из трубы тучи искр; они дождем падали в реку, и это было очень красиво; потом огни мигали еще раз и гасли — пароход скрывался за поворотом, шум замирал, и на реке опять становилось тихо; потом до нас докатывались и волны, долго спустя после того, как пройдет пароход, и покачивали плот, а потом бог знает сколько времени ничего не было слышно, кроме кваканья лягушек.

После полуночи жители в домах на берегу укладывались спать, и часа на два, на три становилось совсем темно — в окнах домишек ни огонька! Эти огоньки служили нам вместо часов: как покажется первый огонек, значит, утро близко, и мы начинаем искать место, где бы спрятаться и привязать плот.

Как-то утром, перед зарей, я нашел пустой челнок, перебрался через перекат на берег — он был от острова всего в двухстах ярдах — и поднялся вверх по небольшой речке среди кипарисового леса на милю или около того — посмотреть, не наберу ли я там ягод. Как раз в том месте, где через речку был коровий брод, смотрю — по тропе бегут опрометью какие-то двое. Я так и думал, что мне крышка; бывало, если за кем-нибудь гонятся, мне всегда кажется, что это или за мной, или за Джимом. Я хотел было удрать от них поскорей, да они со мной поравнялись, окликнули меня и стали просить, чтобы я их спас; говорят, что они ничего такого не делали, а за ними гонятся, даже с собаками. Они хотели уже прыгать ко мне в челнок, только я им сказал:

— Погодите, не прыгайте. Я еще не слышу ни лошадей, ни собак: у вас есть время пробраться сквозь кусты и пройти немножко дальше вверх по речке; вот тогда лезьте в воду и ступайте ко мне вброд — это собьет собак со следа.

Они так и сделали; как только они влезли ко мне в челнок, я сейчас же пустился обратно к нашему островку, а минут через пять или десять мы услышали издали крики и собачий лай. Мы слышали, как погоня прискакала к речке, но не видели ее: они, должно быть, топтались на берегу, искали, а потом стало плохо слышно — мы отъезжали все дальше и дальше; а когда лес остался позади и мы выбрались на большую реку, все было уже тихо; тогда мы подгребли к островку, спрятались в тополевых зарослях, и опасность миновала.

Одному из бродяг было на вид лет семьдесят, а может, и больше: он был лысый, с седыми баками. На нем была старая, рваная шляпа, грязная синяя шерстяная рубаха, рваные холщовые штаны, заправленные в высокие сапоги, и подтяжки домашней вязки... нет, вру: подтяжка у него была всего-навсего

одна. На руке старик нес еще долгополую старую хламиду из синей холстины с медными пуговицами, а кроме того, оба они тащили тяжелые, битком набитые ковровые саквояжи.

Другому бродяге было лет тридцать, и одет он был тоже неважно. После завтрака мы все легли отдохнуть, а из разговора первым делом выяснилось, что оба эти молодчика друг друга совсем не знают.

— Из-за чего у вас вышла неприятность? — спросил лысый у молодого.

— Да вот, продавал я одно снадобье, чтобы счищать винный камень с зубов,— счищать-то оно, верно, счищает, но только и эмаль вместе с ним сходит,— и задержался на один вечер дольше, чем следует; и только-только собрался улизнуть, как на окраине города повстречал вас, и вы мне сказали, что за вами погоня, и попросили вам помочь. А я ответил, что у меня тоже неприятности, и предложил удирать вместе. Вот и вся моя история... А у вас что было?

— Я тут около недели проповедовал трезвость, и все женщины мной нахвалиться не могли — и старухи и молоденькие,— потому что пьяницам я таки задал жару, могу вам сказать; я набирал каждый вечер долларов пять, а то и шесть — по деся-

ти центов с носа, дети и негры бесплатно,— и дело у меня шло все лучше и лучше, как вдруг вчера вечером кто-то пустил слух, что я сам потихоньку прикладываюсь к бутылочке. Один негр разбудил меня нынче утром и сказал, что здешний народ собирается потихоньку и скоро они явятся сюда с собаками и лошадьми, дадут мне полчаса, чтобы я отошел подальше, а там пустятся за мной в погоню; и если поймают, то вымажут в дегте, обваляют в пуху и перьях и прокатят на шесте. Я не стал дожидаться завтрака — что-то аппетит пропал.

— Старина,— сказал молодой человек,— мы с вами, пожалуй, могли бы объединиться и орудовать вместе. Как по-вашему?

— Я не прочь. А вы чем промышляете главным образом?

— По ремеслу я наборщик; случается, торгую патентованными лекарствами, выступаю на сцене — я, знаете ли, трагик; при случае занимаюсь гипнозом и френологией, для разнообразия даю уроки пения и географии; бывает, и лекцию прочту — да мало ли что еще! Берусь за все, что ни подвернется, лишь бы не работать. А вы по какой части?

— В свое время я много занимался врачеванием. Исцелял возложением рук паралич, раковые опухоли и прочее — это мне всего лучше удавалось; могу недурно гадать, если разузнаю от кого-нибудь все, что надо. Проповедую тоже, обращаю в христианство; ну, и молитвенные собрания по моей части.

Довольно долго они оба молчали, потом молодой человек вздохнул и сказал:

— Увы!

— Это вы насчет чего? — спросил лысый.

— Подумать только, что я довел себя до такой жизни и унизился до такого общества! — И он принялся тереть уголок глаза тряпкой.

— Скажите пожалуйста, чем же это общество для вас плохо? — спрашивает лысый этак свысока и надувшись.

— Да, для меня оно достаточно хорошо, лучшего я не заслуживаю; кто виноват в том, что я пал так низко, когда стоял так высоко! Никто, кроме меня самого. Я вас не виню, господа, вовсе нет; я никого не виню. Я все это заслужил. Пусть равнодушный свет доконает меня; я знаю одно — где-нибудь я найду себе могилу. Пускай свет довершит свое дело, пускай отнимет у меня все — моих близких, мое достояние, все, все решительно, но этого он отнять не сможет! Когда-нибудь я лягу в эту могилу, забуду обо всем, и мое бедное, разбитое сердце наконец успокоится.

А сам все трет глаза тряпкой.

— А, подите вы с вашим разбитым сердцем! — говорит ему

лысый.— Чего вы нам тычете под нос ваше разбитое сердце? Мы-то тут при чем?

— Да, я знаю, что вы тут ни при чем. Я не виню вас, господа, я сам так низко пал — да, сам довел себя до этого. Мне и следует страдать — по справедливости следует, я вовсе не жалуюсь.

— Откуда же это вы так низко пали? Значит, было откуда падать?

— Вы мне не поверите... люди никогда мне не верят... но довольно об этом... не стоит! Тайна моего рождения...

— Тайна вашего рождения? Это вы про что?

— Господа,— очень торжественно начал молодой,— я вам открою мою тайну, я чувствую к вам доверие! По происхождению я — герцог!

Джим вытаращил глаза, услышав это; да и я, должно быть, тоже. А лысый сказал:

— Да что вы! Быть не может!

— Да-да! Мой прадед, старший сын герцога Бриджуотерского, в конце прошлого века бежал в Америку, чтобы дышать чистым воздухом свободы. Он женился тут и умер, оставив единственного сына; и почти в то же время умер его отец. Второй сын покойного герцога захватил титул и поместье, а младенец — настоящий наследник — остался в забвении. Я — прямой потомок этого младенца, я законный герцог Бриджуотерский, и вот я здесь — одинокий, лишенный своего высокого сана, гонимый людьми, презираемый холодным светом, в рубище, измученный, с разбитым сердцем — и принужден якшаться с какими-то жуликами на плоту!

Джиму стало очень его жалко, и мне тоже. Мы попробовали его утешить, но он сказал, что это бесполезно,— утешить его невозможно; но если мы согласны признать его за герцога, это будет для него всего дороже и отраднее. Мы сказали, что согласны, пусть только он нас научит, как это сделать. Он сказал, что мы всегда должны обращаться к нему с поклоном и называть его «ваша светлость», «милорд» или «ваша милость», но, если даже назовем его просто «Бриджуотер», он не обидится, потому что это титул, а не фамилия; и кто-нибудь из нас должен подавать ему кушанье за обедом и вообще оказывать разные услуги, какие потребуются.

Ну, все это было нетрудно, и мы согласились. За обедом Джим все время прислуживал герцогу стоя и то и дело спрашивал: «Не хочет ли ваша светлость того или этого?» — и всякий мог сразу заметить, что герцогу это очень нравится.

Зато старик надулся — совсем перестал разговаривать, и заметно было, что вся эта возня с герцогом ему очень не по вкусу.

Видно было, что он чем-то расстроен. Вот немного погодя, после обеда, он и говорит:

— Послушайте-ка, герцог, мне, конечно, вас очень жалко, но только не вы один претерпели такие несчастья.

— Да?

— Да, не вы один. Не вам одному судьба жестоко дала по шапке.

— Увы!

— Да, не у вас одного имеется тайна рождения.

И старик тоже начинает рыдать, честное слово!

— Постойте! Что это вы?

— Герцог, можете вы сохранить мою тайну? — говорит старик, а сам все рыдает.

— До могилы! — Герцог взял старика за руку, пожал ее и говорит: — Скажите же мне тайну вашей жизни!

— Ваша светлость, я покойный дофин!

Ну, уж тут мы оба с Джимом вытаращили глаза. А герцог говорит:

— Вы... кто вы такой?

— Да, мой друг, это истинная правда — вы видите перед собой несчастного, без вести пропавшего дофина Людовика Семнадцатого, сына Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты[1].

— Вы! В ваши-то годы! Да нет! Вы, верно, покойный Карл Великий[2], вам лет шестьсот — семьсот, самое меньшее.

— Все это от несчастий, герцог, все от несчастий! Несчастья породили эти седые волосы и эту преждевременную плешь. Да, джентльмены, вы видите перед собой законного короля Франции, в синей холстине и в нищете, изгнанника, страждущего и презираемого всеми!

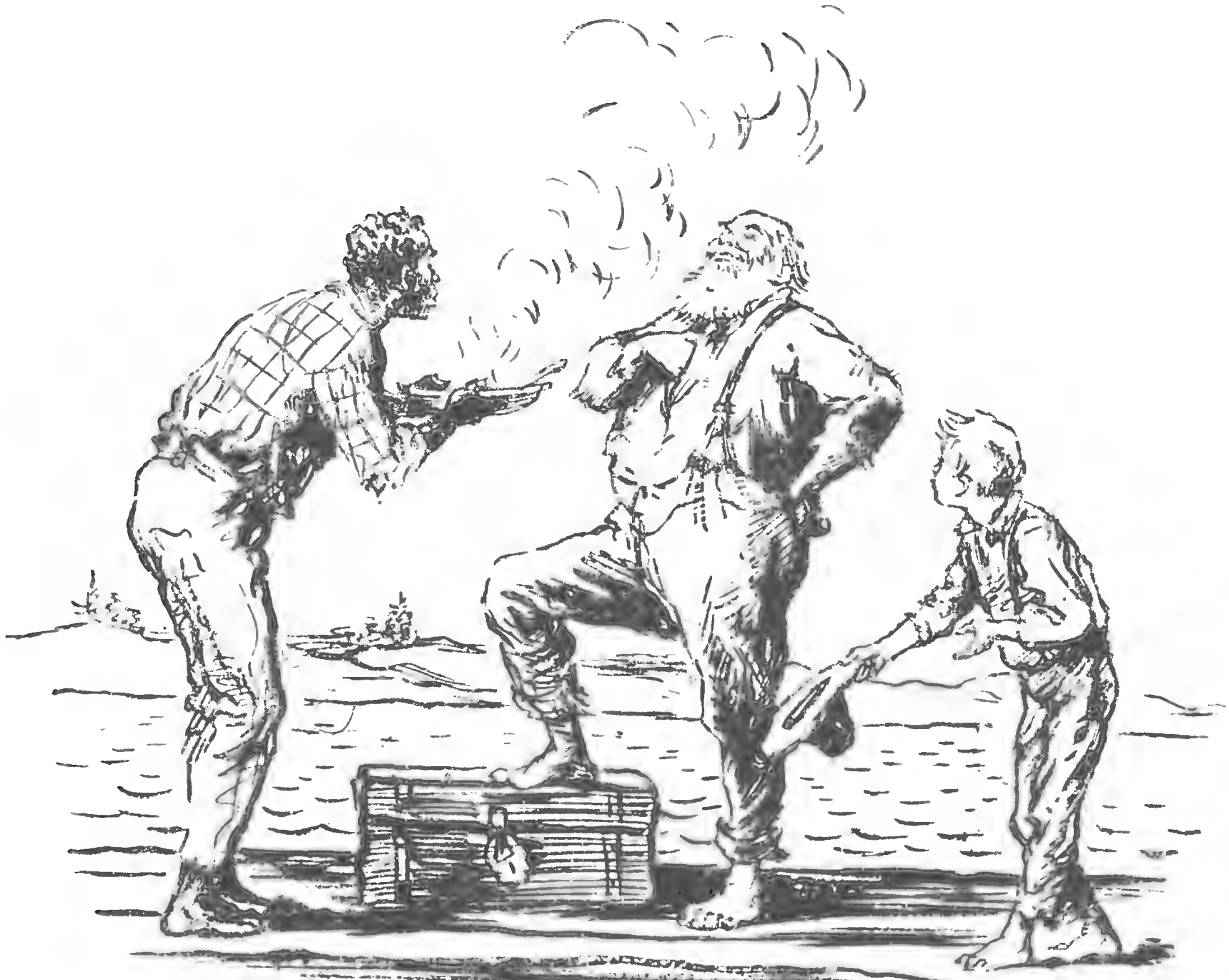
И тут он разрыдался, да так, что мы с Джимом прямо не знали, что делать,— до того нам было его жалко. Принялись было утешать его, как раньше утешали герцога, но он сказал, что это ни к чему, одна только смерть положит всему конец и успокоит его, хотя иногда ему все-таки делается как-то легче, если с ним обращаются соответственно его сану: становятся перед ним на одно колено, называют «ваше величество», за столом подают ему первому и не садятся в его присутствии, пока он не позволит.

Ну вот мы с Джимом и начали звать его «величеством», подавали ему то одно, то другое и не садились, пока он сам не

---

[1] Мария Антуанетта — французская королева, родом австрийская принцесса. Во время французской буржуазной революции XVIII века была казнена восставшим народом.

[2] Карл Великий (768—814) — французский король.



велит. Это ему очень помогло — он скоро совсем развеселился и утешился.

Зато герцог на него обиделся и, как видно, был не очень-то доволен таким оборотом дела; но все-таки король обращался с ним по-дружески и даже рассказал, что его папа-король был очень хорошего мнения о прадедушке герцога и вообще обо всех герцогах Бриджуотерских и часто приглашал их во дворец; однако герцог долго еще дулся, пока, наконец, король не сказал ему:

— Похоже, что нам с вами долго придется просидеть на этом плоту, герцог, так какой смысл обижаться? Только хуже будет. Я ведь не виноват, что не родился герцогом, и вы не виноваты, что не родились королем,— зачем же расстраиваться? Надо всегда пользоваться случаем и устраиваться получше — вот что я говорю, такое у меня правило. Неплохо, что мы с вами сюда попали,— еды тут много, жизнь привольная. Будет вам, герцог, давайте вашу руку, и помиримся!

Герцог подал ему руку, и мы с Джимом очень этому обрадовались. Вся неловкость сразу пропала, и нам стало гораздо легче, потому что нет ничего хуже, как ссориться на плоту; самое главное, когда плывешь на плоту,— это чтобы все были довольны, не ссорились и не злились друг на друга.

Я довольно скоро сообразил, что эти бродяги никакие не герцог и не король, а просто-напросто обманщики и мошенники самого последнего разбора. Но только я ничего им не сказал, даже и виду не подал, а помалкивал — и всё. Это всего лучше — так и врагов не наживешь, и в беду не попадешь. Хотят, чтоб мы их звали королями и герцогами, ну и пускай себе, лишь бы все шло мирно; даже и Джиму говорить про это не стоило, так что я ему ничего не сказал.

Если я научился от отца чему-нибудь, так это ладить с такими, как он: самое лучшее — не мешать им, пускай делают что хотят.

Глава двадцатая

КАК ГЕРЦОГ И ДОФИН ОБРАБОТАЛИ ПОКВИЛЛ

Они стали задавать нам разные вопросы — всё допытывались, для чего мы так укрыли плот и почему стоим днем, вместо того чтобы плыть дальше,— может, Джим беглый? Я им сказал:

— Господь с вами! Да разве беглый негр побежит на Юг?

Они согласились, что не побежит. Мне надо было как-нибудь вывернуться, и я начал рассказывать:

— Мои родные жили в округе Пайк, в штате Миссури, там я и родился, только все они умерли, кроме меня, папаши и брата Айка. Папаша решил все бросить и переехать на житье к дяде Бену; у него маленькая ферма в сорока четырех милях ниже Нового Орлеана. Папаша совсем обеднел, и долгов у него тоже было порядком, так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего шестнадцать долларов да наш негр Джим. С такими деньгами никак нельзя было уехать за тысячу четыреста миль, хотя бы на палубе. Ну, а когда река поднялась, папаше вдруг повезло: он поймал вот этот самый плот, и мы решили добраться на нем до Орлеана. Только папаше недолго везло — как-то ночью пароход наскочил на передний конец плота, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колесо; мы-то с Джимом ничего — выплыли, а пьяный папаша и братец Айк, которому было всего четыре года,— они оба так и потонули. Ну, следующие дня два у нас было много хлопот, потому что всякие люди подплывали к нам в лодках и хотели забрать у ме-

ня Джима, говорили, что он, должно быть, беглый негр. Теперь мы днем все больше стоим, а ночью нас никто не трогает.

Герцог сказал:

— Предоставьте это мне — я найду какой-нибудь выход, чтобы нам плыть днем, если понадобится. Я все обдумаю и решу, как это устроить. На сегодня пускай все останется как есть; мы, разумеется, не собираемся плыть днем мимо города — нам от этого может не поздоровиться.

К вечеру нахмурилось: похоже было, что собирается дождь; зарницы то и дело вспыхивали на краю неба, и листья затрепетали — сразу было видно, что идет гроза. Герцог и король отправились с ревизией в шалаш — поглядеть, какие у нас там постели. У меня был соломенный тюфяк — лучше, чем у Джима; он спал на маисовом, а в маисовом тюфяке всегда попадаются стебли и больно колют бока, а когда перевертываешься, то маисовая солома шуршит, словно куча сухих листьев, и шум такой, что поневоле просыпаешься. Так вот, герцог решил, что он возьмет себе мой тюфяк, но король ему не позволил. Он заметил:

— Мне кажется, вы бы сами должны были понять, что мой сан выше и потому мне не подобает спать на маисовом тюфяке. Пускай ваша светлость возьмет себе маисовый тюфяк.

Мы с Джимом опять было испугались, думали — вдруг они снова поссорятся; и очень обрадовались, когда герцог сказал:

— Моя судьба быть втоптанным в грязь железной пятой деспотизма! Несчастья сокрушили мой некогда гордый дух: я уступаю и покоряюсь — такова моя судьба. Я один на всем свете и обречен страдать; что ж, я и это перенесу.

Мы двинулись в путь, как только совсем стемнело. Король велел нам держаться поближе к середине реки и не зажигать фонаря, пока мы не проплывем мимо города. Скоро мы завидели маленькую кучку огней — это и был город — и в темноте благополучно проскользнули мимо него. Проплыв еще три четверти мили, мы вывесили наш сигнальный фонарь, а часам к десяти поднялся ветер, полил дождь, загремел гром и молния засверкала вовсю; и король велел нам обоим стоять на вахте, пока гроза не пройдет. Потом они с герцогом забрались в шалаш и улеглись спать. Я должен был сторожить после полуночи, только я все равно не лег бы, даже если бы у меня была постель, потому что не каждый день приходится видеть такую грозу.

Господи, как бушевал ветер! И каждую секунду или две вспыхивала такая молния, что становились видны белые гребешки волн на полмили кругом, и острова — словно пыльные

сквозь сетку дождя, и деревья, которые гнулись от ветра; а потом как трахнет — бум! бум! бах! тра-та-та-та! — гром ударит, раскатится и затихнет, а потом — р-раз! — опять вспыхнет молния, и опять удар грома. Меня несколько раз чуть не смыло волной с плота, но я разделся догола, и теперь мне все было нипочем. Насчет коряг нам беспокоиться тоже не приходилось: молния то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги были нам довольно хорошо видны, и мы всегда успевали повернуть плот в ту или другую сторону и обойти их.

У меня, видите ли, была ночная вахта, но только к этому времени мне здорово захотелось спать, и Джим сказал, что посторожит за меня первую половину ночи; на этот счет он всегда был молодец, говорить нечего. Я заполз в шалаш, но герцог с королем так развалились и раскинули ноги, что мне некуда было деваться; я лег перед шалашом — на дождь я не обращал никакого внимания, потому что было тепло и волны теперь стали уже не такие высокие. Часов около двух, однако, опять поднялось волнение, и Джим хотел было меня разбудить, а потом передумал: ему показалось, что волны стали ниже и беды от них не будет; но он ошибся, потому что вдруг нахлынула высоченная волна и смыла меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Уж очень он был смешливый, другого такого негра я не видывал.

Я стал на вахту, а Джим улегся и захрапел. Скоро гроза совсем прошла, и, как только в домиках на берегу зажегся первый огонек, я разбудил Джима, и мы с ним ввели плот в укромное место на дневную стоянку.

После завтрака король достал старую, замызганную колоду карт, и они с герцогом уселись играть в покер по пяти центов за партию. А когда им надоело играть, они принялись «составлять план кампании», как это у них называлось. Герцог слазил к себе в саквояж, вытащил целую кипу маленьких печатных афиш и стал читать нам вслух. В одной афише говорилось, что «знаменитый доктор Арман де Монтальбан из Парижа прочтет лекцию «О науке френологии» — там-то и там-то, такого-то числа, такого-то месяца, вход десять центов — и «за двадцать пять центов будет определять характер и способности». Герцог сказал, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался «всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес, Гарриком[1] Младшим из лондонского театра Друри Лэйн». В остальных афишах он под другими фамилиями тоже проделывал разные удивительные вещи: например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прута,

---

[1] Гаррик Дэвид — английский актер и драматург начала XVIII в.

снимал заклятия и так далее. В конце концов он сказал:

— А все-таки трагическая муза мне всего милей. Вам не приходилось выступать на сцене, ваше величество?

— Нет,— говорит король.

— Ну так придется, ваше бывшее величество, и не дальше как через три дня,— говорит герцог.— В первом же подходя́щем городе мы снимем зал и представим поединок из «Ричарда III» и сцену на балконе из «Ромео и Джульетты»[1]. Как вам это нравится?

— Я, конечно, стою за всякое прибыльное дело, но только, знаете ли, я ведь ничего не смыслю в актерской игре, да и видеть актеров мне почти не приходилось. Когда мой папаша приглашал их во дворец, я был еще совсем мальчишкой. А вы думаете, вам удастся меня научить?

— Еще бы! Это легче легкого.

— Ну, тогда ладно. У меня давно уже руки чешутся — хочется попробовать что-нибудь новенькое. Давайте сейчас же и начнем.

Тут герцог рассказал ему все, что полагается: кто такой был Ромео и кто такая Джульетта, и прибавил, что сам он привык играть Ромео, так что королю придется быть Джульеттой.

— Так ведь если Джульетта совсем молоденькая, не покажется ли все-таки странно, что у нее такая лысина и седые баки?

— Ну что вы! Не беспокойтесь — этим деревенским олухам и в голову не придет усомниться. А потом, вы же будете в костюме, это совсем другое дело: Джульетта на балконе, вышла перед сном полюбоваться на луну, она в ночной рубашке и чепчике с оборками. А вот и костюмы для всех этих ролей.

Он вытащил два-три костюма из занавесочного ситца и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда III и его противника, и еще длинную ночную рубашку из белого коленкора и чепец с оборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым внушительным и торжественным голосом; прыгая по плоту, он показывал, как надо играть; потом отдал королю книжку и велел ему выучить роль наизусть.

Милями тремя ниже излучины стоял какой-то маленький городишко, и после обеда герцог сказал, что он придумал одну штуку и теперь мы можем плыть и днем, нисколько не опасаясь за Джима; надо только съездить в город и все подготовить.

---

[1] «Ричард III» и «Ромео и Джульетта» — пьесы Шекспира (1564—1616), великого английского драматурга и поэта.

Король решил тоже поехать и посмотреть, не подвернется ли что-нибудь подходящее. У нас вышел весь кофе, поэтому Джим сказал, чтоб и я поехал с ними и купил.

Когда мы добрались до города, он словно весь вымер. На улицах было пусто и совсем тихо, будто в воскресенье. Мы разыскали больного негра, который грелся на солнышке где-то на задворках, и узнали от него, что весь город, кроме больных да старых и малых, отправился за две мили в лес, на молитвенное собрание. Король спросил, как туда пройти, и сказал, что постарается выколотить из этого молитвенного собрания все, что можно, и мне тоже позволил пойти с ним.

Герцог сказал, что ему нужно в типографию. Мы ее скоро нашли в маленьком помещении над плотничьей мастерской; все плотники и печатники ушли на молитвенное собрание и даже дверей не заперли.

Помещение было грязное, заваленное всяким хламом; на стенах везде были чернильные пятна и объявления насчет беглых негров и продажных лошадей. Герцог снял пиджак и сказал, что больше ему ничего не нужно. Тогда мы с королем отправились на молитвенное собрание.

Мы попали туда часа через полтора, все мокрые, хоть выжми, потому что день был ужасно жаркий. Там собралось не меньше тысячи человек со всей округи, многие приехали миль за двадцать.

В лесу было полным-полно лошадей, запряженных в повозки и привязанных где придется; они жевали овес из кормушек и махали хвостами, отгоняя мух. Под навесами, сооруженными из кольев и покрытыми зелеными ветвями, продавались имбирные пряники, лимонад, целые горы арбузов, молодой кукурузы и прочей зелени.

Проповеди слушали под такими же навесами, только они были побольше и битком набиты народом. Скамейки там были сколочены из горбылей; с нижней, круглой стороны в них провертели дыры и вбили туда палки вместо ножек. Спинок у скамей не было. Для проповедников под каждым навесом был устроен высокий помост.

Женщины были в соломенных шляпках, некоторые — в полушерстяных платьях, другие — в бумажных, а кто помоложе — в ситцевых. Кое-кто из молодых людей пришел босиком, а ребятишки бегали в одних холщовых рубашках. Старухи вязали, молодежь потихоньку перемигивалась.

Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал молитву. Прочтет две строчки, и все подхватят их хором; выходило очень торжественно — столько было народу, и все пели с воодушевлением; потом проповедник прочтет следующие

две строчки, а хор повторит, и так далее. Молящиеся воодушевлялись всё больше и больше, и пели всё громче и громче, и под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать, и тоже не как-нибудь, а с увлечением: сначала перегнулся на одну сторону помоста, потом на другую, потом наклонился вперед, двигая руками и всем туловищем и выкрикивая каждое слово во все горло. Время от времени он поднимал кверху раскрытую Библию и повертывал ее то в одну сторону, то в другую, выкрикивая: «Вот медный змий в пустыне! Воззрите на него и исцелитесь!» И все откликались: «Слава тебе, господи! А-а-минь!»

Потом он стал проповедовать дальше, а слушатели кто рыдал, кто плакал, кто восклицал «аминь».

— Придите на скамью, кающиеся! Придите, омраченные грехом! (Аминь!) Придите, больные и страждущие! (Аминь!) Придите, хромые, слепые и увечные! (Аминь!) Придите, нуждающиеся и обремененные, погрязшие в стыде! (Ами-и-инь!) Придите, все усталые, измученные и обиженные! Придите, падшие духом! Придите, сокрушенные сердцем! Придите в рубище, не омытые от греха! Хлынули воды очищения! Врата райские открылись перед вами! Войдите в них и успокойтесь! (Ами-инь! Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, господи!)

И так далее.

Из-за криков и рыданий уже нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди поднимались со своих мест и, обливаясь слезами, старались пробиться к скамье кающихся; а когда все кающиеся собрались к передним скамейкам, они начали петь, выкликать и бросаться плашмя на солому, будто полоумные.

Не успел я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и орал громче всех, а потом полез на помост.

Проповедник попросил его поговорить с народом, и король изъявил согласие. Он рассказал, что был пиратом, тридцать лет был пиратом, и плавал в Индийском океане, но этой весной бóльшую часть его шайки перебили в стычке, вот он и приехал на родину набрать новых людей, да, слава богу, его обокрали вчера ночью и высадили с парохода без единого цента в кармане, и он очень этому рад; лучше этого с ним ничего не могло случиться, потому что он стал теперь новым человеком и счастлив первый раз в жизни. Как он ни беден, он постарается опять добраться до Индийского океана и всю свою жизнь положит на то, чтобы обращать пиратов на путь истины; ему это легче, чем кому-либо другому, потому что все пиратские шайки в Индийском океане ему известны как свои пять пальцев; и хотя без денег он доберется туда не скоро, все же доберется

непременно и каждый раз, обратив пирата, будет говорить: «Не благодари меня, я этого не заслужил, все это сделали жители Поквилла, братья и благодетели рода человеческого, и их добрый проповедник, верный друг всякого пирата».

И тут он залился слезами, а вместе с ним заплакали все прочие. Потом кто-то крикнул:

— Устроим для него сбор, устроим сбор!

Человек десять сорвались было с места, но кто-то сказал:

— Пускай он сам обойдет всех со шляпой!

Все согласились, и проповедник тоже.

И вот король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословлял всех, благодарил и расхваливал за то, что они так добры к бедным пиратам в далеких морях; и самые хорошенькие девушки то и дело вставали с места и со слезами на глазах просили позволения поцеловать его — просто так, на память, и он всегда соглашался, а некоторых обнимал и целовал раз пять-шесть подряд; все его приглашали погостить у них в городе еще недельку, звали его пожить к себе в дом и говорили, что сочтут это за честь, но он отвечал, что ничем не может быть полезен, раз сегодня кончается молитвенное собрание, а кроме того, ему не терпится поскорей добраться до Индийского океана и там обращать пиратов на путь истины.

Когда мы вернулись на плот и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал восемьдесят семь долларов семьдесят пять центов. Да еще по дороге прихватил большую бутыль виски в три галлона, которая лежала в лесу под повозкой.

Король сказал, что ежели все это сложить вместе, то за один день он еще никогда столько не добывал проповедью. Он сказал, что нечего и говорить: язычники никак не могут сравниться с пиратами, когда нужно обработать молитвенное собрание.

Пока не явился король, герцогу тоже казалось, что он заработал недурно, но после этого он переменил мнение. Он набрал и отпечатал в типографии два маленьких объявления для фермеров — о продаже лошадей — и принял деньги: четыре доллара. Кроме того, он принял еще на десять долларов объявлений для газеты и сказал, что напечатает их за четыре доллара, если ему уплатят вперед, и заказчики согласились. Подписаться на газету стоило два доллара в год, а он взял с трех подписчиков по полдоллара, с тем что они ему заплатят вперед; подписчики хотели заплатить, как всегда, дровами и луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снизил расценки сколько мог, а теперь собирается вести дело за наличный расчет. Он набрал еще стихи, которые сочинил сам из своей головы,— три куплета, очень грустные и трогательные, а начинались они

так: «Разбей, холодный свет, мое больное сердце!» — набрал, оставил набор, готовый для печати, и ничего за это не взял. Так вот, за все это он получил девять с половиной долларов и сказал, что из-за этих денег ему пришлось на совесть попотеть целый день.

Потом он показал нам другое маленькое объявление, за которое он ничего не взял, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован беглый негр с узлом на палке через плечо, а внизу было напечатано: «200 долларов награды». Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точка в точку. Там говорилось, что он убежал прошлой зимой с плантации Сен-Жак, в сорока милях от Нового Орлеана, и надо полагать, что бежал на Север, а кто его поймает и доставит обратно, тот получит награду, и расходы ему будут оплачены.

— Ну вот,— сказал герцог,— теперь, если понадобится, мы можем плыть и днем. Как только мы завидим, что кто-нибудь к нам подъезжает, сейчас же свяжем Джима по рукам и по ногам веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и будем говорить, что мы его поймали выше по реке, а на пароход денег у нас нет, вот мы и взяли этот плот взаймы, по знакомству, и теперь едем получать награду. Кандалы и цепи были бы на Джиме еще лучше, только это нам не к лицу при нашей бедности, вроде как золото и серебро. А веревки — это как раз то, что требуется: надо выдерживать стиль, как говорится у нас на сцене.

Все мы нашли, что герцог очень ловко придумал: теперь нам без всякой помехи можно будет ехать и днем. За эту ночь мы успеем проехать достаточно, чтобы убраться подальше от шума, который поднимется в этом городке после работы герцога в типографии; а потом нам можно будет и не прятаться, если захотим.

Мы притаились и сидели на одном месте часов до десяти вечера, а потом потихоньку отчалили и выплыли на середину реки, подальше от города, и не вывешивали фонаря, пока город совсем не скрылся из виду.

Когда Джим стал будить меня в четыре часа утра на вахту, он спросил:

— Гек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли по дороге?

— Нет... Думаю, что вряд ли.

— Ну, тогда еще ничего,— говорит он.— Один-два еще туда-сюда, но этого нам за глаза хватит. Наш-то всегда пьян, как стелька, да и герцог тоже хорош.

Оказывается, Джим просил короля сказать что-нибудь по-

французски — так только, чтобы послушать, на что это похоже, а тот ему сказал, что так давно живет в Америке и столько перенес несчастий, что совсем позабыл французский язык.

Глава двадцать первая

ПРОИСШЕСТВИЕ В АРКАНЗАСЕ

Солнце уже взошло, но мы плыли все дальше, не останавливаясь.

Скоро встали и король с герцогом, кислые и хмурые с похмелья, но, после того как они окунулись в воду и выкупались, им стало много легче.

После завтрака король уселся на краю плота, разулся, закатал штаны до колен, опустил ноги в воду прохлаждения ради и, закурив трубочку, стал учить наизусть «Ромео и Джульетту». Когда он вытвердил свою роль, они с герцогом стали репетировать вместе. Герцог учил короля и заставлял его повторять каждую реплику, вздыхать, прикладывать руку к сердцу и в конце концов сказал, что получается недурно.

— Только, — говорит, — напрасно вы ревете, как бык: «Ромео!» — вот этак; вы должны говорить нежно и томно, вот так: «Ро-о-мео!» Ведь Джульетта кроткая, милая девушка, совсем еще ребенок, она не может реветь, как осел.

А потом они вытащили два длинных меча, которые герцог выстрогал из дубовых досок, и начали репетировать поединок; герцог сказал, что он будет Ричард III. И, право, стоило по-

смотреть, как они топали по плоту ногами и наскакивали друг на друга.

Довольно скоро король оступился и упал в воду; после этого они сделали передышку и стали друг другу рассказывать, какие у них бывали в прежнее время приключения на этой самой реке.

После обеда герцог сказал:

— Ну, Капет[1], представление, знаете ли, у нас должно получиться первоклассное, поэтому надо, я думаю, что-нибудь к нему добавить. Во всяком случае, надо приготовить что-нибудь «на бис».

— А что это значит — «на бис»?

Герцог объяснил ему, а потом говорит:

— Я исполню «на бис» шотландскую или матросскую пляску, а вы... Постойте, надо подумать... Ага, вот оно!.. Вы можете прочитать монолог Гамлета[2].

— Чего это — Гамлета?

— Монолог Гамлета! Ну как же — самое прославленное место из Шекспира! Божественная вещь! Всегда захватывает зрителей. В книжке у меня его нет — у меня всего один том,— но, пожалуй, я могу восстановить его по памяти. Похожу немножко по плоту, посмотрю, нельзя ли вызвать эти строки из глубин памяти.

И он принялся расхаживать по плоту взад и вперед, страшно хмурясь, и то поднимал брови кверху, то прижимал руку ко лбу, отшатываясь назад со стоном, то вздыхал, то ронял слезу.

Смотреть на него было просто занятно.

В конце концов он все вспомнил и позвал нас слушать. Тут он стал в самую величественную позу, одну ногу выдвинул вперед, руки поднял кверху, а голову откинул назад, глядя в небо, и пошел валять вовсю: он и зубами скрипел, и завывал, и бил себя в грудь, и декламировал — одним словом, все другие актеры, каких я только видел, и в подметки ему не годились.

Вот этот монолог. Мне ничего не стоило его запомнить — столько времени герцог натаскивал короля:

Быть или не быть? Вот в чем загвоздка!
Терпеть ли бедствия столь долгой жизни,
Пока Бирнамский лес пойдет на Дунсинан,
Иль против моря зол вооружиться?
Макбет зарезал сон, невинный сон,
Вот отчего беда так долговечна!
И мы скорей снесем земное горе,
Чем убежим к безвестности за гробом.

---

[1] Капет — прозвище Людовика XVI.

[2] Гамлет — главный герой одноименной трагедии Шекспира.

Дункана ты разбудишь! Что ж, пускай:
Кто б стал терпеть обиды, злобу света,
Тиранов гордость, сильных оскорбленья,
В одеждах траурных, как подобает,
Когда в ночи разверзнется могила —
Страна безвестная, откуда нет пришельцев...
И гасиет цвет решимости природной,
Бледнея перед гнетом размышленья,
И тучи, что над кровлями нависли,
Уходят, словно кошка в поговорке.
Удел живых... Такой исход достоин
Желаний жарких. Умереть — уснуть.
О милая Офелия! О нимфа!
Сомкни ты челюсти, тяжелые, как мрамор,
И в монастырь ступай!![1]

Ну, старику эта штука понравилась, он очень скоро выучил ее наизусть и читал так, что лучше и не надо. Он словно нарочно для этого родился, а когда набил себе руку и разошелся вовсю, то можно было залюбоваться, как у него это получается: когда он декламировал, он рвал и метал, просто из кожи лез.

При первом же удобном случае герцог напечатал театральные афиши, и после того у нас на плоту дня два или три все шло кувырком: только и знали, что сражались на мечах да репетировали, как это называлось у герцога.

Однажды утром, когда мы были уже в самой глубине штата Арканзас, впереди, там, где река образует излучину, вдруг показался какой-то захудалый городишко. Не доезжая до него трех четвертей мили, мы спрятали плот в устье какой-то речки, так густо поросшей кипарисами, что она походила больше на туннель. Все мы, кроме Джима, сели в лодку и отправились в город — поглядеть, нельзя ли тут дать наш спектакль.

Нам здорово повезло: нынче днем в городе должен был выступать цирк, и из деревень уже начал съезжаться народ — и верхом, и на дребезжащих повозках. Цирк должен был уехать к вечеру, так что наше представление пришлось кстати и могло иметь успех. Герцог снял залу суда, и мы пошли расклеивать афиши. Вот что на них было напечатано:

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШЕКСПИРА!!!

ИЗУМИТЕЛЬНОЕ
ЗРЕЛИЩЕ!

ТОЛЬКО
ОДИН
СПЕКТАКЛЬ!

---

[1] Герцог приводит не подлинный монолог Гамлета, а бессмысленный набор фраз, заимствованных из разных пьес Шекспира.

ЗНАМЕНИТЫЕ ТРАГИКИ

Дэвид Гаррик Младший из театра Друри Лэйн в Лондоне и Эдмунд Кин[1] Старший из Королевского Театра, Уайтчепел, Пуддинг Лэйн, Пикадилли, Лондон и из Королевских Театров в Европе

В СВОЕМ НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ ШЕКСПИРОВСКОМ СПЕКТАКЛЕ

под названием

Сцена на балконе

из

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ»!!!

Ромео — мистер Гаррик.
Джульетта — мистер Кин.

Участвует вся труппа!

Новые костюмы, новые декорации, новая постановка!
А также захватывающий, неподражаемый и повергающий в ужас

Поединок на мечах

из

«Ричарда III»!!!

Ричард III — мистер Гаррик.
Ричмонд — мистер Кин.

А ТАКЖЕ

по просьбе публики

БЕССМЕРТНЫЙ МОНОЛОГ ГАМЛЕТА!!!

в исполнении

ЗНАМЕНИТОГО КИНА!

Выдержал 300 представлений в Париже!

ТОЛЬКО ОДИН СПЕКТАКЛЬ!

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА НА ГАСТРОЛИ В ЕВРОПУ!

Вход — 25 центов; для детей и прислуги — 10 центов!

Мы пошли шататься по городу. Почти все лавки и дома здесь были старые, рассохшиеся и испокон веку некрашенные; все это от ветхости едва держалось. Дома стояли, точно на ходулях, фута на три, на четыре от земли, чтобы река не затопила, когда разольется. При домах были и садики, только в них ничего не росло, кроме дурмана и подсолнухов, да на кучах золы валялись рваные сапоги и башмаки, битые бутылки, тряпье и помятые ржавые жестянки. Заборы, сколоченные из разнока-

---

[1] Кин Эдмунд — английский актер начала XIX века.

либерных досок, набитых как попало одна на другую, покривились в разные стороны, и калитки в них держались всего на одной петле — да и та была кожаная. Кое-где они были даже выбелены — видно, в давние времена... может, еще при Колумбе, как сказал герцог. Обыкновенно в садиках рылись свиньи, а хозяева их оттуда выгоняли.

Все городские лавки выстроились вдоль одной улицы. Над ними были устроены полотняные навесы на столбиках, и приезжавшие из деревни покупатели привязывали к этим столбикам своих лошадей. Под навесами, на пустых ящиках из-под товара, целыми днями сидели здешние лодыри, строгали палочки карманными ножами фирмы Барлоу, а еще жевали табак, зевали и потягивались — сказать по правде, все это был никудышный народ. Все они ходили в желтых соломенных шляпах, чуть не с зонтик величиной, зато без сюртуков и жилетов, звали друг друга попросту: Билл, Бак, Хэнк, Джо и Энди, говорили лениво и врастяжку и не могли обойтись без ругани. Почти что каждый столбик подпирал какой-нибудь лодырь, засунув руки в карманы штанов; вынимал он их оттуда только для того, чтобы почесаться или одолжить кому-нибудь жвачку табаку. Все время только и слышно было:

— Одолжи мне табачку, Хэнк!

— Не могу, у самого только на одну жвачку осталось. Попроси у Билла.

Может, Билл ему и даст, а может, соврет и скажет, что у него нет. Бывают такие лодыри, что за душой у них нет ни цента, даже табаку ни крошки. Эти только и пробавляются займами, иначе им и табаку никогда не видать. Лодырь обыкновенно говорит приятелю:

— Ты бы мне одолжил табачку, Джек, а то я только что отдал Бену Томсону последнюю порцию.

И ведь почти всегда врет; разве только чужак попался бы на эту удочку, но Джек здешний и потому и отвечает:

— Ты ему дал табаку? Неужто? Кошкина бабушка ему дала, а не ты. Отдай то, что брал у меня, Лейф Бакнер, тогда, так уж и быть, я тебе одолжу тонны две и расписки с тебя не возьму.

— Да ведь я тебе один раз отдал долг!

— Да, отдал — жвачек шесть. Занимал-то хороший табак, покупной, а отдал самосад.

Покупной табак — это прессованный, плиточный, но эти парни жуют больше простой, листовой, скрученный в жгуты. Когда они занимают табак, то не отрезают, как полагается, ножом, а берут всю пачку в зубы и грызут и в то же время рвут ее руками до тех пор, пока пачка не перервется пополам;

тогда владелец пачки, глядя с тоской на возвращенный ему остаток, говорит иронически:

— Вот что: дай-ка ты мне жвачку, а себе возьми пачку.

Все улицы и переулки в городе — сплошная грязь; ничего другого там не было и нет, кроме грязи, черной, как деготь, местами глубиной не меньше фута, а уж два-три дюйма наверняка будет везде. Повсюду в ней валяются и хрюкают свиньи. Глядишь, какая-нибудь свинья вся в грязи бредет лениво по улице вместе со своими поросятами и плюхается как раз посреди дороги, так что людям надо обходить ее кругом, и лежит, растянувшись во всю длину, зажмурив глаза и пошевеливая ушами, а поросята сосут ее, и вид у нее такой довольный, будто ей за это жалованье платят. А лодырь уж тут как тут и орет во все горло:

— Эй, пес! Возьми ее, возьми!

Свинья улепетывает с оглушительным визгом, а одна-две собаки треплют ее за уши, и сзади ее догоняют еще дюжины три-четыре; тут все лодыри вскакивают с места и смотрят вслед, пока собаки не скроются из виду; им смешно, и вообще они очень довольны, что вышел такой шум. Потом они опять усаживаются и сидят до тех пор, пока собаки не начнут драться. Ничем нельзя их так расшевелить и порадовать, как собачьей дракой, разве только если смазать бездомную собачонку скипидаром и поджечь ее или навязать ей на хвост жестянку, чтоб она бегала, пока не выбьется из сил.

На берегу реки некоторые домишки едва лепились над обрывом, все кривые, кособокие — того и гляди, рухнут в воду. Хозяева из них давно выехали. Под другими берег обвалился, и угол дома повис в воздухе. Люди всё еще жили в этих домах, но это было довольно опасно: иногда вдруг разом сползала полоса земли с дом шириной. Случалось, что начинала оседать полоса берега в целую четверть мили шириной, оседала да оседала понемножку, пока, наконец, как-нибудь летом вся не сваливалась в реку. Такому городу, как вот этот, приходится все время пятиться назад да назад, потому что река его все время подтачивает.

Чем ближе к полудню, тем все больше и больше становилось на улицах подвод и лошадей. Семейные люди привозили с собой обед из деревни и съедали его тут же, на подводе. Виски тоже выпито было порядком, и я видел три драки. Вдруг кто-то закричал:

— Вон едет старик Богс! Опять приехал из деревни, чтобы нализаться как следует. Вот он, ребята!

Все лодыри обрадовались; я подумал, что они, должно быть, привыкли потешаться над этим Богсом. Один из них заметил:

— Интересно, кого он нынче собирается исколотить и стереть в порошок? Если б он исколотил всех тех, кого собирался исколотить за последние двадцать лет, то-то прославился бы!

Другой сказал:

— Хорошо бы, старик Богс мне пригрозил — тогда бы я уж знал, что проживу еще лет тысячу.

Тут этот самый Богс промчался мимо нас верхом на лошади, с криком и воплями, как индеец:

— Прочь с дороги! Я на тропе войны, скоро гроба́ подорожают!

Он был здорово выпивши и едва держался в седле; на вид ему было за пятьдесят, и лицо у него было очень красное. Все над ним смеялись, кричали ему что-то и дразнили его, а он отругивался, говорил, что дойдет и до них очередь, тогда он ими займется, а сейчас ему некогда. Он приехал в город для того, чтобы убить полковника Шерборна, и девиз у него такой: «Сперва дело, а пустяки потом».

Увидев меня, он подъехал поближе и спросил:

— Ты откуда, парень? К смерти приготовился или нет?

Потом двинулся дальше. Я было испугался, но какой-то человек сказал:

— Это он просто так; когда напьется, он всегда такой. Первый дурак во всем Арканзасе, но вовсе не злой: мухи не обидит ни пьяный, ни трезвый.

Богс подъехал к самой большой из городских лавок, нагнулся, заглядывая под навес, и крикнул:

— Выходи сюда, Шерборн! Выходи, посмотри в глаза человеку, которого ты обманул. Я приехал посчитаться с тобой, собака, и так не уеду, вот что!

И пошел, и пошел: ругал Шерборна на чем свет стоит, говорил все, что только на ум взбредет, а толпа на улице слушала, и смеялась, и подзадоривала его. Из лавки вышел человек лет этак пятидесяти пяти, с гордой осанкой, и одет он был хорошо, лучше всех в городе; толпа расступилась перед ним и дала ему пройти. Он сказал Богсу очень спокойно, с расстановкой:

— Мне это надоело, но я еще потерплю до часу дня. До часу дня — заметьте, но не дольше. Если вы обругаете меня хотя бы один раз после этого, я вас отыщу где угодно.

Потом он повернулся и ушел в лавку. Толпа сразу притихла; никто не шелохнулся, и смеху больше не было. Богс проехался по улице, все так же ругая Шерборна, но довольно скоро повернул обратно; остановился перед лавкой, а сам все ругается. Вокруг него собрался народ, хотели его утихомирить, но он никак не унимался; ему сказали, что уже без четверти час и лучше ему ехать домой, да поживее. Но толку из этого не вышло. Он

все так же ругался, бросил свою шляпу в грязь и проехался по ней, а потом опять поскакал по улице во весь опор, так что развевалась его седая грива. Все, кто только мог, старались сманить его с лошади, чтобы посадить под замок для вытрезвления, но ничего не вышло — он скакал по улице и ругал Шерборна. Наконец кто-то сказал:

— Сходите за его дочерью! Скорей приведите его дочь! Иной раз он ее слушается. Если кто-нибудь может его уговорить, так это только она.

Кто-то пустился бегом. Я прошел немного дальше по улице и остановился. Минут через пять или десять Богс является опять, только уже не на лошади. Он шел по улице, шатаясь, с непокрытой головой, а двое приятелей держали его за руки и подталкивали. Он присмирел, и вид у него был встревоженный; он не то чтоб упирался — наоборот, словно сам себя подталкивал. Вдруг кто-то крикнул: «Богс!»

Я обернулся поглядеть, кто это крикнул, а это был тот самый полковник Шерборн. Он неподвижно стоял посреди улицы, и в руках у него был двуствольный пистолет со взведенными курками — он не целился, а просто так держал его дулом кверху. В ту же минуту я увидел, что к нам бежит молоденькая девушка, а за ней двое мужчин. Богс и его приятели обернулись посмотреть, кто это его зовет, и, как только увидели пистолет, оба приятеля отскочили в сторону, а пистолет медленно опустился, так что оба ствола со взведенными курками глядели в цель. Богс вскинул руки кверху и крикнул:

— О господи! Не стреляйте!

Бах! — раздался первый выстрел, и Богс зашатался, хватая руками воздух. Бах! — второй выстрел, и он, раскинув руки, тяжело и неуклюже повалился на землю. Молодая девушка вскрикнула, бросилась к отцу и упала на его тело, рыдая и крича:

— Он убил его, убил!

Толпа сомкнулась вокруг них; люди толкали и теснили друг друга, вытягивали шею и старались получше все рассмотреть, а стоявшие внутри круга отталкивали их и кричали:

— Назад! Назад! Посторонитесь, ему нечем дышать!

Полковник Шерборн бросил пистолет на землю, повернулся и пошел прочь.

Богса понесли в аптеку поблизости; толпа все так же теснилась вокруг, весь город шел за ним; я протиснулся вперед и занял хорошее местечко, под окном, откуда мне было видно Богса. Его положили на пол, подсунули ему под голову толстую Библию, а другую раскрыли и положили ему на грудь; только сначала расстегнули ему рубашку, так что я видел, куда попала одна пуля. Он вздохнул раз десять, и Библия у него на

груди поднималась, когда он вдыхал воздух, и опять опускалась, когда выдыхал, а потом он затих — умер. Тогда оторвали от него дочь — она все рыдала и плакала — и увели ее. Ей было лет шестнадцать, и она была такая тихая и кроткая, только очень бледная от страха.

Ну, скоро здесь собрался весь город, толкаясь, теснясь и силясь пробраться поближе к окну и взглянуть на тело убитого, но те, кто раньше занял место, не уступали, хотя люди за их спиной твердили все время:

— Слушайте, ведь вы же посмотрели, и будет с вас. Это несправедливо! Право, нехорошо, что вы там стоите все время и не даете другим взглянуть! Другим тоже хочется не меньше вашего!

Они начали переругиваться, а я решил улизнуть; думаю, как бы чего не вышло. На улицах было полно народу, и все, видно, очень встревожились. Все, кто видел, как стрелял полковник, рассказывали, как было дело: вокруг каждого такого рассказчика толпились люди и стояли, вытягивая шею и слушая. Один долговязый, худой человек с длинными волосами и в высокой меховой шапке, сдвинутой на затылок, отметил на земле палкой с загнутой ручкой то место, где стоял Богс, и то, где стоял полковник, а люди толпой ходили за ним от одного места к другому и следили за всем, что он делает, и кивали головой в знак того, что всё понимают, и даже нагибались, уперев руки в бока, и глядели, как он отмечает эти места палкой. Потом он выпрямился и стал неподвижно на том месте, где стоял Шерборн, нахмурился, надвинул шапку на глаза и крикнул: «Богс!», а потом прицелился палкой — бах! — и пошатнулся, и опять бах! — и упал на спину. Те, которые все видели, сказали, что он изобразил точка в точку, как было, сказали, что именно так все и произошло. Человек десять вытащили свои бутылки с виски и принялись его угощать.

Ну, тут кто-то крикнул, что Шерборна надо бы линчевать. Через какую-нибудь минуту все повторяли то же, и толпа с ревом и криком повалила дальше, по дороге обрывая веревки для белья, чтобы повесить на них полковника.

Глава двадцать вторая

ПОЧЕМУ СОРВАЛОСЬ ЛИНЧЕВАНИЕ

Они повалили к дому Шерборна, вопя и беснуясь, как индейцы, и всякого, кто попался бы на дороге, сбили бы с ног и растоптали в лепешку. Мальчишки с визгом мчались впереди, ища случая свернуть в сторону, изо всех окон высовывались

женские головы, на всех деревьях сидели негритята; из-за заборов выглядывали кавалеры и девицы, а как только толпа подходила ближе, они очертя голову бросались кто куда. Много женщин и девушек дрожало и плакало, перепугавшись чуть не до смерти. Толпа сбилась в кучу перед забором Шерборна, и шум стоял такой, что самого себя нельзя было расслышать. Дворик был небольшой, футов в двадцать.

Кто-то крикнул:

— Ломайте забор! Ломайте забор!

Послышались треск, скрип и грохот, ограда рухнула, и передние ряды валом повалили во двор.

Тут Шерборн с двустволкой в руках вышел на крышу маленькой веранды и встал, не говоря ни слова, такой спокойный, решительный. Шум утих, и толпа отхлынула обратно.

Шерборн все еще не говорил ни слова — просто стоял и смотрел вниз. Тишина была очень неприятная, какая-то жуткая. Шерборн обвел толпу взглядом, и, на ком бы этот взгляд ни остановился, все трусливо отводили глаза, ни один не мог его выдержать, сколько ни старался. Тогда Шерборн засмеялся, только не весело, а так, что слышать этот смех было нехорошо, все равно как есть хлеб с песком.

Потом он сказал презрительно и с расстановкой:

— Подумать только, что вы можете кого-то линчевать! Это же курам на смех. С чего это вы вообразили, что у вас хватит духу линчевать мужчину? Уж не оттого ли, что у вас хватает храбрости вывалять в пуху несчастную заезжую побродяжку, вы вообразили, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побоится и десяти тысяч таких, как вы,— пока на дворе светло и вы не прячетесь у него за спиной.

Неужели я вас не знаю? Знаю как свои пять пальцев. Я родился и вырос на Юге, жил на Севере, так что среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус. На Севере он позволяет всякому помыкать собой, а потом идет домой и молится богу, чтобы тот послал ему терпение. На Юге один человек без всякой помощи остановил среди бела дня дилижанс, полный пассажиров, и ограбил его. Ваши газеты так часто называли вас храбрецами, что вы считаете себя храбрей всех других — а ведь вы такие же трусы, ничуть не лучше. Почему ваши судьи не вешают убийц? Потому что боятся, как бы приятели осужденного не пустили им пулю в спину,— да так оно и бывает.

Вот почему убийцу всегда оправдывают, и тогда настоящий мужчина выходит ночью и линчует негодяя при поддержке сотни замаскированных трусов. Ваша ошибка в том, что вы не захватили с собой настоящего человека,— это одна ошибка,

а другая та, что вы пришли днем и без масок. Вы привели с собой получеловека — вон он, Бак Гаркнес,— и если б он вас не подзадоривал, вы бы пошумели и разошлись.

Вам не хотелось идти. Средний человек не любит хлопот и опасности. Это вы не любите хлопот и опасности. Но если какой-нибудь получеловек, вроде Бака Гаркнеса, крикнет: «Линчевать его! Линчевать его!» — тогда вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут, как и следует, трусами, и вот вы поднимаете вой, цепляетесь за фалды этого получеловека и, беснуясь, бежите сюда и клянетесь, что совершите великие подвиги.

Самое жалкое, что есть на свете,— это толпа; вот и армия тоже толпа: люди идут в бой не потому, что в них вспыхнула храбрость,— им придает храбрости сознание, что их много и что ими командуют. Но толпа без человека во главе ничего не стоит. Теперь вам остается только поджать хвост, идти домой и забиться в угол. Если будет настоящее линчевание, то оно состоится ночью, как полагается на Юге; толпа придет в масках и захватит с собой человека. А теперь уходите прочь и заберите вашего получеловека! — С этими словами он вскинул двустволку и взвел курок.

Толпа отхлынула и бросилась врассыпную кто куда, и Бак Гаркнес тоже поплелся за другими, причем вид у него был довольно жалкий. Я бы мог там остаться, только мне не захотелось.

Я пошел к цирку и слонялся там на задворках, а когда сторож прошел мимо, я взял да и нырнул под брезент. Со мной была золотая монета в двадцать долларов и еще другие деньги, только я решил их поберечь. Почем знать — деньги ведь всегда могут понадобиться так далеко от дома, да еще среди чужих людей. Осторожность никогда не мешает. Я не против того, чтобы тратить деньги на цирк, когда нельзя пройти задаром, а только бросать их зря тоже не годится.

Цирк оказался первый сорт. Просто загляденье было, когда все они выехали на лошадях, пара за парой, господа и дамы бок о бок. Мужчины в кальсонах и нижних рубашках, без сапог и без шпор, подбоченясь, этак легко и свободно,— всего их, должно быть, было человек двадцать; а все дамы такие румяные, просто красавицы, ни дать ни взять настоящие королевы, и на всех такие дорогие платья, сплошь усыпанные брильянтами,— уж, верно, каждое стоило не дешевле миллиона. Любо-дорого смотреть, а мне так и вообще ничего красивей видеть не приходилось. А потом все они вскочили на седла, выпрямились во весь рост и поехали вереницей кругом арены, тихо и плавно покачиваясь; все мужчины, упираясь на скаку головой чуть не в потолок, казались такими высокими, ловкими и стройными, а у дам платья шуршали и колыхались легко, словно розовые лепест-

ки, так что каждая дама походила на самый нарядный зонтик.

А потом они поскакали вокруг арены все быстрей и быстрей и отплясывали на седле так ловко: то одна нога в воздухе, то другая; а распорядитель расхаживал посредине, вокруг шеста, щелкая бичом и покрикивая: «Гип, гип!», а клоун за его спиной отпускал шуточки; потом все они бросили поводья, и дамы уперлись пальчиками в бока, мужчины скрестили руки на груди, а лошади у них гарцевали и становились на колени. А потом все они один за другим соскочили на песок, отвесили самый что ни на есть изящный поклон и убежали за кулисы, а публика хлопала в ладоши, кричала, просто бесновалась.

Ну вот, и до самого конца представления они проделывали разные удивительные штуки, а этот клоун все время так смешил, что публика едва жива осталась. Что ему распорядитель ни скажет, он за словом в карман не лезет: не успеешь мигнуть — ответит, и всегда что-нибудь самое смешное; и откуда у него что бралось, да так сразу и так складно, я просто понять не мог. Я бы и в год ничего такого не придумал. А потом какому-то пьяному вздумалось вылезть на арену — он сказал, что ему хочется прокатиться, а ездить верхом он умеет не хуже всякого другого. Его уговаривали, не пускали, только он и слушать ничего не хотел, так что пришлось сделать перерыв. Тут публика стала на него кричать и насмехаться над ним, а он разозлился и начал скандалить; зрители тогда не вытерпели, вскочили со скамеек и побежали к арене; многие кричали: «Стукните его хорошенько! Вышвырните его вон!», а одна-две женщины взвизгнули. Тут выступил распорядитель и сказал несколько слов насчет того, что он надеется, что беспорядка никакого не будет, пускай только этот господин обещает вести себя прилично, и ему разрешат прокатиться, если он думает, что удержится на лошади. Все засмеялись и закричали, что согласны, и пьяный влез на лошадь. Только он сел, лошадь начала бить копытами, рваться и становиться на дыбы, а два цирковых служителя повисли на поводьях, стараясь ее удержать; пьяный обхватил ее за шею, и пятки у него взлетали кверху при каждом скачке. Все зрители поднялись с мест, кричали и хохотали до слез. Но в конце концов, сколько цирковые служители ни старались, лошадь у них все-таки вырвалась и помчалась во всю прыть кругом арены, а этот пьяница повалился лошади на шею и держится за нее, и то одна нога у него болтается чуть не до земли, то другая, а публика просто с ума сходит. Хотя мне-то вовсе не было смешно: я весь дрожал, боялся, как бы с ним чего не случилось. Однако он побарахтался-побарахтался, сел верхом и ухватился за повод, а сам шатается то в одну, то в другую сторону; еще минута — смотрю, он

вскочил на ноги, бросил поводья и встал на седле. А лошадь-то мчится во весь опор! Он стоял на седле так спокойно и свободно, словно в жизни пьян не был; потом, смотрю, начал срывать с себя одежду и швырять ее на песок. Одно за другим, одно за другим — до того быстро, что одежда так и мелькала в воздухе, а всего он сбросил семнадцать костюмов и стоит стройный и красивый, в самом ярком и нарядном трико, какое можно себе представить. Потом подстегнул лошадь хлыстиком, так что она завертелась по арене, и наконец соскочил на песок, раскланялся и убежал за кулисы, а все зрители просто вой подняли от удовольствия и удивления.

Тут распорядитель увидел, что его провели, и, по-моему, здорово разозлился. Оказалось, что это его же артист. Он все это сам придумал и никому ничего не сказал. Ну, мне тоже было не особенно приятно, что я так попался, а все-таки не хотел бы я быть на месте этого распорядителя даже за тысячу долларов! Не знаю... может, где-нибудь есть цирк и лучше этого, только я что-то ни разу не видал. Во всяком случае, по мне и этот хорош, и где бы я его ни увидел, непременно туда пойду.

Ну, а вечером и у нас тоже было представление, но народу пришло немного, человек двенадцать,— еле-еле хватило оплатить расходы. И зрители все время смеялись, а герцог злился, просто из себя выходил, а потом они взяли да ушли еще до конца спектакля, все, кроме одного мальчика, который заснул. Герцог сказал, что эти арканзасские олухи еще не доросли до Шекспира, что им нужна только самая пошлая комедия — даже хуже, чем пошлая комедия, вот что. Он уж знает, что им придется по вкусу. На другое утро он взял большие листы оберточной бумаги и черную краску, намалевал афиши и расклеил их по всему городу. Вот что было в афишах:

В ЗАЛЕ СУДА!

Только три спектакля!

Всемирно известные трагики

ДЭВИД ГАРРИК МЛАДШИЙ!

и

ЭДМУНД КИН СТАРШИЙ!

Из лондонских и европейских театров

в захватывающей трагедии

КОРОЛЕВСКИЙ ЖИРАФ,

или

ЦАРСТВЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВО!!!

Вход 50 центов

А внизу стояло самыми крупными буквами:

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

— Ну вот,— сказал герцог,— если уж этой строчкой их не заманишь, тогда я не знаю Арканзаса!

Глава двадцать третья

ВСЕ КОРОЛИ ДРЯНЬ

Весь этот день они с королем возились не покладая рук: устраивали сцену, вешали занавес, натыкали свечей вместо рампы, а вечером мы и опомниться не успели, как зал был битком набит мужчинами. Когда больше уже нельзя было втиснуться ни одному человеку, герцог бросил проверять билеты, обошел здание кругом и поднялся на сцену. Там он стал перед занавесом и произнес коротенькую речь: сначала похвалил трагедию, сказал, будто она самая что ни на есть занимательная, и пошел дальше распространяться насчет трагедии и Эдмунда Кина Старшего, который в ней исполняет самую главную роль; а потом, когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый; он был весь кругом размалеван разноцветными полосами и сверкал, как радуга. Ну, обо всем остальном и говорить не стоит — сущая чепуха, а все-таки было очень смешно. Публика чуть не надорвалась от смеха; а когда король попрыгал-попрыгал да и ускакал за кулисы, зрители хлопали, кричали, хохотали и бесновались до тех пор, пока он не вернулся и не начал ломать комедию снова, да и после этого его заставили повторить все сначала. Тут и корова не удержалась бы от смеха, глядя, какие штуки откалывает наш старый дурак.

Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза, по случаю неотложных гастролей в Лондоне, где все билеты на предстоящие спектакли в Друри Лэйн уже проданы; потом опять раскланялся и сказал, что если почтеннейшая публика нашла представление занятным и поучительным, то ее покорнейше просят рекомендовать своим знакомым, чтобы и они пошли посмотреть.

Человек двадцать закричали разом:

— Как, да разве уже кончилось? Разве это все?

Герцог сказал, что всё. Тут начался скандал. Зрители подняли крик: «Надули!» Обозлившись, повскакали с мест и

Король попрыгал-попрыгал да и ускакал за кулисы.

полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий осанистый господин вскочил на скамейку и закричал:

— Погодите! Только одно слово, джентльмены!

Они остановились послушать.

— Нас с вами надули — здо́рово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтобы над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем всех остальных! Тогда мы все окажемся в равном положении. Так или нет?

— Конечно, так! Молодец, судья! — закричали все в один голос.

— Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление.

На другой день по всему городу только и было разговоров, что про́ наш замечательный спектакль. Зал был опять битком набит зрителями, и мы опять так же надули и этих. Вернувшись с королем и герцогом к себе на плот, мы поужинали все вместе, а потом, около полуночи, они велели нам с Джимом вывести плот на середину реки, спуститься мили на две ниже города и там где-нибудь его спрятать.

На третий вечер зал был опять переполнен, и на этот раз пришли не новички, а всё те же, которые были на первых двух представлениях. Я стоял в дверях вместе с герцогом и заметил, что у каждого из зрителей оттопыривается карман или под полой что-нибудь спрятано; я сразу понял, что это не какая-нибудь парфюмерия, а совсем даже наоборот. Несло тухлыми яйцами, как будто их тут были сотни, и гнилой капустой; и если только я знаю, как пахнет дохлая кошка,— а я за себя ручаюсь,— то их пронесли мимо меня шестьдесят четыре штуки. Я потолкался минутку в зале, а больше не выдержал — уж очень там крепко пахло. Когда публики набилось столько, что больше никому нельзя было втиснуться, герцог дал одному молодчику двадцать пять центов и велел ему пока постоять в дверях, а сам пошел кругом, будто бы на сцену, и я за ним; но как только мы повернули за угол и очутились в темноте, он сказал:

— Иди теперь побыстрей, а когда отойдешь подальше от домов, беги к плоту во все лопатки, будто за тобой черти гонятся!

Я так и сделал, и он тоже. Мы прибежали к плоту в одно и то же время и меньше чем через две секунды уже плыли вниз по течению, в полной тишине и темноте, правя наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняге королю не поздоровится, а оказалось — ничего подобного: скоро он выполз из шалаша и спросил:

— Ну, герцог, сколько мы загребли на этом деле?

Он, оказывается, вовсе и не был в городе.

Мы не вывешивали фонаря, пока не отплыли миль на десять от города. Тогда мы зажгли свет и поужинали, а король с герцогом просто надрывались со смеху, вспоминая, как они провели публику. Герцог сказал:

— Простофили, олухи! Я так и знал, что первая партия будет помалкивать, чтобы остальные тоже попали впросак; так я и знал, что в третий раз они нам собираются устроить сюрприз: думают, что теперь их черед. Это верно — черед их; но я бы дорого дал, чтобы узнать, много ли им от этого проку. Хотелось бы все-таки знать, как они воспользуются таким случаем. Могут устроить пикник, если им вздумается: провизии у них с собой довольно.

Эти мошенники собрали в три вечера четыреста шестьдесят пять долларов. Я еще никогда не видел, чтобы деньги загребали такими кучами.

Немного погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джим и говорит:

— Гек, а ты не удивляешься, что короли так себя ведут?

— Нет,— говорю,— не удивляюсь.

— А почему ты не удивляешься, Гек?

— Да потому, что такая уж это порода. Я думаю, они все одинаковы.

— Гек, ведь эти наши короли — сущие мошенники! Вот они что такое — сущие мошенники!

— Ну, а я что тебе говорю: почти все короли мошенники, дело известное.

— Да что ты!

— А ты почитай про них, вот тогда и узнаешь. Возьми хоть Генриха Восьмого[1]; наш против него прямо директор воскресной школы. А возьми Карла Второго, Людовика Четырнадцатого, Людовика Пятнадцатого, Якова Второго, Эдуарда Второго,

---

[1] Генрих Восьмой — английский король (1509—1547). Ниже Гек Финн в своем рассказе путает события и книги разных стран и веков, не имеющие между собой ничего общего и никак не относящиеся к Генриху Восьмому. Так, «1001 ночь» — это собрание арабских сказок, а «Книга Страшного Суда» — это земельная перепись, проведенная в Англии королем Вильгельмом Завоевателем. Тюки с чаем скинули с кораблей в Бостонской гавани в 1773 году американские колонисты, протестуя против незаконных пошлин. Декларация независимости (1776) объявляла независимость американских колоний от Англии. Герцог Веллингтон — не отец Генриха Восьмого, а английский полководец начала XIX века, участник войн против Наполеона.

Так же фантастичны и все прочие ссылки Гека на другие исторические имена и события.

Ричарда Третьего и еще сорок других; а еще были короли в старые времена — и англы, и саксы, и норманны, так они только и занимались, что грабежом да разбоем. Поглядел бы ты на старика Генриха, когда он был во цвете лет! Вот это был фрукт! Бывало, каждый день женится на новой жене, а наутро велит рубить ей голову. Да еще так равнодушно, будто яичницу заказывает. «Подать сюда Нелл Гвинн!» — говорит. Приводят ее. А наутро: «Отрубите ей голову!» И отрубают. «Подать сюда Джейн Шор!» — говорит. Она приходит. А наутро: «Отрубите ей голову!» И отрубают. «Позовите прекрасную Розамунду!» Прекрасная Розамунда является на зов. А наутро: «Отрубите ей голову!» И всех своих жен заставлял рассказывать ему каждую ночь по сказке, а когда сказок набралось тысяча и одна штука, он из них составил книжку и назвал ее «Книга Страшного Суда» — как раз подходящее название! Ты королей не знаешь, Джим, зато я их знаю; этот наш забулдыга все-таки много лучше тех, про кого я читал в истории. Ну, вот вздумалось Генриху затеять свару с Америкой. Как же он за это взялся? Предупредил? Дал собраться с силами? Как бы не так! Ни с того ни с сего взял да и пошвырял за борт весь чай в Бостонской гавани, а потом объявил Декларацию независимости — теперь, говорит, воюйте. Всегда такой был, прямо хватает за горло. Были у него подозрения насчет собственного папаши, герцога Веллингтона. Так что же он сделал? Расспросил его хорошенько? Нет, взял да утопил в бочке мальвазии[1], как котенка. Бывало, зазевается кто-нибудь, оставит деньги на виду, так он — что ты думаешь? — обязательно прикарманит. Обещается что-нибудь сделать и деньги возьмет, а если не сидеть тут же и не глядеть за ним в оба, так всегда надует и сделает как раз наоборот. Стоит ему, бывало, рот раскрыть, и если тут же не закроет покрепче, так непременно соврет. Вот какой жук был этот Генрих! И если бы с нами вместо наших королей был он, он бы еще почище обжулил этот город. Я ведь не говорю, что наши какие-нибудь невинные барашки; тоже ничего себе, если разобраться; ну, а все-таки им до этого старого греховодника далеко. Я одно скажу: король — он и есть король, что с него спрашивать! И вообще все они дрянь порядочная. Так уж воспитаны.

— Уж очень от нашего спиртным разит, Гек.

— Ну что ж, они все такие, Джим. От всех королей разит, с этим ничего не поделаешь, так и в истории говорится.

— А герцог, пожалуй, еще ничего, довольно приличный человек.

---

[1] Мальва́зия — сорт вина. В бочке с мальвазией, по преданию, английский король Ричард III утопил своего брата.

— Да, герцог — другое дело. А все-таки разница невелика. Тоже не первый сорт, хоть он и герцог. Когда напьется, так от короля его и не отличишь, ежели ты близорукий.

— Ну их совсем, Гек, мне больше таких не требуется! Я и этих-то едва терплю.

— И я тоже, Джим. Но если они уж сели нам на шею, надо не забывать, кто они такие, и принимать это во внимание. Конечно, все-таки хотелось бы знать, есть ли где-нибудь страна, где короли совсем перевелись.

Какой толк было говорить Джиму, что это не настоящие король и герцог? Ничего хорошего из этого выйти не могло, а кроме того, так оно и было, как я говорил: они ничем не отличались от настоящих.

Я лег спать, и Джим не стал будить меня, когда подошла моя очередь. Он часто так делал. Когда я проснулся на рассвете, он сидел, положив голову на колени, стонал и плакал. Обыкновенно я в таких случаях не обращал на него внимания, даже виду не подавал. Я знал, в чем дело. Это он вспоминал про жену и детей и тосковал по дому, потому что до сих пор никогда не расставался с семьей; а детей и жену он, по-моему, любил не меньше, чем всякий белый человек. Может, это покажется странным, только так оно и было. По ночам он часто, бывало, стонал и плакал, когда думал, что я сплю; плакал и приговаривал:

«Бедняжка Лизабет, бедненький Джонни! Ох, какое горе! Верно, не видать мне вас больше, никогда не видать!»

Очень хороший негр этот Джим!

Но на этот раз я разговорился с ним про его жену и ребятишек, и, между прочим, он сказал:

— Вот отчего мне сейчас так тяжело: я только что слышал, как на берегу что-то шлепнуло или хлопнуло,— от этого мне и вспомнилось, как я обидел один раз мою маленькую Лизабет. Ей было тогда всего четыре года, она схватила скарлатину и очень тяжело болела, потом поправилась; вот как-то раз стоит она рядом со мной, а я ей и говорю:

«Закрой дверь!»

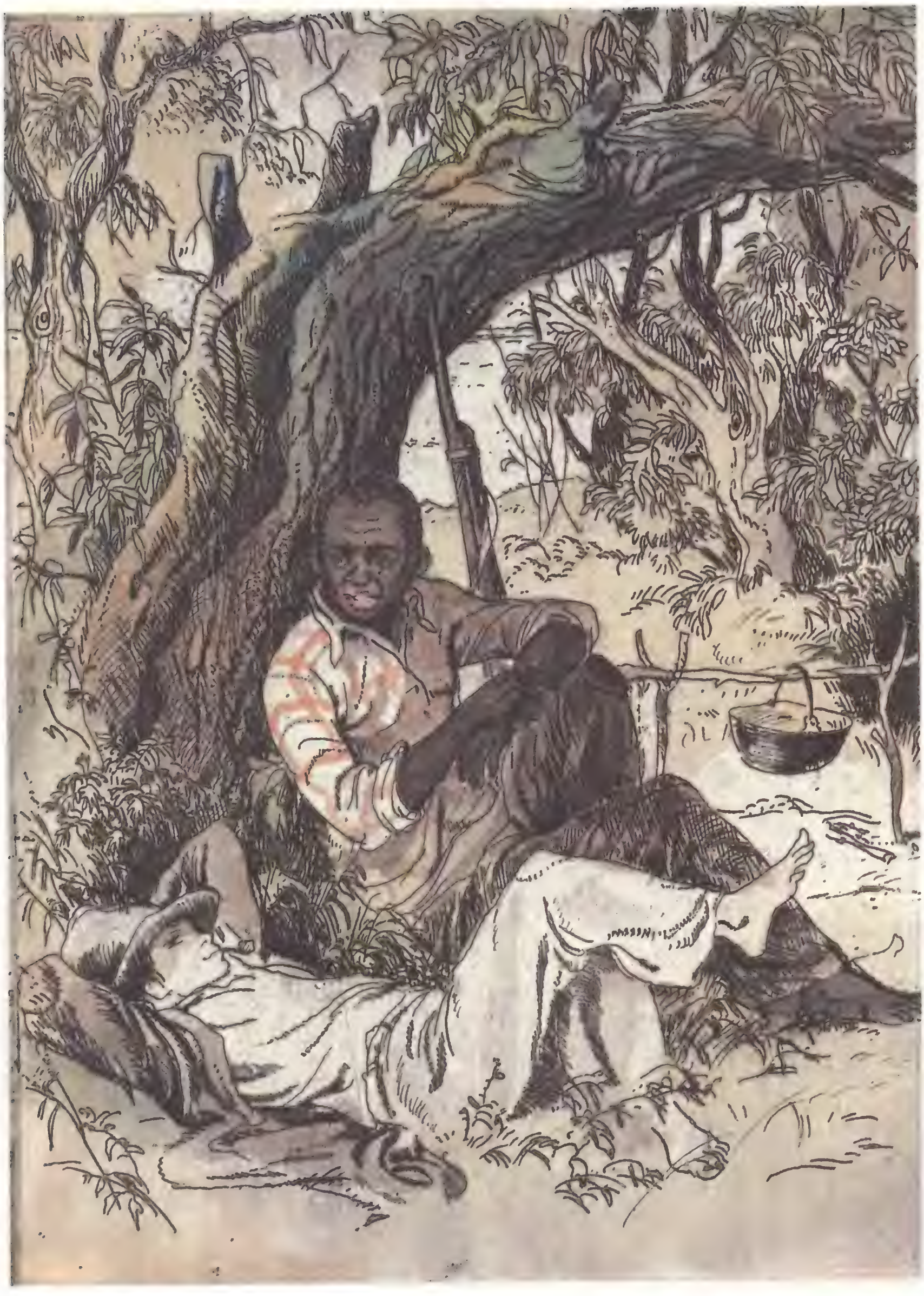
Она не закрывает, стоит себе и стоит, да еще глядит на меня и улыбается. Меня это разозлило; я опять ей говорю, громко так говорю:

«Не слышишь, что ли? Закрой дверь!»

А она стоит все так же и улыбается. Я взбесился и прикрикнул:

«Ну, так я же тебя заставлю!»

Да как шлепну ее по голове — так она у меня и полетела на пол. Потом ушел в другую комнату, пробыл там минут десять



К стр. 251

и прихожу обратно; смотрю, дверь все так же открыта настежь, девочка стоит около самой двери, опустила голову и плачет. Разозлился я — и к ней, а тут как раз — дверь эта отворялась наружу — налетел ветер и — трах! — захлопнул ее за спиной у девочки, а она и с места не тронулась. Я так и обмер, а уж что я чувствовал, просто и сказать не могу. Подкрался — а сам весь дрожу,— подкрался на цыпочках, открыл потихоньку дверь у нее за спиной, просунул осторожно голову да как крикнул во все горло. Она даже не пошевельнулась! Да, Гек, тут я и сам заплакал! Схватил ее на руки и говорю:

«Ох ты, моя бедняжка! Прости, господи, старика Джима, а сам он никогда себя не простит!»

Ведь она после скарлатины оглохла, Гек, совсем оглохла, а я так ее обидел!

Глава двадцать четвертая

КОРОЛЬ СТАНОВИТСЯ ПРОПОВЕДНИКОМ

На другой день, уже под вечер, мы пристали к заросшему ивняком островку посредине реки, а на том и на другом берегу стояли городишки, и герцог с королем начали раскидывать умом, как бы их обобрать. Джим сказал герцогу, что, он надеется, это не займет много времени — уж очень ему надоело лежать по целым дням связанным в шалаше, да и трудно это было.

Понимаете, нам приходилось все-таки связывать Джима веревкой, когда мы оставляли его одного: ведь если бы кто-нибудь на него наткнулся и увидел, что никого с ним нет и он не связан, так не поверил бы, что это беглый негр. Ну, и герцог тоже сказал, что, конечно, нелегко лежать целый день связанным и что он придумает, как обойтись без этого.

Голова у него работала здорово, у нашего герцога, он живо сообразил, как это устроить. Одел Джима в костюм короля Лира[1]: длинный халат из занавесочного ситца, седой парик и борода из конского волоса; потом взял свои театральные краски и вымазал Джиму шею, лицо, руки и уши — все сплошь густой синей краской такого тусклого и неживого оттенка, что он стал похож на утопленника, пролежавшего в воде целую неделю. Провалиться мне, но такой страшной образины я в жизни не видывал! Потом герцог взял дощечку и написал на ней:

Бешеный араб.
Когда в себе — на людей не бросается.

---

[1] Король Лир — главное действующее лицо одноименной трагедии Шекспира.

И приколотил эту дощечку к палке, а палку поставил рядом с шалашом, шагах в четырех от него. Джим был доволен. Он сказал, что это куда лучше, чем целый день лежать связанным и трястись от страха, как только где-нибудь зашумит. Герцог посоветовал ему не стесняться и вести себя поразвязнее; а если кто-нибудь вздумает совать нос не в свое дело, пускай Джим выскочит из шалаша и попляшет немножко, даже взвоет разика два, как дикий зверь,— небось тогда живо уберутся и оставят его в покое. Это он, в общем, рассудил правильно; но только не всякий стал бы дожидаться, пока Джим завоет. Если бы еще он просто был похож на покойника, а то куда там — много хуже!

Этим мошенникам хотелось опять пустить в ход «Жирафа» — уж очень прибыльная была штука,— только они побаивались: а вдруг слухи за это время дошли уже и сюда? Больше ничего подходящего им в голову не приходило, и в конце концов герцог сказал, что полежит и подумает часа два, нельзя ли как-нибудь околпачить арканзасский городок; а король решил заглянуть в городок на другом берегу, без всякого плана, просто так, положившись в смысле прибыли на провидение, а по-мое-

му — на сатану. Все мы купили новое платье там, где останавливались прошлый раз; и теперь король сам оделся во все новое и мне тоже велел одеться. Я, конечно, оделся. Король был во всем черном и выглядел очень парадно и торжественно. А я до сих пор и не знал, что платье так меняет человека. Раньше он был похож на самого что ни на есть распоследнего забулдыгу, а теперь как снимет новую белую шляпу да раскланяется с этакой улыбкой — ну, будто сам старик Ной, только что вышедший из ковчега[1]: такой на вид важный, благочестивый и добродетельный.

Джим вымыл челнок, и я сел в него с веслом наготове. У берега, чуть пониже мыса, милях в трех от городка, стоял большой пароход; он стоял уже часа два: грузился. Король и говорит:

— Раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше приехать из Сен-Луи, или Цинциннати, или еще из какого-нибудь большого города. Греби к пароходу, Гекльберри: мы на нем доедем до городка.

Ему не пришлось упрашивать меня, чтобы я поехал кататься на пароходе. Я подъехал к берегу в полумиле от городка и повел лодку вдоль крутого обрыва по тихой воде. Довольно скоро мы наткнулись на этакого славного, простоватого с виду, деревенского паренька, который сидел на бревне, утирая пот с лица, потому что было очень жарко; рядом с ним лежали два ковровых саквояжа.

— Поверни-ка челнок к берегу,— сказал король. (Я повернул.) — Куда это вы направляетесь, молодой человек?

— В Орлеан. Жду парохода.

— Садитесь ко мне,— говорит король.— Погодите минутку: мой слуга поможет вам внести вещи... Вылезай, помоги джентльмену, Адольфус! (Это, вижу, он мне говорит.)

Я помог, потом мы втроем поехали дальше. Молодой человек был очень благодарен, сказал, что ему просто невмоготу было тащить вещи по такой жаре. Он спросил короля, куда он едет, и тот ему сказал, что ехал вниз по реке, нынче утром высадился у городка на той стороне, а теперь хочет подняться на несколько миль вверх, повидаться там с одним старым знакомым на ферме.

Молодой человек сказал:

— Как только я вас увидел, я сразу подумал: это, верно, мистер Уилкс, и запоздал-то он самую малость. И опять-таки думаю: нет, должно быть, не он — зачем бы ехать вверх по реке? Вы ведь не он, верно?

— Нет, меня зовут Блоджет, Александер Блоджет; кажет-

---

[1] К о в ч е г — корабль, на котором, по библейскому преданию, спасся во время всемирного потопа Ной.

ся, мне следует прибавить: его преподобие Александер Блоджет — ведь я смиренный служитель божий. Но как бы то ни было, мне все-таки прискорбно слышать, что мистер Уилкс опоздал, если из-за этого он лишился чего-нибудь существенного. Надеюсь, этого не случилось?

— Да нет, капитала он из-за этого не лишился. Наследство он все равно получит, а вот своего брата Питера он в живых не застанет. Ему это, может, и ничего... кто же его знает, а вот брат все на свете отдал бы, лишь бы повидаться с ним перед смертью: бедняга ни о чем другом говорить не мог последние три недели. Они с самого детства не видались, а брата Вильяма он и вовсе никогда не видел — это глухонемого. Вильяму всего лет тридцать — тридцать пять. Сюда приехали только Питер и Джордж; Джордж был женат, он умер в прошлом году, и жена его тоже. Теперь остались в живых только Гарви с Вильямом, да и то, как я уже говорил, они опоздали приехать.

— А кто-нибудь писал им?

— Ну как же, писали, месяц или два назад, когда Питер только что заболел,— он говорил, что на этот раз ему не поправиться. Видите ли, он уже совсем состарился, а дочки Джорджа еще молоденькие, они ему не компания, кроме разве Мери Джейн — это та, рыженькая; ну и выходит, что как умерли Джордж и его жена, старику не с кем было слова сказать, да, пожалуй, и жить больше не хотелось. Уж очень он рвался повидать Гарви, и Вильяма тоже, само собой; до завещаний он был не охотник — бывают такие люди. Он оставил Гарви письмо. Там сказано, где он спрятал свои деньги и как разделить остальное имущество, чтобы девочки Джорджа не нуждались ни в чем — сам-то Джордж ничего не оставил. А кроме этого письма, он так-таки ничего и не написал — не могли его заставить.

— Почему же Гарви не приехал вовремя, как вы думаете? Где он живет?

— О, живет-то он в Англии, Шеффилде, он там проповедник и в Америке раньше не бывал. Может, не успел собраться, а может, и письма не получил совсем, почем знать!

— Жаль, жаль, что он так и не повидался с братьями перед смертью, бедняга! Так, значит, вы едете в Орлеан?

— Да, но только это еще не всё. В среду я уезжаю на пароходе в Рио-де-Жанейро, там у меня дядя живет.

— Долгое, очень долгое путешествие! Зато какое приятное! Хотел бы я быть на вашем месте... Так Мери Джейн старшая? А другим сколько лет?

— Мери Джейн девятнадцать лет, Сюзанне — пятнадцать, а Джоанне еще нет четырнадцати — это та, что с заячьей губой и посвятила себя добрым делам.

— Бедняжки! Каково им остаться одним на свете!

— Да нет, могло быть и хуже. У старика Питера были друзья, они не дадут девочек в обиду. Гобсон, баптистский проповедник, и дьякон Лот Хови, и Бен Рэкер, и Эбнер Шеклфорд, и адвокат Леви Белл, и доктор Робинсон, и их жены, и вдова Бартли... и... да много еще, только с этими Питер был всего ближе и писал о них на родину, так что Гарви знает, где ему искать друзей, когда он сюда приедет.

Ну, старик все расспрашивал да расспрашивал, пока не вытянул из паренька все дочиста. Провалиться мне, если он не разузнал всю подноготную про этот самый город и про Уилксов тоже: и чем занимался Питер — он был кожевник; и Джордж — он был плотник; и Гарви — а этот проповедник в какой-то секте, и много еще чего. Потом и говорит:

— А почему это вы шли пешком до самого парохода?

— Потому что это большой орлеанский пароход, и я боялся, что он здесь не остановится. Если пароход сидит глубоко, он не останавливается по требованию. Пароходы из Цинциннати останавливаются, а этот идет из Сен-Луи.

— А что, Питер Уилкс был богатый?

— Да, очень: у него были и дома и земля; говорят, после него остались еще тысячи три-четыре деньгами, спрятаны где-то...

— Когда, вы сказали, он умер?

— Я ничего не говорил, а умер он вчера ночью.

— Похороны, верно, завтра?

— Да, после полудня.

— Гм! Все это очень печально... но что же делать, всем нам придется когда-нибудь умереть. Так что нам остается только готовиться к этому часу: тогда мы можем быть спокойны.

— Да, сэр, это самое лучшее. Моя мать тоже всегда так говорила.

Когда мы причалили к пароходу, погрузка уже кончилась, и скоро он ушел. Король ничего не говорил насчет того, чтобы подняться на борт; так мне и не удалось прокатиться на пароходе. Когда пароход ушел, король заставил меня грести еще с милю, а там вылез на берег в пустынном месте и говорит:

— Поезжай живей обратно и доставь сюда герцога и новые чемоданы. А если он поехал на ту сторону, найди его и привези сюда. Да скажи ему, чтоб оделся как можно лучше. Ну, теперь ступай!

Я уже понял, что он затевает, только, само собой, ничего ему не сказал. Когда я вернулся вместе с герцогом, мы спрятали лодку, а потом они уселись на бревно, и король ему рассказал все, что говорил молодой человек, от слова до слова.

И все время, пока рассказывал, он старался выговаривать, как настоящий англичанин: для такого неуча получалось очень даже неплохо. У меня так не выйдет, я и пробовать не хочу, а у него и вправду получалось очень хорошо. Потом он спросил:

— А как вы насчет глухонемых, ваша светлость?

Герцог сказал, что в этом на него можно положиться: он играл глухонемых на театральных подмостках. И они стали ждать парохода.

Около середины дня прошли два маленьких парохода, но они были не с верховьев реки, а потом подошел большой, и король с герцогом его остановили. За нами выслали ялик, и мы поднялись на борт; оказалось, что пароход шел из Цинциннати, и когда капитан узнал, что нам нужно проехать всего четыре или пять миль, то совсем взбеленился и принялся ругать нас на чем свет стоит, грозил даже, что не высадит нас. Но король не растерялся, он сказал:

— Если джентльмены могут заплатить по доллару за милю, с тем чтобы их взяли на пароход и потом доставили на берег в ялике, то почему же пароходу не довезти их, верно?

Тогда капитан успокоился и сказал, что ладно, довезет; а когда мы поравнялись с городом, то спустили ялик и переправили нас туда. Завидев ялик, человек двадцать сбежались на берег. И когда король спросил: «Не может ли кто-нибудь из вас, джентльмены, показать мне, где живет мистер Питер Уилкс?» — все стали переглядываться и кивать друг другу, словно спрашивая: «А что я вам говорил?» Потом один из них сказал очень мягко и деликатно:

— Мне очень жаль, сэр, но мы можем только показать вам, где он жил вчера вечером.

Никто и мигнуть не успел, как негодный старикашка совсем раскис, навалился на этого человека, уперся ему подбородком в плечо и давай поливать ему спину слезами, а сам говорит:

— Увы! Увы! Наш бедный брат! Он скончался, а мы так и не повидались с ним! О, как это тяжело, как тяжело!

Потом оборачивается, всхлипывая, и делает какие-то идиотские знаки герцогу, показывает ему что-то на пальцах; тот тоже роняет чемодан и давай плакать, ей-богу! Я таких мошенников еще не видывал, и, если они не самые отъявленные жулики, тогда я уж не знаю, кто жулик.

Все собрались вокруг, стали им сочувствовать, утешали их разными ласковыми словами, потащили в гору их чемоданы, позволяли им цепляться за себя и обливать слезами, а королю рассказывали про последние минуты его брата, и тот все пересказывал на пальцах герцогу, и оба они так горевали о покойном

кожевнике, будто потеряли все на свете. Да будь я негром, если когда-нибудь видел хоть что-нибудь похожее! Просто делалось стыдно за всех людей.

Глава двадцать пятая

СПЛОШНЫЕ СЛЕЗЫ

В две минуты новость облетела весь город, и со всех сторон опрометью стали сбегаться люди, иные даже сюртуки надевали на бегу. Скоро мы оказались в самой гуще толпы, а шум и топот были такие, словно войско идет. Из окон и дверей торчали головы, и каждую минуту кто-нибудь спрашивал, высунувшись из-за забора:

— Это они?

А кто-нибудь из толпы отвечал:

— Они самые!

Когда мы дошли до дома Уилксов, улица перед ним была полным-полна народа, а три девушки стояли в дверях. Мери Джейн и вправду была рыженькая, только это ничего не значило: она все-таки была красавица, а лицо и глаза у нее так и сияли от радости, что наконец приехали дядюшки. Король распростер объятия, и Мери Джейн бросилась ему на шею, а Заячья Губа бросилась на шею герцогу. И такая тут была радость!

Все — по крайней мере, женщины — прослезились оттого, что девочки наконец увиделись с родными и что у них в семье такое радостное событие.

Потом король толкнул потихоньку герцога — я-то это заметил,— огляделся по сторонам и увидел гроб в углу на двух стульях; и тут они с герцогом, обняв друг друга за плечи, а свободной рукой утирая глаза, медленно и торжественно направились туда, и толпа расступилась, чтобы дать им дорогу; всякий шум и разговоры прекратились, все только и говорили: «Тс-с-с!», а мужчины сняли шляпы и опустили головы; слышно было, как муха пролетит. А когда они подошли, то наклонились и заглянули в гроб; посмотрели один раз, а потом подняли такой рев, что, должно быть, слышно было в Новом Орлеане; потом обнялись, положили друг другу подбородок на плечо и минуты три, а то и четыре заливались слезами, да как! Я в жизни не видел, чтобы мужчины так ревели. А за ними и все прочие ударились в слезы. Такую развели сырость, что я ничего подобного не видывал! Потом один стал по одну сторону гроба, а другой — по другую, и оба опустились на колени, а лбами уперлись в гроб и начали молиться, только не вслух, а про себя. Ну, тут уж все

до того расчувствовались — неслыханное дело: никто не мог удержаться от слез, все так прямо и зарыдали во весь голос, и бедные девочки тоже; и почти каждая женщина подходила к девочкам и, не говоря ни слова, целовала их очень торжественно в лоб, потом, положив руку им на голову, поднимала глаза к небу, а потом ударялась в слезы и, рыдая и утираясь платочком, отходила в сторону, чтобы другая могла тоже покрасоваться на ее месте. В жизни не видывал ничего противней!

Немного погодя король поднялся на ноги, выступил вперед и, собравшись с силами, начал мямлить речь — попросту говоря, молоть всякую слезливую чепуху насчет того, какое это тяжелое испытание для них с братом — потерять близкого, и какое горе не застать его в живых, проехав четыре тысячи миль, но что это испытание им легче перенести, видя такое от всех сочувствие и эти святые слезы, и потому он благодарит их от всей души, от всего сердца и за себя и за брата, потому что словами этого нельзя выразить, все слова слишком холодны и вялы... и дальше нес такой же вздор, так что противно было слушать;

потом, захлебываясь слезами, провозгласил самый что ни на есть благочестивый «аминь» и начал так рыдать, будто у него душа с телом расставалась.

И как только он сказал «аминь», кто-то в толпе запел псалом, и все его подхватили громкими голосами, и сразу сделалось как-то веселей и легче на душе, точно когда выходишь из церкви. Хорошая штука музыка! А после всего этого елейного пустословия мне показалось, что никогда еще пение не действовало так освежительно и не звучало так искренне и хорошо.

Потом король пошел распространяться насчет того, как ему с племянницами будет приятно, если близкие друзья семейства поужинают с ними нынче вечером и помогут обрядить прах покойника; и если бы его бедный брат, который лежит в гробу, мог говорить, то известно, кого бы он назвал: это всё такие имена, которые были ему дороги, и он часто поминал их в своих письмах; вот он сейчас назовет всех по порядку, а именно: его преподобие мистер Гобсон, дьякон Лот Хови, мистер Бен Рэкер, Эбнер Шеклфорд, Леви Белл, доктор Робинсон, их жены и вдова Бартли.

Его преподобие мистер Гобсон и доктор Робинсон в это время охотились вместе на другом конце города — то есть я хочу сказать, что доктор отправлял больного на тот свет, а пастор показывал ему дорогу. Адвокат Белл уехал в Луисвилл по делам. Зато остальные были тут, налицо, и все они подходили по очереди и пожимали руки королю, благодарили его и беседовали с ним; потом пожимали руку герцогу; ну, с ним-то они не разговаривали, а только улыбались и мотали головой, как болванчики, а он выделывал руками всякие штуки и гугукал все время, точно младенец, который еще не умеет говорить.

А король все болтал да болтал и ухитрялся расспросить чуть ли не про всех в городе, до последней собаки, называя каждого по имени и упоминая разные происшествия, какие случались в городе, или в семье Джорджа, или в доме у Питера. Он, между прочим, всегда давал понять, что все это Питер ему писал в письмах, только это было вранье: всё, до последнего словечка, он выудил у молодого дуралея, которого мы подвезли к пароходу.

Потом Мери Джейн принесла письмо, которое оставил ее дядя, а король прочел его вслух и расплакался. По этому письму жилой дом и три тысячи долларов золотом доставались девочкам, а кожевенный завод, который давал хороший доход, и другие дома с землей (всего тысяч на семь) и три тысячи долларов золотом — Гарви и Вильяму, а еще в письме было сказано, что эти шесть тысяч зарыты в погребе.

Оба мошенника сказали, что сейчас же пойдут и достанут эти деньги и поделят все, как полагается, по-честному, а мне велели нести свечку. Мы заперлись в погребе, а когда они нашли мешок, то высыпали деньги тут же на пол, и очень приятно было глядеть на такую кучу желтяков. Ох, и разгорелись же глаза у короля! Он хлопнул герцога по плечу и говорит:

— Вот так здорово! Нет, вот это ловко! Небось это будет почище «Жирафа», а, ваша светлость?

Герцог согласился, что это будет почище. Они хватали золото руками, пропускали сквозь пальцы, со звоном сыпали на пол; потом король сказал:

— О чем тут разговаривать, раз подошла такая линия! Мы теперь братья умершего богача и представители живых наследников. Вот что значит полагаться всегда на волю божию! Это в конце концов самое лучшее. Я все на свете перепробовал, но лучше этого ничего быть не может.

Всякий другой на их месте был бы доволен такой кучей деньжищ и принял бы на веру, не считая. Так нет же, им непременно понадобилось пересчитывать! Стали считать — оказалось, что не хватает четырехсот пятнадцати долларов. Король и говорит:

— Черт бы его побрал! Интересно, куда он мог девать эти четыреста пятнадцать долларов?

Они погоревали-погоревали, потом стали искать, перерыли все кругом. Потом герцог сказал:

— Ну что ж, человек больной, очень может быть, что и просчитался. Самое лучшее — пускай так и останется, и говорить про это не будем. Мы без них как-нибудь обойдемся.

— Чепуха! Конечно, обойдемся! На это мне наплевать, только как же теперь быть со счетом — вот я про что думаю! Нам тут нужно вести дело честно и аккуратно, что называется — начистоту. Надо тащить эти самые деньги наверх и считать при всех, чтобы никаких подозрений не было. Но только если покойник сказал, что тут шесть тысяч, нельзя же нам...

— Постойте! — говорит герцог.— Давайте-ка пополним дефицит,— и начинает выгребать золотые из своего кармана.

— Замечательная мысль, герцог! Ну и голова у вас, право! — говорит король.— А ведь, ей-богу, опять нам «Жираф» помог! — и тоже начинает выгребать золотые и ставить их столбиками.

Это их чуть не разорило, зато все шесть тысяч были теперь налицо полностью.

— Послушайте,— говорит герцог,— у меня есть еще одна идея. Давайте поднимемся наверх, пересчитаем эти деньги, а потом возьмем да и подарим их девочкам!

— Нет, ей-богу, герцог, позвольте вас обнять! Очень удачная мысль, никто бы до этого не додумался! Замечательная у вас голова, я такую первый раз вижу! Ничего не скажешь, ловкая штука. Пускай теперь вздумают нас подозревать — это им заткнет рты.

Как только мы поднялись наверх, все столпились вокруг стола, а король начал считать деньги и ставить их столбиками, по триста долларов в каждом,— двадцать хорошеньких маленьких столбиков. Все глядели на них голодными глазами и облизывались; потом деньги сгребли в мешок. Вижу, король опять надувается, готовится произнести речь:

— Друзья, мой бедный брат, который лежит здесь во гробе, проявил щедрость к тем, кого покинул в этой земной юдоли. Он проявил щедрость к бедным овечкам, которых при жизни любил и берег и которые остались теперь сиротами, без отца и без матери. Да! И мы, которые знали его, знаем, что он проявил бы к ним еще больше великодушия, если б не боялся обидеть своего дорогого брата Вильяма, а также и меня. Не правда ли? Конечно, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Так вот, какие мы были бы братья, если бы помешали ему в таком деле и в такое время? И какие мы были бы дяди, если б обобрали — да, обобрали! — в такое время бедных, кротких овечек, которых он так любил? Насколько я знаю Вильяма,— а я думаю, что знаю,— он... Впрочем, я сейчас его спрошу.

Он оборачивается к герцогу и начинает ему делать разные знаки, что-то показывает на пальцах, а герцог сначала смотрит на него дурак дураком, потом вдруг бросается к королю, будто бы поняв, в чем дело, и гугукает вовсю от радости и обнимает его чуть не двадцать раз подряд.

Тут король объявил:

— Я так и знал! Мне кажется, всякий может убедиться, какие у него мысли на этот счет. Вот, Мери Джейн, Сюзанна, Джоанна, возьмите эти деньги, возьмите все! Это дар того, который лежит вон там во гробе, бесчувственный, но полный радости...

Мери Джейн бросилась к нему, Сюзанна и Заячья Губа бросились к герцогу, и опять пошло такое обнимание и целование, какого я никогда не видывал. А все прочие столпились вокруг со слезами на глазах и чуть руки не оторвали этим двум мошенникам — всё пожимали, а сами приговаривали:

— Ах, какая доброта! Как это прекрасно! Но как же это вы?

Ну, потом все опять пустились разговаривать про покойника — какой он был добрый, и какая это утрата, и прочее тому подобное, а через некоторое время с улицы в комнату протол-

кался высокий человек с квадратной челюстью и стоит молчит: и ему никто не сказал ни слова, потому что говорил король и все были заняты тем, что слушали его. Король говорил — с чего он начал, не помню, а это была уже середина:

— ...ведь они близкие друзья покойника. Вот почему их пригласили сюда сегодня вечером; а завтра мы хотим, чтобы пришли все, все до единого; он всех в городе уважал, всех любил, и потому мы желаем, чтобы на его похоронном пировании был весь город...

И пошел плести дальше, потому что всегда любил сам себя слушать и нет-нет да приплетет опять свое «похоронное пирование», так что герцог в конце концов не выдержал, написал на бумажке: «На погребении, старый вы дурак!» — сложил бумажку, загугукал и протягивает ее королю через головы гостей. Король прочел, сунул бумажку в карман и говорит:

— Бедный Вильям, как он ни огорчен, а сердце у него всегда болит о других. Просит, чтобы я всех пригласил на похороны,— ему хочется, чтобы все пришли. Только напрасно он беспокоится, я и сам собирался позвать всех.

И разливается дальше самым преспокойным образом и нет-нет да и вставит свое «похоронное пирование», будто так и надо. А как только вклеил его в третий раз, сейчас же и оговорился:

— Я сказал «пирование» не потому, что так обыкновенно говорят, вовсе нет — обыкновенно говорят «погребение»,— а потому, что «пирование» правильней. В Англии уже никто не говорит «погребение», это не принято. У нас в Англии все говорят «пирование». «Пирование» лучше, потому что вернее обозначает предмет. Это слово состоит из греческого «пирон», что значит «наружный», «открытый», и древнееврейского «ванис» — «сажать», «зарывать»; отсюда «хоронить». Так что, вы видите, «пирование» — это открытые похороны, такие, на которых присутствуют все.

Дальше, по-моему, ехать некуда. Тот высокий, с квадратной челюстью, засмеялся прямо ему в лицо. Всем стало очень неловко. Послышался шепот:

— Что вы, доктор!

А Эбнер Шеклфорд сказал:

— Что с вами, Робинсон, разве вы не знаете? Ведь это Гарви Уилкс.

Король заулыбался радостно, тычет ему свою лапу и говорит:

— Так это вы и есть дорогой друг и врачеватель моего бедного брата? Я...

— Уберите руки прочь! — говорит доктор.— Это вы-то анг-

личанин? Да это дрянная подделка, хуже не бывает. Вы брат Питера Уилкса? Мошенник вы, вот вы кто такой!

Ох, как тут все всполошились! Окружили доктора, стали его унимать, уговаривать, стали объяснять ему, что Гарви сто раз успел доказать, что он вправду Гарви, что он всех знает по именам, знает даже клички всех собак в городе, и уж так его упрашивали помолчать, чтобы Гарви не обиделся и чтобы девочки не обиделись. Только все равно ничего не вышло: доктор не унимался и говорил, что человек, который выдает себя за англичанина, а говорить, как англичанин, не умеет,— просто враль и мошенник. Бедные девочки не отходили от короля и плакали; но тут доктор повернулся к ним и сказал:

— Я был другом вашего отца, и вам я тоже друг и предупреждаю по-дружески, как честный человек, который хочет вам помочь, чтобы вы не попали в беду и не нажили себе хлопот: отойдите от этого негодяя, не имейте с ним дела, это бродяга и неуч, даром что он бормочет какую-то чепуху будто бы по-гречески и по-еврейски! Сразу видно, что он самозванец,— набрал где-то ничего не значащих имен и фактов и явился с ними сюда; а вы все это приняли за д о к а з а т е л ь с т в а, да еще вас вводят в обман ваши легковерные друзья, хотя им бы следовало быть умнее. Мери Джейн Уилкс, вы знаете, что я вам друг, и бескорыстный друг к тому же. Так вот, послушайте меня: гоните вон этого подлого мошенника, прошу вас! Согласны?

Мери Джейн выпрямилась во весь рост — и какая же она стала красивая! — и говорит:

— Вот мой ответ! — Она взяла мешок с деньгами, передала его из рук в руки королю и сказала: — Возьмите эти шесть тысяч, поместите их для меня и моих сестер куда хотите, и никакой расписки нам не надо.

Потом она обняла короля, а Сюзанна и Заячья Губа подошли к нему с другой стороны и тоже обняли. Все захлопали в ладоши, затопали ногами, поднялась настоящая буря, а король задрал голову кверху и гордо улыбнулся.

Доктор сказал:

— Хорошо, тогда я умываю руки. Но предупреждаю всех: придет время, когда вам тошно будет вспомнить про этот день!

И он ушел.

— Хорошо, доктор,— сказал король, как бы передразнивая его,— уж тогда мы постараемся — уговорим их послать за вами!

Все засмеялись и сказали, что он очень ловко поддел доктора.

Глава двадцать шестая

Я КРАДУ ДОБЫЧУ КОРОЛЯ

Когда все разошлись, король спросил Мери Джейн, найдутся ли у них свободные комнаты, и она сказала, что одна свободная комната у них есть, она подойдет для дяди Вильяма, а дяде Гарви она уступит свою комнату, которая немножко побольше, а сама перейдет в комнату сестер и будет спать там на койке; и еще на чердаке есть каморка с соломенным тюфяком. Король сказал, что эта каморка пригодится для его лакея — это для меня.

Мери Джейн повела нас наверх и показала дядюшкам их комнаты, очень простенькие, зато уютные. Она сказала, что уберет из своей комнаты все платья и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарви; но он сказал, что нисколько не мешают. Платья висели на стене, под ситцевой занавеской, спускавшейся до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом — футляр с гитарой, и много было разных пустяков и финтифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Король сказал, что с ними комната выглядит гораздо уютней и милей, и просил их не трогать. У герцога комнатка была маленькая, зато очень удобная, и моя каморка тоже.

Вечером у них был званый ужин, и опять пришли те же гости, что и утром, а я стоял за стульями короля и герцога и прислуживал им, а остальным прислуживали негры. Мери Джейн сидела на хозяйском месте, рядом с Сюзанной, и говорила всем, что печенье не удалось, соленья никуда не годятся и куры попались очень жесткие — словом, все те пустяки, которые обыкновенно говорят хозяйки, когда напрашиваются на комплимент; а гости отлично видели, что все удалось как нельзя лучше, и всё подряд хвалили; спрашивали, например: «Как это вам удается так подрумянить печенье?», или: «Скажите, ради бога, где вы достаете такие замечательные пикули?» — и все в таком же роде; ну, знаете, как обыкновенно за ужином переливают из пустого в порожнее.

Когда все это кончилось, мы с Заячьей Губой поужинали на кухне остатками, пока другие помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Заячья Губа начала меня расспрашивать про Англию, и, ей-богу, я каждую минуту боялся, что, того и гляди, проврусь. Она спросила:

— Ты когда-нибудь видел короля?

— Какого? Вильгельма Четвертого?[1] А то как же! Он ходит в нашу церковь.

---

[1] Вильгельм Четвертый — английский король (1830—1837).

Я-то знал, что он давно помер, только ей не стал говорить. А после того как я сказал, что он ходит в нашу церковь, она и спрашивает:

— Как? Постоянно ходит?

— Ну да, постоянно. Его скамья как раз напротив нашей — по другую сторону кафедры.

— А я думала, он живет в Лондоне.

— Ну да, там и живет. А где ж ему еще жить?

— Да ведь ты-то живешь в Шеффилде!

Ну, вижу, влип! Пришлось для начала, чтобы выгадать время, прикинуться, будто бы я подавился куриной костью,— надо же придумать, как вывернуться! Потом я сказал:

— То есть он ходит в нашу церковь всегда, когда бывает в Шеффилде. Это же только летом, когда он приезжает брать морские ванны.

— Что ты мелешь, ведь Шеффилд не на море!

— А кто тебе сказал, что он на море?

— Да ты же и сказал.

— И не думал говорить.

— Нет, сказал!

— Нет, не говорил!

— Сказал!

— Ничего подобного не говорил.

— А что же ты говорил?

— Сказал, что он приезжает брать морские ванны,— вот что я сказал!

— Так как же он берет морские ванны, если там нет моря?

— Послушай,— говорю я,— ты видала когда-нибудь английский эль?

— Видала.

— А нужно за ним ездить в Англию?

— Нет, не нужно.

— Ну, так вот, и Вильгельму Четвертому не надо ездить к морю, чтобы брать морские ванны.

— А откуда же тогда он берет морскую воду?

— Оттуда же, откуда люди берут эль: из бочки. В Шеффилде во дворце есть котлы, и там ему эту воду греют. А в море такую уйму воды не очень-то нагреешь, никаких там приспособлений для этого нет.

— Теперь поняла! Почему же ты сразу не сказал, только время даром тратил.

Ну, тут я понял, что выпутался благополучно, и мне стало куда легче и веселее. А она опять пристает:

— А ты тоже ходишь в церковь?

— Конечно, постоянно хожу.

— А где ты там сидишь?
— Как — где? На нашей скамейке.
— На чьей?
— На нашей — твоего дяди Гарви.
— На его скамье? А зачем ему скамья?
— Чтобы сидеть. А ты думала — зачем?
— Ишь ты, а ведь я думала, что его место на кафедре!

Ох, чтоб ему, я и позабыл, что он проповедник! Ну, вижу, опять я влип; пришлось опять давиться куриной костью и опять думать. Потом я сказал:

— Что же, по-твоему, в церкви бывает только один проповедник?

— А на что же больше?

— Как! Это чтобы королю проповедовать? Ну, знаешь ли, я таких, как ты, еще не видывал! Да их меньше семнадцати не бывает.

— Семнадцать проповедников! Господи! Да я бы ни за что не высидела столько времени даже для спасения души. Это их и в неделю всех не переслушаешь.

— Пустяки, они не все в один день проповедуют, а по очереди.

— А что же тогда делают остальные?

— Да ничего особенного. Сидят, отдыхают, ходят с кружкой — да мало ли что! А то и совсем ничего не делают.

— Для чего же они тогда нужны?

— Как — для чего? Для фасона. Неужто ты этого не знаешь?

— Даже и знать ничего не хочу про такие глупости!.. А как в Англии обращаются с прислугой? Лучше, чем мы с неграми?

— Какое! Слугу там и за человека не считают. Обращаются хуже, чем с собакой.

— А на праздники разве их не отпускают, как у нас,— на рождество, на Новый год, на Четвертое июля?

— Скажет тоже! Сразу видно, что ты в Англии никогда не была. Да знаешь ли ты, Заяч... знаешь ли, Джоанна, что у них никогда и праздников-то не бывает, их круглый год никуда не пускают: ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган, ну просто никуда!

— И в церковь тоже?

— И в церковь.

— Да ведь ты же ходишь в церковь?

Ну вот, опять я запутался! Я и позабыл, что служу у старика. Но в следующую минуту я уже пустился объяснять ей, что лакей совсем не то, что простой слуга, и обязан ходить в

церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается. Только получилось у меня не очень-то складно; кончил я объяснять и вижу, что она мне не верит.

— Скажи,— говорит,— «честное индейское», что ты не наврал мне с три короба.

— Честное индейское, не наврал,— говорю я.

— Совсем ничего не приврал?

— Ровно ничего. Как есть ни единого словечка,— говорю я.

— Положи руку вот на эту книжку и скажи еще раз.

Я вижу, что это просто-напросто словарь, положил на него руку и сказал. Она как будто поверила и говорит:

— Ну ладно, кое-что тут, может, и верно; только уж извини, никогда этого не будет, чтобы я всему остальному поверила.

— Чему это ты не хочешь верить, Джо? — сказала Мери Джейн, входя вместе с Сюзанной.— Нехорошо и невежливо с ним разговаривать так, он здесь чужой и от родных далеко. Тебе ведь не понравилось бы, если бы с тобой так обращались?

— Вот ты всегда так, Мери,— заступаешься, когда никто еще и не думал его обижать. Ничего я ему не сделала. Он тут мне соврал, по-моему, а я сказала, что не обязана всему верить. Вот и все, больше ничего не говорила. Я думаю, такие-то пустяки он может стерпеть?

— Все равно, пустяки это или не пустяки: он гостит у нас в доме, и с твоей стороны нехорошо так говорить. Ведь на его месте тебе было бы стыдно; вот и не надо говорить ничего такого, чтобы человеку было стыдно.

— Да что ты, Мери, он же сказал...

— Это неважно, что бы он там ни сказал,— не в том дело. Важно, чтобы ты была с ним ласкова и не говорила мальчику ничего такого, а то он подумает, что он тут всем чужой, вспомнит, что он далеко от родины.

А я думаю про себя: «И такую-то девушку я позволяю обворовывать этому старому крокодилу!»

Тут и Сюзанна вмешалась: такую задала гонку Заячьей Губе, что мое почтение!

А я думаю про себя: «И эту тоже я позволяю ему бессовестно обворовывать!»

Тогда Мери Джейн заговорила с ней по-другому, кротко и ласково, как всегда говорила; после этого бедная Заячья Губа стала тише воды и ниже травы и ударилась в слезы.

— Ну вот и хорошо,— говорят ей сестры,— теперь попроси у него прощенья.

Она и прощенья попросила, да еще как вежливо! Так дели-

катно, что приятно было слушать; мне даже захотелось еще больше ей наврать, чтобы она еще раз попросила прощенья.

Думаю: «Ведь и эту тоже я позволяю ему обворовывать!» А после того как она попросила прощенья, все они принялись хлопотать и стараться, чтобы я почувствовал себя как дома и понял, что я среди друзей. А я чувствовал себя такой дрянью, таким мерзавцем и негодяем, что твердо решил: украду для них эти деньги, а там будь что будет.

И я ушел — будто бы спать, а сам думаю: погожу еще ложиться. Оставшись один, я стал обмозговывать это дело. Пойти, что ли, к этому доктору да донести на моих мошенников? Нет, это не годится. А вдруг он расскажет, кто ему сказал? Тогда мне солоно придется. Сказать потихоньку Мери Джейн? Нет, лучше не надо. По ее лицу они, конечно, сразу поймут, в чем дело; мешок с золотом у них — они недолго думая возьмут да и удерут с деньгами. А если она позовет кого-нибудь на помощь, меня тоже в это дело запутают и когда-то еще там разберутся! Нет, только и есть одно верное средство: надо мне как-нибудь украсть эти деньги, и украсть так, чтобы на меня никто не подумал. У короля с герцогом тут выгодное дельце; они отсюда не уедут, пока не оберут дочиста и сирот и весь город, так что я еще сумею выбрать удобное время. Украду деньги и спрячу, а потом, когда уеду на низовья реки, напишу Мери Джейн письмо и расскажу, где я их спрятал. А красть все-таки лучше ночью, потому что доктор, наверно, не все сказал, что знает; как бы он их отсюда не спугнул.

Ну, думаю, пойду-ка обыщу их комнаты. Наверху в коридоре было темно, но я все-таки отыскал комнату герцога и начал там все подряд ощупывать; потом сообразил, что вряд ли король отдаст кому-нибудь деньги на сохранение: что-то не похоже на него. Пошел в комнату короля и там тоже начал шарить. Вижу, без свечки ничего не выходит, а зажечь, само собой, боюсь. Тогда я решил сделать по-другому: думаю, подстерегу их и подслушаю. И в это самое время вдруг слышу — идут!

Только я хотел залезть под кровать — сунулся, а она вовсе не там стоит, где я думал; зато мне под руку попалась занавеска, под которой висели платья Мери Джейн; я скорей нырнул под нее, зарылся в платья и стою не дышу.

Герцог с королем вошли, закрыли за собой дверь, и первым делом герцог нагнулся и заглянул под кровать. Вот когда я обрадовался, что не нашел вовремя кровати! А ведь как-то само собой получается, что лезешь под кровать, когда дело у тебя секретное.

Оба они уселись, и король сказал:

— Ну, в чем дело? Только покороче — нам надо скорей идти вниз, рыдать вместе со всеми, а то они там начнут сплетничать на наш счет.

— Вот что, Капет. Я все беспокоюсь: не нравится мне этот доктор, не выходит он у меня из головы! Хотелось бы знать, какие у вас планы. У меня есть одна мысль, и как будто она правильная.

— Это какая же, герцог?

— Хорошо бы нам убраться отсюда пораньше, часам к трем утра, да поскорей удрать вниз по реке с тем, что у нас уже есть. Досталось-то оно нам уж очень легко, сами, можно сказать, отдали в руки, а ведь мы думали, что придется красть. Я стою за то, чтобы сматывать удочки и удирать поскорей.

Мне прямо-таки стало не по себе. Какой-нибудь час или два назад было бы совсем другое дело, но теперь я приуныл. Король выругался и сказал:

— Что? А остальное имущество так и не продадим? Уйдем, как дураки, и оставим на восемь или девять тысяч добра, кото-

рое только того и дожидается, чтобы его прибрали к рукам? Да какой все ходкий товар-то!

Герцог начал ворчать, сказал, что довольно и мешка с золотом, а дальше этого он не пойдет — не хочет отнимать у сирот последнее.

— Что вы это выдумали? — говорит король.— Ничего мы у них не отнимем, кроме этих денег. Пострадают-то покупатели: как только выяснится, что имущество не наше,— а это выяснится очень скоро после того, как мы удерем,— продажа окажется недействительной и все имущество вернется к владельцам. Вот наши сироты и получат дом обратно, и хватит с них: они молодые, здоровые, что им стоит заработать себе на кусок хлеба! Нисколько они не пострадают. Господь с вами, им и жаловаться не на что!

Король так его заговорил, что в конце концов герцог сдался и сказал, что ладно, только добавил:

— Все-таки глупо оставаться в городе, когда этот самый доктор торчит тут, как бельмо на глазу!

А король сказал:

— Плевать нам на доктора! Какое нам до него дело? Ведь все дураки в городе за нас стоят! А дураков во всяком городе куда больше, чем умных.

И они собрались опять идти вниз. Герцог сказал:

— Не знаю, хорошо ли мы спрятали деньги! Место уж очень ненадежное.

Тут я обрадовался. Я уж начал думать, что так ничего и не узнаю, даже и намека не услышу.

Король спросил:

— Это почему же?

— Потому что Мери Джейн будет теперь носить траур; того и гляди, она велит негритянке, которая убирает комнаты, уложить все эти тряпки в сундук и спрятать куда-нибудь подальше. А что же вы думаете, неужели негритянка увидит деньги и не позарится на них?

— Да, голова у вас опять заработала как следует,— говорит ему король и начинает шарить под занавеской, в двух шагах от того места, где я стою.

Я прижался к стене вплотную и замер, а сам весь дрожу: думаю, что-то они скажут, если поймают меня! Надо придумать, что же мне все-таки делать, если меня поймают. Но не успел я додумать эту мысль и до половины, как король наткнулся на мешок с деньгами; и ему даже в голову не пришло, что я тут стою. Потом они взяли да и засунули мешок с золотом в дыру в соломенном тюфяке, который лежал под периной; запихнули его поглубже в солому и решили, что теперь все в

порядке, потому что негритянка взбивает одну только перину, а тюфяк переворачивает раза два в год, не чаще, так что теперь деньги в сохранности, никто их не украдет.

Но я-то знал, что он ошибается. Не успели король с герцогом спуститься с лестницы, как я вытащил мешок, ощупью добрался до своей каморки и спрятал его там, пока не подвернется случай перепрятать в другое место. Я решил, что лучше всего спрятать мешок где-нибудь во дворе, потому что король с герцогом, как только хватятся денег, прежде всего станут обыскивать дом. Это я отлично знал. Потом я лег не раздеваясь, но заснуть все равно не мог — до того мне не терпелось покончить с этим делом. Скоро, слышу, король с герцогом опять поднимаются по лестнице; я кубарем скатился с постели и залег на верху чердачной лестницы — дожидаюсь, что будет дальше. Только ничего не было.

Я подождал и, когда все ночные звуки затихли, а утренние еще не начинались, потихоньку спустился в нижний этаж.

Глава двадцать седьмая

ЗОЛОТО В ГРОБУ

Сначала я подкрался к дверям и прислушался: оба храпели. Тогда я на цыпочках пошел дальше и благополучно спустился вниз. Нигде не было слышно ни звука. Я заглянул через дверную щелку в столовую и увидел, что все оставшиеся при гробе крепко спят, сидя на своих стульях. Дверь в гостиную, где лежал покойник, была открыта, и в обеих комнатах горело по свечке. Я прошел мимо открытой двери; вижу — в гостиной никого нет, кроме покойного Питера; я двинулся дальше, но парадная дверь оказалась заперта, а ключ из нее вынут. И тут как раз слышу — кто-то спускается по лестнице за моей спиной. Я скорей в гостиную; оглянулся по сторонам — вижу, мешок спрятать некуда, кроме гроба. Крышка немного сдвинулась, так что видно было лицо покойника, закрытое мокрой тряпкой, и саван. Я сунул мешок с деньгами в гроб под крышку, чуть пониже скрещенных рук,— и такие они были холодные, что у меня по спине мурашки забегали,— а потом выскочил из комнаты и спрятался за дверью.

Это пришла Мери Джейн. Она тихо подошла к гробу, опустилась на колени и стала глядеть на покойника; потом поднесла платок к глазам, и я понял, что она плачет, хотя рыданий не было слышно, а стояла она ко мне спиной. Я выбрался из-за двери и, когда проходил мимо столовой, дай, думаю, погляжу,

не видел ли меня кто-нибудь из тех, кто остался при гробе; заглянул в щелку, смотрю — все спокойно. Никто даже не пошевельнулся.

Я шмыгнул наверх и улегся в кровать, чувствуя себя довольно неважно из-за того, что после всех моих трудов и такого риска вышло не так, как я думал. Ну, говорю себе, если деньги останутся там, где они есть, это еще туда-сюда; как только мы отъедем миль на сто, на двести вниз по реке, я напишу Мери Джейн; она тогда откопает покойника и возьмет деньги себе; только так, наверно, не получится, а получится, что деньги найдут, когда станут завинчивать крышку. И выйдет, что деньги опять заберет король, а другого такого случая, пожалуй, не дождешься, чтобы он дал мне еще раз их стащить. Мне, само собой, очень хотелось прокрасться вниз и взять их из гроба, только я не посмел: с каждой минутой на дворе становилось все светлей. Скоро зашевелятся все эти стражи при гробе и, того и гляди, поймают меня — поймают с шестью тысячами в руках, а ведь никто меня не просил об этих деньгах заботиться. Нет уж, я вовсе не желаю, чтобы меня припутали к такому делу, говорю я себе.

Когда я сошел утром вниз, дверь в гостиную была закрыта и все посторонние ушли. Остались только свои, да вдова Бартли, да наша компания. Я стал смотреть — может, по лицам замечу, не случилось ли чего-нибудь такого, но ничего не мог разобрать.

В середине дня пришел гробовщик со своим помощником; они поставили гроб посреди комнаты на двух стульях, а все остальные стулья расставили рядами, да еще призаняли у соседей, так что и в гостиной, и в столовой, и в передней — везде было полно стульев. Я заметил, что крышка гроба лежит так же, как вчера, только не посмел заглянуть под нее: ведь кругом был народ.

Потом начали сходиться приглашенные, и оба мошенника вместе с девушками уселись в переднем ряду, у изголовья гроба; и целых полчаса гости вереницей медленно проходили мимо гроба и глядели на покойника, а некоторые роняли слезу; и все было очень тихо и торжественно, только девушки и оба мошенника прикладывали платки к глазам и, опустив головы, потихоньку всхлипывали. Ничего не было слышно, кроме шарканья ног по полу да сморканья; на похоронах всегда сморкаются чаще, чем где бы то ни было, кроме церкви.

Когда в дом набилось полно народу, гробовщик в черных перчатках, этакий мягкий и обходительный, осмотрел все кругом, двигаясь неслышно, как кошка, и поправляя что-то напоследок, чтобы все было в полном порядке, чинно и благородно.

Он ничего не говорил: разводил гостей по местам, втискивал куда-нибудь опоздавших, раздвигал толпу, чтобы дали пройти, и действовал все кивками да знаками, без единого слова. Потом он встал на свое место у стенки. Я отродясь не видывал такого тихого, незаметного и вкрадчивого человека; а улыбался он не чаще, чем окорок.

Они заняли у кого-то из знакомых фисгармонию, вконец расстроенную, и, когда все было готово, какая-то молодая женщина села и заиграла на ней; хрипу и визгу было сколько угодно, да еще все запели хором,— по-моему, одному только Питеру и было хорошо. Потом его преподобие мистер Гобсон приступил к делу — медленно и торжественно начал говорить речь; но только он начал. как в подвале поднялся страшнейший, просто неслыханный вой; это была всего-навсего собака, но шум она подняла невыносимый и лаяла не умолкая, так что пастору пришлось замолчать и дожидаться, стоя возле гроба,— ничего нельзя было расслышать, даже что ты сам думаешь. Получилось очень неловко, и никто не знал, как тут быть. Однако долговязый гробовщик опомнился первый и закивал пастору, словно говоря: «Не беспокойтесь, я все устрою». Он стал пробираться по стенке к выходу, весь согнувшись, так что над головами гостей видны были одни его плечи. А пока он пробирался, шум и лай становились все громче и неистовей; наконец, обойдя кругом комнату, гробовщик скрылся в подвале. Секунды через две мы услышали сильный удар, собака оглушительно взвыла еще раз или два, и все стихло — наступила мертвая тишина, и пастор продолжал свою торжественную речь с того самого места, на котором остановился. Минуту-другую спустя возвращается гробовщик, и опять его плечи пробираются по стенке; он обошел три стороны комнаты, потом выпрямился, прикрыл рот рукой и, вытянув шею, хриплым шепотом сообщил пастору через головы толпы: «Она поймала крысу!» После этого он опять согнулся и пробрался по стенке на свое место. Заметно было, что всем это доставило бо́льшое удовольствие — им, само собой, хотелось узнать, в чем дело. Такие пустяки человеку ровно ничего не стоят, зато как раз такими пустяками и приобретается общее уважение и любовь. Никого другого в городе так не любили, как этого самого гробовщика.

Надгробное слово было хорошее, только уж очень длинное и скучное; а потом и король полез туда же: выступил с речью и понес, как всегда, чепуху; потом гробовщик стал подкрадываться к гробу с отверткой. Я сидел как на иголках и смотрел на него во все глаза. А он даже и не заглянул в гроб: просто надвинул крышку без всякого шума и привинтил ее крепко-накрепко. С тем я и остался! Так и не узнал, там ли деньги или их

больше там нет. А что, думаю, если их кто-нибудь потихоньку спер? Почем я знаю — писать теперь Мери Джейн или нет? Вдруг она его откопает, а денег не найдет, что она тогда обо мне подумает? Ну его к черту, а то еще погонятся за мной да и посадят в тюрьму; лучше уж мне держать язык за зубами и ничего ей не писать; все теперь запуталось; я хотел сделать лучше, а вышло во сто раз хуже. Нечего мне было за это и браться, провались оно совсем! Питера похоронили, мы вернулись домой; и я опять стал смотреть, не замечу ли чего-нибудь по лицам; никак не мог от этого удержаться и успокоиться тоже не мог: по лицам ничего не было заметно.

Вечером король ходил по гостям и всех утешал и ко всем навязывался со своей дружбой, а между прочим, давал понять, что его паства там, в Англии, ждет его не дождется, так что ему нужно поторапливаться: уладить все дела с имуществом да и ехать домой. Он очень жалел, что приходится так спешить, и всем другим тоже было очень жалко: им хотелось, чтобы он погостил подольше, но они видели, что это невозможно. Он, конечно, говорил, будто они с Вильямом собираются взять девочек с собой в Англию; и все этому радовались, потому что девочки будут с родными и хорошо устроены; девочки тоже были довольны и так этому радовались, что совсем позабыли про свои несчастья; одно только и говорили: пускай король продает все поскорей, а они будут собираться. Бедняжки так были довольны и счастливы, что у меня сердце разрывалось глядеть, как их оплетают и обманывают, но только я не видел никакой возможности вмешаться и что-нибудь в этом деле переменить.

Провалиться мне, если король тут же не назначил и дом и негров к продаже с аукциона — через два дня после похорон! Но кто хотел, тот мог купить и раньше, частным образом. И вот на другой день после похорон, часам к двенадцати, радость девочек в первый раз омрачилась. Явились двое торговцев неграми, и король продал им негров за хорошую цену, с уплатой по чеку в трехдневный срок — так это полагалось,— и они увезли двоих сыновей вверх по реке, в Мемфис, а их мать — вниз по реке, в Новый Орлеан. Я думал, что и у бедных девочек и у негров сердце разорвется от горя: они так плакали и обнимались, что я и сам расстроился, на них глядя. Девочки говорили, что им даже и не снилось, чтобы семью разделили или продали куда-нибудь далеко, не тут же, в городе. Никогда не забуду, как несчастные девочки и эти негры обнимали друг друга и плакали, все это так и стоит у меня перед глазами; я бы наверняка не вытерпел, не стал бы молчать и донес на нашу шайку, если бы не знал, что продажа недействительна и негры через неделю-другую вернутся домой...

Эта продажа наделала в городе много шума; большинство было решительно против: говорили, что просто позор — разлучать мать с детьми. Нашим мошенникам это сильно подорвало репутацию, но старый дурак все равно гнул свою линию, что ему ни говорил герцог, а герцог, по всему было видно, сильно встревожился.

На следующий день — аукцион. Утром, как только совсем рассвело, король с герцогом поднялись ко мне на чердак и разбудили меня; и по одному их виду я сразу понял, что дело неладно. Король спросил:

— Ты был у меня в комнате позавчера вечером?

— Нет, ваше величество. (Я всегда его так называл, если никого чужих не было.)

— А вчера вечером ты там был?

— Нет, ваше величество.

— Только по-честному — не врать!

— По-честному, ваше величество. Я вам правду говорю. Я даже и не подходил к вашей комнате, после того как мисс Мери Джейн показывала ее вам и герцогу.

Герцог спросил:

— А ты не видел — входил туда кто-нибудь или нет?

— Нет, ваша светлость, что-то не припомню.

— Так подумай, вспомни!

Я задумался и вижу, что случай подходящий; потом говорю:

— Да, я видел, как негры туда входили, и не один раз.

Оба так и подскочили на месте, и вид у них был сначала такой, будто бы они этого не ждали, а потом — будто бы ждали именно этого. Герцог спросил:

— Как? Все сразу?

— Нет, не все сразу... то есть я, кажется, не видел, чтобы они все оттуда выходили, вот только, пожалуй, один раз...

— Ну-ну? Когда же это было?

— В тот день, когда были похороны. Утром. Только не очень рано, потому что я тогда проспал. Я только что хотел сойти вниз по лестнице и увидел их.

— Ну, дальше, дальше! Что они делали? Как себя держали?

— Ничего не делали. И, по-моему, никак особенно себя не держали. Они вышли оттуда на цыпочках; должно быть, ходили убирать комнату вашего величества или еще за чем-нибудь — думали, что вы уже встали; а как увидели, что вы еще спите, решили убраться поскорее от греха, чтобы не разбудить вас, не потревожить.

— Ах, черт, вот так штука! — сказал король, и оба они с герцогом выглядели растерянно и довольно-таки глупо.

С минуту они стояли в раздумье, почесывая голову, а потом герцог засмеялся скрипучим смехом и говорит:

— Нет, вы только подумайте, как эти негры ловко разыграли комедию! Прикинулись, будто им жалко уезжать из этих мест! И я тоже поверил, что им жалко, и вы поверили, да и все тоже. Не говорите мне после этого, что у негров нет актерского таланта! Ведь вот какие комедианты, кого угодно одурачили бы! На мой взгляд, мы их дешево отдали. Будь у меня капитал и свой театр, мне бы и не надо лучше актеров,— а тут мы взяли да и продали их чуть не даром, за гроши! Да еще гроши-то пока не получили. Послушайте, а где же эти гроши, где этот самый чек?

— В банке лежит, дожидается срока. А где же ему быть?

— Ну, тогда все в порядке, слава богу.

Я прикинулся, будто бы оробел, и спрашиваю:

— Что-нибудь случилось?

Король набросился на меня:

— Не твое дело! Знай помалкивай да заботься о своих делах! Да смотри помни это, пока ты здесь в городе,— слышишь?

А потом говорит герцогу:

— Ничего не поделаешь, придется терпеть; будем держать язык за зубами, вот и все.

Они стали спускаться по лестнице, и тут герцог опять засмеялся и говорит:

— Быстро продали, да ничего не нажили! Выгодное дельце, нечего сказать!

Король огрызнулся на него:

— Я же старался, думал, что лучше поскорей их продать! А если прибыли никакой не оказалось и убыток большой, а в итоге — нуль, то я виноват не больше вашего.

— Да, а если бы послушались моего совета, то негры остались бы в доме, а нас бы тут не было.

Король ругнулся, однако соблюдая осторожность, а потом переменил направление и опять набросился на меня. Хорошую он задал мне трепку: я не доложил ему, что негры вышли из его комнаты на цыпочках,— всякий дурак на моем месте догадался бы, что дело нечисто. А потом стал и себя ругать: будто бы все это оттого вышло, что он поднялся в то утро ни свет ни заря, даже не выспался как следует, и будь он проклят, если когда-нибудь еще встанет рано. И они ушли переругиваясь; а я очень обрадовался, что удалось это дело свалить на негров, да еще так ловко, что им это ничуть не повредило.

Глава двадцать восьмая

НАКАЗАННАЯ АЛЧНОСТЬ

А там, гляжу, пора уже и вставать. Я спустился с чердака и пошел было вниз; но когда проходил мимо комнаты девочек, то увидел, что дверь открыта, а Мери Джейн сидит перед своим раскрытым сундуком и укладывает в него вещи — собирается в Англию. Только в ту минуту она не укладывала, а сидела со сложенным платьем на коленях и плакала, закрыв лицо руками. Я очень расстроился, глядя на нее, да и всякий на моем месте тоже расстроился бы. Я вошел к ней в комнату и говорю:

— Мисс Мери Джейн, вы не можете видеть людей в несчастье, и я тоже иной раз не могу. Скажите, что случилось?

И она сказала. Конечно, это было из-за негров, так я и знал. Она говорила, что теперь поездка в Англию для нее все равно что пропала: как она может там веселиться, когда знает, что мать никогда больше не увидится со своими детьми! А потом расплакалась пуще прежнего, всплеснула руками и говорит:

— Ах, боже мой! Подумать только, что они больше никогда друг с другом не увидятся!

— Увидятся, еще и двух недель не пройдет,— я-то это знаю!

Вот тебе и на! Сорвалось с языка — я и подумать не успел. И не успел я пошевельнуться, как она бросилась ко мне на шею и говорит:

— Повтори это еще, и еще, и еще!

Вижу, я проговорился сгоряча, да еще наговорил лишнего,

а как выпутаться — не знаю. Я попросил, чтобы она дала мне подумать минутку; а ей не терпится — сидит такая взволнованная, красивая и такая радостная и довольная, будто ей только что зуб вырвали. Вот я и раскинул умом. Думаю: по-моему, человек, который возьмет да и скажет правду, когда его припрут к стенке, здорово рискует; ну, сам я этого не испытал, так что наверняка сказать не могу, но все-таки похоже на то; а тут такой случай, что, ей-богу, лучше сказать правду, да оно и не так опасно, как соврать. Надо будет запомнить это и обдумать как-нибудь на свободе: что-то уж очень трудно, против всяких правил. Такого мне еще видеть не приходилось. Ну, думаю, была не была: возьму да и скажу на этот раз правду, хотя это все равно что сесть на бочонок с порохом и взорвать его из любопытства — куда полетишь? И я сказал:

— Мисс Мери Джейн, нет ли у вас знакомых за городом, куда вы могли бы поехать погостить денька на три, на четыре?

— Да, к мистеру Лотропу. А зачем?

— Пока это неважно зачем. А вот если я вам скажу, откуда я узнал, что ваши негры увидятся со своей матерью недели через две здесь, в этом самом доме, и докажу, что я это знаю,— поедете вы гостить к мистеру Лотропу дня на четыре?

— Дня на четыре! — говорит она.— Да я год там прогощу!

— Хорошо,— говорю я,— кроме вашего слова, мне больше ничего не нужно. Другой бы поклялся на Библии — и то я ему не так бы поверил, как одному вашему слову.

Она улыбнулась и очень мило покраснела, а я сказал:

— С вашего позволения, я закрою дверь и запру ее.

Потом я вернулся, опять сел и сказал:

— Только не орите. Сидите тихо и выслушайте меня, как мужчина. Я должен вам сказать правду, а вам надо взять себя в руки, мисс Мери, потому что правда эта неприятная и слушать ее будет тяжело, но ничего не поделаешь. Эти ваши дядюшки вовсе не дядюшки, а мошенники, настоящие бродяги... Ну вот, хуже этого ничего не будет, остальное вам уже легко будет вытерпеть.

Ну конечно, это ее здорово потрясло; только я-то уже снялся с мели и дальше валял напрямик — все дочиста ей выложил, так что у нее только глаза засверкали; все рассказал, начиная с того, как мы повстречали этого молодого дурня, который собирался на пароход, и до того, как она бросилась на шею королю перед своим домом и он поцеловал ее раз двадцать,— тут она вспыхнула, словно небо на закате, вскочила да как закричит:

— Ах он скотина! Ну что ж ты? Не трать больше ни минуты, ни секунды — вымазать их смолой, обвалять в перьях и бросить в реку.

Я говорю:

— Ну конечно. Только вы когда хотите это сделать: до того, как вы поедете к мистеру Лотропу, или...

— Ах,— говорит она,— о чем я только думаю! — И опять садится.— Не слушай меня, пожалуйста... хорошо? — И кладет свою шелковистую ручку мне на руку, да так ласково, что я растаял и на все согласился.— Я и не подумала, так была взволнована,— говорит она,— а теперь продолжай, я больше не буду. Скажи мне, что делать, и как ты скажешь, так я и поступлю.

— Так вот,— говорю я,— они, конечно, настоящее жулье, оба эти проходимца, только так уж вышло, что мне с ними вместе придется ехать и дальше, хочу я этого или нет,— а почему, лучше не спрашивайте; а если вы про них расскажете, то меня, конечно, вырвут у них из лап — мне-то будет хорошо; только есть один человек — вы про него не знаете,— так вот он попадет в большую беду. А мне нужно его спасти, верно? Ну, разумеется. Ну, и не будем про них ничего говорить.

И тут мне в голову пришла неплохая мысль. Я сообразил, как мы с Джимом могли бы избавиться от наших мошенников: засадить бы их здесь в тюрьму, а самим убежать. Только мне не хотелось плыть одному на плоту днем, чтобы все ко мне приставали, поэтому я решил подождать до вечера, когда совсем стемнеет. Я сказал:

— Мисс Мери Джейн, я вам скажу, что мы сделаем, и вам, может быть, не придется так долго гостить у мистера Лотропа. Это далеко отсюда?

— И четырех миль не будет — сейчас же за городом, на этой стороне.

— Ну, это дело подходящее. Вы теперь поезжайте туда и сидите спокойно до девяти вечера, а то и до половины десятого, а потом попросите отвезти вас домой, будто бы забыли что-нибудь. Если вы вернетесь домой до одиннадцати вечера, поставьте свечку на это окно, и если я после этого не приду — значит, я благополучно уехал и в безопасности. Тогда вы ступайте и расскажите все, что знаете: пускай этих жуликов засадят в тюрьму.

— Хорошо,— говорит.— Я так и сделаю.

— А если я все-таки не уеду и меня заберут вместе с ними, то вы скажите, что я это все вам уже рассказывал, и заступитесь за меня.

— Заступиться! Конечно, заступлюсь! Тебя и пальцем никто не посмеет тронуть! — говорит Мери Джейн, и, вижу, ноздри у нее раздуваются, а глаза так и сверкают.

— Если меня здесь не будет,— говорю,— то я не могу доказать, что эти жулики вам не родня; да если б я и был здесь,

то все равно не мог бы. Я могу, конечно, присягнуть, что они мошенники и бродяги,— вот и все, хотя и это чего-нибудь да стоит. Ну что ж, найдутся другие, они не то, что я,— это такие люди, которых никто подозревать не будет. Я вам скажу, где их найти. Дайте мне карандаш и клочок бумаги. Вот: «Королевский жираф», Бриксвилл». Спрячьте эту бумажку, да не потеряйте ее. Когда суду понадобится узнать, кто такие эти бродяги, пускай пошлют в Бриксвилл и скажут там, что поймали актеров, которые представляли «Королевского жирафа», и попросят, чтобы прислали свидетелей,— весь город явится, мисс Мери, не успеете глазом моргнуть. Да еще явятся-то злые-презлые!

Я решил, что теперь мы обо всем договорились как следует, и продолжал:

— Пусть аукцион идет своим порядком, вы не беспокойтесь. Никто не обязан платить за купленные вещи в тот же день, а эти жулики не собираются уезжать отсюда, пока не получат денег; мы все так устроили, что продажа не будет считаться действительной и никаких денег они не получат. Выйдет так же, как с неграми: продажа окажется недействительной, и негры скоро вернутся домой. Да и за негров они тоже ничего не получат. Вот влопались-то они, мисс Мери, хуже некуда!

— Ну хорошо,— говорит она,— я сейчас пойду завтракать, а оттуда уж прямо к мистеру Лотропу.

— Нет, это не дело, мисс Мери Джейн,— говорю я,— так ничего не выйдет; поезжайте до завтрака.

— Почему же?

— А как, по-вашему, мисс Мери, почему я вообще хотел, чтоб вы уехали?

— Я как-то не подумала; да и все равно не знаю. А почему?

— Да ведь вы не то, что какие-нибудь толстокожие. У вас по лицу все можно прочесть, как по книжке. Всякий сразу разберет, точно крупную печать. И вы думаете, что можете встретиться с вашими дядюшками? Они подойдут пожелать вам доброго утра и поцеловать вас, а вы...

— Довольно, довольно! Ну-ну, не надо! Я уеду до завтрака, с радостью уеду! А как же я оставлю с ними сестер?

— Ничего, не беспокойтесь. Придется им потерпеть еще немножко. А то как бы эти мошенники не пронюхали, в чем дело, если вы все сразу уедете. Не надо вам с ними видеться, и с сестрами тоже, да и ни с кем в городе; если соседка спросит, как ваши дядюшки себя чувствуют нынче утром, по вашему лицу все будет видно. Нет, вы уж поезжайте сейчас, мисс Мери Джейн, а я тут с ними как-нибудь улажу дело. Я скажу мисс Сюзанне, чтобы она от вас кланялась дядюшкам и передала,

что вы уехали ненадолго, отдохнуть и переменить обстановку или повидаться с подругой, а вернетесь к вечеру или завтра утром.

— Повидаться с подругой — это можно, но я не хочу, чтобы им от меня кланялись.

— Ну, не хотите, так и не надо.

Отчего же и не сказать ей этого, ничего плохого тут нет. Такие пустяки сделать нетрудно, и хлопот никаких; а ведь пустяки-то и помогают в жизни больше всего; и Мери Джейн будет спокойна, и мне это ничего не стоит. Потом я сказал:

— Есть еще одно дело: этот самый мешок с деньгами.

— Да, он теперь у них; и я ужасно глупо себя чувствую, когда вспоминаю, как он к ним попал.

— Нет, вы ошибаетесь. Мешок не у них.

— Как? А у кого же он?

— Да я теперь и сам не знаю. Был у меня, потому что я его украл у них, чтобы отдать вам; и куда я спрятал мешок, это я тоже знаю, только боюсь, что там его больше нет. Мне ужасно жалко, мисс Мери Джейн, просто не могу вам сказать, до чего жалко! Я старался сделать как лучше — честное слово, старался! Меня чуть-чуть не поймали, и пришлось сунуть мешок в первое попавшееся место, не очень-то удобное...

— Ну, перестань себя обвинять, не нужно, и я тебе этого не позволю,— ты же иначе не мог: значит, ты не виноват. Куда же ты его спрятал?

Мне не хотелось, чтоб она опять вспомнила про свои несчастья, и язык у меня никак не поворачивался. Думаю, если начну рассказывать, она представит себе покойника, который лежит в гробу с этим мешком на животе. И я, должно быть, с минуту молчал, а потом сказал ей:

— С вашего позволения, мне бы не хотелось говорить, куда я его девал, мисс Мери Джейн. Я вам лучше напишу на бумажке, а вы, если захотите, прочтете мою записку по дороге к мистеру Лотропу. Ну как, согласны?

— Да, согласна.

И я написал: «Я положил его в гроб. Он был там, когда вы плакали возле гроба поздно ночью. Я тогда стоял за дверью, и мне вас было очень жалко, мисс Мери Джейн».

Я и сам чуть не заплакал, когда вспомнил, как она плакала у гроба одна, поздней ночью; а оба эти мерзавца спят тут же, у нее в доме, и ее же собираются ограбить! Потом сложил записку, отдал ей и вижу — у нее слезы выступили на глазах. Она пожала мне руку крепко-крепко и говорит:

— Всего тебе хорошего! Я все сделаю, как ты мне говоришь, а если мы с тобой больше не увидимся, я тебя никогда не забу-

ду, часто-часто буду о тебе думать и молиться за тебя! — И она ушла.

Молиться за меня! Я думаю, если б она меня знала как следует, так взялась бы за что-нибудь полегче, себе по плечу. Но все равно, должно быть, она за меня молилась — вот какая это была девушка! У нее хватило бы духу молиться и за Иуду; захочет — так ни перед чем не отступит! Говорите что хотите, а характера, я думаю, у нее было много больше, чем у любой другой девушки; я думаю, она была сущий кремень. Это похоже на лесть, только лести тут нет ни капельки. А уж что касается красоты, да и доброты тоже — куда до нее всем прочим! Как она вышла в ту дверь, так я и не видел ее больше, ни разу не видел! Ну, а вспоминал про нее много-много раз, мильоны раз! И про то, как она обещала молиться за меня; а если б я думал, что от моей молитвы ей может быть какой-нибудь прок, то, вот вам крест, я тоже стал бы за нее молиться!

Мери Джейн вышла, должно быть, с черного хода, потому что никто ее не видал. Как только я наткнулся на Сюзанну и Заячью Губу, я сейчас же спросил их:

— Как фамилия этих ваших знакомых, к которым вы ездите в гости, еще они живут за рекой?

Они говорят:

— У нас там много знакомых, а чаще всего мы ездим к Прокторам.

— Фамилия эта самая,— говорю,— а я чуть ее не забыл. Так вот, мисс Мери велела вам сказать, что она к ним уехала, и страшно спешила — у них кто-то заболел.

— Кто же это?

— Не знаю, что-то позабыл; но как будто...

— Господи, уж не Ханна ли?

— Очень жалко вас огорчать,— говорю я,— но только это она самая и есть.

— Боже мой, а ведь только на прошлой неделе она была совсем здорова! И опасно она больна?

— Даже и сказать нельзя — вот как больна! Мисс Мери Джейн говорила, что родные сидели около нее всю ночь — боятся, что она и дня не проживет.

— Подумать только! Что же с ней такое?

Так, сразу, я ничего не мог придумать и говорю:

— Свинка!

— Сам ты свинка! Если бы свинка, так не стали бы около нее сидеть всю ночь!

— Не стали бы сидеть? Скажет тоже! Нет, знаешь ли, с такой свинкой обязательно сидят. По ночам. Это свинка совсем другая. Мисс Мери Джейн сказала — какая-то новая.

К стр. 394

— То есть как это — новая?

— Да вот так и новая, со всякими осложнениями.

— С какими же?

— Ну, тут и корь, и коклюш, и рожа, и чахотка, и желтуха, и воспаление мозга... да мало ли еще что!

— Ой, господи! А называется свинка?

— Так мисс Мери Джейн сказала.

— Ну, а почему же все-таки она называется свинка?

— Да потому, что это и есть свинка. С нее начинается.

— Ничего не понимаю, чушь какая-то! Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодец и сломает себе шею, и кто-нибудь придет и спросит, отчего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать: «Оттого, что ушиб себе палец». Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого. И тут тоже никакого смысла нет, просто чушь... А эта свинка заразная?

— Заразная? Это все равно как борона: пройдешь мимо в темноте, так непременно зацепишься — не за один зуб, так за другой, верно? И никак не отцепишься, а еще и всю борону за собой потащишь, верно? Ну, так вот, эта свинка, можно сказать, хуже всякой бороны: прицепится, так не скоро отцепишь.

— Просто ужас что такое! — говорит Заячья Губа.— Я сейчас пойду к дяде Гарви и...

— Ну конечно,— говорю я,— как не пойти! Я бы на твоем месте пошел. Ни минуты не стал бы терять.

— А почему бы не пойти?

— Подумай — может, сама сообразишь. Ведь твоим дядюшкам нужно уехать к себе в Англию как можно скорее. И как же ты думаешь: могут они сделать такую подлость — уехать без вас, чтобы вы потом всю дорогу ехали одни? Ты же знаешь, что они станут вас дожидаться. Теперь дальше. Твой дядя Гарви — проповедник. Очень хорошо. Так неужели проповедник станет обманывать пароходного агента? Неужели он станет обманывать судового агента, для того чтобы они пустили мисс Мери на пароход? Нет, сама знаешь, что не станет. А как он сделает? Скажет: «Очень жаль, но пускай церковные дела обходятся без меня, потому что моя племянница заразилась этой самой множественной свинкой, и теперь мой священный долг — сидеть здесь три месяца и дожидаться, заболеет она или нет». Но ты ни на что не обращай внимания, если, по-твоему, надо сказать дяде Гарви...

— Еще чего! А потом будем сидеть тут как дураки, дожидаться, пока выяснится, заболеет Мери Джейн или нет, когда мы могли бы все вместе веселиться в Англии? Глупость какую выдумал!

— А все-таки, может, сказать кому-нибудь из соседей?

— Скажет тоже! Такого дурака я еще не видывала! Как же ты не понимаешь, что они пойдут и все разболтают? Одно только и остается — никому ничего не говорить.

— Что ж, может, ты и права... да, должно быть, так и надо.

— Только все-таки, по-моему, надо сказать дяде Гарви, что она уехала ненадолго, а то он будет беспокоиться.

— Да, мисс Мери Джейн хотела, чтобы вы ему сказали. «Передай им, говорит, чтобы кланялись дядям Гарви и Вильяму и поцеловали их от меня и сказали, что я поехала за реку к мистеру... к мистеру...» Как фамилия этих богачей, еще ваш дядя Питер очень их уважал? Я говорю про тех, что...

— Ты, должно быть, говоришь про Апторпов?

— Вот-вот, верно... Ну их совсем, эти фамилии, никогда их не вспомнишь вовремя! Так вот, она велела передать, что уехала к Апторпам — попросить их, чтобы они непременно приехали на аукцион и купили ваш дом; дядя Питер так и хотел, чтобы он достался им, а не кому-нибудь другому; она сказала, что не отвяжется от них, пока не согласятся, а после того, если она не устанет, вернется домой; а если устанет, то приедет домой утром. Она не велела ничего говорить насчет Прокторов, а про одних только Апторпов — и это сущая правда, потому что она и туда тоже заедет сказать насчет дома; я-то знаю, потому что она сама мне так сказала.

— Ну хорошо! — И девочки побежали скорей ловить своих дядюшек да передавать им поклоны, поцелуи и всякие поручения.

Теперь все было в порядке. Девочки ничего не скажут, потому что им хочется в Англию; а король с герцогом будут очень довольны, что Мери Джейн уехала хлопотать для аукциона, а не осталась тут, под рукой у доктора Робинсона. Я и сам был рад. «Вот,— думаю,— ловко обделал дельце! Пожалуй, у самого Тома Сойера так не вышло бы. Конечно, он бы еще чего-нибудь прибавил для фасона, но я по этой части не мастак — не так воспитан».

Ну, к концу дня на городской площади начался аукцион и тянулся долго-долго, а наш старикашка все вертелся возле аукциониста и то и дело вставлял какое-нибудь благочестивое слово или что-нибудь из писания, и герцог тоже гугукал в знак сочувствия как умел и вообще старался всем угодить.

Но время помаленьку шло, аукцион тянулся да тянулся, и в конце концов все было распродано — все, кроме маленького участка на кладбище. Они старались и его сбыть с рук — королю хотелось все сразу заглотать, словно какому-нибудь верблюду. Ну, а пока они этим занимались, подошел пароход, а минуты

через две, смотрю, с пристани валит толпа с ревом, с хохотом, с воем и выкрикивает:

— Вот вам и конкуренты! Вот вам и еще парочка наследников Питера Уилкса! Платите деньги, выбирайте, кто больше нравится!

Глава двадцать девятая

БЕГСТВО В ГРОЗУ

Они вели очень приятного на вид старичка и другого, тоже очень симпатичного джентльмена помоложе, с рукой на перевязи. Господи, как же все вопили и хохотали! И вообще потешались ужасно. Я-то в этом ничего смешного не видел, да и королю с герцогом тоже было не до смеха; я, признаться, думал, что они струсят. Однако не тут-то было: нисколько они не струсили. Герцог прикинулся, будто бы он знать не знает, что делается, расхаживал себе, веселый и довольный, да гугукал, словно кувшин, в котором болтается пахтанье; а король — тот все глядел и глядел на них с такой скорбью, будто сердце у него обливается кровью при одной мысли, что на свете могут существовать такие мерзавцы и негодяи. Это у него получалось замечательно. Все, кто поважней, собрались вокруг короля, давая понять, что они на его стороне. Старичок, который только что приехал, видно, совсем растерялся. Потом он начал говорить, и я сразу же увидел, что он выговаривает, как англичанин, а не так, как король, хотя и у короля тоже для подделки получалось неплохо. Точно передать его слова я не берусь, да у меня так и не выйдет. Он повернулся к толпе и сказал что-то приблизительно в таком роде:

— Я не предвидел такой неожиданности и, признаюсь прямо и откровенно, плохо к ней подготовлен, потому что нам с братом очень не повезло! Брат сломал руку, а наш багаж по ошибке выгрузили прошлой ночью в другом городе. Я брат Питера Уилкса — Гарви, а это — его брат Вильям, глухонемой; он не может говорить и совсем не слышит, а теперь, когда у него действует только одна рука, не может делать и знаков. Мы — те самые, за кого себя выдаем; и через день-другой, когда мы получим багаж, я сумею доказать это. А до тех пор я ничего больше не скажу — отправлюсь в гостиницу и буду ждать там.

И они вдвоем с этим новым болванчиком ушли; а король как расхохочется и начал издеваться:

— Ах, он сломал себе руку! До чего похоже на правду, верно? И до чего кстати для обманщика, если он не знает азбу-

ки глухонемых! Багаж у них пропал? Отлично! Очень даже ловко — при таких обстоятельствах!

И король опять засмеялся, и все остальные тоже, кроме трох-четверых... ну, может, пятерых. Один из них был тот самый доктор, а другой — быстроглазый джентльмен со старомодным саквояжем из ковровой материи; он только что сошел с парохода; они тихонько разговаривали с доктором, время от времени поглядывая на короля и кивая друг другу; это был адвокат Леви Белл, который ездил по делам в Луисвилл; а третий был здоровенный, широкоплечий детина, который подошел поближе и внимательно выслушал все, что говорил старичок, а теперь слушал, что говорит король.

А когда король замолчал, этот широкоплечий и говорит:

— Послушайте-ка, если вы Гарви Уилкс, когда вы приехали сюда, в город?

— Накануне похорон, друг,— говорит король.

— А в какое время дня?

— Вечером, за час или за два до заката.

— На чем вы приехали?

— Я приехал на «Сьюзен Поуэл» из Цинциннати.

— Ну, а как же это вы оказались утром возле мыса в лодке?

— Меня не было утром возле мыса.

— Враки!

Несколько человек подбежали к нему и стали упрашивать, чтобы он был вежливее со старым человеком, с проповедником.

— Какой он к черту проповедник! Он мошенник и все врет! Он был на мысу тогда утром. Я живу там, знаете? Ну вот, я там был, и он тоже там был. Я его видел. Он приехал в лодке с Тимом Коллинсом и еще с каким-то мальчишкой.

Тут доктор вдруг и говорит:

— А вы узнали бы этого мальчика, Хайнс, если бы еще раз его увидели?

— Думаю, что узнал бы, но не совсем уверен... Да вот он стоит, я его сразу узнал.— И он показал на меня.

Доктор говорит:

— Ну, друзья, я не знаю, мошенники новые приезжие или нет, но если эти двое не мошенники, тогда я идиот, вот и все! По-моему, надо за ними приглядывать, чтобы они не сбежали, пока мы в этом деле не разберемся. Идемте, Хайнс, и вы все идите. Отведем этих молодчиков в гостиницу и устроим очную ставку с теми двумя. Я думаю, нам не придется долго разбираться — сразу будет видно, в чем дело.

Для толпы это было настоящее удовольствие, хотя друзья короля, может, и остались не совсем довольны. Время было уже к закату. Доктор вел меня за руку и был со мной довольно ласков, хотя ни на минуту не выпускал мою руку.

В гостинице мы все вошли в большую комнату, зажгли свечи и позвали этих новых.

Прежде всего доктор сказал:

— Я не хочу быть слишком суровым к этим двоим, но все-таки думаю, что они самозванцы и, может быть, у них есть и еще сообщники, которых мы не знаем. А если есть, то разве они не могут удрать, захватив мешок с золотом, который остался после Питера Уилкса? Вполне возможно. А если они не мошенники, то пускай пошлют за этими деньгами и отдадут их нам на сохранение до тех пор, пока не выяснится, кто они такие, верно?

Все с этим согласились. Ну, думаю, взяли они в оборот нашу компанию, да еще как сразу круто повернули дело! Но король только посмотрел на них с грустью и говорит:

— Господа, я был бы очень рад, если бы деньги были тут, потому что я вовсе не желаю препятствовать честному, открытому и основательному расследованию этого прискорбного случая: но, увы, этих денег больше нет: можете послать кого-нибудь проверить, если хотите.

— Где же они тогда?

— Ну, когда племянница отдала золото мне на сохранение, я взял и сунул его в соломенный тюфяк на своей кровати; не хотелось класть деньги в банк на несколько дней; я думал, что

кровать, пока мы здесь,— надежное место, потому что мы не привыкли к неграм — думал, что они честные, такие же, как слуги у нас в Англии. А негры взяли да и украли их в то же утро, после того как я сошел вниз; к тому времени, как я продал негров, я еще не успел хватиться этих денег,— они так и уехали с ними. И мой слуга вам то же скажет, джентльмены.

Доктор и еще кое-кто сказали: «Чепуха!» Да и остальные, вижу, не очень-то ему поверили. Один меня спросил, видел ли я, как негры украли золото. Я говорю: «Нет, не видел, зато видел, как они потихоньку выбрались из комнаты и ушли поскорей; только я ничего такого не думал, а подумал, что они побоялись разбудить моего хозяина и хотели убежать, пока им от него не досталось». Больше у меня ничего не спрашивали. Тут доктор накинулся на меня и говорит:

— А ты тоже англичанин?

Я сказал, что да; а он и еще другие засмеялись и говорят:

— Вранье!

Ну, а потом они взялись за это самое расследование, и тут такая началась канитель! Часы шли за часами, а насчет ужина никто ни слова не говорил — и думать про него забыли. А они всё расследовали да расследовали, и вышла в конце концов такая путаница, что хуже быть не может. Они заставили короля рассказать все по-своему; а потом приезжий старичок рассказал все по-своему; и тут уж всякий, кроме разве самого предубежденного болвана, увидел бы, что приезжий старичок говорит правду, а наш — врет. А потом они велели мне рассказать, что я знаю. Король со злостью покосился на меня, и я сразу сообразил, чего мне надо держаться. Я начал было рассказывать про Шеффилд, и про то, как мы там жили, и про английских Уилксов, и так далее; и еще не очень много успел рассказать, как доктор захохотал, а адвокат Леви Белл остановил меня:

— Садись, мальчик; на твоем месте я бы не стал так стараться. Ты, должно быть, не привык врать — что-то у тебя неважно получается: практики, что ли, не хватает. Уж очень ты нескладно врешь.

Такая похвала мне пришлась не по вкусу, но я был рад-радехонек, что меня наконец оставили в покое. Доктор собрался что-то сказать, повернулся и начал:

— Если бы вы, Леви Белл, были в городе с самого начала...

Но тут король прервал его, протянул руку и сказал:

— Так это и есть старый друг моего бедного брата, о котором он так часто мне писал?

Они с адвокатом пожали друг другу руки, и адвокат улыбнулся, как будто был очень рад; они поговорили немного, потом

отошли в сторону и стали говорить шепотом; а в конце концов адвокат сказал громко:

— Так и сделаем. Я возьму ваш чек и пошлю его вместе с чеком вашего брата, и тогда они поймут, что все в порядке.

Им принесли бумагу и перо; король уселся за стол, склонил голову набок, пожевал губами и нацарапал что-то; потом перо дали герцогу, и в первый раз за все время он, как видно, растерялся. Но он все-таки взял перо и стал писать. После этого адвокат повернулся к новому старичку и говорит:

— Прошу вас и вашего брата написать одну-две строчки и подписать свою фамилию.

Старичок что-то такое написал, только никто не мог разобрать его почерк. Адвокат, видно, очень удивился и говорит:

— Ничего не понимаю!

Достал из кармана пачку старых писем, разглядывает сначала письма, потом записку этого старичка, а потом опять письма и говорит:

— Вот письма от Гарви Уилкса, а вот обе записки, и сразу видно, что письма написаны другим почерком (король с герцогом поняли, что адвокат их поддел, и вид у них был растерянный и дурацкий), а вот почерк этого джентльмена, и всякий без труда разберет, что и он тоже не писал этих писем,— в сущности, такие каракули даже и почерком назвать нельзя. А вот это письмо от...

Тут новый старичок сказал:

— Позвольте мне объяснить, пожалуйста. Мой почерк никто не может разобрать, кроме моего брата, и он всегда переписывает мои письма. Вы видели его почерк, а не мой.

— Н-да! — говорит адвокат.— Вот так задача! У меня есть письма и от Вильяма; будьте любезны, попросите его черкнуть строчку-другую, мы тогда могли бы сравнить...

— Левой рукой он писать не может,— говорит старичок.— Если бы он владел правой рукой, вы бы увидели, что он писал и свои и мои письма. Взгляните, пожалуйста, на те и на другие — они писаны одной рукой.

Адвокат посмотрел и говорит:

— Я думаю, это правда; а если нет, то сходство больше, чем мне до сих пор казалось. Я думал, что мы уже на верном пути, а мы вместо того опять сбились. Но, во всяком случае, одно уже доказано: эти двое — не Уилксы.— И он кивнул головой на короля с герцогом.

И что же вы думаете? Этот старый осел и тут не пожелал сдаться, так-таки не пожелал. Сказал, что такая проверка не годится. Что его брат Вильям первый шутник на свете и даже не собирался писать по-настоящему; он-то понял, что Вильям

хочет подшутить, как только тот черкнул пером по бумаге. Врал-врал и до того увлекся, что и сам себе начал верить, но тут приезжий старичок прервал его и говорит:

— Мне пришла в голову одна мысль. Нет ли тут кого-нибудь, кто помогал обряжать моего... обряжать покойного Питера Уилкса?

— Да,— сказал один,— это мы с Эбом Тернером помогали. Мы оба тут.

Тогда старик обращается к королю и говорит:

— Не скажет ли мне этот джентльмен, какая у Питера была татуировка на груди?

Ну, тут королю надо было живей что-нибудь придумать, а то вот какую яму для него выкопали — всякий в нее угодил бы! Ну откуда же он мог узнать, какая у Питера была татуировка? Он даже побледнел, да и как тут не побледнеть! А в комнате стало тихо-тихо, все так и подались вперед и во все глаза смотрят на короля. А я думаю: ну, теперь он запросит пощады, что толку упираться! И что же вы думаете — попросил? Поверить даже трудно — нет, и не подумал. Он, должно быть, решил держаться, пока не возьмет всех измором; а как все устанут и начнут мало-помалу расходиться, тут-то они с герцогом и удерут. Так или иначе, он продолжал сидеть молча, а потом заулыбался и говорит:

— Гм! Ну и вопрос — трудней некуда! Да, сэр, я могу вам сказать, что у него было на груди. Маленькая, тоненькая синяя стрелка, вот что; а если не приглядеться как следует, то ее и не заметишь. Ну, что вы теперь скажете, а?

Нет, я нигде не видывал такой беспримерной наглости, как у этого старого хрыча!

Новый старичок живо повернулся к Эбу Тернеру, глаза у него засветились, как будто на этот раз он поймал короля, и он спросил:

— Ну вот, вы слышали, что он сказал? Был такой знак на груди у Питера Уилкса?

Они оба отвечают:

— Мы такого знака не видели.

— Отлично! — говорит старый джентльмен.— А видели ли вы у него на груди неясное маленькое П и Б (Б он после перестал ставить), потом У и тире между ними, вот так: П—Б—У.— И он начертил все это на клочке бумаги.— Скажите, вы такой знак видели?

Оба опять ответили в один голос:

— Нет, мы этого не видели. Мы не заметили никаких знаков.

Ну, тут уж остальные не выдержали и стали кричать:

— Да они все мошенники, всё это одна шайка! В реку их! Утопить их! Прокатить на шесте!

Все тут загалдели разом, и такой поднялся шум! Но адвокат вскочил на стол и говорит:

— Джентльмены! Джентльмены! Дайте мне сказать слово, одно только слово, пожалуйста! Есть еще выход — пойдемте выроем тело и посмотрим.

Это всем понравилось.

Все закричали «ура» и хотели было тронуться в путь, но адвокат и доктор остановили их:

— Погодите, погодите! Держите-ка этих четверых и мальчишку — их тоже захватим с собой.

— Так и сделаем! — закричали все.— А если не найдем никаких знаков, то линчуем всю шайку!

Ну и перепугался же я, сказать по правде! А удрать не было никакой возможности, сами понимаете. Они схватили нас всех и повели за собой прямо на кладбище, а кладбище было мили за полторы вниз по реке, и весь город тоже за нами увязался, потому что шум мы подняли порядочный; а времени было еще немного — всего девять часов вечера.

Когда мы проходили мимо нашего дома, я пожалел, что услал Мери Джейн из города, потому что теперь стоило мне только подать ей знак — она выбежала бы и спасла бы меня и уличила бы наших мошенников.

Мы всей толпой бежали по берегу реки и орали, как дикие коты. Оттого что небо вдруг потемнело, начала мигать и поблескивать молния и листья зашумéли от ветра, мороз еще пуще подирал по коже.

Такой страшной беды со мной еще никогда не бывало, и я вроде как одурел; все вышло не так, как я думал, а совсем по-другому: вместо того чтобы любоваться на всю эту потеху со стороны и удрать, когда вздумается, вместо Мери Джейн, которая поддержала бы меня, спасла и освободила бы в решительную минуту, теперь одна татуировка могла спасти меня от смерти. А если этих знаков не найдут...

Мне даже и думать не хотелось, что тогда будет; и ни о чем другом я тоже почему-то думать не мог. Становилось все темней и темней; самое подходящее было время улизнуть, да только этот здоровенный детина Хайнс держал меня за руку, а от такого Голиафа попробуй-ка улизни! Он тащил меня за собой волоком — до того разъярился; мне, чтобы не отстать, приходилось бежать бегом. Добравшись до места, толпа ворвалась на кладбище и затопила его, словно наводнение. А когда добрались до могилы, то оказалось, что лопат у них во сто раз больше, чем требуется, а вот фонаря никто и не подумал захватить. И все-

таки они принялись копать при вспышках молнии, а за фонарем послали в ближайший дом, в полумиле от кладбища.

Они копали и копали с остервенением, а тем временем стало страх как темно, полил дождь, и ветер бушевал все сильней и сильней, и молния сверкала все чаще и чаще, и грохотал гром; но никто даже и внимания не обращал на это — так все увлеклись делом; когда вспыхивала молния, видно было решительно все: каждое лицо в этой большой толпе, каждая лопата земли, которая летела кверху из могилы; а в следующую секунду все заволакивала тьма, и опять ничего не было видно.

Наконец они вытащили гроб и стали отвинчивать крышку; и тут опять начали так толкаться и напирать, чтобы протиснуться вперед и взглянуть на гроб,— ну, немыслимое дело! А в темноте, да еще в такой давке, просто страшно становилось. Хайнс ужасно больно тянул и дергал меня за руку; он, должно быть, совсем позабыл, что я существую на свете; он громко сопел — видать, здорово разгорячился.

Вдруг молния залила все ярко-белым светом, и кто-то крикнул:

— Ей-богу, вот он, мешок с золотом, у него на груди!

Хайнс завопил вместе со всеми, выпустил мою руку и изо всех сил рванулся вперед, чтобы взглянуть на золото; а уж как я от него удрал и выбрался на дорогу — этого я и сам не знаю.

На дороге не было ни души, и я пустился бежать во все лопатки; кругом было пусто, если не считать густого мрака, ежеминутных вспышек молнии, шума дождя, и свиста ветра, и раскатов грома; можете быть уверены, что я летел сломя голову!

Добежал я до города, вижу — на улицах никого нет из-за грозы, так что я не стал огибать переулками, а прямо летел вовсю по главной улице; а как стал подбегать к нашему дому, гляжу в ту сторону, глаз не спускаю. Ни одного огонька, дом весь темный; я даже расстроился — до того мне стало грустно, сам не знаю почему. Но в ту самую минуту, как я бежал мимо,— раз! — и вспыхнул огонек в окне Мери Джейн, и сердце у меня как забьется, чуть-чуть не выскочило; и в ту же секунду и дом и все прочее осталось позади меня в темноте, и я знал, что уж больше никогда ничего этого не увижу. Она была лучше всех, и характера у нее было куда больше, чем у других девушек.

Как только я очутился за городом и на таком расстоянии от него, что можно было подумать о переправе на островок, я стал искать, нельзя ли где позаимствовать лодку; едва молния показала мне одну лодочку не на замке, я прыгнул в нее и оттолкнулся от берега. Это оказался челнок, кое-как привязанный

Он тащил меня за собой волоком — до того разъярился.

веревкой. Островок был очень не близко, на самой середине реки, но я не стал терять времени; а когда я наконец пристал к плоту, то так выбился из сил, что будь хоть какая-нибудь возможность — лег бы и отдышался. Но где уж тут лежать! Я перепрыгнул на плот и говорю:

— Скорей, Джим, отвязывай плот! Слава богу, мы от них избавились!

Джим выбежал из шалаша и, расставив руки, полез было ко мне обниматься — так он обрадовался; зато у меня душа ушла в пятки, как только я его увидел при свете молнии; я попятился и свалился с плота в реку, потому что совсем забыл, что Джим изображал и короля Лира, и араба-утопленника вместе, и я чуть не помер со страху. Но Джим выловил меня из воды и уж совсем собрался обнимать и благословлять меня, но я ему сказал:

— Не сейчас, Джим,— оставь это на завтрак, оставь на завтрак! Скорей отвязывай плот и отпихивайся от берега!

Через две секунды мы уже скользили вниз по реке. До чего хорошо было очутиться опять на свободе, плыть одним посредине широкой реки, так, чтоб никто нас не мог достать! Я даже попрыгал и поплясал немножко на радостях и постукал пяткой о пятку — никак не мог удержаться; и только стукнул в третий раз, как слышу хорошо знакомый мне звук; затаил дыхание, прислушался и жду: так и есть, вспыхнула над водой молния, гляжу — вон они плывут! Налегают на весла так, что борта трещат! Это были король с герцогом.

Я повалился на плот и едва-едва удержался, чтобы не заплакать.

Глава тридцатая

ЗОЛОТО СПАСАЕТ МОШЕННИКОВ

Как только они ступили на плот, король бросился ко мне, ухватил за шиворот и говорит:

— Хотел удрать от нас, щенок ты этакий! Компания наша тебе надоела, а?

Я говорю:

— Нет, ваше величество, мы не хотели... Пустите, ваше величество!

— Живей тогда говори, что это тебе взбрело в башку, а не то я душу из тебя вытрясу!

— Честное слово, я вам расскажу, как было, ваше величество. Этот, что меня держал, был очень со мной ласков, все говорил, что у него вот такой же сынишка помер в прошлом году

и ему просто жалко видеть, что мальчик попал в такую передрягу; а когда они потеряли голову, увидев золото, и бросились к гробу, он выпустил мою руку и шепчет: «Беги скорее, не то тебя повесят!» Я и побежал. Мне показалось, что оставаться мало толку: сделать я ничего не могу, а зачем же дожидаться, чтоб меня повесили, когда можно удрать! Так я и не останавливался, все бежал, пока не увидел челнок; а когда добрался до плота, велел Джиму скорей отчаливать, не то они меня догонят и повесят; а еще сказал ему, что вас и герцога, наверно, уже нет в живых, и мне вас было очень жалко, и Джиму тоже, и я очень обрадовался, когда вас увидел. Вот спросите Джима, правду я говорю или нет.

Джим сказал, что так все и было. А король велел ему замолчать и говорит:

— Ну да, как же, ври больше! — и опять встряхнул меня за шиворот и пообещал утопить.

Но герцог сказал:

— Пустите мальчишку, старый дурак! А вы-то сами по-другому, что ли, себя вели? Справлялись разве о нем, когда вырвались на свободу? Я что-то не припомню.

Тогда король выпустил меня и начал ругать и город и всех его жителей. Но герцог сказал:

— Вы бы лучше себя как следует отругали — ведь вас-то и надо ругать больше всех. Вы с самого начала ничего разумного не сделали, вот разве что не растерялись и выступили довольно кстати с этой вашей синей стрелкой. Это вышло ловко, прямотаки здорово! Эта самая штука нас и спасла. А если бы не она, нас бы заперли, пока не пришел бы багаж англичан, а потом засадили бы в тюрьму, это уж наверняка! А из-за вашей стрелки они потащились на кладбище, а там золото оказало нам услугу поважней: ведь если бы эти оголтелые дураки не потеряли голову и не бросились все к гробу глядеть на золото, пришлось бы нам сегодня спать в галстуках особой прочности, с ручательством, много прочнее, чем нам с вами требуется.

Они молчали с минуту — задумались. Потом король и говорит довольно рассеянно:

— Гм! А ведь мы думали, что негры его украли.

Я так и съежился весь.

— Да,— говорит герцог с расстановкой и насмешливо,— мы думали!

Еще через полминуты король говорит этак нараспев:

— По крайней мере — я думал.

А герцог ему точно так же:

— Напротив, это я думал.

Король обозлился и говорит:

— Послушайте, ваша светлость, вы на что это намекаете?

Герцог ему отвечает, на этот раз много живей:

— Ну, коли на то пошло, позвольте и вас спросить: на что вы намекали?

— Совсем заврался,— говорит король очень язвительно.— А впрочем, я ведь не знаю — может быть, вы это во сне, сами не понимали, что делаете?

Герцог сразу весь ощетинился и говорит:

— Да брось ты чепуху молоть! За дурака, что ли, ты меня считаешь? Что же, по-твоему, я не знаю, кто спрятал деньги в гроб?

— Да, сэр! Я-то знаю, что вы это знаете, потому что вы же сами и спрятали!

— Это ложь! — И герцог набросился на короля.

Тот кричит:

— Руки прочь! Пустите мое горло! Беру свои слова обратно!

Герцог говорит:

— Ладно, только сознайтесь сначала, что это вы спрятали деньги, хотели потом улизнуть от меня, вернуться, откопать деньги и забрать все себе.

— Погодите минутку, герцог! Ответьте мне на один вопрос честно и благородно: если это не вы спрятали туда деньги, так и скажите. Я вам поверю и все свои слова возьму обратно.

— Ах ты, старый мошенник! Ничего я не прятал, ты же знаешь, что это не я. Вот тебе!

— Ну хорошо, я вам верю. Ответьте мне еще на один вопрос, только не беситесь: а не было ли у вас такой мысли — подцепить денежки и спрятать их?

Герцог сначала долго не отвечал, потом говорит:

— Ну так что ж, если б даже и была,— ведь я же этого все-таки не сделал. А у вас не только мысль была — вы взяли да и подцепили.

— Помереть мне на этом самом месте, герцог, только я их не брал, и это сущая правда! Не скажу, чтоб я не собирался их взять: что было, то было, но только вы... то есть я хочу сказать, другие... меня опередили.

— Это ложь! Вы сами их украли и должны сознаться, что украли, а не то...

Король начал задыхаться, а потом через силу прохрипел:

— Довольно... сознаюсь!

Я был очень рад это слышать; я сразу почувствовал себя много легче. А герцог выпустил его и говорит:

— Если только вы опять вздумаете отпираться, я вас утоплю. Вам и следует сидеть и хныкать, как младенцу,— самое для

вас подходящее после такого поведения. Прямо страус какой-то — так и норовит все заглотать! Я таких просто не видывал, а я еще верил ему, как отцу родному! И не стыдно вам! Стоит и слушает, как все это дело взвалили на несчастных негров,— и хоть бы словечко сказал, заступился бы за них! Мне теперь на себя смешно: надо же быть дураком, чтобы поверить такой глупости! Черт вас возьми, теперь-то я понимаю, для чего вам так срочно понадобилось пополнять дефицит! Вы хотели прикарманить и те денежки, что я выручил за «Жирафа», да и мало ли еще за что, и забрать все разом!

Король сказал робким голосом, все еще продолжая всхлипывать:

— Да что вы, герцог! Это вовсе не я сказал. Это вы сами сказали, что надо пополнить дефицит.

— Молчать! Я больше слышать ничего не хочу! — говорит герцог.— Теперь видите, чего вы этим добились? Они все свои деньги получили обратно, да, сверх того, все наши забрали, кроме доллара или двух. Ступайте спать, и чтоб я больше про это не слыхал, а не то я вам такой дефицит покажу — будете помнить!

Король поплелся в шалаш и приложился к бутылочке, утешения ради; а там и герцог тоже взялся за бутылку; и через какие-нибудь полчаса они опять были закадычными друзьями и чем больше пили, тем любовней обращались друг с другом, а напоследок мирно захрапели обнявшись. Оба они здорово нализались, но только я заметил, что король хоть и нализался, а все-таки ни разу не забылся и не сказал, что это не он украл деньги. А по мне, тем лучше: от этого у меня на душе только сделалось легче и веселей. Само собой, после того как они захрапели, мы с Джимом наговорились всласть, и я все ему рассказал.

Глава тридцать первая

МОЛИТВА НЕ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Много дней подряд мы боялись останавливаться в городах, а все плыли да плыли вниз по реке. Теперь мы были на юге, в теплых местах и очень далеко от дома. Нам стали попадаться навстречу деревья, обросшие испанским мхом, словно длинной седой бородой. Я в первый раз видел, как он растет, и лес от него казался мрачным и угрюмым. Наши жулики решили, что теперь им нечего бояться, и опять принялись околпачивать народ в городах.

Для начала они прочли лекцию насчет трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку им не хватило. Тогда они решили открыть в другом городе школу танцев, а сами танцевали не лучше кенгуру; и как только они выкинули первое коленце, вся публика набросилась на них и выкинула их вон из города. В другой раз они попробовали обучать народ ораторскому искусству, только недолго ораторствовали: слушатели не выдержали, обругали их на все корки и велели убираться из города. Пробовали они и проповеди, и внушение мыслей, и врачевание, и гадание — всего понемножку, только им что-то здорово не везло. Так что в конце концов они прожились дочиста и по целым дням валялись на плоту — всё думали да думали и друг с другом почти не разговаривали: такие были хмурые и злые.

А потом они вдруг встрепенулись; стали совещаться о чем-то в шалаше, потихоньку от нас, все шепотом и часа по два, по три сряду. Мы с Джимом забеспокоились. Нам это очень не понравилось. Думаем: наверно, затевают какую-нибудь новую чертовщину, еще почище прежних. Мы долго ломали себе голову и так и этак и в конце концов решили, что они хотят обокрасть чей-нибудь дом или лавку, а то, может, собираются делать фальшивые деньги. Тут мы с Джимом здорово струхнули и уговорились так: что мы к этим их делам никакого касательства иметь не будем, а если только встретится хоть какая-нибудь возможность, то мы от них удерем, бросим их, и пускай они одни остаются.

Вот как-то ранним утром мы спрятали плот в укромном месте, двумя милями ниже одного захолустного городишки, который назывался Пайксвилл, и король отправился на берег, а нам велел сидеть смирно и носа не показывать, пока он не побывает в городе и не справится, дошли сюда слухи насчет «Жирафа» или еще нет. («Небось дом ограбить собираешься,— думаю я,— потом вернешься сюда, а нас с Джимом поминай как звали,— с тем и оставайся».) А если он к полудню не вернется, то это значит, что все в порядке, и тогда нам с герцогом тоже надо отправляться в город.

И мы остались на плоту. Герцог все время злился и раздражался и вообще был сильно не в духе. Нам за все доставалось, никак мы не могли ему угодить — он придирался к каждому пустяку. Видим, что-то они затеяли, это уж как пить дать. Настал и полдень, а короля все не было, и я, признаться, очень обрадовался: думаю, наконец хоть какая-то перемена, а может случиться, что все по-настоящему переменится. Мы с герцогом отправились в городок, стали там разыскивать короля и довольно скоро нашли его в задней комнате распивочной, вдре-

безги пьяного; какие-то лодыри дразнили его забавы ради; он ругал их на чем свет стоит и грозился, а сам на ногах еле держится и ничего с ними поделать не может. Герцог выругал его за это старым дураком, король тоже в долгу не остался, и как только они сцепились по-настоящему, я и улепетнул — припустился бежать к реке, да так, что только пятки засверкали. Вот он, думаю, случай-то, теперь не скоро они нас с Джимом опять увидят. Добежал я к реке, весь запыхавшись, зато от радости ног под собой не чую и кричу:

— Джим, скорей отвязывай плот, теперь у нас с тобой все в порядке!

Но никто мне не откликнулся, и в шалаше никого не было. Джим пропал! Я крикнул, и в другой раз крикнул, и в третий; бегаю по лесу туда и сюда, зову, аукаю — никакого ответа: пропал старик Джим! Тогда я сел и заплакал — никак не мог удержаться от слез. Только и сидеть я долго не мог. Вышел на дорогу, иду и думаю: что же теперь делать? А навстречу мне какой-то мальчишка; я его и спросил, не видел ли он незнакомого негра, одетого так-то и так-то, а он и говорит:

— Видал.

— А где? — спрашиваю.

— На плантации Сайласа Фелпса, отсюда будет мили две. Это беглый негр, его уже поймали. А ты его ищешь?

— И не думаю! Я на него нарвался в лесу час или два назад, и он сказал, что, если я только крикну, он из меня дух вышибет,— велел мне сидеть смирно и с места не двигаться. Вот я и сидел там, боялся выйти.

— Ну,— говорит мальчишка,— тебе больше нечего бояться, раз его поймали. Он убежал откуда-то издалека, с Юга.

— Это хорошо, что его сцапали.

— Еще бы не хорошо! За него ведь полагается двести долларов награды. Все равно что на дороге найти.

— Ну да, я бы тоже мог получить награду, если бы был побольше; ведь я первый его увидел. А кто же его поймал?

— Один старик, приезжий; только он продал свою долю за сорок долларов, потому что ему надо уезжать вверх по реке, а ждать он не может. Подумать только! Нет, я бы подождал — пускай бы и семь лет пришлось ждать.

— И я тоже, обязательно,— говорю я.— А может, его доля больше и не стоит, если он продал так дешево? Может, дело-то не совсем чистое?

— Ну, как же не чистое — чище не бывает. Я сам видел объявление. Там про него все написано, точка в точку сходится — лучше всякого портрета, а бежал он из-под Нового Орлеана, с плантации. Нет, уж тут комар носу не подточит, все

правильно... Слушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать?

Табака у меня не было, и он пошел дальше. Я вернулся на плот, сел в шалаше и стал думать. Но так ничего и не придумал. Думал до тех пор, пока всю голову не разломило, и все-таки не нашел никакого способа избавиться от беды. Сколько мы плыли по реке, сколько делали для этих мошенников, и все зря!

Так все и пропало задаром, из-за того, что у них хватило духу устроить Джиму такую подлость: опять продать его в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые сорок долларов, да еще чужим людям!

Я даже подумал, что для Джима было бы в тысячу раз лучше остаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не сообщить ли мне об этом Тому Сойеру? Пускай он скажет мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил, и вот почему: она наверняка рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от нее, и опять продаст его. А если и не продаст, все равно добра не жди: все будут презирать такого неблагодарного негра, это уж так полагается, и обязательно дадут Джиму почувствовать, какой он подлец и негодяй. А мое-то положение! Всем будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться; и если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то, должно быть, со стыда готов буду сапоги ему лизать. Это уж всегда так бывает: сделает человек подлость, а отвечать за нее не хочет. Думает: пока этого никто не знает, так и стыдиться нечего. Вот и со мной так вышло. Чем больше я об этом думал, тем сильней меня грызла совесть, я чувствовал себя прямо-таки дрянью, последним негодяем и подлецом. И наконец меня осенило; ведь это, думаю, ясное дело: рука провидения для того и закатила мне такую оплеуху, чтобы я понял, что на небесах следят за моим дурным поведением; и там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Вот мне и показали, что есть такое всевидящее око и оно не потерпит нечестивого поведения, а положит ему конец. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я все-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание; думаю: ничему хорошему меня не научили — значит, я уж не так виноват; но что-то твердило мне: «На то есть воскресная школа — почему же ты в нее не ходил? Там бы тебя научили, что если кто поможет негру бежать, то за это будет веки вечные гореть в аду».

Меня просто в дрожь бросило. И я уже совсем было решил: давай попробую помолюсь, чтобы мне сделаться не таким, как сейчас, а хорошим мальчиком, исправиться. И стал на колени.

Только молитва не шла у меня с языка. Да и как же иначе? Нечего было и стараться скрыть это от бога. И от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня язык не поворачивается молиться. Потому что я кривил душой, не по-честному поступал — вот почему. Притворялся, будто хочу исправиться, а в самом главном грехе не покаялся. Вслух говорил, будто я хочу поступить как надо, по совести, будто хочу пойти и написать хозяйке этого негра, где он находится, а в глубине души знал, что все вру и бог это тоже знает. Нельзя врать, когда молишься,— это я понял.

Тут я совсем запутался, хуже некуда, и не знал, что мне делать. Наконец придумал одну штуку; говорю себе: пойду напишу это самое письмо, а после того посмотрю, смогу ли я молиться. И удивительное дело: в ту же минуту на душе у меня сделалось легко, легче перышка, и все как-то сразу стало ясно. Я взял бумагу, карандаш и написал:

Мисс Уотсон, ваш беглый негр Джим находится в двух милях от Пайкевилла, у мистера Фелпса, он отдаст Джима, если вы пришлете ему награду.

Гек Финн.

Мне стало так хорошо, и я почувствовал, что первый раз в жизни очистился от греха и что теперь смогу молиться. Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала отложил письмо и долго сидел и думал: вот, думаю, как это хорошо, что так случилось, а то ведь я чуть-чуть не погубил свою душу и не отправился в ад. Потом стал думать дальше. Стал вспоминать про наше путешествие по реке и все время так и видел перед собой Джима как живого: то днем, то ночью, то при луне, то в грозу, как мы с ним плывем на плоту, и разговариваем, и поём, и смеемся. Но только я почему-то не мог припомнить ничего такого, чтобы настроиться против Джима, а как раз наоборот. То вижу — он стоит вместо меня на вахте, после того как отстоял свою, и не будит меня, чтобы я выспался; то вижу, как он радуется, когда я вернулся на плот во время тумана или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровная вражда; и как он всегда называл меня «голубчиком» и «сынком», и баловал меня, и делал для меня все, что мог, и какой он всегда был добрый; а под конец мне вспомнилось, как я спасал его — рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен и говорил, что лучше меня у него нет друга на свете и что теперь я один у него остался друг.

И тут я нечаянно оглянулся и увидел свое письмо. Оно лежало совсем близко. Я взял его и подержал в руке. Меня даже в дрожь бросило, потому что тут надо было раз навсегда ре-

шиться, выбрать что-нибудь одно,— это я понимал. Я подумал с минутку, даже как будто дышать перестал, и говорю себе:

— Ну что ж делать, придется гореть в аду.

Взял и разорвал письмо.

Страшно было думать об этом, страшно было говорить такие слова, но я их все-таки сказал. А уж что сказано, то сказано — больше я и не думал о том, чтобы мне исправиться. Просто выкинул все это дело из головы; так и сказал себе, что буду опять грешить по-старому — все равно, такая уж моя судьба, раз меня ничему хорошему не учили. И для начала не пожалею трудов — опять выкраду Джима из рабства; а если придумаю еще что-нибудь хуже этого, то и хуже сделаю; раз мне все равно пропадать, то пускай уж не зря.

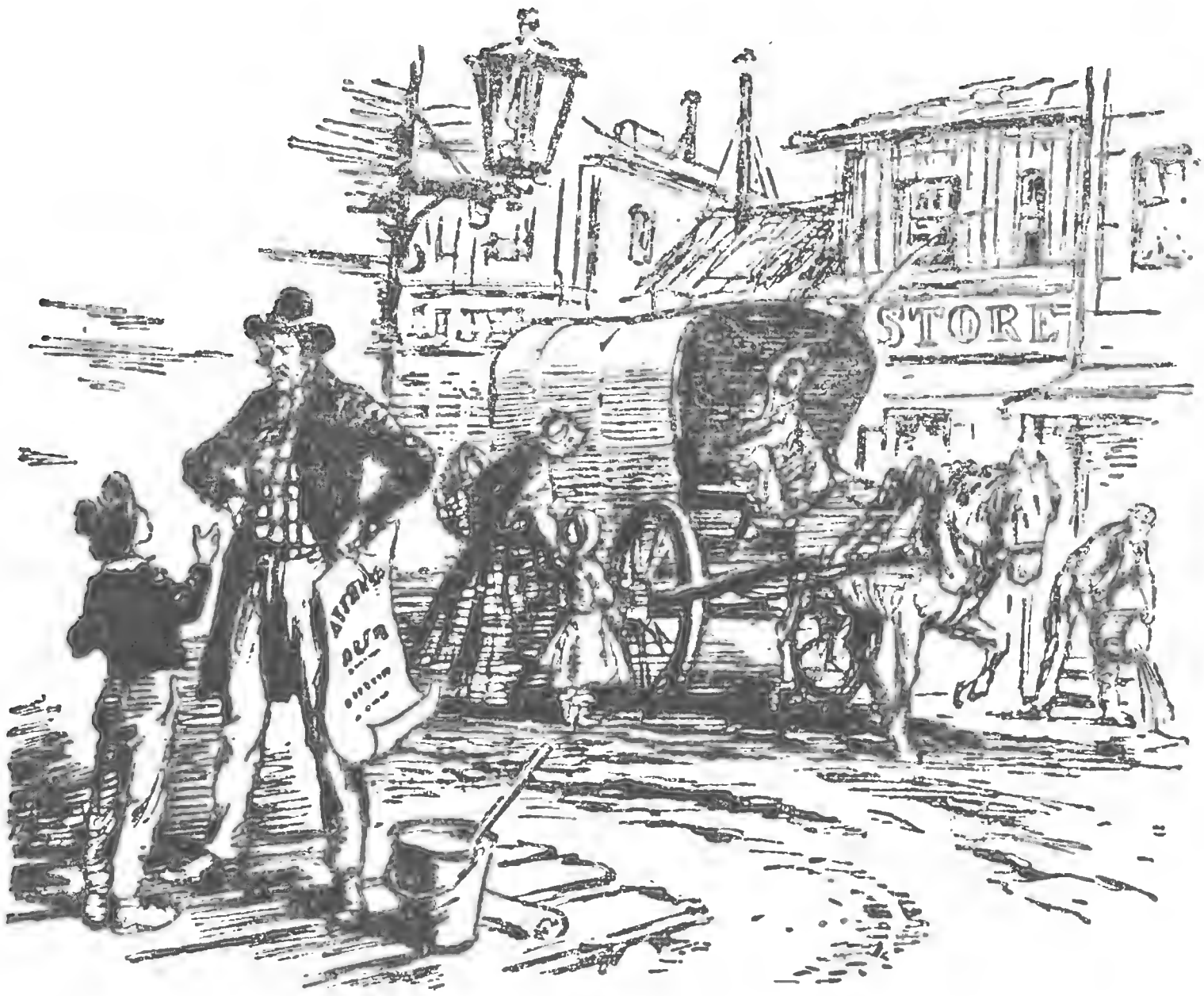
Тогда я стал думать, как взяться за это дело, и перебрал в уме много всяких способов; и наконец остановился на одном, самом подходящем. Я хорошенько заметил положение одного лесистого острова немного ниже по реке и, как только совсем стемнело, вывел плот из тайника, переправился к острову и спрятал его там, а сам лег спать. Я проспал всю ночь, поднялся еще до рассвета, позавтракал и надел все новое, купленное в магазине, а остальную одежду и еще кое-какие вещи связал в узелок, сел в лодку и переправился на берег. Я причалил пониже того места, где, по-моему, была плантация Фелпса, спрятал узелок в лесу, налил в челнок воды, набросал в него камней и затопил на четверть мили ниже лесопилки, стоящей над маленькой речкой,— чтобы мне легче было найти челнок, когда он опять понадобится.

После этого я выбрался на дорогу и, проходя мимо лесопилки, увидел на ней вывеску: «Лесопильня Фелпса», а когда подошел к усадьбе — она была на двести или триста шагов подальше,— то, сколько ни глядел, все-таки никого не увидел, хотя был уже белый день. Но я не собирался пока ни с кем разговаривать — мне надо было только посмотреть, где у них что находится. По моему плану, мне надо было прийти туда из городка, а не с реки. Так что я только поглядел и двинулся дальше, прямо в город. И что вы думаете? Первый человек, на которого я там наткнулся, был герцог. Он наклеивал афишу: «Королевский жираф», только три представления» — все как в прошлый раз. Ну и нахальства же было у этих жуликов! Я наткнулся на него неожиданно и не успел увильнуть. Он как будто удивился и говорит:

— Эге! Откуда это ты? — Потом как будто даже обрадовался и спрашивает: — А плот где? Хорошо ли ты его спрятал?

— Вот и я вас то же самое хотел спросить, ваша светлость.

Тут он что-то перестал радоваться и говорит:



— С какой же стати ты меня вздумал об этом спрашивать?

— Ну,— говорю,— когда я вчера увидал короля в этой пивочной, то подумал: не скоро мы его затащим обратно на плот, когда-то он еще протрезвится; вот я пошел шататься по городу — надо же было куда-нибудь девать время! А тут один человек пообещал мне десять центов за то, чтобы я помог ему переправиться на лодке за реку и привезти оттуда барана; вот я и пошел с ним; а когда мы стали тащить барана в лодку, этот человек дал мне держать веревку, а сам стал подталкивать его сзади; но только баран оказался мне не по силам: он у меня вырвался и удрал, а мы побежали за ним. Собаку мы с собой не взяли, вот и пришлось гоняться за бараном по берегу, пока он не выбился из сил. Мы гонялись за ним до темноты, потом перевезли его в город, а после того я пошел к плоту. Прихожу — а плота нету. «Ну,— говорю себе,— должно быть, у них вышла какая-нибудь неприятность и они удрали и негра моего с собой увезли! А этот негр у меня единственный, а я на чужой стороне, и никакого имущества у меня больше нет, и заработать на хлеб я тоже не могу». Сел и заплакал. А ночевал я в лесу... Но куда же все-таки девался плот? И Джим где? Бедный Джим!

— Я почем знаю... то есть насчет плота. Этот старый дурак тут кое-что продал и получил сорок долларов, а когда мы оты-

скали его в распивочной, у него уже повытянули все деньги, кроме тех, что он истратил на выпивку. А когда я поздно ночью приволок его к реке и плота на месте не оказалось, мы с ним так и подумали: «Этот чертенок, должно быть, украл наш плот и бросил нас, уплыл вниз по реке».

— Как же это я бросил бы своего негра? Ведь он у меня один-единственный, одна моя собственность.

— Мы про это совсем забыли. Привыкли думать, что это наш негр, вот в чем дело... ну да, считали его своим; да и то сказать: мало, что ли, мы с ним возились? А когда мы увидели, что плот пропал и у нас ничего больше нет, мы решили: не попробовать ли еще разок «Жирафа»? Ничего другого не остается. Вот я и стараюсь, с самого утра во рту маковой росинки не было. Где у тебя эти десять центов? Давай их сюда!

Денег у меня было порядочно, так что я дал ему десять центов, только попросил истратить их на еду и мне тоже дать немножко, потому что я со вчерашнего дня ничего не ел. На это герцог ни слова не ответил, а потом повернулся ко мне и говорит:

— Как, по-твоему, негр на нас не донесет? А то мы с него всю шкуру спустим!

— Как же он может донести? Ведь он убежал!

— Да нет! Этот старый болван его продал и со мной даже не поделился, так деньги зря и пропали.

— Продал? — говорю я и начинаю плакать.— Как же так... ведь это мой негр, и деньги тоже мои... Где он? Отдайте моего негра!

— Негра тебе никто не отдаст, и дело с концом, так что перестань хныкать. Послушай-ка, ты уж не думаешь ли донести на нас? Ей-богу, я тебе ни на грош не верю. Смотри попробуй только!

Он замолчал, а у самого глаза злые, никогда я таких не видел. Хныкать я не перестал, а сам говорю:

— Ни́ на кого я доносить не собираюсь, да и некогда мне этим заниматься: мне надо идти искать своего негра.

Видно было, что ему это очень не понравилось: стоит, задумался, и афиши трепыхаются у него в руке; потом наморщил лоб и говорит:

— Вот что я тебе скажу. Нам надо здесь пробы́ть три дня. Если ты обещаешь сам молчать и негру не позволишь на нас донести, я тебя научу, где его искать.

Я пообещал, а он говорит:

— У одного фермера, а зовут его Сайлас Фе...— и вдруг замолчал.

Понимаете, он сначала хотел сказать правду, а когда замол-

чал и стал соображать да думать, то и передумал. Наверно, так оно и было. Мне он все-таки не верил, вот ему и хотелось убрать меня отсюда на целых три дня, чтобы я им не мешал. Помолчал немножко и говорит:

— Человека, который его купил, зовут Абрам Фостер, Абрам Дж. Фостер, а живет он по дороге в Лафайет — это будет миль сорок в сторону.

— Хорошо,— говорю,— в три дня я туда дойду. Сегодня же днем и отправлюсь.

— Нет, не днем, а ступай сейчас же, да не теряй времени и не болтай зря по дороге! Держи язык за зубами и шагай побыстрей, тогда тебе от нас никаких неприятностей не будет, понял?

Вот этого приказа я и добивался, только это мне и нужно было. Мне надо было развязать себе руки, чтобы приняться за дело.

— Ну, так ступай,— сказал он,— и можешь говорить мистеру Фостеру все, что тебе вздумается. Может, он тебе и поверит, что Джим твой негр,— бывают такие идиоты, что не требуют документов; по крайней мере, я слыхал, что здесь, на Юге, такие бывают. А как станешь рассказывать про фальшивое объявление и про награду, ты ему объясни, для чего это понадобилось,— может, он тебе поверит. Теперь проваливай и говори ему что хочешь, да по дороге смотри держи язык за зубами, пока до места не доберешься!

Я и пошел, направляясь от реки в сторону, и ни разу не оглянулся; я и так чувствовал, что он за мной следит. Все равно я знал, что ему это скоро надоест. Я прошел по этому направлению целую милю, ни разу не останавливаясь; потом сделал круг по лесу и вернулся к усадьбе Фелпса. Я решил приступить к делу сразу, без всякой канители, потому что надо было, чтобы Джим не проговорился, пока эти молодцы не уберутся подальше. А то еще наживешь хлопот с этой братией. Я на них нагляделся досыта и больше не желал иметь с ними никакого дела.

Глава тридцать вторая

МНЕ ДАЮТ НОВОЕ ИМЯ

Когда я добрался до усадьбы, кругом было тихо, как в воскресенье, жарко и солнечно; все ушли работать в поле; а в воздухе стояло едва слышное гудение жуков и мух, от которого делается до того тоскливо, будто все кругом повымерло; да если еще повеет ветерок и зашелестит листвой, то и вовсе душа ухо-

дит в пятки: так и кажется, будто это шепчутся привидения, души тех, которые давным-давно померли, и всегда чудится, будто это они про тебя говорят. И вообще от этого всегда хочется самому помереть, думаешь — хоть бы все поскорей кончилось!

Хлопковая плантация Фелпса была из тех маленьких, захудалых плантаций, которые все на одно лицо. Двор акра в два, огороженный жердями; а для того, чтобы перелезть через забор и чтоб женщинам было легче садиться на лошадь, к нему подставлены лесенкой обрубки бревен, точно бочонки разной высоты; кое-где во дворе растет тощая травка, но больше голых и вытоптанных плешин, похожих на старую шляпу с вытертым ворсом; для белых большой дом из отесанных бревен, щели замазаны глиной или известкой, а сверху побелены, только видно, что очень давно; кухня — из неотесанных бревен, соединена с домом длинным и широким навесом; позади кухни — бревенчатая коптильня; по другую сторону коптильни вытянулись в ряд три низенькие негритянские хижины; одна маленькая хибарка стоит особняком по одну сторону двора, у самого забора, а по другую сторону — разные службы; рядом с хибаркой — куча золы и большой котел для варки мыла; возле кухонной двери — скамейка с ведром воды и тыквенной флягой; тут же рядом спит на солнышке собака; дальше — еще собаки; в углу двора три тенистых дерева, у забора кусты смородины и крыжовника; за забором огород и арбузная бахча; а дальше — плантации хлопка, а за плантациями — лес.

Я обошел кругом и перелез по обрубкам бревен во двор с другой стороны, возле кучи золы. Пройдя несколько шагов, я услышал жалобное гудение прялки; оно то делалось громче, то совсем замирало; и тут мне уж без всяких шуток захотелось умереть, потому что это самый тоскливый звук, какой только есть на свете.

Я пошел прямо так, наугад, не стал ничего придумывать, а положился на бога — авось он в трудную минуту подскажет, что говорить; я сколько раз замечал, что бог мне всегда помогал сказать то, что надо, если я ему сам не мешал.

Только я дошел до середины двора, вижу — сначала одна собака встает мне навстречу, потом другая, а я, конечно, остановился и гляжу на них, не трогаюсь с места. Ну и подняли же они лай!

Не прошло и четверти минуты, как я сделался чем-то вроде ступицы в колесе, если можно так выразиться, а собаки окружили меня, как спицы,— штук пятнадцать сошлось вокруг меня тесным кольцом, вытянув морды, лая и завывая, а там и другие подбежали; гляжу — перепрыгивают через забор, выбегают из-за углов, лезут отовсюду.

Из кухни выскочила негритянка со скалкой в руке и закричала: «Пошел прочь, Тигр! Пошла, Мушка! Убирайтесь, сэр!» — и стукнула скалкой сначала одну, потом другую; обе собаки с визгом убежали, а за ними и остальные; а через секунду половина собак опять тут как тут — собрались вокруг меня, повиливают хвостами и заигрывают со мной. Собака никогда зла не помнит и не обижается.

А за негритянкой выскочили трое негритят — девочка и два мальчика — в одних холщовых рубашонках; они цеплялись за материнскую юбку и застенчиво поглядывали на меня из-за нее, как это обыкновенно водится у ребят. А из большого дома, смотрю, бежит белая женщина, лет сорока пяти или пятидесяти, с непокрытой головой и с веретеном в руках; за ней выбежали ее белые детишки, и вели они себя точь-в-точь как негритята. Она вся просияла от радости и говорит:

— Так это ты наконец! Неужели приехал?

Не успел я и подумать, как у меня вылетело:

— Да, мэм.

Она схватила меня за плечи, обняла крепко-крепко, а потом взяла за обе руки и давай пожимать, а у самой покатились слезы — так и текут по щекам; она все не выпускает меня, пожимает мне руки, а сама все твердит:

— А ты, оказывается, вовсе не так похож на мать, как я думала... Да что это я, господи! Не все ли равно! До чего же я рада тебя видеть! Ну прямо, кажется, так бы и съела!.. Дети, ведь это ваш двоюродный брат Том! Пойдите поздоровайтесь с ним.

Но дети опустили голову, засунули палец в рот и спрятались у нее за спиной. А она неслась дальше:

— Лиза, не копайся, подавай ему горячий завтрак!.. А то, может, ты позавтракал на пароходе?

Я сказал, что позавтракал. Тогда она побежала в дом, таща меня за руку, и детишки побежали туда же следом за нами. В доме она усадила меня на стул с продавленным сиденьем, а сама уселась передо мной на низенькую скамеечку, взяла меня за обе руки и говорит:

— Ну вот, теперь я могу хорошенько на тебя наглядеться! Господи ты мой боже, сколько лет я об этом мечтала, и вот наконец ты здесь! Мы тебя уже два дня ждем, даже больше... Отчего ты так опоздал? Пароход сел на мель, что ли?

— Да, мэм, он...

— Не говори «да, мэм», зови меня тетя Салли... Где же это он сел на мель?

Я не знал, что отвечать: ведь неизвестно было, откуда должен идти пароход — сверху или снизу. Но я всегда больше руководствовался чутьем; а тут чутье подсказало мне, что пароход

должен идти снизу — от Орлеана. Хотя мне это не очень помогло: я ведь не знал, как там, в низовьях, называются мели. Вижу, надо изобрести новую мель или позабыть, как называлась та, на которую мы сели, или... Вдруг меня осенило, и я выпалил:

— Это не из-за мели — там мы совсем ненадолго задержались. У нас взорвалась головка цилиндра.

— Господи помилуй! Кого-нибудь ранило?

— Нет, никого. Только негра убило.

— Ну, это вам повезло; а то бывает, что и людей ранит. В позапрошлом году, на рождество, твой дядя Сайлас ехал из Нового Орлеана на «Лалли Рук», а пароход-то был старый, головка цилиндра взорвалась, и человека изуродовало. Кажется, он потом умер. Баптист один. Твой дядя Сайлас знал одну семью в Батон-Руже, так они знакомы с его родными. Да, теперь припоминаю: он действительно умер. Началось омертвение, и пришлось отнять ногу. Только это не помогло. Да, верно, это было омертвение — оно самое. Он весь посинел и умер — в надежде на воскресение в раю. Говорят, на него смотреть было страшно... А твой дядя каждый день ездил в город встречать тебя. И сегодня опять поехал, да еще и часу не прошло; с минуты на минуту должен вернуться. Ты бы должен был встретить его по дороге... Нет, не встретил? Такой пожилой, с...

— Нет, я никого не видал, тетя Салли. Пароход пришел рано, как раз на рассвете; я и оставил вещи на пристани, а сам пошел поглядеть город и дальше немножко прогулялся, чтобы убить время и прийти к вам не очень рано, так что я не по дороге шел.

— А кому же ты отдал вещи?

— Никому.

— Что ты, деточка, ведь их украдут!

— Нет, я их хорошо спрятал, оттуда не украдут,— говорю я.

— Как же это ты позавтракал на пароходе так рано?

Дело тонкое, как бы, думаю, тут не вля́паться, а сам говорю:

— Капитан увидел меня на палубе и сказал, что мне надо поесть до того, как я сойду на берег; повел меня в салон, усадил за свой стол и накормил досыта.

Мне стало до того не по себе, что я даже слушать ее не мог как следует. Я все время держал в уме ребятишек: думаю, как бы это отвести их в сторонку и выведать половчей, кто же я такой? Но не было никакой возможности: миссис Фелпс все тараторила без умолку. Вдруг у меня даже мурашки по спине забегали, потому что она сказала:

— Но что же это я все болтаю, а ты мне еще ни словечка не сказал про сестру и про всех остальных. Теперь я помолчу, а ты рассказывай. Расскажи про них про всех, как они пожива-

ют, что поделывают и что велели мне передать... Ну и вообще все, что только припомнишь.

Ну, вижу, попался я — да еще как попался-то! До сих пор бог как-то помогал мне, это верно, зато теперь я прочно уселся на мель. Вижу — и пробовать нечего вывернуться, прямо хоть выходи из игры. Думаю: пожалуй, тут опять придется рискнуть — выложить всю правду. Я было раскрыл рот, но она вдруг схватила меня, пихнула за спинку кровати и говорит:

— Вот он едет! Нагни голову пониже... вот так... теперь хорошо. Сиди и не пикни, что ты тут. Я над ним подшучу... Дети, и вы тоже молчите.

Вижу — попал я в переплет. Но беспокоиться все равно не стоило: делать было нечего, только сидеть смирно да дожидаться, пока грянет гром.

Я только мельком увидел старика, когда он вошел в комнату, а потом из-за кровати его стало не видно. Миссис Фелпс бросилась к нему и спрашивает:

— Приехал он?

— Нет,— отвечает муж.

— Гос-споди помилуй! — говорит она.— Что же такое могло с ним случиться?

— Не могу себе представить,— говорит старик.— По правде сказать, я и сам очень беспокоюсь.

— Ты беспокоишься! — говорит она.— А я так просто с ума схожу! Он, должно быть, приехал, а ты его прозевал по дороге. Так оно и есть, я уж это предчувствую.

— Да что ты, Салли, я не мог его прозевать, сама знаешь.

— О боже, боже, что теперь сестра скажет! Он, наверно, приехал! А ты его, наверно, прозевал. Он...

— Не расстраивай меня, я и так уже расстроен. Не знаю, что и думать. Просто голова пошла кругом, признаться откровенно. Даже перепугался. И надеяться нечего, что он приехал, потому что прозевать его я никак не мог. Салли, это ужасно, просто ужасно: что-нибудь, наверно, случилось с пароходом!

— Ой, Сайлас! Взгляни-ка туда, на дорогу: кажется, кто-то едет?

Он бросился к окну, а миссис Фелпс только того и нужно было. Она живо нагнулась к спинке кровати, подтолкнула меня, и я вылез. Когда старик отвернулся от окна, она уже успела выпрямиться и стояла очень довольная, вся сияя и улыбаясь, а я смирно стоял рядом с ней, весь в поту. Старик воззрился на меня и говорит:

— Это кто же такой?

— А по-твоему, кто это?

— Понятия не имею. Кто это?

— Том Сойер — вот кто!

Ей-богу, я чуть не провалился сквозь землю! Но особенно разбираться было некогда; старик схватил меня за руки и давай пожимать; а его жена в это время так и прыгает вокруг нас, и плачет, и смеется; потом оба они засыпали меня вопросами и про Сида, и про Мери, и вообще про всех родных.

И хоть они очень радовались, но все-таки по сравнению с моей радостью это были сущие пустяки; я точно заново родился — до того был рад узнать, кто я такой. Они ко мне целых два часа приставали, я весь язык себе отболтал, рассказывая, так что он едва ворочался; и рассказал я им про свою семью — то есть про семью Сойеров — столько, что хватило бы и на целый десяток таких семей. А еще я объяснил им, как это вышло, что у нас взорвался цилиндр в устье Уайт-ривер и как мы три дня его чинили. Все это сошло гладко и подействовало отлично, потому что они в этом деле не особенно разбирались и поняли только одно: что на ремонт ушло три дня. Если бы я сказал, что взорвалась головка болта, то и это сошло бы.

Теперь я чувствовал себя довольно прилично, с одной стороны, зато с другой — довольно неважно. Быть Томом Сойером оказалось легко и приятно, и так оно и шло легко и приятно, покуда я не заслышал пыхтенье парохода, который шел с верховьев реки. Тут я и подумал: а вдруг Том Сойер едет на этом

пароходе? А вдруг он сейчас войдет в комнату да и назовет меня по имени, прежде чем я успею ему подмигнуть?

Этого я допустить никак не мог, это вовсе не годилось. Надо, думаю, выйти на дорогу и подстеречь его. Вот я им и сказал, что хочу съездить в город за своими вещами. Старик тоже собрался было со мной, но я сказал, что не хотелось бы его беспокоить, а лошадью я сумею править и сам.

Глава тридцать третья

ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ КОРОЛЯ И ГЕРЦОГА

И я отправился в город на тележке; а как проехал половину дороги, вижу — навстречу мне кто-то едет; гляжу — так и есть: Том Сойер! Я, конечно, остановился и подождал, пока он подъедет поближе. Говорю: «Стой!» Тележка остановилась, а Том рот разинул, а закрыть не может, потом глотнул раза два-три, будто в горле у него пересохло, и говорит:

— Я тебе ничего плохого не делал. Сам знаешь. Так для чего же ты явился с того света? Чего тебе от меня надо?

Я говорю:

— Я не с того света, я и не помирал вовсе.

Он услышал мой голос и немножко пришел в себя, но все-таки еще не совсем успокоился и говорит:

— Ты меня не тронь, ведь я же тебя не трогал. А ты правда не привидение, честное индейское?

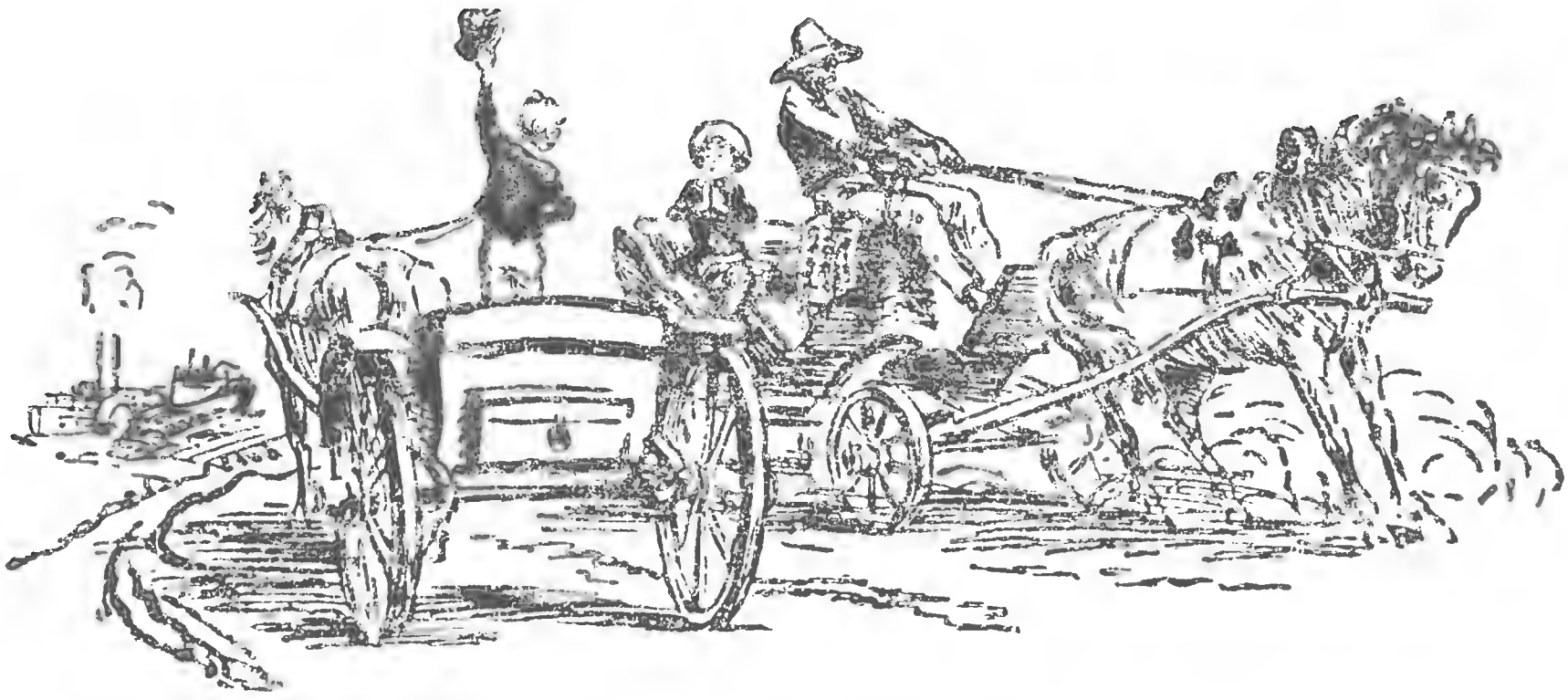
— Честное индейское,— говорю,— нет.

— Ну что ж... я, конечно... если так, то и говорить нечего. Только я все-таки ничего тут не понимаю, ровно ничего! Как же так... да разве тебя не убили?

— Никто и не думал убивать, я сам все это устроил. Поди сюда, потрогай меня, коли не веришь.

Он потрогал меня и успокоился и до того был рад меня видеть, что от радости не знал, что и делать. Ему тут же захотелось узнать про все, с начала до конца, потому что это было настоящее приключение, да еще загадочное; вот это и задело его за живое. Но я сказал, что пока нам не до этого, велел его кучеру подождать немного; мы в моей тележке отъехали подальше, и я рассказал Тому, в какую попал историю, и спросил, как он думает, что нам теперь делать. Он сказал, чтоб я оставил его на минутку в покое, не приставал к нему. Думал он, думал, а потом вдруг и говорит:

— Так, все в порядке. Теперь придумал. Возьми мой сундук к себе в тележку и скажи, что это твой; поворачивай обратно да



тащись помедленнее, чтобы не попасть домой раньше, чем полагается; а я поверну в город и опять проделаю всю дорогу сначала, чтобы приехать через полчасика после тебя; а ты смотри сперва не показывай виду, будто ты меня знаешь.

Я говорю:

— Ладно, только погоди минутку. Есть еще одно дело, и этого никто, кроме меня, не знает: я тут хочу выкрасть одного негра из рабства, а зовут его Джим — это Джим старой мисс Уотсон.

Том говорит:

— Как, да ведь Джим...

Тут он замолчал и призадумался. Я ему говорю:

— Знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что это низость, прямо-таки подлость. Ну так что ж, я подлец, я его и украду, а ты помалкивай, не выдавай меня. Согласен?

Глаза у Тома загорелись, и он сказал:

— Я сам помогу тебе его украсть!

Ну, меня так и подкосило на месте. Такую поразительную штуку я первый раз в жизни слышал, и, должен вам сказать, Том Сойер много потерял в моих глазах — я его стал меньше уважать после этого. Только мне все-таки не верилось: Том Сойер — и вдруг крадет негров!

— Будет врать-то,— говорю.— Шутишь ты, что ли?

— И не думаю шутить.

— Ну ладно,— говорю,— шутишь или нет, а если услышишь какой-нибудь разговор про беглого негра, так смотри помни, что ты про него знать не знаешь, и я тоже про него знать не знаю.

Потом мы взяли сундук, перетащили его ко мне на тележку,

и Том поехал в одну сторону, а я в другую. Только, разумеется, я совсем позабыл, что надо плестись шагом,— и от радости и от всяких мыслей,— и вернулся домой уж очень скоро для такого порядочного конца. Старик вышел на крыльцо и сказал:

— Ну, это удивительно! Кто бы мог подумать, что моя кобылка на это способна! Надо было бы заметить время. И не вспотела ни на волос — ну ни капельки! Удивительно! Да теперь я ее и за сто долларов не отдам, честное слово! А ведь хотел продать за пятнадцать — думал, она дороже не стоит.

Больше он ничего не сказал. Самой невинной души был старичок и такой добрый, что добрей не бывает. Оно и неудивительно: ведь он был не просто фермер, а еще и проповедник; у него была маленькая бревенчатая церковь на задворках плантации (он ее выстроил на свой счет), и церковь и школа вместе, а проповедовал он даром, ничего за это не брал; да, сказать по правде, и не за что было. На Юге много таких фермеров-проповедников, и все они проповедуют даром.

Через полчаса или около того подкатывает к забору Том в тележке; тетя Салли увидела его из окна, потому что забор был всего шагах в ста, и говорит:

— Смотрите, кто-то приехал! Кто бы это мог быть? По-моему, чужой кто-то... Джимми (это одному из ребятишек), сбегай скажи Лизе, чтобы поставили еще одну тарелку на стол.

Все сломя голову бросились к дверям; и то сказать — ведь не каждый год приезжает кто-нибудь чужой, а если уж он приедет, так переполоху наделает больше, чем желтая лихорадка. Том по обрубкам перебрался через забор и пошел к дому; тележка покатила по дороге обратно в город, а мы все столпились в дверях. Том был в новом костюме, слушатели оказались налицо — больше ему ничего не требовалось, для него это было лучше всяких пряников. В таких случаях он любил задавать фасон — на это он был мастер. Не таковский он был человек, чтобы топтаться посреди двора, как овца,— нет, он шел вперед важно и спокойно, как баран. Подойдя к нам, он приподнял шляпу, церемонно и не торопясь, будто это крышка от коробки с бабочками и он боится, как бы они не разлетелись, и сказал:

— Мистер Арчибальд Никольс, если не ошибаюсь?

— Нет, мой мальчик,— отвечает ему старик,— к сожалению, возница обманул вас: до усадьбы Никольса еще мили три. Входите же, входите!

Том обернулся, поглядел через плечо и говорит:

— Слишком поздно, его уже не видать.

— Да, он уже уехал, сын мой, а вы входите и пообедайте с нами; потом мы запряжем лошадь и отвезем вас к Никольсам.

— Мне совестно так затруднять вас, как же это можно! Я пойду пешком, для меня три мили ничего не значат.

— Да мы-то вам не позволим — какое же это будет южное гостеприимство! Входите, и все тут.

— Да, пожалуйста,— говорит тетя Салли,— для нас в этом нет никакого затруднения, ровно никакого! Оставайтесь непременно. Дорога дальняя, и пыль такая — нет, пешком мы вас не пустим! А кроме того, я уже велела поставить еще тарелку на стол, как только увидела, что вы едете; вы уж нас не огорчайте. Входите же и будьте как дома.

Том поблагодарил их в самых изящных выражениях и наконец дал себя уговорить и вошел; уже войдя в дом, он сказал, что он приезжий из Хиксвилла, штат Огайо, а зовут его Вильям Томсон,— и он еще раз поклонился.

Он все болтал да болтал, что только в голову взбредет: и про Хиксвилл и про всех его жителей; а я уже начинал немного беспокоиться; думаю: каким же образом все это поможет мне выйти из положения? И вдруг, не переставая разговаривать, он привстал да как поцелует тетю Салли прямо в губы! А потом опять уселся на свое место и разговаривает по-прежнему; она вскочила со стула, вытерла губы рукой и говорит:

— Ах ты дерзкий щенок!

Он как будто обиделся и говорит:

— Вы меня удивляете, сударыня!

— Я его удивляю, скажите пожалуйста! Да за кого вы меня принимаете? Вот возьму сейчас, да и... Нет, с чего это вам вздумалось меня целовать?

Он будто бы оробел и говорит:

— Ни с чего, так просто. Я не хотел вас обидеть. Я... я думал — может, вам это понравится.

— Нет, это прямо идиот какой-то! — Она схватила веретено, и похоже было, что не удержится и вот-вот стукнет Тома по голове.— С чего же вы вообразили, что мне это понравится?

— И сам не знаю. Мне... мне все говорили, что вам понравится.

— Ах, все говорили! А если говорили, так, значит, такие же полоумные. Я ничего подобного в жизни не слыхивала! Кто же это сказал?

— Да все. Все они так и говорили.

Она едва-едва сдерживалась: глаза у нее так и сверкали и пальцы шевелились — того и гляди, вцепится в Тома.

— Кто это «все»? Живей говори, как их зовут, а не то одним идиотом на свете меньше будет!

Он вскочил, такой с виду расстроенный, мнет в руках шляпу и говорит:

— Простите, я этого не ожидал... Мне так и говорили. Все говорили... Сказали: поцелуй ее — она будет очень рада. Все так и говорили... ну, все решительно! Простите, я больше не буду... чéстное слово, не буду!

— Ах, вы больше не будете, вот как! А то, может, попробуете?

— Сударыня, даю вам честное слово: никогда больше вас целовать не буду, пока сами не попросите.

— Пока сама не попрошу! Нет, я никогда ничего подобного не слыхала! Да хоть бы вы до Мафусаиловых лет дожили[1], не бывать этому никогда! Очень нужны мне такие олухи!

— Знаете,— говорит Том,— это меня очень удивляет. Ничего не понимаю... Мне говорили, что вам это понравится, да я и сам так думал. Но...— Тут он замолчал и обвел всех взглядом, словно надеясь встретить в ком-нибудь дружеское сочувствие; остановился на старике и спрашивает: — Ведь вы, сэр, тоже думали, что она меня с радостью поцелует?

— Да нет, почему же... нет, я этого не думал.

Том опять так же поискал глазами, нашел меня и говорит:

— Том, а ты разве не думал, что тетя Салли обнимет меня и скажет: «Сид Сойер...»

— Боже мой! — Она не дала Тому договорить и бросилась к нему: — Бессовестный ты щенок, ну можно ли так морочить голову! — и хотела уже обнять его, но он отстранил ее и говорит:

— Нет-нет, сначала попросите меня.

Она не стала терять времени и тут же попросила; обняла его и целовала, целовала без конца, а потом подтолкнула к дяде, и он принял в свои объятия то, что осталось. А после того как они сделали маленькую передышку, тетя Салли сказала:

— Ах ты господи, вот уж действительно сюрприз! Мы тебя совсем не ждали. Ждали одного Тома. Сестра даже и не писала мне, что кто-нибудь еще приедет.

— Это потому, что никто из нас и не собирался ехать, кроме Тома,— сказал он,— только я попросил хорошенько, и в самую последнюю минуту она и меня тоже пустила; а мы с Томом, когда ехали на пароходе, подумали, что вот будет сюрприз, если он приедет сюда первый, а я отстану и приеду немного погодя — прикинусь, будто я чужой. Но это мы зря затеяли, тетя Салли! Чужих здесь плохо принимают.

— Да, Сид, таких озорников. Надо было бы надавать тебе по щекам; даже и не припомню, чтобы я когда-нибудь так

---

[1] *До Мафусаиловых лет дожили* — то есть до глубокой старости, как библейский старец Мафусаил.

сердилась. Ну да все равно, что бы вы ни выделывали, я согласна терпеть всякие ваши фокусы, лишь бы вы были тут. Подумайте, разыграли целое представление! Сказать по правде, я прямо остолбенела, когда ты меня чмокнул...

Мы обедали под широким навесом между кухней и домом; того, что стояло на столе, хватило бы на целый десяток семей, и все подавалось горячее, не то что какое-нибудь там жесткое, вчерашнее мясо, которое всю ночь пролежало в сыром погребе, а наутро есть его впору разве какому-нибудь старому людоеду.

Дядя Сайлас довольно долго читал над всей этой едой молитву, да она того и стоила, но аппетита он ни у кого не отбил; а это бывает, когда очень канителятся, я сколько раз видел.

После обеда было много всяких разговоров, и нам с Томом приходилось все время быть настороже, и все без толку, потому что ни про какого беглого негра они ни разу не упомянули, а мы боялись даже и намекнуть. Но вечером, за ужином, один из малышей спросил:

— Пап, а можно мне пойти с Томом и с Сидом на представление?

— Нет, нельзя,— говорит старик.— Я думаю, никакого представления не будет; да и все равно — вам туда нельзя. Этот беглый негр рассказал нам с Бертоном, какое это возмутительное представление, и Бертон собирается предупредить горожан: теперь этих наглых проходимцев, должно быть, уже выгнали из города.

Так вот оно как! Но я все-таки не виноват. Мы с Томом должны были спать в одной комнате и на одной кровати; с дороги мы устали и потому, пожелав всем спокойной ночи, ушли спать сейчас же после ужина; а там вылезли в окно, спустились по громоотводу и побежали в город. Мне не верилось, чтобы кто-нибудь предупредил короля с герцогом; если я опоздаю и не успею намекнуть им, что готовится, так они, наверно, попадут впросак.

По дороге Том рассказал мне, как все думали, что я убит, и как мой родитель опять пропал и до сих пор не вернулся, и какой поднялся переполох, когда Джим сбежал; а я рассказал Тому про наших жуликов, и про «Жирафа», и про наше путешествие на плоту, сколько успел; а когда мы вошли в город и дошли до середины — а было не рано, уже около половины девятого,— глядим, навстречу валит толпа с факелами, все беснуются, вопят и орут, колотят в сковородки и дудят в рожки; мы отскочили в сторону, чтобы пропустить их; смотрю, они тащат короля с герцогом верхом на шесте,— то есть я догадался, что это король с герцогом, хотя они были все в смоле и в перьях и даже на людей не похожи, просто два этаких громадных

комка. Мне неприятно было на это глядеть и даже стало жалко несчастных жуликов; я подумал: никогда больше их злом поминать не буду. Прямо смотреть страшно было. Люди бывают ужасно жестоки друг к другу.

Видим, мы опоздали — ничем уже не поможешь. Стали расспрашивать кое-кого из отставших, и они нам рассказали, что все в городе пошли на представление, будто знать ничего не знают, и сидели помалкивали, пока бедняга король не начал прыгать по сцене; тут кто-то подал знак — публика повскакала с мест и схватила их.

Мы поплелись домой, и на душе у меня было вовсе не так легко, как раньше; наоборот, я очень присмирел, как будто был виноват в чем-то, хотя ничего плохого не сделал. Но это всегда так бывает: неважно, виноват ты или нет,— совесть с этим не считается и все равно тебя донимает. Будь у меня собака такая назойливая, как совесть, я бы ее отравил. Места она занимает больше, чем все прочие внутренности, а толку от нее никакого. И Том Сойер то же говорит.

Глава тридцать четвертая

МЫ ОБОДРЯЕМ ДЖИМА

Мы перестали разговаривать и принялись думать. Вдруг Том и говорит:

— Слушай, Гек, какие же мы дураки, что не догадались раньше! Ведь я знаю, где Джим сидит.

— Да что ты! Где?

— В том сарайчике, рядом с кучей золы. Сообрази-ка. Когда мы обедали, ты разве не видел, как один негр понес туда миски с едой?

— Видел.

— А ты как думал, для кого это?

— Для собаки.

— И я тоже так думал. А это вовсе не для собаки.

— Почему?

— Потому что там был арбуз.

— Верно, был, я заметил. Как же это я не сообразил, что собаки арбуза не едят? Это уж совсем никуда не годится! Вот как бывает: и глядишь, да ничего не видишь.

— Так вот: негр отпер висячий замок, когда вошел туда, и опять его запер, когда вышел. А когда мы вставали из-за стола, он принес дяде ключ — тот самый ключ, наверно. Арбуз — это значит человек; ключ — значит, кто-то там заперт; а вряд

ли двое сидят под замком на такой маленькой плантации, где народ такой добрый и хороший. Это Джим и сидит. Ладно, я очень рад, что мы до этого сами додумались, как полагается сыщикам; за всякий другой способ я гроша ломаного не дам. Теперь ты пошевели мозгами, придумай план, как выкрасть Джима, и я тоже придумаю свой план, а там мы выберем, который больше понравится.

Ну и голова была у Тома Сойера, хоть бы и взрослому! По мне, лучше иметь такую голову, чем быть герцогом, или помощником капитана, или клоуном в цирке, или уж не знаю кем. Я придумал кое-что, так только, ради очистки совести: я наперед знал, кто придумает настоящий план. Немного погодя Том сказал:

— Готово у тебя?

— Да,— говорю.

— Ну ладно, выкладывай.

— Вот какой мой план,— говорю.— Джим там сидит или кто другой — узнать нетрудно. Завтра ночью мы достанем мой челнок и переправим плот с острова. А там, в первую же темную ночь, вытащим ключ у старика из кармана, когда он ляжет спать, и уплывем вниз по реке вместе с Джимом; днем будем прятаться, а ночью — плыть, как мы с Джимом раньше делали. Годится такой план?

— Годится ли? Почему ж не годится, очень даже годится! Но только уж очень просто, ничего в нем особенного нет. Что это за план, если с ним никакой возни не требуется? Грудной младенец и тот справится. Не будет ни шума, ни разговоров, все равно что после кражи на мыловаренном заводе.

Я с ним не спорил, потому что ничего другого и не ждал, зато наперед знал, что его план простотой грешить не будет.

Так и вышло. Он рассказал мне, в чем состоит его план, и я сразу понял, что он раз в пятнадцать лучше моего: Джима-то мы все равно освободим, зато шику будет куда больше, да еще, может, нас и пристрелят, по его-то плану. Мне очень понравилось. Давай, говорю, так и будем действовать. Какой у него был план, сейчас говорить не стоит: я наперед знал, что будут еще всякие перемены. Я знал, что Том еще двадцать раз будет менять его и так и эдак, когда приступим к делу, и вставлять при каждом удобном случае всякие новые штуки. Так оно и вышло.

Одно было верно: Том Сойер не шутя взялся за дело и собирается освобождать негра из рабства. Вот этого я никак не мог понять. Как же так? Мальчик из хорошей семьи, воспитанный, как будто дорожит своей репутацией, и родные у него тоже вряд ли захотят срамиться; малый с головой, не тупица, учил-

ся все-таки, не безграмотный какой-нибудь, и добрый, не назло же он это делает; и вот нате-ка — забыл и про гордость, и про самолюбие, лезет в это дело, унижается, срамит себя и родных на всю Америку! Никак я этого не мог взять в толк. Просто стыдно. И я знал, что надо взять да и сказать все ему напрямик, а то какой же я ему друг! Пускай сейчас же все это бросит, пока еще не поздно. Я так и хотел ему сказать, начал было, а он оборвал меня и говорит:

— Ты что же, думаешь, я не знаю, чего хочу? Когда это со мной бывало?

— Никогда.

— Разве я не сказал, что помогу тебе украсть этого негра?

— Сказал.

— Ну и ладно.

Больше и он ничего не говорил, и я ничего не говорил. Да и смысла никакого не было разговаривать: уж если он что решил, так поставит на своем. Я только не мог понять, какая ему охота соваться в это дело, но не стал с ним спорить, даже и не поминал про это больше. Сам лезет на рожон, так что ж я тут могу поделать!

Когда мы вернулись, во всем доме было темно и тихо, и мы прошли в конец двора — обследовать хибарку рядом с кучей золы. Мы обошли весь двор кругом, чтобы посмотреть, как будут вести себя собаки. Они нас узнали и лаяли не больше, чем обыкновенно лают деревенские собаки, заслышав ночью прохожего. Добравшись до хибарки, мы осмотрели ее спереди и с боков; и с того боку, которого я еще не видел, на северной стороне, нашли квадратное окошечко, довольно высоко от земли, забитое одной крепкой доской. Я сказал:

— Вот и хорошо! Дыра довольно большая, Джим в нее пролезет, надо только оторвать доску.

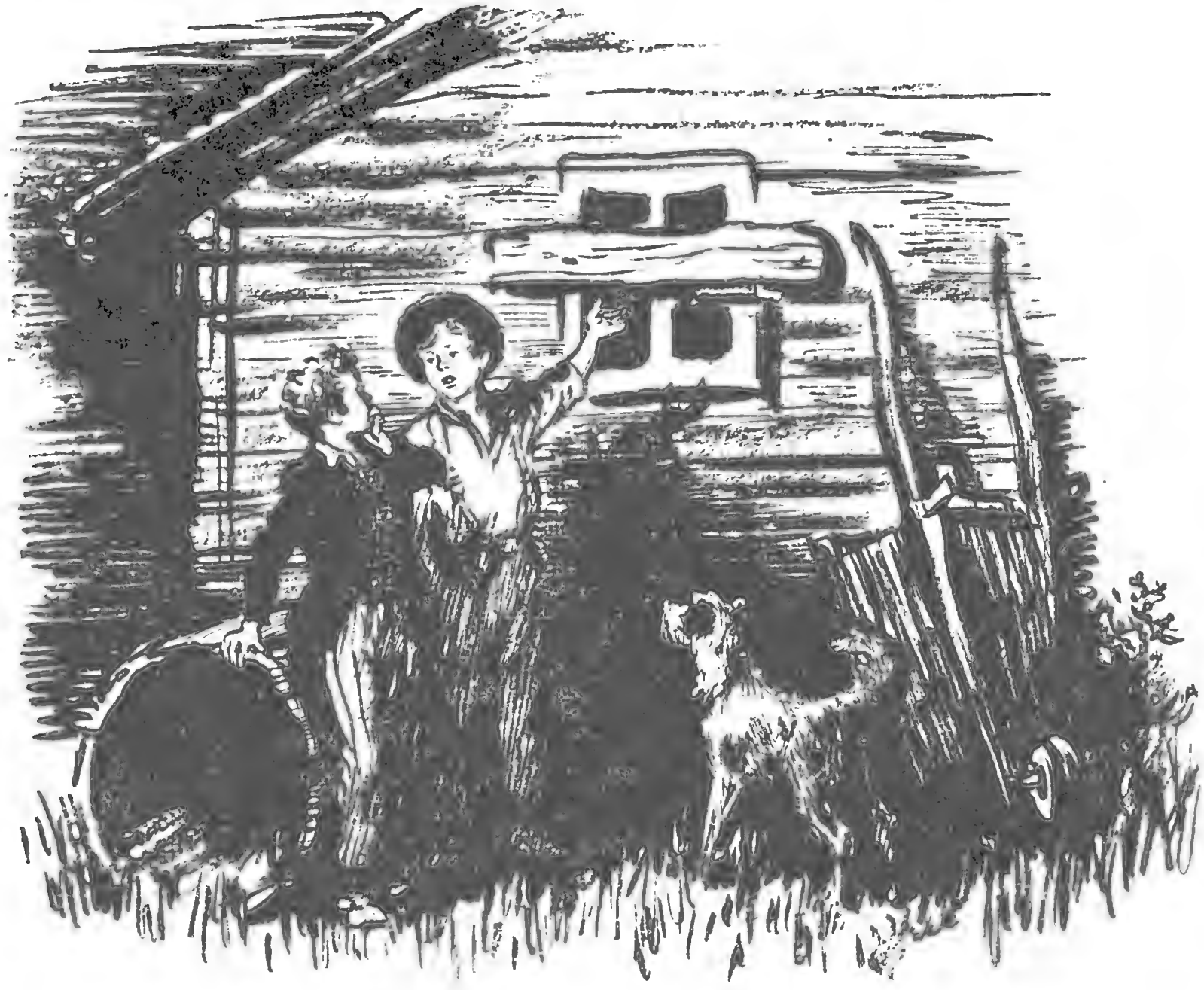
Том говорит:

— Ну, это так же просто, как «раз-два — кружева, три-четыре — прицепили», и так же легко, как не учить уроков. По-моему, мы могли бы придумать способ хоть немножко посложней, Гек Финн.

— Ну ладно,— говорю.— А если выпилить кусок стены, как я сделал в тот раз, когда меня убили?

— Это еще на что-нибудь похоже,— говорит он,— это и таинственно, и возни много, и вообще хорошо, только все-таки можно придумать еще что-нибудь, чтобы подольше повозиться. Спешить нам некуда, так давай еще посмотрим.

Между сарайчиком и забором, с задней стороны, стояла пристройка, в вышину доходившая до крыши и сбитая из досок. Она была такой же длины, как и сарайчик, только у́же — футов



шесть в ширину. Дверь была с южной стороны и заперта на висячий замок. Том пошел к котлу для варки мыла, поискал там и принес железную штуку, которой поднимают крышку котла; он взял ее и вырвал один пробой у двери. Цепь упала, мы отворили дверь, вошли, зажгли спичку и видим, что это только пристройка к сарайчику, а сообщения между ними нет; и пола в сарае тоже нет, и вообще ничего в нем нет, кроме ржавых, никому не нужных мотыг и лопат да сломанного плуга. Спичка погасла, и мы ушли, воткнув пробой на старое место, и с виду дверь была опять как следует заперта.

Том обрадовался и говорит:

— Ну, теперь все хорошо! Мы для него устроим подкоп. Это у нас займет целую неделю.

После этого мы вернулись домой; я вошел в дом с черного хода — они там дверей не запирали, надо было только потянуть за кожаный ремешок, чтобы поднять щеколду,— но для Тома Сойера это было неподходяще: таинственности мало, ему непременно надо было влезать по громоотводу.

Раза три он долезал до половины и каждый раз срывался и напоследок чуть не разбил себе голову. Он уже думал, что придется это дело бросить, а потом отдохнул, решил попробовать еще раз наудачу — и все-таки влез.

Утром мы поднялись чуть свет и пошли к негритянским хижинам, чтобы приучить к себе собак и познакомиться поближе с тем негром, который кормил Джима,— если это действительно Джиму носили еду. Негры как раз позавтракали и собирались в поле, а Джимов негр накладывал в миску хлеба, мяса и всякой еды; и в то время как остальные уходили, из большого дома ему прислали ключ.

У этого негра было добродушное, глуповатое лицо, а волосы он перевязывал нитками в пучки, для того чтобы отвадить ведьм. Он рассказывал, что ведьмы ужасно донимают его по ночам: ему мерещатся всякие чудеса, слышатся всякие слова и звуки, и никогда в жизни с ним еще не бывало, чтобы к нему так надолго привязалась эта нечисть.

Он разговорился про свои несчастья и до того увлекся, что совсем позабыл про дело. Том и спрашивает:

— А ты кому несешь еду? Собак кормить собираешься?

Негр заулыбался так, что улыбка расплылась у него по всему лицу, вроде как бывает, когда запустишь кирпичом в лужу, и говорит:

— Да, мистер Сид, собаку. И занятная же собачка! Не хотите ли поглядеть?

— Хочу.

Я толкнул Тома и шепчу ему:

— Что ж ты, так и пойдешь к нему днем? Ведь по плану не полагается.

— Тогда не полагалось, а теперь полагается.

Мы пошли — провалиться бы ему! — только мне это очень не понравилось. Входим туда и почти что ничего не видим — такая темнота; зато Джим и вправду там сидел; он-то нас разглядел и обрадовался:

— Да ведь это Гек! Господи помилуй, никак, и мистер Том здесь?

Я наперед знал, что так будет, только этого и ждал. Как теперь быть, я понятия не имел, а если б и знал, так ничего не мог бы поделать, потому что этот самый негр вмешался тут и говорит:

— Боже ты мой, да, никак, он вас знает?

Теперь мы пригляделись и всё хорошо видели. Том посмотрел на негра пристально и как будто с удивлением и спрашивает:

— Кто нас знает?

— Да вот этот самый беглый негр.

— Не думаю, чтобы знал; а с чего это тебе пришло в голову?

— С чего пришло в голову? Да ведь он сию минуту крикнул, что он вас знает.

Том говорит как будто с недоумением:

— Ну, это что-то очень странно. Кто кричал? Когда кричал? Что же он кричал? — Потом повертывается ко мне и преспокойно спрашивает: — Ты слыхал что-нибудь?

Разумеется, на это можно было ответить только одно:

— Нет, я ровно ничего не слыхал, никто ничего не говорил.

Тогда Том обращается к Джиму, глядит на него так, будто первый раз в жизни его видит, и спрашивает:

— Ты что-нибудь говорил?

— Нет, сэр,— отвечает Джим.— Я ничего не говорил, сэр.

— Ни единого слова?

— Нет, сэр, ни слова не говорил.

— А ты нас раньше видел?

— Нет, сэр, сколько припомню, не видал.

Том повертывается к негру — а тот даже оторопел и глаза вытаращил — и говорит строгим голосом:

— Что это с тобой творится такое? С чего тебе вздумалось говорить, будто он кричал?

— Ох, сэр, это всё проклятые ведьмы, прямо хоть помирай! Это всё они, сэр, они меня в гроб уложат, всегда напугают до смерти! Не говорите про это никому, сэр, а то старый мистер Сайлас будет ругаться; он говорит, что никаких ведьм нет. Жалко, ей-богу, что его тут не было,— что́ бы он сейчас сказал! Небось на этот раз не вывернулся бы! Да что уж, вот так и всегда бывает: кто повадился пить, тому не протрезвиться; сами ничего не видят и толком разобрать не могут, а ты увидишь да скажешь им, так они еще и не верят.

Том дал ему десять центов и пообещал, что мы никому не скажем; велел ему купить еще ниток, чтобы перевязывать себе волосы, а потом поглядел на Джима и говорит:

— Интересно, повесит дядя Сайлас этого негра или нет? Если бы я поймал такого неблагодарного негра, который посмел убежать, так уж я бы его не отдал, я бы его повесил!

А пока негр подходил к двери, разглядывал монету и пробовал на зуб, не фальшивая ли, Том шепнул Джиму:

— И виду не подавай, что ты нас знаешь. А если ночью услышишь, что копают, так это мы с Геком: мы хотим тебя освободить.

Джим только-только успел схватить нас за руки и пожать их, а тут и негр вернулся. Мы сказали, что и еще придем, если он нас возьмет с собой; а негр сказал: отчего же не взять, особенно в темные вечера,— ведьмы больше в темноте к нему привязываются, так это даже и лучше, чтобы побольше было народу.

Глава тридцать пятая

ТАЙНЫЕ ЗАМЫСЛЫ

До завтрака оставалось, должно быть, не меньше часа, и мы пошли в лес. Том сказал, что копать надо при свете, а от фонаря свет уж очень яркий, как бы с ним не попасться; лучше набрать побольше гнилушек, которые светятся; положишь их где-нибудь в темном месте — они и будут светиться понемножку.

Мы притащили целую охапку сухих гнилушек, спрятали их в бурьяне, а сами сели отдохнуть. Том недовольно проворчал:

— А, ей-богу, все это до того легко и просто, что даже противно делается! Потому и трудно придумать какой-нибудь план потруднее. Даже сторожа нет, некого поить дурманом — а ведь сторож обязательно должен быть! Даже собаки нет, чтобы дать ей сонного зелья. Цепь у Джима длиной в десять футов, только на одной ноге и надета на ножку кровати; всего и дела, что приподнять эту ножку да снять цепь. А дядя Сайлас всякому верит: отдал ключ какому-то безмозглому негру, и никто за этим негром не следит. Джим и раньше мог бы вылезть в окошко, только с десятифутовой цепью далеко не уйдешь. Просто досадно, Гек, ведь глупее ничего быть не может! Самому приходится выдумывать все трудности. Что ж, ничего не поделаешь! Придется как-нибудь изворачиваться с тем, что есть под руками. Во всяком случае, один плюс тут есть: для нас больше чести выручать его из разных затруднений и опасностей, когда никто этих опасностей для нас не приготовил и мы сами должны все придумывать из головы, хоть это вовсе не наша обязанность. Взять хотя бы фонарь. Если говорить прямо, приходится делать вид, будто с фонарем опасно. Да тут хоть целую процессию с факелами устраивай, никто и не почешется, я думаю. Кстати, вот что мне пришло в голову: первым долгом надо разыскать что-нибудь такое, из чего можно сделать пилу.

— А для чего нам пила?

— Как — для чего нам пила? Ведь нужно же отпилить ножку кровати, чтобы снять с нее цепь!

— Да ведь ты сам сказал, что цепь и так снимается, надо только приподнять ножку.

— Вот это на тебя похоже, Гек Финн! Непременно выберешь самый что ни на есть детский способ. Что же ты, неужели и книг никаких не читал? Ни о бароне Трэнке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини? А Генрих Наваррский?[1] Да мало ли еще

[1] Том Сойер упоминает здесь людей, которые действительно бежали из тюрьмы. Это авантюристы XVIII века — прусский барон Трэнк и итальянец Джакомо Казанова; затем знаменитый итальянский скульптор XVI века Бенвенуто Челлини, наконец, Генрих Наваррский, ставший позднее королем Франции под именем Генриха IV.

знаменитостей! Где же это слыхано, чтобы заключенных освобождали таким доморощенным способом? Нет, все авторитеты говорят в один голос, что надо ножку перепилить надвое и так оставить, а опилки проглотить, чтобы никто не заметил, а ножку замазать грязью и салом, чтобы даже самый зоркий тюремщик не мог разглядеть, где пилили, и думал, что ножка совсем целая. Потом, в ту ночь, когда ты совсем приготовишься к побегу, пнешь ее ногой — она и отлетит; снимешь цепь — вот и все. Больше и делать почти нечего: закинешь веревочную лестницу на зубчатую стену, соскользнешь в ров, сломаешь себе ногу, потому что лестница коротка — целых девятнадцати футов не хватает,— а там уж тебя ждут лошади, и верные вассалы хватают тебя, кладут поперек седла и везут в твой родной Лангедок, или в Наварру, или еще куда-нибудь. Вот это я понимаю, Гек! Хорошо, если б около этой хибарки был ров! Если будет время, так в ночь побега мы его выкопаем.

Я говорю:

— А на что нам ров, когда мы Джима выкрадем через подкоп?

А он даже и не слушает. Забыл и про меня и про все на свете, схватился рукой за подбородок и думает; потом вздохнул, покачал головой, опять вздохнул и говорит:

— Нет, это ни к чему, никакой надобности нет.

— Это ты про что? — спрашиваю.

— Да отпиливать Джиму ногу.

— Господи помилуй! — говорю.— Ну конечно, какая же в этом надобность? А для чего все-таки тебе вздумалось отпиливать ему ногу?

Многие авторитеты так делали. Они не могли снять цепь — отрубали себе руку и тогда бежали. А ногу было бы еще лучше. Но придется обойтись без этого. Особой необходимости у нас нет, а кроме того, Джим — негр и не поймет, для чего это нужно; ему ведь не растолкуешь, что в Европе так принято... Нет, придется это бросить! Ну, а вот веревочную лестницу — это можно: мы разорвем свои простыни и в два счета сделаем Джиму веревочную лестницу. А переслать ее можно будет в пироге — уж это всегда так делают. Я едал пироги и похуже.

— Что ты это плетешь, Том Сойер? — говорю я.— Не нужно Джиму никаких веревочных лестниц.

— Нет, нужно. Ты лучше скажи, что сам плетешь неизвестно что! И ведь ничего в этом деле не смыслишь! Веревочная лестница ему нужна, у всех она бывает.

— А что он с ней будет делать?

— Что делать будет? Спрячет ее в тюфяк — не сумеет, что ли? Все так делают — значит, и ему надо. Гек, ты, кажется, ни-

чего не хочешь делать по правилам — каждый раз придумаешь что-нибудь новенькое. Если даже эта лестница ему не пригодится, ведь она же останется у него в тюфяке после побега? Ведь это улика! Ты думаешь, улики не понадобятся? Еще как! А ты хочешь, чтобы совсем улик не осталось? Вот это было бы хорошенькое дельце, нечего сказать! Я такого никогда в жизни не слыхал.

— Ну,— говорю,— если уж так полагается по правилам, чтоб у него была лестница,— ладно, пускай будет, я вовсе не хочу идти против правил. Одно только, Том Сойер: если мы порвем простыни, чтобы сделать Джиму лестницу, у нас будут неприятности с тетей Салли, это уж как пить дать. А я так думаю: лестница из ореховой коры ничего не стоит, добро на нее изводить не нужно, а в пирог ее можно запечь не хуже, чем тряпичную, и в тюфяк спрятать — тоже. А Джим не очень в этих делах разбирается, ему все равно, какую ни...

— Ну и чушь ты несешь, Гек Финн! Если бы я был таким невеждой, как ты, я бы помалкивал! Где это слыхано, чтобы государственный преступник бежал по лестнице из ореховой коры? Да это курам на смех!

— Ну ладно, Том, делай как знаешь; только все-таки, если хочешь послушать моего совета, лучше позаимствовать простыню с веревки.

Он сказал, что это можно. Тут у него явилась еще одна мысль, и он сказал:

— Позаимствуй кстати и рубашку.

— А для чего нам рубашка, Том?

— Для Джима — вести дневник.

— Какой еще дневник? Джим и писать-то не умеет!

— Ну и пусть не умеет, но ведь он сможет ставить какие-нибудь значки, если мы сделаем ему перо из оловянной ложки или из старого обруча с бочки?

— Да что ты, Том! Можно выдернуть перо у гуся — и лучше и гораздо скорей.

— У узников гуси по темницам не бегают, чтобы можно было перья дергать, эх ты, голова! Они всегда делают перья из чего-нибудь самого твердого и неподходящего, вроде обломка медного подсвечника, да и мало ли что подвернется под руку! И на это у них уходит много времени — недели, а то и месяцы, потому что перо они оттачивают об стенку. Гусиным пером они и писать ни за что не станут, хоть бы оно и оказалось под рукой. Это не принято.

— Ну ладно, а из чего же мы ему сделаем чернила?

— Многие делают из ржавчины со слезами; только это кто попроще и женщины, а знаменистости пишут своей кровью.

И Джим тоже может; а когда ему понадобится известить весь мир, что он заключен, послать самое простое таинственное сообщение, так он может нацарапать его вилкой на жестяной тарелке и выбросить в окно. Железная Маска[1] всегда так делал, и это тоже очень хороший способ.

— У Джима нет жестяных тарелок. Его кормят из миски.

— Это ничего, мы ему достанем.

— Все равно никто не разберет.

— Это вовсе не важно, Гек Финн. Его дело — написать и выбросить тарелку за окно. А читать ее тебе незачем. Все равно половину разобрать нельзя, что они там пишут на тарелках или еще на чем.

— Тогда какой же смысл тарелки портить?

— Вот еще! Ведь это же не его тарелки!

— Все равно чьи-нибудь, ведь верно?

— Ну так что ж! Узнику-то какое дело, чьи они...

Он не договорил — мы услышали рожок, который звал к завтраку, и пошли домой.

За это утро мне удалось позаимствовать с веревки простыню и белую рубашку; я разыскал еще старый мешок и положил их туда, а потом мы взяли гнилушки и тоже туда сунули. Я называю это «заимствовать», потому что мой папаша всегда так говорил, но Том сказал, что это не заем, а кража. Он сказал, что мы помогаем узнику, а ему все равно, как добыта вещь, лишь бы добыть, и никто их за это не осудит. Вовсе не преступление, если узник украдет вещь, которая нужна ему для побега, это его право; и для узника мы можем красть в этом доме все, что нам только понадобится для его освобождения из тюрьмы. Он сказал, что если бы мы не были узниками, тогда, конечно, другое дело, и разве только уж самый последний негодяй, дрянь какая-нибудь, станет красть, если он не узник. Так что мы решили красть все, что только под руку подвернется.

А как-то на днях, уже после этого, он завел целый разговор из-за пустяков — из-за того, что я стащил арбуз у негров с огорода и съел его. Он меня заставил пойти и отдать неграм десять центов, не объясняя, за что. Сказал, что красть можно только то, что понадобится. «Что ж,— говорю,— арбуз мне понадобился». А он говорит, что арбуз мне понадобился вовсе не для того, чтобы бежать из тюрьмы,— вот в чем разница. Говорит: «Вот если бы ты спрятал в нем нож для передачи Джиму, чтобы он мог убить тюремщика, тогда другое дело — все было бы в порядке». Ну, я не стал с ним спорить, хотя не вижу, какой мне

---

[1] Железная Маска — узник, содержавшийся в XVII веке в парижском тюремном замке — Бастилии. Лицо его было постоянно скрыто железной маской.

интерес стараться ради узника, если надо сидеть да раздумывать над всякими тонкостями каждый раз, как подвернется случай стянуть арбуз.

Так вот, я уже говорил, что в это утро мы подождали, пока все разойдутся по своим делам и во дворе никого не будет видно, и только после этого Том отнес мешок в пристройку, а я стоял во дворе — сторожил. Он скоро вышел оттуда, и мы с ним пошли и сели на бревна — поговорить. Он сказал:

— Теперь все готово, кроме инструмента; ну, а это легко достать.

— Кроме инструмента?

— Ну да.

— Это для чего же инструмент?

— Как — для чего? Чтобы копать. Ведь не зубами же мы землю выгрызать будем?

— А эти старые мотыги и лопаты, что в пристройке, не годятся разве? — спрашиваю я.

Он оборачивается ко мне, глядит с таким сожалением, что просто плакать хочется, и говорит:

— Гек Финн, где это ты слышал, чтобы у узников были мотыги и лопаты и всякие новейшие приспособления, для того чтобы вести подкоп? Я тебя спрашиваю, если ты хоть что-нибудь соображаешь: как же он прославится? Уж тогда чего проще — дать ему ключ, и дело с концом. Мотыги, лопаты! Еще чего! Да их и королям не дают!

— Ну ладно,— говорю,— если нам мотыги и лопаты не подходят, тогда что же нам нужно?

— Кухонные ножи.

— Это чтобы вести подкоп под хибарку?

— Ну да!

— Да ну тебя, Том, это просто глупо!

— Все равно, глупо или не глупо, а так полагается — самый правильный способ. И никакого другого способа нет; сколько я ни читал в книжках про это, мне не приходилось слышать, чтобы делали по-другому. Всегда копают ножом, да не землю, заметь себе,— всегда у них там твердая скала. И сколько времени на это уходит, неделя за неделей... а они все копают, копают! Да вот, например, один узник в замке Диф, в Марсельской гавани, рылся-рылся и вышел на волю таким способом! И как ты думаешь, сколько времени он копал?

— Я почем знаю!

— Нет, ты отгадай!

— Ну, не знаю... Месяца полтора?

— Тридцать семь лет! И вышел из-под земли в Китае. Вот как бывает! Жалко, что у нас тут тюрьма стоит не на скале!

— У Джима в Китае никого и знакомых нет.

— А при чем тут знакомые? У того узника тоже не было знакомых. Всегда ты собьешься в сторону! Держался бы ближе к делу!

— Ну ладно, мне все равно, где бы он ни вылез, лишь бы вылез; и Джиму тоже, я думаю, все равно. Только вот что: не такой Джим молодой, чтобы его ножом откапывать. Он помрет до тех пор.

— Нет, не помрет. Неужели ты думаешь, что нам понадобится тридцать семь лет! Ведь копать-то мы будем мягкую землю!

— А сколько понадобится, Том?

— Ну, нам ведь нельзя копать столько, сколько полагается, а то как бы дяде Сайласу не написали оттуда, из-под Нового Орлеана. Как бы он не узнал, что Джим вовсе не оттуда. Тогда он тоже что-нибудь напишет — может, объявление про Джима, почем я знаю... Значит, мы не можем рисковать — возиться с подкопом столько, сколько полагается. По правилам надо бы, я думаю, копать два года; но нам этого никак нельзя. Неизвестно, что дальше будет, а потому я советую сделать так: копать по-настоящему, как можно скорей, а потом взять да и вообразить, будто мы копали тридцать семь лет. Тогда можно будет в два счета его выкрасть и увезти, как только поднимется тревога. Да, я думаю, что это будет самое лучшее.

— Ну, тут еще есть какой-то смысл,— говорю.— Вообразить нам ничего не стоит, и хлопот с этим никаких; если надо, так я могу вообразить, что мы полтораста лет копали. Это мне нетрудно, стоит только привыкнуть... Так я сейчас сбегаю, достану где-нибудь два ножа.

— Доставай три,— говорит он,— из одного мы сделаем пилу.

— Том, если такое предложение не против правил и не против религии,— говорю я,— так вон там, под навесом позади коптильни, есть ржавая пила.

Он посмотрел на меня вроде как бы с досадой и с огорчением и сказал:

— Тебя ничему путному не научишь, Гек, нечего и стараться! Беги доставай ножи — три штуки!

И я побежал.

Глава тридцать шестая

ПОПЫТКИ ПОМОЧЬ ДЖИМУ

В ту ночь, как только все уснули, мы спустились во двор по громоотводу, затворились в сарайчике, высыпали на пол кучу гнилушек и принялись за работу. Мы расчистили себе место,

футов пять или шесть, вдоль нижнего бревна. Том сказал, что это будет как раз за кроватью Джима, под нее мы и подведем подкоп, а когда кончим работу, никто даже и не узнает, что там есть дыра, потому что одеяло у Джима висит чуть не до самой земли, и только если его приподнимешь и заглянешь под кровать, тогда будет видно. Мы копали и копали ножами чуть не до полуночи, устали как собаки и руки себе натерли до волдырей, а толку было мало. Наконец я говорю:

— Знаешь, Том Сойер, это не на тридцать семь лет работа, а, пожалуй, и на все тридцать восемь.

Он ничего не ответил, только вздохнул, а после того скоро бросил копать. Вижу, задумался и думал довольно долго; потом говорит:

— Не стоит и стараться, Гек: ничего не выйдет. Если бы мы были узниками, ну тогда еще так, потому что времени у них сколько угодно, торопиться некуда; да и копать пришлось бы пять минут в день, пока сменяют часовых, так что и волдырей на руках не было бы; вот мы и копали бы себе год за годом, и все было бы правильно — так, как полагается. А теперь нам дурака валять некогда, надо поскорей, времени лишнего у нас нет. Если мы еще одну ночь так прокопаем, придется на неделю бросать работу, пока волдыри не пройдут,— раньше мы и ножа в руки взять не сможем.

— Так что же нам делать, Том?

— Я тебе скажу — что. Это и неправильно, и нехорошо, и против нравственности, и мне бы не хотелось, чтобы про это узнали, но только другого способа все равно нет: будем копать мотыгами, а вообразим, будто это ножи.

— Вот это дело! — говорю.— Ну, Том Сойер, голова у тебя и раньше здорово работала, а теперь еще того лучше. Мотыги — это вещь, а что нехорошо и против нравственности, так мне на это ровным счетом наплевать. Когда мне вздумается украсть негра, или арбуз, или учебник из воскресной школы, я разбираться не стану, как там по правилам полагается делать, лишь бы сделано было. Что мне нужно — так это негр, или арбуз, или учебник; если мотыгой ловчее, так я мотыгой и откопаю этого негра, или там арбуз, или учебник воскресной школы, а твои авторитеты пускай думают что хотят, я за них и дохлой крысы не дам.

— Ну что ж,— говорит,— в таком деле можно и вообразить что-нибудь, и мотыгу пустить в ход; а если бы не это, я и сам был бы против, не позволил бы себе нарушать правила: что полагается — то полагается, а что нет — то нет; и если кто знает, как надо, тому нельзя действовать без разбору, как попало. Это тебе можно откапывать Джима мотыгой, просто так,

ничего не воображая, потому что ты ровно ничего не смыслишь; а мне нельзя, потому что я знаю, как полагается. Дай сюда нож!

У него был ножик, но я все-таки подал ему свой. Он швырнул его на землю и говорит:

— Дай сюда нож!

Я сначала не знал, что делать, потом сообразил. Порылся в куче старья, разыскал кирку и подаю ему, а он схватил и давай копать и ни слова мне не говорит.

Он и всегда был такой разборчивый. Все у него по правилам. Я взял тогда лопату, и мы с ним давай орудовать то киркой, то лопатой, так что только комья летели. Копали мы, должно быть, полчаса — больше не могли, очень устали, и то получилась порядочная дыра. Я поднялся к себе наверх, подошел к окну и вижу: Том старается вовсю — хочет влезть по громоотводу, только ничего у него не получается с волдырями на руках. В конце концов он сказал:

— Ничего не выходит, никак не могу влезть. Как по-твоему, что мне делать? Может, придумаешь что-нибудь?

— Да,— говорю,— только это, пожалуй, против правил. Поднимись по лестнице, а вообрази, будто это громоотвод.

Так он и сделал.

На другой день Том стащил в доме оловянную ложку и медный подсвечник, чтобы наделать Джиму перьев, и еще шесть сальных свечей; а я все слонялся вокруг негритянских хижин, поджидая удобного случая, и стащил три жестяные тарелки. Том сказал, что этого мало, а я ответил, что все равно никто этих тарелок не увидит, потому что, когда Джим выбросит их в окно, они упадут в бурьян — мы их тогда подберем, и пускай он опять на них пишет. Том успокоился и сказал:

— Теперь надо подумать, как переправить вещи Джиму.

— Протащим их в дыру,— говорю,— когда кончим копать.

Он только посмотрел на меня с презрением и сказал, что отродясь не слыхал про такое идиотство, а потом опять стал думать. И в конце концов сказал, что наметил два-три способа, только останавливаться на каком-нибудь из них пока нет надобности. Сказал, что сначала надо поговорить с Джимом.

В этот вечер мы спустились по громоотводу в начале одиннадцатого, взяли одну свечку, постояли под окошком у Джима и услышали, что он храпит; тогда мы бросили свечку в окно, но он не проснулся. Мы начали копать киркой и лопатой, и часа через два с половиной вся работа была кончена. Мы влезли под кровать к Джиму, а там и в хибарку, пошарили кругом, нашли свечку, зажгли ее, постояли около Джима, поглядели, какой он — оказалось, что крепкий и здоровый с виду,— а потом стали потихоньку его будить. Он так нам обрадовался, что чуть не за-

плакал, называл нас «голубчиками» и всякими ласковыми именами, а потом захотел, чтобы мы сейчас же принесли откуда-нибудь зубило, сняли цепь у него с ноги и убежали вместе с ним, не теряя ни минуты. Но Том доказал ему, что это будет не по правилам; сел к нему на кровать и рассказал, какие у нас планы и как мы все это переменим в один миг, если поднимется тревога; и что бояться ему нечего — мы его освободим обязательно.

Тогда Джим согласился и сказал: пускай все так и будет. И мы еще долго с ним сидели; сначала толковали про старые времена, а после Том стал его про все расспрашивать, и когда узнал, что дядя Сайлас приходит чуть не каждый день и молится вместе с ним, а тетя Салли забегает узнать, хорошо ли ему тут и сыт ли он — добрей и быть нельзя! — то сказал:

— Ну, теперь я знаю, как это устроить. Мы тебе кое-что будем посылать с ними.

Я ему говорю:

— Вот это ты напрасно, про такое идиотство я отроду не слыхал.

Но он даже не обратил внимания на мои слова и продолжал рассказывать дальше. Он и всегда был такой, если что задумает. Он сказал Джиму, что мы доставим ему пирог с лестницей и другие крупные вещи через Ната — того негра, который носит ему еду, а ему надо только глядеть в оба, ничему не удивляться и стараться, чтобы Нат не видел, как он их достает. А вещи помельче мы будем класть дяде в карманы, и Джиму надо только будет их оттуда незаметно вытащить; будем также привязывать к тесемкам теткиного фартука или класть ей в карман, когда подвернется случай. Том сказал ему, какие это будут вещи и для чего. А еще Том научил его, как вести дневник на рубашке, и всему, чему следует. Все ему рассказал. Джим никак не мог понять, зачем все это надо, но решил, что нам лучше знать, раз мы белые; в общем, он остался доволен и сказал, что так все и сделает, как Том велел.

У Джима было много табаку и трубок из маисовых початков, так что мы очень неплохо провели время; потом вылезли обратно в дыру и пошли спать, только руки у нас были все ободранные. Том очень радовался, говорил, что еще никогда у него не было такой веселой игры и такой богатой пищи для ума; и если бы только он знал, как это сделать, он бы всю жизнь в нее играл, а потом завещал бы нашим детям освободить Джима, потому что Джим, конечно, со временем привыкнет и ему все больше и больше будет здесь нравиться. Он сказал, что это дело можно растянуть лет на восемьдесят и поставить рекорд. И тогда все, кто в нем участвовал, прославятся, и мы тоже прославимся.

Утром мы пошли к поленнице и изрубили подсвечник на мелкие части, и Том положил их вместе с ложкой к себе в карман. Потом мы пошли к негритянским хижинам, и, пока я отводил негру глаза, Том засунул кусок подсвечника в маисовую лепешку, которая лежала в миске для Джима, а после того мы проводили Ната к Джиму, чтобы посмотреть, что получится. И получилось замечательно: Джим откусил кусок лепешки и чуть не обломал все зубы — лучше и быть не могло. Том Сойер сам так сказал. Джим и виду не подал, сказал, что это, должно быть, камешек или еще что попало в хлеб — это бывает, знаете ли,— только после этого он никогда ничего не кусал так прямо, а сначала всегда возьмет и потыкает вилкой местах в трех-четырех.

И вот мы стоим в темноте, как вдруг из-под Джимовой кровати выскакивают две собаки, а там еще и еще, пока не набралось штук одиннадцать, так что прямо-таки негде было повернуться. Ей-богу, мы позабыли запереть дверь в пристройке. А негр Нат как заорет: «Ведьмы!» — повалился на пол среди собак и стонет, точно помирать собрался. Том распахнул дверь настежь и выкинул на двор кусок мяса из Джимовой миски; собаки бросились за мясом, а Том в одну секунду выбежал, тут же вернулся и захлопнул дверь, и я понял, что дверь в сарайчик он тоже успел прикрыть. А потом стал обрабатывать негра — всё уговаривал его, утешал и расспрашивал, уж не померещилось ли ему что-нибудь. Негр встал, поморгал глазами и говорит:

— Мистер Сид, вы небось скажете, что я дурак; только помереть мне на этом самом месте, если я своими глазами не видел целый мильон собак, или чертей, или я уж не знаю кого! Ей-богу, видел! Мистер Сид, я их чувствовал — да, сэр! — они по мне ходили, по всему телу. Ну, попадись только мне в руки какая-нибудь ведьма, пускай хоть бы один-единственный разок,— уж я бы ей показал! А лучше оставили бы они меня в покое — больше я ничего не прошу!

Том сказал:

— Ладно, я тебе скажу, что я думаю. Почему они сюда прибегают всякий раз, когда этот беглый негр завтракает? Потому что есть хотят — вот почему! Ты им испеки заколдованный пирог — вот что тебе надо сделать!

— Господи, мистер Сид, да как же я испеку такой пирог? Я не знаю, как его печь. Даже и не слыхивал отродясь про такие пироги.

— Ну что ж, тогда придется мне самому печь.

— Неужто испечете, голубчик? Испеките! Да я вам за это что угодно — в ножки поклонюсь, вот как!

— Ладно, уж испеку, раз это для тебя: ты ведь к нам хорошо относился, беглого негра нам показал. Только уж смотри

будь поосторожней. Когда мы придем, ты повернись к нам спиной, и боже тебя упаси глядеть, что мы будем класть в миску! И когда Джим будет вынимать пирог, тоже не гляди — мало ли что может случиться, я почем знаю! А главное, не трогай ничего заколдованного.

— Не трогать? Да господь с вами, мистер Сид! Я и пальцем ни до чего не дотронусь, хоть озолоти меня!

Глава тридцать седьмая

ДЖИМ ПОЛУЧАЕТ ВОЛШЕБНЫЙ ПИРОГ

Это дело мы уладили; потом пошли на задний двор, к мусорной куче, где валялись старые сапоги, тряпки, битые бутылки, дырявые кастрюльки и прочий хлам, покопались в нем и разыскали старый жестяной таз, заткнули получше дырки, чтобы испечь в нем пирог, спустились в погреб и насыпали полный таз муки, а оттуда пошли завтракать. По дороге нам попалось два обойных гвоздя, и Том сказал, что они пригодятся узнику — выцарапать ими на стене темницы свое имя и свои злоключения; один гвоздь мы положили в карман фартука тети Салли, который висел на стуле, а другой заткнули за ленту на шляпе дяди Сайласа, что лежала на конторке: от детей мы слышали, что папа с мамой собираются сегодня утром пойти к беглому негру. Потом мы сели за стол, и Том опустил оловянную ложку в дядин карман. Только тети Салли еще не было — пришлось ее дожидаться. А когда она пришла, то была вся красная и сердитая и едва дождалась молитвы; одной рукой она разливала кофе, а другой все время стукала наперстком по голове того из ребят, который подвертывался под руку, а потом и говорит:

— Я искала-искала, весь дом перевернула и просто ума не приложу, куда могла деваться твоя другая рубашка!

Сердце у меня упало и запуталось в кишках, и кусок маисовой лепешки стал поперек горла; я закашлялся, кусок у меня выскочил, полетел через стол и угодил в глаз одному из ребятишек, так что он завертелся, как червяк на крючке, и заорал во все горло; а Том даже весь посинел от страха. И с четверть минуты или около того наше положение было незавидное, и я бы свою долю продал за полцены, если бы нашелся покупатель. Но после этого мы скоро успокоились — это только от неожиданности нас как будто вышибло из колеи.

Дядя Сайлас сказал:

— Удивительное дело, я и сам ничего не понимаю. Отлично помню, что я ее снял, потому что...

— Потому что на тебе надета одна рубашка, а не две! Только послушайте, что он говорит! Вот я так действительно знаю, что ты ее снял, лучше тебя знаю, потому что вчера она сушилась на веревке — я своими глазами ее видела. А теперь рубашка пропала, вот тебе и все! Будешь теперь носить красную фланелевую фуфайку, пока я не выберу время сшить тебе новую. За два года это уж третью рубашку тебе приходится шить. Горят они на тебе, что ли! Просто не понимаю, что ты с ними делаешь,— только и знай шей тебе рубашки! В твои годы пора бы научиться беречь вещи!

— Знаю, Салли, я уж стараюсь беречь, как только можно. Но тут не я один виноват — ты же знаешь, что я их только и вижу, пока они на мне, а ведь не мог же я сам с себя потерять рубашку!

— Ну, это уж не твоя вина, Сайлас: было бы можно, так ты бы ее потерял, я думаю. Ведь не только эта рубашка пропала. И ложка тоже пропала, да и это еще не все. Было десять ложек, а теперь стало всего девять. Ну, рубашку, я думаю, теленок сжевал, но ложку-то он не мог проглотить, это уж верно.

— А еще что пропало, Салли?

— Полдюжины свечей пропало — вот что! Может, крысы их съели? Я думаю, что они; удивительно, как они весь дом еще не изгрызли! Ты все собираешься заделать дыры и никак не можешь собраться; будь они похитрей, так спали бы у тебя на голове, а ты бы ничего не почуял. Но ведь не крысы же стащили ложку, уж это-то я знаю!

— Ну, Салли, виноват, сознаюсь — это моя оплошность. Завтра же обязательно заделаю все дыры!

— Куда так спешить, и в будущем году еще успеется... Матильда Энджелина Араминта Фелпс!

Трах! — наперсток стукнул, и девочка вытащила руку из сахарницы и смирно уселась на месте. Вдруг прибегает негритянка и говорит:

— Миссис Салли, у нас простыня пропала!

— Простыня пропала? Ах ты господи!

— Я сегодня же заткну все дыры,— говорит дядя Сайлас, а сам, видно, расстроился.

— Замолчи ты, пожалуйста! Крысы, что ли, стянули простыню?.. Как же это она пропала, Лиза?

— Ей-богу, не знаю, миссис Салли. Вчера висела на веревке, а теперь пропала: нет ее там.

— Ну, должно быть, светопреставление начинается. Ничего подобного не видывала, сколько живу на свете! Рубашка, простыня, ложка и полдюжины свечей...

— Миссис,— вбегает молодая мулатка,— медный подсвечник куда-то девался!

— Убирайся вон отсюда, дрянь этакая! А то как запущу в тебя кофейником!..

Тетя Салли просто вся кипела. Вижу — надо удирать при первой возможности, улизну, думаю, потихоньку и буду сидеть в лесу, пока гроза не пройдет. А тетя Салли развоевалась, просто удержу нет, зато все остальные притихли и присмирели: и вдруг дядя Сайлас выуживает из кармана эту самую ложку, и вид у него довольно глупый. Тетя Салли всплеснула руками и замолчала, разинув рот,— а мне захотелось убраться куда-нибудь подальше, но ненадолго, потому что она сейчас же сказала:

— Ну, так я и думала! Значит, она все время была у тебя в кармане; надо полагать, и все остальное тоже там. Как она туда попала?

— Право, не знаю, Салли,— говорит дядя, вроде как бы оправдываясь,— а не то я бы тебе сказал. Перед завтраком я сидел и читал «Деяния апостолов», главу семнадцатую, и, должно быть, нечаянно положил в карман ложку вместо Евангелия... наверно, так, потому что Евангелия у меня в кармане нет. Сейчас пойду посмотрю: если Евангелие там лежит, значит, я положил его не в карман, а на стол и взял ложку, а после...

— Ради бога, замолчи! Дайте мне покой! Убирайтесь отсюда все, все до единого, и не подходите ко мне, пока я не успокоюсь!

Я бы ее услышал, даже если бы она шептала про себя, а не кричала так, и встал бы и послушался, даже если бы лежал мертвый. Когда мы проходили через гостиную, старик взял свою шляпу, и гвоздь упал на пол; тогда он просто подобрал его, положил на каминную полку и вышел — и даже ничего не сказал. Том все это видел, вспомнил про ложку и сказал:

— Нет, с ним никаких вещей посылать нельзя, он ненадежен.— Потом прибавил: — А все-таки он нам здорово помог с этой ложкой, сам того не зная, и мы ему тоже поможем — и опять-таки он знать не будет: давай заткнем эти крысиные норы!

Внизу, в погребе, оказалось пропасть крысиных нор, и мы возились целый час, зато уж все заделали как следует, прочно и аккуратно. Потом слышим на лестнице шаги — мы скорей потушили свечку и спрятались; смотрим — идет наш старик со свечкой в одной руке и с целой охапкой всякой всячины в другой, и такой рассеянный — тычется, как во сне. Сначала сунулся к одной норе, потом к другой — все по очереди обошел. Потом задумался и стоял, должно быть, минут пять, обирая сало со

свечки; потом повернулся и побрел к лестнице, еле-еле, будто сонный, а сам говорит: «Хоть убей, не помню, когда я это сделал! Вот надо было бы сказать ей, что зря она из-за крыс меня ругала. Ну, да уж ладно, пускай! Все равно никакого толку не выйдет»,— и стал подниматься по лестнице, а сам бормочет что-то. А за ним и мы ушли. Очень хороший был старик! Он и сейчас такой.

Том очень беспокоился, как же нам быть с ложкой; сказал, что без ложки нам никак нельзя, и стал думать. Сообразил все как следует, а потом сказал мне, что делать. Вот мы все и вертелись около корзины с ложками, пока не увидели, что тетя Салли идет; тогда Том стал пересчитывать ложки и класть их рядом с корзинкой; я спрятал одну в рукав, а Том говорит:

— Знаете, тетя Салли, а все-таки ложек только девять.

Она говорит:

— Ступай играть и не приставай ко мне! Мне лучше знать, я сама их считала.

— Я тоже два раза пересчитал, тетя, и все-таки получается девять.

Она, видно, из себя выходит, но, конечно, стала считать, да и всякий на ее месте стал бы.

— Бог знает что такое! И правда, всего девять! — говорит она.— А, да пропади они совсем, придется считать еще раз!

Я подсунул ей ту ложку, что была у меня в руке, она пересчитала и говорит:

— Вот еще напасть — опять их десять!

А сама и сердится и не знает, что делать. А Том говорит:

— Нет, тетя, не может быть, чтобы было десять.

— Что же ты, болван, не видел, как я считала?

— Видел, да только...

— Ну ладно, я еще раз сочту.

Я опять стянул одну, и опять получилось девять, как и в тот раз. Ну, она прямо рвала и метала, даже вся дрожит — до того взбеленилась. А сама все считает и считает и уж до того запуталась, что корзину стала считать вместе с ложками, и оттого три раза у нее получилось правильно, а другие три раза — неправильно. Тут она как схватит корзинку и шварк ее в угол! — кошку чуть не убила; потом велела нам убираться и не мешать ей, а если мы до обеда еще раз попадемся ей на глаза, она нас выдерет. Мы взяли эту лишнюю ложку да и сунули ей в карман, пока она нас отчитывала, и Джим получил ложку вместе с гвоздем, все как следует, еще до обеда. Мы остались очень довольны, и Том сказал, что для такого дела стоило потрудиться, потому что ей теперь этих ложек ни за что не сосчитать, хоть убей,— всё будет сбиваться; и правильно сочтет, да себе не поверит;

а еще денька три посчитает — у нее и совсем голова кругом пойдет; тогда она бросит считать эти ложки да еще пристукнет на месте всякого, кто только попросит их сосчитать.

Вечером мы опять повесили ту простыню на веревку и украли другую, у тети Салли из шкафа, и два дня подряд только тем и занимались: то повесим, то опять стащим, пока она не сбилась со счета и не сказала, что ей наплевать, сколько у нее простынь,— не губить же из-за них свою душу! Считать она больше ни за что на свете не станет, лучше умрет.

Так что насчет рубашки, простыни, ложки и свечей нам нечего было беспокоиться — обошлось: тут и теленок помог, и крысы, и путаница в счете; ну, а с подсвечником тоже как-нибудь дело обойдется, это неважно.

Зато с пирогом была возня; мы с ним просто замучились. Мы его месили в лесу и пекли там же; в конце концов все сделали, и довольно прилично, но не в один день: мы извели три полных таза муки, пока его состряпали, обожгли себе все руки, и глаза разъело дымом; нам, понимаете ли, нужна была одна только корка, а она никак не держалась, все проваливалась. Но в конце концов мы все-таки придумали, как надо сделать: положить в пирог лестницу, да так и запечь вместе. Вот на другую ночь мы уселись вместе с Джимом, порвали всю простыню на узенькие полоски и свили их вместе, и еще до рассвета полу-

чилась у нас замечательная веревка, хоть человека на ней вешай. Мы вообразили, будто делали ее девять месяцев.

А перед обедом мы отнесли ее в лес, но только в пирог она не влезла. Если бы понадобилось, этой веревки хватило бы на сорок пирогов, раз мы ее сделали из целой простыни; осталось бы и на суп, и на колбасы, и на что угодно. Целый обед можно было приготовить. Но нам это было ни к чему. Нам было нужно ровно столько, сколько могло влезть в пирог, а остальное мы выбросим. В умывальном тазу мы никаких пирогов не пекли — боялись, что замазка отвалится; зато у дяди Сайласа оказалась замечательная медная сковородка с длинной деревянной ручкой — он ею очень дорожил, потому что какой-то там благородный предок привез ее из Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем на «Мейфлауэре» [1] или еще на каком-то из первых кораблей, и спрятал на чердаке вместе со всяким старьем и другими ценными вещами; и не то чтобы они дорого стоили — они вовсе ничего не стоили, а просто были ему дороги как память; так вот, мы ее стащили потихоньку и отнесли в лес; но только сначала пироги в ней тоже не удавались — мы не умели их печь, зато в последний раз здорово получилось. Мы взяли сковородку, обмазали ее внутри тестом, поставили на уголья, запихали туда веревку, опять обмазали сверху тестом, накрыли крышкой и засыпали горячими угольями, а сами стояли шагах в пяти и держали ее за длинную ручку, так что было и не жарко и удобно, и через четверть часа испекся пирог, да такой, что одно загляденье! Только тому, кто стал бы есть этот пирог, надо было бы сначала запасти пачек сто зубочисток, да и живот бы у него заболел от этой веревочной лестницы — небось скрючило бы в три погибели! Не скоро запросил бы еды, я-то уж знаю!

Нат не стал смотреть, как мы клали заколдованный пирог Джиму в миску; а в самый низ, под провизию, мы сунули три жестяные тарелки, и Джим все это получил в полном порядке; а как только остался один, разломал пирог и спрятал веревочную лестницу к себе в тюфяк, а потом нацарапал какие-то каракули на тарелке и выбросил ее в окно.

---

[1] Здесь Гек, по своему обыкновению, все путает. Вильгельм Завоеватель — это нормандский герцог, завоевавший Англию и ставший в 1066 году английским королем, а «Мейфлауэр» — название корабля, на котором в начале XVII века прибыли в Америку первые переселенцы из Англии.

Глава тридцать восьмая

«ЗДЕСЬ РАЗОРВАЛОСЬ СЕРДЦЕ УЗНИКА»

Делать эти самые перья было сущее мученье, да и пилу тоже; а Джим боялся, что всего труднее будет с надписью, с той самой, которую узник должен выцарапать на стене. И все-таки надо было — Том сказал, что без этого нельзя; не было еще ни одного случая, чтобы государственный преступник не оставил на стене надписи и своего герба.

— Возьми хоть леди Джейн Грей,— сказал он,— или Гилфорда Дэдли, или хоть старика Нортумберленда![1] Конечно, возни с этим много, Гек, да что поделаешь! Как же иначе? Ведь без этого не обойдешься! Все равно Джиму придется делать и надпись и герб. Все так делают.

Джим говорит:

— Что вы, мистер Том! У меня никакого герба нету, ничего у меня нет, кроме вот этой старой рубахи, а на ней мне надо вести дневник, сами знаете...

— Ты ничего не понимаешь, Джим; герб — это совсем другое.

— А все-таки,— говорю я,— Джим верно сказал, что герба у него нету, потому что откуда же у него герб?

— Мне это тоже известно,— говорит Том,— только герб у него непременно будет еще до побега,— если бежать, так уж бежать по все правилам, честь по чести.

И пока мы с Джимом точили перья на кирпиче — Джим медное, а я из оловянной ложки,— Том придумывал ему герб. Наконец он сказал, что ему вспомнилось очень много хороших гербов, так что он даже не знает, который взять; а впрочем, есть один подходящий, на нем он и остановится.

На рыцарском щите у нас будет золотой пояс; внизу справа — косой червленый крест и повязка, и на нем лежащая собака — это значит опасность; а под лапой у нее цепь, украшенная зубцами,— это рабство; зеленый шеврон с зарубками в верхней части, три вогнутые линии в лазурном поле, а в середине щита — герб и кругом зазубрины; сверху — беглый негр, чернью, с узелком через плечо, на черной полосе с левой стороны, а внизу две червленые подставки поддерживают щит — это мы с тобой; девиз «Maggiore fretta — minore atto». Это я из книжки взял — значит: «Тише едешь — дальше будешь».

---

[1] Джейн Грей, Гилфорд Дэдли, Нортумберленд. — Джон Дэдли, герцог Нортумберлендский, женил своего сына Гилфорда на внучке английского короля Генриха VIII — Джейн Грей, рассчитывая добиться для них престола. Однако все трое были казнены в 1553 году королевой Марией, дочерью и наследницей Генриха VIII.

— Здорово! — говорю.— А все остальное что значит?

— Нам с этим возиться некогда,— говорит Том,— нам надо кончать поскорее да и удирать отсюда.

— Ну хоть что-нибудь скажи! Что значит «повязка»?

— Повязка — это... В общем, незачем тебе знать, что это такое. Я ему покажу, как это делается, когда надо будет.

— Как тебе не стыдно,— говорю,— мог бы все-таки сказать человеку! А что такое «черная полоса с левой стороны»?

— Я почем знаю! Только Джиму без нее никак нельзя. У всех вельмож она есть.

Вот он и всегда так. Если не захочет почему-нибудь объяснить, так ни за что не станет. Хоть неделю к нему приставай, все равно толку не будет.

Уладив дело с гербом, он принялся за остальную работу — стал придумывать надпись пожалобнее; сказал, что Джиму без нее никак нельзя, у всех она бывает. Он придумал много разных надписей, написал их на бумажке и прочел нам все:

— «1. Здесь разорвалось сердце узника.

2. Здесь бедный узник, покинутый всем светом и друзьями, влачил свое печальное существование.

3. Здесь разбилось одинокое сердце, и усталый дух отошел на покой после тридцати семи лет одиночного заточения.

4. Здесь, без семьи и друзей, после тридцати семи лет горестного заточения погиб благородный незнакомец, побочный сын Людовика Четырнадцатого».

Голос Тома дрожал, когда он читал нам эти надписи,— он чуть не плакал. После этого он никак не мог решить, которую надпись выбрать для Джима,— уж очень все они были хороши; и в конце концов решил, чтобы Джим выцарапал на стенке все эти надписи. Джим сказал, что тогда ему целый год придется возиться — выцарапывать столько всякой чепухи гвоздем на бревне, да он еще и буквы-то писать не умеет; но Том ответил, что он сам ему наметит буквы начерно, и тогда ему ничего не надо будет делать, только обвести их, и все. Потом он помолчал немного и говорит:

— Нет, как подумаешь, все-таки бревна не годятся: в темницах не бывает бревенчатых стен. Нам надо выдалбливать надписи на камне. Ну что ж, достанем камень.

Джим сказал, что камень будет еще хуже бревна и уйдет такая пропасть времени, пока все это выдолбишь, что этак он и не освободится никогда. Том сказал, что я ему буду помогать, и подошел посмотреть, как у нас подвигается дело с перьями. Ужасно скучная и противная была работа — такая с ней возня! Руки у меня никак не заживали после волдырей, и дело у нас что-то плохо двигалось, так что Том сказал:

— Я знаю, как это уладить. Нам все равно нужен камень для герба и для скорбных надписей, вот мы и убьем двух зайцев одним камнем. У лесопилки валяется здоровый жернов, мы его стащим, выдолбим на нем все, что надо, а заодно будем оттачивать на нем перья и пилу тоже.

Мысль была неплохая, да и жернов тоже был ничего себе, но мы все-таки решили, что как-нибудь справимся. Еще не было полуночи, и мы отправились на лесопилку, а Джима усадили работать. Мы стащили этот жернов и покатили его домой. Ну и работа же с ним была — просто адская! Как мы ни старались, а он все валился набок, и нас чуть-чуть не придавило. Том сказал, что кого-нибудь одного непременно придавит жерновом, пока мы его докатим до дому. Доволокли мы его до полдороги и сами окончательно выдохлись — обливаемся по́том. Видим, что ничего у нас не выходит, взяли да и пошли за Джимом. Он приподнял свою кровать, снял с ножки цепь, обмотал ее вокруг шеи, потом мы пролезли в подкоп и дальше в пристройку, а там мы с Джимом навалились на жернов и покатили его, как перышко, а Том распоряжался. Распоряжаться-то он был мастер, куда до него всем другим ребятам! Да он и вообще знал, как что делается.

Дыру мы прокопали большую, но все-таки жернов в нее

не пролезал; тогда Джим взял мотыгу и в два счета ее расширил. Том нацарапал на жернове гвоздем эти самые надписи и засадил Джима за работу — с гвоздем вместо зубила и с железным болтом вместо молотка, а нашли мы его среди хлама в пристройке,— и велел ему долбить жернов, пока свеча не догорит, а после этого ложиться спать, только сперва велел ему спрятать жернов под матрац и спать на нем. Потом мы помогли ему надеть цепь обратно на ножку кровати и сами тоже решили отправиться ко сну. Вдруг Том что-то вспомнил и говорит:

— Джим, а пауки у тебя здесь есть?

— Нет, сэр! Слава богу, нет, мистер Том.

— Ну ладно, мы тебе достанем.

— Да господь с вами, голубчик, на что они мне? Я их боюсь до смерти. Уж, по мне, лучше гремучие змеи.

Том задумался на минутку, а потом и говорит:

— Хорошая мысль! И, кажется, так и раньше делали. Ну, само собой, делали. Да, просто замечательная мысль! А где ты ее будешь держать?

— Кого это, мистер Том?

— Да гремучую змею.

— Господи ты мой боже, мистер Том! Да если сюда заползет гремучая змея, я прошибу головой вот эту самую стенку и убегу!

— Да что ты, Джим, ты к ней привыкнешь, а там и бояться перестанешь. Ты ее приручи.

— «Приручи»!

— Ну да, что ж тут трудного! Всякое животное любит, чтобы его приласкали, и даже не подумает кусать человека, который с ним ласково обращается. Во всех книжках про это говорится. Ты попробуй только, больше я тебя ни о чем не прошу,— попробуй дня два или три. Ты ее можешь так приручить, что она тебя скоро полюбит, будет спать с тобой и ни на минуту с тобой не расстанется; будет обертываться вокруг твоей шеи и засовывать голову тебе в рот.

— Ой, не говорите, мистер Том, ради бога! Слышать не могу! Это она мне в рот голову засунет? Подумаешь, одолжила! Очень нужно! Нет, ей долго ждать придется, чтобы я ее попросил! Да и спать с ней я тоже не желаю.

— Джим, не дури! Узнику полагается иметь ручных животных, а если гремучей змеи ни у кого еще не было, тем больше тебе чести, что ты первый ее приручишь,— лучше и не придумаешь способа прославиться.

— Нет, мистер Том, не хочу я такой славы. Укусит меня змея в подбородок — на что тогда и слава! Нет, сэр, ничего этого я не желаю.

— Да ну тебя, неужели ты хоть попробовать не можешь? Ты только попробуй, а не выйдет, возьмешь и бросишь.

— А пока я буду пробовать, змея меня укусит, тогда уж поздно будет. Мистер Том, я на все согласен — если надо, что хотите сделаю, но только если вы с Геком притащите гремучую змею, чтобы я ее приручал, я отсюда убегу, верно вам говорю!

— Ну ладно, пускай у́ж, раз ты такой упрямый. Мы тебе достанем ужей, а ты навяжи им пуговиц на хвосты, будто бы это гремучки,— сойдет и так, я думаю.

— Ну, это еще туда-сюда, мистер Том, хотя, сказать вам по правде, не больно-то они мне нужны. Вот уж не думал, что это такое хлопотливое дело — быть узником!

— А как же, и всегда так бывает, если все делается по правилам... Крысы у тебя есть?

— Нет, сэр, ни одной не видал.

— Ну, мы тебе раздобудем крыс.

— Зачем, мистер Том? Мне крыс не надо! Хуже крыс ничего на свете нет: никакого от них покою, так и бегают по всему телу и за ноги кусают, когда спать хочется, и мало ли еще что! Нет, сэр, уж лучше напустите мне ужей, коли нельзя без этого, а крыс мне никаких не надо — на что они мне, ну их совсем!

— Нет, Джим, без крыс тебе нельзя, у всех они бывают. И, пожалуйста, не упирайся! Узнику без крыс никак невозможно, даже и примеров таких нет. Они их воспитывают, приручают, учат разным фокусам, и крысы к ним привыкают, лезут, как мухи. Их надо приманивать музыкой. У тебя есть на чем играть?

— Ничего такого нет, разве вот гребенка с бумажкой да еще губная гармошка; им, я думаю, неинтересно будет слушать.

— Отчего же неинтересно! Им все равно, на чем ни играть, была бы только музыка. Для крыс сойдет и губная гармошка. Все животные любят музыку, а в тюрьме так просто жить без нее не могут. Особенно если что-нибудь грустное; а на губной гармошке только такое и получается. Им это всегда бывает любопытно: они высовываются посмотреть, что такое с тобой делается... Ну, теперь у тебя все в порядке, очень хорошо все устроилось. По вечерам, перед сном, ты сиди на кровати и играй, и по утрам тоже. Играй «Навек расстались мы» — это крысам скорей всего должно понравиться. Поиграешь минуты две — сам увидишь, как все крысы, змеи, пауки и другие твари соскучатся и вылезут. Так и начнут по тебе лазить все вместе, кувыркаться... Вот увидишь — им сделается очень весело!

— Да, им-то еще бы не весело, мистер Том, а вот каково

мне будет? Не вижу я в этом ничего хорошего. Ну, если надо, что ж, ничего не поделаешь... Уж буду крыс забавлять, только бы нам с вами не поссориться.

Том постоял еще, подумал, не забыл ли чего-нибудь, а потом и говорит:

— Да, еще одно чуть не забыл. Можешь ты здесь вырастить цветок, как по-твоему?

— Не знаю... может, я и вырастил бы, мистер Том, но только уж очень темно тут, да и цветок мне ни к чему — хлопот с ним не оберешься.

— Нет, ты все-таки попробуй. Другие узники выращивали...

— Какой-нибудь репей, этакий длинный, вроде розги, пожалуй, вырастет, мистер Том, только стоит ли с ним возиться, радость невелика.

— Ты про это не думай. Мы тебе достанем совсем маленький, ты его посади вон в том углу и выращивай. Да зови его не репей, а «пиччиола»[1] — так полагается, если он растет в тюрьме. А поливать будешь своими слезами.

— Да у меня из колодца много воды, мистер Том.

— Вода из колодца тебе ни к чему, тебе надо поливать цветок своими слезами. Уж это всегда так делается.

— Мистер Том, вот увидите, у меня от воды он так будет расти хорошо — другому и со слезами за мной не угнаться!

— Не в том дело. Обязательно надо поливать слезами.

— Он у меня завянет, мистер Том, ей-богу, завянет: ведь я и не плачу почти что никогда.

Даже Том не знал, что на это сказать. Он все-таки подумал и ответил, что придется Джиму как-нибудь постараться — луком, что ли, потереть глаза. Он пообещал, что утром потихоньку сбегает к негритянским хижинам и бросит луковицу ему в кофейник. Джим на это сказал, что «уж лучше он себе табаку в кофей насыплет», и вообще очень ворчал, ко всему придирался и ничего не желал делать: ни возиться с репейником, ни играть для крыс на гармошке, ни заманивать и приручать змей, пауков и прочих тварей; это кроме всякой другой работы: изготовления перьев, надписей, дневников и всего остального. Он говорил, что быть узником — каторжная работа, хуже всего, что ему до сих пор приходилось делать, да еще и отвечать за все надо. Том даже рассердился на него и в конце концов сказал, что такой замечательной возможности прославиться еще ни у одного узника никогда не было, а он ничего этого не ценит, все только пропадает даром — не в коня корм. Тут Джим раскаялся, сказал, что он больше никогда спорить не будет, и после этого мы с Томом ушли спать.

---

[1] Пиччиола (итал.) — стебелек, цветочек.

Глава тридцать девятая

ТОМ ПИШЕТ АНОНИМНЫЕ ПИСЬМА

Утром мы сходили в город, купили проволочную крысоловку, принесли ее домой, откупорили самую большую крысиную нору, и через какой-нибудь час у нас набралось штук пятнадцать крыс, да еще каких — самых здоровенных! Мы взяли и поставили крысоловку в надежное место, под кровать к тете Салли. Но покамест мы ходили за пауками, маленький Томас Франклин Бенджамен Джефферсон Александер Фелпс нашел ее там и открыл дверцу — посмотреть, вылезут ли крысы; и они, конечно, вылезли; а тут вошла тетя Салли, и, когда мы вернулись, она стояла на кровати и визжала во весь голос, а крысы старались как могли, чтобы ей не было скучно. Она схватила ореховый прут и отстегала нас обоих так, что пыль летела, а потом мы часа два ловили еще пятнадцать штук — провалиться бы этому мальчишке, во все лезет! — да и крысы-то попались так себе, неважные, потому что самые что ни на есть отборные были в первом улове. Я отродясь не видел таких здоровенных крыс, какие нам попались в первый раз.

Мы наловили самых отборных пауков, лягушек, жуков, гусениц и прочей живности; хотели было захватить с собой осиное гнездо, а потом раздумали: хозяева были дома. Мы не сразу бросили это дело, а сидели, дожидались, сколько могли вытерпеть: думали — может, мы их выживем, а вышло так, что они нас выжили. Мы раздобыли нашатыря, натерли им укусы, и почти все прошло, только садиться мы все-таки не могли. Потом мы пошли за змеями, наловили десятка два ужей и медянок, посадили их в мешок и положили в нашей комнате, а к тому времени пора было ужинать, да мы и поработали в тот день как следует, на совесть, а уж проголодались — и не говорите! А когда мы вернулись, ни одной змеи в мешке не было: мы его, должно быть, плохо завязали, и они ухитрились как-то вылезти и все уползли. Только это было неважно, потому что все они остались тут, в комнатах,— и мы так и думали, что опять их переловим. Но еще долго после этого змей в доме было сколько хочешь! То и дело они валились с потолка или еще откуда-нибудь и обыкновенно норовили попасть к тебе в тарелку или за шиворот, и всегда не вовремя. Они были такие красивые, полосатые и совсем безвредные, но тетя Салли в этом не разбиралась: она терпеть не могла змей какой бы ни было породы, и совсем не могла к ним привыкнуть, сколько мы ее ни приучали. Каждый раз, как на нее сваливалась змея, тетя Салли бросала работу, чем бы она ни была занята, и убегала вон из

комнаты. Я такой женщины еще не видывал. А вопила она так, что в Иерихоне слышно было. Никак нельзя было ее заставить дотронуться до змеи даже щипцами. А если она находила змею у себя в постели, то выскакивала оттуда и поднимала такой крик, будто в доме пожар. Она так растревожила старика, что он сказал: лучше бы господь совсем никаких змей не создавал. Ни одной змеи уже не оставалось в доме, и после того прошла целая неделя, а тетя Салли все никак не могла успокоиться. Какое там! Сидит, бывало, задумавшись о чем-нибудь, и только дотронешься перышком ей до шеи, она так и вскочит. Глядеть смешно! Но Том сказал, что все женщины такие. Он сказал, что так уж они устроены, а почему — кто их знает.

Нас стегали прутом каждый раз, как тете Салли попадалась на глаза какая-нибудь из наших змей, и она грозилась, что еще и не так нас отстегает, если мы опять напустим полон дом змей. Я на нее не обижался, потому что стегала она не больно; обидно только было возиться — опять их ловить. Но мы все-таки наловили и змей и всякой прочей живности — и то-то веселье начиналось у Джима в хибарке, когда он, бывало, заиграет, а они все так и полезут к нему! Джим не любил пауков, и пауки тоже его недолюбливали, так что ему приходилось от них солоно. И он говорил, что ему даже спать негде из-за всех этих крыс и змей, да еще и жернов тут же в кровати; а если бы даже и было место, так все равно не уснешь — такое тут творится; и все время так, потому что эти твари спят по очереди: когда змеи спят, тогда крысы на палубе; а крысы уснут, так змеи на вахте; и вечно одни у него под боком, мешают лечь как следует, а другие скачут по нему, как в цирке; а если он встанет поискать себе другого места, так пауки за него принимаются. Он сказал, что если когда-нибудь выйдет на свободу, так ни за что больше не пойдет в узники, даже за большое жалованье.

Так вот, недели через три все у нас отлично наладилось и шло как по маслу. Рубашку мы давно ему доставили, тоже в пироге; и каждый раз, как Джима кусала крыса, он вставал и писал строчку-другую в дневнике, пока чернила еще свежие; перья тоже были готовы, надписи и все прочее было высечено на жернове; ножку кровати мы распилили надвое, а опилки съели, и от этого животы у нас разболелись до невозможности. Так и думали, что помрем, однако не померли. Ничего хуже этих опилок я еще не пробовал, и Том то же говорит. Я уже сказал, что вся работа у нас была в конце концов сделана, но только мы совсем замучились, особенно Джим. Дядя Сайлас писал раза два на плантацию под Новый Орлеан, чтобы они приехали и забрали своего беглого негра, но ответа не получил, потому что такой плантации вовсе не было; тогда он решил дать объявле-

ние про Джима в газетах, в Новом Орлеане и в Сен-Луи; а когда он помянул про Сен-Луи, у меня даже мурашки забегали по спине; вижу — время терять не приходится. Том сказал, что теперь пора писать анонимные письма.

— А это что такое? — спрашиваю.

— Это предостережение людям, если им что-нибудь грозит. Иногда делают так, иногда — по-другому. В общем, всегда кто-нибудь следит за преступником и дает знать коменданту крепости. Когда Людовик Шестнадцатый собирался дать тягу из Тюильри, одна служанка его выследила. Очень хороший способ... ну, и анонимные письма тоже ничего. Мы будем действовать и так и этак. А то еще бывает — мать узника меняется с ним одеждой: она остается, а он бежит в ее платье. Мы так тоже сделаем.

— Послушай-ка, Том, зачем нам предупреждать их? Пускай сами догадываются, это уж их дело.

— Да, я знаю, только надеяться на них нельзя. С самого начала так пошло — все нам самим приходилось делать. Они такие доверчивые и недогадливые, ровно ничего не замечают. Если мы их не предупредим, нам никто и мешать не станет, и после всех наших трудов и хлопот этот побег пройдет без сучка без задоринки, и ничего у нас не получится, ничего не будет интересного!

— Вот это мне как раз подошло бы, Том, это мне нравится.

— Да ну тебя! — говорит, а сам надулся.

Тогда я сказал:

— Ну ладно, я жаловаться не собираюсь. Что тебе подходит, то и мне подойдет. А как же нам быть со служанкой?

— Ты и будешь служанка. Прокрадешься среди ночи и стянешь платье у этой мулатки.

— Что ты, Том! Да ведь утром переполох поднимется — у нее, наверно, только одно это платье и есть.

— Я знаю; но тебе оно всего на четверть часа и понадобится, чтобы отнести анонимное письмо и подсунуть его под дверь.

— Ну ладно, я отнесу; только не все ли равно — я бы и в своей одежде отнес.

— Да ведь ты тогда не будешь похож на служанку, верно?

— Ну и не буду, да ведь никто меня все равно не увидит.

— Это к делу не относится. Нам надо только выполнить долг, а увидит кто или не увидит, об этом беспокоиться нечего. Что у тебя, совсем никаких принципов нет?

— Ну ладно, я ничего не говорю: пускай я буду служанкой. А кто у нас Джимова мать?

— Я его мать. Стащу платье у тети Салли.

— Значит, тебе придется остаться в сарайчике, когда мы оба убежим?

— Еще чего! Я набью платье Джима соломой и уложу на кровати, будто бы это его переодетая мать; а Джим наденет платье с меня, и мы проследуем в изгнание все вместе. Когда бежит какой-нибудь узник из благородных, то говорится, что он «проследовал в изгнание». Всегда так говорится, когда, например, король убежит. И королевский сын то же самое — все равно, законный сын или противозаконный, это значения не имеет.

Том написал анонимное письмо, а я в ту же ночь стянул у мулатки платье, переоделся в него и подсунул письмо под парадную дверь; все сделал, как Том велел. Письмо было такое:

Берегитесь. Вам грозит беда. Будьте настороже.

Неизвестный друг.

На следующую ночь мы налепили на парадную дверь картинку, которую Том нарисовал кровью: череп и две скрещенные кости; а на другую ночь еще одну — с гробом — на кухонную дверь. Я еще не видывал, чтобы люди так боялись. Все наши до того перепугались, будто их на каждом шагу и за дверями и под кроватями стерегли привидения и носились в воздухе. Если кто-нибудь хлопал дверью, тетя Салли вздрагивала и охала; если что-нибудь падало, она тоже вздрагивала и охала; если, бывало, дотронешься до нее как-нибудь незаметно, она тоже охает; куда бы она ни обертывалась лицом, ей все казалось, что кто-то стоит сзади, и она то и дело оглядывалась и охала; и не успеет, бывало, повернуться на три четверти, как опять оглядывается и охает; она боялась и в постель ложиться, а не спать ночью тоже было страшно. Так что письмо подействовало как нельзя лучше — это Том сказал; он сказал, что лучше даже и быть не может. Из этого видно, говорит, что мы поступали правильно.

А теперь, говорит, пора нанести главный удар! И на другое же утро, едва начало светать, мы написали еще письмо, только не знали, как с ним быть, потому что за ужином наши говорили, что поставят у обеих дверей по негру на всю ночь. Том спустился по громоотводу на разведку; увидел, что негр у черного хода спит, засунул письмо ему за шиворот и вернулся. В письме говорилось:

Не выдавайте меня, я ваш друг. Целая шайка самых отчаянных злодеев с Индейской территории собирается нынче ночью украсть вашего беглого негра; они вас пугали, чтобы вы сидели дома и не мешали им. Я тоже из шайки, только я уверовал в бога и хочу бросить разбой и стать честным человеком — вот почему я вам выдаю их адский замысел. Они подкра-

дутся с севера, вдоль забора, ровно в полночь; у них есть поддельный ключ от того сарая, где сидит беглый негр. Если им будет грозить опасность, я должен протрубить в рожок, но вместо этого я буду блеять овцой, когда они заберутся в сарай, а трубить не стану. Пока они будут снимать с него цепи, вы подкрадитесь и заприте их всех на замок, тогда вы их можете спокойно убить. Делайте то, что я вам говорю, и больше ничего, а не то они что-нибудь заподозрят и поднимут целый тарарам. Никакой награды я не желаю, с меня довольно и того, что я поступил по-честному.

Неизвестный друг.

Глава сороковая

ПЕРЕПОЛОХ И СЧАСТЛИВОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

После завтрака мы в самом отличном настроении взяли мой челнок и поехали за реку ловить рыбу и обед с собой захватили; очень хорошо провели время; осмотрели плот; увидели, что он в полном порядке, и домой вернулись поздно, к самому ужину; смотрим — все ходят такие перепуганные, встревоженные, что совсем ничего не соображают; нам велели, как только мы поужинаем, в ту же минуту идти спать, а почему — не сказали, и про новое письмо — ни слова; да мы и не нуждались, потому что и так все знали не хуже ихнего; а как только мы поднялись на лестницу и тетя Салли повернулась к нам спиной, мы сейчас же юркнули в погреб, к шкафу, нагрузились провизией на целый обед, перенесли все это к себе в комнату и легли, а около половины двенадцатого опять встали. Том надел платье, которое стащил у тети Салли, и хотел было нести провизию, но вдруг говорит:

— А где же масло?

— Я положил кусок на маисовую лепешку,— говорю.

— Значит, там и оставил,— масла здесь нет.

— Можем обойтись и без масла,— говорю я.

— А с маслом еще лучше,— говорит Том.— Ступай-ка ты в погреб да принеси его. А потом спустись по громоотводу и приходи скорей. Я набью соломой Джимово платье — будто это его переодетая мать,— а как только ты вернешься, я проблею овцой, и мы убежим все вместе.

И он ушел, а я спустился в погреб. Кусок масла примерно с большой кулак лежал там, где я его оставил; я захватил его вместе с лепешкой, задул свечу и стал осторожно подниматься по лестнице. Благополучно поднялся наверх, гляжу — идет тетя Салли со свечкой в руке; я скорей сунул масло в шляпу, а шляпу нахлобучил на голову; тут она меня увидала и спрашивает:

— Ты был в погребе?

— Да, тетя.
— Что ты там делал?
— Ничего.
— Как — ничего?
— Да так, ничего.
— Что это тебе вздумалось таскаться туда по ночам?
— Не знаю, тетя.
— Не знаешь? Ты мне так не отвечай, Том, мне нужно знать, что ты там делал!
— Ничего я там не делал, тетя Салли, вот ей-богу, ничего не делал!

Ну, думаю, теперь она меня отпустит; да в обыкновенное время и отпустила бы, только уж очень много у нас в доме творилось странного, так что она стала бояться всего маломальски подозрительного, даже пустяков, и потому очень решительно сказала:

— Ступай сию минуту в гостиную и сиди там, пока я не приду. Ты что-то, кажется, натворил! Смотри, я тебя выведу на чистую воду, не беспокойся!

Она ушла, а я отворил дверь в гостиную и вошел. Ой, а там полно народу! Пятнадцать фермеров — и все до одного с ружьями.

Мне даже нехорошо сделалось; я плюхнулся на стул и сижу. Они уже расселись по всей комнате; кое-кто разговаривал потихоньку, и все сидели как на иголках, всем было не по себе, хотя они старались этого не показывать; только я-то видел, потому что они то снимут шляпы, то наденут, то почешут в затылке, и пересаживаются все время с места на место, и перебирают пуговицы. Мне тоже было не по себе, только шляпу я все-таки не снял.

Мне захотелось, чтобы тетя Салли поскорей пришла и разделалась со мной — отколотила бы меня, что ли,— и тогда я побегу к Тому и скажу ему, что мы перестарались: такое осиное гнездо растревожили, что мое почтение! И дурака валять больше нечего, а надо поживей удирать вместе с Джимом, пока эти молодчики до нас не добрались.

Наконец тетя пришла и давай меня расспрашивать; только я ни на один вопрос не мог ответить как следует, совсем ничего не соображал, потому что фермеры ужасно волновались: одни хотели сейчас же идти на бандитов, говорили, что до полуночи осталось всего несколько минут, а другие уговаривали подождать, пока бандит не заблеет овцой; да еще тут тетя Салли пристала со своими расспросами, а я весь дрожу и едва стою на ногах от страха; а в комнате делалось все жарче и жарче, и масло у меня под шляпой начало таять и потекло по шее и по

вискам; и когда один фермер сказал, что «надо сейчас же идти в хибарку, засесть там и сцапать их, как только они явятся»,— я чуть не свалился; а тут масло потекло у меня по лбу. Тетя Салли как увидела, побелела вся, точно простыня, и говорит:

— Господи помилуй! Что такое с мальчиком? Наверно, воспаление мозгов, вон они уже и текут из него!

Все подошли поглядеть, а она сорвала с меня шляпу, и оттуда вывалился хлеб и то, что осталось от масла; тут она схватила меня, обняла и говорит:

— Ну и напугал же ты меня! Еще слава богу, что не хуже, я и этому рада; последнее время нам что-то не везет — того и жди, что опять беда случится. А я как увидела у тебя эту штуку, ну, думаю, не жилец он у нас: оно по цвету точь-в-точь такое, как должны быть мозги, если... Ах ты господи, ну что же ты мне не сказал, зачем ты ходил в погреб, я бы и не беспокоилась! А теперь ступай спать, и чтобы я тебя до утра не видела!

В одну секунду я взлетел наверх, в другую — спустился по громоотводу и, спотыкаясь в темноте, помчался к сарайчику. Я даже говорить не мог — до того разволновался, но все-таки одним духом выпалил Тому, что надо убираться поживей, ни минуты терять нельзя — в доме полно людей, и все с ружьями!

Глаза у него так и засверкали, и он сказал:

— Да что ты! Быть не может! Вот это здорово! Ну, Гек, если бы пришлось опять начинать все сначала, я бы человек двести собрал, не меньше. Эх, если бы можно было отложить немножко!

— Скорей,— говорю,— скорей! Где Джим?

— Да вот же он, рядом; протяни руку — и дотронешься до него. Он уже переодет, и все готово. Теперь давайте выберемся отсюда и заблеем.

Но тут мы услышали топот — фермеры подошли к двери, потом начали громыхать замком, а один сказал:

— Я же вам говорил, что рано выходить; их еще нет — сами видите, дверь на замке. Вот что: я запру вас, а вы сидите в темноте, подстерегите их и перестреляйте всех, когда явятся; а остальные пускай тут будут; рассыпьтесь кругом и слушайте, не идут ли они.

Несколько человек вошли в хибарку, но только в темноте они нас не увидели и чуть не наступили на нас, когда мы полезли под кровать. Мы благополучно вылезли в подкоп, быстро, но без шума: Джим первый, за ним я, а Том за мной — это он так распорядился. Теперь мы были в пристройке и слышали, как они топают во дворе, совсем рядом. Мы тихонько подкрались к двери, но Том остановил нас и стал глядеть в щелку, только ничего не мог разобрать — очень было темно; он сказал шепо-

том, что будет прислушиваться, и, как только шаги затихнут, он нас толкнет локтем: тогда пускай Джим выбирается первым, а он выйдет последним. Он приложил ухо к щели и стал слушать — слушал, слушал, а кругом все время шаги, но в конце концов он нас толкнул, мы выскочили из сарая, нагнулись пониже и, затаив дыхание, совсем бесшумно стали красться к забору, один за другим, вереницей, как индейцы; добрались до забора благополучно, и мы с Джимом перелезли, а Том зацепился штаниной за щепку в верхней перекладине и слышит — подходят; он рванулся — щепка затрещала и отломилась, а когда Том спрыгнул и побежал за нами, кто-то крикнул:

— Кто там? Отвечай, а то стрелять буду!

Но мы ничего не ответили, а припустились бегом и давай улепетывать во все лопатки. Они бросились за нами; потом — трах! трах! трах! — и пули просвистели у нас над головой. Слышим — кричат:

— Вот они! К реке побежали! За ними, ребята, спускай собак!

Слышим — гонятся за нами вовсю. Нам-то слышно было, потому что все они в сапогах и орут, а мы без сапог и не орали. Мы побежали к лесопилке, а как только они стали нагонять, мы свернули в кусты и пропустили их мимо себя, а потом опять побежали за ними. Сначала всех собак заперли, чтобы они не спугнули бандитов, а теперь кто-то их выпустил; слышим — они тоже бегут за нами, а лают так, будто их целый мильон. Только собаки-то были свои; мы остановились, подождали их, а когда они увидали, что это мы и ничего тут интересного для них нет, они повиляли хвостами и побежали дальше, туда, где был шум и топот; а мы опять пустились за ними следом, да так и бежали почти до самой лесопилки, а там свернули и пробрались через кусты к тому месту, где был привязан мой челнок, прыгнули в него и давай изо всех сил грести к середине реки, только старались не шуметь. Потом мы повернули не спеша к тому островку, где был спрятан мой плот; и долго еще слышно было, как собаки лают друг на друга и мечутся взад и вперед по берегу; но как только мы отплыли подальше, шум сделался тише, а там и совсем замер. А когда мы влезли на плот, я сказал:

— Ну, Джим, теперь ты опять свободный человек и больше уж никогда рабом не будешь!

— Да еще как хорошо все вышло-то, Гек! И придумано было хорошо, а сделано еще того лучше — никому другому не придумать, чтобы так было хорошо и так заковыристо!

Мы все радовались не знаю как, а больше всех радовался Том, потому что у него в ноге засела пуля.

Когда мы с Джимом про это услышали, то сразу перестали веселиться. Тому было очень больно, и кровь сильно текла; мы

уложили его в шалаше, разорвали рубашку герцога и хотели перевязать ему ногу, но он сказал:

— Дайте-ка сюда тряпки; это я и сам сумею. Не задерживайтесь, дурака валять некогда! Раз побег удался великолепно, то отвязывайте плот и беритесь за весла! Ребята, мы устроили побег замечательно, просто шикарно! Хотелось бы мне, чтобы Людовик Шестнадцатый попал нам в руки, тогда в его биографии не было бы написано: «Потомок Людовика Святого отправляется на небеса!» Нет, сэр, мы бы его переправили за границу — вот что мы сделали бы, да еще как ловко!.. Беритесь за весла, беритесь за весла!

Но мы с Джимом посоветовались и стали думать. Подумали с минуту, а потом я сказал:

— Говори ты, Джим.

Он сказал:

— Ну вот: по-моему, выходит так. Если б это был мистер Том и мы его освободили, а кого-нибудь из нас подстрелили, разве он сказал бы: «Валяйте спасайте меня, плюньте на всяких там докторов для раненого»? Разве это похоже на Тома Сойера? Разве он так скажет? Да никогда в жизни! Ну, а Джим разве скажет так? Нет, сэр, я и с места не двинусь, пока доктора тут не будет, хоть сорок лет просижу!

Я всегда знал, что душа у него хорошая, и так и ждал, что он это самое скажет; теперь все было в порядке, и я объявил Тому, что иду за доктором. Он поднял из-за этого страшный шум, но мы с Джимом стояли на своем и никак не уступали. Он хотел было сам ползти, отвязывать плот, да мы его не пустили. Тогда он начал ругаться с нами, только это нисколько не помогло.

А когда он увидел, что я отвязываю челнок, то сказал:

— Ну ладно, уж если тебе так хочется ехать, я тебе скажу, что́ надо делать, когда приедешь в город. Запри дверь, свяжи доктора по рукам и по ногам, надень ему на глаза повязку, и пусть поклянется молчать как могила, а потом сунь ему в руку кошелек, полный золота, и веди его не прямо, а в темноте по задворкам; привези его сюда в челноке — и опять-таки не прямо, а путайся подольше среди островков; да не забудь обыскать его и отбери мелок, а отдашь после, когда переправишь обратно в город, а то он наставит мелом крестов, чтобы можно было потом найти наш плот. Всегда так делается.

Я сказал, что все сделаю, как он велит, и уехал в челноке, а Джиму велел спрятаться в лесу, как только увидит доктора, и сидеть до тех пор, пока доктор не уедет.

Слышим — гонятся за нами вовсю.

Глава сорок первая

«ДОЛЖНО БЫТЬ, ДУХИ»

Доктор, когда я его разбудил, оказался старичком, таким приятным и добрым с виду. Я рассказал ему, что мы с братом вчера охотились на Испанском острове, нашли там плот и остались на нем ночевать, а около полуночи брат, должно быть, толкнул во сне ружье, оно выстрелило, и пуля попала ему в ногу; так вот мы просим доктора поехать туда и перевязать рану, только ничего никому не говорить, потому что мы хотим вернуться домой нынче вечером, а наши родные еще ничего не знают.

— А кто ваши родные? — спрашивает он.

— Фелпсы, они живут за городом.

— Ах, вот как? — говорит он. Потом помолчал немного и спрашивает: — Так как же это, вы говорите, его ранило?

— Ему что-то приснилось,— говорю,— и ружье выстрелило.

— Странный сон,— говорит доктор.

Он зажег фонарь, собрал в сумку что нужно, и мы отправились. Только когда доктор увидел мой челнок, он ему не понравился: для одного, говорит, еще туда-сюда, а двоих не выдержит.

Я ему говорю:

— Да вы не бойтесь, сэр, он нас и троих отлично выдержал.

— Как это — троих?

— Так: меня и Сида, а еще... а еще ружья — вот я что хотел сказать.

— Ах, так! — говорит он.

Он все-таки поставил ногу на борт, попробовал челнок, а потом покачал головой и сказал, что постарается найти что-нибудь поосновательнее. Только все другие лодки были на цепи и на замке, и он взял мой челнок, а мне велел подождать, пока он не вернется, или поискать другую лодку, а то, если я хочу, пойти домой и подготовить родных к такому сюрпризу. Я сказал, что нет, не хочу, потом объяснил ему, как найти плот, и он уехал.

И тут мне пришла в голову одна мысль. А что, думаю, может ли он вылечить Тома так, сразу,— как говорится, не успеет овца хвостом махнуть? Вдруг ему на это понадобится дня три-четыре? Как мне тогда быть? Сидеть тут, дожидаться, пока он всем разболтает? Нет, сэр. Я знаю, что сделаю. Подожду его, а если он вернется и скажет, что ему еще раз нужно туда съездить, я тоже с ним отправлюсь — все равно, хотя бы вплавь; а там мы его возьмем да и свяжем, оставим на плоту

и поплывем по реке; а когда Тому он будет больше не нужен, дадим ему, сколько это стоит, или все, что у нас есть, и высадим на берег.

Я забрался на бревна — хотел выспаться; а когда проснулся, солнце стояло высоко у меня над головой. Я вскочил и скорей к доктору, но у него дома мне сказали, что он уехал к больному еще ночью и до сих пор не возвращался. Ну, думаю, значит, дела Тома плохи, надо поскорей переправляться на остров. Иду от доктора и только повернул за угол — чуть-чуть не угодил головой в живот дяде Сайласу!

— Том, это ты? Где же ты был все время, негодный мальчишка! — говорит он.

— Нигде я не был,— говорю,— просто мы ловили беглого негра вместе с Сидом.

— А куда же вы все-таки пропали? — говорит он.— Твоя тетка очень беспокоилась.

— Зря она беспокоилась,— говорю,— ничего с нами не случилось. Мы побежали за людьми и за собаками, только они нас обогнали, и мы их потеряли из виду, а потом нам показалось, будто они уже за рекой; мы взяли челнок и переправились на ту сторону, но только никого там не нашли и поехали против течения; сначала всё держались около берега, а потом устали и захотели спать; тогда мы привязали челнок и легли и только час назад проснулись и переправились сюда. Сид пошел на почту — узнать, нет ли чего нового, а я вот только разыщу нам чего-нибудь поесть, и потом мы вернемся домой.

Мы вместе с дядей Сайласом зашли на почту «за Сидом», но, как я и предполагал, его там не оказалось; старик получил какое-то письмо; потом мы подождали еще немножко, но Сид так и не пришел; тогда старик сказал: «Поедем-ка домой, Сид вернется пешком или на лодке, когда ему надоест шататься, а мы поедем на лошади!» Мне он так и не позволил остаться и поджидать Сида; говорит, что ни к чему, надо скорей домой — пускай тетя Салли увидит, что с нами ничего не случилось.

Когда мы вернулись домой, тетя Салли ужасно мне обрадовалась — и смеялась, и плакала, и обнимала меня, и даже принималась колотить, только совсем не больно; обещала и Сиду тоже задать, когда он вернется.

А в доме было полным-полно гостей: все фермеры с женами у нас обедали, и такой трескотни я еще никогда не слыхал. Хуже всех была старуха Гочкис, язык у нее молол без умолку.

— Ну,— говорит,— сестра Фелпс, видела я ваш сарай и думаю, что этот негр полоумный. Говорю сестре Демрел... а что я говорила, сестра Демрел? Ведь он полоумный,— так и сказа-

ла, этими самыми словами; вы все меня слыхали,— он полоумный, говорю, по всему видать. Взять хоть этот самый жернов,— и не говорите мне лучше! Чтобы человек в здравом уме да стал царапать всякую чушь на жернове? С чего бы это? — говорю. Здесь такой-то разорвал свое сердце, и здесь такой-то утомлялся тридцать семь лет и прочее, побочный сын какого-то Людовика... забыла, как его фамилия... ну просто чушь! Совсем рехнулся, говорю. Так с самого начала и сказала, и потом говорила, и сейчас говорю, и всегда буду говорить: этот негр совсем полоумный, чистый Навуходоносор[1], говорю...

— А лестница-то из тряпок, сестра Гочкис! — перебила старуха Демрел.— Ну, для чего она ему понадобилась, скажите на милость?

— Вот это самое я и говорила сию минуту сестре Оттербек, она вам может подтвердить. «А веревочная-то лестница?» — говорит. А я говорю: «Вот именно, на что она ему?» — говорю. А сестра Оттербек и говорит...

— А как же все-таки этот жернов туда попал? И кто прокопал эту самую дыру? И кто...

— Вот это самое я и говорю, брат Пенрод! Я только что сказала... передайте-ка мне блюдце с патокой... только что я сказала сестре Денлеп, вот только сию минуту! «Как же это они ухитрились втащить туда жернов? — говорю.— И ведь без всякой помощи, заметьте, никто не помогал! Вот именно!..» Да что вы, говорю, как можно, чтобы без помощи, говорю, кто-нибудь да помогал, говорю, да еще и не один помогал, говорю; этому негру человек двадцать помогало, говорю; доведись до меня, я бы всех негров тут перепорола, до единого, а уж разузнала бы, кто это сделал, говорю; да мало того...

— Вы говорите — человек двадцать! Да тут и сорок не управились бы. Вы только посмотрите: и пилы понаделаны из ножей, и всякая штука, а ведь сколько со всем этим возни! Ведь такой пилой ножку у кровати отпилить и то десятерым надо целую неделю возиться... А негра-то на кровати видели? Из соломы сделан. А видели вы...

— И не говорите, брат Хайтауэр! Я вот только что сказала это самое брату Фелпсу. Он говорит: «Ну, что вы думаете, сестра Гочкис?» — «Насчет чего это?» — говорю. «Насчет этой самой ножки: как это так ее перепилили?» — говорит. Что думаю? Не сама же она отвалилась, говорю, кто-нибудь ее да отпилил, говорю. Вот мое мнение, а там думайте что хотите, говорю, а только мое мнение вот такое, а если кто думает по-другому,

---

[1] Навуходоносор — вавилонский царь. По библейскому преданию, был поражен безумием.

и пускай его думает, говорю, вот и все. Говорю сестре Денлеп: «Вот как, говорю...»

— Да этих самых негров тут, должно быть, полон дом собрался, и не меньше месяца им надо было по ночам работать, чтобы со всем этим управиться, сестра Фелпс. Взять хоть эту рубашку — вся сплошь покрыта тайными африканскими письменами, и всё до последнего значка написано кровью! Должно быть, целая шайка тут орудовала, да еще столько времени! Я бы двух долларов не пожалел, чтобы мне все это разобрали и прочли; а тех негров, которые писали, я бы отстегал как следует...

— Вы говорите — ему помогали, брат Маплз? Еще бы ему не помогали! Пожили бы у нас в доме это время, сами увидели бы. А сколько всего они у нас потаскали — ну все тащили, что только под руку подвернется! И ведь заметьте себе — мы сторожили все время. Эту самую рубашку стянули прямо с веревки! А ту простыню, из которой у них сделана веревочная лестница, они уж я и не помню сколько раз таскали! А муку, а свечи, а подсвечники, а ложки, а старую сковородку — где же мне теперь все упомнить! А мое новое ситцевое платье! И ведь мы с Сайласом и Том с Сидом день и ночь за ним следили, я вам уже говорила, да так ничего и не выследили. И вдруг в самую последнюю минуту — нате вам! — проскользнули у нас под носом и провели нас, да и не нас одних, а еще и целую шайку бандитов с Индейской территории, и преспокойно удрали с этим самым негром — а ведь за ними по пятам гнались шестнадцать человек и двадцать две собаки! Разве черти какие-нибудь могли бы так ловко управиться, да и то едва ли. По-моему, это и были черти; ведь вы знаете наших собак — очень хорошие собаки, лучше ни у кого нет,— так они даже и на след напасть не могли ни единого раза! Вот и объясните мне кто-нибудь, в чем тут дело, если можете!

— Да, это, знаете ли...

— Боже ты мой, вот уж никогда...

— Помилуй господи, не хотел бы я быть...

— Домашние воры, а еще и...

— Я бы в таком доме побоялась жить, упаси меня боже!

— Побоялись бы жить! Я и сама боялась — и спать ложиться и вставать боялась, не смела ни сесть, ни лечь, сестра Риджуэй! Как они только не украли... Можете себе представить, как меня трясло от страха вчера, когда стало подходить к полуночи! Вот вам бог свидетель, я уже начала бояться, как бы они детей не украли! Вот до чего дошла, последний рассудок потеряла! Сейчас, днем, все это кажется довольно глупо, а тогда думаю: как это мои бедные Том с Сидом спят там наверху одни в комнате? И господь свидетель, до того растревожилась, что

потихоньку пробралась наверх и заперла их на ключ! Взяла да и заперла. И всякий бы на моем месте запер. Потому что, вы знаете, когда вот так боишься — чем дальше, тем хуже, час от часу становится не легче, в голове все путается,— вот и делаешь бог знает какие глупости! Думаешь: а если бы я была мальчиком да оставалась бы там одна в комнате, а дверь не заперта...

Она замолчала и как будто задумалась, а потом медленно повернулась в мою сторону и взглянула на меня — ну, тут я встал и вышел прогуляться. Говорю себе: я, пожалуй, лучше сумею объяснить, почему сегодня утром нас не оказалось в комнате, если отойду в сторонку и подумаю, как тут быть. Так я и сделал. Но далеко уйти я не посмел, а то, думаю, еще пошлет кого-нибудь за мной. Потом, попозже, когда гости разошлись, я к ней пришел и говорю, что нас «с Сидом» разбудили стрельба и шум; нам захотелось поглядеть, что делается, а дверь была заперта, вот мы и спустились по громоотводу, оба ушиблись немножко и больше никогда этого делать не будем. Ну, а дальше я ей рассказал все то, что рассказывал дяде Сайласу; а она сказала, что прощает нас, да, может, особенно и прощать нечего — другого от мальчишек ждать не приходится, все они озорники порядочные, сколько ей известно; и раз ничего плохого из этого не вышло, то надо не беспокоиться и не сердиться на то, что было и прошло, а благодарить бога за то, что мы живы и здоровы и никуда не пропали. Она поцеловала меня, погладила по голове, а потом задумалась и стала какая-то скучная — и вдруг как вздрогнет, будто испугалась:

— Господи помилуй, ночь на дворе, а Сида все еще нету! Куда он мог деваться?

Вижу, случай подходящий,— я вскочил и говорю:

— Я сбегаю в город, разыщу его.

— Нет уж, пожалуйста,— говорит.— Оставайся, где ты есть. Довольно и того, что один пропал. Если он к ужину не вернется, поедет твой дядя.

Ну, к ужину он, конечно, не вернулся, и дядя уехал в город сейчас же после ужина.

Часам к десяти дядя вернулся немножко встревоженный — он даже и следов Тома не отыскал. Тетя Салли — та очень расстроилась, а дядя сказал, что пока еще рано горевать: «Мальчишки — они и есть мальчишки; вот увидишь, и этот утром явится живой и здоровый». Пришлось ей на этом успокоиться. Но она сказала, что не будет ложиться, подождет его все-таки и свечу гасить не будет, чтобы ему было видно.

А потом, когда я пошел ложиться спать, она тоже пошла со мной и захватила свою свечку, укрыла меня и ухаживала за мной, как родная мать; мне даже совестно стало, я и в глаза ей

смотреть не мог; а она села ко мне на кровать и долго со мной разговаривала — все твердила, какой хороший мальчик наш Сид, и никак не могла про него наговориться и то и дело спрашивала меня, как я думаю: не заблудился ли он, не ранен ли, а может, утонул... может быть, лежит в эту самую минуту где-нибудь раненый или убитый, а она даже не знает, где он... И тут у нее слезы закапали, а я ей все повторяю, что ничего с Сидом не случилось и к утру он наверняка вернется домой; а она меня то погладит по руке, а то поцелует, велит повторить это еще раз и еще, потому что ей от этого легче — уж очень она беспокоится. А когда она уходила, то посмотрела мне в глаза так пристально, ласково и говорит:

— Дверь я не стану запирать, Том. Конечно, есть и окно и громоотвод, только ты ведь послушаешься — не уйдешь? Ради меня!

Уж как мне хотелось удрать, посмотреть, что делается с Томом, я так и собирался сделать, но после этого я не мог уйти ни за что на свете.

Тетя Салли все не шла у меня из головы, и Том тоже, так что я спал очень плохо. Два раза я спускался ночью по громоотводу, обходил дом кругом и видел, что она все сидит у окна, смотрит на дорогу и плачет, а возле нее свечка; мне очень хотелось что-нибудь для нее сделать, только ничего нельзя было; дай, думаю, хоть поклянусь, что никогда больше не буду ее огорчать. А в третий раз я проснулся уже на рассвете, спустился вниз; гляжу — а тетя Салли все сидит там, и свечка у нее догорает, а она уронила свою седую голову на руку — и спит.

Глава сорок вторая

ПОЧЕМУ НЕ ПОВЕСИЛИ ДЖИМА

Перед завтраком старик опять ездил в город, но так и не разыскал Тома; и оба они сидели за столом задумавшись и молчали, вид у них был грустный, они ничего не ели, и кофе остывал у них в чашках. И вдруг старик говорит:

— Отдал я тебе письмо или нет?

— Какое письмо?

— Да то, что я получил вчера на почте?

— Нет, ты мне никакого письма не давал.

— Забыл, должно быть.

И начал рыться в карманах, потом вспомнил, куда он его положил, пошел и принес — и отдал ей. А она и говорит:

— Да ведь это из Санкт-Петербурга, от сестры!

Я решил, что мне будет полезно опять прогуляться, но не мог двинуться с места. И вдруг... не успела она распечатать письмо, как бросила его и выбежала вон из комнаты — что-то увидела. И я тоже увидел: Тома Сойера на носилках, и старичка доктора, и Джима все в том же ситцевом платье, со связанными за спиной руками, и еще много народу. Я скорей засунул письмо под первую вещь, какая попалась на глаза, и тоже побежал. Тетя Салли бросилась к Тому, заплакала и говорит:

— Он умер, умер, я знаю, что умер!

А Том повернул немножко голову и что-то бормочет: сразу видать — не в своем уме; а она всплеснула руками и говорит:

— Он жив, слава богу! Пока довольно и этого.

Поцеловала его на ходу и побежала в дом — готовить ему постель, на каждом шагу раздавая всякие приказания и неграм и всем другим, да так быстро, что едва язык успевал поворачиваться.

Я пошел за толпой — поглядеть, что будут делать с Джимом, а старичок доктор и дядя Сайлас пошли за Томом в комнаты. Все эти фермеры ужасно обозлились, а некоторые даже хотели повесить Джима, в пример всем эдешним неграм, чтобы им было неповадно бегать, как Джим убежал, устраивать такой переполох и день и ночь держать в страхе целую семью. А другие говорили: не надо его вешать, совсем это ни к чему — негр не наш; того и гляди, явится его хозяин и заставит, пожалуй, за него заплатить. Это немножко охладило остальных: ведь как раз тем людям, которым больше всех хочется повесить негра, если он на чем-нибудь попался, обыкновенно меньше всех хочется платить, когда потеха кончится.

Они долго ругали Джима и раза два-три угостили его хорошей затрещиной, а Джим все молчал и даже виду не подал, что он меня знает; а они отвели его в тот же сарай, переодели в старую одежду и опять приковали на цепь, только уже не к кровати, а к кольцу, которое ввинтили в нижнее бревно в стене, а руки тоже сковали, и на обе ноги тоже надели цепи, и велели посадить его на хлеб и на воду, пока не приедет его хозяин, а если не приедет, то до тех пор, пока его не продадут с аукциона, и завалили землей наш подкоп, и велели двум фермерам с ружьями стеречь сарай по ночам, а днем привязывать около двери бульдога; потом, когда они уже покончили со всеми делами и стали ругать Джима просто так, от нечего делать, подошел старичок доктор, послушал и говорит:

— Не обращайтесь с ним строже, чем следует, потому что он неплохой негр. Когда я приехал туда, где лежал этот мальчик, я не мог вынуть пулю без посторонней помощи, а оставить его и поехать за кем-нибудь тоже было нельзя — он чувствовал

себя очень плохо; и ему становилось все хуже и хуже, а потом он стал бредить и не подпускал меня к себе, грозил, что убьет меня, если я поставлю мелом крест на плоту,— словом, нес всякий вздор, а я ничего не мог с ним поделать; тут я сказал, что без чьей-нибудь помощи мне не обойтись; и в ту же минуту откуда-то вылезает этот самый негр, говорит, что он мне поможет,— и сделал все, что надо, очень ловко. Я, конечно, так и подумал, что это беглый негр и есть, а ведь мне пришлось там пробыть весь тот день до конца и всю ночь. Вот положение, скажу я вам! У меня в городе осталось два пациента с простудой, и, конечно, надо бы их навестить, но я не отважился; а вдруг, думаю, этот негр убежит — тогда меня все за это осудят; а на реке ни одной лодки не видно, и позвать некого. Так и пришлось торчать на острове до сегодняшнего утра; и я никогда не видел, чтобы негр так хорошо ухаживал за больным, а ведь он рисковал из-за этого свободой, да и устал очень тоже,— я по всему видел, что за последнее время ему пришлось делать много тяжелой работы. Мне это очень в нем понравилось. Я вам скажу, джентльмены: за такого негра не жалко заплатить и тысячу долларов и обращаться с ним надо ласково. У меня под руками было все, что нужно, и мальчику там было не хуже, чем дома; может, даже лучше, потому что там было тихо. Но мне-то пришлось из-за них просидеть там до рассвета — ведь оба они были у меня на руках; потом, смотрю, едут какие-то в лодке, и, на счастье, негр в это время крепко уснул, сидя на тюфяке, и голову опустил на колени; я им тихонько сделал знак, они подкрались к нему, схватили и связали, прежде чем он успел сообразить, в чем дело. А мальчик тоже спал, хотя очень беспокойно; тогда мы обвязали весла тряпками, прицепили плот к челноку и потихоньку двинулись к городу, а негр не сопротивлялся и даже слова не сказал; он с самого начала вел себя тихо. Он неплохой негр, джентльмены.

Кто-то заметил:

— Да, надо признаться,— ничего плохого тут нет, доктор.

Тогда и другие тоже смягчились, а я был очень благодарен доктору за то, что он оказал Джиму такую услугу; я очень обрадовался, что и доктор о нем думает по-моему; я как только с Джимом познакомился, сразу увидел, что сердце у него доброе и что человек он хороший. Все согласились, что он вел себя очень хорошо и заслужил, чтобы на это обратили внимание и чем-нибудь вознаградили. И все до одного тут же обещали — видно, что от души,— не ругать его больше.

Потом они вышли из сарайчика и заперли его на замок. Я думал, они скажут, что надо бы снять с него хоть одну цепь, потому что эти цепи были уж очень тяжелые, или что надо

бы ему давать не один хлеб и воду, а еще мясо и овощи, но никому это и в голову не пришло, а я решил, что мне лучше в это дело не соваться, а рассказать тете Салли то, что говорил доктор, как только я миную пороги и мели, то есть объясню ей, почему я забыл сказать, что Сид был ранен, когда мы с ним в челноке гнались за беглым негром.

Времени оказалось довольно. Тетя Салли весь день и всю ночь не выходила из комнаты больного, а когда я видел дядю Сайласа, я всякий раз удирал от него.

На другое утро я услышал, что Тому гораздо лучше и что тетя Салли пошла прилечь. Я проскользнул к больному в комнату; думаю: если он не спит, нам с ним вместе надо бы придумать, как соврать половчее, чтобы сошло для родных. Но он спал, и спал очень спокойно, и лицо у него было бледное, а не такое огненное, как когда его принесли. Я сел и стал дожидаться, пока он проснется. Через каких-нибудь полчаса в комнату неслышно входит тетя Салли,— опять я попался! Она сделала знак, чтобы я сидел тихо, села рядом со мной и начала шепотом говорить, что все мы теперь должны радоваться, потому что симптомы у него первый сорт, и он давно уже спит вот так, и все становится спокойнее и здоровее с виду, и десять шансов против одного, что он проснется в своем уме.

Мы сидели и стерегли его, и скоро он пошевелился, открыл глаза, как обыкновенно, поглядел и говорит:

— Э, да ведь я дома! Как же это так? А плот где?

— Плот в порядке,— говорю я.

— А Джим?

— Тоже,— говорю я, но не так уж твердо.

Он ничего не заметил и говорит:

— Отлично! Великолепно! Значит, все кончилось хорошо! Ты сказал тете?

Я хотел ответить «да», но тут она сама говорит:

— Про что это, Сид?

— Да про то, как мы все это устроили.

— Что «все»?

— Да все; ведь только одно и было: как мы с Томом освободили беглого негра.

— Боже милостивый! Освободили бег... О чем это ты, милый? Господи, опять он заговаривается!

— Нет, не заговариваюсь, я знаю, о чем говорю. Мы его освободили, мы с Томом. Решили так сделать и сделали. Да еще как превосходно!

Он пустился рассказывать, а она его не останавливала, все сидела и слушала и глядела на него круглыми глазами, и я уж видел, что мне в это дело соваться нечего.

— Ну как же, тетя, чего нам это стоило! Работали целыми неделями, час за часом, каждую ночь, пока вы все спали. Нам пришлось украсть и свечи, и простыню, и рубашку, и ваше платье, и ложки, и жестяные тарелки, и ножи, и сковородку, и жернов, и муку — да всего и не перечесть! Вы себе представить не можете, чего нам стоило сделать пилу, и перья, и надписи, и все остальное, и как это было весело! А потом надо было еще рисовать гроб и кости, писать анонимные письма от разбойников, вылезать и влезать по громоотводу, вести подкоп, делать веревочную лестницу и запекать ее в пирог, пересылать в вашем кармане ложки для работы...

— Господи помилуй!

— ...напускать в сарайчик змей, крыс, пауков, чтобы Джим не скучал один; а потом вы так долго продержали Тома с маслом в шляпе, что едва все дело нам не испортили: мы не успели уйти, и фермеры нас застали еще в сарайчике; мы скорее вылезли и побежали, а они нас услышали и пустились в погоню; тут меня и подстрелили, а потом мы свернули с дороги, дали им пробежать мимо себя; а когда прибежали собаки, им с нами было неинтересно, и они бросились туда, где шум, а мы сели в челнок и благополучно переправились на плот, и Джим теперь свободный человек, и мы всё это сами сделали — вот здорово, тетечка!

— Ну, я ничего подобного не слыхала, сколько живу на свете! Так это вы, озорники этакие, столько наделали нам хлопот, что у всех голова пошла кругом, и напугали всех чуть не до смерти! Хочется мне взять сейчас да и выколотить из вас всю дурь, вот сию минуту! Подумать только, а я-то не сплю, сижу ночь за ночью, как... Ну, негодник этакий, вот только выздоровеешь, я уж за тебя примусь, повыбью из вас обоих всякую чертовщину!

Но Том весь сиял от гордости и никак не мог удержаться — все болтал и болтал, а она то и дело перебивала его и все время сердилась и выходила из себя, и оба они вместе орали, как кошки на крыше; а потом она и говорит:

— Ну хорошо, можешь радоваться сколько тебе угодно, но смотри, если ты еще хоть раз к нему сунешься...

— К кому? — говорит Том, а сам больше не улыбается: видно, что удивился.

— Как — к кому? Да к этому беглому негру, конечно. А ты про что думал?

Том посмотрел на меня очень сурово и говорит:

— Том, ведь ты мне только что сказал, что Джим в безопасности. Разве он не убежал?

— Кто? — говорит тетя Салли.— Беглый негр? Никуда он

не убежал. Его опять поймали, живого и невредимого, и он опять сидит в сарае и будет сидеть на хлебе и на воде и в цепях; а если хозяин за ним не явится, то его продадут.

Том сразу сел на кровати — глаза у него загорелись, а ноздри задвигались, как жабры,— и кричит:

— Они не имеют никакого права запирать его! Беги! Не теряй ни минуты! Выпустите его, он вовсе не раб, а такой же свободный, как и все люди на земле!

— Что этот ребенок выдумывает!

— Ничего я не выдумываю, тут каждое слово правда, тетя Салли! А если никто не пойдет, я сам туда пойду! Я всю жизнь Джима знаю, и Том его знает тоже. Старая мисс Уотсон умерла два месяца назад. Ей стало стыдно, что она хотела продать Джима вниз по реке, она это сама говорила; вот она и освободила Джима в своем завещании.

— Так для чего же тебе понадобилось его освобождать, если он уже свободный?

— Только женщина может задать такой вопрос! А как же приключения-то? Да я бы и в крови по колено не побоялся... Господи, тетя Полли!

И провалиться мне на этом месте, если она не стояла тут, в дверях, кроткая и довольная, как ангел, объевшийся пирогом.

Тетя Салли бросилась к ней, заплакала и принялась ее обнимать, да так, что чуть не оторвала ей голову; а я сразу понял, что самое подходящее для меня место — под кроватью: похоже было, что над нами собирается гроза. Я выглянул, смотрю — тетя Полли высвободилась и стоит смотрит на Тома поверх очков — да так, как будто с землей сровнять его хочет. А потом и говорит:

— Да, отворачивайся, отворачивайся, Том! Я бы на твоем месте тоже отвернулась.

— Боже ты мой! — говорит тетя Салли.— Неужели он так изменился? Ведь это же не Том, это Сид! А Том... Да где же Том? Он только что был тут, сию минуту.

— Ты хочешь сказать, где Гек Финн,— вот что ты хочешь сказать! Столько лет я растила этого озорника Тома, мне ли его не узнать! Вот было бы мило!.. Гек Финн, вылезай из-под кровати сию минуту!

Я и вылез, только совсем оробел.

Тетя Салли до того растерялась, что я в жизни не видывал, разве вот один только дядя Сайлас растерялся еще больше, когда приехал из города и все это ему рассказали. Он сделался, можно сказать, вроде пьяного и весь остальной день ничего не соображал и такую сказал проповедь в тот вечер, что даже пер-

вый мудрец на свете — и тот ничего в ней не разобрал бы, так что после этого все к нему стали относиться с почтением. А тетя Полли рассказала им, кто я такой и откуда взялся, и мне пришлось объяснить, что я не знал, как выйти из положения, когда миссис Фелпс приняла меня за Тома Сойера... (Тут она перебила меня и говорит: «Нет, ты зови меня по-старому: тетя Салли, я теперь к этому привыкла, и менять не к чему!»)... когда тетя Салли приняла меня за Тома Сойера, и мне пришлось это терпеть, другого выхода не было, а я знал, что Том не обидится,— наоборот, будет рад, потому что получается таинственно, у него из этого выйдет целое приключение, и он будет доволен. Так оно и оказалось. Он выдал себя за Сида и устроил так, что для меня все сошло гладко.

А тетя Полли сказала, что Том говорил правду — старая мисс Уотсон действительно освободила Джима по завещанию; значит, верно — Том Сойер столько хлопотал и возился, для того чтобы освободить свободного негра! А я-то никак не мог понять, вплоть до этой самой минуты и до этого разговора, как это он, при таком воспитании,— и вдруг помогает освобождать негра!

Тетя Полли говорила, что, как только тетя Салли написала, что Том с Сидом доехали благополучно, она подумала: «Ну, так и есть! Надо было этого ожидать, раз я отпустила его одного и присмотреть за ним некому».

— Вот теперь и тащись такую даль сама на пароходе, за тысячу сто миль, узнавай, что там еще этот дрянной мальчишка натворил,— ведь от тебя я никакого ответа добиться не могла.

— Да ведь и я от тебя никаких писем не получала! — говорит тетя Салли.

— Быть не может! Я тебе два раза писала, спрашивала, почему ты пишешь, что Сид здесь,— что это значит?

— Ну, а я ни одного письма не получала.

Тетя Полли не спеша поворачивается и строго говорит:

— Том?

— Ну что? — отвечает он, надувшись.

— Не «что», озорник ты этакий, а подавай сюда письма!

— Какие письма?

— Такие, те самые! Ну, вижу, придется за тебя взяться...

— Они в сундучке. И никто их не брал, так и лежат с тех пор, как я их получил на почте. Я знал, что они наделают беды; думал, вам все равно спешить некуда...

— Выдрать бы тебя как следует! А ведь я еще одно письмо написала, что выезжаю; он, должно быть, и это письмо...

— Нет, оно только вчера пришло; я его еще не читала, но оно цело, лежит у меня.

Я хотел поспорить на два доллара, что не лежит, а потом подумал, что, может, лучше не спорить. И так ничего и не сказал.

Глава последняя

БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ

В первый же раз, как я застал Тома одного, я спросил его, для чего он затеял всю эту историю с побегом, что он собирался делать, если бы побег ему удался и он ухитрился бы освободить негра, который был давным-давно свободен. А Том на это сказал, что если бы нам удалось благополучно увезти Джима, то мы проехались бы вниз по реке на плоту до самого устья — приключений ради, он с самого начала так задумал,— а после того Том сказал бы Джиму, что он свободен, и мы повезли бы его домой на пароходе, заплатили бы ему за трату времени, послали бы вперед письмо, чтобы все негры собрались его встречать, и в город бы его проводили с факелами и с музыкой, и после этого он стал бы героем, и мы тоже. А по-моему, и без этого все кончилось неплохо.

Мы в одну минуту освободили Джима от цепей, а когда тетя Салли с дядей Сайласом и тетя Полли узнали, как хорошо он

помогал доктору ухаживать за Томом, они стали с ним ужасно носиться: устроили его как можно лучше, есть ему давали все, что он захочет, старались, чтобы он не скучал и ровно ничего не делал. Мы позвали Джима в комнату больного для серьезного разговора; и Том подарил ему сорок долларов за то, что он был узником и все терпел и так хорошо себя вел. А Джим обрадовался и давай болтать:

— Ну вот, Гек, что я тебе говорил? Что я тебе говорил на Джексоновом острове? Говорил, что грудь у меня волосатая и к чему такая примета; а еще говорил, что я уже был один раз богатый и опять разбогатею; вот оно и вышло по-моему! Ну вот! И не спорь лучше в другой раз — примета, она и есть примета, попомни мое слово! А я все равно знал, что опять разбогатею, это уж как пить дать!

А после этого Том опять принялся за свое, и пошел, и пошел: давайте, говорит, как-нибудь ночью убежим все втроем, перерядимся и отправимся на поиски приключений к индейцам, на Индейскую территорию, недельки на две, на три. А я ему говорю: ладно, это дело подходящее, только денег у меня нет на индейский костюм, а из дому я вряд ли получу, потому что отец, должно быть, уже вернулся, забрал все мои деньги у судьи Тэчера и пропил их.

— Нет, не пропил,— говорит Том,— они все целы, шесть тысяч, и даже больше; а твой отец так и не возвращался с тех пор. Во всяком случае, когда я уезжал, его еще не было.

А Джим и говорит, да так торжественно:

— Он больше никогда не вернется, Гек!

Я говорю:

— Почему не вернется, Джим?

— Почему бы ни было, не все ли равно, Гек, а только он больше не вернется.

Но я к нему пристал, и в конце концов он признался:

— Помнишь тот дом, что плыл вниз по реке? Там еще лежал человек, прикрытый одеялом, а я открыл и посмотрел, а тебя к нему не пустил? Ну вот, свои деньги ты получишь, когда понадобится, потому что это он и был.

Том давно поправился, носит свою пулю на часовой цепочке и то и дело справляется, который час; а больше писать не о чем, и я этому очень рад, потому что если бы я раньше знал, какая это канитель — писать книжку, то нипочем бы не взялся, и больше уж я писать никогда не буду. Но я, должно быть, удеру на Индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уже пробовал.

Принц и нищий

Главы I—XVI перевел

К. ЧУКОВСКИЙ

Главы XVII—XXXIII и заключение перевел

Н. ЧУКОВСКИЙ

Рисунки

Н. ЦЕЙТЛИНА

О, в милосердии двойная благодать:
Блажен и тот, кто милует, и тот,
Кого он милует. Всего сильнее
Оно в руках у сильных; королям
Оно пристало больше, чем корона.

Шекспир.
Венецианский купец

Глава I

РОЖДЕНИЕ ПРИНЦА И РОЖДЕНИЕ НИЩЕГО

Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия. В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нем, ждала его и молила бога о нем, что, когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Люди, едва знакомые, встречаясь в тот день, обнимались, целовались и плакали. Никто не работал, все праздновали — бедные и богатые, простолюдины и знатные,— пировали, плясали, пели, угощались ви-

ном, и такая гульба продолжалась несколько дней и ночей. Днем Лондон представлял собою очень красивое зрелище: на каждом балконе, на каждой крыше развевались яркие флаги, по улицам шествовали пышные процессии. Ночью тоже было на что посмотреть: на всех перекрестках пылали большие костры, а вокруг костров веселились целые полчища гуляк. Во всей Англии только и разговоров было, что о новорожденном Эдуарде Тюдоре, принце Уэлском[1], а тот лежал завернутый в шелка и атласы, не подозревая обо всей этой кутерьме и не зная, что с ним нянчатся знатные лорды и леди,— ему это было безразлично. Но нигде не слышно было толков о другом ребенке, о Томе Кенти, запеленатом в жалкие тряпки. Говорили о нем только в той нищенской убогой семье, которой его появление на свет сулило так много хлопот.

Глава II

ДЕТСТВО ТОМА

Перешагнем через несколько лет.

Лондон существовал уже пятнадцать веков и был большим городом по тем временам. В нем насчитывалось сто тысяч жителей, иные полагают — вдвое больше. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Кенти,— невдалеке от Лондонского моста. Дома были деревянные; второй этаж выдавался над первым, третий выставлял свои локти далеко над вторым. Чем выше росли дома, тем шире они становились. Остовы у них были из крепких, положенных крест-накрест балок; промежутки между балками заполнялись прочным материалом и сверху покрывались штукатуркой. Балки были выкрашены красной, синей или черной краской, смотря по вкусу владельца, и это придавало домам очень живописный вид. Окна были маленькие, с мелкими ромбами стекол, и открывались наружу на петлях, как двери.

Дом, где жил отец Тома, стоял в вонючем тупике за Обжорным рядом. Тупик назывался «Двор Отбросов». Дом был маленький, ветхий, шаткий, доверху набитый беднотой. Семья Кенти занимала каморку в третьем этаже. У отца с матерью существовало некоторое подобие кровати, но Том, его бабка и обе его сестры, Бэт и Нэн, не знали такого неудобства: им принадлежал весь пол, и они могли спать где им вздумается. К их услугам были обрывки двух-трех старых одеял и несколько

---

[1] Наследник английского престола носит титул принца Уэлского.

охапок грязной, обветшалой соломы, но это вряд ли можно было назвать постелью, потому что по утрам все это сваливалось в кучу, из которой к ночи каждый выбирал что хотел.

Бэт и Нэн были пятнадцатилетние девчонки-близнецы, добродушные замарашки, одетые в лохмотья и глубоко невежественные. Мать мало чем отличалась от них. Но отец с бабкой были сущие дьяволы; они напивались где только под руку подвернется. Бранились и сквернословили на каждом шагу, в пьяном и в трезвом виде. Джон Кенти был вор, а его мать — нищенка. Они научили детей просить милостыню, но сделать их ворами не могли.

Среди нищих и воров, наполнявших дом, жил один человек, который не принадлежал к их числу. То был добрый старик священник, выброшенный королем на улицу с ничтожной пенсией в несколько медных монет. Он часто уводил детей к себе и тайком от родителей внушал им любовь к добру. Он научил Тома читать и писать, от него Том приобрел и некоторые познания в латинском языке. Старик хотел научить грамоте и девочек, но девочки боялись подруг, которые стали бы смеяться над их неуместной ученостью.

Весь Двор Отбросов представлял собою такое же осиное гнездо, как и тот дом, где жил Кенти. Попойки, ссоры и драки были здесь в порядке вещей. Они происходили каждую ночь и длились чуть не до утра. Пробитые головы были здесь таким же заурядным явлением, как голод. И все же маленький Том не чувствовал себя несчастным. Иной раз ему приходилось очень туго, но он не придавал своим бедствиям большого значения: так жилось всем мальчишкам во Дворе Отбросов; поэтому он полагал, что иначе и быть не должно. Он знал, что вечером, когда он вернется домой с пустыми руками, отец изругает его и прибьет, да и бабка не даст ему спуску, а поздней ночью подкрадется вечно голодная мать и потихоньку сунет черствую корку или какие-нибудь объедки, которые она могла бы съесть сама, но сберегла для него, хотя уже не раз попадалась во время этих предательских действий и получала в награду тяжелые побои от мужа.

Нет, Тому жилось не так уж плохо, особенно в летнее время. Он просил милостыню не слишком усердно — лишь бы только избавиться от отцовских побоев,— потому что законы против нищенства были суровы и попрошаек наказывали очень жестоко. Немало часов проводил он со священником Эндрью, слушая его дивные старинные легенды и сказки о великанах и карликах, о волшебниках и феях, о заколдованных замках, великолепных королях и принцах. Воображение мальчика было полно всеми этими чудесами, и не раз ночью, в темноте, лежа на скудной

и колкой соломе, усталый, голодный, избитый, он давал волю мечтам и скоро забывал и обиды и боль, рисуя себе сладостные картины восхитительной жизни какого-нибудь изнеженного принца в королевском дворце. День и ночь его преследовало одно желание: увидеть своими глазами настоящего принца. Раз он высказал это желание товарищам по Двору Отбросов, но те подняли его на смех и так безжалостно издевались над ним, что он решил впредь не делиться своими мечтами ни с кем.

Ему часто случалось читать у священника старые книги. По просьбе мальчика священник объяснял ему их смысл, а порою дополнял своими рассказами. Мечтания и книги оставили след в душе Тома. Герои его фантазии были так изящны и нарядны, что он стал тяготиться своими лохмотьями, своей неопрятностью, и ему захотелось быть чистым и лучше одетым. Правда, он и теперь зачастую возился в грязи с таким же удовольствием, как прежде, но в Темзе стал он плескаться не только для забавы: теперь ему нравилось также и то, что вода смывает с него грязь.

У Тома всегда находилось на что поглазеть возле майского шеста[1] в Чипсайде или на ярмарках. Кроме того, время от времени ему, как и всем лондонцам, удавалось полюбоваться военным парадом, когда какую-нибудь несчастную знаменитость везли в тюрьму Тауэра[2] сухим путем или в лодке. В один летний день ему пришлось видеть, как сожгли на костре в Смитфилде бедную Энн Эскью[3], а с нею еще трех человек; он слышал, как некий бывший епископ читал им длинную проповедь, которая, впрочем, очень мало заинтересовала его. Да, в общем, жизнь Тома была довольно-таки разнообразна и приятна.

Понемногу чтение книг и мечты о жизни королей так сильно подействовали на него, что он, сам того не замечая, стал *разыгрывать* из себя принца, к восхищению и потехе своих уличных товарищей. Его речь и повадки стали церемонны и величественны. Его влияние во Дворе Отбросов с каждым днем возрастало, и постепенно сверстники привыкли относиться к нему с восторженным почтением, как к высшему существу. Им казалось, что он так много знает, что он способен к таким дивным речам и делам! И сам он был такой умный, ученый! О каждом замечании и о каждом поступке Тома дети рассказывали старшим, так что

---

[1] Майский шест — высокая мачта, украшенная цветами и флагами; вокруг нее происходили майские гулянья.

[2] Тауэр — лондонская крепость, служившая темницей для лордов, герцогов и королей.

[3] Энн Эскью (1521—1546) — протестантка; из-за религиозных разногласий с господствующей католической церковью была подвергнута пыткам и сожжена в Смитфилде.

вскоре и старшие заговорили о Томе Кенти и стали смотреть на него как на чрезвычайно одаренного, необыкновенного мальчика. Взрослые в затруднительных случаях стали обращаться к нему за советом и часто дивились остроумию и мудрости его приговоров. Он стал героем для всех, кто знал его,— только родные не видели в нем ничего замечательного.

Прошло немного времени, и Том завел себе настоящий королевский двор. Он был принцем; его ближайшие товарищи были телохранителями, камергерами, шталмейстерами, придворными лордами, статс-дамами и членами королевской фамилии. Каждый день самозваного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из старинных романов; каждый день великие дела его мнимой державы обсуждались на королевском совете; каждый день его высочество мнимый принц отдавал приказы воображаемым армиям, флотам и заморским владениям.

Потом он в тех же лохмотьях шел просить милостыню, выпрашивал несколько фартингов[1], глодал черствую корку, получал обычную долю побоев и ругани и, растянувшись на охапке вонючей соломы, вновь предавался мечтам о своем воображаемом величии. А желание увидеть хоть раз настоящего, живого принца росло в нем с каждым днем, с каждой неделей и в конце концов заслонило все другие желания и стало его единственной страстью.

В один январский день он, как всегда, вышел в поход за милостыней. Несколько часов подряд, босой, продрогший, уныло слонялся он вокруг Минсинг Лэйна и Литтл Ист Чипа, заглядывая в окна харчевен и глотая слюнки при виде ужаснейших свиных паштетов и других смертоубийственных изобретений, выставленных в окне. Для него это были райские лакомства, достойные ангелов, по крайней мере судя по запаху,— отведывать их ему никогда не случалось... Моросил мелкий холодный дождь; день был тоскливый и хмурый. Под вечер Том пришел домой такой измокший, утомленный, голодный, что даже отец с бабкой как будто пожалели его — конечно, на свой лад: наскоро угостили его тумаками и отправили спать. Долго боль и голод, а также ругань и потасовки соседей не давали ему уснуть, но наконец мысли его унеслись в дальние, чудесные страны, и он уснул среди принцев, с ног до головы усыпанных золотом и драгоценными каменьями. Принцы жили в огромных дворцах, где слуги благоговейно склонялись перед ними или летели выполнять их приказания. А затем, как водится, ему приснилось, что *он и сам* — принц. Всю ночь он упивался своим королевским величием; всю ночь окружали его знатные люди и лорды;

---

[1] Фартинг — мелкая медная монета.

в сиянии яркого света он шествовал среди них, вдыхая чудесные ароматы, восхищаясь сладостной музыкой и отвечая на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы — то улыбкой, то царственным кивком.

А утром, когда он проснулся и увидал окружающую его нищету, все вокруг — как всегда после подобного сна — показалось ему в тысячу раз неприглядnее. Сердце его горестно заныло, и он залился слезами.

Глава III

ВСТРЕЧА ТОМА С ПРИНЦЕМ

Том встал голодный и голодный поплелся из дому, но все его мысли были поглощены призрачным великолепием его ночных сновидений. Он рассеянно брел по улицам, почти не замечая, куда идет и что происходит вокруг. Иные толкали его, иные ругали, но он был погружен в свои мечты, ничего не видел, не слышал. Наконец он очутился у ворот Темпл Бара. Дальше в эту сторону он никогда не заходил. Он остановился и с минуту раздумывал, куда он попал; потом мечты снова захватили его, и он очутился за городскими стенами. В то время Стренд уже не был проселочной дорогой и даже считал себя улицей, но вряд ли он имел право на это, потому что, хотя по одну сторону Стренда тянулся почти сплошной ряд домов, дома на другой стороне были разбросаны далеко друг от друга — великолепные замки богатейших дворян, окруженные роскошными садами, спускавшимися к реке. В наше время на месте этих садов теснятся целые мили угрюмых строений из камня и кирпича.

Том добрался до деревни Черинг и присел отдохнуть у подножия красивого креста, воздвигнутого в давние дни одним овдовевшим королем, оплакивавшим безвременную кончину супруги; потом опять неторопливо побрел по прекрасной пустынной дороге, миновал роскошный дворец кардинала и направился к другому, еще более роскошному и величественному дворцу — Вестминстерскому. Пораженный и счастливый, глядел он на громадное здание с широко раскинувшимися крыльями, на грозные бастионы и башни, на массивные каменные ворота с золочеными решетками, на колоссальных гранитных львов и другие эмблемы английской королевской власти. Неужели настало время, когда его заветное желание сбудется? Ведь это королевский дворец. Разве не может случиться, что небеса окажутся благосклонны к Тому и он увидит принца — настоящего принца, из плоти и крови?

По обеим сторонам золоченых ворот стояли две живые ста-

туи — стройные и неподвижные воины, закованные с ног до головы в блестящие стальные латы. На почтительном расстоянии от дворца виднелись группы крестьян и городских жителей, чающих хоть одним глазком увидеть кого-нибудь из королевской семьи. Нарядные экипажи с нарядными господами и такими же нарядными слугами на запятках въезжали и выезжали из многих великолепных ворот дворцовой ограды.

Бедный маленький Том в жалких лохмотьях приблизился к ограде и медленно, несмело прошел мимо часовых; сердце его сильно стучало, в душе пробудилась надежда. И вдруг он увидел сквозь золотую решетку такое зрелище, что чуть не вскрикнул от радости. За оградой стоял миловидный мальчик; смуглый и загорелый от игр и гимнастических упражнений на воздухе, разодетый в шелка и атлас, сверкающий драгоценными камнями; на боку у него висела маленькая шпага, усыпанная самоцветами, и кинжал; на ногах были высокие изящные сапожки с красными каблучками, а на голове — прелестная алая шапочка с ниспадающими на плечи перьями, скрепленными крупным драгоценным камнем. Поблизости стояло несколько пышно разодетых господ — без сомнения, его слуги. О, это, конечно, принц! Настоящий, живой принц! Тут не могло быть и тени сомнения. Наконец-то была услышана молитва мальчишки-нищего!

Том стал дышать часто-часто, глаза его широко раскрылись от удивления и радости. В эту минуту все его существо было охвачено одним желанием, заслонившим собою все другие: подойти ближе к принцу и всласть наглядеться на него. Не сознавая, что делает, он прижался к решетке ворот. Но в тот же миг один из солдат грубо оттащил его прочь и швырнул в толпу деревенских зевак и столичных бездельников с такой силой, что мальчик завертелся вьюном.

— Знай свое место, бродяга! — сказал солдат.

Толпа загоготала, но маленький принц подскочил к воротам с пылающим лицом и крикнул, гневно сверкая глазами:

— Как смеешь ты обижать этого бедного отрока! Как смеешь ты так грубо обращаться даже с самым последним из подданных моего отца-короля? Отвори ворота, и пусть он войдет!

Посмотрели бы вы, как преклонилась пред ним изменчивая, ветреная толпа, как обнажились все головы! Послушали бы, как радостно толпа закричала: «Да здравствует принц Уэлский!»

Солдаты отдали честь алебардами, отворили ворота и снова отдали честь, когда мимо них прошел принц Нищеты в развевающихся лохмотьях и поздоровался за руку с принцем Несметных Богатств.

— Ты кажешься голодным и усталым,— произнес Эдуард Тюдор.— Тебя обидели. Следуй за мной.

С полдюжины придворных лакеев бросились вперед — уж не знаю зачем: вероятно, они хотели вмешаться. Но принц отстранил их истинно королевским движением руки, и они мгновенно застыли на месте, как статуи. Эдуард ввел Тома в роскошно убранную комнату во дворце, которую он называл своим кабинетом. По его приказу были принесены такие яства, каких Том в жизни своей не видывал, только читал о них в книгах. С деликатностью и любезностью, подобающей принцу, Эдуард отослал слуг, чтобы они не смущали смиренного гостя своими укоризненными взорами, а сам сел рядом и, покуда Том ел, задавал ему вопросы:

— Как тебя зовут, отрок?

— Том Кенти, с вашего позволения, сэр.

— Странное имя...[1] Где ты живешь?

— В Лондоне, осмелюсь доложить вашей милости. Двор Отбросов за Обжорным рядом.

— Двор Отбросов! Еще одно странное имя!.. Есть у тебя родители?

— Родители у меня есть. Есть и бабка, которую я не слишком люблю,— да простит мне господь, если это грешно!.. И еще у меня есть две сестры-близнецы — Нэн и Бэт.

— Должно быть, твоя бабка не очень добра к тебе?

— Она ни к кому не добра, смею доложить вашей светлости. В сердце у нее нет доброты, и все свои дни она творит только зло.

— Обижает она тебя?

— Лишь тогда она не колотит меня, когда спит или затуманит свой разум вином. Но как только в голове у нее проясняется, она бьет меня вдвое сильнее.

Глаза маленького принца сверкнули гневом.

— Как? Бьет? — вскрикнул он.

— О да, смею доложить вашей милости!

— *Бьет!* Тебя, такого слабосильного, маленького! Слушай! Прежде чем наступит ночь, ее свяжут и бросят в Тауэр. Король, мой отец...

— Вы забываете, сэр, что она низкого звания. Тауэр — темница для знатных.

— Правда! Это не пришло мне в голову. Но я подумаю, как наказать ее. А отец твой добр к тебе?

— Не добрее моей бабки Кенти, сэр.

— Отцы, кажется, все одинаковы. И у моего нрав не кроткий. Рука у него тяжелая, но меня он не трогает. Хотя на брань

---

[1] К е н т и (canty) *(англ.)* — бойкий, веселый, живой.

— Ты кажешься голодным и усталым. Тебя обидели. Следуй за мной,— произнес принц.

он, по правде сказать, не скупится. А как обходится с тобою твоя мать?

— Она добра, сэр, и никогда не причиняет мне ни огорчений, ни боли. И Нэн и Бэт так же добры, как она.

— Сколько им лет?

— Пятнадцать, с вашего позволения, сэр.

— Леди Елизавете, моей сестре, четырнадцать. Леди Джэн Грей, моя двоюродная сестра, мне ровесница; они обе миловидны и приветливы; но моя другая сестра, леди Мэри, у которой такое мрачное, хмурое лицо... Скажи, твои сестры запрещают служанкам смеяться, дабы те не запятнали свою душу грехом?

— Мои сестры? Вы полагаете, сэр, что *у них* есть служанки?

Минуту маленький принц смотрел на маленького нищего с важной задумчивостью, потом произнес:

— Как же, скажи на милость, могут они обойтись без служанок? Кто помогает им снимать на ночь одежду? Кто одевает их, когда они встанут поутру?

— Никто, сэр. Вы хотите, чтобы на ночь они раздевались и спали без одежды, как звери?

— Без одежды? Разве у них по одному только платью?

— Ах, ваша милость, да на что же им больше? Ведь не два же у них тела у каждой.

— Какая странная, причудливая мысль! Прости мне этот смех, я не думал обидеть тебя. У твоих добрых сестер, Нэн и Бэт, будет платьев и слуг достаточно, и очень скоро: об этом позаботится мой казначей. Нет, не благодари меня, это пустое. Ты хорошо говоришь, легко и красиво. Ты обучен наукам?

— Не знаю, как сказать, сэр. Добрый священник Эндрью из милости обучил меня по своим книгам.

— Ты знаешь латынь?

— Боюсь, что знания мои скудны, сэр.

— Выучись, милый,— это нелегко лишь на первых порах. Греческий труднее, но, кажется, ни латинский, ни греческий, ни другие языки не трудны леди Елизавете и моей кузине. Послушал бы ты, как эти юные дамы говорят на чужих языках! Но расскажи мне о твоем Дворе Отбросов. Весело тебе там живется?

— Поистине весело, с вашего разрешения, сэр, если, конечно, я сыт. Нам показывают Панча и Джуди[1], а также обезьянок. О, какие это потешные твари! У них такая пестрая одежда! Кроме того, нам дают представления: актеры играют, кричат,

---

[1] Панч и Джуди — персонажи английского народного кукольного театра, вроде нашего Петрушки.

дерутся, а потом убивают друг друга и падают мертвыми. Так занятно смотреть, и стоит всего лишь фартинг; только иной раз очень уж трудно добыть этот фартинг, смею доложить вашей милости.

— Рассказывай еще!

— Мы, мальчики во Дворе Отбросов, иногда сражаемся между собою на палках, как подмастерья.

У принца сверкнули глаза.

— Ого! От этого и я бы не прочь. Рассказывай еще!

— Мы бегаем взапуски, сэр, кто кого перегонит.

— Мне пришлось бы по вкусу и это! Дальше!

— Летом, сэр, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять, и кричим, и прыгаем, и...

— Я отдал бы все королевство моего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так! Пожалуйста, рассказывай еще!

— Мы поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайде; мы зарываем друг друга в песок; мы делаем из грязи пироги... О, эта прекрасная грязь! В целом мире ничего не доставляет нам больше удовольствия. Мы прямо-таки валяемся в грязи, не в обиду будь вам сказано, сэр!

— Ни слова больше, прошу тебя! Это чудесно! Если бы я только мог облечься в одежду, которая подобна твоей, походить босиком, всласть поваляться в грязи, хоть один-единственный раз, но чтобы меня никто не бранил и не сдерживал,— я, кажется, с радостью отдал бы корону.

— А я... если бы я хоть мог одеться так, как вы, ваша светлость... только один-единственный раз...

— О, вот чего̀ тебе хочется? Что ж, будь по-твоему! Снимай лохмотья и надевай этот роскошный наряд. У нас будет недолгое счастье, но от этого оно не станет менее радостным! Позабавимся, покуда возможно, а потом опять переоденемся, прежде чем придут и помешают.

Не прошло и пяти минут, как маленький принц Уэлский облекся в тряпье Тома, а маленький принц Нищеты — в великолепное цветное королевское платье. Оба подошли к большому зеркалу, и — о чудо! — им показалось, что они вовсе не менялись одеждой. Они уставились друг на друга, потом поглядели в зеркало, потом опять друг на друга. Наконец удивленный принц сказал:

— Что ты об этом думаешь?

— Ах, ваша милость, не требуйте, чтобы я ответил на этот вопрос. В моем звании не подобает говорить о таких вещах.

— Тогда скажу об этом я. У тебя такие же волосы, такие же

Принц Уэлский и Том подошли к зеркалу, и — о чудо! — им показалось, что они вовсе не менялись одеждой.

глаза, такой же голос, такая же поступь, такой же рост, такая же осанка, такое же лицо, как у меня. Если бы мы вышли нагишом, никто не мог бы сказать, кто из нас ты, а кто принц Уэлский. Теперь, когда на мне твоя одежда, мне кажется, я живее чувствую, что почувствовал ты, когда грубый солдат... Послушай, откуда у тебя этот синяк на руке?

— Пустяки, государь! Ваша светлость знает, что тот злополучный часовой...

— Молчи! Он поступил постыдно и жестоко! — воскликнул маленький принц, топнув босой ногой.— Если король... Не двигайся с места, пока я не вернусь! Таково мое приказание!

В один миг он схватил и спрятал какой-то предмет государственной важности, лежавший на столе, и, выскочив за дверь, помчался в жалких лохмотьях по дворцовым покоям. Лицо у него разгорелось, глаза сверкали. Добежав до больших ворот, он вцепился в железные прутья и, дергая их, закричал:

— Открой! Отвори ворота!

Солдат, тот самый, что обидел Тома, немедленно исполнил это требование: как только принц, задыхаясь от монаршего гнева, выбежал из высоких ворот, солдат наградил его такой звонкой затрещиной, что он кубарем полетел на дорогу.

— Вот тебе, нищенское отродье, за то, что мне из-за тебя досталось от его высочества! — сказал солдат.

Толпа заревела, захохотала. Принц выкарабкался из грязи и гневно подскочил к часовому, крича:

— Я — принц Уэлский! Моя особа священна, и тебя повесят за то, что ты осмелился ко мне прикоснуться!

Солдат отдал ему честь алебардой и, ухмыляясь, сказал:

— Здравия желаю, ваше королевское высочество! — Потом сердито: — Поди ты вон, полоумная рвань!

Толпа с хохотом сомкнулась вокруг бедного маленького принца и погнала его по дороге с гиканьем и криками:

— Дорогу его королевскому высочеству! Дорогу принцу Уэлскому!

Глава IV

НЕВЗГОДЫ ПРИНЦА НАЧИНАЮТСЯ

Толпа травила и преследовала принца в течение многих часов, а потом отхлынула и оставила его в покое. Пока у принца хватало сил яростно отбиваться от черни, грозя ей своей королевской немилостью, пока он мог по-королевски отдавать ей приказания, это забавляло всех, но когда усталость наконец

принудила принца умолкнуть, он утратил для мучителей всякую занимательность, и они отправились искать себе других развлечений. Принц стал озираться вокруг, но не узнавал местности; он знал только, что находится в Лондоне. Он пошел куда глаза глядят. Немного погодя дома стали редеть, прохожих встречалось все меньше. Он окунул окровавленные ноги в ручей, протекавший там, где теперь находится Фарингдон-стрит, отдохнул несколько минут и снова пустился в путь. Скоро добрел он до большого пустыря, где было лишь несколько беспорядочно разбросанных зданий и стояла огромная церковь. Принц узнал эту церковь. Она была окружена лесами, и всюду возились рабочие: ее перестраивали заново. Принц сразу приободрился. Он почувствовал, что его злоключениям — конец, и сказал себе: «Это древняя церковь Серых монахов, которую король, мой отец, отнял у них и превратил в убежище для брошенных и бедных детей и дал ей новое название — Христова обитель. Здешние питомцы, конечно, с радостью окажут услугу сыну того, кто был так щедр и великодушен к ним, тем более что этот сын так же покинут и беден, как те, что ныне нашли здесь приют или найдут его в будущем».

Скоро он очутился в толпе мальчуганов, которые бегали, прыгали, играли в мяч и в чехарду,— каждый забавлялся как мог, и все страшно шумели. Они были одеты одинаково, как одевались в те дни подмастерья и слуги. У каждого на макушке была плоская черная шапочка величиною с блюдце — она не защищала головы, потому что была очень мала, и уж совсем не украшала ее; из-под шапочки падали на лоб волосы, подстриженные в кружок, без пробора; на шее — воротник, как у лиц духовного звания; синий камзол с широкими рукавами, плотно облегавший тело и доходивший до колен; широкий красный пояс, ярко-желтые чулки, перетянутые выше колен подвязками, и туфли с большими металлическими пряжками. Это был довольно безобразный костюм.

Мальчики прекратили игру и столпились вокруг принца. Тот проговорил с прирожденным достоинством:

— Добрые мальчики, скажите вашему начальнику, что с ним желает беседовать Эдуард, принц Уэлский.

Эти слова были встречены громкими криками, а один дерзкий подросток сказал:

— Ты, что ли, оборванец, посол его милости?

Лицо принца вспыхнуло гневом, он привычным жестом протянул было руку к бедру, но ничего не нашел. Все дружно захохотали, и один мальчишка крикнул:

— Видали? Он и впрямь был уверен, что у него, как у принца, есть шпага!

Эта насмешка вызвала новый взрыв хохота. Эдуард гордо выпрямился и сказал:

— Да, я принц. И не подобает вам, кормящимся щедротами отца моего, так обращаться со мною.

Слова его показались чрезвычайно забавными, и толпа опять захохотала. Подросток, который вступил в разговор раньше всех, крикнул своим товарищам:

— Эй вы, свиньи, рабы, нахлебники царственного отца его милости, или вы забыли приличия? Скорее на колени, вы все, да стукайте лбами покрепче! Кланяйтесь его королевской особе и его королевским лохмотьям!

И с буйным весельем все они упали на колени, воздавая своей жертве глумливые почести.

Принц пнул ближайшего мальчишку ногой и с негодованием сказал:

— Вот тебе покуда задаток, а завтра я тебя вздерну на виселицу!

Ого, это уж не шутка! Какие тут шутки! Смех мгновенно умолк, и веселье уступило место ярости. Голосов десять закричало:

— Держи его! Волоки его в пруд! Где собаки? Хватай его, Лев! Хватай его, Клыкастый!

Затем последовала сцена, какой никогда еще не видела Англия: плебеи подняли руку на священную особу наследника и стали травить его псами, которые чуть не разорвали его.

К ночи принц очутился в густонаселенной части города. Тело его было в синяках, руки в крови, лохмотья забрызганы грязью. Он бродил по улицам, все больше теряя мужество,— усталый и слабый, еле волоча ноги. Он уже перестал задавать вопросы прохожим, потому что те отвечали ему одними ругательствами. Он бормотал про себя:

— Двор Отбросов! Только бы хватило у меня сил не упасть и дотащиться до него — тогда я спасен. Родные этого мальчишки отведут меня во дворец, скажут, что я не принадлежу к их семье, что я истинный принц,— и я снова стану, чем был.

Время от времени он вспоминал, как его обидели мальчишки из Христовой обители, и говорил себе:

— Когда я сделаюсь королем, они не только получат от меня пищу и кров, но будут учиться по книгам, так как сытый желудок немного стоит, если голодают сердце и ум. Эту историю я постараюсь хорошенько запомнить, чтобы урок, полученный мною сегодня, не пропал даром и мой народ не страдал бы от невежества. Знание смягчает сердца, воспитывает милосердие и жалость.

В окнах зажглись огни, поднялся ветер, пошел дождь —

наступила сырая, холодная ночь. Бездомный принц, бесприютный наследник английского трона, шел все дальше и дальше, углубляясь в лабиринты грязных улиц, где теснились кишащие ульи нищеты.

Вдруг какой-то пьяный огромного роста грубо схватил его за шиворот и сказал:

— Опять прошлялся до такого позднего часа, а домой небось не принес ни одного медного фартинга! Ну смотри! Если ты без денег, я переломаю тебе все твои тощие ребра, не будь я Джон Кенти!

Принц вырвался из рук пьяницы и, брезгливо потирая осквернённое его прикосновением плечо, вскричал:

— О, ты *его отец? Слава благим небесам!* Отведи меня в родительский дом, а его уведи оттуда.

— *Его отец?* Не знаю, что ты хочешь сказать, но знаю, что *твой* отец я... И скоро ты на собственной шкуре...

— О, не шути, не лукавь и не мешкай! Я устал, я изранен, я не в силах терпеть. Отведи меня к моему отцу, королю, и он наградит тебя такими богатствами, какие тебе не снились и в самом причудливом сне. Верь мне, верь, я не лгу, я говорю чистую правду! Протяни мне руку, спаси меня! Я воистину принц Уэлский!

С изумлением уставился Джон Кенти на мальчика и, качая головой, пробормотал:

— Спятил с ума, словно сейчас из сумасшедшего дома.

Потом он опять схватил принца за шиворот, хрипло засмеялся и выругался:

— В своем ты уме или нет, а мы с бабкой пересчитаем тебе все ребра, не будь я Джон Кенти!

И он потащил за собой упирающегося, разъяренного принца и скрылся вместе с ним в одном из ближайших дворов, провожаемый громкими и веселыми криками уличного сброда.

Глава V

ТОМ — ПАТРИЦИЙ

Том Кенти, оставшись один в кабинете принца, отлично использовал свое уединение. То так, то этак становился он перед большим зеркалом, восхищаясь своим великолепным нарядом, потом отошел, подражая благородной осанке принца и все время наблюдая в зеркале, какой это производит эффект, потом обнажил красивую шпагу и с глубоким поклоном поцеловал ее клинок и прижал к груди, как делал это пять-шесть недель назад на его глазах один благородный рыцарь, отдавая честь коменданту Тауэра при передаче ему знатных лордов Норфолька и Сэррея для заключения в тюрьму[1]. Том играл изукрашенным драгоценными каменьями кинжалом, висевшим у него на бедре, рассматривал изысканное и дорогое убранство комнаты, садился по очереди в каждое из роскошных кресел и думал о том, как важничал бы он, если бы мальчишки со Двора Отбросов могли глянуть сюда хоть одним глазком и увидеть его в таком великолепии. Поверят ли они его чудесным рассказам, когда он вернется домой, или будут качать головами и приговаривать, что от чрезмерно разыгравшегося воображения он в конце концов лишился рассудка?

Так прошло с полчаса. Тут он впервые подумал, что принца что-то долго нет, и почувствовал себя одиноким. Очень скоро красивые безделушки, окружавшие его, перестали его забавлять; он жадно прислушивался к каждому звуку. Сперва ему было не по себе, потом он встревожился, потом не на шутку испугался. Вдруг войдут какие-нибудь люди и застанут его в одежде принца, а принца нет, и никто не объяснит им, в чем дело. Ведь они, чего доброго, тут же повесят его, а потом уж начнут дознаваться, как он сюда попал. Он слыхал, что у знатных людей решения принимаются быстро, когда дело идет о таких мелочах. Тревога его росла. Весь дрожа, он тихонько отворил дверь в соседний покой. Нужно поскорее отыскать принца. Принц защитит его и выпустит отсюда. Шестеро великолепно одетых господ, составлявших прислугу принца, и два молодых пажа знатного рода, нарядные, словно бабочки, вскочили и низко поклонились ему. Он поспешно отступил и захлопнул за собою дверь.

«Они смеются надо мною! — подумал он.— Они сейчас пойдут и расскажут... О, зачем я попал сюда на свою погибель!»

Он зашагал из угла в угол в безотчетной тревоге и стал

---

[1] Томас Норфольк, герцог, и его сын — английский поэт граф Генри Сэррей 12 декабря 1546 года были заключены в Тауэр по обвинению в государственной измене.

прислушиваться, вздрагивая при каждом шорохе. Вдруг двери распахнулись, и шелковый паж доложил:

— Леди Джэн Грей.

Двери закрылись, и к нему подбежала вприпрыжку прелестная, богато одетая девочка. Вдруг она остановилась и проговорила с огорчением:

— О! Почему ты так печален, милорд?

Том обмер, но сделал над собою усилие и пролепетал:

— Ах, сжалься надо мною! Я не милорд, я всего только бедный Том Кенти из Лондона, со Двора Отбросов. Прошу тебя, позволь мне увидеть принца, дабы он, по своему милосердию, отдал мне мои лохмотья и позволил уйти отсюда целым и невредимым. О, сжалься, спаси меня!

Мальчик упал на колени, простирая к ней руки, моля не только словами, но и взглядом. Девочка, казалось, онемела от ужаса, потом воскликнула:

— О милорд, ты на коленях — передо *мною!* — и в страхе убежала.

Том в отчаянии упал на пол и сказал про себя:

— Ни помощи, ни надежды! Сейчас придут и схватят меня.

Между тем, пока он лежал на полу, цепенея от ужаса, страшная весть разнеслась по дворцу. Шепот переходил от слуги к слуге, от лорда к леди — во дворцах всегда говорят шепотом,— и по всем длинным коридорам, из этажа в этаж, из зала в зал проносилось: «Принц сошел с ума! Принц сошел с ума!» Скоро в каждой гостиной, в каждом мраморном зале блестящие лорды и леди и другие столь же ослепительные, хотя и менее знатные, особы оживленно шептались друг с другом, и на каждом лице была скорбь. Внезапно появился пышно разодетый царедворец и мерным шагом обошел всех, торжественно провозглашая:

«ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!

Под страхом смерти воспрещается внимать этой лживой и нелепой вести, обсуждать ее и выносить за пределы дворца! Именем короля!»

Шушуканье сразу умолкло, как будто все шептавшиеся вдруг онемели.

Вскоре по коридорам пронеслось пчелиное жужжание:

— Принц! Смотрите, принц идет!

Бедный Том медленно шел мимо низко кланявшихся ему придворных, стараясь отвечать им такими же поклонами и смиренно поглядывая на всю эту странную обстановку растерянными, жалкими глазами. Двое вельмож поддерживали его под руки

с обеих сторон, чтобы придать твердость его походке. Позади шли придворные врачи и несколько лакеев.

Затем Том очутился в богато убранном покое дворца и услышал, как за ним захлопнули дверь. Вокруг него стали те, кто сопровождал его.

Перед ним на небольшом расстоянии полулежал очень грузный, очень толстый мужчина с широким мясистым лицом и недобрым взглядом. Огромная голова его была совершенно седая; бакенбарды, окаймлявшие лицо, тоже были седые. Платье на нем было из дорогой материи, но поношенно и местами потерто. Распухшие ноги — одна из них была забинтована — покоились на подушке. В комнате царила тишина, и все, кроме Тома, почтительно склонили головы. Этот калека с суровым лицом был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его неожиданно стало ласковым:

— Ну что, милорд Эдуард, мой принц? С чего тебе вздумалось шутить надо мною такие печальные шутки, надо мною — твоим добрым отцом-королем, который так любит и ласкает тебя?

Бедный Том выслушал, насколько ему позволяли его удрученные чувства, начало этой речи, но, когда слова «твоим добрым отцом-королем» коснулись его слуха, лицо у него побелело и он, как подстреленный, упал на колени, поднял кверху руки и воскликнул:

— Ты — *король?* Ну, тогда мне и вправду конец!

Эти слова ошеломили короля, глаза его растерянно перебегали от одного лица к другому и наконец остановились на мальчике. Тоном глубокого разочарования он проговорил:

— Увы, я думал, что слухи не соответствуют истине, но боюсь, что ошибся.— Он тяжело вздохнул и ласково обратился к Тому: — Подойди к отцу, дитя мое. Ты нездоров?

Тому помогли подняться на ноги, и, весь дрожа, он робко подошел к его величеству королю Англии. Сжав его виски между ладонями, король любовно и пристально вглядывался в его испуганное лицо, как бы ища утешительных признаков возвращающегося рассудка, потом притянул к груди кудрявую голову мальчика и нежно потрепал ее рукой.

— Неужели ты не узнаешь своего отца, дитя мое? — сказал он.— Не разбивай моего старого сердца, скажи, что ты знаешь меня! Ведь ты меня *знаешь*, не правда ли?

— Да. Ты мой грозный повелитель, король, да хранит тебя бог!

— Верно, верно, это хорошо... Успокойся же, не дрожи. Здесь никто не обидит тебя, здесь все тебя любят. Теперь тебе лучше, дурной сон проходит, не правда ли? И ты опять узнаешь самого себя — ведь узнаешь? Сейчас мне сообщили, что ты на-

зывал себя чужим именем. Но больше ты не будешь выдавать себя за кого-то другого, не правда ли?

— Прошу тебя, будь милостив, верь мне, мой августейший повелитель: я говорю чистую правду. Я нижайший из твоих подданных, я родился нищим, и только горестный, обманчивый случай привел меня сюда, хотя я не сделал ничего дурного. Умирать мне не время, я молод. Одно твое слово может спасти меня. О, скажи это слово, государь!

— Умирать? Не говори об этом, милый принц, успокойся. Да снидет мир в твою встревоженную душу... ты не умрешь.

Том с криком радости упал на колени:

— Да наградит тебя господь за твою доброту, мой король, и да продлит он твои годы на благо страны!

Том вскочил на ноги и с веселым лицом обратился к одному из двух сопровождавших его лордов:

— Ты слышал? Я не умру! Это сказал сам король!

Все склонили головы с угрюмой почтительностью, но никто не тронулся с места и не сказал ни слова. Том помедлил, слегка смущенный, потом повернулся к королю и боязливо спросил:

— Теперь я могу уйти?

— Уйти? Конечно, если ты желаешь. Но почему бы тебе не побыть здесь еще немного? Куда же ты хочешь идти?

Том потупил глаза и смиренно ответил:

— Возможно, что я ошибся; но я счел себя свободным и хотел вернуться в конуру, где родился и рос в нищете, где поныне обитают моя мать, мои сестры; эта конура — мой дом, тогда как вся эта пышность и роскошь, к коим я не привык... О, будь милостив, государь, разреши мне уйти!

Король задумался и некоторое время молчал. Лицо его выражало все возрастающую душевную боль и тревогу. Но в голосе его, когда он заговорил, прозвучала надежда:

— Быть может, он помешался на одной этой мысли и его разум остается по-прежнему ясным, когда обращается на другие предметы? Пошли, господь, чтоб это было так! Мы испытаем его!

Он задал Тому вопрос по-латыни, и Том с грехом пополам ответил ему латинской фразой. Король был в восторге и не скрывал этого. Лорды и врачи также выразили ему свое удовольствие.

— При его учености и дарованиях,— заметил король,— он мог бы ответить гораздо лучше, однако этот ответ показывает, что его разум только затмился, но не поврежден безнадежно Как вы полагаете, сэр?

Врач, к которому были обращены эти слова, низко поклонился и ответил:

Перед Томом лежал грузный мужчина с суровым лицом. Это был грозный Генрих VIII.

— Ваша догадка верна, государь, и вполне согласна с моим убеждением.

Король был, видимо, рад одобрению столь глубокого знатока и уже веселее продолжал:

— Хорошо! Следите все. Будем испытывать его дальше.

И он предложил Тому вопрос по-французски. Том с минуту молчал, смущенный тем, что все взгляды сосредоточились на нем, потом застенчиво ответил:

— С вашего позволения, сэр, мне этот язык неизвестен.

Король откинулся назад, на подушки. Несколько слуг бросились ему на помощь, но он отстранил их и сказал:

— Не тревожьте меня... это минутная слабость, не больше. Поднимите меня. Вот так, достаточно. Поди сюда, дитя, положи свою бедную помраченную голову на грудь отцу и успокойся! Ты скоро поправишься; это мимолетная причуда, это пройдет! Не пугайся! Скоро ты будешь здоров.

Затем он обратился к остальным, и лицо его из ласкового мгновенно стало грозным, а в глазах заблистали молнии.

— Слушайте, вы все! — сказал он.— Сын мой безумен, но это помешательство временное. Оно вызвано непосильными занятиями и слишком замкнутой жизнью. Долой все книги, долой учителей! Забавляйте его играми, развлекайте такими забавами, которые служат к укреплению сил, это восстановит его здоровье!

Король поднялся еще выше на подушках и продолжал с большим воодушевлением:

— Он обезумел, но он мой сын и наследник английского престола. В здравом уме или сумасшедший, он будет царствовать! Слушайте дальше и разгласите повсюду: всякий говорящий о его недуге посягает на мир и спокойствие британской державы и будет отправлен на виселицу!.. Дайте мне пить... я весь в огне... горе истощает мои силы... Так. Возьмите прочь эту чашу... Поддержите меня... Так, хорошо. Он сумасшедший? Будь он тысячу раз сумасшедший — все же он принц Уэлский, и я, король, дам этому публичное подтверждение. Ныне же он будет утвержден в сане принца-наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Повелеваю вам немедленно приступить к делу, милорд Гертфорд!

Один из лордов склонил колено перед королевским ложем и сказал:

— Вашему королевскому величеству известно, что наследственный гофмаршал Англии заключен в Тауэр. Не подобает заключенному...

— Замолчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем. Неужели этот человек никогда не умрет? Неужели он будет вечной преградой моим королевским желаниям? И сыну моему

не быть утвержденным в своих наследных правах лишь потому, что гофмаршал Англии запятнан государственной изменой и недостоин утвердить его в сане наследника? Нет, клянусь всемогущим богом! Предупреди мой парламент, чтобы еще до восхода солнца он вынес смертный приговор Норфольку, иначе парламент жестоко поплатится!

— Королевская воля — закон! — произнес лорд Гертфорд и, поднявшись с колен, вернулся на прежнее место.

Выражение гнева мало-помалу исчезло с лица короля.

— Поцелуй меня, мой принц! — сказал он.— Вот так... Чего же ты боишься? Ведь я твой отец, я люблю тебя.

— Ты добр ко мне, недостойному, о могущественнейший и милосердный государь, это поистине так. Но... но... меня удручает мысль о том, кто должен умереть, и...

— А, это похоже на тебя, это похоже на тебя! Я знал, что сердце у тебя осталось прежнее, хотя рассудок твой помрачен; у тебя всегда было доброе сердце. Но этот герцог стоит между тобою и твоими высокими почестями. Я назначу на его место другого, кто не запятнает своего сана изменой. Успокойся, мой добрый принц, не утруждай напрасно этим делом свою бедную голову...

— Но не я ли ускорю его смерть, мой повелитель? Как долго мог бы он прожить еще, если бы не я?

— Не думай о нем, мой принц! Он недостоин этого. Поцелуй меня еще раз и вернись к твоим утехам и радостям! Моя болезнь изнурила меня, я устал; мне нужен покой. Ступай с твоим дядей Гертфордом и твоей свитой и приходи ко мне снова, когда тело мое подкрепится отдыхом!

Том вышел из королевской опочивальни с тяжелым сердцем, так как последние слова короля были смертным приговором надежде, которую он втайне лелеял,— что теперь его отпустят на свободу. И снова он услыхал негромкое жужжание голосов: «Принц, принц идет!»

Чем дальше Том шел меж двух рядов раззолоченных, низко кланявшихся ему придворных, тем больше он падал духом, сознавая, что он здесь пленник и, может быть, вовек не вырвется из этой раззолоченной клетки,— несчастный принц, не имеющий ни единого друга, если господь бог, по своему милосердию, не сжалится над ним и не вернет ему волю.

И куда бы он ни повернулся, ему чудилось, что он видит летящую в воздухе отрубленную голову и врезавшееся ему в память лицо великого герцога Норфолькского с устремленным на него укоризненным взором.

Его недавние мечты были так сладостны, а действительность оказалась так мрачна и ужасна!

Глава VI

ТОМУ ДАЮТ НАСТАВЛЕНИЯ

Тома привели в парадный зал и усадили в кресло. Но ему было очень неловко сидеть, так как кругом стояли пожилые и знатные люди. Он попросил было, чтобы они тоже присели, но они только кланялись ему или бормотали слова благодарности и продолжали стоять. Том повторил свою просьбу, но его «дядя», граф Гертфорд, шептал ему на ухо:

— Прошу тебя, не настаивай, милорд: не подобает им сидеть в твоем присутствии.

Доложили, что пришел лорд Сент-Джон. Почтительно склонившись перед Томом, лорд сказал:

— Я прислан королем по секретному делу. Не угодно ли будет вашему королевскому высочеству отпустить всех находящихся здесь, за исключением милорда графа Гертфорда?

Заметив, что Том как будто не знает, как отпустить придворных, Гертфорд шепнул ему, чтобы он сделал знак рукой, не утруждая себя речью, если у него нет желания говорить.

Когда свита удалилась, лорд Сент-Джон продолжал:

— Его величество повелевает, чтобы, в силу важных и веских государственных соображений, его высочество принц скрывал свой недуг, насколько это в его силах, пока болезнь не пройдет и принц снова не станет таким, каким был прежде. А именно: он не должен ни перед кем отрицать, что он истинный принц, наследник великой английской державы, он обязан всегда соблюдать свое достоинство государя-наследника и принимать без всяких возражений знаки повиновения и почтения, подобающие ему по праву и древнему обычаю; король требует, чтобы он перестал рассказывать кому бы то ни было о своем якобы низком происхождении и низкой доле, ибо эти рассказы суть не что иное, как болезненные измышления его переутомленной фантазии; чтобы он прилежно старался воскресить в своей памяти знакомые ему лица, и в тех случаях, когда это не удается ему, пусть он хранит спокойствие, не выказывая удивления или иных признаков забывчивости; во время же парадных приемов, если он будет в затруднении, не зная, что говорить или делать, пусть скрывает от любопытных свою растерянность, но советуется с лордом Гертфордом или со мною, своим покорным слугой, ибо граф и я специально для этого приставлены к нему королем и будем всегда под рукой, вплоть до отмены сего приказа. Так повелевает его величество король, который шлет привет вашему королевскому высочеству, моля бога, чтобы он, по своему

милосердию, послал вам вскоре исцеление и осенил вас своей благодатью.

Лорд Сент-Джон поклонился и отошел в сторону. Том покорно ответил:

— Так повелел король. Никто не смеет ослушаться королевских велений или ловко перекраивать их для собственных надобностей, если эти веления кажутся слишком стеснительными. Желание короля будет исполнено.

Лорд Гертфорд сказал:

— Так как его величество соизволил повелеть не утруждать вас чтением книг и другими серьезными делами подобного рода, то не благоугодно ли будет вашему высочеству провести время в беспечных забавах, дабы не утомиться к банкету и не повредить своему здоровью?

На лице Тома выразилось удивление; он вопросительно посмотрел на лорда Сент-Джона и покраснел, встретив устремленный на него скорбный взгляд.

— Память все еще изменяет вам,— сказал лорд,— и потому мои слова кажутся вам удивительными; но не тревожьтесь, это пройдет, как только вы начнете поправляться. Милорд Гертфорд говорит о банкете от города; месяца два тому назад король обещал, что вы, ваше высочество, будете на нем присутствовать. Теперь вы припоминаете?

— Я с грустью должен сознаться, что память действительно изменила мне,— ответил Том неуверенным голосом и опять покраснел.

В эту минуту доложили о леди Елизавете и леди Джэн Грей. Лорды обменялись многозначительными взглядами, и Гертфорд быстро направился к двери. Когда молодые принцессы проходили мимо него, он шепнул им:

— Прошу вас, леди, не подавайте виду, что вы замечаете его причуды, и не выказывайте удивления, когда его память будет изменять ему... вы с горечью увидите, как часто это с ним случается.

Тем временем лорд Сент-Джон говорил на ухо Тому:

— Прошу вас, сэр, соблюдайте свято волю его величества: припоминайте все, что можете, *делайте вид*, что припоминаете все остальное. Не дайте им заметить, что вы изменились. Ведь вы знаете, как нежно любят вас игравшие с вами в детстве принцессы и как это огорчит их. Угодно вам, сэр, чтобы я остался здесь?.. Я и ваш дядя?

Том жестом выразил согласие и невнятно пробормотал какое-то слово. Ему уже пошла впрок наука, и в простоте души он решил возможно добросовестнее исполнять королевский приказ.

Несмотря на все предосторожности, беседа между Томом и принцессами становилась иногда несколько затруднительной. По правде говоря, Том не раз готов был погубить все дело и объявить себя непригодным для такой мучительной роли, но всякий раз его спасал такт принцессы Елизаветы. Оба лорда были настороже и тоже удачно выручали его двумя-тремя словами, сказанными как бы ненароком. Один раз маленькая леди Джэн привела Тома в отчаяние, обратившись к нему с таким вопросом:

— Были ли вы сегодня с приветствием у ее величества королевы, милорд?

Том растерялся, медлил ответом и уже готов был брякнуть наобум что попало, но его выручил лорд Сент-Джон, ответив за него с непринужденностью царедворца, привыкшего находить выход из всякого щекотливого положения:

— Как же, миледи! Государыня доставила ему сердечную радость, сообщив, что его величеству лучше. Не правда ли, ваше высочество?

Том пролепетал что-то, что можно было принять за подтверждение, но почувствовал, что ступает на скользкую почву. Несколько позже в разговоре было упомянуто о том, что принцу придется на время оставить ученье.

Маленькая принцесса воскликнула:

— Ах, какая жалость! Какая жалость! Вы делали такие успехи. Но ничего, не тужите, это ненадолго. У вас еще будет время озарить свой разум такой же ученостью, какою обладает ваш отец, и овладеть таким же количеством иноземных языков, какое подвластно ему.

— Мой отец?—на мгновение забывшись, воскликнул Том.— Да он и на своем-то родном говорит так, что понять его могут разве свиньи в хлеву! А что касается какой ни на есть учености...— Он поднял глаза и, встретив хмурый, предостерегающий взгляд милорда Сент-Джона, запнулся, покраснел, потом продолжал тихо и грустно: — Ах, мой недуг снова одолевает меня, и мысли мои сбиваются с верной дороги. Я не хотел нанести оскорбления его величеству.

— Мы знаем это, государь,— почтительно сказала принцесса Елизавета, ласково взяв руку «брата» и держа ее между своими ладонями.— Не тревожьтесь этим! Виноваты не вы, а ваш недуг.

— Вы нежная утешительница, милая леди,— с признательностью вымолвил Том,— и, с вашего позволения, я от всей души благодарю вас.

Один раз вертушка леди Джэн выстрелила в Тома какой-то несложной греческой фразой. Зоркая принцесса Елизавета сразу

заметила по невинному недоумению на лице принца, что выстрел не попал в цель, и спокойно ответила вместо Тома целым залпом звонких греческих фраз, затем тотчас же заговорила о другом.

Время протекало приятно, и в общем беседа шла гладко. Подводные рифы и мели встречались реже и реже, и Том уже чувствовал себя более непринужденно, видя, как все стараются помочь ему и не замечать его промахов. Когда выяснилось, что принцессы должны сопровождать его вечером на банкет у лорда-мэра[1], сердце Тома всколыхнулось от радости, и он вздохнул с облегчением, почувствовав, что не будет одинок в толпе чужих, хотя час тому назад мысль, что принцессы поедут вместе с ним, привела бы его в неописуемый ужас.

Оба лорда, ангелы-хранители Тома, получили от этой беседы меньше удовольствия, чем остальные ее участники. Они чувствовали себя так, будто вели большой корабль через опасный пролив; все время они были настороже, и их обязанности отнюдь не казались им детской игрой. Так что, когда визит юных леди подошел к концу и доложили о лорде Гилфорде Дадли, они почувствовали, что сейчас не следует слишком перегружать их питомца и что, кроме того, не так-то легко пуститься в новое хлопотливое плавание и привести свой корабль обратно,— поэтому они почтительно посоветовали Тому отклонить посещение. Том и сам был этому рад, зато лицо леди Джэн слегка омрачилось, когда она узнала, что блестящий юноша не будет принят.

Наступило молчание. Все как будто ждали чего-то, Том не понимал, чего именно. Он посмотрел на лорда Гертфорда, тот сделал ему знак, но он не понял и этого знака. Леди Елизавета со своей обычной находчивостью поспешила вывести его из затруднения. Она сделала ему реверанс и спросила:

— Ваше высочество, брат мой, разрешите нам удалиться?

— Поистине, миледи, вы можете просить у меня чего угодно,— сказал Том,— но я охотнее исполнил бы всякую другую вашу просьбу — поскольку это в моих скромных силах,— чем лишить себя благодати и света вашего присутствия, но прощайте и да хранит вас господь!

Он усмехнулся про себя и подумал: «Недаром в моих книгах я жил только в обществе принцев и научился подражать их цветистым, учтивым речам!»

Когда знатные девицы ушли, Том устало повернулся к своим тюремщикам и сказал:

---

[1] Лорд-мэр — городской голова.

— Не будете ли вы так любезны, милорды, не позволите ли мне отдохнуть где-нибудь здесь в уголке?

— Дело вашего высочества — приказывать, а наше — повиноваться,— ответил лорд Гертфорд.— Отдых вам воистину потребен, ибо вскоре вам предстоит совершить путешествие в Лондон.

Лорд прикоснулся к колокольчику; вбежал паж и получил повеление пригласить сюда сэра Вильяма Герберта. Сэр Вильям не замедлил явиться и повел Тома во внутренние покои дворца. Первым движением Тома было протянуть руку к чаше воды, но бархатно-шелковый паж тотчас же схватил чашу, опустился на одно колено и поднес ее принцу на золотом блюде.

Затем утомленный пленник сел и хотел было снять с себя башмаки, робко прося взглядом позволения; но другой бархатно-шелковый назойливый паж поспешил опуститься на колени, чтобы избавить его и от этой работы. Том сделал еще две или три попытки обойтись без посторонней помощи, но ни одна не имела успеха. Он наконец сдался и с покорным вздохом пробормотал:

— Горе мне, горе! Как еще эти люди не возьмутся дышать за меня!

В туфлях, в роскошном халате, он наконец прикорнул на диване, но заснуть не мог: голова его была слишком переполнена мыслями, а комната — людьми. Он не мог отогнать мыслей, и

они остались при нем; он не умел выслать вон своих слуг, и потому они тоже остались при нем, к великому огорчению Тома и их самих. Когда Том удалился, его знатные опекуны остались вдвоем. Некоторое время оба молчали, в раздумье качая головами и шагая по комнате. Наконец лорд Сент-Джон заговорил:

— Скажи по совести, что ты об этом думаешь?

— По совести, вот что: королю осталось недолго жить, мой племянник лишился рассудка,— сумасшедший взойдет на трон, и сумасшедший останется на троне. Да спасет господь нашу Англию! Ей скоро понадобится помощь господня!

— Действительно, все это похоже на истину. Но... нет ли у тебя подозрения... что... что...

Говорящий запнулся и не решился продолжать: вопрос был слишком щекотлив. Лорд Гертфорд стал перед Сент-Джоном, посмотрел ему в лицо ясным, открытым взглядом и сказал:

— Говори! Кроме меня, никто твоих слов не услышит. Подозрения в чем?

— Мне очень не хотелось бы выражать словами, милорд, то, что у меня на уме, ты так близок ему по крови. Прости, если я оскорблю тебя, но не кажется ли тебе удивительным, что безумие так изменило его? Я не говорю, чтобы его речь или осанка утратили свое царственное величие, но все же они в некоторых ничтожных подробностях *отличаются* от его прежней манеры держать себя. Не странно ли, что безумие изгладило из его памяти даже черты его отца; что он забыл даже обычные знаки почтения, какие подобают ему от всех окружающих; не странно ли, что, сохранив в памяти латинский язык, он забыл греческий и французский? Не обижайся, милорд, но сними у меня тяжесть с души и прими искреннюю мою благодарность! Меня преследуют его слова, что он не принц, и я...

— Замолчи, милорд! То, что ты говоришь,— измена! Или забыл ты приказ короля? Помни, что, слушая тебя, я и то делаюсь соучастником твоего преступления.

Сент-Джон побледнел и поспешил сказать:

— Я ошибся, я признаю это сам. Будь так великодушен и милостив, не выдавай меня! Я никогда больше не буду ни размышлять, ни говорить об этом. Не поступай со мною слишком сурово, иначе я погибший человек.

— Я удовлетворен, милорд. Если ты не станешь повторять свой оскорбительный вымысел ни мне, ни кому другому, твои слова будут считаться как бы несказанными. Оставь свои пустые подозрения. Он сын моей сестры: разве его голос, его лицо, его внешность не знакомы мне от самой его колыбели? Безумие могло вызвать в нем не только те противоречивые странности, которые подмечены тобою, но и другие, еще

более разительные. Разве ты не помнишь, как старый барон Марли, сойдя с ума, забыл свое собственное лицо, которое знал шестьдесят лет, и считал, что оно чужое,— нет, больше того, утверждал, будто он сын Марии Магдалины, будто голова у него из испанского стекла, и —смешно сказать! — не позволял никому прикасаться к ней, чтобы чья-нибудь неловкая рука не разбила ее. Гони прочь свои сомнения, добрый милорд. Это истинный принц, я хорошо его знаю, и скоро он станет твоим королем. Тебе полезно подумать об этом: это важнее всех других обстоятельств.

В течение дальнейшей беседы лорд Сент-Джон многократно отрекался от своих ошибочных слов и утверждал, что теперь-то он доподлинно знает, где правда, и больше никогда, никогда не станет предаваться сомнениям. Лорд Гертфорд простился со своим собратом-тюремщиком и остался один стеречь и опекать принца. Скоро он углубился в размышления, и, очевидно, чем дольше думал, тем сильнее терзало его беспокойство. Наконец он вскочил и начал шагать по комнате.

— Вздор! Он *должен* быть принцем! — бормотал он про себя.— Во всей стране не найдется человека, который решился бы утверждать, что два мальчика, рожденные в разных семьях, чужие друг другу по крови, могут быть похожи один на другого, словно два близнеца. Да если бы даже и так! Было бы еще более диковинным чудом, если бы какой-нибудь немыслимый случай дал им возможность поменяться местами. Нет, это безумно, безумно, безумно!

Спустя немного лорд Гертфорд сказал:

— Если бы он был самозванец и называл себя принцем — *это* было бы естественно; в этом, несомненно, был бы смысл. Но существовал ли когда-нибудь такой самозванец, который, видя, что и король и двор — все величают его принцем, *отрицал* бы свой сан и отказывался от почестей, которые воздаются ему? Нет! Клянусь душою святого Свитина, нет! Он истинный принц, потерявший рассудок!

Глава VII

ПЕРВЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ОБЕД ТОМА

Около часа дня Том покорно перенес пытку переодевания к обеду. Его опять нарядили в такой же роскошный костюм, как и раньше, но сменили на нем решительно все — от воротничков до чулок. Затем с большими церемониями Тома проводили в просторный, богато убранный зал, где был накрыт стол

на одного человека. Вся утварь была из литого золота и так великолепно изукрашена, что буквально не имела цены: то была работа Бенвенуто[1]. В комнате толпились высокородные прислужники. Капеллан[2] прочел молитву, и проголодавшийся Том готов был уже наброситься на еду, но его задержал милорд граф Беркли, обвязавший его шею салфеткой,— важная обязанность подвязывания салфетки принцам Уэлским была наследственной в семье этого лорда. Был здесь и виночерпий, предупреждавший всякую попытку Тома налить себе своими руками вина. Тут же находился другой лорд — отведыватель: он состоял при его высочестве принце Уэлском исключительно для того, чтобы пробовать по первому требованию все подозрительные блюда, и, таким образом, рисковал быть отравленным. В то время отведыватель был уже ненужным украшением в королевской столовой, так как ему не часто приходилось исполнять свои обязанности; но в старое время, за несколько поколений до Генриха VIII, когда должность отведывателя была чрезвычайно опасной, мало кто добивался этого почетного звания. Кажется странным, что такую обязанность не возложили на какого-нибудь пса или алхимика,— но кто постигнет дворцовые обычаи! Был тут милорд д'Арси, первый камергер,— зачем и для какой надобности, неизвестно, но он был тут, и этого было достаточно. Был тут и лорд-дворецкий. Он стоял у Тома за спиной и следил, чтобы весь церемониал был соблюдаем до мельчайших подробностей. Церемониалом распоряжались лорд главный лакей и лорд главный повар, которые стояли поблизости. Кроме них, у Тома было еще триста восемьдесят четыре человека прислуги, но, разумеется, не все они находились в столовой — и четверть всего их количества не прислуживала за этим обедом. Том даже не подозревал, что они существуют.

Все присутствующие были предварительно вышколены, целый час им внушали не забывать, что у принца временное помрачение рассудка, и не удивляться его причудам.

Вскоре эти «причуды» обнаружились перед ними вполне, но вызвали не насмешки, а только сострадание и грусть. Слугам горько было видеть, что их возлюбленный принц поражен такой тяжкой болезнью.

Бедный Том брал кушанья прямо руками, но никто не позволил себе улыбнуться или хотя бы подать вид, что заметил его поведение. Он с любопытством и глубоким интересом разглядывал свою салфетку, потому что ткань ее была очень тонка и красива, и наконец простодушно сказал:

---

[1] Бенвенуто Челлини (1500—1571) — знаменитый скульптор и золотых дел мастер.

[2] Капеллан — священник католической церкви.

Первый королевский обед Тома.

— Пожалуйста, унесите ее прочь, чтобы я как-нибудь нечаянно не запачкал ее.

Наследственный подвязыватель салфетки без всяких возражений почтительно убрал ее.

Том с любопытством разглядывал репу и салат, а потом спросил, что это такое и можно ли это есть, потому что и репу и салат лишь незадолго до того перестали вывозить из Голландии как особое лакомство и начали выращивать в Англии. На его вопрос ответили серьезно и почтительно, не выказав ни тени удивления. Покончив с десертом, он набил себе карманы орехами; но никто не удивился такому поступку — все притворились, будто не замечают его.

Зато вскоре самому Тому пришлось почувствовать, что он допустил оплошность. Он очень сконфузился, так как за весь обед это было первое, что ему позволили сделать собственными руками, и он не сомневался, что сделал что-то очень неприличное, не подобающее королевскому сану. Дело в том, что мышцы его носа стали подергиваться. Кончик носа сморщился и вздернулся кверху. Это состояние затягивалось, и тревога Тома росла. Он с мольбою глядел то на одного, то на другого из окружавших его лордов, даже слезы выступили у него на глазах. Лорды бросились к нему с огорченными лицами, умоляя сказать, что случилось. Том сказал с неподдельным страданием в голосе:

— Прошу снисхождения, милорды: у меня мучительно чешется нос. Каковы обряды и обычаи, соблюдаемые здесь при этих чрезвычайных обстоятельствах? Пожалуйста, поспешите ответом: дольше я не в силах терпеть!

Никто не улыбнулся. Напротив, у всех были скорбные, растерянные лица, все смущенно переглядывались, как бы спрашивая друг у друга совета. Но перед ними была глухая стена, и во всей английской истории ничто не указывало, как через нее перешагнуть. Главного церемониймейстера не было, и никто не дерзал пуститься в плавание по этому неведомому морю, никто не отваживался разрешить на свой риск столь важную, серьезную проблему. Увы! Наследственного чесальщика в Англии не существовало. Тем временем слезы вышли из своих берегов и потекли у Тома по щекам. Нос все настойчивее требовал, чтобы его почесали, и наконец природа прорвалась сквозь преграды придворного этикета[1], и Том, мысленно молясь о прощении, если он поступает неправильно, облегчил удрученные сердца приближенных, собственноручно почесав себе нос.

---

[1] Придворный этикет — строго установленный порядок обхождения при царском или королевском дворе.

Когда обед кончился, один из лордов поднес Тому большой неглубокий сосуд из чистого золота, наполненный ароматной розовой водой для полоскания рта и омовения пальцев. Наследственный подвязыватель салфетки встал поблизости, держа наготове полотенце. Том несколько времени в недоумении рассматривал таз, потом взял его в руки, поднес к губам и с самым серьезным видом отпил из него глоток. Потом возвратил его лорду-прислужнику:

— Нет, милорд, это мне не по вкусу. Запах приятный, но крепости никакой.

Эта новая сумасбродная выходка принца, еще раз доказывавшая, что рассудок его поврежден, болезненно отозвалась во всех сердцах и никому не показалась забавной.

А Том, сам того не зная, сделал еще одну оплошность: поднялся с места и вышел из-за стола как раз в ту минуту, когда придворный священник встал у него за креслом, поднял руки и возвел глаза к небу, готовясь начать благодарственную молитву. Но и тут никто как будто не заметил, что принц совершает необычный поступок.

Теперь нашего маленького друга по его настойчивой просьбе отвели в кабинет принца Уэлского и предоставили себе самому. По стенам, по дубовым панелям в кабинете висели на особых крючках различные части блестящего стального вооружения с чудесной золотой инкрустацией. Все эти доспехи принадлежали принцу и были недавно подарены ему королевой, мадам Парр[1].

Том надел наголенники, рукавицы, шлем с перьями и все остальное, что можно надеть без посторонней помощи; он хотел было позвать кого-нибудь, чтобы ему помогли завершить туалет, но вспомнил об орехах, принесенных с обеда, и, подумав, как весело будет грызть их не на глазах у толпы, без всяких великих наследственных лордов, которые докучают тебе непрошеными услугами, поспешил развесить все эти прекрасные доспехи по местам. Скоро он уже щелкал орехи и чувствовал себя почти счастливым, впервые после того, как господь бог в наказание за его грехи превратил его в королевского сына. Когда все орехи были съедены, он заметил в шкафчике несколько книг с заманчивыми названиями, в том числе одну об этикете при английском дворе. То была ценная находка! Он улегся на роскошный диван и самым добросовестным образом принялся за изучение этой науки. Оставим его там до поры до времени.

---

[1] Парр Екатерина (1512—1548) — шестая жена короля Генриха VIII.

Глава VIII

ВОПРОС О ПЕЧАТИ

Около пяти часов Генрих VIII очнулся от неосвежающей тяжелой дремоты и пробормотал про себя:

— Тревожные сны, тревожные сны! Уже недалек мой конец, и сны предвещают его. Слабеющее дыхание подтверждает предзнаменование снов.

Вдруг злобное пламя сверкнуло в глазах короля, и он проговорил еле слышно:

— Но тот умрет раньше меня!

Придворные заметили, что король проснулся, и один из них спросил, угодно ли будет его величеству принять лорда-канцлера, который дожидается в соседней комнате.

— Пусть войдет! Пусть войдет! — нетерпеливо крикнул король.

Лорд-канцлер вошел и, склонив колено перед королевским ложем, сказал:

— По указу вашего величества пэры королевства в парадных одеждах находятся в зале суда и, приговорив к смерти герцога Норфолькского, почтительно ожидают ваших повелений.

Лицо короля озарилось свирепой радостью.

— Поднимите меня! — приказал он.— Я сам предстану пред моим парламентом и собственною моею рукою приложу печать к приговору, избавляющему меня от...

Голос его оборвался, краска на щеках сменилась пепельной бледностью. Придворные опустили его на подушки и поспешили привести в чувство аптекарскими снадобьями. Немного погодя король грустно сказал:

— Увы, как жаждал я этого сладкого часа, и вот он приходит слишком поздно, и мне не дано насладиться столь желанным событием. Иди же, иди скорее,— пусть другие исполнят этот радостный долг, который я бессилен исполнить. Я доверяю мою большую печать особой государственной комиссии; выбери сам тех лордов, из которых будет состоять эта комиссия, и тотчас же принимайся за дело. Торопись, говорю тебе! Прежде чем солнце взойдет и опустится снова, принеси мне голову Норфолька, чтобы я мог взглянуть на нее.

— Воля короля будет исполнена. Не угодно ли вашему величеству отдать приказание, чтобы мне вручили теперь же большую печать, дабы я мог совершить это дело?

— Печать? Но ведь печать хранится у тебя!

— Простите, ваше величество! Два дня назад вы сами взяли ее у меня и при этом сказали, что никто не должен касаться

ее, пока вы своей королевской рукой не скрепите смертного приговора герцогу Норфолькскому.

— Да, помню... я действительно взял ее... помню... Но куда я девал ее?.. Я так ослабел... В последние дни память изменяет мне чаще и чаще. Все это так странно, так странно...

И король залепетал что-то невнятное, тихо покачивая седой головой и безуспешно стараясь сообразить, что же он сделал с печатью.

Наконец милорд Гертфорд осмелился преклонить колено и напомнить ему:

— Дерзаю доложить вашему величеству: здесь многие, в том числе и я, помнят, что вы вручили большую государственную печать его высочеству принцу Уэлскому, чтобы он хранил ее у себя до того дня, когда...

— Правда, истинная правда! — воскликнул король.— Принеси же ее! Да скорее: время летит!

Лорд Гертфорд со всех ног побежал к Тому, но вскоре вернулся смущенный, с пустыми руками и сказал:

— С прискорбием я должен сообщить моему повелителю королю тягостную и безотрадную весть: по воле божией болезнь принца еще не прошла, и он не может припомнить, была ли отдана ему большая печать. Я поспешил доложить об этом вашему величеству, полагая, что вряд ли стоит разыскивать ее по длинной анфиладе обширных покоев, принадлежащих его высочеству. Это было бы потерей драгоценного времени и...

Стон короля прервал его речь. С глубокой грустью в голосе король произнес:

— Не беспокойте его. Бедный ребенок! Десница господня тяжко легла на него, и мое сердце разрывается от любви и сострадания к нему и скорбит, что я не могу взять его бремя на свои старые, удрученные заботами плечи, дабы он был спокоен и счастлив.

Король закрыл глаза, пробормотал что-то и смолк. Через некоторое время глаза его снова открылись. Он повел вокруг себя бессмысленным взглядом, и наконец взор его остановился на коленопреклоненном лорде-канцлере. Мгновенно лицо его вспыхнуло гневом.

— Как, ты еще здесь? Клянусь господом богом, если ты сегодня же не покончишь с изменником, завтра твоя шляпа останется праздной, так как ее не на что будет надеть.

Канцлер, дрожа всем телом, воскликнул:

— Смилуйтесь, ваше величество, мой добрый король! Я жду королевской печати.

— Ты, кажется, рехнулся, любезнейший! Малая печать, та, которую прежде возил я с собою в чужие края, лежит у меня

в сокровищнице. И, если исчезла большая, разве тебе недостаточно малой? Ступай! И — слышишь? — не смей возвращаться без его головы.

Бедный канцлер с величайшей поспешностью убежал от опасного королевского гнева; а комиссия не замедлила утвердить приговор, вынесенный раболепным парламентом, и назначить на следующее утро казнь первого пэра Англии, злополучного герцога Норфолькского.

Глава IX

ПРАЗДНИК НА РЕКЕ

В девять часов вечера весь широкий фасад дворца, выходящий на реку, засверкал веселыми огнями. В сторону города река, насколько хватал глаз, была сплошь покрыта рыбачьими барками и увеселительными судами; вся эта флотилия, увешанная разноцветными фонариками, тихо колыхалась на волнах и была похожа на бесконечный сияющий сад, цветы которого тихо колеблются от дуновения летнего ветра. Великолепная терраса с каменными ступенями, ведущими к воде, была так широка, что на ней могла бы поместиться вся армия какого-нибудь немецкого княжества. На террасе выстроились ряды королевских алебардщиков в блестящих доспехах, и множество слуг сновало вверх и вниз, взад и вперед, торопливо заканчивая последние приготовления.

Но вот раздался чей-то приказ — и в тот же миг на террасе не осталось ни одного живого существа. Самый воздух, казалось, замер от напряженного ожидания. Вся река была заполнена толпами людей, которые, стоя в лодках и заслоняя руками глаза от яркого света фонарей и факелов, устремляли взоры по направлению к дворцу.

К ступеням террасы подплывали одно за другим золоченые придворные суда. Их было сорок или пятьдесят. У каждого высокий нос и высокая корма были покрыты искусной резьбой. Одни суда были разукрашены знаменами и узкими флажками, другие — золотой парчой и разноцветными тканями с вышитым на них фамильным гербом, а иные — шелковыми флагами. К этим шелковым флагам было привешено несметное множество серебряных бубенчиков, из которых при малейшем дуновении ветра так и сыпались во все стороны веселые брызги музыки. Суда, принадлежавшие лордам свиты принца Уэлского, были убраны еще более вычурно: их борта были обвешаны расписными щитами с изображением различных гербов. Каждую коро-

левскую барку тянуло на буксире маленькое судно. Кроме гребцов, на каждом из этих судов сидели воины в сверкающих шлемах и латах, а также музыканты.

В главных воротах уже появился авангард ожидаемой процессии — отряд алебардщиков.

«Алебардщики были одеты в черные штаны с бурыми полосками, бархатные шапочки, украшенные сбоку серебряными розами, и камзолы из темно-красного и голубого сукна с вышитыми золотом тремя перьями — гербом принца — на спине и на груди; древки их алебард были обтянуты алым бархатом с золочеными гвоздиками и золотыми кистями. Алебардщики выстроились в две длинные шеренги, тянувшиеся по обеим сторонам лестницы от дворцовых ворот до самой воды. Между этими двумя шеренгами лакеи принца в золотисто-алых ливреях растянули плотную полосатую ткань, или ковер. Как только это было исполнено, во дворце раздались звуки труб, музыканты, находившиеся в лодках, грянули веселую прелюдию, и два церемониймейстера с белыми булавами вышли медленной и величавой поступью из ворот. За ними следовал офицер с гражданским жезлом; за этим офицером — другой, несущий меч города; затем несколько сержантов городской стражи в полной парадной форме и с нашивками на рукавах; затем герольдмейстер Ордена Подвязки в мантии, надетой сверх лат; вслед за ним несколько рыцарей Ордена Бани, все с белым кружевом на рукавах; за ними их оруженосцы; потом судьи в алых мантиях и шапочках; затем лорд-канцлер Англии в открытой спереди пурпурной мантии, отороченной мехом горностая; затем депутация от городских гильдий в ярко-пунцовых плащах и, наконец, главы различных гражданских обществ в полном параде. Далее появились и сошли вниз по ступенькам двенадцать французских вельмож в роскошных нарядах, состоявших из шелковых стеганых белых камзолов с золотыми полосками, коротких плащей красного бархата, на подкладке из лиловой тафты и hauts de chausses[1] багрового цвета. Они составляли свиту французского посла. За ними шли двенадцать кавалеров из свиты испанского посла, одетые в черный бархат, без всяких украшений. За ними следовало несколько знатнейших английских вельмож, каждый со своей свитой».

Во дворце загремели трубы, и в воротах появился дядя принца, будущий великий герцог Сомерсетский в «камзоле из черной с золотом парчи и в малиновом атласном плаще, затканном серебряной сеткой и золотыми цветами». Он повернулся, приподнял шапочку с перьями, изогнул стан в низком, почтитель-

---

[1] Широкие штаны до колен *(франц.)*.

ном поклоне и начал спускаться спиною к толпе, кланяясь на каждой ступеньке.

Вслед за тем раздались продолжительные звуки фанфар и возгласы: «Дорогу его высочеству, могущественному лорду Эдуарду, принцу Уэлскому!»

Высоко над дворцовыми стенами взвился длинный ряд красных языков; послышался грохот, будто гром прокатился; вся огромная толпа народа на реке заревела, приветствуя принца, и Том Кенти, виновник и герой всего этого торжества, появился на террасе, слегка кивая царственной головой.

На нем был «великолепный белый атласный камзол с нагрудником из алой парчи, усеянный алмазной пылью и опушенный горностаем. Поверх камзола накинут был белый с золотом парчовый плащ с изображением герба из трех перьев, подбитый голубым атласом, испещренный жемчугами и другими драгоценными каменьями и застегнутый брильянтовой пряжкой. На шее у него висели орден Подвязки и многие иноземные ордена». Всякий раз, когда на него падал свет, драгоценные каменья сияли ослепительным блеском. О! Том Кенти, рожденный в лачуге, взращенный в лондонских зловонных канавах, близко знакомый с лохмотьями, нищетою и грязью,— какое зрелище представлял он собою!

Глава X

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

Мы оставили Джона Кенти в ту минуту, когда он тащил подлинного, законного принца во Двор Отбросов, а крикливая чернь, радуясь новой потехе, преследовала его по пятам. Нашелся только один человек, который вступился за пленника, но этого человека никто не стал слушать, да вряд ли кто и расслышал его — такой был оглушительный шум. Принц продолжал отбиваться, возмущаясь жестокостью своего угнетателя. Джон Кенти наконец потерял и ту малую долю терпения, которая еще осталась в нем, и яростно замахнулся на принца дубиной. Единственный защитник мальчика подбежал, чтобы предотвратить избиение, и удар пришелся ему по руке.

— Что ты суешься? — заревел Джон Кенти.— Вот же тебе, получай!

Непрошеный защитник получил удар дубиной по черепу — раздался стон, темное тело свалилось на землю, под ноги набежавшей толпы. Через минуту убитый остался лежать один в темноте, а толпа уже мчалась дальше — этот случай не омрачил ее веселья.

Вскоре принц очутился в жилище Джона Кенти. Наружная дверь была заперта от всех посторонних. При тусклом свете сальной свечи, вставленной в бутылку, принц едва мог рассмотреть очертания гнусной трущобы и ее обитателей. В углу, у стены, с видом животных, привыкших к жестокому обращению, сидели, скорчившись на полу, две девочки-замарашки и женщина средних лет; они в страхе ожидали побоев. Из другого угла выползла тощая старая ведьма, седая, растрепанная, со злыми глазами.

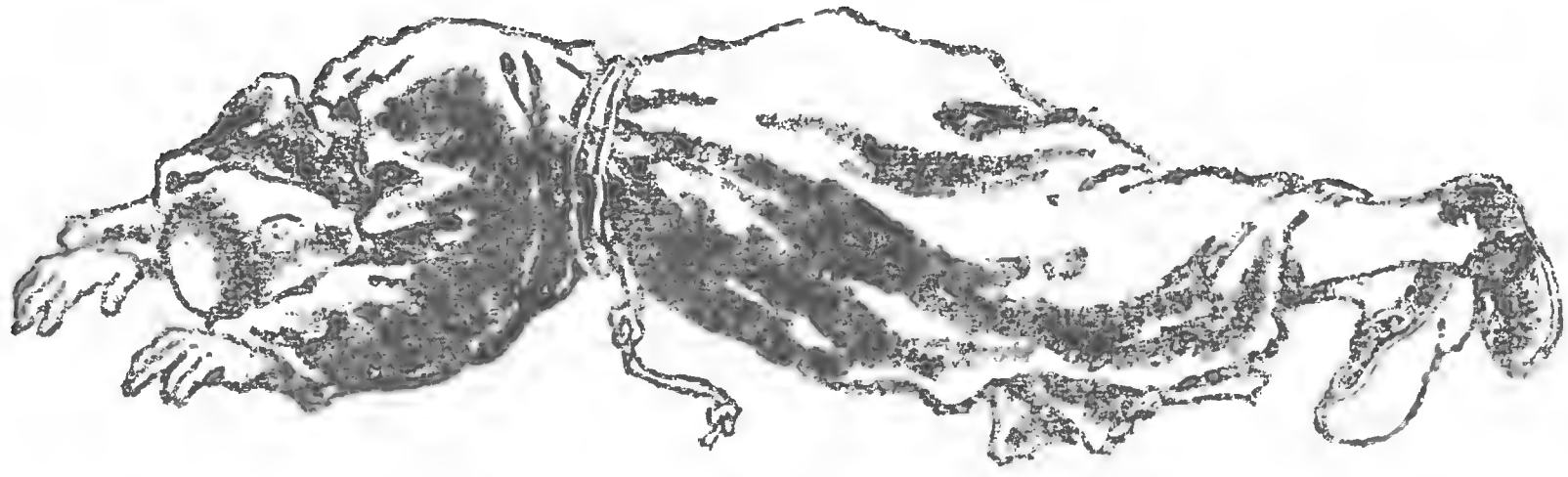
— Отойди, не мешай! — обратился к ней Джон Кенти.— Тут у нас идет такая комедия, что любо. Ты останься в сторонке, пока не позабавишься всласть, а потом уж бей его сколько хочешь. Поди сюда, милый! Ну-ка, повтори свои дурацкие речи, если еще не забыл их. Как тебя зовут? Кто ты такой?

От обиды кровь снова прихлынула к щекам юного принца, и он посмотрел Джону прямо в лицо пристальным, негодующим взором.

— Ты наглец! — сказал он.— Ты не смеешь требовать, чтобы я говорил. Повторяю тебе еще раз: я Эдуард, принц Уэлский, и никто другой.

Старая ведьма была так ошеломлена этим ответом, что ноги ее не сдвинулись с места, словно были прибиты к полу гвоздями: у нее даже дух захватило. С глупым недоумением уставилась старуха на принца, и это показалось ее свирепому сыну таким забавным, что он разразился хохотом.

Но на мать и сестер Тома Кенти слова принца произвели совсем другое впечатление: за



минуту перед тем они боялись, что отец искалечит несчастного, теперь же эта тревога сменилась другой. С выражением горя и ужаса они подбежали к принцу и заголосили:

— О бедный Том, бедный мальчик!

Мать упала на колени перед принцем, положила руки ему на плечи и сквозь выступившие слезы взволнованно глядела ему в глаза.

— Бедный ты мой мальчик! — сказала она.— Твои глупые книжки сделали наконец свое недоброе дело и отняли у тебя рассудок. И за что они тебе так полюбились? Сколько раз я предупреждала тебя! Разбил ты мое материнское сердце!

Принц посмотрел ей в лицо и учтиво ответил:

— Твой сын здоров и не терял рассудка, добрая женщина! Успокойся! Отпусти меня во дворец, где он обретается ныне, и король, мой отец, возвратит тебе его без промедления.

— Король — твой отец! О дитя мое! Умоляю тебя, не повторяй этих слов, грозящих тебе смертью и всем твоим близким — погибелью! Стряхни с себя этот отвратительный сон! Память твоя заблудилась, верни ее на истинный путь! Посмотри на меня — разве я не твоя мать, которая родила тебя и любит тебя?

Принц покачал головой и неохотно промолвил:

— Бог свидетель, как тяжело мне огорчать твое сердце, но, право же, я никогда не видал твоего лица.

Женщина опять села на пол и разразилась душераздирающими рыданиями и воплями.

— Ну что ж, продолжайте комедию! — заревел Кенти.— Эй вы, Нэн и Бэт! Этакие невежи! Что же вы стоите в присутствии принца? На колени, вы, нищенское отродье, да кланяйтесь ему хорошенько! — И он опять залился грубым хохотом.

Девочки робко вступились за брата.

— Пошли его спать, отец! — сказала Нэн.— Пусть он выспится, отдохнет, и рассудок вернется к нему. Вели ему ложиться поскорее.

— Да, да, отпусти его спать,— сказала Бэт.— Разве ты не видишь, какой он сегодня усталый? Если ты дашь ему отдых, он завтра будет усерднее просить подаяние и воротится домой не с пустыми руками.

Эти слова отрезвили отца, и веселость его мгновенно исчезла. Мысли его направились на деловые заботы. Он сердито повернулся к принцу.

— Завтра мы должны заплатить два пенса хозяину этой дыры! — крикнул он.— Два пенса за полгода... немалая плата... Иначе нас выгонят вон. Покажи, что ты собрал сегодня! Тебе, лодырю, и просить неохота.

Принц сказал:

— Не оскорбляй меня своими пошлыми дрязгами! Повторяю тебе: я — сын короля.

Раздался звонкий удар — тяжелая рука Джона Кенти опустилась с размаху на плечо принца, и тот упал бы, если бы его не подхватила мать Тома; прижимая его к груди, она собственным телом защищала его от хлещущего града пинков и ударов. Перепуганные девочки забились в угол, но на помощь сыну поспешила пылавшая злобой бабка. Принц вырвался из рук миссис Кенти и крикнул:

— Вы не должны страдать из-за меня, сударыня! Пусть эти свиньи тешатся надо мною одним.

Услыхав это, «свиньи» до того рассвирепели, что, не теряя времени, набросились на принца и жестоко исколотили его да, кстати, прибили и девочек с матерью за сочувствие жертве.

— А теперь,— сказал Кенти,— все спать! Мне уже наскучила эта комедия!

Погасили огонь, и семья улеглась. Когда Джон и бабка захрапели, девочки пробрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо укрыли его от холода соломой и ветошью. Потом к нему подкралась их мать и гладила его по волосам и плакала над ним, шепча ему на ухо несвязные слова жалости и утешения. Она сберегла для него немного еды, но от боли мальчик потерял аппетит — по крайней мере, черные невкусные корки нисколько не привлекали его. Принц был тронут ее состраданием и смелым заступничеством и, поблагодарив ее в изысканных выражениях, посоветовал пойти спать и попытаться забыть свое горе. Он прибавил, что король, его отец, не оставит ее верности и доброты без награды. Этот новый припадок «безумия» сокрушил сердце бедной матери; она снова и снова прижимала его к груди и наконец ушла на свою постель вся в слезах.

И вот, в то время как она лежала и плакала, раздумывая обо всем происшедшем, в голову ее закралась мысль, что в этом мальчике есть что-то такое неуловимое, почти незаметное, чего не было в Томе Кенти, будь он безумный или в здравом уме. Она не могла бы сказать, что именно вызвало ее сомнения, но сильный материнский инстинкт подсказывал ей, что чем-то этот мальчик чужой. А вдруг он ей и вправду не сын? О, нелепость! Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свои тревоги и горести. И, однако, она вскоре убедилась, что навязчивая мысль не покидает ее. Эта мысль преследовала, смущала, изнуряла ее; женщина не в силах была отогнать эту мысль. Наконец она поняла, что ей не будет покоя, пока она не подвергнет мальчика испытанию и не узнает наверное — ее ли он сын или нет, иначе ей не избавиться от докучных и

Раздался звонкий удар — тяжелая рука Джона Кенти опустилась на плечо принца.

невыносимых сомнений. Да, конечно, то был лучший способ покончить со всеми тревогами, и она стала тут же придумывать, к какому ей прибегнуть испытанию; но, как она ни раскидывала умом, ни одно придуманное ею испытание не казалось ей абсолютно верным, абсолютно надежным, а ненадежное было для нее непригодно. Очевидно, она напрасно ломает себе голову, надо отказаться от этой затеи. Но в ту минуту, как она пришла к такому грустному заключению, ее слуха коснулось ровное дыхание мальчика: было ясно, что он уснул. Она стала прислушиваться к его мерному дыханию. Вдруг спящий тихонько вскрикнул, как вскрикивают во время тревожного сна. Эта случайность мгновенно подсказала ей план, стоивший всех остальных.

С лихорадочной поспешностью, но бесшумно она стала вновь зажигать свечу, бормоча про себя:

«Если бы я увидала его в *ту минуту*, я бы сразу узнала всю правду. С самых младенческих лет — с того дня, как у него перед глазами взорвался порох,— у него появилась привычка прикрывать глаза не ладонью внутрь, а ладонью наружу, не так, как прикрыли бы другие. Стоит только испугать его во время сна или глубокой задумчивости, и он повторит это движение. Я видела сотни раз: он всегда поступает так, всегда одинаково. Теперь я узна́ю, узна́ю!»

Со свечою в руке, заслонив пламя, она тихо подкралась к спящему, осторожно наклонилась над ним, чуть дыша от волнения, и вдруг придвинула свечу к самым его глазам, отняла руку, закрывавшую пламя, и в ту же минуту у самого его уха стукнула об пол костяшками пальцев. Спящий широко раскрыл глаза, повел вокруг себя удивленным взглядом, но не сделал никаких особенных жестов.

Бедная женщина чуть не лишилась чувств от изумления и горя, но постаралась скрыть свою тревогу и успокоила мальчика, так что он снова уснул; тогда она ушла от него, грустно размышляя о страшных результатах своего испытания. Она хотела убедить себя, что ее Том позабыл свои привычные жесты под влиянием безумия, но это ей никак не удавалось.

«Нет,— думала она,— ведь руки-то у него не безумные! Не могли же они отвыкнуть от старой привычки в такое короткое время. О, как тяжел для меня этот день!»

Но теперь упрямые сомнения сменились у нее в сердце такой же упрямой надеждой; она не могла заставить себя примириться с той истиной, которую так достоверно узнала. «Надо попробовать вновь, эта неудача — случайность». И она второй и третий раз через некоторые промежутки времени неожиданно будила мальчугана, но, как и в первый раз, он спросонок не сделал

никакого движения рукой. Она едва добрела до постели и погрузилась в сон совсем разбитая.

«Но я не могу отречься от него! Нет, не могу, не могу! Я *не хочу* допустить, чтобы это был не мой сын».

Теперь, когда бедная мать уже не тревожила принца, его огорчения мало-помалу утратили власть над ним, страшная усталость взяла верх, и веки его сомкнулись в глубоком, спокойном сне. Часы проходили, а он все спал как убитый. Так прошло часа четыре или пять. Потом оцепенение ослабело, он пошевелился и пробормотал сквозь сон:

— Сэр Вильям!

И через минуту опять:

— Сэр Вильям!

И снова:

— Сэр Вильям Герберт, поди-ка сюда, послушай, какой странный сон мне привиделся... Такого сна я еще никогда не видел! Сэр Вильям, ты слышишь? Мне приснилось, что меня подменили, что я стал нищим и... Эй, сюда! Стража! Сэр Вильям! Как, здесь даже нет дежурного лакея? Ну, погодите же! Я вам задам!..

— Что с тобой? — прошептал чей-то голос.— Кого ты зовешь?

— Сэра Вильяма Герберта. А ты кто такая?

— Я?.. Кто же, как не сестра твоя Нэн? О, Том, я и забыла... Ты все еще сумасшедший! Бедняга! Лучше бы мне не просыпаться, чем видеть тебя сумасшедшим. Но прошу тебя, придержи свой язык, не то нас всех изобьют до смерти!

Изумленный принц приподнялся было с пола, но острая боль от побоев привела его в себя, и он со стоном упал назад, на грязную солому.

— Увы, значит, это не было сном! — воскликнул он.

Все его тревоги и печали, о которых он совсем позабыл во время глубокого сна, снова вернулись к нему; он вспомнил, что он уже не любимейший королевский сын, на которого с обожанием смотрит народ, а нищий, отверженный, оборванный пленник в жалкой норе, пригодной только для диких зверей, в обществе воров и попрошаек.

Погруженный в эти грустные мысли, он не сразу расслышал буйные крики, которые раздавались поблизости, у одного из соседних домов. Через минуту в дверь громко постучали. Джон Кенти перестал храпеть и спросил:

— Кто там стучит? Чего надо?

Чей-то голос ответил:

— Знаешь ли, кого ты уложил дубиной?

— Не знаю и знать не хочу.

— Скоро запоешь другую песню. Если хочешь спасти свою шею, беги! Человек этот уже умирает. Это наш поп, отец Эндрью.

— Господи помилуй! — крикнул Кенти. Он разбудил всю семью и хрипло скомандовал: — Вставайте живей и бегите! Если останетесь тут, вы пропали!

Пять минут спустя все семейство Кенти уже мчалось по улице, спасая свою жизнь. Джон Кенти держал принца за руку и тащил за собою по темному переулку, шепотом внушая ему:

— Смотри, сумасшедший дурак, не смей произносить наше имя. Я выберу себе новое, чтобы сбить с толку этих собак полицейских. Говорю тебе, держи язык за зубами!..

И, обращаясь к остальным, он прорычал:

— Если нам случится потерять друг друга, пусть каждый идет к Лондонскому мосту и, как дойдет до крайней лавки суконщика, пусть там поджидает других. Потом мы двинемся все в Саутворк.

В эту минуту семья Кенти неожиданно выступила из тьмы на яркий свет и очутилась в самой гуще толпы на площади, примыкавшей к Темзе. Толпа пела, плясала, кричала; набережная вверх и вниз по реке представляла собою сплошную линию костров. Лондонский мост был весь освещен, и Саутворкский тоже. Вся Темза сверкала разноцветными огнями; поминутно с треском лопались ракеты, взвиваясь к небу, и с неба сыпался дождь ослепительных искр, почти превращавших ночь в день. Куда ни глянь, всюду гуляли и бражничали; казалось, весь Лондон высыпал на улицу.

Джон Кенти отвел душу бешеным ругательством и приказал своим спутникам воротиться опять в темноту, но было уже поздно. Он и его семья были поглощены кишащим человеческим ульем и безнадежно разлучены друг с другом. Но так как принц был в этой семье чужаком, Джон Кенти ни на минуту не выпускал его руки. Сердце мальчика радостно билось в надежде на избавление.

Стараясь протиснуться сквозь толпу, Кенти сильно толкнул какого-то дюжего лодочника, разгоряченного спиртными напитками, и тот своей огромной ручищей схватил его за плечо и сказал:

— Куда ты так торопишься, приятель? Зачем грязнишь свою душу какими-то пустыми делишками, когда у всех добрых людей и верноподданных его величества праздник?

— Не суйся в чужие дела! — грубо отрезал Кенти.— Убери лапу и дай мне пройти.

— Нет, брат, коли так, мы тебя не пропустим, пока ты не выпьешь за здоровье принца Уэлского. Это уж я тебе говорю:

не пропустим! — сказал лодочник, решительно загораживая ему дорогу.

— Так давайте чашу, да поскорей, поскорей!

Тем временем этой сценой заинтересовались другие гуляки.

— Чашу любви![1] Чашу любви! — закричали они.— Заставьте этого грубияна выпить чашу любви, не то мы бросим его на съедение рыбам.

Принесли огромную чашу любви. Лодочник взял ее за одну ручку и, поднимая другою рукой конец воображаемой салфетки, поднес ее, как исстари повелось, Джону Кенти, который, соблюдая древний обычай, взялся одной рукой за вторую ручку, а другой рукой должен был снять крышку. Таким образом, ему, конечно, пришлось на секунду выпустить руку принца. Тот, не теряя времени, нырнул в лес человеческих ног, окружавший его, и был таков... Через минуту найти его в этом живом волнующемся море было так же трудно, как найти шестипенсовую монету, брошенную в Атлантический океан.

Едва только принц понял это, он поспешил заняться своими собственными делами, не думая больше о Джоне Кенти. И другое стало ясно ему, а именно, что город чествует вместо него — самозваного принца Уэлского.

Из этого он заключил, что маленький нищий, Том Кенти, умышленно воспользовался преимуществом своего необычного положения и бессовестно захватил его власть.

Значит, принцу остается одно: разыскать дорогу в ратушу, явиться туда и обличить самозванца. Принц тут же решил, что Тому нужно дать несколько дней на покаяние перед господом богом, а потом повесить, вздернуть на дыбу и четвертовать его, по тогдашнему закону и обычаю, как виновного в государственной измене.

---

[1] Чаша любви и связанный с нею обряд древнее, чем история Англии. Полагают, что и то и другое англичане заимствовали из Дании. Как далеко ни смотри в глубь веков, ни одна из английских пирушек не обходилась без чаши любви. Вот как объясняет предание связанный с нею обряд: в старое время, когда нравы были суровы и грубы, мудрая предосторожность требовала, чтобы у обоих участников пира, пьющих из чаши любви, были заняты обе руки, иначе могло случиться, что в то время, пока один изъясняется другому в чувствах любви и преданности, тот пырнет его ножом. *(Примеч. автора.)*

Глава XI

В РАТУШЕ

Королевский баркас в сопровождении блестящей флотилии величественно шел вниз по Темзе среди множества ярко освещенных судов. Воздух был насыщен музыкой, на берегах реки бушевало пламя праздничных факелов; город, лежавший вдали, был окутан мягким лучистым заревом от бесчисленных невидимых костров; над ним высились тонкие шпили, усеянные искрами огней; издали эти шпили напоминали длинные пики, разукрашенные драгоценными каменьями. На всем пути флотилию приветствовали с берегов неустанные хриплые крики и несмолкаемые пушечные выстрелы.

Для Тома Кенти, утопавшего в шелковых подушках, эти звуки и это зрелище были чудом, несказанно великолепным, поразительным. Но на его юных приятельниц, сидевших с ним рядом: на принцессу Елизавету и леди Джэн Грей,— они не производили никакого впечатления.

У Даугэйта флотилия свернула в Баклерсбери по прозрачным водам Уолбрука (русло которого вот уже два столетия засыпано и погребено под целыми милями сплошных зданий), мимо ярко освещенных домов и мостов, усеянных толпами веселых зевак, и наконец остановилась в бассейне, где ныне находится Бардж Ярд, в самом центре древнего города Лондона. Том в сопровождении блестящей свиты сошел на берег, пересек Чипсайд и после короткого перехода по Старой Джури и по улице Бэзинг-холл добрался до ратуши.

Том и его спутницы были встречены с подобающей церемонией лордом-мэром и отцами города в парадных пурпурных мантиях и с золотыми цепями на шее; их повели через большой зал к королевскому столу, помещавшемуся под роскошным балдахином; впереди шли герольды, возвещая о их прибытии, а также сановники с городским жезлом и мечом. Лорды и леди, назначенные для того, чтобы прислуживать Тому и двум принцессам, стали у них за креслами.

За другим столом, пониже, сидели вельможи и прочие именитые гости вместе с отцами города; члены палаты общин расположились за отдельными столиками, расставленными во множестве в средней части зала. Гигантские статуи Гога и Магога[1] — старинных стражей города — равнодушно смотрели с высоты своих пьедесталов на это обычное для них зрелище: много

---

[1] Находящиеся в лондонской ратуше статуи Гога и Магога изображают двух легендарных гигантов, которые были якобы поставлены в качестве привратников у входа в королевский дворец.

забытых поколений сменилось у них на глазах. Затрубили трубы, герольды возвестили о начале обеда, и на высоком помосте у левой стены появился толстый дворецкий в сопровождении слуг, несших с величавой торжественностью половину быка — настоящий королевский ростбиф, горячий, дымящийся, ждущий ножа.

После молитвы Том (его научили заранее) встал (а за ним все остальные) и отпил из огромной золотой чаши любви, потом передал ее принцессе Елизавете, та, в свою очередь,— леди Джэн; а затем чаша обошла весь зал. Так начался банкет.

К полуночи, когда пир был в полном разгаре, толпу угостили одним из тех живописных зрелищ, которыми так восхищались наши предки. Описание его до сих пор сохранилось в причудливом рассказе очевидца-историка.

«Очистили место, и затем вошли граф и барон, одетые, по турецкому обычаю, в длинные халаты из расшитой шелками парчи, усеянной золотыми блестками; на головах у них были чалмы из малинового бархата, перевитые толстыми золотыми шнурами; у каждого за поясом висело на широкой золотой перевязи по две сабли, именуемые ятаганами. За ними следовали другой граф и другой барон в длинных кафтанах желтого атласа с поперечными белыми полосками; в каждой белой полоске была алая, тоже атласная; согласно русскому обычаю, они были в серых меховых шапках и сапогах с загогулинами, то есть с длинными, загнутыми кверху носками (около фута в длину); у каждого в руке был топорик. Далее следовал некий рыцарь, за ним лорд-адмирал и пятеро дворян в малиновых бархатных камзолах, низко вырезанных сзади, а спереди — до самых ключиц, причем серебряные цепочки сплетались у них на груди; поверх камзолов на них были короткие плащи из малинового атласа, на голове же шапочки с фазаньими перьями — вроде тех, какие носят танцоры,— эти были наряжены по прусскому обычаю. Затем вошли факельщики, числом до сотни, одетые, как мавры, в красный и зеленый атлас; а лица у них были черные. Потом явились ряженые — в масках. Потом выступили менестрели и стали плясать, а за ними и лорды и леди тоже закружились в такой бешеной пляске, что было любо смотреть!»

Пока Том со своего возвышения любовался этой «бешеной» пляской, замирая от восторга перед пестрым калейдоскопом красок, каким представлялось ему неистовое кружение разноцветных фигур, вертящихся там, внизу,— оборванный, но настоящий принц Уэлский у ворот ратуши громко заявлял свои права, жаловался на свои обиды и, требуя, чтобы его впустили, обличал самозванца. Это забавляло толпу чрезвычайно; все теснились вперед, вытягивая шеи, чтобы взглянуть на маленького

бунтаря, потом стали трунить и глумиться над ним ради потехи, чтобы еще больше раззадорить его. Оскорбленный до слез, он все же стоял на своем, с королевской надменностью бросая вызов толпе. Насмешки не прекращались, новые издевательства язвили его, и он наконец закричал:

— Вы, свора невоспитанных псов! Говорят вам, я — принц Уэлский! И хоть я одинок и покинут друзьями и нет никого, кто сказал бы мне доброе слово или захотел помочь мне в беде,— все же я не уступлю своих прав и буду отстаивать их!

— Принц ты или не принц — все равно; ты храбрый малый, и отныне не смей говорить, что у тебя нет ни единого друга! Вот я стану рядом с тобою и докажу тебе, что ты ошибаешься. И клянусь тебе, Майлс Гендон не худший из тех, кого ты мог бы найти себе в качестве друга, не слишком утомив себя поисками. Дай отдохнуть своему языку, дитя мое, а я поговорю с этими подлыми крысами на их родном наречии.

Говоривший был высок, хорошо сложен, мускулист. По одежде, по всем своим ухваткам и даже по внешности он смахивал на дона Цезаря де Базана[1]. Его камзол и штаны были из дорогой материи, но материя выцвела и была протерта до ниток, а золотые галуны плачевно потускнели; брыжи на воротнике были измяты и продраны, широкие поля шляпы опущены книзу; перо на шляпе было сломано, забрызгано грязью и вообще имело изрядно потрепанный вид, не внушавший большого уважения; на боку у незнакомца болталась длинная шпага в заржавленных железных ножнах. Задорная осанка сразу выдавала в нем лихого забияку. Речь этого диковинного воина была встречена взрывом насмешек и хохота, посыпались крики: «Вот еще один ряженый принц!» «Берегись, приятель, своего языка, не то наживешь с ним беды!» «У, какие у него злые глаза!» «Оттащи от него мальчишку, волоки щенка в пруд!».

Мгновенно осуществляя эту счастливую мысль, кто-то схватил принца за шиворот, но незнакомец так же мгновенно обнажил шпагу и свалил дерзкого наземь звонким ударом плашмя. Тотчас же десять голосов закричало: «Убить этого пса! Бей его! Бей!» И толпа набросилась на воина; а тот прислонился к стене и как безумный размахивал длинной шпагой, раскидывая вокруг себя наступавших. Жертвы падали справа и слева, но толпа, топча их ногами, накидывалась на героя с неослабевающей яростью. Минуты его были, казалось, уже сочтены и гибель неизбежна, как вдруг затрубила труба и чей-то голос загремел:

— Дорогу королевскому гонцу!

---

[1] Обнищавший испанский дворянин, глава разбойничьей шайки, беззаботный, великодушный рыцарь («Рюи Блаз» Виктора Гюго).

Прямо на толпу скакал конный отряд. Все бросились кто куда, врассыпную, а храбрый незнакомец подхватил принца на руки и скоро был далеко от толпы и вне опасности.

Но вернемся в ратушу. Заглушая шумное ликование пирующих, внезапно в залу ворвался чистый и четкий звук рога. Мгновенно наступила тишина, в глубоком безмолвии раздался один голос — голос вестника, присланного из дворца. Все, как один человек, встали и обратились в слух.

Речь гонца завершилась торжественным возгласом:

— Король умер!

Словно по команде, все склонили голову на грудь и несколько мгновений оставались в полном молчании, потом бросились на колени перед Томом, простирая к нему руки с оглушительными криками, от которых, казалось, задрожало все здание:

— Да здравствует король!

Взоры бедного Тома, ослепленного этим поразительным зрелищем, растерянно блуждали по сторонам и остановились на принцессах, опустившихся перед ним на колени, потом на лорде Гертфорде. На лице его выразилась решимость. Он нагнулся к лорду Гертфорду и шепнул ему на ухо:

— Скажи мне правду, по чести, по совести! Если бы я сейчас отдал приказ, какого никто не имеет права отдать, кроме короля, был бы этот приказ исполнен? Никто не встал бы и не крикнул бы «нет»?

— Никто, государь, ни один человек в целом королевстве. В лице твоем повелевает владыка Англии. Ты король, твоя воля — закон.

Тогда Том проговорил твердым голосом, горячо, с большим одушевлением:

— Так пусть же отныне воля короля будет законом милости, а не законом крови. Встань с колен и скорее в Тауэр! Объяви королевскую волю: герцог Норфолькский останется жив!

Слова эти мгновенно были подхвачены и, передаваясь из уст в уста, облетели весь зал. И не успел Гертфорд выйти, как стены ратуши снова потряс оглушительный крик:

— Кончилось царство крови! Да здравствует Эдуард, король Англии!

Глава XII

ПРИНЦ И ЕГО ИЗБАВИТЕЛЬ

Выбравшись из толпы, Майлс Гендон и маленький принц разными задворками и закоулками стали пробираться к реке. Они легко, без помехи дошли до Лондонского моста, но тут снова попали в густую толпу. Гендон крепко держал за руку принца — нет, короля,— потрясающая новость уже разнеслась по всему городу, и мальчик слышал, как тысячи голосов повторяли сразу: «Король умер!» При этой вести леденящий холод проник в сердце несчастного, бездомного сироты, и он задрожал всем телом. Он сознавал, как велика его потеря, и был глубоко огорчен ею, потому что беспощадный тиран, наводивший ужас на всех, всегда был добр и ласков к нему. Слезы застилали мальчику глаза, и все окружающие предметы представлялись ему словно в тумане. В эту минуту он чувствовал себя самым покинутым, самым отверженным и забытым существом во всем мире. Но вдруг иные возгласы донеслись до него, прорезая ночь, словно раскаты грома:

— Да здравствует король Эдуард Шестой!

При этих криках глаза принца засверкали, он весь с головы до пят затрепетал от гордости.

«Ах,— думал он,— как это замечательно и как странно: *я — король!*»

Наши друзья с трудом пролагали себе путь сквозь густую толпу, заполнявшую мост. Этот мост был прелюбопытным явлением: он существовал уже шестьсот лет и все это время служил чем-то вроде очень людной и шумной проезжей дороги, по обе стороны которой, от одного берега до другого, тянулись ряды складов и лавок с жилыми помещениями в верхних этажах. Мост сам по себе был чем-то вроде самостоятельного города: здесь была своя харчевня, были свои пивные, пекарни, мелочные лавки, свои съестные рынки, свои ремесленные мастерские и даже своя церковь. На двух соседей, которых он связывал воедино, на Лондон и Саутворк, мост смотрел как на пригороды и только в этом видел их значение. Обитатели Лондонского моста составляли, так сказать, корпорацию: город у них был узенький, всего в одну улицу длиною в пятую часть мили. Здесь, как в деревне, каждый знал подноготную каждого, знал всех предков своего соседа и все их семейные тайны. На мосту, само собою, была и своя аристократия — почтенные старинные роды мясников, пекарей и других, по пятьсот — шестьсот лет торговавших в одних и тех же лавчонках, знавших от доски до доски всю славную историю моста со всеми его диковин-

ными преданиями; эти уж всегда и говорили особым, «мостовым» языком, и думали «мостовыми» мыслями, и лгали весьма пространно, выразительно и основательно, как умели лгать лишь на мосту. Население моста было невежественно, узколобо, спесиво. Иным оно и быть не могло: дети рождались на мосту, вырастали на мосту, доживали там до старости и умирали, ни разу не побывав в другой части света, кроме Лондонского моста. Эти люди, естественно, воображали, что нескончаемое шествие, двигавшееся через мост день и ночь, смешанный гул криков и возгласов, ржание коней, мычание коров, блеяние овец и вечный топот ног, напоминавший отдаленные раскаты грома,— единственная ценность во всем мире. Им даже казалось, что они вроде как бы ее хозяева, владельцы. Так оно и было — по крайней мере, в те дни, когда король или какой-нибудь герой устраивал торжественную процессию в честь своего благополучного возвращения на родину, жители моста всегда могли за известную плату показывать из своих окон зевакам это пышное зрелище, потому что в Лондоне не было другого места, где шествие могло бы развернуться такой длинной, прямой непрерывной колонной.

Люди, родившиеся и выросшие на мосту, находили жизнь во всех иных местах нестерпимо скучной и пресной. Рассказывают, будто некий старик семидесяти одного года покинул мост и уехал в деревню на покой, но там он целые ночи ворочался в постели и был не в состоянии уснуть — так угнетала, давила и страшила его невыносимая тишь. Измучившись вконец, он вернулся на старое место, худой и страшный, как привидение, и мирно уснул и сладко грезил под колыбельную песню бурливой реки, под топот, грохот, гром Лондонского моста.

В те времена, о которых мы пишем, мост давал своим детям «предметные уроки» по истории Англии: он показывал им посиневшие, разлагавшиеся головы знаменитых людей, надетые на железные палки, которые торчали над воротами моста... Но мы отклонились от темы.

Гендон занимал комнату в небольшой харчевне на мосту.

Не успел он со своим приятелем добраться до двери, как чей-то грубый голос закричал:

— А, пришел наконец! Ну, теперь уж ты не убежишь, будь покоен! Вот погоди, я истолку твои кости в такой порошок, что, быть может, это научит тебя не запаздывать... Заставил нас ждать столько времени!..

И Джон Кенти уже протянул руку, чтобы схватить мальчугана.

Майлс Гендон преградил ему дорогу:

— Не торопись, приятель! По-моему, ты напрасно ругаешься. Какое тебе дело до этого мальчика?

— Если тебе так хочется совать нос в чужие дела, так знай, что он мой сын.

— Ложь! — горячо воскликнул малолетний король.

— Прекрасно сказано, и я тебе верю, мой мальчик,— все равно, здоровая у тебя голова или с трещиной. Отец он тебе или нет, я не дам тебя бить и мучить этому гнусному негодяю, раз ты предпочитаешь остаться со мной.

— Да, да... я не знаю его, он мне гадок, я лучше умру, чем пойду с ним!

— Значит, кончено, и больше разговаривать не о чем.

— Ну, это мы еще посмотрим! — закричал Джон Кенти, шагнув к мальчику и отстраняя Гендона.— Я его силой...

— Только тронь его, ты, двуногая падаль, и я проколю тебя, как гуся, насквозь! — сказал Гендон, загородив ему дорогу и хватаясь за рукоять шпаги. Кенти попятился.— Заруби у себя на носу,— продолжал Гендон,— что я взял этого малыша под

защиту, когда на него была готова напасть целая орава подобных тебе негодяев и чуть было не прикончила его. Так неужели ты думаешь, что я брошу его теперь, когда ему грозит еще худшая участь? Ибо, отец ты ему или нет — а я уверен, что ты врешь,— для такого мальчика лучше скорая смерть, чем жизнь с таким зверем, как ты. Поэтому проваливай, да поживее, потому что я не охотник до пустых разговоров и не очень-то терпелив от природы.

Джон Кенти отступил, бормоча угрозы и проклятия, и скоро скрылся в толпе. А Гендон со своим питомцем поднялся к себе на третий этаж, предварительно распорядившись, чтобы им принесли поесть. Комната была бедная, с убогой кроватью, со старой, поломанной и разрозненной мебелью, тускло освещенная двумя тощими свечками. Маленький король еле добрел до кровати и повалился на нее, совершенно истощенный голодом и усталостью. Он целый день и часть ночи провел на ногах — был уже третий час — и все это время ничего не ел. Он пробормотал сонным голосом:

— Пожалуйста, разбуди меня, когда накроют на стол! — и тотчас же впал в глубокий сон.

Смех заискрился в глазах Гендона, и он сказал себе:

«Клянусь богом, этот маленький нищий расположился в чужой квартире и на чужой кровати с таким непринужденным изяществом, как будто у себя, в своем доме,— хоть бы сказал «разрешите мне», или «сделайте милость, позвольте», или что-нибудь в этом роде. В бреду больного воображения он называет себя принцем Уэлским, и, право, он отлично вошел в свою роль. Бедный маленький, одинокий мышонок! Без сомнения, его ум повредился из-за того, что с ним обращались так зверски жестоко. Ну что ж, я буду его другом — я его спас, и это сильно привязало меня к нему; я уже успел полюбить дерзкого на язык сорванца. Как бесстрашно сражался он с обнаглевшею чернью — словно настоящий солдат! И какое у него миловидное, приятное и доброе лицо теперь, когда во сне он забыл свои тревоги и горести! Я стану учить его, я его вылечу; я буду ему старшим братом, буду заботиться о нем и беречь его. И кто вздумает глумиться над ним или обижать его, пусть лучше сразу заказывает себе саван, потому что, если потребуется, я пойду за мальчугана хоть в огонь!»

Он наклонился над принцем и ласково, с жалостью, с участием смотрел на него, нежно гладя его юные щеки и откидывая со лба своей большой загорелой рукой его спутавшиеся волосы. По телу мальчика пробежала легкая дрожь.

— Ну вот,— пробормотал Гендон,— как это благородно с моей стороны — оставить его неукрытым! Чего доброго, просту-

дится насмерть! Как же мне быть? Если я его возьму на руки и уложу под одеяло, он проснется, а ведь он так нуждается в отдыхе.

Гендон поискал глазами, чем бы накрыть спящего, но ничего не нашел. Тогда он снял с себя камзол и укутал принца.

«Я привык и к стуже и к легкой одежде,— подумал он.— Холод и сырость мне нипочем».

И он зашагал взад и вперед по комнате, чтобы хоть немного согреться, продолжая разговаривать сам с собой:

«В его поврежденном уме засела мысль, что он принц Уэлский. Странно будет, если здесь у меня останется принц Уэлский, в то время как подлинный принц уже не принц, а король... Но его бедный мозг свихнулся на одной этой выдумке и не сообразит, что теперь уж ему надо забыть о принце и величать себя королем... Я целых семь лет провел в заточении, на чужбине, и ничего не слыхал о родном доме, но если мой отец жив, он охотно примет несчастного мальчика и великодушно приютит его под своим кровом ради меня, точно так же и мой добрый старший брат Артур. Мой другой брат, Гью... Ну, да я размозжу ему череп, если он вздумает вмешиваться не в свое дело, это злое животное с сердцем лисы! Да, мы поедем туда — и, возможно, скорее».

Вошел слуга с дымящимся блюдом, поставил его на сосновый столик, придвинул стулья и ушел, полагая, что такие дешевые жильцы могут прислуживать себе сами. Стук хлопнувшей двери разбудил мальчика; он вскочил и сел на кровати, радостно озираясь вокруг; но тотчас же на лице его выразилось огорчение, и он пробормотал с глубоким вздохом:

— Увы, это был только сон! Горе мне, горе!..

Тут он заметил на себе камзол Майлса Гендона, перевел глаза на самого Гендона, понял, какую жертву тот ему принес, и ласково сказал:

— Ты добр ко мне! Да, ты очень добр ко мне! Возьми свой камзол и надень, больше он мне не понадобится.

Затем он встал, подошел к умывальнику, помещавшемуся в углу, и остановился в ожидании.

Гендон с веселым оживлением сказал:

— Какой у нас чудесный ужин! Мы сейчас поедим на славу: еда горяча и вкусна. Не горюй: сон и еда сделают тебя опять человеком!

Мальчик не отвечал, он устремил на высокого рыцаря пристальный взгляд, полный сурового изумления и даже некоторой досады.

Гендон в недоумении спросил:

— Чего не хватает тебе?

— Добрый сэр, я хотел бы умыться...

— Только-то? Ты можешь делать здесь, что тебе вздумается, не спрашивай позволения у Майлся Гендона. Будь как дома, не стесняйся.

Но мальчик не трогался с места и даже раза два нетерпеливо топнул маленькой ногой. Гендон был совсем озадачен.

— Что с тобой, скажи на милость?

— Пожалуйста, налей мне воды и не говори столько лишних слов!

Гендон чуть было не расхохотался, но, сдержавшись, сказал себе: «Клянусь всеми святыми, это восхитительно!» — и поспешил исполнить просьбу своего дерзкого гостя. Он стоял подле, буквально остолбенев, пока его не вывел из оцепенения новый приказ:

— Полотенце!

Майлс взял полотенце, висевшее под самым носом у мальчика, и, ни слова не говоря, подал ему. Потом он стал сам умываться, а его приемный сын в это время уже уселся за стол и готовился приступить к еде. Гендон поспешил покончить с умыванием, придвинул себе другой стул и хотел уже сесть, как вдруг мальчик с негодованием воскликнул:

— Остановись! Ты хочешь сидеть в присутствии короля?

Этот удар поразил Гендона в самое сердце.

— Бедняжка! — пробормотал он.— Его помешательство с каждым часом растет, и это понятно: после той важной перемены, какая произошла в государстве, он воображает себя *королем!* Ну что ж, надо мириться и с этим, иного способа нет, а то он еще, чего доброго, велит заключить меня в Тауэр.— И, довольный этой шуткой, он отодвинул свой стул, стал за спиной короля и начал прислуживать, как умел, по-придворному.

За едой королевская суровость мальчугана немного смягчилась, и, едва он насытился, у него возникло желание поболтать:

— Ты, кажется, назвал себя Майлсом Гендоном, так ли я расслышал?

— Так, государь,— отвечал Майлс и про себя добавил: «Если уж подделываться к безумию этого бедного мальчика, так надо именовать его и государем и вашим величеством; не нужно ничего делать наполовину; я должен войти в свою роль до тонкости, иначе я сыграю ее плохо и испорчу все это доброе дело, дело любви и милосердия».

После второго стакана вина король совсем согрелся и сказал:

— Я хотел бы узнать тебя ближе. Расскажи мне свою историю. Ты храбр, и вид у тебя благородный. Ты дворянин?

— Наш род не особенно знатный, ваше величество. Мой отец — мелкий барон, выслужившийся из дворян, сэр Ричард Гендон, из Гендонского замка, близ Монксголма, в Кенте.

— Я не припомню такой фамилии. Но продолжай, расскажи мне свою историю.

— Рассказывать придется немного, ваше величество, но, может быть, это позабавит нас на полчаса, за неимением лучшего. Мой отец, сэр Ричард, человек великодушный и очень богатый. Матушка моя умерла, когда я был еще мальчиком. У меня два брата: Артур — старший, душою и нравом в отца, и Гью — моложе меня, низкий, завистливый, вероломный, порочный, лукавый, сущая гадина. Таким он был с самого детства, таким *был* десять лет назад, когда я в последний раз видел его,— девятнадцатилетний, вполне созревший подлец; мне было тогда двадцать лет, Артуру же двадцать два. В доме, кроме нас, жила еще леди Эдит, моя кузина — ей было тогда шестнадцать лет,— прекрасная, добросердечная, кроткая; дочь графа, последняя в роде, наследница большого состояния и прекращавшегося после ее смерти графского титула. Мой отец был ее опекуном. Я любил ее, она — меня. Но она была с детства обручена с Артуром, и сэр Ричард не потерпел бы, чтобы подобный договор был нарушен. Артур любил другую и убеждал нас не падать духом и не терять надежды, что время и счастливая судьба помогут каждому из нас добиться своего. Гью же был влюблен в имущество леди Эдит, хотя уверял, что любит ее самое. Но такова была его всегдашняя тактика: говорить одно, а думать другое. Однако его ухищрения не привели ни к чему: завоевать сердце Эдит ему так и не удалось: он мог обмануть одного лишь отца. Отец любил его больше всех нас и во всем ему верил. Гью был младший сын, и другие ненавидели его, а этого во все времена было достаточно, чтобы завоевать благосклонность родителей; к тому же у него был вкрадчивый, льстивый язык и удивительная спо-

собность лгать,— а этими качествами легче всего морочить слепую привязанность. Я был сумасброден, по правде — даже *очень* сумасброден, хотя сумасбродства мои были невинного свойства, ибо никому не приносили вреда — только мне. Я никого не опозорил, никого не разорил, не запятнал себя ни преступлением, ни подлостью и вообще не совершил ничего, не подобающего моему благородному имени.

Однако мой брат Гью умел воспользоваться моими проступками. Видя, что Артур слаб здоровьем, и надеясь извлечь выгоду из его смерти, если только удастся устранить меня с дороги, Гью... Впрочем, это длинная история, мой добрый государь, и не стоит ее рассказывать. Короче говоря, младший брат очень ловко преувеличил мои недостатки, выставил их в виде преступлений, и в довершение всех своих низких поступков он нашел в моей комнате шелковую лестницу, подброшенную им же самим, и при помощи этой хитрости, а также показаний подкупленных слуг и других лжесвидетелей убедил моего отца, будто я намерен увезти Эдит и жениться на ней наперекор его воле.

Отец решил отправить меня на три года в изгнание. «Эти три года, вдали от Англии и родительского дома,— сказал он,— может быть, сделают из тебя человека и воина и хоть отчасти научат тебя житейской мудрости». За эти годы моих долгих испытаний я участвовал в войнах на континенте, изведал суровую нужду, тяжкие удары судьбы, пережил немало приключений, а в последнем сражении я был взят в плен и целых семь лет томился в чужеземной тюрьме. Благодаря ловкости и мужеству я наконец вырвался на свободу и помчался прямо сюда. Я только что приехал. У меня нет ни приличной одежды, ни денег — и еще меньше сведений о том, что происходило за эти семь лет в Гендонском замке, что сталось с ним и его обитателями. Теперь, государь, с вашего позволения, вам известна моя жалкая повесть!

— Ты жертва бесстыдной лжи,— сказал маленький король, сверкнув глазами.— Но я восстановлю твои права, клянусь святым крестом! Это говорит тебе король!

Под влиянием рассказа о злоключениях Майлса у короля развязался язык, и он выложил перед изумленным слушателем все свои недавние невзгоды.

Когда он закончил рассказ, Майлс сказал себе:

«Какое, однако, у него богатое воображение! Поистине он обладает необыкновенным талантом, иначе он не сумел бы, будь он здоров или безумен, сплести такую правдоподобную и пеструю сказку, что называется, из воздуха, из ничего. Бедный свихнувшийся мальчик! Покуда я жив, у него будет и друг и убежище. Я не отпущу его от себя ни на шаг; он станет моим баловнем, моим малолетним товарищем. И мы его вылечим, мы вернем

ему разум, он непременно прославится, его имя прогремит на всю страну, а я буду везде похваляться: «Да, он мой, я подобрал его, когда он был бездомным оборвышем, но и тогда уже мне было ясно, какие таятся в нем силы, и я предсказывал, что люди со временем услышат о нем. Смотрите на него: разве я не был прав?»

Тут заговорил король вдумчивым, размеренным голосом:

— Ты избавил меня от стыда и обиды, а быть может, спас мою жизнь и, следовательно, мою корону. Такая услуга требует щедрой награды. Скажи мне, чего ты желаешь, и, насколько это в моей королевской власти, твое желание будет исполнено.

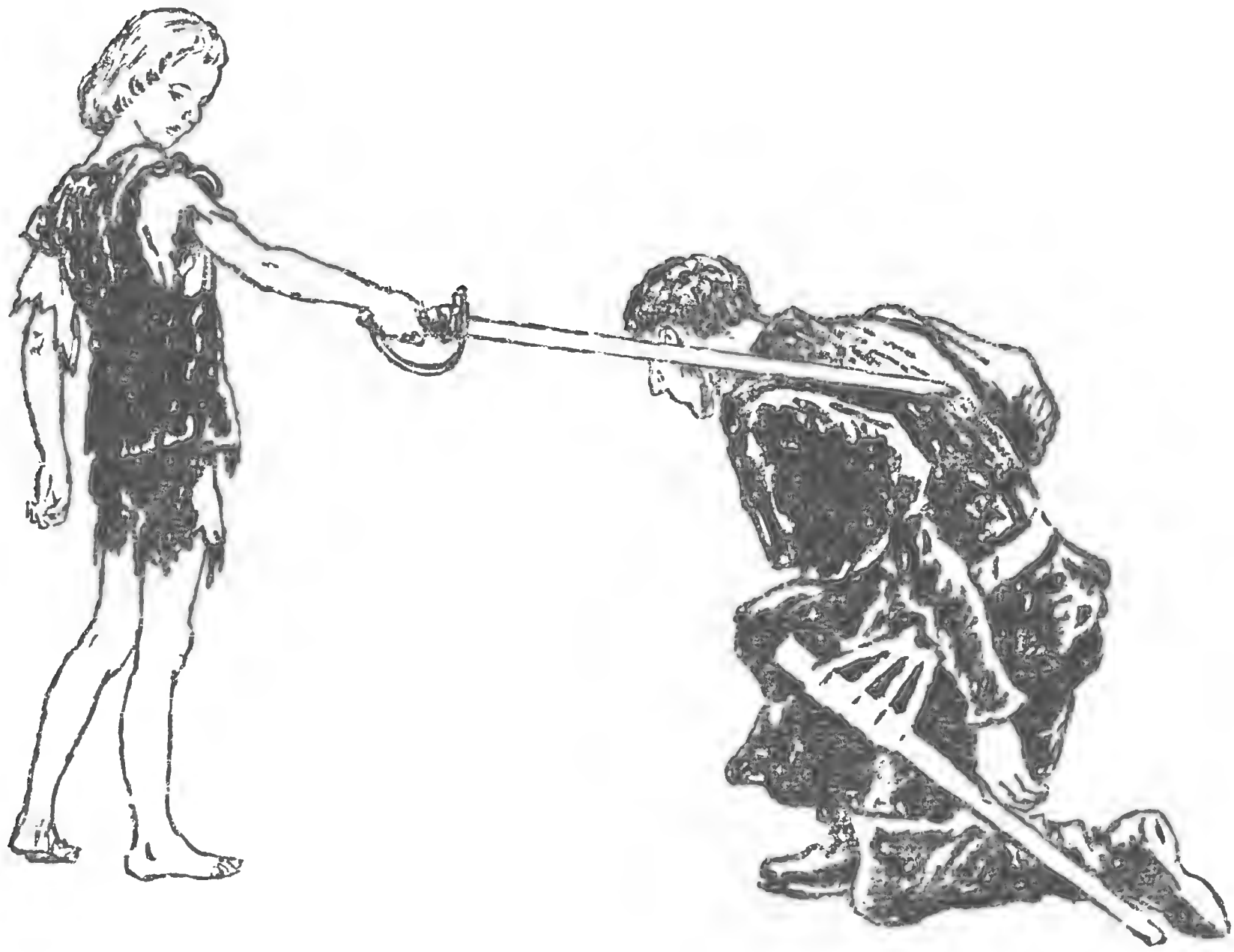
Это фантастическое предложение вывело Гендона из задумчивости. Он уже хотел было поблагодарить короля и переменить разговор, сказав, что он только исполнил свой долг и не желает награды, но ему пришла в голову более разумная мысль, и он попросил позволения помолчать несколько минут, чтобы обдумать это милостивое предложение. Король с важностью кивнул головой, заметив, что в делах, имеющих такое большое значение, лучше не торопиться.

Майлс подумал несколько минут и сказал себе:

«Да, именно этой милости и надо просить. Иначе ее невозможно добиться, а между тем опыт только что прошедшего часа показал, что продолжать таким образом было бы и неудобно и утомительно. Да, предложу ему это; как хорошо, что я не отказался от такого благоприятного случая».

Он опустился на колено и промолвил:

— Моя скромная услуга не выходит за пределы простого долга всякого верноподданного, и потому в ней нет ничего замечательного, но раз вашему величеству угодно считать ее достойной награды, я беру на себя смелость просить о следующем. Около четырехсот лет назад, как известно вашему величеству, во время распри между Джоном, королем Англии, и французским королем было решено выпустить с каждой стороны по бойцу и уладить спор поединком, прибегнув к так называемому суду божию. Оба короля да еще король Испании прибыли на место поединка, чтобы судить об исходе спора; но когда вышел французский боец, он оказался до того грозен и страшен, что никто из английских рыцарей не решился помериться с ним оружием. Таким образом, спор — очень важный — должен был решиться не в пользу английского монарха. Между тем в Тауэре как раз в это время был заключен лорд де Курси, самый могучий боец Англии, лишенный всех своих владений и почестей и давно уже томившийся в темнице. Обратились к нему; он согласился и прибыл на единоборство во всеоружии. Но как только француз завидел его огромную фигуру и услыхал его славное имя, он



пустился бежать, и дело французского короля было проиграно. Король Джон вернул де Курси все его титулы и владения со словами: «Проси у меня чего хочешь; твое желание будет исполнено, хотя бы оно стоило мне половины моего королевства». Де Курси упал на колени, как я теперь, и ответил: «В таком случае, государь, предоставь мне и моим потомкам право оставаться в присутствии королей Англии с покрытой головой, покуда будет существовать королевский престол». Просьба его была уважена, как известно вашему величеству, и за эти четыреста лет род де Курси не прекращался, так что и до сего дня глава этого старинного рода невозбранно остается в присутствии короля в шляпе или шлеме, не испрашивая на то никакого особого позволения,— чего не смеет сделать никто другой[1]. И вот, основываясь на этом старинном примере, я прошу у короля одной только милости и привилегии, которая будет для меня больше чем достаточной наградой, а именно: чтобы мне и моим потомкам на все времена разрешено было сидеть в присутствии английского короля.

— Встань, сэр Майлс Гендон, я посвящаю тебя в рыцари,—

---

[1] Лорды Кингсэл, потомки де Курси, до сих пор пользуются этой привилегией. *(Примеч. автора.)*

с важностью произнес король, ударяя его по плечу его же шпагой,— встань и садись. Твоя просьба уважена. Пока существует Англия, пока существует королевская власть, это почетное право останется за тобой.

Его величество отошел в задумчивости, а Гендон опустился на стул у стола и проговорил про себя:

«То была прекрасная мысль, она выручила меня из беды, так как ноги мои ужасно устали. Не приди мне она в голову, я был бы вынужден стоять еще много недель, пока мой бедный мальчик не вылечится от своего помешательства.— Спустя некоторое время он продолжал: — Итак, я стал рыцарем царств Снов и Теней! Весьма странное, диковинное звание для такого не склонного к мечтам человека, как я. Но не стану смеяться — боже меня сохрани! — ибо то, что не существует для меня, для него подлинная действительность. Да и для меня это в одном отношении истинно: это показывает, какая у него добрая и благородная душа...— Немного поразмыслив, он прибавил: — Но что, если он вздумает и при других величать меня громким титулом, который он мне сейчас даровал? Забавное будет несоответствие между моим рыцарским званием и моей жалкой одеждой! Ну, да все равно; пусть зовет как хочет, если ему это нравится. Я буду доволен...»

Глава XIII

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦА

После еды обоими товарищами овладела тяжкая дремота.

Король сказал:

— Убери эти тряпки! (Подразумевая свою одежду.)

Гендон раздел его без всяких возражений и уложил в постель, потом обвел взглядом комнату, говоря себе с грустью: «Он опять завладел моей кроватью, черт возьми! Что же я буду делать?»

От маленького короля не ускользнуло замешательство Гендона, и он сразу положил его раздумьям конец, пробормотав сонным голосом:

— Ты ляжешь у двери и будешь охранять ее.

Через минуту он уже забыл все свои тревоги в крепком сне.

— Бедняжка! Ему, право, следовало бы родиться королем! — с восхищением промолвил Гендон.— Он играет свою роль в совершенстве.

И он растянулся на полу у двери, очень довольный, говоря себе: «Все эти семь лет у меня было еще меньше удобств; жало-

ваться на теперешнее мое положение значило бы гневить всевышнего».

Он уснул на рассвете, а в полдень встал и, то там, то здесь приподнимая одеяло над своим крепко спавшим питомцем, снял с него мерку веревочкой.

Едва он закончил работу, король проснулся. Открыв глаза, он пожаловался на холод и спросил у своего друга, что тот делает.

— Я уже кончил, государь,— сказал Гендон.— У меня есть дело в городе, но я скоро приду. Усни опять: ты нуждаешься в отдыхе. Дай я укрою тебя с головой — так ты скорее согреешься.

Не успел он договорить, как король снова очутился в сонном царстве.

Майлс на цыпочках вышел из комнаты и через тридцать или сорок минут так же бесшумно вернулся — с костюмом для мальчика. Костюм был ношеный, из дешевой материи, кое-где потертый, но чистый и теплый — как раз для того времени года.

Майлс сел и принялся рассматривать свою покупку, бормоча себе под нос:

— Будь у меня кошель подлиннее, можно было бы достать костюм получше; но, когда в кармане не густо, не следует быть слишком разборчивым...

Красотка жила в городишке у нас,
У нас в городишке жила...

Он, кажется, пошевелился; не надо горланить так громко, иначе я нарушу его сон, между тем ему предстоит путешествие, а он и так изнурен, бедняжка... Камзол ничего, недурен — кое-где ушить, и будет впору. Штаны еще лучше, но, конечно, и тут два-три стежка не помешают... Башмаки отличные, прочные, крепкие; в них будет сухо и тепло. Они будут для него диковинкой, так как он, несомненно, привык бегать босиком и зимою и летом. Эх, если бы хлеб был такой же дешевый, как нитки! Вот за какой-нибудь фартинг я обеспечен нитками на целый год, да еще такую чудесную, большую иглу мне дали в придачу... Вот только нитку продеть в нее будет, черт возьми, нелегко.

И действительно, это было для него нелегким делом. Майлс поступил, как обыкновенно поступают мужчины и, по всей вероятности, будут поступать до скончания веков: держал неподвижно иголку и старался вдеть нитку в ушко, тогда как женщины поступают как раз наоборот. Нитка скользила мимо иголки то справа, то слева, то складывалась вдвое, но Гендон был терпелив: уже не раз доводилось ему проделывать подобные опыты во время солдатской службы. Наконец ему удалось вдеть нитку;

он взял костюм, лежавший у него на коленях в ожидании починки, и принялся за работу.

«За постой заплачено, за завтрак, который нам подадут, тоже; денег еще хватит на то, чтобы купить пару осликов и нам вдвоем прокормиться два-три дня, пока доберемся до Гендон-холла, а там у нас всего будет вдоволь...

Любила она муженька...

Черт возьми, я загнал иголку себе под ноготь!.. Положим, это не беда, не в первый раз случается... а все-таки неприятно... Эх, милый, мы с тобой отлично заживем, будь уверен! Всем твоим злоключениям наступит конец, да и рассудок вернется к тебе...

Любила она муженька своего,
Но ее любил...

Вот благородные, крупные стежки.— Он поднял кверху камзол и стал разглядывать его с восхищением.— В них есть размах и величие, рядом с ними мелкие, скаредные стежки портного кажутся плебейскими и жалкими...

Любила она муженька своего,
Но ее любил другой...

Ну, вот и готово! Неплохая работа, и главное, быстро закончена. Теперь я разбужу его, одену, подам ему умыться, накормлю его; а затем мы с ним поспешим на рынок, что возле харчевни Табард, в Саутворке».

— Извольте вставать, ваше величество! — громко сказал он.— Не отвечает!.. Эй, ваше величество!

«Кажется, мне все-таки придется оскорбить его священную особу прикосновением, если сон его глух к человеческой речи. Что это?..»

Он откинул одеяло... Мальчик исчез.

Гендон онемел от изумления, огляделся вокруг и тут только заметил, что лохмотья мальчика тоже исчезли. Он страшно рассвирепел, стал бушевать, звать хозяина. В ту минуту вошел слуга с завтраком.

— Ты, бесовское отродье, объясни, что это значит, или прощайся со своей презренною жизнью! — загремел воин и так свирепо подскочил к слуге, что тот от удивления и страха совсем растерялся и с минуту был не в состоянии выговорить ни слова.— Где мальчик?

Дрожа и запинаясь, слуга дал требуемое объяснение:

— Не успели вы уйти отсюда, ваша милость, как вдруг прибегает какой-то молодой человек и говорит, что ваша милость требует мальчика сейчас же к себе, на конец моста, на саутворкский берег. Я ввел его в комнату, он разбудил мальчугана и передал ему поручение. Тот чуть-чуть поворчал, зачем его обеспокоили «так рано», но сейчас же напялил на себя свою рвань и пошел с молодым человеком, только промолвил в сердцах, что было бы учтивее, если бы ваша милость пришли за ним сами и не посылали чужого... а то выходит...

— А то выходит, что ты идиот! Идиот и болван, и надуть тебя ничего не стоит; повесить бы всех твоих родичей! Но, может быть, беды еще нет. Может быть, мальчишку не хотели обидеть. Я пойду за ним и приведу сюда. А ты тем временем накрой-ка на стол! Постой! Одеяло на кровати положено так, будто под ним кто-то лежит,— это случайно?

— Не знаю, мой добрый господин! Я видел, как молодой человек возился у кровати — тот самый, что приходил за мальчиком.

— Тысяча смертей! Это было сделано, чтобы обмануть меня! Да, это было сделано, чтобы выиграть время... Слушай! Тот молодец был один?

— Один, ваша милость!

— Ты уверен в этом?

— Уверен, ваша милость!

— Подумай, собери свои мысли, не торопись!

Подумав немного, слуга сказал:

— Приходил-то он один, с ним никого не было; но теперь-то я припоминаю, что, когда они с мальчиком вышли на мост, туда, где толпа погуще, откуда-то выскочил разбойничьего вида мужчина, и как раз в ту минуту, как он подбежал к ним...

— Ну, что же *тогда?* Договаривай! — нетерпеливо загремел Гендон.

— Как раз в эту минуту толпа заслонила их, и больше уж я их не видел, так как меня кликнул хозяин, который обозлился за то, что стряпчему забыли подать заказанную баранью ногу, хотя я беру всех святых в свидетели, что винить в этом *меня* — все равно что судить неродившегося младенца за грехи его...

— Прочь с моих глаз, осел!.. Я просто с ума сойду от твоей болтовни. Стой! Куда же ты бежишь? Не может постоять и минуту на месте! Что же, они пошли в Саутворк?

— Точно так, ваша милость!.. Потому, как я вам докладывал, я к этой бараньей ноге непричинен, все равно как младе...

— Ты *все еще* здесь? И все еще мелешь вздор? Убирайся, покуда цел!

Слуга исчез.

К стр. 540

Гендон побежал вслед за ним, обогнал его и, прыгая по лестнице через две ступеньки сразу, в один миг очутился внизу.

«Это тот гнусный разбойник, который звал его своим сыном... Я потерял тебя, мой бедный маленький безумный повелитель! Какая горькая мысль! Я так полюбил тебя! Нет! Клянусь всем святым, я тебя *не* потерял! Не потерял, потому что я обыщу всю Англию и все же найду тебя. Бедный ребенок! Там остался его завтрак... и мой... ну да мне теперь не до еды. Пусть он достанется крысам! Скорее, скорее, медлить нельзя!»

И, торопливо пробираясь сквозь шумную толпу на мосту, он несколько раз повторил, как будто эта мысль была особенно приятна ему:

«Он поворчал, но *пошел*... да, пошел, так как думал, что его зовет Майлс Гендон... Милый мальчик! Никого другого он не послушался бы, уж я знаю!»

Глава XIV

«LE ROI EST MORT — VIVE LE ROI!»[1]

В это самое утро, на рассвете, Том Кенти очнулся от глубокого сна и открыл глаза в темноте. Несколько мгновений он лежал молча, пытаясь разобраться в путанице впечатлений и мыслей, чтобы хоть отчасти уразуметь их значение. И вдруг воскликнул веселым, но сдержанным голосом:

— Я понял! Понял! Слава богу, теперь я окончательно проснулся. Приди ко мне, радость! Исчезни, печаль! Эй, Нэн, Бэт! Сбросьте с себя солому, бегите скорее ко мне: я сейчас расскажу вам самый дикий, безумный сон, какой только могут навеять на человека ночные духи! Эй, Нэн, где же ты? Бэт!

Чья-то темная фигура появилась у его постели, чей-то голос произнес:

— Что угодно вам повелеть?

— Повелеть?.. О горе мне, я узнаю твой голос! Говори... кто я такой?

— Вы? Еще вчера были принцем Уэлским, ныне же вы мой августейший повелитель, Эдуард, король Англии.

Том зарылся головой в подушку и жалобно пролепетал:

— Увы, то был не сон! Иди отдыхай, добрый сэр... Оставь меня одного с моим горем.

Том опять уснул. И немного спустя ему приснился замечательный сон. Будто на дворе лето и будто он играет один на

---

[1] «Король умер — да здравствует король!» *(франц.)*

прекрасной лужайке, которая зовется Гудмэнсфилдс; как вдруг к нему подходит карлик, ростом не больше фута, горбатый, с длинной рыжей бородой, и говорит:

«Копай возле этого пня!»

Том послушался и нашел целых двенадцать блестящих новых пенсов — сказочное богатство! Но лучшее было впереди, потому что карлик сказал:

«Я знаю тебя. Ты юноша добрый и достойный похвал; твое горе кончилось, пришел день награды. Копай на этом самом месте каждый седьмой день, и всякий раз ты будешь находить здесь сокровище — двенадцать новых блестящих пенсов. Только не говори никому, это тайна».

Затем карлик исчез, а Том со своей добычей помчался в Двор Отбросов, говоря себе:

«Теперь я каждый вечер могу давать отцу по одному пенни; он будет думать, что я собрал их, прося подаяние, это развеселит его сердце, и он перестанет меня колотить. Одно пенни в неделю я буду давать доброму священнику, который учит меня, а остальные четыре — матери, Нэн и Бэт. Мы не будем больше голодать и ходить оборванцами. Прощайте страхи, тревоги, побои».

Во сне он в один миг очутился в своем убогом жилье, прибежал туда, запыхавшись, но глаза у него так и прыгали от счастья; он бросил четыре монеты на колени матери, крича:

«Это тебе!.. Все тебе, все до одной! Тебе, и Нэн, и Бэт! Я добыл их честно, не украл и не выпросил».

Счастливая, удивленная мать прижала его к груди и воскликнула:

«Становится поздно... Не угодно ли будет вашему величеству встать?»

Ах, он ждал не такого ответа! Сон рассеялся. Том проснулся.

Он открыл глаза. У его постели стоял на коленях роскошно одетый первый лорд опочивальни. Радость, вызванная обманчивым сном, сразу исчезла: бедный мальчик увидел, что он все еще пленник и король. Комната была переполнена царедворцами в пурпурных мантиях — траурный цвет — и знатными прислужниками монарха. Том сел на постели и из-за тяжелых шелковых занавесей смотрел на все это великолепное сборище.

Затем началась трудная церемония одевания, причем все время придворные один за другим становились на колени, приветствуя маленького короля и выражая ему сочувствие по поводу его тяжелой утраты. Прежде всего лорд обер-шталмейстер взял рубашку и передал ее первому лорду-егермейстеру, тот передал ее второму лорду опочивальни, этот, в свою очередь,— главному

Каждая принадлежность туалета Тома подвергалась медленному и торжественному осмотру.

лесничему Виндзорского леса, тот — третьему обер-камергеру, этот — королевскому канцлеру герцогства Ланкастерского, тот — хранителю королевской одежды, этот — герольдмейстеру Норройскому, тот — коменданту Тауэра, этот — лорду заведующему дворцовым хозяйством, тот — главному наследственному подвязывателю королевской салфетки, этот — первому лорду адмиралтейства, тот — архиепископу Кентерберийскому и, наконец, архиепископ — первому лорду опочивальни, который надел рубашку — или, вернее, то, что от нее осталось,— на Тома. Бедный мальчик не знал, что и подумать; это напомнило ему передачу из рук в руки ведер во время пожара.

Каждая принадлежность его туалета подвергалась тому же медленному и торжественному процессу. В конце концов эта церемония так наскучила Тому, так ужасно наскучила, что он чуть не вскрикнул от радости, увидав, что вдоль линии уже начали странствовать его длинные шелковые чулки: значит, церемония приближалась к концу. Но радость его была преждевременна. Первый лорд опочивальни получил чулки и уже готовился облечь ими ноги Тома, как вдруг лицо его покрылось багровыми пятнами, и он сунул чулки обратно в руки архиепископа Кентерберийского, пробормотав с изумлением:

— Смотрите, милорд!

Очевидно, с чулками что-то было неладно. Архиепископ побледнел, потом покраснел и передал чулки адмиралу, прошептав:

— Смотрите, милорд!

Адмирал передал чулки наследственному подвязывателю королевской салфетки, причем у него едва хватило силы пролепетать:

— Смотрите, милорд!

Таким образом чулки пространствовали обратно вдоль всей линии, через руки лорда заведующего дворцовым хозяйством, коменданта Тауэра, герольдмейстера Норройского, хранителя королевской одежды, канцлера герцогства Ланкастерского, третьего обер-камергера, главного лесничего Виндзорского леса, второго лорда опочивальни, первого лорда-егермейстера, сопровождаемые все тем же удивленным и испуганным шепотом: «Смотрите! Смотрите!», пока наконец не попали в руки обер-шталмейстера. Тот, бледный как полотно, с минуту разглядывал причину общего испуга, затем хрипло прошептал:

— Господи помилуй! От подвязки отскочил жестяной наконечник! В Тауэр главного хранителя королевских чулок! — и в изнеможении склонился на плечо первого лорда-егермейстера, чтобы восстановить свои силы, покуда не доставят такие чулки, у которых подвязки находятся в полной исправности.

Но все на свете рано или поздно кончается, и, таким образом, наступила пора, когда Том Кенти получил наконец возможность покинуть постель. Один придворный налил воды в таз, другой руководил умыванием, третий держал наготове полотенце. Том благополучно совершил обряд омовения, после чего к делу приступил королевский цирюльник. Из рук этого художника Том вышел грациозным и миловидным, как девочка. В плаще и штанах из пурпурного атласа и в шляпе с пурпурными перьями он торжественно проследовал в утреннюю столовую сквозь густую толпу придворных, которые расступались перед ним и преклоняли колени.

После завтрака его провели в тронный зал. Это была пышная церемония: его сопровождали первые сановники Англии, а также почетная стража из пятидесяти дворян с золочеными бердышами в руках. В тронном зале ему предстояло заняться государственными делами. Его «дядя», лорд Гертфорд, поместился у самого трона, чтобы помогать королю своими мудрыми советами.

Раньше всех предстали перед Томом именитые лорды, душеприказчики[1] покойного короля. Они ходатайствовали, чтобы Том утвердил некоторые их распоряжения. Это была пустая формальность,— однако не совсем, так как в то время еще не было лорда-протектора[2]. Архиепископ Кентерберийский доложил постановление совета о похоронах покойного монарха и в заключение прочел подписи душеприказчиков, а именно: архиепископ Кентерберийский; лорд-канцлер Англии; Вильям лорд Сент-Джон; Джон лорд Рассел; Эдуард граф Гертфорд; Джон виконт Лисли; Катберт, епископ Дургэмский...

Том не слушал — его еще раньше смутил в этом документе один удивительный пункт. Он повернулся к лорду Гертфорду и шепотом спросил:

— На какой день назначены похороны?

— На шестнадцатое число будущего месяца, государь!

— Это просто удивительно! Разве он продержится так долго?

Бедный малый! Королевские обычаи были для него еще внове. Он привык к тому, что покойников на Дворе Отбросов спроваживали в могилу гораздо быстрее.

Двумя-тремя словами лорд Гертфорд успокоил его.

Затем статс-секретарь доложил о постановлении государственного совета, назначившего на другой день, в одиннадцать

---

[1] Душеприказчики — лица, которым умирающий поручает исполнить его завещание.

[2] Лорд-протектор — временный правитель государства, заменяющий малолетнего короля.

часов, прием иностранных послов. Требовалось согласие короля.

Том вопросительно посмотрел на лорда Гертфорда. Тот шепнул:

— Ваше величество да соблаговолит изъявить согласие. Они прибудут, чтобы выразить вам соболезнование их августейших повелителей по поводу тяжкой утраты, постигшей ваше величество и всю Англию.

Том поступил, как ему было сказано. Другой статс-секретарь начал читать акт о расходах на штат покойного короля, достигших за последнее полугодие двадцати восьми тысяч фунтов стерлингов. Сумма была так велика, что у Тома Кенти дух захватило. Еще больше изумился он, узнав, что из этих денег двадцать тысяч еще не уплачено. И окончательно разинул рот, когда оказалось, что королевская сокровищница почти пуста, а его тысяча слуг испытывают большие лишения, ибо давно уже не получают следуемого им жалованья.

Том с горячим убеждением сказал:

— Ясно, что этак мы разоримся к чертям. Нам следует снять домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые все равно ни на что не годны, только болтаются под ногами и покрывают нашу душу позором, оказывая нам такие услуги, какие нужны разве что кукле, не имеющей ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими делами. Я знаю один домишко, как раз насупротив рыбного рынка у Биллингс-гэйта... Он...

«Дядя» крепко сжал Тому руку, чтобы остановить его безумную речь; тот вспыхнул и остановился на полуслове; но никто не выразил удивления, как будто никто и не слыхал его слов.

Какой-то секретарь доложил, что покойный король в своей духовной завещал пожаловать графу Гертфорду герцогский титул, возвести его брата, сэра Томаса Сеймура, в звание пэра, а сына Гертфорда сделать графом, равно как и возвысить в звании других знатных слуг короны. Совет решил назначить заседание на шестнадцатое февраля для утверждения и исполнения воли покойного. А так как почивший король никому из поименованных лиц не пожаловал письменно поместий, необходимых, чтобы поддержать столь высокое звание, то совет, будучи осведомлен о личных желаниях его величества по этому поводу, счел за благо, если на то будет соизволение ныне царствующего монарха, назначить Сеймеру «земель на пятьсот фунтов стерлингов», а сыну Гертфорда «на восемьсот фунтов стерлингов», прибавив к этому первый же участок земли «на триста фунтов стерлингов», «какой освободится за смертью какого-нибудь епископа».

Том чуть было не брякнул, что лучше бы сначала уплатить

долги покойного короля, а потом уж расходовать такие огромные деньги; но предусмотрительный Гертфорд, вовремя тронув его за плечо, спас его от подобной бестактности, и он изъявил свое королевское согласие, хотя в душе был очень недоволен.

С минуту он сидел и раздумывал, как легко и просто он теперь совершает такие блистательные чудеса, и вдруг у него мелькнула мысль: почему бы не сделать свою мать герцогиней Двора Отбросов и не пожаловать ей поместье? Но в то же мгновение он с горечью сообразил, что ведь он король только по имени, на самом же деле он весь во власти этих важных старцев и величавых вельмож. Для них его мать — создание больного воображения; они выслушают его недоверчиво и пошлют за доктором — только и всего.

Скучная работа продолжалась. Читались всякие многословные, утомительно-нудные петиции, указы, дипломы и другие бумаги, относящиеся к государственным делам; наконец Том сокрушенно вздохнул и пробормотал про себя:

«Чем прогневал я господа бога, что он отнял у меня солнечный свет, свежий воздух, поля и луга и запер меня в этой темнице, сделал меня королем и причинил мне столько огорчений?»

Тут бедная, утомленная его голова стала клониться в дремоте и наконец упала на плечо; дела королевства приостановились за отсутствием августейшего двигателя, имеющего власть превращать чужие желания в законы. Тишина окружила дремавшего мальчика, и государственные мужи прервали обсуждение дел.

Перед обедом Том, с разрешения своих тюремщиков Гертфорда и Сент-Джона, провел приятный часок в обществе леди Елизаветы и маленькой леди Джэн Грей, хотя принцессы были весьма опечалены тяжелой утратой, постигшей королевскую семью. Под конец ему нанесла визит «старшая сестра», впоследствии получившая в истории имя Марии Кровавой[1]. Она заморозила Тома своей высокопарной беседой, которая в его глазах имела только одно достоинство — краткость. На несколько минут его оставили одного, затем к нему был допущен худенький мальчик лет двенадцати, платье которого, за исключением белоснежных кружев на вороте и рукавах, было сверху донизу черное — камзол, чулки и все прочее. В его одежде не было никаких признаков траура, только пурпурный бант на плече. Он приближался к Тому нерешительным шагом, склонив обнажен-

---

[1] Мария Тюдор (1516—1558) — английская королева. Ее царствование ознаменовано преследованиями и многочисленными казнями протестантов.

ную голову, и, когда подошел, опустился на колено. Том с минуту спокойно и вдумчиво смотрел на него и наконец сказал:

— Встань, мальчик. Кто ты такой? Что тебе надобно?

Мальчик встал на ноги; он стоял в изящной, непринужденной позе, но на лице у него были тревога и грусть.

— Вы, конечно, помните меня, милорд? Я ваш паж, мальчик для порки.

— Мальчик *для порки?*

— Так точно, ваше величество. Я Гэмфри... Гэмфри Марло.

Том подумал, что его опекунам не мешало бы рассказать ему об этом паже. Положение было щекотливое. Что ему делать? Притвориться, будто он узнаёт мальчугана, а потом каждым словом своим обнаруживать, что он никогда и не слышал о нем? Нет, это не годится. Спасительная мысль пришла ему в голову: ведь такие случаи будут, пожалуй, нередки. С настоящего дня лордам Гертфорду и Сент-Джону частенько придется отлучаться от него по делам, поскольку они — члены совета душеприказчиков; не худо бы самому придумать способ, как выпутываться из затруднений подобного рода. «Дельная мысль! Попробую испытать ее на мальчишке... и посмотрю, что из этого выйдет».

Минуты две Том в замешательстве тер себе лоб и наконец сказал:

— Теперь, мне кажется, я немного припоминаю тебя... но мой разум отуманен недугом...

— Увы, мой бедный господин! — с чувством искреннего сожаления воскликнул паж для порки, а про себя подумал: «Значит, правду о нем говорили... не в своем уме бедняга... Но, черт возьми, какой же я забывчивый! Ведь велено не подавать и виду, что замечаешь, будто у него голова не в порядке».

— Странно, как память изменяет мне в последние дни,— сказал Том.— Но ты не обращай внимания... я быстро поправлюсь; часто мне достаточно бывает одного небольшого намека, чтобы я припомнил имена и события, ускользнувшие из моей памяти. («А порой и такие, о которых я раньше никогда не слыхал, в чем сейчас убедится этот малый».) Говори же, что тебе надо!

— Дело мелкое, государь, но все же я дерзаю напомнить о нем, с дозволения вашей милости. Два дня тому назад, когда ваше величество изволили сделать три ошибки в греческом переводе за утренним уроком... вы помните это?..

— Д-д-да, кажется, помню... («Это даже не совсем ложь: если бы я стал учиться по-гречески, я, наверно, сделал бы не три ошибки, а сорок».) Да, теперь помню... продолжай!

— Учитель, разгневавшись на вас за такую, как он выра-

зился, неряшливую и скудоумную работу, пригрозил больно высечь меня за нее... и...

— Высечь *тебя?* — вскричал Том. Он был так удивлен, что даже позабыл свою роль.— С какой же стати ему сечь *тебя* за мои ошибки?

— Ах, ваша милость, опять забываете!.. Он всегда сечет меня розгами, когда вы плохо приготовите урок.

— Правда, правда... Я и забыл. Ты помогаешь мне готовить уроки, и, когда потом я делаю ошибки, он считает, что ты худо подготовил меня... и...

— О, что вы говорите, мой государь? Я, ничтожнейший из слуг ваших, посмел бы учить *вас?!*

— Так в чем же твоя вина? Что это за странная загадка? Или я и вправду рехнулся, или это ты сумасшедший? Говори же... объясни скорее.

— Но, ваше величество, ничего не может быть проще. Никто не смеет наносить побои священной особе принца Уэлского; поэтому, когда принц провинится, вместо него бьют меня. Это правильно, так оно и быть должно, потому что такова моя служба, и я ею кормлюсь[1].

Том с изумлением смотрел на этого безмятежно-спокойного мальчика и говорил про себя:

«Диковинное дело! Вот так ремесло! Удивляюсь, как это не наняли мальчика, которого причесывали бы и одевали вместо меня. Дай-то бог, чтоб наняли!.. Тогда я попрошу, чтобы секли меня самого, и буду счастлив такой заменой».

Вслух он спросил:

— И что же, мой бедный друг, тебя высекли, выполняя угрозу учителя?

— Нет, ваше величество, в том-то и горе, что наказание было назначено на сегодня, но, может быть, его отменят совсем ввиду траура, хотя наверняка я не знаю; поэтому-то я и осмелился прийти сюда и напомнить вашему величеству о вашем милостивом обещании вступиться за меня...

— Перед учителем? Чтобы тебя не секли?

— Ах, это вы помните?

— Ты видишь, моя память исправляется. Успокойся, твоей спины уж не коснется розга... Я позабочусь об этом.

— О, благодарю вас, мой добрый король! — воскликнул мальчик, снова преклоняя колено.— Может быть, с моей стороны это слишком большая смелость, но все же...

---

[1] И Яков I и Карл II имели в детстве пажей для порки, которых наказывали всякий раз, когда эти принцы плохо готовили уроки. Поэтому я дерзнул для достижения собственных целей снабдить таким же пажом и моего принца. *(Примеч. автора.)*

Видя, что Гэмфри колеблется, Том поощрил его, объявив, что сегодня он «хочет быть милостивым».

— В таком случае, я выскажу все, что у меня на сердце. Так как вы уже не принц Уэлский, а король, вы можете приказать, что вам вздумается, и никто не посмеет ответить вам «нет»; и, конечно, вы не потерпите, чтобы вам и впредь докучали уроками, вы швырнете постылые книги в огонь и займетесь чем-нибудь менее скучным. Тогда я погиб, а со мною и мои осиротелые сестры.

— Погиб? Почему?

— Моя спина — хлеб мой, о милостивый мой повелитель! Если она не получит ударов, я умру с голоду. А если вы бросите ученье, моя должность будет упразднена, потому что вам уже не потребуется мальчик для порки. Смилуйтесь, не прогоняйте меня!

Том был тронут этим искренним горем. С королевским великодушием он сказал:

— Не огорчайся, милый! Я закреплю твою должность за тобой и за всеми твоими потомками.

Он слегка ударил мальчика по плечу шпагой плашмя и воскликнул:

— Встань, Гэмфри Марло! Отныне твоя должность становится наследственной во веки веков. Отныне и ты и твои потомки будут великими пажами для порки при всех принцах английской державы. Не терзай себя скорбью. Я опять примусь за мои книги и буду учиться так худо, что твое жалованье, по всей справедливости, придется утроить — настолько увеличится твой труд.

— Спасибо, благородный повелитель! — воскликнул Гэмфри в порыве горячей признательности.— Эта царственная щедрость превосходит мои самые смелые мечты. Теперь я буду счастлив до гроба, и все мои потомки, все будущие Марло, будут счастливы.

Том сообразил, что мальчишка может быть ему очень полезен. Он заставил Гэмфри разговориться, что оказалось нетрудно. Гэмфри был в восторге, что может способствовать «исцелению» Тома, ибо всякий раз, как он воскрешал в расстроенном уме короля те или иные происшествия, случившиеся в классной комнате или в других королевских покоях, юный король и сам чрезвычайно отчетливо «припоминал» все подробности этих событий. К концу беседы, за какой-нибудь час, Том приобрел множество полезнейших сведений о разных эпизодах и людях, связанных с придворной жизнью; поэтому он решил черпать из этого источника ежедневно и распорядился всегда беспрепятственно допускать к нему Гэмфри, если только его величество владыка

Британии не будет беседовать в это время с кем-нибудь другим.

Не успел Гэмфри уйти, как явился Гертфорд и принес Тому новые горести.

Он сообщил, что лорды государственного совета, опасаясь, как бы преувеличенные рассказы о расстроенном здоровье короля не распространились в народе, сочли за благо, чтобы его величество через день-другой соизволил обедать публично; здоровый цвет его лица, его бодрая поступь в сочетании с его спокойными жестами, непринужденным и милостивым обращением лучше всего положат конец кривотолкам — в случае если недобрые слухи уже вышли за пределы дворца.

Граф принялся деликатнейшим образом наставлять Тома, как подобает ему держаться во время этой пышной церемонии.

Под видом довольно прозрачных «напоминаний» о том, что его величеству было будто бы отлично известно, он сообщил ему весьма ценные сведения. К великому удовольствию графа, оказалось, что Тому нужна в этом отношении весьма небольшая помощь, так как он успел выведать об этих публичных обедах у Гэмфри Марло: быстрокрылая молва о них уже носилась по дворцу. Том, конечно, предпочел умолчать о своем разговоре с Гэмфри.

Видя, что память короля так сильно окрепла, граф решил подвергнуть ее, будто случайно, еще нескольким испытаниям, чтобы судить, насколько подвинулось выздоровление. Результаты получились отрадные — не во всем, а в отдельных случаях: там, где сохранялись следы от разговоров с Гэмфри. Милорд остался чрезвычайно доволен и сказал голосом, полным надежды:

— Теперь я убежден, что, если, ваше величество, напряжете свою память еще немного, вы разрешите нам тайну большой государственной печати. Нынче эта печать нам не надобна, так как ее служба окончилась с жизнью нашего почившего монарха, но еще вчера ее утрата имела для нас важное значение... Угодно вашему величеству сделать усилие?

Том растерялся: большая печать — это было нечто совершенно ему неизвестное. После минутного колебания он взглянул невинными глазами на Гертфорда и простодушно спросил:

— А какова она с виду?

Граф чуть заметно вздрогнул и пробормотал про себя:

— Увы, ум его опять помутился. Неразумно было заставлять его напрягать свою память...

Он ловко перевел разговор на другое, чтобы Том и думать забыл о злополучной печати. Достигнуть этого ему было очень нетрудно.

Глава XV

ТОМ — КОРОЛЬ

На другой день явились иноземные послы, каждый в сопровождении блистательной свиты. Том принимал их, восседая на троне с величавой и даже грозной торжественностью. На первых порах пышность этой сцены пленяла его взор и воспламеняла фантазию, но прием был долог и скучен, большинство речей тоже были долги и скучны, так что удовольствие под конец превратилось в утомительную и тоскливую повинность. Время от времени Том произносил слова, подсказанные ему Гертфордом, и добросовестно старался выполнить свой долг, но это было для него еще внове, он конфузился и достиг очень малых успехов. Вид у него был королевский, но чувствовать себя королем он не мог; поэтому он был сердечно рад, когда церемония кончилась.

Бóльшая часть дня пропала даром, как выразился он мысленно,— в пустых занятиях, к которым вынуждала его королевская должность. Даже два часа, уделенные для царственных забав и развлечений, были ему скорее в тягость, так как он был скован по рукам и ногам чопорным и строгим этикетом. Зато потом он отдохнул душою наедине со своим мальчиком для порки; беседа с этим юнцом доставила Тому и развлечение и полезные сведения.

Третий день царствования Тома Кенти прошел так же, как и другие дни, с той разницей, что теперь тучи у него над головой немного рассеялись,— он чувствовал себя не так неловко, как в первое время, он начинал привыкать к своему положению и к новой среде; цепи еще тяготили его, но он ощущал их тяжесть значительно реже и с каждым часом обнаруживал, что постоянная близость знатнейших лордов и их преклонение перед ним все меньше конфузят и удручают его.

Одно только мешало ему спокойно ждать приближения следующего, четвертого дня — страх за свой первый публичный обед, который был назначен на этот день. В программе четвертого дня были и другие, более серьезные вещи: Тому предстояло впервые председательствовать в государственном совете и высказывать свои желания и мысли по поводу той политики, какой должна придерживаться Англия в отношении разных государств, ближних и дальних, разбросанных по всему земному шару; в этот же день предстояло официальное назначение Гертфорда на высокий пост лорда-протектора, и еще много важного должно было совершиться в тот день. Но для Тома все это было ничто в сравнении с пыткой, ожидавшей его на публичном обеде, когда он

будет одиноко сидеть за столом, под множеством устремленных на него любопытных взглядов, в присутствии множества ртов, шепотом высказывающих разные замечания о его малейшем движении и о его промахах, если ему не повезет и он сделает какие-нибудь промахи.

Но ничто не могло задержать наступления четвертого дня, и вот этот день наступил. Он застал бедного Тома угнетенным, рассеянным; дурное состояние духа держалось очень долго: Том был не в силах стряхнуть с себя эту тоску. Обычные утренние церемонии показались ему особенно тягостными. Он снова почувствовал, как удручает его вся эта жизнь в плену.

Незадолго до полудня его привели в обширный аудиенц-зал, где он в беседе с графом Гертфордом должен был ждать, пока пробьет условленный час официального приема первейших сановников и царедворцев.

Немного погодя Том подошел к окну и стал с интересом всматриваться в кипучую жизнь большой дороги, проходившей мимо дворцовых ворот. О, как бы ему хотелось принять участие в ее бойкой и привольной суете! Вдруг он увидел беспорядочную толпу мужчин, женщин и детей низшего, беднейшего сословия, которые со свистом и гиканьем бежали по дороге.

— Хотел бы я знать, что там происходит! — воскликнул он с тем любопытством, которое подобные события всегда пробуждают в мальчишеских душах.

— Вы — король...— низко кланяясь, сказал ему граф.— Ваше величество разрешит мне выполнить ваше желание?

— Да, пожалуйста! Еще бы! С удовольствием! — взволнованно крикнул Том и про себя добавил, чрезвычайно обрадованный: «По правде говоря, быть королем не так уж и плохо: тяготы этого звания нередко возмещаются разными выгодами».

Граф кликнул пажа и послал его к начальнику стражи:

— Пусть задержат толпу и узнают, куда она бежит и зачем. По приказу короля...

Несколько минут спустя многочисленный отряд королевских гвардейцев, сверкая стальными доспехами, вышел гуськом из ворот и, выстроившись на дороге, преградил путь толпе. Посланный вернулся и доложил, что толпа следует за мужчиной, женщиной и девочкой, которых ведут на казнь за преступления, совершенные ими против спокойствия и величия английской державы.

Смерть, лютая смерть ожидает троих несчастных! В сердце Тома словно что-то оборвалось. Жалость овладела им и вытеснила все прочие чувства; он не подумал о нарушениях закона, об ущербе и муках, которые эти преступники причинили своим жертвам,— он не мог думать ни о чем, кроме виселицы и страш-

ной судьбы, ожидавшей осужденных на казнь. От волнения он даже забыл на минуту, что он не настоящий король, а поддельный, и прежде чем он успел подумать, у него вырвалось из уст приказание:

— Привести их сюда!

Тотчас же он покраснел до ушей и уже хотел было попросить извинения и отменить свой приказ, но, заметив, что ни граф, ни дежурный паж не удивились его словам, промолчал. Паж как ни в чем не бывало отвесил низкий поклон и, пятясь, вышел из зала, чтобы исполнить королевскую волю. Том ощутил прилив гордости и еще раз сознался себе, что звание короля все же имеет свои преимущества.

«Право,— думал он,— все это очень похоже на то, о чем я недавно мечтал, читая старые книги отца Эндрью и воображая себя королем, который диктует законы и приказывает всем окружающим: сделайте то, сделайте другое. Там — в моих мечтах — никто не смел ослушаться меня».

Двери распахнулись; один за другим провозглашались громкие титулы, и входили вельможи, носившие их. Половина зала наполнилась знатью в великолепных одеждах. Но Том почти не сознавал присутствия этих людей — так сильно был он захвачен другим, более интересным делом. Он рассеянно опустился на трон и впился глазами в дверь, не скрывая своего нетерпения. Увидев это, собравшиеся лорды не решились тревожить его и стали тихонько шептаться о разных государственных делах вперемешку с придворными сплетнями.

Немного погодя послышалась мерная поступь солдат, и в зал вошли преступники в сопровождении помощника шерифа и взвода королевской гвардии. Помощник шерифа преклонил перед Томом колени и тотчас же отошел в сторону; трое осужденных тоже упали на колени, да так и остались; гвардейцы поместились за троном. Том с любопытством вглядывался в преступников. Какая-то подробность в одежде или в наружности мужчины пробудила в нем смутное воспоминание.

«Этого человека я как будто уже где-то видел,— подумал он,— но где и когда, не припомню».

Как раз в эту минуту преступник бросил быстрый взгляд на Тома и столь же быстро поник головой, ослепленный грозным блеском королевского величия; но для Тома было достаточно этой секунды, чтобы разглядеть его лицо.

«Теперь я знаю,— сказал он себе,— это тот самый незнакомец, который вытащил Джайлса Уитта из Темзы и спас ему жизнь в первый день нового года: день был ненастный и ветреный... Благородный, самоотверженный подвиг! Жалко, что этот человек стал преступником и замешан в темных делах...

Я отлично помню, в какой день и даже в котором часу это было, потому что часом позже, когда на башне пробило одиннадцать, бабка Кенти задала мне такую отличную, восхитительно свирепую трепку, в сравнении с которой все предыдущие и последующие могли показаться нежнейшей лаской».

Том приказал увести на короткое время женщину с девочкой и обратился к помощнику шерифа:

— Добрый сэр, в чем вина этого человека?

Шериф преклонил колено:

— Смею доложить вашему величеству, он лишил жизни одного из ваших подданных при помощи яда.

Жалость Тома к преступнику, а также восхищение героической смелостью, которую тот проявил при спасении тонувшего мальчика, потерпели жестокий удар.

— Его вина доказана? — спросил он.

— Вполне доказана, ваше величество!

Том вздохнул и сказал:

— Уведите его, он заслужил смерть... Это жаль, потому что еще недавно он был храбрецом... то есть... то есть... я хочу сказать, что у него такой вид...

Осужденный внезапно почувствовал прилив энергии и, в отчаянии ломая руки, стал умолять «короля» прерывистым, испуганным голосом:

— О великий король, если тебе жалко погибшего, сжалься и надо мной! Я не виновен, улики против меня очень слабы... Но я говорю не об этом; суд надо мною уже совершен, и отменить приговор невозможно. Я умоляю только об одной милости, ибо та кара, на которую я осужден, выше моих сил. Пощады, пощады, о великий король! Окажи мне королевскую милость, внемли моей мольбе: дай приказ, чтобы меня повесили!

Том был поражен. Он не ожидал такой просьбы.

— Какая странная *милость!* Разве тебя ведут не на виселицу?

— О нет, мой добрый государь. Я осужден быть заживо *сваренным в кипятке.*

При этих неожиданных и ужасных словах Том чуть не спрыгнул с трона. Опомнившись от изумления, он воскликнул:

— Будь по-твоему, бедняга! Если бы даже ты отравил сто человек, ты не будешь предан такой мучительной казни!

Осужденный припал головой к полу, изливаясь в страстных выражениях признательности, и закончил такими словами:

— Если когда-нибудь, боже избави, тебя постигнет беда, пусть тебе зачтется твоя милость ко мне.

Том повернулся к графу Гертфорду:

— Милорд, можно ли поверить, чтобы этого человека осудили на такую жестокую казнь?

— Таков закон, ваше величество, для отравителей. В Германии фальшивомонетчиков варят живыми в кипящем *масле*, и не вдруг, а постепенно спускают их на веревке в котел — сначала ступни, потом ноги, потом...

— О, пожалуйста, милорд, перестань, замолчи! Я не могу этого вынести! — воскликнул Том, закрывая лицо руками, чтобы отогнать ужасную картину.— Заклинаю тебя, милорд, отдай приказ, чтобы этот закон отменили!.. О, пусть никогда, никогда не подвергают несчастных таким омерзительным пыткам!

Лицо графа выразило живейшее удовольствие; он был человек сострадательный и склонный к великодушным порывам, что не так часто встречалось среди знатных господ в то жестокое время. Он сказал:

— Благородные слова вашего величества — смертный приговор этому закону. Они будут занесены на скрижали истории, к чести вашего королевского дома.

Помощник шерифа уже намеревался увести осужденного, но Том знаком остановил его.

— Добрый сэр,— сказал он,— я хотел бы вникнуть в это дело. Человек говорит, что улики против него очень слабы. Скажи мне, что ты знаешь о нем?

— Осмелюсь доложить вашему королевскому величеству, на суде выяснилось, что человек этот входил в некий дом в селении Ислингтон, где лежал некий больной; трое свидетелей показывают, что это было ровно в десять часов утра, а двое — что это было несколькими минутами позже. Больной был один и спал; этот человек вскоре вышел и пошел своей дорогой, а час спустя больной умер в страшных муках, сопровождаемых рвотой и судорогами.

— Что же, видел кто-нибудь, как этот человек давал ему яд? Яд найден?

— Нет, ваше величество!

— Откуда же известно, что больной был отравлен?

— Осмелюсь доложить вашему величеству, доктора говорят, что такие признаки бывают только при отравлении.

Веская улика в то наивное время. Том сразу понял всю ее неотразимую силу и сказал:

— Доктора знают свое ремесло. Должно быть, они были правы. Плохо твое дело, бедняга!

— Это еще не все, ваше величество! Есть и другие, более тяжкие улики. Многие показали на суде, что колдунья, после того исчезнувшая из деревни неизвестно куда, предсказывала по секрету всем и каждому, что *больному суждено быть отрав-*

ленным, и больше того, что отраву даст ему незнакомый темноволосый прохожий в простом поношенном платье. Осужденный вполне подходит под эти приметы. Прошу ваше величество отнестись с должным вниманием к этой тяжкой улике, ввиду того что все это было *заранее предсказано.*

Довод подавляющей силы в те суеверные дни. Том почувствовал, что такая улика решает все дело, что вина бедняка доказана, если придавать какую-нибудь цену таким доказательствам. Но все же ему захотелось предоставить несчастному еще одну возможность оправдать себя, и он обратился к нему со словами:

— Если можешь сказать что-нибудь в свое оправдание, говори!

— Ничто меня не спасет, государь! Я не виновен, но доказать свою правоту не могу. У меня нет друзей, иначе я мог бы привести их в свидетели, что я даже не был тогда в Ислингтоне, ибо находился за целую милю от этого места, на Уоппинг-Олд-Стерс[1]. Больше того, государь, я мог бы доказать, что в то самое время, когда я, как они говорят, *загубил* человека, я *спас* человека. Утопающий мальчик...

— Погоди! Шериф, назови мне тот день, когда было совершено преступление.

— В десять утра или несколькими минутами позже в первый день нового года, мой августейший...

— Отпустите его на свободу — такова моя королевская воля!

Выговорив это, Том опять отчаянно покраснел и поспешил загладить как мог свой некоролевский порыв.

— Меня возмущает,— сказал он,— что человека могут вздернуть на виселицу из-за таких пустых и легковесных улик!

Шепот восхищения пронесся по залу. Восхищались не приговором, так как мало кто из присутствующих решился бы одобрить помилование уличенного отравителя,— восхищались умом и решимостью, проявленными в этом случае Томом. Слышались такие замечания, высказываемые вполголоса:

— Нет, он не сумасшедший, наш король! Он в полном рассудке.

— Как разумно он ставил вопросы... такое властное, крутое решение напоминает нам прежнего принца!

— Слава богу, его болезнь прошла! Это не слабый птенец, это король. Он держал себя совсем как его покойный родитель.

---

[1] Уоппинг-Олд-Стерс — старинная пристань на Темзе.

Так как воздух был насыщен такими хвалебными возгласами, они не могли не дойти до ушей Тома; в его манерах появилась непринужденность, и по всему телу разлилось какое-то приятное ощущение.

Но вскоре молодое любопытство заставило его позабыть эти чувства: Тому захотелось узнать, какое кровавое преступление могли совершить женщина и маленькая девочка, и по его приказу обе, испуганные и плачущие, предстали перед ним.

— А эти что сделали? — спросил он у шерифа.

— Ваше величество, они уличены в гнусном преступлении, и виновность их ясно доказана. Судьи, согласно закону, приговорили их к повешению. Обе они продали душу дьяволу — вот в чем их преступление.

Том содрогнулся. Его приучили гнушаться людьми, которые общаются с дьяволом, но его отвращение было побеждено любопытством, и он спросил:

— Где же это было... и когда?

— В полночь, в декабре, в развалинах церкви, ваше величество.

Том опять содрогнулся.

— Кто был при этом?

— Только эти двое, ваше величество и *тот, другой.*

— Они сознались в своей вине?

— Никак нет, государь, отрицают.

— В таком случае, как же их вина стала известна?

— Некие свидетели, ваше величество, видели, как они входили туда. Это возбудило подозрение, которое потом подтвердилось. В частности, доказано, что при помощи власти, полученной ими от дьявола, они вызвали бурю, опустошившую всю окрестность. Около сорока свидетелей показали, что буря действительно была. Таких свидетелей нашлась бы и тысяча. Они все хорошо помнят бурю, так как все пострадали от нее.

— Конечно, это дело серьезное!..— Том некоторое время молчал, размышляя о мрачных злодеяниях колдуний, и наконец спросил: — А женщина тоже пострадала от бури?

Несколько старцев, присутствовавших в зале, закивали головами в знак одобрения мудрому вопросу. Но шериф, не подозревая, к чему клонится дело, простодушно ответил:

— Точно так, ваше величество. Она пострадала, и, как все говорят, поделом... Ее жилище снесло ураганом, и она с ребенком осталась без крова.

— Дорого же она заплатила за то, чтобы сделать зло самой себе. Даже если бы она заплатила всего только фартинг, и то можно было бы сказать, что ее обманули; а ведь она загубила

свою душу и душу ребенка. Следовательно, она сумасшедшая; а раз она сумасшедшая, она не знает, что делает, и, следовательно, ни в чем не виновна.

Старцы опять закивали головами, восхищаясь мудростью Тома. Один придворный пробормотал:

— Если слухи справедливы и король — сумасшедший, не мешало бы этим сумасшествием заразиться иному здоровому.

— Сколько лет ребенку? — спросил Том.

— Девять лет, смею доложить вашему величеству.

— Может ли ребенок, по английским законам, вступать в сделки и продавать себя, милорд? — обратился Том с вопросом к одному ученому судье.

— Закон не дозволяет малолетним вступать в какие-либо сделки или принимать в них участие, милосердный король, ввиду того что их незрелый ум не в состоянии состязаться с более зрелым умом и злоумышленными кознями старших. *Дьявол* может купить душу ребенка, если пожелает и если дитя согласится,— дьявол, но никак не англичанин... в последнем случае договор недействителен.

— Ну, это дикая выдумка, чуждая христианской религии! Как же может английский закон предоставлять дьяволу такие права, каких не имеет ни один англичанин?! — воскликнул Том в благородном негодовании.

Этот новый взгляд на вещи вызвал у многих улыбку, и многие потом повторяли эти слова в придворных кругах в доказательство того, как самобытно мышление короля и как проясняется его помутившийся разум.

Старшая преступница перестала рыдать и жадно, с возрастающей надеждой впивала в себя каждое слово. Том заметил это, и ему стало еще более жаль эту одинокую, беззащитную женщину, стоявшую на краю гибели. Он спросил:

— Что же они делали, чтобы вызвать бурю?

— *Они стаскивали с себя чулки, государь!*

Это изумило Тома и разожгло его любопытство до лихорадочной дрожи.

— Удивительно! — воскликнул он пылко.— Неужели это всегда производит такое страшное действие?

— Всегда, государь... по крайней мере, если женщина того пожелает и произнесет при этом нужное заклинание — мысленно или вслух.

Том обратился к женщине со страстной настойчивостью:

— Покажи свою власть! Я хочу видеть бурю!

Щеки суеверных придворных внезапно побелели от страха, и у большинства явилось желание — правда, не высказанное — уйти поскорее из зала, но Том ничего не заметил, он был все-

цело поглощен предстоящей катастрофой. Видя, что на лице у женщины написано удивление, он с горячим увлечением прибавил:

— Не бойся, за это ты не будешь отвечать. Больше того: тебя сейчас же отпустят на волю, и никто тебя пальцем не тронет. Покажи твою власть.

— О милостивый король, у меня нет такой власти... меня оговорили.

— Тебя удерживает страх. Успокойся. Тебе ничего не будет. Вызови бурю, хоть самую маленькую — я ведь не требую большой и разрушительной, я даже предпочту безобидную,— вызови бурю, и жизнь твоя спасена: ты уйдешь отсюда свободная, вместе со своим ребенком, помилованная королем, и никто во всей Англии не посмеет осудить или обидеть тебя.

Женщина простерлась на полу и со слезами твердила, что у нее нет власти совершить это чудо, иначе она, конечно, с радостью спасла бы жизнь своему ребенку и была бы счастлива потерять свою собственную, исполнив приказ короля, сулящий ей такую великую милость.

Том настаивал. Женщина повторяла свои уверения.

Наконец Том произнес:

— Мне сдается, женщина сказала правду. Если бы *моя* мать была на ее месте и получила бы от дьявола такую волшебную силу, она не задумалась бы ни на минуту вызвать бурю и превратить всю страну в развалины, лишь бы спасти этой ценой мою жизнь! Надо думать, что все матери созданы так же. Ты свободна, добрая женщина,— и ты и твое дитя,— ибо я считаю тебя невиновной. Теперь, когда тебе уже нечего бояться и ты прощена, сними с себя, пожалуйста, чулки, и, если ты для меня вызовешь бурю, я дам тебе в награду много денег.

Спасенная женщина громко изъявила свою благодарность и поспешила исполнить приказ короля. Том следил

за ее действиями со страстным вниманием, которое слегка омрачилось тревогой: придворные стали явно выражать беспокойство и страх. Женщина сняла чулки и с себя и с ребенка и, очевидно, была готова сделать все от нее зависящее, чтобы землетрясением отблагодарить короля за его великодушную милость, но из этого ровно ничего не вышло. Том был разочарован. Он вздохнул и сказал:

— Ну, добрая душа, перестань утруждать себя зря: видно, бесовская сила тебя покинула; если же когда-нибудь она вернется к тебе, пожалуйста, не забудь обо мне — устрой для меня грозу.

Глава XVI

ПАРАДНЫЙ ОБЕД

Час обеда приближался, но — странное дело! — эта мысль почти не тревожила Тома и уже совсем не пугала его. Утренние события внушили ему веру в себя; бедный, испачканный сажей котенок за эти четыре дня вполне освоился с незнакомым ему чердаком.

Взрослому и в месяц не сделать бы подобных успехов. Никогда еще не проявлялось так явственно умение детей легко приспособляться к обстоятельствам.

Поспешим же — благо нам дано это право — в большой зал для парадных банкетов и посмотрим, что там происходит в то время, как Том готовится к великому торжеству. Это обширный покой с золочеными колоннами и пилястрами, с расписными стенами, с расписным потолком. У дверей стоят рослые часовые, неподвижные, как статуи, в богатых и живописных костюмах; в руках у них алебарды. На высоких хорах, идущих вокруг всего зала, помещается оркестр; хоры битком набиты пышно разодетыми горожанами обоего пола. Посередине комнаты, на высоком помосте, стол Тома.

Впрочем, предоставим опять слово летописцу:

«В зал входит джентльмен с жезлом в руке и вместе с ним другой, несущий скатерть, которую, после того как они трижды благоговейно преклонили колени, он постилает на стол; затем они оба снова преклоняют колени и удаляются. Тогда приходят двое других — один опять-таки с жезлом, другой с огромной солонкой, тарелкой и хлебом. Подобно первым, преклонив колени, они ставят принесенное ими на стол и удаляются с теми же церемониями. Наконец, приходят двое придворных, оба в великолепных одеждах, у одного из них в руках столовый нож; простершись трижды на ковре изящнейшим образом, они прибли-

жаются к столу и начинают тереть его хлебом и солью, причем они делают это с таким страхом и трепетом, как если бы за этим столом уже восседал король».

Так заканчиваются торжественные приготовления к пиршеству. Но вот мы слышим в гулких коридорах звуки рога и далекий невнятный крик: «Дорогу королю! Дорогу его светлому величеству!» Эти звуки повторяются снова и снова, все ближе; наконец у самых наших ушей раздаются и эти возгласы и эта военная музыка. Еще минута, и в дверях возникает великолепное зрелище: мерной поступью входит пышная процессия.

Пусть дальше опять говорит летописец:

«Впереди идут джентльмены, бароны, графы и рыцари, кавалеры Ордена Подвязки. Все роскошно одеты, у всех обнаженные головы; далее шествует канцлер между двумя лордами: один несет королевский скипетр, а другой — государственный меч острием кверху, в красных ножнах с вытисненными на них золотыми лилиями. Далее идет сам король. При его появлении двенадцать труб и множество барабанов исполняют приветственный туш, а на хорах все встают и кричат: «Боже, храни короля!» Вслед за королем идут вельможи, приставленные к его особе, а по правую и по левую руку — его почетная стража из пятидесяти дворян с золочеными бердышами в руках».

Все это было красиво и очень приятно. Сердце Тома сильно билось, и в глазах светился веселый огонь. Все его движения были изящны. Это изящество достигалось именно тем, что Том не делал ни малейших усилий, чтобы достигнуть его, так как он был весь поглощен и очарован радостным зрелищем и мажорными звуками. Да и трудно ли быть изящным в красивом и ловко сшитом наряде, после того как ты уже успел привыкнуть к нему,— особенно в те минуты, когда этого наряда даже и не замечаешь. Помня данные ему наставления, он отвечал на общие приветствия легким наклонением головы и милостивыми, благосклонными словами:

— Благодарю тебя, мой добрый народ!

Он сел за стол, не снимая шляпы и нимало не смущаясь этой вольностью, так как обедать в шляпе был единственный царственный обычай, равно присущий и королям и Кенти. Свита короля разделилась на несколько живописных групп и осталась с непокрытыми головами.

Затем под звуки веселой музыки вошли королевские телохранители — «самые высокие и сильные люди во всей Англии, специально отобранные по этому признаку».

Но опять-таки предоставим слово летописцу:

«Вошли гвардейцы-телохранители с непокрытыми головами, в алой одежде с золотыми розами на спине; они уходили и вхо-

дили опять, всякий раз принося новые кушанья на золотых и серебряных блюдах. Эти блюда принимал некий джентльмен в том самом порядке, как их приносили, и ставил их на стол, между тем как лорд, предназначенный для отведывания блюд, давал каждому из телохранителей попробовать то кушанье, которое он только что принес, дабы удостовериться, что оно не отравлено».

Том отлично пообедал, хотя и сознавал, что сотни глаз впиваются в каждый кусок, который он сует себе в рот, и с таким интересом глядят, как он разжевывает этот кусок, будто перед ним не еда, а взрывчатое вещество, угрожающее разнести его на мелкие части и разбросать по всему залу. Он старался быть очень медлительным в каждом движении и вдобавок не делать ничего самому, а ждать, пока специально предназначенный для этой цели придворный не опустится перед ним на колено и не сделает за него то, что надобно. В течение всего обеда Том ни разу не попал впросак — блистательный успех, без малейших промахов.

Когда обед кончился и Том удалился в окружении пышной свиты под радостный стук барабанов, веселые звуки фанфар и громогласные приветствия толпы, он почувствовал, что хотя обедать публично не такое уж легкое дело, все же он готов претерпевать эту пытку по нескольку раз в день, если такой ценой он может избавиться от других, более неприятных и тяжких обязанностей своего королевского звания.

Глава XVII

КОРОЛЬ ФУ-ФУ ПЕРВЫЙ

Майлс Гендон торопливо прошел весь мост до саутворкского берега, зорко всматриваясь в каждого прохожего в надежде настигнуть тех, кого искал. Но надежда его не сбылась. Расспрашивая встречных, он проследил часть их пути в Саутворке, но там следы обрывались, и он совершенно не знал, что ему делать дальше. И все же до самого вечера он продолжал свои поиски. Ночь застала его усталым, голодным, а от цели он был так же далеко, как и раньше. Он поужинал в харчевне Табард и лег спать, решив на другой день встать пораньше и обшарить весь город. Однако он долго не мог уснуть и рассуждал сам с собой таким примерно образом:

«Предположим, мальчику удастся убежать от негодяя, выдающего себя за его отца. Вернется ли он в Лондон, в свое старое жилье? Нет! Потому что он будет бояться, как бы его опять

не поймали. Что же он сделает? В целом мире у него есть один-единственный друг и защитник — Майлс Гендон, и он, естественно, попытается разыскать своего друга, если только для этого ему не понадобится возвращаться в Лондон и подвергать себя новым опасностям. Он, безусловно, направится к Гендон-холлу, так как знает, что Майлс держит путь туда, в родной дом. Да, дело ясное: надо, не теряя времени тут, в Саутворке, двинуться через Кент на Монксголм, обыскивая по дороге леса и расспрашивая прохожих о мальчике».

Вернемся теперь к пропавшему без вести маленькому королю.

Оборванец, который, по словам трактирного слуги, подошел будто бы тут же на мосту к королю и молодому человеку, на самом деле не подходил к ним, но следовал за ними по пятам. В разговор с ними он не вступал. Левая рука его была на перевязи, и на левый глаз был налеплен большущий зеленый пластырь. Оборванец слегка прихрамывал и опирался на толстую дубовую палку. Молодой человек повел короля в обход через Саутворк, мало-помалу приближаясь к большой проезжей дороге. Король начинал сердиться, говорил, что дальше не пойдет, что не подобает ему ходить к Гендону, что Гендон обязан явиться к нему. Он не потерпит такой оскорбительной дерзости. Он останется здесь.

Молодой человек сказал:

— Ты хочешь остаться здесь, когда твой друг лежит раненый в лесу? Ладно, оставайся!..

Король сразу заговорил по-другому.

— Раненый? — воскликнул он.— Кто посмел его ранить? Впрочем, об этом потом, а сейчас веди меня, веди! Скорее, скорее! Что у тебя, свинцовые гири на ногах? Ранен? Поплатится же за это виновный, будь он хоть сыном герцога!

Лес был еще довольно далеко, но они быстро дошли до него. Молодой человек осмотрелся, нашел воткнутый в землю сук, к которому была привязана какая-то тряпочка, и повел короля в чащу; время от времени им попадались такие же сучья, служившие, очевидно, путеводными вехами. Наконец они дошли до поляны, где увидели остатки сгоревшего крестьянского дома, а рядом с ним полуразрушенный сарай. Нигде никаких признаков жизни, полная тишина кругом. Молодой человек вошел в сарай, король быстро вбежал за ним. Никого! Бросив на молодого человека удивленный и недоверчивый взгляд, король спросил:

— Где же он?

В ответ раздался издевательский смех. Король пришел в ярость, схватил полено и хотел кинуться на обманщика, но тут еще кто-то издевательски захохотал над самым его ухом.

То был хромой бродяга, следовавший за ним по пятам. Король повернулся к нему и гневно спросил:

— Кто ты такой? Чего тебе надо здесь?

— Брось эти шутки и перестань бушевать! — сказал бродяга.— Не так уж хорошо я перерядился, чтобы ты не мог узнать родного отца.

— Ты не отец мне. Я тебя не знаю. Я король. Если это ты похитил моего слугу, так найди и верни его мне, или ты горько раскаешься!

Джон Кенти ответил сурово и внушительно:

— Я вижу, что ты сумасшедший, и мне неохота наказывать тебя, но, если ты вынудишь меня, я тебя накажу... Здесь твоя болтовня не опасна, потому что здесь некому обижаться на твои безумные речи, но все же тебе следует держать язык за зубами, чтобы не повредить нам на новых местах. Я убил человека и не могу оставаться дома, и тебя не оставлю, так как мне нужна твоя помощь. Я переменил свое имя и хорошо сделал. Меня зовут Джон Гоббс, а тебя — Джек; запомни это покрепче! А теперь отвечай: где твоя мать, где сестры? Они не явились в условленное место; известно тебе, где они?

Король угрюмо ответил:

— Не приставай ко мне со своими загадками! Моя мать умерла; мои сестры во дворце.

Молодой человек чуть было опять не захохотал, но оскорбленный король сжал кулаки, и Кенти, или Гоббс, как он теперь называл себя, удержал своего спутника:

— Гуго, не дразни его; он не в своем уме, а ты его раздражаешь. Садись, Джек, и успокойся; сейчас я дам тебе поесть.

Гоббс и Гуго стали о чем-то тихо разговаривать между собою, а король, чтобы избавиться от их неприятного общества, отошел в полумрак, в самый дальний угол сарая, где земляной пол был на целый фут покрыт соломой. Король лег, укрылся, за неимением одеяла, соломой и весь ушел в свои мысли. У него было много горестей, но какими ничтожными казались они перед великим горем — утратой отца. Имя Генриха VIII заставляло трепетать весь мир; при этом имени каждому рисовалось чудовище, дыхание которого все разрушает, рука которого умеет лишь карать и казнить, но для мальчика были связаны с этим именем только сладостные воспоминания, и образ, который он вызывал в своей памяти, дышал любовью и лаской. Он припоминал свои задушевные разговоры с отцом, с нежностью думал о них, и неудержимые слезы, струившиеся по его щекам, свидетельствовали о глубине его горя. День клонился к вечеру, и мальчик, истомленный своими невзгодами, заснул спокойным, целительным сном.

В сарае на полу ярко пылал костер, вокруг него собрались бродяги и оборванцы.

Много времени спустя — он не мог сказать, сколько именно,— еще не совсем проснувшись, лежа с закрытыми глазами и спрашивая себя, где он и что с ним случилось, он услыхал над собою унылый, частый стук дождя по крыше; ему стало хорошо и уютно, но через минуту это чувство было грубо нарушено громким говором и хриплым смехом. Неприятно пораженный, он высвободил из соломы голову, чтобы посмотреть, что тут происходит. Непривлекательную и страшную картину увидел он. В другом конце сарая, на полу, ярко пылал костер; вокруг костра, в зловещем красном свете, лежали вповалку на земле бродяги и оборванцы. Ни в снах он не видел, ни в книгах не встречал подобных созданий. Здесь были мужчины, высокие, загорелые, с длинными волосами, одетые в фантастические рубища; были подростки с жестокими лицами, такие же оборванные; были слепцы-нищие с повязками или пластырями на глазах; были калеки с костылями и деревяшками; больные с гноящимися, кое-как перевязанными ранами; был подозрительного вида разносчик со своим коробом; точильщик ножей, лудильщик, цирюльник — каждый со своим инструментом; среди женщин были совсем молодые, почти девочки, были и старые, сморщенные ведьмы. Все они кричали, шумели, бесстыдно ругались, все были грязны и неряшливы; было здесь и трое младенцев с какими-то болячками на лицах, и несколько голодных собак с веревками на шее: они служили слепцам поводырями.

Ночь уже наступила, пир только что кончился, начиналась оргия. Жбан с водкой переходил из рук в руки. Раздался дружный крик:

— Песню! Песню! Пой, Летучая Мышь! Пой, Дик, и ты, Безногий!

Один из слепцов поднялся на ноги и приготовился петь, сорвав и швырнув на пол пластыри, закрывавшие его вполне здоровые глаза, и доску с трогательным описанием причин его несчастья. Безногий освободился от своей деревяшки и на двух совершенно здоровых ногах стал рядом с товарищем. Затем оба загорланили веселую песню, а вся орава нестройно подхватила припев. Когда дело дошло до последней строфы, полупьяный хор, увлекшись, пропел ее всю с самого начала, наполняя сарай такими оглушительными гнусавыми звуками, что даже стропила задрожали.

Вот как примерно звучал бы конец этой вдохновенной песни в переводе с воровского языка, на котором она была сложена:

Притон, прощай, не забывай,
Уходим в путь далекий.
Прощай, земля, нас ждет петля
И долгий сон глубокий.

Нам предстоит висеть в ночи,
Качаясь над землею,
А нашу рухлядь палачи
Поделят меж собою[1].

Затем пошла беседа, но уже не на воровском языке — он употреблялся только тогда, когда было опасение, что подслушивают враждебные уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком, он и раньше водился с этой шайкой. Потребовали, чтобы он рассказал, что с ним было в последнее время, и, когда он объявил, что случайно убил человека, все остались довольны; когда же он прибавил, что убитый — священник, все очень обрадовались и заставили его выпить с каждым по очереди. Старые знакомые радостно приветствовали его, новые гордились возможностью пожать ему руку. Его спросили, где он «шатался столько месяцев», на что он ответил:

— В Лондоне лучше, чем в деревне, и безопаснее, особенно в последние годы, когда законы стали такие строгие и их приказывают так точно соблюдать. Если б не это убийство, я остался бы в Лондоне. Я уже совсем решил навсегда остаться в городе, но этот несчастный случай все спутал.

Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман ответил:

— Двадцать пять овчин, верстаков, напильников, кулаков, корзинщиков да еще старухи и девки[2]. Большинство здесь. Остальные пошли на восток, по зимней дороге; на заре и мы пойдем за ними.

— В этом благородном обществе я не вижу Уэна. Где он?

---

[1] Заимствовано из книги «Английский бродяга», изданной в Лондоне в 1665 году. *(Примеч. автора.)*

[2] Слова из воровского жаргона, обозначающие различные категории воров, нищих и бродяг.

— Бедняга, он теперь в преисподней, питается там серой, а она слишком горяча для его изысканного вкуса. Его еще летом убили в драке.

— Грустно мне это слышать. Уэн был человек способный и отважный.

— Правильно! Черная Бэсс, его подруга, все еще с нами, но только сейчас ее нет — ушла на восток бродяжничать. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения: никто не видал ее пьяной больше четырех раз в неделю.

— Она всегда себя держала строго, я помню, хорошая девчонка, достойная всяких похвал. Мать ее была куда распущеннее, не умела себя соблюдать. Пренесносная старуха и злющая, но зато умна, как черт.

— Ум ее и погубил. Она была такой отличной гадалкой и так ловко предсказывала будущее, что прослыла ведьмой. Ее изжарили, как велит закон, на медленном огне. Я был даже растроган, когда увидел, с каким мужеством она встретила свою горькую участь; до последней минуты она ругала и кляла толпу, которая на нее глазела, а огненные языки уже лизали ей лицо, и ее седые космы уже трещали вокруг старой ее головы. Я говорю — она всех кляла и ругала. А уж ругалась она — можно тысячу лет прожить и не услыхать такой мастерской ругани! Увы, ее искусство умерло вместе с ней. Остались слабые и жалкие подражатели, но настоящей ругани теперь не услышишь.

Атаман вздохнул, слушатели тоже сочувственно вздохнули; на минуту компания приуныла, так как даже самые огрубелые люди не лишены чувствительности и изредка способны предаваться грусти и скорби — в таких, например, случаях, как этот, когда талант и искусство погибают, ни к кому не перейдя по наследству. Впрочем, щедрый глоток из жбана, снова пущенного вкруговую. скоро рассеял их тоску.

— А больше никто не попался из наших приятелей? — спросил Гоббс.

— Кое-кто попался. Чаще всего попадаются новички, мелкие фермеры, которые остаются без крова и без куска хлеба, когда землю у них отнимают под овечьи пастбища. Такой начнет просить милостыню, его привяжут к телеге, снимут с него рубаху и стегают плетьми до крови; забьют в колоду и высекут; он опять идет просить милостыню — его опять угостят плетьми и отрежут ему ухо; за третью попытку к нищенству — а что ему, бедняге, остается делать? — его клеймят раскаленным железом и продают в рабство; он убегает — его ловят и вешают. Сказка короткая, и рассказывать ее недолго. Поплатился и еще кое-кто из наших, да не так дорого... Встаньте-ка, Йокел Бэрнс и Годж, покажите ваши украшения!

Названные встали и, стащив с себя лохмотья, обнажили спины, исполосованные старыми, зажившими рубцами от плетей; один откинул волосы и показал место, где было когда-то левое ухо; другой показал клеймо на плече — букву V — и изувеченное ухо; третий сказал:

— Я Йокел. Когда-то был я фермером и жил в довольстве, была у меня и любящая жена и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем... Жена и ребята померли; может, они в раю; а может, и в аду, но только, слава богу, не в *Англии!* Моя добрая, честная старуха мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб; один больной умер, доктора не знали отчего,— и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон! Поднимите чаши! Все разом! Веселей! Выпьем за милосердный английский закон, освободивший мою мать из английского ада! Спасибо, братцы, спасибо вам всем! Стали мы с женой ходить из дома в дом, прося милостыню, таская за собою голодных ребят; но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в трех городах... Выпьем еще раз за милосердный английский закон! Плети скоро выпили кровь моей Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребятишки... ну, ясно, пока меня, по закону, гоняли плетьми из города в город, они померли с голоду. Выпьем, братцы,— один только глоток, один глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла! Я опять стал жить подаянием; протягивал руку за черствой коркой, а получил колоду и потерял одно ухо — смотрите, видите этот обрубок? Я опять принялся просить милостыню — и вот обрубок другого уха, чтобы я не забывал об английском законе; но все же я продолжал просить, и наконец меня продали в рабство — вот на моей щеке под этой грязью клеймо; если смыть эту грязь, вы увидите красное Р, выжженное раскаленным железом! Раб! Понятно ли вам это слово? *Английский раб!* Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если меня поймают — будь проклята страна, создавшая такие законы! — я буду повешен.

Звонкий голос прозвучал в темноте:

— Ты не будешь повешен! С нынешнего дня этот закон отменяется!

Все повернулись туда, откуда раздался голос, и увидали быстро приближающуюся фантастическую фигурку маленького короля; когда он вынырнул на свет и стал отчетливо виден, со всех сторон полетели вопросы:

— Кто это? Что это? Кто ты такой, малыш?

К стр. 617

Нимало не смущаясь этих удивленных и вопрошающих глаз, мальчик ответил с царственным достоинством:

— Я — Эдуард, король Англии.

Раздался дикий хохот, не то насмешливый, не то восторженный,— уж очень забавна показалась шутка. Король был уязвлен, он сказал резко:

— Вы невоспитанные бродяги! Так вот ваша благодарность за королевскую милость, которую я вам обещал!

Он бранил их гневно и взволнованно, но его слова тонули среди хохота и глумливых восклицаний. Джон Гоббс несколько раз пытался перекричать бродяг, и наконец это ему удалось. Он сказал:

— Друзья, это мой сын, мечтатель, дурак, помешанный, не обращайте на него внимания: он воображает, что он король.

— Разумеется, я король,— обратился к нему Эдуард,— и ты в свое время убедишься в этом себе на горе. Ты сознался, что убил человека, тебя вздернут за это на виселицу.

— Ты задумал выдать меня? Ты? Да я своими руками...

— Потише, потише! — прервал его силач атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом кулака свалил Гоббса наземь.— Ты, кажется, не уважаешь ни королей, ни атаманов? Если ты еще раз позволишь себе забыться в моем присутствии, я сам вздерну тебя на первый сук.— Потом обернулся к его величеству: — А ты, малый, не грози товарищам и нигде не распускай о них дурной славы. Будь себе королем, коли тебе сдуру пришла такая охота, но пусть от этого никому не будет обиды. И не называй себя королем Англии, потому что это измена: мы, может быть, дурные люди и кое в чем поступаем неладно, но среди нас нет ни одного подлеца, способного изменить своему королю; все мы любим его и преданы ему. Сейчас увидишь, правду ли я говорю. Эй, все разом: «Да здравствует Эдуард, король Англии!»

Клич оборванцев прозвучал, как гром, и ветхое здание задрожало. Лицо маленького короля на миг озарилось радостью, он слегка наклонил голову и сказал с величавой простотой:

— Благодарю тебя, мой добрый народ.

Этот нежданный ответ вызвал неудержимый взрыв хохота. Когда шум немного утих, атаман выговорил твердо, но добродушно:

— Брось это, мальчик, это неумно и нехорошо... Если тебе так уж хочется помечтать, выбери себе какой-нибудь другой титул.

Лудильщик громко предложил:

— Фу-фу Первый, король дураков!

Титул сразу понравился, и все заорали, надрывая глотку:

— Да здравствует Фу-фу Первый, король дураков!

Они гикали, свистели, мяукали, хохотали.

— Тащите его сюда, мы его коронуем!

— Мантию ему!

— Скипетр ему!

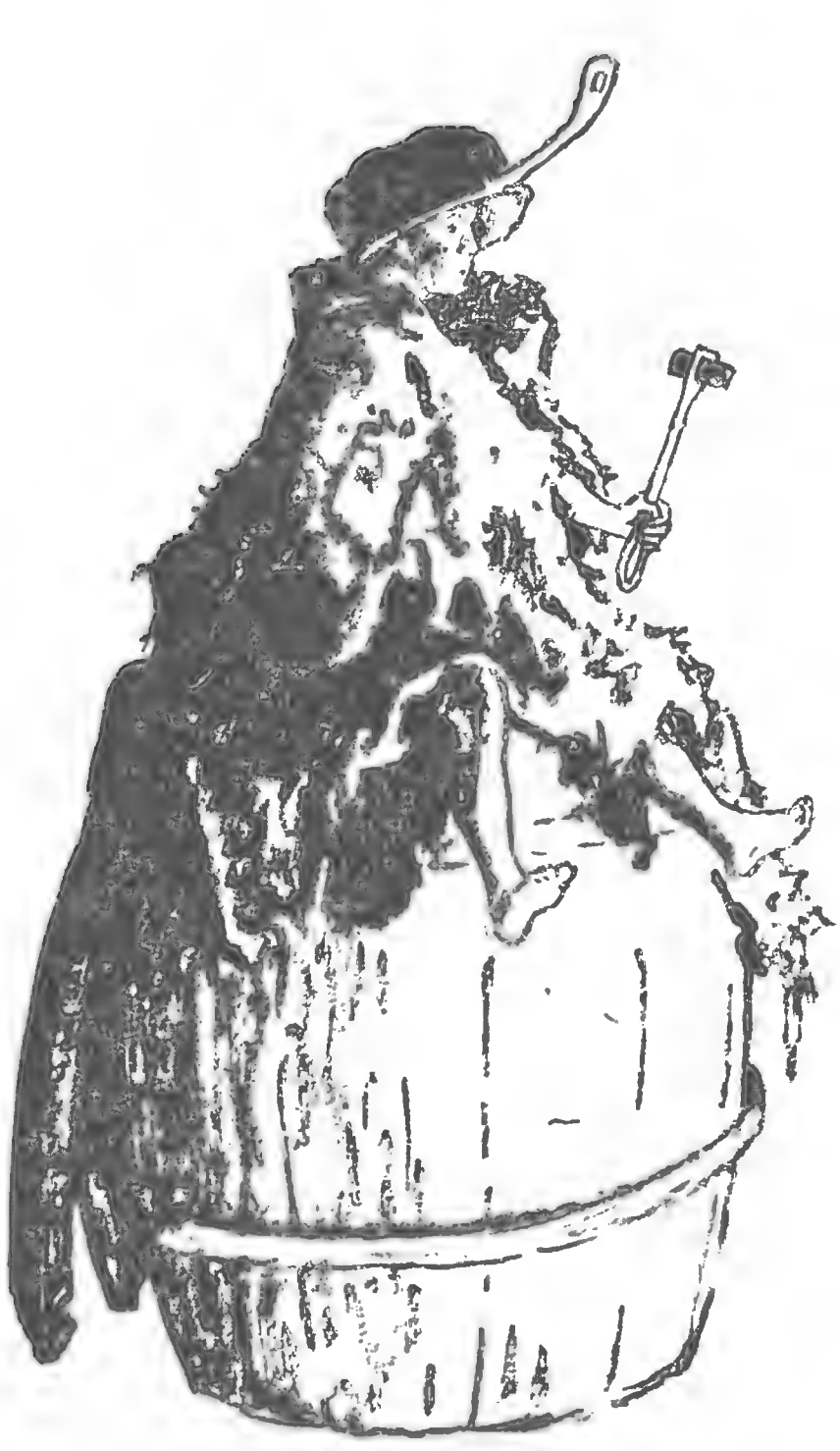
— На трон его!

Все эти возгласы и двадцать других посыпались разом, и не успел несчастный мальчик перевести дух, как его короновали жестяной кастрюлей, завернули его, как в мантию, в рваное одеяло, посадили, как на трон, на бочку и дали в руку вместо скипетра паяльную трубку лудильщика. Потом все кинулись перед ним на колени с насмешливыми воплями и издевательскими причитаниями, вытирая мнимые слезы рваными, грязными рукавами и передниками:

— Смилуйся над нами, о сладчайший король!

— Не попирай ногами твоих ничтожных червей, о благородный монарх!

— Сжалься над твоими рабами и осчастливь их королевским пинком!



— Приласкай и пригрей нас лучами твоей милости, о палящее солнце единовластия!

— Освяти землю прикосновением твоей ноги, чтобы мы могли съесть эту грязь и стать благородными!

— Удостой плюнуть на нас, о государь, и дети детей наших будут гордиться воспоминанием о твоей царственной милости!

Но самую удачную шутку отколол весельчак лудильщик. Коленопреклоненный, он сделал вид, что целует ногу короля; тот с негодованием оттолкнул его ногой; тогда лудильщик стал подходить к каждому по очереди и выпрашивать тряпку, чтобы завязать то место на лице,

которого коснулась королевская ножка, говоря; что после такой чести оно не должно подвергаться грубому влиянию воздуха и что теперь он наживет себе состояние, всюду показывая это место по сто шиллингов за один взгляд. Это было так уморительно, что вся орава млела от восхищения и зависти.

Слезы стыда и гнева стояли в глазах маленького монарха: «Если б я их тяжко обидел, они не могли бы поступить со мной более жестоко; но я обещал им милость — и вот как они отблагодарили меня!»

Глава XVIII

ПРИНЦ У БРОДЯГ

Вся орава поднялась на рассвете и двинулась в путь. Над головой низко нависло небо, земля под ногами была скользкая, в воздухе веяло зимним холодом. Шайка приуныла; одни были угрюмы и молчаливы, другие сердиты и раздражительны; все были не в духе, каждому хотелось опохмелиться.

Атаман отдал «Джека» на попечение Гуго, коротко приказал Джону Кенти держаться в стороне и оставить сына в покое; а Гуго он велел не слишком грубо обращаться с мальчиком.

Мало-помалу погода стала лучше, тучи поднялись выше. Бродяги больше не дрожали от холода и воспрянули духом. Постепенно они развеселились, принялись зубоскалить и задевать прохожих, попадавшихся им навстречу. Это означало, что они снова стали ценить жизнь и ее радости. Их, очевидно, боялись: все уступали им дорогу и смиренно переносили их дерзости и насмешки, не осмеливаясь огрызнуться. Они снимали с изгороди развешанное для просушки белье, иногда на глазах у владельцев, которые не только не возражали, но даже были как будто благодарны, что бродяги не захватили и изгороди.

Вскоре они вторглись к небогатому фермеру и расположились, как дома, пока дрожащий от страха хозяин и его домашние опустошали кладовую, чтобы приготовить им завтрак. Они трепали по подбородку фермершу и ее дочерей, когда те подносили им кушанья, и с хохотом, похожим на лошадиное ржанье, обзывали их обидными прозвищами. Они швыряли кости и овощи в фермера и его сыновей, заставляя их увертываться, и шумно хлопали в ладоши, когда попадали в цель. В конце концов они вымазали маслом голову одной из хозяйских дочек, возмутившейся их наглыми шутками. Уходя, они грозились прийти опять и сжечь дом вместе с хозяевами, если те посмеют донести об их проделках властям.

Около полудня, после долгой и утомительной ходьбы, орава сделала привал под изгородью, за околицей довольно большой деревни. Часок отдохнули, а потом бродяги разбрелись в разные стороны, чтобы войти в деревню с нескольких концов одновременно и заняться каждый своим ремеслом. «Джека» послали с Гуго. Они побродили по улице, и наконец Гуго, не находя, к чему приложить свое искусство, сказал:

— Нечего украсть. Жалкая деревушка. Нам придется просить милостыню.

— *Нам?* Ну уж нет! Ты проси, это твое ремесло. Но я просить милостыню не стану.

— Ты не станешь просить милостыню? — воскликнул Гуго, с удивлением вытаращив глаза на короля.— Скажи, с каких это пор ты так переменился?

— Я тебя не понимаю.

— Не понимаешь? Да ведь ты всю жизнь просил милостыню на лондонских улицах.

— Я?.. Глупец!

— Побереги свои любезности — надольше хватит. Твой отец говорит, что ты всю жизнь занимаешься нищенством. Может, он врет? Может, ты даже отважишься *утверждать*, что он врет? — поддразнивал Гуго.

— Это *его* ты называешь моим отцом? Да он солгал.

— Ну ладно, приятель! Будет тебе ломать комедию и представляться сумасшедшим; повеселился — и хватит, а то как бы не нажить беды. Если я расскажу ему, он с тебя шкуру сдерет.

— Можешь не трудиться, я и сам ему скажу.

— Мне нравится твоя храбрость, ей-богу нравится. А вот рассуждаешь ты глупо. Побоев, пинков, тычков и без того достаточно, незачем их добывать самому. Но довольно об этом! Я верю твоему отцу. Я не сомневаюсь, что он умеет врать, не сомневаюсь, что он и врет при случае — и лучшие из нас это делают,— но тут ему незачем врать. А умный человек не тратит даром такой полезной вещи, как ложь! Но если тебе не нравится просить милостыню, чем же мы займемся? Будем обворовывать кухни?

Король сказал раздраженно:

— Брось болтать глупости, ты мне надоел!

Гуго рассердился:

— Послушай, приятель, ты не хочешь воровать, не хочешь просить милостыню — будь по-твоему! Но вот что я заставлю тебя делать. Я буду просить милостыню, а ты заманивай прохожих. Посмей только отказаться!

Король презрительно посмотрел на него и хотел что-то возразить, но Гуго перебил его:

— Тсс! Вот идет человек с добрым лицом. Я сейчас упаду наземь, будто в припадке. Когда этот человек подбежит ко мне, ты начни вопить, упади на колени, притворись, будто плачешь, кричи, словно дьяволы у тебя в брюхе, и скажи: «О сэр, это мой бедный, горемычный брат, у нас нет друзей. Именем господа заклинаю тебя: будь милосерд, сжалься над больным, всеми брошенным, несчастным бедняком, удели один маленький пенни от избытка твоего обиженному богом, погибающему человеку!» И помни: не переставай выть и не унимайся, покуда не выманишь у него пенни, иначе плохо тебе будет.

И Гуго тут же застонал, заплакал, начал закатывать глаза под лоб, шататься, вертеться на месте, а когда прохожий подошел поближе, он с криком упал на землю и забился в грязи, изображая страшные мучения.

— О боже! — воскликнул добрый прохожий.— Бедняга, как он страдает! Я помогу тебе.

— Ах, нет, добрый сэр, не трогай меня... Пошли тебе господи всякого благополучия! Мне страшно больно, когда до меня дотрагиваются во время припадка. Вот мой брат расскажет твоей милости, что со мной делается, когда меня начинает вот этак корчить. Дай пенни, добрый сэр, и оставь меня мучиться.

— Один пенни! Да я дам тебе целых три, бедный ты человек!

И прохожий принялся поспешно шарить у себя в кармане, доставая деньги.

— Вот, голубчик, возьми, получай на здоровье! Пойди сюда, мальчик, помоги мне снести твоего бедного брата вот в тот дом, где...

— Он вовсе мне не брат...— перебил его король.

— Как! Он тебе не брат?

— Вот! Вы слышите? — застонал Гуго, скрежеща зубами.— Он отрекается от родного брата, от брата, который одной ногой стоит в могиле!

— Если он твой брат, у тебя в самом деле жестокое сердце, мальчик! Как тебе не стыдно! Ведь он не может двинуть ни рукой, ни ногой! Если он не брат, кто же он тогда?

— Нищий и вор! Он взял у тебя деньги и в это самое время залез тебе в карман. Если хочешь излечить его чудом, пусть твоя палка прогуляется по его плечам, в остальном можешь положиться на бога.

Но Гуго не стал дожидаться чуда. В один миг он вскочил на ноги и умчался, как ветер, а прохожий — за ним, крича во все горло. Король, горячо поблагодарив небо за собственное избавление, побежал в противоположную сторону и не умерил шага, пока не очутился вне опасности. Он свернул на первую

попавшуюся дорогу и скоро оставил деревню далеко за собою. Несколько часов он торопливо шел, поминутно с тревогой оглядываясь, не гонятся ли за ним; но наконец страхи его улеглись, и радостное сознание безопасности охватило его.

Теперь только он почувствовал, что голоден и очень устал. Он постучался было в ближайшую ферму, но ему не дали даже слова сказать и грубо выгнали вон: его одежда не внушала доверия.

Разгневанный и оскорбленный, он поплелся дальше, решив, что впредь не станет подвергать себя таким унижениям. Но голод сильнее гордости, и под вечер он еще раз попытался найти приют на ферме; здесь его, однако, приняли еще хуже: изругали и посулили задержать как бродягу, если он не уберется сейчас же.

Наступила ночь, темная и холодная. А король все еще ковылял на усталых ногах. Ему поневоле приходилось идти и идти: едва он присаживался, холод пронизывал его до костей. Все чувства и впечатления во время этого странствия в торжественном мраке ночи по пустынным дорогам и полям были для него новы и странны. Временами он слышал голоса — они приближались, звучали совсем близко и постепенно замирали. Он не мог рассмотреть людей, а видел только неясные, скользящие тени; в этом было что-то призрачное, жуткое, и он вздрагивал от страха. Иногда он видел мерцающий свет вдали — словно в ином мире; иногда слышал звяканье овечьего колокольчика, далекое, неясное; приглушенное мычание коров, долетавшее до него с ночным ветром, было полно уныния; по временам из-за невидимых полей и лесов доносился жалобный вой собаки. Все звуки доносились издалека, и маленькому королю казалось, что все живое отступило от него вдаль, что он стоит, одинокий, затерянный, посреди беспредельной пустыни.

Он спотыкался, но все шел и шел. Мрачное обаяние этих новых впечатлений охватило его. Порою над головой у него чуть слышно шелестела сухая листва, и он вздрагивал от этого шороха — ему казалось, что это шепчутся какие-то люди. Он шел и шел, пока внезапно не увидел совсем близко свет жестяного фонаря. Он отпрянул назад, в тень, и стал ждать. Фонарь стоял возле сарая, у отворенной двери. Король подождал немного — ни звука, ни шороха. Он так озяб, а гостеприимный сарай так манил к себе, что наконец он решился войти. Быстро, бесшумно прокравшись к двери, он переступил порог и в ту же минуту услыхал за собою голоса: он поскорее юркнул за бочку и присел на корточки. Вошли два батрака с фонарем и, болтая, принялись за работу. При свете фонаря король успел рассмотреть внутренность сарая и, заметив на другом конце его что-то вроде

большого стойла, решил добраться до него, когда останется один; он заметил также, что на полпути к стойлу лежит груда попон, и твердо вознамерился заставить их послужить этой ночью короне Англии.

Батраки кончили работать и ушли, забрав фонарь и заперев за собою дверь. Дрожащий от холода король, спотыкаясь в потемках, поспешно добрался до попон, захватил их, сколько мог, и затем благополучно проскользнул к стойлу. Из двух попон он устроил себе постель, остальными двумя укрылся. Теперь он был счастливым королем, хотя его одеяла были стары, тонки и не очень грели, да вдобавок от них еще противно пахло лошадиным потом.

Король продрог, его мучил голод, но все же он так устал, что вскоре его охватила дремота. Но как раз в ту минуту, когда он готов был заснуть по-настоящему, он ясно почувствовал, что кто-то дотронулся до него. Он сразу проснулся и затаил дыхание. У него чуть сердце не лопнуло — так испугало его это таинственное прикосновение в темноте. Он лежал неподвижно и прислушивался, едва дыша. Но все было безмолвно и недвижимо. Он слушал, как ему казалось, очень долго, но все по-прежнему было безмолвно и недвижимо. Он опять погрузился в дремоту и вдруг снова ощутил таинственное прикосновение. Как ужасно прикосновение чего-то беззвучного и невидимого! Мальчик почувствовал безумный страх. Что ему делать? Это был вопрос, на который он никак не мог найти ответа. Покинуть это довольно удобное ложе и бежать от неведомого врага? Но куда бежать? Из сарая все равно выбраться нельзя — он заперт; а бродить в темноте из угла в угол в четырех стенах, как в тюрьме, когда за тобою скользит невидимый призрак, который может каждую минуту дотронуться до твоего плеча или руки,— нет, это еще страшнее. Но лежать всю ночь, умирая от страха, разве это лучше? Нет. Что же тогда делать? Он хорошо знал, что ему оставалось только одно: протянуть руку и выяснить наконец, кто к нему прикасался.

Это легко было решить, но трудно выполнить. Три раза он робко протягивал руку впотьмах и тотчас же судорожно отдергивал ее назад — не потому, что она прикоснулась уже к чему-нибудь, а потому, что он чувствовал, что она сейчас к чему-нибудь прикоснется. Но в четвертый раз он протянул руку немного дальше, и рука его слегка дотронулась до чего-то теплого и мягкого. Он окаменел от ужаса: ум его был в таком смятении, что ему почудилось, будто перед ним еще не остывший мертвец. Он подумал, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз. Но он ошибся, не зная непобедимой силы человеческого любопытства. Скоро его рука, дрожа, уже опять тянулась в ту сто-

рону — настойчиво тянулась, наперекор его решению, почти против воли. Он нащупал пучок длинных волос. Он вздрогнул, но провел рукой по волосам и дотронулся до чего-то похожего на теплую веревку; провел рукой по веревке и нащупал... невиннейшего теленка! Веревка была вовсе не веревкой, а телячьим хвостом.

Королю стало стыдно, что он натерпелся столько страхов и мучений из-за таких пустяков. Но, по правде говоря, ему нечего было особенно стыдиться: он ведь испугался не теленка, а чего-то страшного, несуществующего, что он представил себе вместо теленка. Всякий другой мальчик в те суеверные времена испугался бы не меньше его.

Король был в восторге не только оттого, что страшное чудовище оказалось простым теленком, но и оттого, что у него нашелся товарищ; он чувствовал себя таким одиноким и покинутым, что даже близость этого смиренного животного была ему отрадна. Люди так обижали его, так грубо с ним обходились, что для него было поистине утешением обрести наконец товарища, у которого хотя и нет большого ума, но зато есть доброе сердце и кроткий нрав. Он решил позабыть о своем высоком сане и подружиться с теленком.

Поглаживая рукой его теплую гладкую спинку — теленок лежал совсем близко,— король сообразил, что новый друг может сослужить ему службу. Он взял свою постель и подтащил ее поближе к теленку; потом свернулся клубочком, опустил голову на спину теленка, натянул попону на себя и на своего друга,— и через минуту ему было так же тепло и удобно, как на пуховиках в королевском дворце в Вестминстере.

И сразу пришли приятные мысли, жизнь стала казаться радостнее. Он уже больше не слуга преступников, он избавлен от общества низких и грубых бродяг; над головой его крыша, ему тепло — словом, он счастлив. Дул ночной ветер; он налетал порывами, от которых дрожал и трясся старый сарай, замирал, потом снова стонал и выл по углам и под крышей. Но все это было музыкой для короля теперь, когда ему стало хорошо и удобно: пусть дует и злится ветер, пусть плачет, свистит и стонет — ему все равно. Он только сильнее прижимался к своему другу, наслаждаясь теплом, и незаметно уснул блаженным сном без сновидений, ясным и мирным. Вдали заливались собаки, печально мычали коровы, бушевал ветер, дождь яростно стучал по крыше, а его величество, властитель Англии, безмятежно спал, и рядом с ним спал теленок, простое создание, равнодушное к бурям и не стесняющееся спать рядом с королем.

Глава XIX

ПРИНЦ У КРЕСТЬЯН

Проснувшись рано утром, король заметил, что мокрая, но догадливая крыса прокралась ночью к нему и приютилась у него на груди. Когда он пошевелился, крыса убежала. Мальчик с улыбкой сказал:

— Глупая, чего ты боишься? Я такой же бездомный, как и ты. Стыдно мне было бы обидеть беззащитного, когда я сам беззащитен. Я признателен тебе за доброе предзнаменование: когда король опустился так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди,— это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя.

Он встал, вышел из стойла и в ту же минуту услышал детские голоса. Дверь сарая отворилась, и вошли две маленькие девочки. Заметив короля, они сразу перестали болтать и смеяться и остановились как вкопанные, разглядывая его с большим любопытством; потом пошептались, потом подошли ближе и опять остановились, опять поглядели на него и опять зашептались. Мало-помалу они набрались храбрости и начали говорить о нем довольно громко. Одна сказала:

— У него лицо красивое.

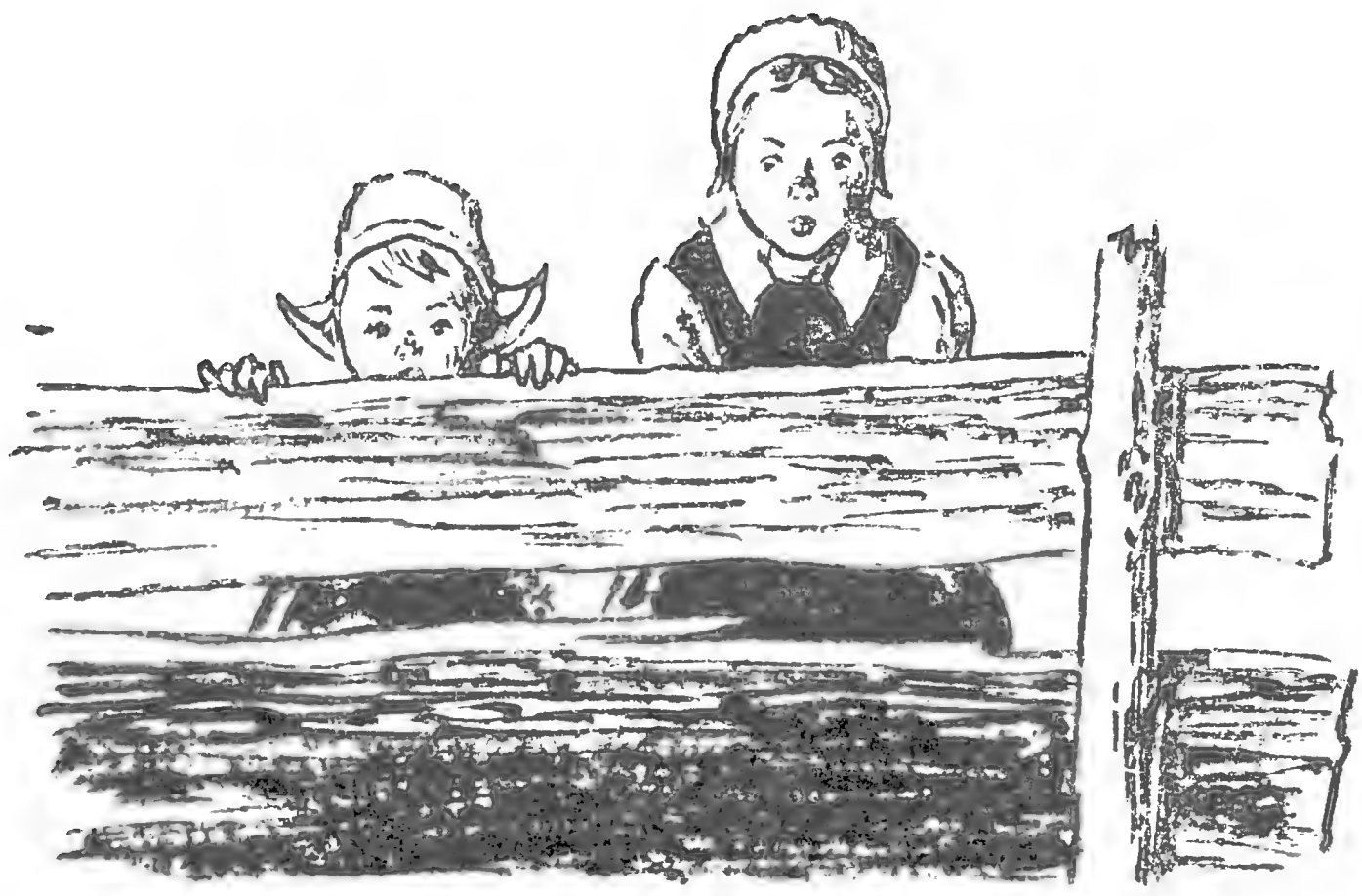
Другая прибавила:

— И волосы кудрявые.

— Но одет он очень скверно.

— И какой голодный на вид!

Они подошли ближе, застенчиво обошли несколько



раз вокруг него, внимательно рассматривая, словно он был каким-то странным, невиданным зверем, боязливо и зорко наблюдая за ним, как бы боясь, что этот зверь, чего доброго, укусит. В конце концов они остановились перед ним, держась за руки, как бы ища защиты друг у друга, и вытаращили на него свои простодушные глазенки; потом одна из них, набравшись храбрости, напрямик спросила:

— Кто ты, мальчик?

— Я король,— ответил он с достоинством.

Девочки слегка отшатнулись, широко раскрыв глаза, и полминуты не могли выговорить ни слова; потом любопытство взяло верх.

— Король? Какой король?

— Король Англии.

Девочки посмотрели друг на друга, потом на него, потом опять друг на друга — удивленно, смущенно. Затем одна из них сказала:

— Ты слышишь, Марджери? Он говорит, что он король. Может ли это быть правдой?

— Как же это может быть неправда, Присси? Разве он станет лгать? Ведь ты понимаешь, Присси, если это не правда, значит, это ложь. Подумай как следует. Все, что не правда, то — ложь, с этим уж ничего не поделаешь.

Довод был здравый и неопровержимый; сомнения Присси сразу рассеялись. Она подумала минутку, положилась на честность короля и бесхитростно сказала:

— Если ты вправду король, я тебе верю.

— Я вправду король.

Таким образом дело уладилось. Королевское звание его величества было признано без дальнейших споров, и девочки принялись расспрашивать его, как он попал сюда, и почему он так не по-королевски одет, и куда он идет. Король и сам был рад отвести душу — рассказать о своих злоключениях кому-нибудь, кто не станет смеяться над ним или сомневаться в правдивости его слов; он с жаром рассказал свою историю, на время позабыв даже о голоде, и добрые девочки выслушали его с глубоким сочувствием. Но когда он дошел до последних своих несчастий и они узнали, как давно он ничего не ел, они перебили его на полуслове и потащили домой, чтобы поскорее накормить.

Теперь король был счастлив и весел.

«Когда я вернусь во дворец,— говорил он себе,— я буду всегда заботиться о маленьких детях, в память того, как эти девочки не испугались меня и поверили мне, когда я был в несчастье, а те, кто старше их и считают себя умнее, только издевались надо мною, выставляя меня лжецом».

Мать девочек приняла короля участливо: ее доброе женское сердце было тронуто горькой долей бездомного мальчика, да еще вдобавок помешанного. Она была вдова и далеко не богата, сама натерпелась довольно горя и потому умела сочувствовать несчастным. Она вообразила, что помешанный мальчик убежал от своих родных или сторожей, и все допытывалась, откуда он пришел, чтобы вернуть его домой; она называла соседние города и деревни, но все ее расспросы были напрасны. По лицу мальчика и по его ответам она видела, что ему незнакомо то, о чем она говорит. Он просто и охотно говорил о придворной жизни, раза два всплакнул, вспомнив о покойном короле, «своем отце», но как только разговор переходил на более низменные темы, мальчик становился безучастным и умолкал.

Женщина была озадачена, но не сдалась. Хлопоча у очага, она пускалась на всевозможные хитрости, чтобы выведать, кто такой этот мальчик. Она заговорила с ним о коровах — он остался равнодушен; завела речь об овцах — то же самое; таким образом, ее догадки насчет того, что он был пастухом, оказались ошибочными. Она заговорила о мельницах, о ткачах, лудильщиках, кузнецах, о всевозможных мастерствах и ремеслах; потом о сумасшедшем доме, о тюрьмах, о приютах — напрасно: она всюду потерпела поражение. Впрочем, нет — может быть, он чей-нибудь слуга? Да, теперь она была уверена, что напала на верный след; без сомнения, он служил в каком-нибудь доме. Она завела об этом разговор. Но и тут ничего не добилась: разговор о подметании комнат и топке очага, видно, тяготил мальчика; чистка посуды не вызывала в нем никакого восторга. Тогда добрая женщина, уже теряя надежду, на всякий случай заговорила о стряпне. К великому ее удивлению и радости, лицо короля вдруг просияло! Ага, наконец-то она поймала его! Она была горда, что добилась этого так проницательно и политично. Ее уставший язык мог наконец отдохнуть, потому что король, вдохновленный пожирающим его голодом и соблазнительным запахом, исходившим от брызгающих пеною горшков и кастрюль, пустился в долгие, красноречивые описания разных лакомых блюд. Через три минуты женщина уже говорила себе: «Ну конечно, я была права: он работал на кухне!»

А король называл всё новые и новые блюда и обсуждал их с таким воодушевлением и знанием дела, что женщина думала:

«Откуда он знает столько кушаний, да еще таких мудреных, которые подают за столом только у богачей и вельмож? А, понимаю! Теперь он оборванец, но прежде, пока не свихнулся, служил, должно быть, во дворце. Да, наверно, он работал на кухне у самого короля! Надо испытать его!»

Чтобы проверить свою догадку, она велела королю присмотреть за кушаньем, намекнув, что он может и сам постряпать, коли у него есть охота, и сготовить одно-два блюда лишних. Потом вышла из комнаты, сделав знак своим дочкам следовать за нею.

Король пробормотал:

— В былые времена такое же поручение было дано другому английскому королю; нет ничего унизительного для моего достоинства заняться делом, до которого снизошел сам Альфред Великий[1]. Но я постараюсь лучше оправдать доверие своей хозяйки, так как у него лепешки подгорели.

Намерение было доброе, но исполнение оказалось много хуже; скоро и этот король, как и тот — в былые времена, углубился в свои мысли, и случилась та же беда: кушанье подгорело. Женщина вернулась вовремя, чтобы спасти завтрак от окончательной гибели, и быстро вывела короля из задумчивости, обругав его на совесть и без всяких церемоний. Затем, видя, что он сам огорчен тем, что не оправдал ее доверия, смягчилась и опять стала доброй и ласковой.

Мальчик вкусно и сытно позавтракал и после еды приободрился и повеселел. Этот завтрак был замечателен тем, что и хозяйка и гость относились друг к другу снисходительно, забывая о высоте своего звания; и в то же время ни гость не сознавал, что ему оказывается милость, ни хозяйка. Женщина собиралась покормить этого бродягу объедками где-нибудь в уголке, как кормят бродяг или собак, но ее мучила совесть, что она изругала его, ей хотелось чем-

---

[1] Альфред Великий (840—901) — король саксов. В Англии существует легенда, что, спасаясь от преследования датчан, он скрылся в хижине дровосека, жена которого, не зная, кто он, поручила ему присмотреть за лепешками и дала ему нагоняй, когда лепешки подгорели.

нибудь это загладить, и она посадила его за один стол с собою и своими детьми и — умышленно подчеркивая это — обращалась с ним, как с равным. Король со своей стороны укорял себя за то, что не оправдал доверия семьи, которая отнеслась к нему так ласково, и решил искупить свою вину, снизойдя к ним и не требуя, чтобы фермерша и дети стояли и прислуживали ему, в то время как он будет кушать один за столом, как приличествует его сану и званию. Каждому из нас полезно иногда отложить в сторону свое чванство. Добрая женщина весь день была счастлива, хваля себя за свое снисхождение к маленькому бродяге, а король тоже был доволен собою, потому что подарил своим благоволением простую крестьянку.

Когда завтрак был съеден, фермерша велела королю вымыть посуду; это в первую минуту смутило его, и он хотел было отказаться, но потом сказал себе:

«Альфред Великий присматривал за лепешками; без сомнения, он вымыл бы и посуду, если бы его о том попросили. Попробую-ка и я!»

Проба оказалась неудачной; он был очень изумлен, так как думал, что вымыть деревянные ложки и миски — пустое дело. Занятие это оказалось скучным и хлопотливым, однако король кое-как справился. Ему уже не терпелось продолжать путь, но отделаться от домовитой фермерши было не так-то легко: она давала ему то одну, то другую работу, и он все исполнял добросовестно и довольно успешно. Между прочим, она посадила его вместе с девочками чистить зимние яблоки, но это у него не ладилось; тогда она велела ему наточить кухонный нож; потом заставила его расчесывать шерсть, и он скоро решил, что давно перещеголял доброго короля Альфреда в разных показных геройствах, которые выходят такими замечательными в рассказах и исторических книгах,— словом, что с него достаточно. И когда после обеда фермерша дала ему корзинку с котятами и велела их утопить, он отказался. Вернее, он собирался отказаться, так как чувствовал, что надо же где-нибудь поставить точку и что удобнее всего отказаться именно топить котят, но ему помешали. Помешали Джон Кенти с коробом разносчика за спиной и Гуго!

Король увидел обоих негодяев, приближавшихся к воротам, прежде чем они успели его заметить; не сказав ни слова, он взял корзину с котятами и тихонько вышел в заднюю дверь. Котят он оставил в сенях, а сам пустился во всю прыть по узкому переулку.

Глава XX

ПРИНЦ И ОТШЕЛЬНИК

Теперь он был скрыт от дома высокой изгородью. В смертельном страхе он напряг все силы и помчался к далекому лесу. Он ни разу не оглядывался до тех пор, пока не достиг лесной опушки; тогда он оглянулся и увидел вдали двух мужчин. Этого было достаточно; он не стал рассматривать их, а поспешил дальше и не убавлял шага, пока не очутился в сумрачной чаще леса. Тут только он остановился, полагая, что теперь он в безопасности. Он чутко прислушался: кругом стояла глубокая, торжественная тишина — тяжелая тишина, угнетавшая душу. Лишь изредка, напрягая слух, он различал звуки, но такие отдаленные, глухие и таинственные, что казалось, то были не настоящие звуки, а лишь их стонущие и плачущие призраки. Эти звуки были еще страшнее той тишины, которую они нарушали.

Вначале он хотел до самого вечера не двигаться с места, но от бега он вспотел, и теперь ему стало холодно; пришлось идти, чтобы согреться ходьбой. Он пустился прямиком через лес, надеясь выйти где-нибудь на дорогу, но ошибся. Он все шел и шел; но чем дальше, тем, казалось, гуще становился лес. Стемнело, и король понял, что скоро наступит ночь. Он содрогнулся при мысли, что ему придется заночевать в таком жутком месте; он стал торопиться, но от этого двигался еще медленнее, так как в полутьме не видел, куда ступает, и то и дело спотыкался о корни, запутывался в ветках и колючих кустах.

Как он обрадовался, когда наконец увидел слабый огонек! Он осторожно подошел к огоньку, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и прислушаться. Этот огонек светился в оконце убогой маленькой хижины. Оконце было без стекол. Король услыхал голос и хотел убежать и спрятаться, но, разглядев, что тот, кому принадлежал голос, молится, передумал. Он подкрался к окну, единственному во всей хижине, приподнялся на цыпочки и заглянул внутрь. Комната была маленькая, с земляным полом, плотно утоптанным; в углу было устроено ложе из камыша, покрытое изодранными одеялами; тут же у постели виднелись ведро, кружка, миска, несколько горшков и сковородок; рядом — невысокая скамейка и табурет о трех ножках; в очаге догорало пламя. Перед распятием, освещенным одною только свечою, стоял на коленях старик, а возле него, на старом деревянном ящике, рядом с человеческим черепом, лежала раскрытая книга. Старик был большой, костистый; волосы и борода у него были очень длинные и белые как снег; на нем было одеяние из овечьих шкур, ниспадавшее от шеи до пят.

«Святой отшельник! — сказал себе король.— Наконец-то мне повезло!»

Отшельник поднялся с колен. Король постучался. Низкий голос ответил:

— Войди, но оставь грех за порогом, потому что земля, на которую ты ступишь, священна!

Король вошел и остановился. Отшельник устремил на него блестящие, беспокойные глаза и спросил:

— Кто ты такой?

— Я король,— услышал он ответ, простой и скромный.

— Добро пожаловать, король! — в восторге воскликнул отшельник.

Затем, лихорадочно суетясь и беспрестанно повторяя «Добро пожаловать!», отшельник подвинул скамейку к огню, усадил на нее короля, подбросил в огонь охапку хвороста и возбужденно забегал по комнате из угла в угол.

— Добро пожаловать! Многие искали приюта в этом святилище, но оказались недостойны и были изгнаны. Но король, отвергший корону, презревший суетные почести, подобающие его сану, и облекшийся в лохмотья, чтобы провести свои дни в святости и умерщвлении плоти,— он достоин, он желанный гость! Он останется здесь до самой кончины...

Король поспешил прервать его и сообщил ему подлинные обстоятельства дела, но отшельник не обратил на его слова никакого внимания, даже, по-видимому, не слышал их, а продолжал говорить с возрастающим жаром и все повышая голос:

— Здесь ты пребудешь в мире. Здесь никто не откроет твоего убежища, чтобы беспокоить тебя мольбами вернуться к пустой и суетной жизни, которую ты покинул, повинуясь божьему велению. Здесь ты будешь молиться; ты будешь изучать священное писание; ты будешь размышлять о безумии и обольщениях мира сего и о блаженстве будущей жизни; ты будешь питаться черствым хлебом и травами и ежедневно бичевать свое тело ради очищения души; ты будешь носить на голом теле власяницу; ты будешь пить только воду; ты будешь наслаждаться покоем — да, полным покоем, ибо тот, кто придет искать тебя, вернется осмеянный: он не найдет тебя, он не смутит тебя.

Старик продолжал ходить из угла в угол. Он уже не говорил вслух, а что-то бормотал про себя. Король воспользовался этим, чтобы рассказать свою историю. Под влиянием смутной тревоги и какого-то неясного предчувствия он рассказал ее очень красноречиво. Но отшельник продолжал ходить и бормотать, не обращая на него внимания. Все еще бормоча, он приблизился к королю и сказал выразительно, подчеркивая каждое слово:

— Тсс! Я открою тебе великую тайну!

Он наклонился к мальчику, но тотчас же отшатнулся, как бы прислушиваясь, подошел крадучись к окну, высунул голову, вглядываясь в потемки; потом на носках вернулся, приблизил свое лицо к самому лицу короля и прошептал:

— Я — архангел!

Король сильно вздрогнул и сказал себе: «Уж лучше бы мне остаться с бродягами! Теперь я во власти сумасшедшего!» Его тревога усилилась и ясно отразилась у него на лице.

Тихим, взволнованным голосом отшельник продолжал:

— Я вижу, ты чувствуешь, какая святость окружает меня! На челе твоем начертан благоговейный страх! Никто не может пребывать в этой святости и не ощутить этого страха, ибо это святость неба. Я улетаю туда и возвращаюсь в мгновение ока. Пять лет назад сюда, на это самое место, с небес были ниспосланы ангелы, чтобы возвестить мне о том, что я удостоен архангельского чина. От них исходил ослепительный свет. Они преклонили передо мною колени, ибо я еще более велик, чем они.

Я вознесся в небеса и беседовал с патриархами... Дай мне руку, не бойся... дай мне руку. Знай, что ты коснулся руки, которую пожимали Авраам, Исаак, Иаков! Я был в золотых чертогах, я видел самого господа бога! — Он остановился, чтобы поглядеть, какое впечатление произвела его речь; затем лицо его исказилось, и он снова вскочил на ноги, восклицая сердито: — Да, я архангел. *Только архангел!* А я мог бы быть папой! Это истинная правда. Мне это сказал голос во сне двадцать лет тому назад. Да, меня должны были сделать папой! И я был бы папой, ибо такова воля небес. Но король разорил мой монастырь, и меня, бедного, гонимого монаха, лишили крова и отняли у меня мою великую будущность.

Он опять забормотал, в бессильной ярости ударяя себя кулаком по лбу; время от времени у него вырывались то проклятия, то жалобные возгласы.

— И вот почему я только архангел, когда мне предназначено было сделаться папой!

Так продолжалось целый час, а бедный маленький король сидел и мучился. Но вот ярость старика утихла, и он стал необычайно ласков. Голос его смягчился, он сошел с облаков на землю и принялся болтать так просто, так сердечно, что вскоре совсем покорил сердце короля. Он усадил мальчика поближе к огню, стараясь устроить его как можно удобнее; ловкой и нежной рукой промыл его порезы и царапины; затем стал готовить ужин, все время весело болтая и то трепля мальчика по щеке, то гладя его по голове так нежно и ласково, что вместо страха и отвращения король скоро почувствовал к «архангелу» уважение и любовь.

Это приятное расположение духа продолжалось до конца ужина; затем, помолившись перед распятием, отшельник уложил мальчика спать в маленькой соседней каморке, укутав его заботливо и любовно, как мать, и, еще раз приласкав на прощание, оставил его и уселся у огня, рассеянно и бесцельно переворачивая головешки в очаге. Вдруг он остановился и несколько раз постучал пальцем по лбу, словно стараясь вспомнить какую-то ускользнувшую мысль. Но это ему, видимо, не удавалось.

Внезапно он вскочил и вошел в комнату гостя с вопросом:

— Ты король?

— Да,— сквозь сон ответил мальчик.

— Какой король?

— Англии.

— Англии? Так Генрих умер?

— Увы, да. Я сын его.

Словно черная тень легла на лицо отшельника. Он со злобой сжал свои костлявые руки, постоял в раздумье, учащенно дыша и глотая слюну, потом хрипло выговорил:

— Знаешь ли ты, что по его милости мы стали бездомными и бесприютными?[1]

Ответа не было. Старик наклонился, вглядываясь в спокойное лицо мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию.

— Он спит, крепко спит.

Мрачная тень на его лице сменилась выражением злобной радости. Мальчик улыбнулся во сне. Отшельник пробормотал:

— Сердце его полно счастья! — и отвернулся.

Он бесшумно бродил по комнате, чего-то ища; то останавливался и прислушивался, то оборачивался, чтобы взглянуть на спящего, и все бормотал, бормотал себе под нос. Наконец он, по-видимому, нашел то, что искал: старый, заржавленный кухонный нож и брусок. Тогда он прокрался к своему месту у огня, сел и принялся оттачивать нож, все бормоча про себя, то тише, то громче. Ветер стонал вокруг одинокой хижины; таинственные голоса ночи доносились из неведомой дали; блестящие глаза отважных крыс и мышей смотрели на старика изо всех щелей и норок, но он продолжал свою работу, увлеченный, ничего не замечая.

Иногда он проводил большим пальцем по лезвию ножа и с довольным видом кивал головой.

— Острее становится,— говорил он,— да, острее!

Он не замечал, как бежит время, и упорно работал, занятый своими мыслями, которые порой произносил вслух:

---

[1] Король Генрих VIII (1491—1547) ввел в Англии протестантизм и конфисковал церковные и монастырские земли, принадлежавшие католикам.

— Его отец обидел нас, разорил и отправил в ад гореть на вечном огне! Да, в ад, гореть на вечном огне! Он ускользнул от нас, но на то была божья воля... да, божья воля... и мы не должны роптать. Но он не ускользнул от адского огня! Нет, он не ускользнул от адского огня, всепожирающего, безжалостного, неугасимого, и этот огонь будет гореть до скончания века!

Он все точил, все точил, то невнятно бормоча, то посмеиваясь скрипучим смехом, то снова произнося вслух:

— Это его отец во всем виноват. Я только архангел, но, если бы не он, я был бы папой!

Король пошевелился во сне. Отшельник бесшумно подскочил к нему, опустился на колени и занес над спящим нож. Мальчик опять пошевелился; глаза его на миг открылись, но в них не было мысли, они ничего не видели; через минуту по его ровному дыханию стало ясно, что сон его опять крепок.

Некоторое время отшельник ждал и прислушивался, не двигаясь, затаив дыхание; потом медленно опустил руку и так же тихо прокрался назад, сказав:

— Полночь давно уже миновала; нехорошо, если он закричит,— вдруг случайно кто-нибудь будет проходить мимо.

Он, как тень, скользил по своей берлоге, подбирая где тряпку, где обрывок веревки, потом опять подошел к королю и осторожно связал ему ноги, не разбудив его. Затем попробовал связать и руки; он несколько раз пытался соединить их, но мальчик вырывал то одну руку, то другую как раз в то мгновение, когда веревка готова была охватить их; наконец, когда «архангел» уже почти отчаялся, мальчик сам скрестил руки, и в один миг они были связаны. Затем «архангел» сунул спящему повязку под подбородок и туго стянул ее узлом на голове — так тихо, так осторожно и ловко, что мальчик все время мирно спал и даже не пошевелился.

Глава XXI

ГЕНДОН ПРИХОДИТ НА ВЫРУЧКУ

Старик, ступая неслышно, как кошка, отошел и принес от очага низкую скамеечку. Он сел так, что одна половина его была вся озарена тусклым колеблющимся светом, а другая оставалась в тени. Не сводя глаз со спящего мальчика, он терпеливо оттачивал нож, все бормоча про себя и не замечая, как бегут часы; он был похож на серого чудовищного паука, готового проглотить неосторожное насекомое, запутавшееся в его паутине.

Наконец, много времени спустя старик, который смотрел, но ничего не видел, поглощенный своими думами, вдруг заметил,

Отшельник сел у огня и принялся оттачивать нож.

что глаза мальчика открыты, широко открыты и глядят! — глядят, застыв от ужаса, на нож. Улыбка дьявольского торжества скользнула по лицу старика, и он, не меняя положения и не прерывая своей работы, спросил:

— Сын Генриха Восьмого, молился ли ты?

Мальчик беспомощно забился в своих узлах, и невнятный звук вырвался из его крепко стянутых челюстей. Отшельник истолковал это как утвердительный ответ на свой вопрос.

— Так помолись снова! Читай отходную молитву!

Дрожь пробежала по телу мальчика, лицо его побледнело. Он опять забился на постели, пытаясь освободиться, изгибаясь и поворачиваясь во все стороны; он вырывался отчаянно, но напрасно; между тем старый людоед с улыбкой глядел на него, кивал головой и спокойно продолжал точить нож, время от времени бормоча:

— Твои минуты сочтены, и каждая из них драгоценна... Молись, читай себе отходную!

Мальчик горестно застонал и перестал метаться; он задыхался, слезы капля за каплей текли по его лицу, но это жалостное зрелище нисколько не смягчило свирепого старика.

Уже начинало светать, отшельник заметил это и заговорил резко, возбужденно:

— Нельзя мне больше растягивать это наслаждение. Ночь почти прошла. Она пролетела для меня как минута, как одна минута; а я хотел бы, чтобы она длилась год! Ну, отродье губителя церкви, закрой глаза, если тебе страшно смотреть...

Дальше речь его стала невнятна. Он упал на колени с ножом в руке и наклонился над стонущим мальчиком.

Но что это? У хижины послышались голоса. Нож выпал из рук отшельника; он набросил на мальчика овечью шкуру и вскочил, дрожа. Шум усиливался, голоса звучали грубо и гневно, слышны были удары и крики о помощи, затем топот быстро удаляющихся шагов. Тотчас же вслед за тем раздался громовой стук в дверь хижины и крик:

— Эй! Отворяй! Да поскорее, во имя всех дьяволов!

О! Эта брань прозвучала музыкой в ушах короля: то был голос Майлса Гендона!

Отшельник, стиснув зубы в бессильной злобе, поспешно вышел из каморки, притворив за собою дверь; затем король услыхал разговор, происходивший в «молельной»:

— Привет тебе и уважение, почтенный сэр! Где мальчик, *мой* мальчик?

— Какой мальчик, друг?

— «Какой мальчик»! Не морочь меня, господин монах, не рассказывай мне сказок, я не расположен шутить. Невдалеке

отсюда я встретил двух негодяев, должно быть, тех самых, которые украли его у меня, и я выпытал у них правду: они сказали, что он опять убежал и что они проследили его до твоей двери. Они показали мне его следы. Ну, нечего больше хитрить! Берегись, святой отец, если ты не отдашь мне его!.. Где он?

— О, добрый сэр, ты, должно быть, говоришь об оборванном бродяге царского рода, который провел здесь ночь? Если такие люди, как ты, могут интересоваться такими, как он, то да будет тебе известно, что я послал его с поручением. Он скоро вернется.

— Скоро вернется? Когда? Говори скорее, не теряй времени! Не могу ли я догнать его? Когда он вернется?

— Не утруждай себя, он скоро придет.

— Ну ладно, будь по-твоему! Попытаюсь дождаться его... Однако постой! Ты послал его с поручением, ты? Ну, уж это враки! Он не пошел бы. Он вырвал бы всю твою седую бороду, если бы ты позволил себе такую дерзость! Ты врешь, приятель, наверняка врешь! Не стал бы он никуда бегать ни ради тебя, ни ради любого другого человека.

— *Человека* — да! Ради человека, может быть, и не стал бы. Но я не человек.

— Господи помилуй, кто же ты?

— Это тайна... смотри не выдавай ее. Я — архангел.

Майлс Гендон буркнул что-то не особенно почтительное, затем прибавил:

— Этим, конечно, и объясняется его снисхождение к тебе. Он палец о палец не ударит в угоду простому смертному, но архангелам даже король обязан повиноваться. Тсс!.. Что за шум?

Все это время маленький король то дрожал от ужаса, то трепетал от надежды и все время старался стонать как можно громче, чтобы Гендон услышал его стоны, но с горечью убеждался, что либо эти звуки не доходят до его слуха, либо не производят на него никакого впечатления. Последние слова Гендона подействовали на короля, как свежий ветер полей на умирающего! Он опять застонал, напрягая все силы.

— Шум? — сказал отшельник.— Я слышу только шум ветра.

— Может, это ветер. Да, конечно, ветер. Я все время слышу слабый шум... Вот опять! Нет, это не ветер! Какой странный звук! Пойдем посмотрим, что это такое!

Радость переполняла сердце короля. Его утомленные легкие работали изо всех сил, но все было напрасно: туго стянутые челюсти и овечья шкура не пропускали звука. Вдруг его охватило отчаяние — он услышал, как отшельник сказал:

— Ах, это доносится снаружи. Наверно, вон из тех кустов. Пойдем, я провожу тебя.

Король слышал, как они вышли, разговаривая; слышал, как шаги их быстро замерли вдали,— и он остался один среди страшного, зловещего безмолвия.

Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем шаги и голоса раздались снова; на этот раз до короля донесся новый звук — стук копыт. Он услышал, как Гендон сказал:

— Дольше я не стану дожидаться. *Не могу*. Он, наверно, заблудился в этом густом лесу. В какую сторону он пошел? Укажи мне дорогу, живо!

— Вот сюда... Но погоди... Я пойду с тобой и буду указывать тебе путь.

— Спасибо... спасибо! Правда, ты лучше, чем кажешься с первого взгляда. Не думаю, чтобы нашелся другой архангел с таким добрым сердцем... Может быть, ты хочешь ехать верхом? Так возьми осла, которого я приготовил для моего мальчугана... Или, может быть, ты предпочтешь обхватить своими святыми ногами этого злополучного мула, которого я купил для себя? Меня здорово надули! Этот мул не стоит и месячного процента на медный фартинг, отданный в долг безработному лудильщику.

— Нет, садись сам на мула, а ослика веди за собою! Я больше доверяю собственным ногам — я пойду пешком.

— Тогда подержи, пожалуйста, эту малую тварь, пока я с опасностью для жизни и со слабой надеждой на успех попытаюсь вскарабкаться на большую.

После этого послышались понукания, крики, свист бича, удары кулаками, отборнейшая громоподобная брань, наконец, горькие упреки, которым мул, по-видимому, внял, так как военные действия прекратились.

С невыразимым горем слушал связанный маленький король, как замирали вдали шаги и голоса. Теперь он утратил всякую надежду на освобождение, и мрачное отчаяние овладело его сердцем. «Моего единственного друга увели обманом отсюда,— говорил он себе.— Старик вернется и...»

Он задохнулся и так неистово заметался на постели, что сбросил прикрывавшую его овечью шкуру.

И вдруг услышал звук отворившейся двери! При этом звуке холод пронизал его до костей: ему казалось, что он чувствует нож у своего горла. В смертельном страхе закрыл он глаза, в смертельном страхе открыл их снова — перед ним стояли Джон Кенти и Гуго!

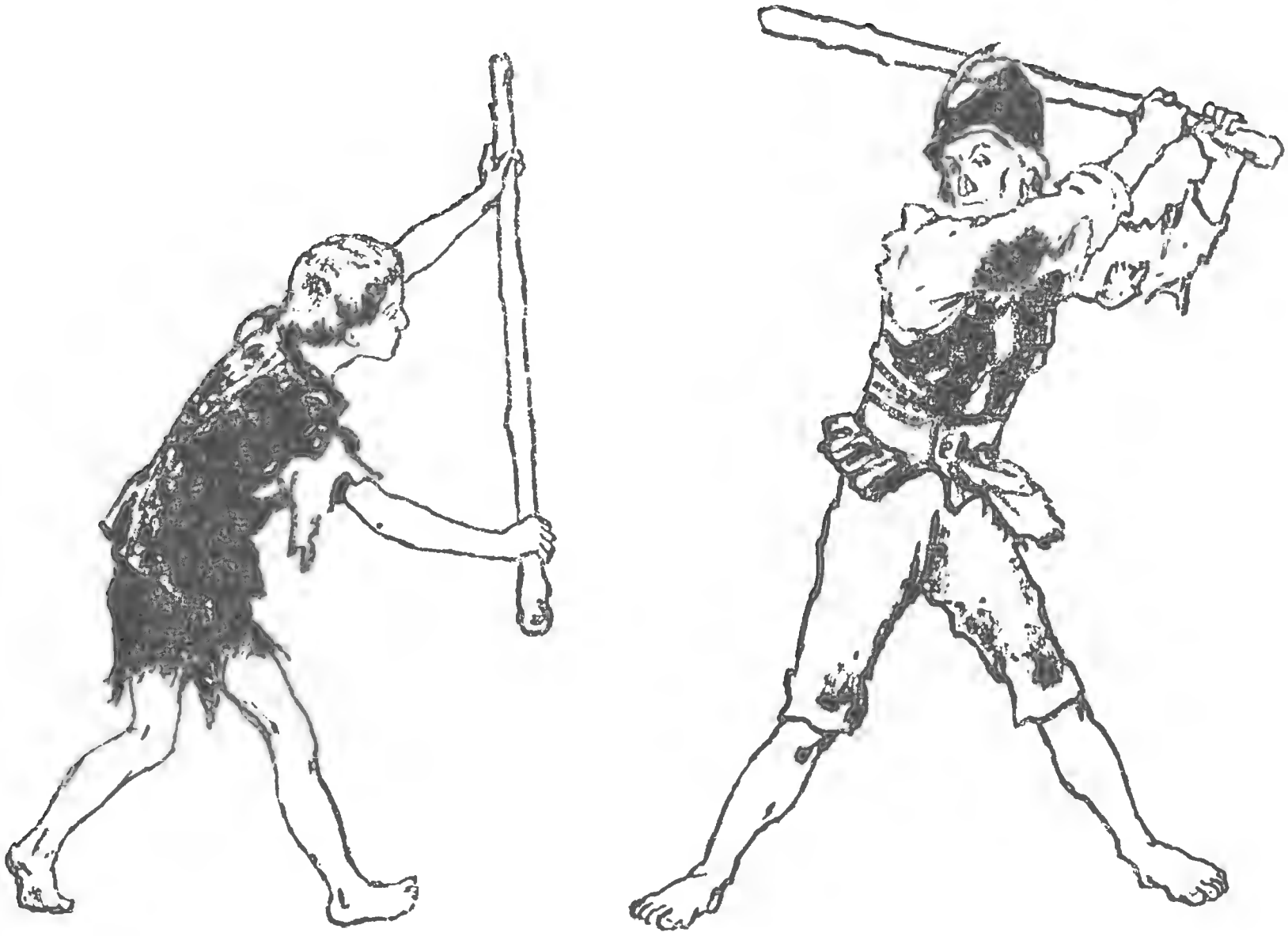
Если бы у него рот не был завязан, он бы сказал: «Слава богу!»

Минуту спустя руки и ноги короля были свободны, и похитители, схватив его под руки с двух сторон, что было духу потащили в глубь леса.

Глава XXII

ЖЕРТВА ВЕРОЛОМСТВА

Опять начались скитания короля Фу-фу Первого в обществе бродяг и отщепенцев; опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, а порой — за спиной у атамана — и злые проделки Джона Кенти и Гуго. Кроме Кенти и Гуго, у него не было настоящих врагов, иные даже любили его, и все восторгались его смелостью, его бойким умом. В течение двух-трех дней Гуго, под присмотр которому был отдан король, исподтишка делал все, что мог, чтобы отравить мальчику жизнь, а ночью, во время обычных оргий, забавлял всю ораву, досаждая ему всякими мелкими пакостями — всегда будто случайно. Два раза он наступил королю на ногу — тоже случайно,— и король, как подобало его королевскому сану, отнесся к этому с презрительным равнодушием, словно не заметив; но, когда Гуго в третий раз проделал то же, король ударом дубинки свалил его на землю, к полному восторгу всей шайки. Гуго, вне себя от гнева и стыда, вскочил на ноги, схватил дубинку и в бешенстве напал на своего маленького противника. Гладиаторов мгновенно окружили кольцом, подбадривали их окриками, бились об за-



клад, кто победит. Но бедному Гуго не везло — его яростные, неуклюжие удары были отбиты рукой, которую лучшие мастера Европы обучили всем тонкостям фехтовального искусства. Маленький король стоял изящно и непринужденно, зорко следя за каждым движением противника и отражая сыпавшийся на него град ударов так легко и уверенно, что живописная толпа оборванцев выла от восхищения; и всякий раз, как его опытный взгляд подмечал оплошность противника, молниеносный удар обрушивался на голову Гуго, а тот, избитый, весь в синяках, безжалостно осыпаемый насмешками, с позором покинул поле битвы. Оставшегося целым и невредимым победителя буйная толпа подхватила и доставила на почетное место, рядом с атаманом, где он с подобающими церемониями был возведен в сан «короля боевых петухов»; его прежний, унизительный титул был торжественно упразднен, и объявлено было, что всякий, кто осмелится этот прежний титул произнести, будет изгнан из шайки.

Все попытки заставить короля приносить пользу шайке окончились неудачей: он упорно отказывался от всякого поручения; мало того, он все время думал о побеге. В первый же день его втолкнули в пустую кухню — он не только не похитил там ничего, но еще пытался позвать хозяев. Его отдали меднику помогать в работе — он не стал работать; мало того, он грозился прибить медника его же паяльным прутом. В конце концов и медник и Гуго только о том и заботились, как бы не дать мальчишке убежать. Он метал громы своего царственного гнева на всякого, кто пытался стеснить его свободу или заставить его служить шайке. Его послали под присмотром Гуго просить милостыню вместе с оборванной нищенкой и больным ребенком, но ничего не вышло: он не хотел просить милостыню ни для себя, ни для других.

Так прошло несколько дней; невзгоды этой бродячей жизни, тупость, низость и пошлость ее все больше и больше становились невыносимыми маленькому пленнику, и он уже начинал чувствовать, что избавление от ножа отшельника было лишь временной отсрочкой смерти.

Но по ночам, во сне, он забывал обо всем и снова восседал на троне властелином. Зато как ужасно бывало его пробуждение! С того времени, как его захватили, и до поединка с Гуго тяготы его унизительной жизни росли с каждым днем, и переносить их становилось все трудней и трудней.

На другое утро после поединка Гуго проснулся, пылая местью к своему победителю, и стал замышлять против него всевозможные козни. У него созрело два плана. Один состоял в том, чтобы как можно больнее уязвить гордость и «воображаемое» королевское достоинство мальчика; а если этот план не

удастся — взвалить на короля какое-нибудь преступление и потом предать его в руки неумолимого закона.

Следуя своему первому плану, он задумал сделать поддельную язву на ноге короля, справедливо полагая, что это оскорбит и унизит его сверх всякой меры; а когда язва будет готова, он с помощью Кенти принудит короля сесть у дороги, показывать ее прохожим и просить подаяние. Для того чтобы сделать такую искусственную язву, приготовляли тесто из негашеной извести, мыла и ржавчины, накладывали эту смесь на ремень и крепко обвязывали ремнем ногу. От этого кожа очень быстро слезала, и вид обнаженного мяса был ужасен; затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала отвратительный темно-бурый цвет. Больное место перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы ужасная язва была видна и вызывала сострадание прохожих[1].

Гуго сговорился с медником — тем самым, которого король припугнул паяльным прутом; они повели мальчика будто бы

---

[1] Сведения почерпнуты из книги «Английский бродяга», Лондон, 1665. *(Примеч. автора.)*

на работу, но как только вышли в поле, повалили его наземь; медник держал его, а Гуго крепко-накрепко привязывал к его ноге припарку.

Король пришел в бешенство, он бушевал, грозил повесить обоих, как только вернет себе свою корону, но они крепко держали его, забавляясь его бессильными попытками вырваться, и хохотали над его угрозами. Между тем мазь начала быстро разъедать кожу; еще немного, и негодяи сделали бы свое дело, если бы им не помешали.

Но им помешали: появился «раб», тот самый бродяга, который с таким жаром проклинал английские законы. Он разом положил конец мерзкой затее, сорвав припарку с ноги короля.

Король хотел взять у своего спасителя дубину и тут же на месте проучить своих недругов; но тот не позволил, чтобы не поднимать шума, а посоветовал отложить дело до ночи, когда вся шайка будет в сборе и никто из посторонних не помешает. Они все вместе вернулись в лагерь, и о случившемся было донесено атаману. Атаман выслушал, подумал и заявил, что короля не следует заставлять просить милостыню, потому что он, очевидно, предназначен к чему-то высшему и лучшему,— и тут же на месте произвел его из нищих в воры!

Гуго был вне себя от радости. Он уже пробовал заставить короля воровать, но потерпел неудачу; теперь, конечно, никаких затруднений не будет: ведь не посмеет же король ослушаться самого атамана. Он задумал в тот же день совершить кражу, рассчитывая предать короля во власть закона, притом сделать это так искусно, чтобы все вышло как бы случайно,— «король боевых петухов» был теперь общим любимцем, и бродяги, не питавшие особых симпатий к Гуго, обошлись бы с ним не слишком ласково, если бы тот вероломно предал мальчика общему врагу их — закону.

И вот, выбрав подходящее время, Гуго привел свою жертву в соседний городок. Они медленно бродили по улицам; один из них зорко глядел по сторонам, выжидая удобной минуты, чтобы осуществить свой злобный замысел; другой так же внимательно всматривался во все закоулки, чтобы при первой же возможности пуститься наутек и навсегда спастись от своего постыдного рабства.

Обоим представлялись удобные случаи, но ни тот, ни другой не воспользовались ими, так как в глубине души оба решили на этот раз действовать наверняка, ни один не хотел рисковать, не убедившись заранее в удаче своего предприятия.

Гуго посчастливилось первому: навстречу шла женщина с тяжело нагруженной корзинкой. У Гуго злорадно сверкнули глаза, и он сказал себе: «Издохнуть мне на этом месте, если я не

взвалю это дело на тебя! А тогда — храни тебя бог, «король боевых петухов»!»

Он стоял с виду спокойный, но внутренне страшно волнуясь, и ждал, чтобы женщина поравнялась с ним; тогда он тихонько сказал:

— Погоди здесь, я сейчас вернусь! — и украдкой пустился следом за женщиной.

Сердце короля наполнилось радостью. Теперь, если только Гуго отойдет достаточно далеко, можно будет убежать. Но надежде его не суждено было сбыться. Гуго незаметно подкрался к женщине сзади, выхватил из корзины узел и побежал назад, обмотав узел обрывком старого одеяла, висевшего у него на руке. Женщина подняла страшный крик: она не видела, как исчез узел, но тотчас же заметила кражу, потому что ее ноша вдруг стала легче.

Гуго, не останавливаясь, сунул узел в руки королю.

— Теперь беги за мною,— сказал он,— и кричи: «Держи вора!» Да смотри старайся сбить их с толку!

Через мгновение Гуго уже скрылся за углом и помчался что есть духу по извилистой улице, а еще через минуту он опять вынырнул на глазах у всех с самым невинным и равнодушным лицом и остановился за деревом, наблюдая, что будет.

Оскорбленный король швырнул узел на землю; одеяло раскрылось как раз в ту минуту, когда прибежала женщина, за которой уже следовала целая толпа; женщина схватила одной рукой короля за руку, а другой рукой свой узел и, высоко подняв его кверху, начала длинную речь, осыпая мальчика ругательствами и не отпуская его, как он ни старался вырваться.

Больше Гуго ничего не было нужно: враг его пойман и не избежит кары. Он юркнул в переулок и побежал по направлению к лагерю, посмеиваясь, торжествуя, радуясь; он бежал и раздумывал, как бы правдоподобнее рассказать эту историю шайке.

Король между тем отчаянно бился в сильных руках, крепко державших его, и раздраженно кричал:

— Пусти меня, глупая женщина! Говорят тебе: это не я воровал. Очень нужна мне твоя жалкая рухлядь!

Толпа окружила их, осыпая короля бранью и угрозами; здоровенный кузнец в кожаном фартуке, с засученными по локоть рукавами, подошел к нему, говоря, что нужно проучить его,— но тут в воздухе сверкнула длинная шпага и упала плашмя на руку кузнеца, а диковинный владелец шпаги дружелюбно сказал:

— Погодите, добрые люди, лучше действовать миром, без

злобы, без ругани. Это дело не нам разбирать, а закону. Выпусти мальчика, добрая женщина!

Кузнец смерил взглядом статного воина и отошел прочь, ворча и потирая ушибленную руку; женщина неохотно выпустила маленького короля; зрители неприязненно косились на незнакомца, но благоразумно молчали.

Король с горящими щеками и сверкающим взором бросился к своему избавителю:

— Ты долго медлил, сэр Майлс, но теперь пришел вовремя. Повелеваю тебе, изруби эту толпу негодяев в куски!

Глава XXIII

ПРИНЦ АРЕСТОВАН

Гендон, с трудом подавив улыбку, наклонился к королю и шепнул ему на ухо:

— Тише, тише, государь, не болтай лишнего, а еще лучше — совсем придержи язык. Положись на меня, и все пойдет хорошо.

И подумал: «Сэр Майлс!.. Господи помилуй, я совсем и забыл, что я рыцарь! Удивительно, до чего крепко сидят у него в памяти все его странные и безумные фантазии!.. И хоть этот мой титул один пустой звук, все же мне лестно, что я заслужил его; пожалуй, больше чести быть достойным рыцарства в его царстве Снов и Теней, чем добиться ценой унижений графского титула в каком-нибудь настоящем царстве мира сего».

Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского; полицейский подошел и положил руку на плечо короля. Но Гендон сказал ему:

— Тише, приятель, прими руку! Он пойдет послушно, я за него отвечаю. Иди вперед, а мы пойдем за тобою.

Полицейский пошел вперед вместе с женщиной, которая несла корзинку; Майлс и король шли сзади, а за ними по пятам — толпа народа. Король стал было упираться, но Гендон шепнул ему:

— Подумай, государь, твоими законами держится вся твоя королевская власть; если тот, от кого исходят законы, не уважает их сам, как же он может требовать, чтобы их уважали другие? По-видимому, один из этих законов нарушен; когда король снова взойдет на трон, ему, без сомнения, будет приятно вспомнить, что, находясь в положении частного человека, он, невзирая на свой королевский сан, поступил, как подобает гражданину, и подчинился законам.

— Ты прав, ни слова более; ты увидишь, что если король

Англии налагает ярмо законов на своих подданных, он и сам, очутившись в положении подданного, понесет это ярмо.

У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот маленький арестант тот самый воришка, который ее обокрал; никто не мог опровергнуть ее, и все улики были против короля. Развязали узел, и, когда в нем оказался жирный, откормленный поросенок, судья заволновался, а Гендон побледнел и задрожал; только король в своем неведении остался спокойным.

Судья зловеще медлил, потом обратился к женщине с вопросом:

— Во сколько ты оцениваешь твою собственность?

— В три шиллинга и восемь пенсов, ваша милость! Это самая добросовестная цена, я не могу сбавить ни одного пенни.

Судья недовольно оглядел толпу, кивнул полицейскому и сказал:

— Очисти помещение и запри двери!

Приказ был исполнен.

В суде остались только два служителя закона, обвиняемый, обвинительница и Майлс Гендон. Майлс был бледен, неподвижен, капли холодного пота выступили у него на лбу и покатились по лицу.

Судья опять обратился к женщине и сказал ласково:

— Этот бедный, невежественный мальчик, может быть, голодный, потому что теперь такие трудные времена для бедняков; посмотри на него: у него лицо не злое, но с голоду мало ли что делают... Известно ли тебе, добрая женщина, что за кражу имущества стоимостью выше тринадцати с половиной пенсов виновный, по закону, должен быть *повешен?*[1]

Маленький король широко открыл глаза от удивления, но сдержался и промолчал. Зато женщина вскочила на ноги, дрожа от страха и восклицая:

— Что же я наделала!.. Милосердный боже, да я вовсе не хочу, чтобы этот бедняк шел из-за меня на виселицу! Ах, избавьте меня от этого, ваша милость! Скажите, что мне делать!..

Судья, храня подобающее судье спокойствие, просто ответил:

— Без сомнения, можно сбавить цену, пока она еще не занесена в протокол...

— Ради бога, считайте, что поросенок стоит всего восемь пенсов! Слава тебе господи, что ты не дал принять на душу такой тяжелый грех!

Майлс Гендон на радостях совершенно забыл об этикете: он удивил короля и уязвил королевское достоинство, обняв его

---

[1] Смертная казнь полагалась за кражу вещей, которые стоили дороже тринадцати с половиной пенсов. *(Примеч. автора.)*

У судьи женщина под присягой подтвердила, что этот маленький арестант обокрал ее.

и расцеловав. Женщина поблагодарила и ушла, унося с собой поросенка; полицейский отворил ей дверь и вышел вслед за нею в сени. Судья записывал все происшедшее в протокол. А Гендону, который всегда был настороже, захотелось узнать, зачем это полицейский пошел вслед за женщиной; он потихоньку прокрался в темные сени и услыхал следующий разговор:

— Поросенок жирный и, верно, очень вкусный; покупаю его у тебя — вот тебе восемь пенсов.

— Восемь пенсов! Вот чего захотел! Да он мне самой стоил три шиллинга и восемь пенсов, настоящей монетой последнего царствования, которую старый Гарри, что помер недавно[1], не успел отобрать себе. Фигу тебе за твои восемь пенсов!

— А, ты вот как заговорила!.. Да ведь ты под присягой показала, что поросенок стоит восемь пенсов. Значит, ты дала ложную клятву. Иди со мной держать ответ за свое преступление! А мальчишку повесят.

— Ну, ну, будет тебе, добрый человек, молчи, я согласна. Давай сюда восемь пенсов, бери поросенка, только никому не рассказывай.

Женщина ушла вся в слезах. Гендон проскользнул назад, в комнату судьи, туда же вскоре вернулся и полицейский, спрятав в надежное место свою добычу. Судья еще некоторое время писал, затем прочел королю отечески мудрое и строгое наставление и приговорил его к кратковременному заключению в общей тюрьме, а затем к публичной порке плетьми. Удивленный король раскрыл рот для ответа и, по всей вероятности, отдал бы приказ обезглавить доброго судью тут же на месте, но Гендон знаком предостерег его, и он сдержал себя вовремя. Гендон взял его за руку, поклонился судье, и оба, под охраной полицейского, отправились в тюрьму. Как только они вышли на улицу, взбешенный монарх остановился, вырвал руку и воскликнул:

— Глупец, неужели ты воображаешь, что я войду в общую тюрьму *живым?*

Гендон наклонился к нему и сказал довольно резко:

— Будешь ты мне верить или нет? Молчи и не ухудшай дела опасными речами! Что богу угодно, то и случится; ты ничего не можешь ни ускорить, ни отдалить, жди терпеливо — еще будет время горевать или радоваться, когда произойдет то, чему быть суждено.

---

[1] То есть король Генрих VIII.

Глава XXIV

ПОБЕГ

Короткий зимний день шел к концу. Улицы были пусты, лишь изредка попадались прохожие, да и те шагали торопливо, с озабоченным видом людей, желающих возможно скорее покончить дела и укрыться в уютных домах от пронизывающего ветра и надвигающихся сумерек. Они не глядели ни вправо, ни влево; они не обращали никакого внимания на наших путников, даже как будто не видели их. Эдуард Шестой спрашивал себя, случалось ли когда-нибудь, чтобы толпа смотрела на короля, шествующего в тюрьму, с таким великолепным равнодушием. Наконец полицейский дошел до совершенно пустой рыночной площади и стал пересекать ее. Дойдя до середины, Гендон положил руку на плечо полицейского и шепнул ему:

— Погоди минутку, добрый сэр! Нас никто не слышит. Мне нужно сказать тебе два слова.

— Мой долг запрещает мне разговаривать, сэр! Пожалуйста, не задерживай меня, скоро ночь.

— А все-таки погоди, потому что дело близко тебя касается. Отвернись на минутку и притворись, будто ты ничего не видишь: дай бедному мальчику убежать.

— Как ты смеешь предлагать мне это! Арестую тебя именем...

— Постой, не торопись. Поспешность никогда не приводит к добру.— Гендон понизил голос и шепнул на ухо полицейскому: — Поросенок, купленный тобою за восемь пенсов, может стоить тебе головы!

Бедный полицейский, захваченный врасплох, сначала слова не мог выговорить, а потом начал грозить и ругаться. Но Гендон спокойно и терпеливо ждал, пока он угомонится, затем сказал:

— Ты мне понравился, приятель, мне не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Помни, что я все слышал, от слова до слова. Я сейчас докажу тебе это.— И он повторил слово в слово весь разговор полицейского с женщиной в сенях и прибавил: — Ну что, разве не так было дело? Разве я не могу, если понадобится, дать показания перед судьей?

В первую минуту полицейский онемел от страха и досады; потом пришел в себя и с напускной развязностью возразил:

— Ты делаешь из мухи слона; мне просто вздумалось подшутить над этой женщиной ради забавы.

— И поросенка ты оставил у себя ради забавы?

Полицейский ответил торопливо:

— Конечно, добрый господин. Говорят тебе, что это была шутка.

— Я начинаю тебе верить,— сказал Гендон не то всерьез, не то в насмешку.— Так ты постой здесь немного, а я сбегаю спрошу его милость судью: он ведь человек опытный, разбирается и в законах, и в шутках, и в...

Он повернулся и пошел, договорив уже последние слова на ходу. Полицейский помедлил немного, потоптался на одном месте, выругался раза два, потом крикнул ему вдогонку:

— Постой, добрый сэр, погоди минутку! Ты говоришь, судью спросишь? Да он на шутки туп, как чурбан! Пойди-ка лучше сюда, давай поговорим! Странное дело! Я, кажется, попал в историю, и все из-за невинной, необдуманной забавы. Я человек семейный, у меня жена, дети... Рассуди же здраво, твоя милость, чего ты хочешь от меня?

— Только того, чтобы ты был слеп, нем и не двигался с места, пока не досчитаешь до ста тысяч,— сказал Гендон с таким видом, как будто просил о самой ничтожной услуге.

— Да ведь я тогда пропащий человек! — с отчаянием вскричал полицейский.— Будь же рассудителен, мой добрый сэр, ведь ты же сам понимаешь, что то была шутка, и ничего больше. А если даже принимать ее всерьез, так и то за такую малость самое большее, чем я рискую, это получить нагоняй от судьи: он сделает мне выговор и посоветует никогда не повторять подобных дел.

— Это шутка? — с ледяной торжественностью возразил Гендон.— Эта твоя шутка носит в законе название — ты знаешь какое?

— Я этого не знал! Может быть, я был неосторожен. Мне и в голову не приходило, что это уже носит название... Я думал, что я первый изобрел такую шутку.

— Да, она имеет название. В законах она называется Non compos mentis lex talionis sic transit gloria mundi[1].

— Ах, господи!

— И наказание — смертная казнь!

— Господи, помилуй меня, грешного!

— Воспользовавшись преимуществом своего положения, злоупотребив беспомощностью зависящего от тебя лица, ты захватил за бесценок чужую собственность стоимостью свыше тринадцати пенсов с половиной; а это в глазах закона есть умышленная недобросовестность, вероломство, превышение власти, ad hominem expurgatis in status quo, и наказание за это — смерть на виселице, без выкупа, пощады и покаяния.

— Поддержи меня, ради бога, мой добрый сэр, ноги не держат меня! Сжалься, избавь меня от погибели, и я стану к вам спиной и ничего не увижу и не услышу.

— Ладно! Наконец-то ты поумнел. А поросенка ты отдашь этой женщине?

— Отдам, непременно отдам! И никогда в жизни больше не дотронусь до поросенка, хотя бы сам архангел мне принес его с небес! Ступай, я ради тебя ослеп на оба глаза, я ничего не вижу. Я скажу, что ты силой вырвал у меня из рук осужденного. Дверь в тюрьме ветхая, плохая, я сам выломаю ее после полуночи.

— Выломай, добрая душа, худого от этого никому не будет. Судья сам жалеет бедного мальчика; он не станет проливать слезы и ломать тюремщику кости из-за того, что мальчик убежал.

---

[1] Здесь и ниже бессмысленный набор латинских слов.

Глава XXV

ГЕНДОН-ХОЛЛ

Едва полицейский скрылся из виду, Гендон попросил его величество поспешить за город и там ждать, пока он сходит в трактир и расплатится по счету. Полчаса спустя два друга уже весело трусили к востоку на жалких одрах Гендона. Королю теперь было тепло и удобно, потому что он сбросил свои лохмотья и оделся в поношенное платье, купленное Гендоном на Лондонском мосту.

Гендон не хотел переутомлять мальчика; он полагал, что дорожная усталость, еда не вовремя и скудный сон будут вредно действовать на его расстроенный ум, тогда как покой и правильная жизнь, несомненно, ускорят выздоровление. Он жаждал увидеть своего маленького друга здоровым, жаждал освободить его мозг от болезненных видений и поэтому решил подвигаться к родному дому, из которого так давно был изгнан, не спеша, маленькими переходами, вместо того чтобы, повинуясь голосу своего нетерпения, скакать туда день и ночь.

Проехав миль десять, наши путники добрались до большой деревни и остановились там на ночь в хорошем трактире. Между ними снова установились прежние отношения: во время обеда Гендон стоял за стулом короля и прислуживал ему, вечером раздевал его и укладывал в постель, а сам ложился на полу у порога, закутавшись в одеяло.

На другой день и еще на следующий они ехали медленно, беседуя о том, что с ними случилось после разлуки, и забавляя друг друга своими рассказами. Гендон описал подробно свои странствования в поисках короля; рассказал, как «архангел» водил его, словно дурака, по всему лесу и в конце концов, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его опять в хижину. Тут старик пошел прямо в спальню и вышел оттуда шатаясь, с сокрушенным видом, говоря, что он рассчитывал застать мальчика уже дома, в постели, но не нашел его. Гендон прождал в хижине целый день, но затем, потеряв всякую надежду на возвращение короля, снова отправился на поиски.

— А старый святоша *действительно* был очень огорчен, что ваше величество не вернулись к нему,— сказал Гендон,— это было видно по его лицу.

— В *этом* я не сомневаюсь,— сказал король и, в свою очередь, рассказал, что было с ним.

Выслушав его, Гендон очень пожалел, что не убил «архангела».

В последний день пути Гендон был очень возбужден. Он болтал без умолку. Он говорил о своем старике отце, о своем брате Артуре, приводил разные примеры их великодушия и благородства, с любовью рассказывал о своей Эдит и был так счастлив, что даже о Гью говорил по-братски, почти с нежностью. Он вслух мечтал о предстоящей встрече с родными, о том, какой неожиданностью будет его приезд в Гендонский замок и какую бурю восторгов и радости он вызовет.

Они ехали по красивой местности, мимо домиков и фруктовых садов; дорога шла через широкие пастбища; отлогие подъемы и спуски напоминали морские волны. После полудня возвращающийся блудный сын все чаще отклонялся от своего пути, взбирался на какой-нибудь бугор и пытался разглядеть вдали крышу родного дома. Наконец он разглядел ее и взволнованно крикнул:

— Вот деревня, государь, а вот и замок с ней рядом! Отсюда видны башни; а вон тот лес — это парк моего отца. Теперь ты увидишь, что такое знатность и роскошь! В доме семьдесят комнат — подумать только! — и двадцать семь слуг. Недурной дом для таких, как мы с тобой, а? Ну, торопись, я не в силах дольше сдерживать свое нетерпение!

Но как они ни торопились, было уже больше трех часов, когда они доехали до деревни. Пока они проезжали через нее, Гендон не умолкал ни на минуту:

— Вот и церковь, обвитая все тем же плющом. Все по-прежнему, ничего не изменилось. А вот гостиница «Старый Красный Лев», вот рыночная площадь, вот майский шест, вот водокачка — ничего не изменилось, кроме людей, конечно: за десять лет люди должны измениться; некоторых я как будто узнаю́, но меня не узнает никто.

Так он болтал не переставая. Скоро они доехали до конца деревни и свернули на узкую извилистую дорогу, обнесенную с двух сторон высокими изгородями, быстро проскакали по ней с полмили, затем через огромные ворота на высоких каменных столбах, украшенных лепными гербами, въехали в обширный парк. Перед ними было величественное здание.

— Приветствую тебя в Гендон-холле, король! — воскликнул Майлс.— О, сегодня великий день! Мой отец, и мой брат, и леди Эдит, наверно, так обезумеют от радости, что на первых порах у них не будет ни глаз, ни ушей ни для кого, кроме меня, так что тебя, возможно, примут холодно. Но ты не обращай внимания — это скоро пройдет. Стоит мне сказать, что ты мой воспитанник, что я всей душой люблю тебя, и, ты увидишь, они обнимут тебя ради Майлса Гендона и навсегда дадут тебе приют и в своем доме и в своем сердце.

Гендон соскочил наземь у подъезда, помог королю сойти, потом взял его за руку и поспешно вошел. Несколько ступенек ввели их в обширный покой. Гендон торопливо и бесцеремонно усадил короля, а сам побежал к молодому человеку, сидевшему за письменным столом у камина, где пылал яркий огонь.

— Обними меня, Гью,— воскликнул он,— и скажи, что ты рад моему возвращению! Позови нашего отца, потому что родной дом для меня не дом, пока я не увижу его, не прикоснусь к его руке, не услышу снова его голоса.

В первую минуту Гью не сумел скрыть своего удивления, но сразу же отпрянул назад и остановил на пришельце долгий, пристальный взор. Этот взор сначала был полон оскорбленного достоинства, затем изменился под влиянием какой-то мысли и выразил недоумение, смешанное с неподдельным или притворным участием. Потом он мягко произнес:

— У тебя, по-видимому, голова не в порядке, бедный незнакомец; ты, без сомнения, много страдал, и люди обходились с тобой неласково, это видно и по лицу твоему и по платью. За кого ты меня принимаешь?

— За кого я тебя принимаю? За того, кто ты есть. Я принимаю тебя за Гью Гендона! — резко сказал Майлс.

Тот продолжал так же мягко:

— А себя ты кем воображаешь?

— Воображение тут ни при чем! Как будто ты не узнаешь во мне своего брата, Майлса Гендона?

Гью, казалось, был радостно удивлен и воскликнул:

— Как, ты не шутишь? Разве мертвые оживают? Дай бог, чтобы это было так! Наш бедный пропавший мальчик вернулся в наши объятия после стольких лет жестокой разлуки! Ах, это слишком хорошо и поэтому не может быть правдой! Умоляю тебя, не шути со мною! Скорее идем к свету — дай мне рассмотреть тебя хорошенько.

Он схватил Майлса за руку, потащил его к окну и принялся его осматривать с ног до головы, пожирая глазами, поворачивая во все стороны и сам обходя вокруг, чтобы разглядеть его со всех сторон, а возвратившийся блудный сын, сияя радостью, улыбался, смеялся и кивал головой, приговаривая:

— Смотри, брат, смотри, не бойся, ты не найдешь ни одной черты, которая не могла бы выдержать испытания. Разглядывай меня, сколько душе будет угодно, милый мой старый Гью! Я в самом деле прежний Майлс, твой Майлс, которого вы считали погибшим. Ах, сегодня великий день! Дай мне твою руку, дай поцеловать тебя в щеку. Я, кажется, умру от радости.

Он собирался обнять брата, но Гью отстранил его рукой, уныло опустив голову на грудь, и с волнением сказал:

— Боже милосердный, дай мне сил перенести это тяжкое разочарование!

Майлс от удивления в первую минуту не мог произнести ни слова; затем воскликнул:

— *Какое* разочарование? Разве я не брат твой?

Гью печально покачал головой и сказал:

— Молю небо, чтобы это было так и чтобы другие глаза нашли сходство, которого не нахожу я! Увы! Боюсь, что письмо говорило жестокую правду.

— Какое письмо?

— Полученное из заморских краев лет шесть или семь тому назад. В нем было сказано, что брат мой погиб в сражении.

— Это ложь! Позови отца, он узна́ет меня.

— Нельзя позвать того, кто умер.

— Умер? — Голос Майлса зазвучал глухо, и губы его задрожали.— Мой отец умер! О, горькая весть! Радость моя отравлена. Пожалуйста, проводи меня к моему брату Артуру — он узнает меня, узнает и утешит.

— Он тоже умер.

— Боже, будь милостив ко мне, несчастному! Умерли, оба умерли! Достойные умерли, а я, недостойный, остался жить! Ах, пощади меня, не говори, что и леди Эдит...

— Умерла? Нет, она жива.

— Ну, слава богу! Теперь я снова счастлив! Поспеши же, брат, позови ее сюда ко мне! Если и *она* скажет, что я не я... Но она этого не скажет — нет, нет, *она* узнает меня! Я глупец, что сомневаюсь в этом. Позови ее, позови и старых слуг — они тоже узнают меня.

— Все они умерли, кроме пятерых: Питера, Гэлси, Дэвида, Бернарда и Маргарэт.

С этими словами Гью вышел из комнаты.

Майлс подумал немного, потом начал ходить из угла в угол, бормоча про себя: «Странное дело: пятеро мерзавцев живы, а двадцать два честных человека умерли!»

Он все ходил взад и вперед и бормотал про себя; он совершенно забыл о короле. Наконец его величество с неподдельным участием произнес слова, которые можно было, впрочем, принять за насмешку:

— Не огорчайся своей неудачей, бедный человек: есть и другие в этом мире, чья личность и чьи права остаются непризнанными. У тебя есть товарищ по несчастью.

— Ах, государь,— воскликнул Гендон, слегка покраснев,— не осуждай меня хоть ты! Подожди — и ты увидишь. Я не обманщик — она сама это скажет, ты услышишь это из прелестнейших уст. Я обманщик? Да ведь я знаю этот старый зал, эти

портреты моих предков, как дитя знает свою детскую. Здесь я родился и вырос, государь, я говорю правду, я не стал бы обманывать тебя; и, если никто другой мне не поверит, умоляю тебя, не сомневайся во мне хоть ты: я этого не вынесу.

— Я не сомневаюсь в тебе,— сказал король с детской простотой и доверчивостью.

— Благодарю тебя от всей души! — с жаром воскликнул Гендон. Он был искренне растроган.

А король прибавил так же просто:

— Ведь ты не сомневаешься *во мне?*

Гендону стало стыдно, и он обрадовался, когда вошел Гью и избавил его от необходимости ответить.

Вслед за Гью вошла красивая дама, богато одетая, а за нею несколько слуг в ливреях. Дама шла медленно, опустив голову и глядя в пол. Лицо ее было невыразимо грустно. Майлс Гендон бросился к ней, восклицая:

— О моя Эдит, дорогая моя!..

Но Гью спокойно отстранил его и сказал даме:

— Посмотрите на него. Вы его знаете?

При звуке голоса Майлса красавица слегка вздрогнула, щеки ее порозовели; теперь она дрожала всем телом. Долго стояла она неподвижно и тихо, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Гендону испуганным, словно окаменевшим взглядом; капля за каплей вся кровь отлила от ее лица, и оно покрылось смертельной бледностью. Голосом, таким же мертвенным, как ее лицо, она проговорила:

— Я не знаю его.

Затем она повернулась, подавив стон, и нетвердой поступью вышла из комнаты.

Майлс Гендон упал в кресло и закрыл лицо руками. Помолчав, брат его сказал слугам:

— Вот этот человек. Он вам известен?

Они покачали головами. Тогда их господин сказал:

— Слуги не узнаю́т вас, сэр. Боюсь, что это какое-то недоразумение. Вы видели, моя жена тоже не узнала вас.

— Твоя *жена!* — В один миг Гью оказался прижатым к стене, и железная рука схватила его за горло.— Ах ты, раб с лисьим сердцем! Теперь я все понимаю! Ты сам написал это лживое письмо, чтобы украсть у меня отцовское наследие и невесту. Получай! Теперь убирайся, пока я не замарал своей честной солдатской руки убийством такой жалкой твари.

Гью, весь багровый, задыхаясь, едва дошел до ближайшего кресла и повалился в него, приказав слугам связать разбойника. Слуги медлили. Один из них сказал:

— Он вооружен, сэр Гью, а мы безоружны.

— Вооружен? Так что же! Он один, а вас много. Говорят вам, вяжите его!

Но Майлс посоветовал им быть осторожнее:

— Вы меня знаете: я какой был, такой и остался. Попробуйте только ко мне подойти!

Эти слова не прибавили храбрости слугам. Они попятились.

— Убирайтесь, трусы! Вооружитесь и охраняйте все выходы, покуда я пошлю кого-нибудь за стражей,— сказал Гью.

На пороге он обернулся к Майлсу и добавил:

— А вам советую не ухудшать своего положения бесполезными попытками к бегству.

— Бегство? Пусть это тебя не беспокоит. Майлс Гендон — хозяин в Гендонском замке и во всех его угодьях. Он здесь останется, не сомневайся!

Глава XXVI

НЕ ПРИЗНАН

Король посидел немного, подумал, потом посмотрел на Майлса и сказал:

— Странно, чрезвычайно странно! Не понимаю, что это значит.

— Нисколько не странно, государь! Я его знаю, от него другого и ждать нельзя — он был негодяем со дня рождения.

— О, я говорю не о нем, сэр Майлс!

— Не о нем? Так о чем же? Что тебе кажется странным?

— Что короля до сих пор не хватились...

— Как? Что такое? Я тебя не понимаю.

— Не понимаешь? Разве не кажется тебе удивительным, что

по всей стране не рыщут гонцы, разыскивая меня, и не видно нигде объявлений с описанием моей особы? Разве можно не волноваться и не скорбеть, зная, что глава государства пропал бесследно, что я скрылся и исчез?

— Совершенно верно, мой король. Я позабыл об этом.

Гендон вздохнул и пробормотал про себя:

— Бедный помешанный! Он все еще поглощен своей трогательной мечтой.

— Но у меня есть план, который поможет нам обоим восстановить свои права. Я напишу бумагу на трех языках: по-латыни, по-гречески и по-английски; а ты завтра утром скачи с ней в Лондон! Не отдавай никому, кроме моего дяди, лорда Гертфорда; когда он увидит ее, он сразу узнает, что это писал я. Он пришлет за мною.

— Не лучше ли нам будет, мой принц, подождать здесь, пока я докажу свои права и вступлю во владение своими поместьями? Мне тогда будет гораздо удобнее...

Король властно перебил его:

— Молчи! Что такое твои ничтожные поместья и твои жалкие интересы, когда дело идет о благе нации и неприкосновенности престола! — И прибавил уже мягче, как бы сожалея о своей суровости: — Повинуйся мне без боязни! Я восстановлю тебя в твоих правах. Я возвращу тебе все, что у тебя было, и даже увеличу твои владения. Я припомню твои услуги и награжу тебя.— С этими словами он взял перо и принялся за работу.

Гендон с любовью смотрел на него, говоря себе:

«Будь здесь темно, я мог бы подумать, что со мною действительно говорит король; когда он разгневан, он мечет громы и молнии, словно настоящий король. Где он этому научился? Вон он там царапает бессмысленные каракули, воображая, что это латинские и греческие слова! Если только мне не удастся придумать какую-нибудь хитрость, чтобы отвлечь его, мне придется завтра притвориться, будто я отправляюсь в путь исполнять его нелепое поручение».

Через минуту мысли сэра Майлса уже вернулись к недавним событиям. Он был так поглощен своими думами, что, когда король подал ему исписанную бумагу, он взял ее и машинально положил в карман.

— Как она удивительно странно вела себя! — бормотал он.— Она как будто узнала меня, а как будто и не узнала. Я понимаю, одно противоречит другому; я не могу примирить этих мыслей и в то же время не могу отогнать ни ту, ни другую и не могу дать одной из них перевес над другой. Казалось бы, все так просто: она *должна* была узнать мое лицо, мой голос,—

могло ли быть иначе? А между тем она *сказала*, что не узнаёт меня,— значит, она в самом деле меня не узнала, потому что она не умеет лгать. Постой, я, кажется, начинаю понимать! Может быть, он уговорил ее, заставил солгать, принудил силой? Да, загадка разгадана. У нее был такой вид, словно она чуть не умерла от страха... Ну конечно, она действовала по его принуждению! Я ее отыщу, я найду ее: теперь, когда его нет, она ничего не утаит от меня. Она припомнит былые времена, когда мы вместе играли детьми; это смягчит ее сердце, и она не станет больше лукавить, она признает меня. В ней нет вероломства, она всегда была честна и правдива. В те дни она любила меня. Это служит мне порукой: кого любят, того не обманывают.

Он поспешно направился к двери, но в то же мгновение дверь отворилась и вошла леди Эдит. Она была полна изящества и кроткого достоинства, а лицо по-прежнему было печально.

Майлс кинулся к ней, полный доверия, но она остановила его едва заметным жестом. Она села и попросила его тоже сесть. Этим она заставила его забыть, что они старые друзья, заставила его почувствовать себя чужим, гостем. Это было для него неожиданностью, и он от удивления так растерялся, что сам готов был усомниться, точно ли он тот, за кого выдает себя.

Леди Эдит сказала:

— Сэр, я пришла предостеречь вас. Помешанных, кажется, нельзя убедить в том, что они ошибаются, но их можно уговорить, чтобы они избежали опасности. Я полагаю, вы верите в правдивость своих мечтаний, а значит, вы не преступник. Но не говорите о своих заблуждениях здесь, так как это опасно.

Она пристально посмотрела Майлсу в глаза, потом прибавила, подчеркивая слова:

— Это тем более опасно, что вы *очень похожи* на нашего бедного мальчика, которого уже нет в живых.

— Господи, сударыня, но ведь он и *есть* я!

— Я искренне верю, что вы это думаете, сэр. Я не сомневаюсь в вашей честности, я только предостерегаю вас. Мой муж— полный хозяин во всей здешней местности. Его власть почти безгранична, он может обогатить кого угодно и кого угодно разорить. Если бы вы не были похожи на человека, за которого выдаете себя, он, может быть, позволил бы вам спокойно тешиться вашей мечтой; но, верьте мне, я хорошо его знаю, я знаю, что он сделает: он скажет всем, что вы сумасшедший самозванец, и все будут вторить ему.

Она снова устремила на Майлса пристальный взгляд и прибавила:

— Если бы вы на самом деле были Майлсом Гендоном, и

мой муж знал бы это, и знала бы вся округа — обдумайте мои слова и взвесьте их! — вы подверглись бы той же опасности и точно так же не ушли бы от наказания; он отрекся бы от вас и донес бы на вас, и здесь не нашлось бы ни одного человека, у которого хватило бы смелости оказать вам поддержку.

— Этому я вполне верю,— с горечью сказал Майлс.— Если он имеет власть приказать человеку, который всю жизнь был моим другом, изменить мне и отречься от меня и друг этот его слушается, то тем более ему будут повиноваться те, кто не связан со мной узами преданности и дружбы, кто боится потерять кусок хлеба.

Щеки леди Эдит слегка порозовели, она потупила глаза, но голос ее по-прежнему звучал твердо:

— Я вас предупредила и предупреждаю еще раз: уезжайте отсюда! Иначе этот человек вас погубит. Это тиран, не знающий жалости. Я его раба, я это знаю. Бедный Майлс, и Артур, и мой милый опекун сэр Ричард освободились от него и спокойны. Лучше бы вам быть с ними, чем остаться здесь, в когтях этого злодея. Ваши притязания — посягательство на его титул и богатство: вы напали на него в его собственном доме, и вы погибли, если останетесь тут. Уходите! Не медлите! Если вам нужны деньги, прошу вас, возьмите этот кошелек и подкупите слуг, чтобы они пропустили вас. Послушайте меня, несчастный, и бегите, пока есть время.

Майлс отстранил рукой протянутый ему кошелек и встал.

— Исполните одну мою просьбу,— сказал он.— Посмотрите мне прямо в глаза — я хочу видеть, вынесете ли вы мой взгляд... Так. Теперь отвечайте мне: кто я? Майлс Гендон?

— Нет. Я вас не знаю.

— Поклянитесь!

Ответ прозвучал тихо, но отчетливо:

— Клянусь!

— Невероятно!

— Бегите! Зачем вы теряете драгоценное время? Бегите, спасайтесь!

В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась отчаянная борьба; но Гендона скоро одолели и потащили прочь. Король тоже был схвачен; обоих связали и повели в тюрьму.

Глава XXVII

В ТЮРЬМЕ

Все камеры были переполнены, и двух друзей приковали на цепь в большой комнате, где помещались обычно мелкие преступники. Они были не одиноки: здесь же находилось еще около двадцати скованных узников — молодых и старых, мужчин и женщин,— буйная и неприглядная орава. Король горько жаловался на оскорбление его королевского достоинства, но Гендон был угрюм и молчалив: он был слишком потрясен. Он, блудный сын, вернулся домой, воображая, что все с ума сойдут от счастья, увидев его; и вдруг вместо радости — тюрьма. Случившееся было так не похоже на его ожидания, что он растерялся; он не знал даже, как смотреть на свое положение: считать ли его трагическим или просто забавным. Он чувствовал себя, как человек, который вышел полюбоваться радугой и вместо того был сражен молнией.

Но мало-помалу его спутанные мысли пришли в порядок, и тогда он стал размышлять об Эдит. Он обдумывал ее поведение, рассматривал его со всех сторон, но не мог придумать удовлетворительного объяснения. Узнала она его или не узнала? Этот трудный вопрос долго занимал его ум; в конце концов он пришел к убеждению, что она его узнала и отреклась от него из корыстных побуждений. Теперь он готов был осыпать ее проклятиями; но ее имя было так долго для него священным, что он не мог заставить себя оскорбить ее.

Закутавшись в тюремные одеяла, изорванные и грязные, Гендон и король провели тревожную ночь. За взятку тюремщик добыл водки для некоторых арестантов, и, конечно, это кончилось дракой, бранью, непристойными песнями. После полуночи один из арестантов напал на женщину, стал бить ее по голове кандалами, и только подоспевший тюремщик спас ее от смерти: он водворил мир, ударив по голове нападавшего. Тогда драка прекратилась, и те, кто не обращал внимания на стоны и жалобы обоих раненых, могли уснуть.

В течение следующей недели дни и ночи проходили с томительным однообразием: днем появлялись люди (их лица были более или менее знакомы Гендону), чтобы взглянуть на «самозванца», отречься от него и надругаться над ним, а по ночам повторялись попойки и драки. Однако под конец кое-что изменилось. Однажды тюремщик ввел в камеру какого-то старика и сказал ему:

— Преступник в этой комнате. Осмотри всех своими старыми глазами. Быть может, ты узнаешь его.

Гендон и король провели тревожную ночь в тюрьме.

Гендон поднял глаза и в первый раз за все время пребывания в тюрьме обрадовался.

Он сказал себе:

«Это Блек Эндрюс. Он всю жизнь служил семье моего отца; он добрый, честный человек, сердце у него хорошее. Но теперь честных людей совсем не осталось, все стали лжецами. Этот человек узнает меня и отречется от меня, как остальные!»

Старик обвел взглядом комнату, посмотрел в лицо каждого узника и наконец проговорил:

— Я не вижу здесь никого, кроме низких негодяев, уличного сброда. Который он?

Тюремщик засмеялся.

— Вот! — сказал он.— Вглядись хорошенько в этого большого зверя и скажи мне, что ты о нем думаешь.

Старик подошел, долго и пристально смотрел на Гендона, потом покачал головой и сказал:

— Нет, это не Гендон и никогда Гендоном не был!

— Правильно! Твои старые глаза еще хорошо видят. Будь я на месте сэра Гью, я взял бы этого паршивого пса и...— Тюремщик встал на носки, как бы затягивая воображаемую петлю, и захрипел, словно задыхаясь.

Старик злобно проговорил:

— Пусть благодарит бога, если с ним не обойдутся еще хуже. Попадись мне в руки этот негодяй, я бы изжарил его живьем!

Тюремщик захохотал злорадным смехом гиены и сказал:

— Поболтай-ка с ним, старик! Все с ним болтают. Это тебя позабавит.

С этими словами он повернулся и ушел.

Старик упал на колени и зашептал:

— Слава богу, ты вернулся наконец, мой добрый господин! Я думал, что ты уже семь лет тому назад умер, а ты жив! Я узнал тебя с первого взгляда. Трудно мне было притворяться и лгать, будто я не вижу тут никого, кроме мелких воров и мошенников. Я стар и беден, сэр Майлс, но скажи одно слово — и я пойду и провозглашу правду, хотя бы меня удавили за это.

— Нет,— сказал Гендон,— не надо. Ты только погубишь себя, а мне не поможешь. Но все-таки благодарю тебя: ты хоть отчасти возвратил мне мою утраченную веру в род человеческий.

Старый слуга был очень полезен королю и Гендону: он заходил по нескольку раз в день, будто бы поглумиться над обманщиком, и всегда приносил что-нибудь вкусное, чтобы хоть

немного скрасить убогую тюремную еду; кроме того, он сообщал текущие новости. Лакомства Гендон приберегал для короля: без них его величество, пожалуй, не выжил бы, потому что был не в состоянии есть грубую, отвратительную пищу, приносимую тюремщиком. Чтобы не вызвать подозрений, Эндрюс принужден был приходить на короткое время, но каждый раз он ухитрялся сообщить что-нибудь новое — шепотом, чтобы его слышал только Гендон; вслух же он лишь ругался.

Так мало-помалу Майлс узнал историю своей семьи. Артур умер шесть лет тому назад. Эта утрата и отсутствие вестей о Майлсе сильно подорвали здоровье его отца. Ожидая скорой смерти, старик хотел непременно женить Гью на Эдит; но та все оттягивала свадьбу, надеясь на возвращение Майлса. Тут-то и пришло известие о том, что Майлс умер; этот удар уложил в постель сэра Ричарда; старик решил, что конец его близок, и стал торопить со свадьбой. Гью, конечно, поддерживал его. Эдит выпросила еще месяц отсрочки, потом другой и, наконец, третий. Их обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался не из счастливых. Ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и обвинила его в гнусном подлоге, который ускорил их брак и смерть сэра Ричарда. Рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами переходили из уст в уста. После смерти отца сэр Гью сбросил маску и стал безжалостным деспотом для всех, кто жил в его владениях и сколько-нибудь зависел от него.

Один из рассказов Эндрюса живо заинтересовал короля.

— Ходит слух, что король помешан. Но только, ради бога, не говорите, что слышали это от меня, потому что об этом запрещено говорить под страхом смертной казни.

Его величество грозно взглянул на старика и сказал:

— Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе заниматься своими делами, чем передавать мятежные слухи.

— Что он говорит, этот мальчик? — спросил Эндрюс, пораженный таким резким и неожиданным нападением.

Гендон сделал ему знак, и старик не стал больше расспрашивать, а продолжал свой рассказ:

— Покойного короля будут хоронить в Виндзоре через два дня, шестнадцатого, а двадцатого новый будет короноваться в Вестминстере.

— Мне кажется, надо сначала найти его,— пробормотал король; потом убежденно прибавил: — Ну, об этом они позаботятся, и я тоже.

— Объясни мне...— начал старик и запнулся, увидев знаки,

которые делал ему Гендон. Он снова принялся болтать: — Сэр Гью тоже едет на коронацию и многого ждет от нее. Он надеется вернуться домой пэром, потому что он в большой милости у лорда-протектора.

— Какого лорда-протектора? — спросил король.

— Его милости герцога Сомерсетского.

— Какого герцога Сомерсетского?

— Как — какого? У нас только один — Сеймур, граф Гертфорд.

Король сердито спросил:

— С каких это пор он герцог и лорд-протектор?

— С последнего дня января.

— Скажи, пожалуйста, кто его возвел в это звание?

— Он сам и верховный совет с помощью короля.

Его величество вздрогнул как ужаленный.

— Короля?..— вскрикнул он.— Какого короля, добрый человек?

— Какого короля? (Господи помилуй, что это такое с мальчиком?) На этот вопрос ответить нетрудно: ведь король-то у нас только один — его величество, августейший монарх, король Эдуард Шестой, храни его бог! Да! Молоденький у нас король, совсем мальчик, а какой добрый и ласковый! Не знаю, сумасшедший он или нет — говорят, он поправляется с каждым днем,— но все в один голос хвалят его, все благословляют его и молят бога продлить дни его царствования, потому что он начал с доброго дела — помиловал герцога Норфолька, а теперь хочет отменить наиболее жестокие из законов, под игом которых страдает народ.

Услышав эти вести, король онемел от изумления и так углубился в свои мрачные думы, что не слышал больше, о чем рассказывал старик. Он спрашивал себя: неужели этот король — тот самый маленький нищий, которого он оставил тогда во дворце переодетым в свое платье? Это казалось ему невозможным: ведь если бы тот мальчик вздумал разыграть из себя принца Уэлского, речь и манеры тотчас выдали бы его, он был бы изгнан из дворца и все стали бы разыскивать настоящего принца. Неужели на его место посадили какого-нибудь отпрыска знатного рода? Нет, его дядя не допустил бы этого: он всемогущ и мог бы расстроить — и наверное расстроил бы — такой заговор. Размышления короля не привели ни к чему; чем усерднее старался он разгадать эту тайну, тем больше она его смущала; чем упорнее он ломал себе голову над ней, тем сильнее болела у него голова и тем хуже он спал. Его нетерпеливое желание попасть в Лондон росло с каждым часом, и заключение становилось почти нестерпимым.

Гендон, как ни старался, не мог утешить короля; это лучше удалось двум женщинам, прикованным невдалеке от него. Их кроткие увещания возвратили мир его душе и научили его терпению. Он был им очень благодарен, искренне полюбил их и радовался тому, что они так ласковы с ним. Он спросил, за что их посадили в тюрьму, и женщины ответили: за то, что они баптистки. Король улыбнулся и спросил:

— Разве это такое преступление, за которое сажают в тюрьму? Вы огорчили меня: я, значит, скоро с вами расстанусь, так как вас не будут долго держать из-за таких пустяков.

Женщины ничего не ответили, но лица их встревожили его. Он торопливо сказал:

— Вы не отвечаете? Будьте добры, скажите мне: вам не грозит тяжелое наказание? Пожалуйста, скажите мне, что вам ничего не грозит!

Женщины пытались переменить разговор, но король уже не мог успокоиться и продолжал спрашивать:

— Неужели вас будут бить плетьми?.. Нет, нет! Они не могут быть так жестоки. Скажите, что вас не тронут! Ведь не тронут! Не тронут, правда?

Женщины, смущенные, измученные горем, не могли, однако, уклониться от ответа, и одна из них сказала голосом, прерывающимся от волнения:

— О добрая душа, твое участие раздирает нам сердце! Помоги нам, боже, перенести наше...

— Это признание!..— перебил ее король.— Значит, эти жестокосердные злодеи будут тебя бить плетьми! О, не плачь! Я не могу видеть твоих слез. Не теряй мужества: я вовремя верну себе свои права, чтобы избавить тебя от этого унижения, вот увидишь!

Когда король проснулся утром, женщин уже не было.

— Они спасены! — радостно воскликнул он и с грустью прибавил: — Но горе мне, они так утешали меня!

Каждая из женщин, уходя, приколола к его платью на память обрывок ленты. Король сказал, что навсегда сохранит этот подарок и скоро разыщет своих приятельниц, чтобы взять их под свою защиту.

Как раз в эту минуту вошел тюремщик со своими помощниками и велел всех заключенных вывести в тюремный двор. Король был в восторге: такое счастье увидеть голубое небо и подышать свежим воздухом! Он волновался и сердился на медлительность сторожей, но наконец пришел и его черед. Его отвязали от железного кольца у стены и велели ему вместе с Гендоном следовать за другими.

Квадратный двор был вымощен каменными плитами. Узники прошли под большой каменной аркой и выстроились в шеренгу спиною к стене. Перед ними была протянута веревка; по бокам стояла стража.

Утро было холодное, пасмурное; ночью выпал снежок; огромный двор был весь белый и от этой белизны казался еще более унылым. Временами зимний ветер врывался во двор и взметал струйки снега.

Посередине двора стояли две женщины, прикованные к столбам. Король с первого взгляда узнал в них своих приятельниц. Он содрогнулся и сказал себе:

«Увы, я ошибся, их не выпустили на свободу. Подумать только, что такие хорошие, добрые женщины должны отведать кнута! В Англии! Не в языческой стране, а в христианской Англии! Их будут бить плетью, а я, кого они утешали и с кем были так ласковы, должен смотреть на эту великую несправедливость. Это странно, так странно! Я, источник власти в этом обширном государстве, бессилен помочь им. Но берегитесь, злодеи! Настанет день, когда я за все потребую ответа. За каждый удар, который вы нанесете сейчас, вы получите по сто ударов».

Широкие ворота распахнулись, и ворвалась толпа горожан. Они окружили женщин и заслонили их от короля. Во двор вошел священник, протолкался сквозь толпу и тоже скрылся из виду. Король услышал какие-то вопросы и ответы, но ни слова не мог разобрать. Затем начались приготовления. Стража забегала, засуетилась, то исчезая в толпе, то вновь появляясь; толпа мало-помалу смолкла, и водворилась глубокая тишина.

Вдруг, по команде, толпа расступилась, и король увидел зрелище, от которого кровь застыла в его жилах. Вокруг женщин были наложены кучи хвороста и поленьев, и какой-то человек, стоя на коленях, разжигал костер.

Женщины стояли, опустив голову на грудь и закрыв лицо руками; сучья уже потрескивали, желтые огоньки уже ползли кверху, и клубы голубого дыма стлались по ветру. Священник поднял руки к небу и начал читать молитву. Как раз в эту минуту в ворота вбежали две молоденькие девушки и с пронзительными воплями бросились к женщинам на костре. Стража сразу схватила их. Одну держали крепко, но другая вырвалась; она кричала, что хочет умереть вместе с матерью; и прежде чем ее успели остановить, она уже снова обхватила руками шею матери. Ее опять оттащили, платье на ней горело. Двое или трое держали ее; пылающий край платья оторвали и бросили в сторону; а девушка все билась, и вырывалась, и кричала, что теперь

она останется одна на целом свете, и умоляла позволить ей умереть вместе с матерью. Обе девушки не переставали громко рыдать и рваться из рук стражников; но вдруг раздирающий душу крик смертной муки заглушил все их вопли.

Король отвел глаза от рыдающих девушек, посмотрел на костер, потом отвернулся, прижал побелевшее лицо к стене и уже не смотрел больше. Он говорил себе: «То, что я видел здесь, никогда не изгладится из моей памяти; я буду помнить это все дни моей жизни, а по ночам я буду видеть это во сне до самой смерти. Лучше бы я был слепым».

Гендон наблюдал за королем и с удовлетворением говорил себе:

«Он заметно поправляется: он изменился, стал мягче. Прежде он, наверно, обрушился бы на тюремщиков, стал бы бушевать, кричать, что он король, требовать, чтобы женщин освободили. Он скоро забудет свой бред, и его бедная голова станет опять здорова. Дай бог, чтобы скорее!»

В тот же день в тюрьму привезли на ночь несколько арестантов, которым предстояло на следующее утро отправиться в разные города, чтобы понести кару за свои преступления. Король долго беседовал с ними — он с самого начала решил расспрашивать узников, чтобы подготовить себя к своему будущему царствованию. Повесть их страданий терзала его сердце. В числе заключенных была бедная полоумная женщина, укравшая около двух ярдов сукна у ткача; ее за это приговорили к виселице. Другой арестант прежде обвинялся в том, что он украл лошадь; против него не было никаких улик, и он уже избавился было от петли; но не успели его выпустить, как опять арестовали за то, что он убил оленя в королевском парке; на этот раз вина его была доказана, и его ждала веревка. Больше всего расстроил и огорчил короля рассказ одного подмастерья; этот юноша сообщил, что он однажды вечером нашел сокола, улетевшего от своего хозяина, и принес его домой, полагая, что имеет на это право. Но суд обвинил его в краже и приговорил к смертной казни.

Взбешенный такой бесчеловечностью, король умолял Гендона бежать с ним из тюрьмы прямо в Вестминстер, чтобы он мог скорее вернуть себе престол; взойдя на трон, он тотчас же поднимет свой скипетр в защиту этих несчастных и спасет им жизнь.

«Бедный ребенок! — вздыхал Гендон.— Эти горестные рассказы опять свели его с ума. А я-то надеялся, что он скоро поправится».

Среди арестантов был старый законник, человек с суровым лицом и непреклонной волей. Три года тому назад он написал

памфлет против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости; за это его приковали к позорному столбу, отрубили ему уши, исключили из адвокатского сословия, взыскали с него штраф в три тысячи фунтов стерлингов и приговорили к тюремному заключению. Недавно он повторил свой поступок, и теперь ему должны были отрубить остаток ушей, взыскать с него пять тысяч фунтов стерлингов, выжечь ему клейма на обеих щеках и до конца жизни держать в тюрьме.

— Это почетные рубцы,— говорил он, откидывая назад седые волосы и показывая обрубки ушей.

У короля глаза горели гневом. Он сказал:

— Никто не верит мне, и ты не поверишь. Но все равно, через месяц ты будешь свободен, и самые законы, обесчестившие тебя и позорящие Англию, будут вычеркнуты из государственных актов. Свет плохо устроен: королям следовало бы время от времени на себе испытывать свои законы и учиться милосердию.

Глава XXVIII

ЖЕРТВА

Тем временем Майлс порядком устал от тюрьмы и бездействия. Когда наконец наступил день суда, он был очень доволен и говорил себе, что обрадуется всякому приговору, лишь бы только его не осудили на дальнейшее заключение в тюрьме. Но он жестоко ошибся. Он пришел в бешенство, когда его признали «буйным бродягой» и приговорили к унизительному наказанию: он должен был в течение двух часов сидеть в колоде у позорного столба за оскорбление владельца Гендонского замка. Когда он заявил на суде, что он родной брат оскорбленного и законный наследник всех титулов и земель покойного сэра Ричарда, к его словам отнеслись так презрительно, что даже не сочли их достойными рассмотрения.

На пути к позорному столбу он бушевал и грозил, но это не помогало; полицейские грубо волокли его, да еще по временам награждали тумаками за строптивость.

Король не мог пробраться сквозь толпу. Он шел позади, далеко от своего друга и слуги. Самого короля тоже чуть было не приговорили к позорному столбу за дружбу с такой подозрительной личностью, но ввиду его молодости сделали ему надлежащее внушение и отпустили. Когда толпа наконец остановилась, он заметался, стараясь пробраться вперед, и после долгих трудов это ему удалось. У позорного столба, осыпаемый насмешками грубой черни, сидел несчастный рыцарь — личный тело-

хранитель короля Англии! Эдуард на суде слышал приговор, но не вполне понял его значение. Гнев мальчика рос по мере того, как он начинал понимать всю глубину этого нового оскорбления, нанесенного его королевскому сану; он пришел в бешенство, когда увидел, как яйцо, пронесясь в воздухе, разбилось о щеку Гендона, и услышал гогот толпы. Не помня себя от гнева, он подскочил к столбу и набросился на начальника.

— Стыдись! — крикнул он.— Это мой слуга. Выпусти его сейчас же! Я...

— Замолчи! — в ужасе воскликнул Гендон.— Ты погубишь себя!.. Не обращай на него внимания, начальник, он сумасшедший!

— Успокойся, добрый человек, я и не думаю обращать на него внимания; но я не прочь проучить его немного.

Полицейский обернулся к своему подчиненному и сказал:

— Хлестни этого дурачка раза два плетью, научи его вежливости.

— Всыпь ему полдюжины,— посоветовал сэр Гью, подъехавший в эту минуту посмотреть на расправу.

Короля схватили. Он даже не противился — так он был ошеломлен мыслью о чудовищном оскорблении, угрожавшем его священной особе. На страницах истории уже записан рассказ о наказании кнутом одного из английских королей,— Эдуарду нестерпимо было думать, что он повторит эту позорную страницу. Но делать было нечего, и помощи ждать было неоткуда: приходилось или снести наказание, или молить об отмене его. Выбор трудный: перенести удары король сможет, но унизиться до мольбы он не в силах.

Однако Майлс Гендон выручил его.

— Отпустите ребенка! — взмолился он.— Бессердечные псы, разве вы не видите, какой он маленький и хрупкий? Отпустите его, я беру его плети на себя.

— Прекрасная мысль! — воскликнул сэр Гью, и его лицо искривилось довольной усмешкой.— Отпустите попрошайку и всыпьте дюжину этому молодцу, да смотрите — полную дюжину!

Король хотел было спорить, но сэр Гью сразу усмирил его.

— Говори, говори, не стесняйся! — сказал он.— Но помни, что за каждое твое слово ему прибавят еще шесть ударов.

Гендона вынули из колоды и обнажили ему спину; когда плеть заходила по ней, бедный маленький король отвернулся и уже не удерживал слез, катившихся по его лицу.

«Доброе, смелое сердце! — говорил он себе.— Это доказательство преданности никогда не изгладится из моей памяти.

У позорного столба сидел несчастный рыцарь Гендон, закованный в колоду.

Я не забуду... Им тоже придется вспомнить!» — прибавил он гневно.

Великодушие Гендона все росло в его глазах, а вместе с тем росла и его благодарность к нему. Он сказал себе: «Кто спасает своего государя от ран и смерти, оказывает ему великую услугу. Он спас меня от смерти. Но это ничто, ничто в сравнении с этим подвигом! Он спас своего государя от *позора!*»

Гендон переносил удары без крика, без стона — стойко, как солдат. Эта стойкость, а также то, что он взял на себя плети, предназначенные мальчику, невольно вызвали уважение даже у грубой и низкой черни, собравшейся поглазеть на любопытное зрелище; насмешки смолкли, и ничего не было слышно, кроме ударов бича. Когда Гендона снова посадили в колоду, на площади, которую еще недавно наполнял оскорбительный шум, царило безмолвие. Король тихонько подошел к Гендону и сказал ему на ухо:

— Не во власти королей отблагодарить тебя, добрая великая душа, так как тот, кто выше королей, уже создал тебя благородным; но король может возвеличить тебя перед людьми.

Он поднял плеть, валявшуюся на земле, слегка коснулся ею окровавленных плеч Гендона и шепнул:

— Эдуард, король Англии, жалует тебя титулом графа.

Гендон был тронут, слезы потекли по его щекам, но в то же время он так живо чувствовал мрачный юмор своего положения, что едва мог удержаться от улыбки. Вознестись сразу, раздетым и окровавленным, от позорного столба на недосягаемую высоту графского достоинства — что может быть смешнее!

«Как мне везет! — говорил он себе.— Призрачный рыцарь царства Снов и Теней превратился теперь в призрачного графа — головокружительный взлет, особенно для бесперых крыльев! Если так будет продолжаться дальше, меня скоро разукрасят, как майский шест, мишурными украшениями и призрачными почестями; но хоть они сами по себе и не имеют цены, я буду ценить в них любовь того, кто дарит меня ими. Лучше эти бедные, смешные почести, которыми меня осыпают нежданно и непрошено чистою рукою и от чистого сердца, чем настоящие, покупаемые унижением у завистливых и корыстных властей».

Грозный сэр Гью повернул коня. Живая стена безмолвно расступилась перед ним и так же безмолвно сомкнулась. По-прежнему было тихо, никто не решался ни слова произнести в защиту или в похвалу осужденному; но уже то, что не было слышно ни одной насмешки, само по себе служило данью уваже-

ния его мужеству. Запоздалый зритель, не присутствовавший при том, что происходило раньше, и вздумавший позубоскалить над осужденным и запустить в него дохлой кошкой, был сразу сбит с ног и вышвырнут вон; а затем снова наступила та же глубокая тишина.

Глава XXIX

В ЛОНДОН

Отсидев положенное время у позорного столба, Гендон был освобожден и получил приказ выехать из этого округа и никогда больше не возвращаться в него. Ему вернули его шпагу, а также его мула и ослика. Он сел и поехал в сопровождении короля, толпа со спокойной почтительностью расступилась перед ними и, как только они уехали, разошлась.

Гендон скоро погрузился в свои мысли. Ему нужно было многое обдумать. Что ему делать? Куда направиться? Надо непременно отыскать влиятельного покровителя, иначе придется отказаться от наследства и позорно признать себя самозванцем. Но где же можно рассчитывать найти такого влиятельного покровителя? Вот вопрос! У него мелькнула в голове мысль, которая мало-помалу превратилась в надежду — очень слабую, но все же такую, о которой стоило подумать за неимением другой. Рыцарь вспомнил, что ему говорил старый Эндрюс о доброте юного короля и его великодушном заступничестве за обиженных и несчастных. Не попытаться ли проникнуть к нему и попросить у него справедливости? Да, но разве такого бедняка допустят к августейшей особе монарха? Ну, да все равно, пока нечего тужить; еще будет время об этом подумать. Гендон был старый солдат, находчивый и изобретательный; без сомнения, когда дойдет до дела, он придумает средство. А теперь надо ехать в столицу. Быть может, за него вступится старый друг его отца, сэр Гэмфри Марло, добрый старый сэр Гэмфри — главный заведующий кухней покойного короля, или конюшнями, или чем-то в этом роде,— Майлс не мог с точностью припомнить, чем именно.

Теперь, когда нужно было сосредоточить все свои силы, когда явилась определенная цель, уныние, омрачавшее его дух, рассеялось. Он поднял голову и огляделся вокруг. Он даже удивился, как много они проехали,— деревня осталась далеко позади.

Король трусил за ним на осле, повесив голову; он тоже был углублен в свои мысли и планы. Грустное предчувствие омрачило только что зародившуюся радость Гендона: захочет ли

мальчик вернуться в город, где всю свою недолгую жизнь он не знал ничего, кроме голода, обид и побоев? Надо спросить его — все равно этого не избежать.

Гендон придержал мула и крикнул:

— Я позабыл спросить тебя, куда ехать. Приказывай, государь!

— В Лондон!

Гендон двинулся дальше, очень довольный, но удивленный ответом.

Всю дорогу они ехали без всяких приключений. Но под конец без приключения все-таки не обошлось. Около десяти часов вечера девятнадцатого февраля они въехали на Лондонский мост и очутились в гуще воющей, горланящей, гогочущей толпы; красные, развеселые от пива лица блестели при свете множества факелов. Как раз в ту минуту, когда путешественники въезжали в ворота перед мостом, сверху сорвалась разложившаяся голова какого-то бывшего герцога или другого вельможи и, ударившись о локоть Гендона, отскочила в толпу. Вот как недолговечны дела рук человеческих: прошло всего три недели со дня смерти доброго короля Генриха, не прошло и трех суток со дня его похорон, а благородные украшения, которые он так старательно выбирал для своего великолепного моста между первыми лицами в государстве, уже начали падать... Какой-то горожанин, споткнувшись об упавшую голову, ткнулся своей головой в спину стоявшего впереди. Тот обернулся, свалил с ног кулаком первого подвернувшегося под руку соседа и сам полетел, сваленный с ног товарищем упавшего.

Время для драки было самое подходящее. Завтра начиналась коронация, и все уже были пьяны и восторженны; через пять минут драка заняла немалое пространство; через десять или двенадцать она занимала уже не меньше акра и превратилась в побоище. Гендона оттеснили от короля, и оба они затерялись в шумном водовороте ревущих человеческих скопищ.

Здесь мы оставим их.

Глава XXX

УСПЕХИ ТОМА

Пока настоящий король бродил по стране полуголый, полуголодный, то терпя насмешки и побои от бродяг, то сидя в тюрьме с ворами и убийцами, причем все считали его сумасшедшим и самозванцем,— мнимый король Том Кенти вел совсем иную жизнь.

Когда мы видели его в последний раз, он только что начинал находить привлекательность в королевской власти. Королевское звание все больше нравилось ему, и наконец вся жизнь его стала радостью. Он перестал бояться, его опасения понемногу рассеялись, чувство неловкости прошло, он стал держать себя спокойно и непринужденно. Как руду из шахты, добывал он все нужные сведения от мальчика для порки.

Когда ему хотелось играть или болтать, он вызывал к себе леди Елизавету и леди Джэн Грей, а затем отпускал их с таким видом, как будто для него это дело обычное. Он уже не смущался тем, что принцессы целовали ему руки на прощание.

Теперь ему нравилось, что его с такими церемониями укладывают спать на ночь; ему нравился сложный и торжественный обряд утреннего одевания. Он с гордым удовольствием шествовал к обеденному столу в сопровождении блестящей свиты сановников и телохранителей; этой свитой он так гордился, что даже приказал удвоить ее, и теперь у него было сто телохранителей. Он любил прислушиваться к звукам труб, разносившимся по длинным коридорам, и к далеким голосам, кричавшим: «Дорогу королю!»

Он научился даже находить удовольствие в заседаниях совета в тронном зале и притворяться, будто он не только повторяет слова, которые шепчет ему лорд-протектор. Он любил принимать величавых, окруженных пышной свитой послов из чужих земель и выслушивать любезные приветствия от прославленных монархов, называвших их «братом». О, счастливый Том Кенти со Двора Отбросов!

Он любил свои роскошные наряды и заказывал себе новые. Он нашел, что четырехсот слуг недостаточно для его величия, и утроил их число. Лесть придворных звучала для его слуха сладкой музыкой. Он остался добрым и кротким, стойким защитником угнетенных и вел непрестанную войну с несправедливыми законами; но при случае, почувствовав себя оскорбленным, он умел теперь обернуться к какому-нибудь графу или даже герцогу и подарить его таким взглядом, от которого того кидало в дрожь. Однажды, когда его царственная «сестра», злая святоша леди Мэри, принялась было доказывать ему, что он поступает неразумно, милуя стольких людей, которые иначе были бы брошены в тюрьму, повешены или сожжены, и напомнила ему, что при их августейшем покойном родителе в тюрьмах иногда содержалось одновременно до шестидесяти тысяч заключенных и что за время своего мудрого царствования он отправил на тот свет рукою палача семьдесят две тысячи воров и разбойников,— мальчик, полный благородного негодования, велел ей идти к себе

молиться богу, чтобы он вынул камень из ее груди и вложил в нее человеческое сердце.

Но неужели Тома Кенти никогда не смущало исчезновение бедного маленького законного наследника престола, который обошелся с ним так ласково и с такой горячностью бросился к дворцовым воротам, чтобы наказать дерзкого часового? Да! Его первые дни и ночи во дворце были отравлены тягостными мыслями об исчезнувшем принце; Том искренне желал его возвращения и восстановления в правах. Но время шло, а принц не возвращался, и новые радостные впечатления все сильнее овладевали душой Тома, мало-помалу изглаживая из нее образ пропавшего принца; под конец этот образ стал являться лишь изредка, и то нежеланным гостем, так как при появлении его Тому становилось больно и стыдно.

Несчастную мать свою и сестер он тоже вспоминал все реже. Вначале он грустил о них, тосковал, хотел их увидеть, но потом стал содрогаться при мысли, что когда-нибудь они предстанут перед ним в лохмотьях, в грязи и выдадут его своими поцелуями, и стащат его долой с трона, назад в грязь, в трущобы, на голод и унижения. В конце концов он почти перестал вспоминать о них и был даже рад этому, так как теперь, когда их скорбные и укоряющие лица вставали перед ним, он казался себе презреннее червя.

В полночь девятнадцатого февраля Том Кенти спокойно заснул в своей роскошной постели во дворце, охраняемый своими верными вассалами и окруженный всей пышностью королевского сана; счастливый мальчик: на завтра назначено было его торжественное коронование.

В тот самый час настоящий король Эдуард, голодный, мокрый и грязный, утомленный дорогой, оборванный — одежду его изорвали в драке,— стоял, зажатый в толпе, с глубоким любопытством наблюдавшей за группами рабочих, которые копошились, как муравьи, возле Вестминстерского аббатства. Они доканчивали последние приготовления к завтрашней коронации.

Глава XXXI

КОРОНАЦИОННОЕ ШЕСТВИЕ

На следующее утро, когда Том Кенти проснулся, воздух был полон глухого гула, вся даль гремела. Для Тома этот гром был музыкой: он означал, что вся Англия дружно напрягает легкие, приветствуя великий день.

Том снова занял первое место в удивительной плавучей про-

цессии на Темзе. По древнему обычаю, королевское шествие должно было пройти через весь Лондон, начиная от Тауэра. И прежде всего Том отправился к Тауэру. Как только он прибыл туда, стены древней крепости внезапно словно треснули в тысяче мест сразу, и из каждой трещины выскочили красный огненный язык и белый клуб дыма. Раздался оглушительный взрыв, в котором потонули радостные крики толпы; от гула дрожала земля; огонь, дым, треск выстрелов повторялись снова и снова с удивительной быстротой, так что через минуту старый Тауэр исчез в густом облаке дыма; только так называемый Белый Тауэр — высокая башня, украшенная флагами,— высился над этим морем дыма, как горная вершина над грядой облаков.

Разодетый Том Кенти на статном боевом скакуне, покрытом богатой попоной, ниспадавшей почти до земли, возглавлял процессию; сейчас же за ним следовал его «дядя», лорд-протектор Сомерсет, на таком же прекрасном коне; королевская гвардия в сияющих латах сопровождала его с обеих сторон; за протектором следовала бесконечная вереница пышно разодетых вельмож, ехавших в сопровождении своих вассалов; за ними — лорд-мэр и отцы города в алых бархатных мантиях с золотыми цепями на груди; за ними — депутация от всех лондонских гильдий в богатой одежде, с пестрыми знаменами корпораций. Шествие замыкала древняя Почетная артиллерийская бригада, существовавшая в то время уже около трехсот лет, единственная воинская часть, пользовавшаяся привилегией (сохраненной до наших дней) не подчиняться распоряжениям парламента. Это было блестящее зрелище! Бригада выступала среди многолюдной толпы, приветствовавшей ее на каждом шагу оглушительными криками.

Вот как рассказывает об этом летописец:

«При въезде короля в город народ встретил его приветственными криками, молитвами, благожеланиями и другими изъявлениями искренней любви верноподданных к своему государю; и король, повернувшись к толпе сияющим радостью ликом и милостиво беседуя с теми, кто был ближе к его августейшей особе, с избытком вознаградил свой народ за его верноподданнические чувства. В ответ на крики: «Да здравствует король Англии!», «Да хранит господь его величество Эдуарда Шестого!» — он говорил благосклонно: «Храни господь всех вас! От всего сердца благодарю, мой добрый народ!» И народ с восхищением внимал милостивым ответам своего короля».

На улице Фенчерч какой-то «прелестный ребенок в роскошном наряде» взошел на подмостки и приветствовал его величество такими стихами:

Да здравствует король! — поют тебе сердца.
Да здравствует король! — мы все тебе поем.
Да здравствует король! Да правит без конца!
Храни тебя господь в величии твоем!

Толпа в один голос повторяла слова ребенка.

Том Кенти смотрел, на это волнующееся море радостных лиц, и сердце его ликовало; он чувствовал, что если стоит жить на свете, так только для того, чтобы быть королем и любимцем народа. Вдруг он увидел вдали двух маленьких оборванцев, его бывших товарищей по Двору Отбросов (один из них занимал должность лорда-адмирала при его потешном дворе, а другой — первого лорда опочивальни), и еще больше возгордился. О, если бы они могли узнать его теперь! Как несказанно счастлив был бы он, если бы они узнали его, если бы увидели, что шутовской король трущобы и задворков стал настоящим королем, что ему прислуживают герцоги и принцы и у ног его весь английский народ! Но он должен был отказать себе в этом удовольствии, он должен был подавить свое желание, потому что такая встреча обошлась бы ему слишком дорого. И Том отвернулся, а мальчики продолжали прыгать и кричать, не подозревая, кому они посылают свои приветствия.

— Милостыни! Милостыни! — кричал народ.

И Том бросал в толпу пригоршни новеньких блестящих монет.

Летописец рассказывает:

«На верхнем конце улицы Грэсчерч, перед харчевней «Орел», город соорудил великолепную арку, под которой тянулись подмостки с одной стороны улицы до другой. На этих подмостках были выставлены изображения ближайших предков короля. Там сидела Елизавета Йоркская посередине большой белой розы, лепестки которой свивались вокруг нее вычурными фестонами; рядом с ней, в красной розе, сидел Генрих VII; руки царственной четы были соединены, на пальцах красовались выставленные напоказ обручальные кольца. От белой и алой розы тянулся стебель, достигавший вторых подмостков, где Генрих VIII выходил из раскрытой ало-белой розы вместе с Джэн Сеймур, матерью нового короля. От этой пары опять-таки тянулся стебель к третьим подмосткам, где находилось изображение самого Эдуарда VI на троне, во всем его царственном величии. Все подмостки были увиты гирляндами роз, алых и белых».

Это странное и красивое зрелище привело ликующий народ в такой восторг, что его крики совершенно заглушили слабый голос ребенка, которому поручено было прочесть хвалебные сти-

хи, объясняющие значение этой аллегории. Но Том Кенти не жалел об этом: верноподданнический рев толпы был для него слаще всяких стихов, даже самых хороших. Когда Том повернул к толпе свое счастливое юное лицо, народ заметил сходство его с изображением, и снова загремела буря приветствий.

Процессия все подвигалась вперед, проходя под триумфальными арками мимо ярких символических изображений, прославлявших различные добродетели, таланты и заслуги нового короля. «По всей Чипсайд из каждого окна, с каждого карниза свисали знамена и флаги, а также роскошные ковры, дорогие ткани и золотая парча — свидетельство богатств, хранившихся в сундуках; другие улицы были украшены столь же великолепно и даже еще великолепнее».

— И все эти диковины, все эти чудеса выставлены ради меня,— шептал Том Кенти.

Щеки мнимого короля горели от возбуждения, глаза блестели, он блаженствовал, наслаждался. Вдруг как раз в то время, когда он поднял руку, чтобы бросить народу пригоршню монет, он увидел в толпе бледное, изумленное лицо и пристальный взгляд, устремленный на него. У Тома потемнело в глазах: он узнал свою мать! Он быстро заслонил глаза рукой, вывернув ее ладонью наружу,— старый непроизвольный жест, возникший от давно позабытых причин и вошедший в привычку. Еще мгновение — и женщина пробилась вперед сквозь толпу, сквозь стражу и очутилась возле него. Она обхватила его ногу, она покрыла ее поцелуями, она зарыдала:

— Дитя мое, любимое дитя! — и подняла к нему лицо, преображенное радостью и любовью.

Один из телохранителей с бранью потащил ее прочь и сильной рукой отшвырнул назад. Слова: «Женщина, я не знаю тебя!» — уже готовы были сорваться с уст Тома, но обида, нанесенная его матери, уязвила его в самое сердце. И когда она обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на него, прежде чем толпа скроет его окончательно от ее глаз, у нее было такое скорбное лицо, что Тому стало стыдно. Этот стыд испепелил его гордость и отравил всю радость краденого величия. Все почести показались ему вдруг лишенными всякой цены, они спали с него, как истлевшие лохмотья.

А процессия шла и шла; убранство улиц становилось все роскошнее; приветственные клики раздавались все громче. Но для Тома Кенти всего этого словно и не было. Он ничего не видел и не слышал. Королевская власть потеряла для него прелесть и обаяние; в окружающей пышности ему чудился упрек, угрызения совести терзали его сердце. Он говорил себе: «Хоть

бы бог освободил меня из этого плена!», невольно повторяя те же слова, какие беспрестанно твердил в первые дни своего насильственного величия.

Сверкающая процессия все извивалась по кривым улицам древнего города, как бесконечная змея в блестящей чешуе; воздух звенел от приветствий толпы; но король ехал, поникнув головой и ничего не видя перед собою, кроме оскорбленного лица своей матери. И в протянутые руки подданных уже не сыпались блестящие монеты.

— Милостыни! Милостыни!

Но он не внимал этим крикам.

— Да здравствует Эдуард, король Англии!

Казалось, вся земля дрожала от этих возгласов, но король не отвечал. До него эти крики доносились, как отдаленный прибой, заглушаемый другими звуками, раздававшимися ближе, в его собственной груди, в его собственной совести,— голосом, повторявшим постыдные слова: «Женщина, я не знаю тебя!»

Эти слова звучали в душе короля, как звучит погребальный колокол в душе человека на похоронах близкого друга, которому при его жизни он вероломно изменил.

На каждом повороте его ждали новые почести, новая роскошь, новые чудеса, грохот приветственных выстрелов, ликующие клики толпы; но король ни словом, ни жестом не отзывался на них, так как, кроме укоряющего голоса в своей собственной безутешной душе, он ничего и не слышал.

Мало-помалу и у зрителей изменились лица и вместо радостных стали озабоченными, и приветственные клики раздавались уже не так громко. Лорд-протектор вскоре заметил это и сразу понял причину. Он подскакал к королю, низко пригнулся к нему, обнажив голову, и шепнул:

— Государь, теперь не время мечтать! Народ видит твою поникшую голову, твое отуманенное чело и принимает это за дурное предзнаменование. Послушайся моего совета, дай вновь воссиять твоему королевскому солнцу и озари свой народ его лучами. Подними голову и улыбнись народу.

С этими словами герцог бросил направо и налево по пригоршне монет и вернулся на свое место. Мнимый король машинально исполнил то, о чем его просили. В его улыбке не было души, но только немногие стояли к нему настолько близко, только немногие обладали настолько острым зрением, чтобы заметить это. Он так грациозно и ласково наклонял свою украшенную перьями голову, с такой царственной щедростью сыпал вокруг новенькие блестящие монеты, что тревога народа рассеялась и приветственные клики загремели так же громко, как прежде.

А все же герцогу пришлось еще раз подъехать к королю и постараться образумить его. Он прошептал:

— Великий государь, стряхни с себя эту гибельную грусть, глаза целого мира устремлены на тебя! — и с досадой прибавил: — Чтоб она пропала, эта жалкая нищенка! Это она так расстроила ваше величество!

Разряженный король обратил на герцога потухший взор и сказал беззвучным голосом:

— Это была моя мать!

— Боже мой! — простонал лорд-протектор, отъезжая назад.— Дурное предзнаменование оказалось пророчеством: он снова сошел с ума!

Глава XXXII

ДЕНЬ КОРОНАЦИИ

Вернемся на несколько часов назад и займем место в Вестминстерском аббатстве в четыре часа утра, в памятный день коронации. Мы здесь не одни: хотя на дворе еще ночь, но освещенные факелами хоры уже заполняются людьми; они готовы просидеть шесть-семь часов, лишь бы увидеть зрелище, которое никто не надеется увидеть два раза в жизни,— коронацию короля. Да, Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с трех часов ночи, когда грянули первые пушки, и уже целая толпа не именитых, но зажиточных граждан, заплатив деньги за доступ на хоры, теснится у входов, предназначенных для людей их сословия.

Часы тянутся довольно тоскливо. Всякая суматоха мало-помалу стихла, так как хоры уже давно набиты битком. Присядем и мы: у нас довольно времени, чтобы осмотреться и подумать. Со всех сторон, куда ни бросишь взгляд, из полумрака, царящего в соборе, выступают части хоров и балконов, усеянных зрителями; другие же части тех же хоров и балконов скрыты из глаз колоннами и выступами. Нам ясно виден весь огромный северный придел собора — пустой в ожидании избранной публики. Нам виден также большой помост, устланный богатыми тканями. Посередине его, на возвышении, к которому ведут четыре ступени, помещается трон. В сиденье трона вделан неотесанный плоский камень — сконский камень[1], на котором короно-

---

[1] Вначале этот камень хранился в шотландском городе Сконе; в 1297 году он был перевезен королем Эдуардом I в Лондон и впоследствии вделан в сиденье коронационного трона в Вестминстерском аббатстве.

вались многие поколения шотландских королей; обычай и время настолько освятили его, что теперь он достоин служить и английским королям. И трон и его подножие обтянуты золотой парчой.

Вокруг царит тишина; факелы светят тускло; часы лениво ползут. Но вот наконец рассветает; факелы потушены, мягкий свет разливается по огромному зданию. Теперь ясно можно различить все очертания этого благородного храма, но они вырисовываются мягко, как бы во сне, так как солнце слегка подернуто тучами.

В семь часов дремотное однообразие этого ожидания впервые нарушается: с последним ударом в северном приделе появляется первая знатная леди, одетая, как Соломон в его славе; распорядитель в шелку и бархате провожает ее к отведенному для нее месту; другой, такой же разряженный, подобрав длинный шлейф леди, идет за нею и, когда она уселась, укладывает шлейф у нее на коленях. Затем он подставляет ей под ноги скамеечку и кладет неподалеку корону, чтобы леди удобно было взять ее, когда настанет время всем представителям аристократии возложить на себя свои короны.

Супруги пэров появляются одна за другой блестящей вереницей, а между ними мелькают нарядные распорядители, усаживая их и устраивая. Теперь внутренность храма представляет собою довольно оживленное зрелище. Везде жизнь, движение, яркие краски. Немного погодя водворяется снова тишина; супруги и дочери пэров все пришли и все уселись на свои места — огромный живой цветник, пестрый и, как Млечный Путь, сверкающий морозной пылью брильянтов. Тут перед вами все возрасты: старухи, сморщенные, желтые, седые,— они помнят коронацию Ричарда III и его смутные, давно забытые времена; и красивые пожилые дамы; и прелестные молоденькие женщины; есть и хорошенькие нежные девушки с блестящими глазами и свежими щечками,— легко может статься, что, когда придет великая минута, они даже не сумеют надеть своих усыпанных алмазами коронок; для них это дело новое, и справиться с волнением им будет нелегко. Впрочем, нет, этого не может случиться, ибо у всех этих дам прическа устроена так, чтобы можно было по первому сигналу быстро и безошибочно посадить коронку на надлежащее место.

Мы уже видели, что разодетые леди усыпаны брильянтами, мы уже знаем, что это зрелище прелестно; однако настоящие чудеса еще впереди. Около девяти часов небо внезапно проясняется, и солнечный луч, прорезав полумрак собора, медленно движется вдоль скамеек с нарядными дамами; каждый ряд горит ослепительными разноцветными огнями, и внезапная яркость

этого зрелища пронзает нас, как электрический ток. Но вот в полосу света вступает чрезвычайное посольство из какой-то дальней восточной земли, замыкающее шествие других иностранных послов, и у вас захватывает дыхание — такой блеск оно разливает вокруг себя: посол с головы до ног усыпан драгоценными каменьями и при каждом движении сыплет вокруг пляшущие снопы алмазных искр.

Но переведем наш рассказ удобства ради в прошедшее время. Прошел час, два часа, два с половиной; глухой артиллерийский залп возвестил о прибытии короля и процессии; утомленная ожиданием толпа оживилась. Все знали, что придется ее подождать, так как короля нужно облачить и приготовить к торжественной церемонии, а пока ожидание можно будет приятно заполнить разглядыванием пэров королевства, появляющихся во всем их пышном наряде; каждого пэра распорядители с почетом отводили на место и клали возле него его корону. Зрители на хорах с живым любопытством наблюдали за всем: большинство из них впервые видели графов, герцогов и баронов, имена которых не сходили со страниц истории уже в течение пятисот лет. Когда наконец все пэры уселись, с хоров открылось столь дивное зрелище, что действительно стоило взглянуть на него, чтобы потом помнить всю жизнь.

Теперь на подмостки вступали один за другим епископы в парадном облачении и в митрах и занимали отведенные им места; за ними следовали лорд-протектор и другие важные сановники, а за сановниками — закованные в сталь гвардейцы.

Прошла минута напряженного ожидания, затем по сигналу грянула торжественная музыка, и Том Кенти в длинной мантии из золотой парчи появился в дверях и поднялся на подмостках. Вся толпа, как один человек, встала, и началась церемония коронования.

Все аббатство наполнилось звуками торжественного гимна, и под звуки этого гимна Тома Кенти подвели к трону. Один за другим совершались издревле установленные обряды, величавые и торжественные, и зрители жадно следили за ними; но чем ближе к концу подходила церемония, тем бледнее становился Том Кенти, тем сильнее терзало отчаяние его кающуюся душу.

Наконец наступил последний обряд. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки корону Англии и поднял ее над головой дрожавшего всем телом мнимого короля. В тот же миг словно радуга озарила внутренность собора — это все знатные лорды и леди одновременно взяли свои короны, возложили их себе на голову и замерли.

Глубокая тишина охватила аббатство. В эту незабываемую минуту посередине собора вдруг появилось новое действующее лицо, никем раньше не замеченное. То был мальчик с непокрытой головой, в рваных башмаках, в грубой плебейской одежде, висевшей лохмотьями. С торжественностью, совсем не подходившей к его грязному платью и жалкой внешности, он поднял руку и крикнул:

— Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову! Я — король!

В один миг мальчик был схвачен множеством негодующих рук.

Но Том Кенти в своем ца́рственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул:

— Отпустите его и не троньте! Он *действительно* король!

Паника овладела собравшимися; пораженные, все приподнялись на своих местах и, переглядываясь, рассматривали главных действующих лиц этой странной сцены, словно не понимая, наяву они это видят или во сне. Лорд-протектор был изумлен не меньше других, но скоро очнулся и воскликнул властным голосом:

— Не обращайте внимания на слова его величества: им опять овладел недуг. Схватите бродягу!

Его послушались бы, если бы мнимый король не топнул ногой и не крикнул:

— Под страхом смерти запрещаю вам трогать его! Он — король!

Руки отдернулись. Все собрание замерло. Никто не двигался, никто не говорил.

Правду сказать, никто и не знал, что делать и что говорить — так странно и неожиданно было все случившееся. Пока все старались овладеть собою и собраться с мыслями, виновник переполоха подходил все ближе и ближе, с гордой осанкой и поднятым челом; он ни разу не остановился и, пока все колебались в растерянности, взошел на подмостки. Мнимый король с радостным лицом бросился ему навстречу, упал перед ним на колени и воскликнул:

— О государь! Позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе на верность и сказать: возложи на себя свою корону и вступи в свои права!

Суровый взор лорда-протектора остановился на лице пришельца; но тотчас же лицо его смягчилось и суровость сменилась безмерным удивлением. То же удивление выразилось и на лицах других сановников. Они переглянулись и невольно все разом отступили. У каждого мелькнула одна и та же мысль: «Какое поразительное сходство!»

Лорд-протектор подумал минуту, потом выговорил серьезно и почтительно:

— С вашего позволения, сэр, я желал бы предложить вам несколько вопросов...

— Я отвечу на них, милорд!

Герцог стал спрашивать его о покойном короле, о дворе, о принце, о принцессах. Мальчик отвечал на все правильно и без запинки. Он описал парадные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и покои принца Уэлского.

Это было странно. Это было удивительно. Да, это было необъяснимо — так утверждали все, кто слышал. Дело принимало благоприятный оборот, и Том Кенти надеялся, что течение уже несет настоящего короля к трону, но лорд-протектор покачал головой и сказал:

— В самом деле, это изумительно, но ведь это не больше того, что может сделать и государь наш король.

Замечание лорда-протектора опечалило Тома Кенти — его все еще называли королем,— и он почувствовал, что теряет надежду.

— Это еще не *доказательства*,— прибавил лорд-протектор.

Волны оставили Тома Кенти на троне, а настоящего короля уносили в открытое море.

Лорд-протектор подумал, покачал головой — одна мысль вытеснила все остальные: «И для государства, и для всех нас опасно долго возиться с этой роковой загадкой: это может поселить раздор в народе и подорвать основы королевской власти». Он повернулся и сказал:

— Сэр Томас, арестуйте этого... Нет, погодите!

Лицо его прояснилось, и он ошеломил оборванного кандидата на престол вопросом:

— Где большая государственная печать? Ответь на этот вопрос, и загадка будет разгадана, ибо на этот вопрос может ответить *только* тот, кто был принцем Уэлским!

Вот от какого пустяка зависит судьба трона и династии!

Это была удачная мысль, счастливая мысль. Так подумали все важные сановники, и в их заблестевших взорах выразилось безмолвное одобрение. Да, только настоящий принц мог разрешить до сих пор не разгаданную тайну исчезновения государственной печати. Маленький самозванец хорошо выучил свой урок, но здесь он споткнется, так как даже тот, кто научил его, не может ответить на этот вопрос. Хорошо! Очень хорошо! Теперь мы скоро выйдем из этого странного и опасного положения. Каждый чуть заметно кивал головой и с трудом удерживался от улыбки, предвкушая, как дерзкий мальчик онемеет от смущения в сознании своей вины.

И как же все были удивлены, когда ничего подобного не случилось,— мальчик тотчас же спокойно и твердо сказал:

— В этой загадке нет ничего трудного.

И, даже не спросив позволения, он повернулся и дал приказ с непринужденностью человека, привыкшего повелевать:

— Милорд Сент-Джон, ступай в мой кабинет во дворце — никто не знает его лучше тебя,— и там, возле самого пола, в левом углу, самом дальнем от двери, выходящей в переднюю, ты найдешь медный гвоздь; нажми шляпку гвоздя — и перед тобой откроется маленький тайничок, о существовании которого даже ты не знаешь и ни одна живая душа не знает, кроме меня да того верного мастера, который его устраивал для меня. Первое, что тебе попадется на глаза, будет большая государственная печать,— принеси ее сюда!

Все дивились этой речи и еще больше дивились тому, что маленький нищий, не задумываясь, выбрал из всех лордов Сент-Джона и назвал его по имени так просто и спокойно, как будто знал его всю свою жизнь. Вельможа чуть было не кинулся исполнять приказ. Он даже шагнул вперед, но тотчас опомнился, и легкая краска выдала его промах. Том Кенти обернулся к нему и резко сказал:

— Что же ты медлишь? Разве ты не слыхал королевского приказа? Ступай!

Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон; многие заметили, что этот поклон был удивительно осторожен: чтобы как-нибудь не скомпрометировать себя, лорд Сент-Джон не поклонился ни одному из королей в отдельности, но обоим зараз или, вернее, нейтральному пространству между обоими. И вышел.

В нарядной группе сановников, стоявших на подмостках, началось движение, вначале едва заметное, но непрерывное, словно в калейдоскопе, когда мелкие частицы пестрой фигуры отпадают от одного центра и переходят к другому, образуя новую фигуру. Так и здесь, постепенно, едва заметно, блестящая свита, окружавшая Тома Кенти, переместилась поближе к пришельцу. Том Кенти остался почти один. Прошло несколько минут напряженного ожидания, в течение которых немногие боязливые люди, еще остававшиеся возле Тома Кенти, набрались храбрости и один за другим, шмыгнув в сторону, присоединились к большинству. И теперь Том Кенти в царской одежде и самоцветных каменьях стоял совсем одинокий, окруженный пустотой.

В дверях собора показался лорд Сент-Джон. Едва его заметили, все разговоры смолкли и водворилась глубокая тишина, только его шаги гулко отдавались под высокими сводами. Все,

затаив дыхание, с напряженным любопытством следили за ним, все глаза были устремлены на него. Он взошел на подмостки, помедлил немного, затем, отвесив низкий поклон Тому Кенти, сказал:

— Государь, печати там нет!

Если бы на улице показался вдруг зачумленный, чернь шарахнулась бы прочь от него не так стремительно, как это сборище побледневших, испуганных царедворцев отхлынуло от жалкого маленького претендента на английский престол. Миг — и он остался совершенно один под перекрестным огнем гневных и презрительных взглядов.

Лорд-протектор запальчиво крикнул:

— Выбросьте этого нищего на улицу и прогоните его по всему городу плетьми! Этот наглец не заслужил ничего лучшего.

Гвардейцы кинулись к мальчику, но Том Кенти властно отстранил их рукой:

— Назад! Кто дотронется до него, ответит головой.

Лорд-протектор пришел в полное недоумение. Он спросил Сент-Джона:

— Хорошо ли вы искали? Впрочем, об этом бесполезно и спрашивать. В высшей степени странно! Когда пропадают мелкие вещи, безделушки, этому не удивляешься. Но каким образом такая объемистая вещь, как английская государственная печать, могла исчезнуть без следа, так, что никто не может найти ее? Такой тяжелый золотой круг...

Том Кенти с заблестевшими глазами подскочил к нему и крикнул:

— Стойте! Какая она была? Круглая? Толстая? На ней были вырезаны буквы и эмблемы? Да? О, теперь я знаю, что такое эта большая печать, из-за которой вы подняли такую кутерьму! Если бы вы мне описали ее раньше, вы бы получили ее три недели тому назад. Я отлично знаю, где она лежит, но не я первый положил ее туда.

— А кто же, государь? — спросил лорд-протектор.

— Тот, кто стоит перед вами, законный король Англии! И он сам скажет вам, где она лежит,— тогда вы поверите, что он знал это с самого начала. Подумай, государь! Потрудись припомнить! Это было последнее, самое последнее, что ты сделал в тот день, прежде чем выбежал из дворца, переодетый в мои лохмотья, чтобы наказать обидевшего меня солдата.

Наступило гробовое молчание — ни звука, ни шепота! Все глаза были устремлены на того, от кого ждали ответа; а он стоял, наклонив голову и наморщив лоб, и рылся в своей памя-

ти, стараясь среди множества не имеющих цены воспоминаний уловить один-единственный ускользающий пустяк, зная, что, если он поймает этот пустяк — он будет на троне, если же нет — навсегда останется нищим изгнанником. Проходили мгновения, проходили минуты, мальчик напрягал свою память и молчал.

Наконец он глубоко вздохнул, медленно покачал головой и выговорил дрожащими губами, с отчаянием в голосе:

— Я припомнил весь тот день, но что я сделал с печатью, припомнить не могу.

Он помолчал, потом поднял глаза и проговорил с кротким достоинством:

— Милорды и джентльмены, если вы хотите лишить вашего законного государя его престола только оттого, что у него нет этого доказательства, я бессилен помешать вам. Но...

— О государь, какое безумие! — в ужасе воскликнул Том Кенти.— Погоди! Подумай! Не сдавайся так скоро! Дело еще не потеряно. Слушай, что я тебе скажу, следи за каждым моим словом! Я вызову в твоей памяти этот день во всех подробностях, каждую мелочь. Мы разговаривали. Я рассказывал тебе о своих сестрах Нэн и Бэт... ну вот, ты это помнишь? И о бабке, и потом, как мы, мальчишки, играем на Дворе Отбросов... Ты и это помнишь? Отлично! Следи только за мной — ты все припомнишь. Ты дал мне есть и пить и с царственной любезностью отослал придворных, чтобы мне не было стыдно перед ними за свою невоспитанность... Ага, ты и это помнишь!

Том перечислял все подробности одну за другой, и принц кивал головой в знак того, что он припоминает; а сановники слушали и дивились: все это было так похоже на правду, между тем откуда могла возникнуть эта невозможная дружба между принцем и нищим? Никогда еще никакая толпа не была охвачена таким любопытством и не чувствовала себя столь ошеломленной и растерянной.

— Ради шутки, государь, мы поменялись одеждой. Потом мы стали перед зеркалом, и оказалось, что мы так похожи один на другого, будто и не переодевались совсем... Ты помнишь и это, да? Потом ты заметил, что солдат сильно ушиб мне руку. Смотри, я и до сих пор не могу держать ею перо, так одеревенели мои пальцы. Увидев это, твое высочество вскочил, поклявшись, что ты отомстишь солдату, и побежал к двери. Тебе надо было пройти мимо стола. Эта штука, которую вы называете печатью, лежала на столе. Ты схватил ее, озираясь вокруг, как бы ища, куда ее спрятать, потом увидел...

— Стой! Довольно! Благодарение богу, я вспомнил! — воскликнул взволнованным голосом оборванный претендент на пре-

стол.— Иди, мой добрый Сент-Джон: в рукавице миланского панциря, что висит на стене, ты найдешь государственную печать.

— Верно, государь, верно! — воскликнул Том Кенти.— Теперь английская держава — твоя, и тому, кто вздумает оспаривать ее у тебя, лучше бы родиться немым! Спеши, милорд Сент-Джон! Пусть твои ноги превратятся в крылья!

Все сборище было теперь на ногах. Все прямо-таки обезумели от беспокойства, тревоги и жгучего любопытства. Собор гудел, как пчелиный улей. Все сразу заговорили возбужденно и пылко, внизу и на помосте — повсюду. Никто ничего не слышал и не интересовался ничем, кроме того, что кричал ему в ухо сосед или что он кричал в ухо соседу. Время промчалось стремительно. И вот по собору пронесся шепот — на подмостках появился

Сент-Джон, в поднятой над головой руке он держал государственную печать.

Сразу же грянул крик:

— Да здравствует истинный король!

Минут пять в соборе стон стоял от кликов и грома музыки: вихрь носовых платков реял в воздухе. А тот, к кому относились все эти приветствия, маленький оборванец — отныне первый человек в Англии — стоял на виду у всех, посередине подмостков, счастливый и гордый, щеки его пылали румянцем, и могущественнейшие вассалы королевства склоняли перед ним колени.

Затем все встали, и Том Кенти воскликнул:

— Теперь, о государь, возьми назад твое царское одеяние и отдай бедному Тому, слуге твоему, его рубище!

Лорд-протектор отдал приказание:

— Разденьте этого маленького негодяя и бросьте его в Тауэр!

Но король, истинный, новый король, заявил:

— Не позволю! Только благодаря ему я получил обратно свою корону — и не смейте трогать и обижать его! А ты, милейший дядя, ты, милорд-протектор, неужели ты не питаешь никакой благодарности к этому бедному мальчику? Ведь, как я слышал, он пожаловал тебя в герцоги...

Протектор покраснел.

— Но он, оказывается, не был настоящим королем, значит, чего стоит теперь твой громкий титул? Завтра ты *через его посредство* будешь ходатайствовать передо мной об утверждении тебя в этом звании, иначе тебе придется распрощаться с твоим герцогством и ты останешься просто графом.

После такой отповеди его светлость герцог Сомерсетский предпочел на время отойти в сторону. Король повернулся к Тому и ласково сказал:

— Мой бедный мальчик, как ты мог вспомнить, куда я спрятал печать, если я и сам не мог вспомнить?

— Ах, государь, это было нетрудно, ибо я не раз употреблял ее в дело.

— Употреблял ее в дело... и не мог сказать, где она находится?

— Да ведь я не знал, что они ее ищут. Они мне не говорили, какая она, ваше величество!

— Что же ты с нею делал?

Щеки Тома густо покраснели; он потупил глаза и молчал.

— Говори, добрый мальчик, не бойся! — успокоил его король.— Что же ты делал с большой государственной печатью Англии?

Том опять запнулся и наконец смущенно выговорил:

— Я колол ею орехи!

Бедный ребенок! Эти слова были встречены таким взрывом хохота, что он едва устоял на ногах. Но если кто-нибудь сомневался в том, что Том Кенти не был королем Англии, этот ответ рассеял все сомнения.

Тем временем с Тома сняли роскошную мантию и накинули ее на плечи королю. Мантия прикрыла его нищенские лохмотья. После этого прерванная коронация возобновилась. Настоящий король был помазан миррой, на голову его возложили корону, а пушечные выстрелы возвестили эту радость городу, и весь Лондон гудел от восторга.

Глава XXXIII

ЭДУАРД — КОРОЛЬ

И до того, как Майлс Гендон попал в буйную толпу, запрудившую Лондонский мост, его наружность была весьма живописна, а когда он вырвался оттуда, она стала еще живописнее. У него и раньше было мало денег, а теперь и совсем ничего не осталось. Воры обчистили его карманы до последнего фартинга.

Но не беда, лишь бы найти мальчика. Как настоящий воин, он никогда не поступал наобум и прежде всего составил план военных действий.

Что мог предпринять мальчик? Куда он мог направиться? Пожалуй, думал Майлс, для него было всего естественнее посетить первым делом то место, где он жил прежде; так поступают все бездомные, покинутые люди, все равно — сумасшедшие они или в здравом уме. Где же он мог прежде жить? Его лохмотья и его близость к грубому бродяге, который, очевидно, хорошо знал его и даже называл сыном, указывали на то, что он жил в одном из беднейших кварталов Лондона. Долго ли придется его искать? Нет, Майлс найдет его легко и быстро. Он будет высматривать не мальчика, а все уличные сборища, большие и малые, и в центре какого-нибудь скопления людей рано или поздно найдет своего маленького друга; чернь, наверно, будет глумиться над ним, так как он, по обыкновению, станет, конечно, провозглашать себя королем. И тогда Майлс Гендон изувечит кого-нибудь из этих грубых людей и уведет своего питомца подальше, утешит, успокоит его ласковым словом и никогда больше не расстанется с ним.

Итак, Майлс отправился на поиски. Час за часом он бродил

по грязным улицам и закоулкам, выискивая сборища людей; он находил их на каждом шагу, но мальчика нигде не было. Это крайне удивило его, но он не отчаивался.

В своем плане он не находил никаких изъянов — просто военные действия затянулись на более продолжительный срок, чем он рассчитывал.

До рассвета он исходил не одну милю, повстречал множество всяких людей, но в результате только устал и проголодался. Ему очень захотелось спать. Он не прочь был бы позавтракать, но на это было мало надежды — просить милостыню ему не приходило в голову, а заложить шпагу — это все равно что расстаться с честью. Можно бы продать что-нибудь из одежды, но где сыщешь покупателя на подобную рвань?

В полдень он все еще бродил по улицам, в толпе, которая следовала за королевской процессией: он полагал, что маленького сумасшедшего непременно потянет взглянуть на такое зрелище. Он прошел вслед за процессией весь извилистый путь от Лондона до Вестминстера и до самого аббатства. Он бесконечно долго слонялся в толпе и наконец, ничего не добившись, озабоченный, отошел прочь, обдумывая новый, лучший план. Углубившись в свои мысли, он не сразу заметил, что город остался далеко позади и день клонился к вечеру, а выйдя наконец из задумчивости, увидел, что находится за городом, невдалеке от реки, в живописной местности, где расположены были богатые усадьбы. Здесь не любят таких оборванцев, как он.

Погода стояла теплая; он растянулся на земле возле изгороди, чтобы отдохнуть и подумать. Скоро им овладела дремота; до него донеслись отдаленные глухие звуки пушечных выстрелов; он сказал себе: «Коронация кончилась» — и тут же уснул. Перед тем он не отдыхал больше тридцати часов подряд. Проснулся он только на следующее утро.

Он поднялся разбитый, полумертвый от голода, умылся в реке, вдоволь напился воды, чтобы наполнить желудок, и заковылял к Вестминстеру, ругая себя за то, что потерял столько времени даром. Голод внушил ему новый план: он прежде всего попытается добраться до старого сэра Гэмфри Марло и возьмет у него взаймы несколько шиллингов, а потом... Но пока и этого довольно, потом будет время усовершенствовать и разработать новый план, сначала надо выполнить его первую часть.

Часов в одиннадцать Майлс очутился у дворца, и хотя народа, пышно разодетого, кругом было много, он не остался незамеченным благодаря своей одежде. Он пристально вглядывал-

ся в лицо каждого встречного, выискивая сострадательного человека, который согласился бы доложить о нем старому сэру Гэмфри; о том, чтобы попытаться самому проникнуть во дворец в таком виде, разумеется, не могло быть и речи.

Вдруг мимо него прошел мальчик для порки; увидав Майлса, он вернулся и еще раз прошел мимо, пристально вглядываясь.

«Если это не тот самый бродяга, о котором так беспокоится его величество, то я безмозглый осел... Хотя я, кажется, и всегда был ослом. Все приметы налицо. Не может быть, чтобы премудрый господь создал два таких страшилища сразу. Это было бы опасным перепроизводством чудес, ибо цена на них сильно упала бы. Как бы мне заговорить с ним!..»

Но тут сам Майлс Гендон вывел его из затруднения, потому что обернулся назад, почувствовав, что на него пристально смотрят. Подметив любопытство во взгляде мальчика, он сказал:

— Ты только что вышел из дворца; ты из придворных?

— Да, ваша милость!

— Ты знаешь сэра Гэмфри Марло?

Мальчик вздрогнул от неожиданности и подумал про себя: «Боже, он спрашивает о моем покойном отце!»

Вслух от ответил:

— Хорошо знаю, ваша милость.

— Он там?

— Да,— сказал мальчик и про себя прибавил: «В могиле».

— Не будешь ли ты так любезен сообщить ему мое имя и передать, что я желаю сказать ему два слова по секрету.

— Я охотно исполню ваше поручение, любезный сэр.

— В таком случае, скажи, что его дожидается Майлс Гендон, сын сэра Ричарда. Я буду тебе очень благодарен, мой добрый мальчик!

Мальчик был, по-видимому, разочарован. «Король как будто не так называл его,— сказал он себе,— ну да все равно. Это, должно быть, его брат, и я уверен, что он может дать сведения его величеству о том чудаке». Он попросил Майлса подождать немного, пока он принесет ответ. Он ушел, а Гендон остался ждать его в указанном месте, на каменной скамеечке внутри ниши дворцовой стены, где в дурную погоду укрывались часовые. Не успел он усесться, как мимо прошел отряд алебардщиков под командой офицера. Офицер увидел чужого человека, остановил своих людей и велел Гендону выйти из ниши. Тот повиновался и немедленно был арестован как подозрительная личность, шатающаяся около дворца. Дело начинало принимать

нехороший оборот. Бедный Майлс хотел было объясниться, но офицер грубо приказал ему молчать и велел своим людям обезоружить и обыскать его.

— Может быть, вам бог поможет найти что-нибудь,— сказал бедный Майлс.— Я много искал и ничего не нашел, хотя мне так нужно было найти.

И действительно, у него ничего не нашли, кроме запечатанного письма. Офицер разорвал конверт, и Майлс улыбнулся, узнав «каракули» своего бедного маленького друга. Это было послание, написанное королем в тот памятный день в Гендонском замке. У офицера лицо пожелтело, когда он прочел английскую часть письма, а Майлс, выслушав ее, побледнел.

— Еще один претендент на престол! — воскликнул офицер.— Они нынче размножаются, как кролики. Схватите этого негодяя и держите его крепко, пока я снесу это драгоценное послание к королю.

«Ну, теперь все мои злоключения кончились,— бормотал Майлс,— ибо я наверняка скоро буду болтаться на веревке. Эта записка мне не пройдет даром. А что станется с моим бедным мальчиком? Увы, это одному богу известно!»

Через некоторое время Майлс увидел быстро возвращавшегося офицера и собрал все свое мужество, решившись встретить неизбежную смерть, как подобает мужчине. Офицер тотчас приказал солдатам освободить пленника и возвратить ему шпагу, затем почтительно поклонился и сказал:

— Прошу вас, сэр, следуйте за мной!

Гендон пошел за ним, говоря себе: «Если бы я не знал, что иду на смерть и что мне поэтому следует поменьше грешить, я бы, кажется, придушил этого мерзавца за его издевательскую любезность».

Они прошли через людный двор к главному подъезду дворца, где офицер с таким же почтительным поклоном сдал Гендона с рук на руки разодетому придворному, который, в свою очередь, отвесил ему низкий поклон и повел через большой зал, между двумя рядами пышно одетых дворцовых лакеев, которые почтительно кланялись Гендону, а за спиной у него давились от смеха при виде этого величавого чучела. Придворный поднялся с Гендоном по широкой лестнице, заполненной пышно разодетыми джентльменами, и наконец ввел его в обширный покой, где была собрана вся английская знать; он провел Майлса вперед, еще раз поклонился, напомнил ему, что надо снять шляпу, и оставил его среди комнаты. Глаза всех присутствующих устремились на него. Иные сердито нахмурились. Иные улыбались насмешливо.

Майлс Гендон был ошеломлен. Перед ним, всего в каких-нибудь пяти шагах, под пышным балдахином сидел молодой король; отвернувшись немного в сторону и наклонив голову, он беседовал с какой-то райской птицей в образе человека — наверно, с каким-нибудь герцогом. Гендон смотрел и думал, что и без того горько умереть во цвете лет, а тут еще подвергают тебя такому унижению. Ему хотелось, чтобы король скорее покончил с приговором,— некоторые из пышных вельмож, стоявших поближе, вели себя уж слишком нахально. В это время король поднял голову, и Гендон увидел его лицо. Увидел — и у него даже дух захватило! Как очарованный, он смотрел, не спуская глаз с этого прекрасного молодого лица, и вдруг воскликнул:

— Господи, вот он и на троне — владыка царства Снов и Теней!

Не отрывая изумленного взгляда от короля, он пробормотал еще что-то невнятное, потом оглядел все вокруг — нарядную толпу, стены роскошного зала — и проговорил:

— Но ведь это же *правда!* Это не сон, а *действительность!*

Потом опять взглянул на короля и подумал: «Или это все-таки сон?.. Или он и впрямь повелитель Англии, а не бездомный сумасшедший бродяга, за которого я принимал его? Кто разгадает мне эту загадку?» Внезапно ему в голову пришла блестящая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посередине зала и сел.

Толпа придворных загудела от гнева; чья-то рука жестко опустилась ему на плечо, чей-то голос воскликнул:

— Грубиян, невежа невоспитанный, как ты смеешь сидеть в присутствии короля!

Шум привлек внимание его величества; он протянул руку и крикнул:

— Оставьте его, не троньте: это его право!

Придворные в недоумении отпрянули. А король продолжал:

— Да будет вам известно, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга, Майлс Гендон, который своим добрым мечом спас своего государя от ран, а может быть, и от смерти и за это волею короля посвящен в рыцари. Узнайте также, что он оказал королю еще более важную услугу: он избавил своего государя от плетей и позора, приняв их на себя, и за это возведен в звание пэра Англии и графа Кентского, и в награду ему будут пожалованы богатые поместья и деньги, подобающие его высокому званию. Более того, привилегия, которой он сейчас воспользовался, дарована ему королем и останется за ним и его потомками, и все старшие в роде его будут из века

— Не троньте его: это его право — сидеть в присутствии короля!

в век иметь право сидеть в присутствии английских королей, пока будет существовать престол. Не троньте его!

В зале присутствовали две особы, опоздавшие на коронацию и прибывшие в столицу только сегодня. Всего лишь пять минут находились они в этом зале; они слушали в немом изумлении, переводя взгляд с короля на «воронье пугало» и обратно. То были сэр Гью и леди Эдит. Но новый граф не замечал их. Он все смотрел на короля как зачарованный и бормотал:

— Господи, помилуй меня! Так это мой нищий! Так это мой сумасшедший... А я-то хотел похвастаться перед ним своим богатством — родовой усадьбой, в которой семьдесят комнат и двадцать семь человек прислуги! Это о нем я думал, что он никогда не знал иной одежды, кроме лохмотьев, иной ласки, кроме пинков и побоев, и иной еды, кроме отбросов! Это его я взял в приемыши и хотел сделать из него человека! Господи, хоть бы мне дали мешок, куда сунуть голову от стыда!

Но потом он вдруг опомнился, упал на колени и, пока король пожимал ему руку, клялся в верности и благодарил за пожалованные ему титулы и поместья. Затем встал и почтительно отошел в сторону; все смотрели на него с любопытством, а многие с завистью.

В это время король увидел сэра Гью и, сверкнув глазами, гневно воскликнул:

— Лишить этого разбойника его ложного титула и украденных им поместий и заключить под стражу впредь до моих распоряжений!

Бывшего сэра Гью увели.

Теперь поднялась суета в другом конце зала; толпа расступилась, и между двух живых стен прошел Том Кенти, причудливо, но богато одетый и предшествуемый камер-лакеем. Том приблизился к королю и опустился на одно колено.

— Я узнал,— сказал король,— обо всем, что ты сделал в эти несколько недель, и очень доволен тобою. Ты управлял моим государством с царственной кротостью и милосердием. Ты, кажется, нашел свою мать и сестер? Прекрасно! Мы позаботимся о них. А отца твоего вздернут на виселицу, если ты пожелаешь этого и если позволит закон. Знайте вы все, кто слышит меня, что отныне мальчики, воспитывающиеся в Христовой обители[1] на королевский счет, будут получать не только телесную, но и умственную и духовную пищу. Этот мальчик будет жить там

---

[1] Христова обитель, или Школа синих кафтанов, была, по отзывам современников, «благороднейшим учреждением в мире». Эта обитель была основана для обучения и воспитания сирот и детей бедняков. *(Примеч. автора.)*

и займет почетное место среди воспитанников; а так как он был королем, то ему подобает особый почет; заметьте его одежду: она присвоена ему одному, и никто не смеет носить точно такую же. По этой одежде все будут узнавать его и, памятуя, что одно время он был королем, будут оказывать ему подобающие почести. Он находится под особой защитой и покровительством короны, и да будет всем известно, что ему даруется почетный титул королевского воспитанника.

Счастливый и гордый, Том Кенти поднялся с колен и поцеловал руку короля; ему позволено было удалиться. Не теряя времени, он помчался к своей матери, чтобы рассказать ей и сестрам все, что случилось, и поделиться с ними своею радостью.

Заключение

ПРАВОСУДИЕ И ВОЗМЕЗДИЕ

Когда все тайны разъяснились, Гью Гендон признался, что жена его отреклась от Майлса по его приказанию. Сначала он угрожал ей, что, если она не отречется от Майлса Гендона, ей придется расстаться с жизнью; она ответила, что не дорожит своею жизнью и останется верной Майлсу; тогда муж сказал, что ее пощадят, но Майлс будет убит! И она дала слово и сдержала его.

Гью не преследовали за эти угрозы и за присвоение имущества и титула брата, так как Майлс и Эдит не хотели давать показания против него; да и вообще жене запрещено давать показания против мужа. Гью бросил жену и уехал на континент, где вскоре умер, а Майлс, граф Кентский, женился на его вдове. Когда они впервые посетили Гендон-холл, вся округа ликовала.

Об отце Тома Кенти так больше и не слыхали.

Король отыскал фермера, которого заклеймили и продали в рабство, заставил его бросить преступную шайку и дал ему возможность жить безбедно. Он также освободил из тюрьмы старого законника и снял с него штраф. Он пристроил дочерей двух баптисток, которых на его глазах сожгли на костре, и строго наказал того чиновника, который незаслуженно велел избить плетьми Майлса Гендона.

Он спас от виселицы подмастерье, который был осужден за то, что поймал заблудившегося сокола; спас женщину, укравшую кусок сукна у ткача; но уже не успел спасти человека, осужденного на смерть за охоту на оленя в королевском парке.

Он оказывал постоянное благоволение судье, сжалившемуся

над ним, когда его обвинили в краже поросенка, и с истинным удовольствием видел, как этот судья мало-помалу приобретал всеобщее уважение и сделался известным и почтенным человеком.

До конца дней король любил рассказывать историю своих былых приключений, начиная с той минуты, когда часовой прогнал его от дворцовых ворот, и кончая ночью, когда он ловко вмешался в толпу рабочих, украшавших аббатство, проскользнул в собор, спрятался в гробнице Исповедника[1] и уснул так крепко, что на следующее утро чуть не проспал коронацию. Он говорил, что частые воспоминания об этом драгоценном уроке укрепляют его в намерении извлечь из него пользу для своего народа и что, пока жив, он будет рассказывать эту историю, оживляя в своей памяти скорбные впечатления и укрепляя в своем сердце ростки сострадания.

Майлс Гендон и Том Кенти во все краткое царствование Эдуарда VI оставались его любимцами и искренне оплакивали его, когда он умер. Добрый граф Кентский был достаточно благоразумен и не слишком злоупотреблял своей особой привилегией, но все же он воспользовался ею дважды, кроме того случая, который нам известен: один раз — при восшествии на престол королевы Марии и другой — при восшествии на престол королевы Елизаветы. Один из его потомков воспользовался тою же привилегией при восшествии на престол Иакова I. Прежде чем этой привилегией собрался воспользоваться его сын, прошло около четверти века, и «привилегия Кентов» была забыта большинством придворных, так что, когда в один прекрасный день тогдашний Кент позволил себе сесть в присутствии Карла I, поднялся страшный переполох. Но дело скоро объяснилось, и привилегия была подтверждена. Последний из графов Кентов пал в гражданских войнах времен английской революции, сражаясь за короля, и с его смертью кончилась эта странная привилегия.

Том Кенти дожил до глубокой старости; он был красивый седовласый старик величавой и кроткой наружности. Все искренне уважали его и оказывали почет его особой одежде, которая напоминала о том, что «в свое время он сидел на престоле». При его появлении все расступались, давали ему дорогу и шептали друг другу:

— Сними шляпу, это королевский воспитанник!

И все кланялись ему, а он в ответ ласково улыбался; и эту улыбку ценили высоко, ибо во время описанных здесь событий он вел себя с таким благородством.

---

[1] Эдуард Исповедник (1002—1066) — английский король.

Да, король Эдуард VI жил недолго, но он достойно прожил свои годы. Не раз, когда какой-нибудь важный сановник, какой-нибудь раззолоченный вассал короны упрекал его в излишней снисходительности или доказывал, что тот или другой закон, который он хотел смягчить, и без того достаточно мягок и не причиняет никому чрезмерных стеснений и мук, юный король устремлял на него свои большие, красноречивые, полные грустного сострадания глаза и говорил:

— Что *ты* знаешь об угнетении и муках? Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты.

По тем жестоким временам царствование Эдуарда VI было на редкость милосердным и кротким. И теперь, расставаясь с ним, попытаемся сохранить о нем добрую память.

Комментарии

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА»

Эту повесть Марк Твен напечатал в 1876 году. Работая над ней, он долго не мог решить: для детей или для взрослых он пишет. Самому ему казалось, что все-таки повесть — для подростков. Уже почти кончив ее, Твен сообщал своему другу, писателю Уильяму Гоуэлсу: «Эта книга вовсе не для детей, о нет. Она заинтересует только взрослого человека. Она и написана для взрослых». Но современники не соглашались с Твеном. Они видели в «Томе Сойере» книгу о мальчишках и для мальчишек.

Время рассеяло опасения в том, что повесть не привлечет юных читателей. Уже более ста лет ее охотно читают и перечитывают и подростки, и люди, умудренные жизнью. Как «Гулливер» Джонатана Свифта или «Робинзон» Даниеля Дефо, «Том Сойер» — книга, в которой читатель любого возраста найдет для себя немало увлекательного и поучительного.

Твен очень любил эту свою книгу. Он готовился написать ее много лет. До того, как взяться за рассказ о Томе Сойере, он напечатал несколько очерков, в которых вспоминал свою лоцманскую службу на Миссисипи, годы своей юности. Память вела писателя к еще более ранней поре его жизни — к детству.

За шесть лет до «Тома Сойера» появился забавный и трогательный рассказ о мальчике Билле Роджерсе, который ухаживал за своей ровесницей Эми и мечтал сделаться пиратом. Один из друзей Твена вспоминает, как однажды летним вечером писатель рассказывал за ужином о маленьком хитреце, который сумел заставить приятелей побелить вместо него забор. Когда Твен кончил свою историю, слушатели долго смеялись и упрашивали его тут же записать рассказ, который только что услышали. Твен этого не сделал. И в Билле Роджерсе, и в смышленом пареньке, так ловко надувшем свою уличную компанию, были живые черточки будущего Тома Сойера, о котором Твен напишет целую книгу.

Когда эта книга вышла в свет, ее успех превзошел все ожидания. Твена знали и любили как автора небольших рассказов и юмористических очерков, над которыми хохотала вся Америка. «Приключения Тома Сойера» — одна из самых веселых книг, какие только есть на свете. Но в ней чувствуется и то, чего прежде у Твена не было,— поэзия, романтика, серьезность переживаний героев, которые сталкиваются с нешуточными сложностями жизни. Стало ясно, что Твен — не просто юморист, который беспечно смеется над нелепостями жизни. Он выступил как художник, которого привлекают большие темы и волнуют глубокие мысли.

«Приключения Тома Сойера» и оказались книгой, с которой началось настоящее признание Твена — и у него на родине, и повсюду в мире, в том числе и у русских читателей, которые очень быстро познакомились с повестью о Томе. Впервые она была напечатана у нас через год после того, как вышла в Америке. В первом русском переводе (1877) она называлась «Похождения американского мальчика Тома Соуэра». Печатали повесть у нас и под другими заглавиями — «Приключения Тома», «Приключения сорванца».

Много лет спустя Твен взялся за продолжение этой своей книги. В «Томе Сойере за границей» (1894) рассказано, как Том, Гек и Джим летят на воздушном шаре через пустыню Сахару. Затем вышла в свет книжка «Том Сойер — сыщик» (1896), в которой Твен вышучивает набившие оскомину приемы сочинителей детективных романов. Эти повести не так удачны, как «Приключения Тома Сойера», хотя они еще раз показывают читателю, до чего хитроумен и изобретателен их герой.

Переживания и мысли Тома Сойера всегда оставались близки писателю. Уже старым человеком он говорил: «Наверно, у каждого из нас есть свой Джексонов остров, и мы мечтаем о нем, когда чувствуем, как устали от жизни».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

Повесть увидела свет в самом конце 1884-го, в начале 1885 года. Твен собирался взяться за нее сразу же по окончании «Тома Сойера». Он даже написал первые главы, но потом отложил работу, увлекшись другими замыслами.

Писателю необходимо было время, чтобы у него сложилось ясное представление о том, что за человек Гек Финн, которому здесь предстояло вести рассказ и самому судить о событиях. Позднее в «Автобиографии» Твен писал: «В «Гекльберри Финне» я нарисовал точный портрет Тома Блэнкеншипа. Он был неграмотен, неумыт, вечно голоден, но сердце у него было золотое. Он пользовался ничем не ограниченной свободой и был единственным по-настоящему независимым человеком на всю округу; поэтому он наслаждался постоянным тихим счастьем, а мы все ему отчаянно завидовали... Я слышал, что он стал мировым судьей в одном из глухих поселков штата Монтана, считается прекрасным гражданином и пользуется всеобщим уважением».

На самом деле Гек не просто «списан» с Тома Блэнкеншипа. Еще в детстве Твен слышал рассказы о том, как старший брат Тома, Бенсон Блэнкеншип — рыбак, живший в Ганнибале,— прятал у себя беглого негра-раба, не страшась угроз рабовладельцев жестоко расправиться со всеми, кто помогает беглецам. Геку Финну приданы черты и Тома, и Бенсона Блэнкеншипов. В этом герое немало и от самого Твена, щедро поделившегося с Геком своими мыслями о человеческом достоинстве, мужестве, чести.

Печатая повесть в 1885 году, Твен указал на титульной странице: «Время действия — сорок или пятьдесят лет тому назад». К моменту появления «Гека Финна» самому Твену исполнилось пятьдесят; как и в «Томе Сойере», он широко использовал в этой повести воспоминания детства. Но писал ее уже человек, многое переживший и перевидавший. И если события относятся ко

временам детства Марка Твена, то мысли, выраженные в «Геке Финне»,— это мысли человека, знающего, как много несправедливости и горя в жизни, которая его окружает, и как высока цена настоящей честности и человечности в этом скверно устроенном мире.

Сам Твен сознавал, что «Гек Финн» — книга, гораздо более сложная и совсем не такая радостная, как «Том Сойер». Для писателя эта повесть была попыткой выразить свои самые выношенные суждения об Америке; его не страшило, что в этих суждениях много горечи. И вместе с тем Твен стремился воплотить главную мысль всего своего творчества — о том, что источники душевного благородства никогда не иссякают, и поэтому человеку по силам совладать с самыми трудными ситуациями, в которых он оказывается.

Готовясь к работе над «Геком Финном», писатель совершил в 1882 году большое путешествие по Миссисипи, вновь посетил свои родные края. Впечатления от этой поездки он изложил в очерках, составивших книгу «Жизнь на Миссисипи» (1883). Она тесно связана с «Приключениями Гекльберри Финна» — настолько, что некоторые главы повести первоначально появились в виде очерков о великой реке.

Уже при появлении этих очерков на страницах журналов многие тогдашние критики обвиняли Твена в том, что он не видит в американской жизни ничего светлого и жестоко осмеивает порядки, заведенные в стране, просто глумится над Америкой. Эти обвинения зазвучали особенно грозно после выхода повести о Геке; требовали даже запретить подросткам читать эту книгу. Но читатели приняли повесть с восторгом. И в Америке, и в Европе слава Твена никогда не была так велика, как после появления «Гека Финна». В России повесть перевели в тот же год, когда она появилась на родине Твена.

Много лет спустя выдающийся американский писатель Эрнест Хемингуэй сказал, что «вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн»... Ничего равного ей не создано с тех пор».

«ПРИНЦ И НИЩИЙ»

Твен писал свою повесть-сказку летом 1880 года на ферме, где жил с семьей. Вечерами он прочитывал новые главы дочерям — восьмилетней Сузи и Кларе, которой тогда было шесть лет. Им и посвящена эта книга.

Помимо «Принца и нищего», у Твена есть еще две книги на исторические сюжеты — «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) и «Личные воспоминания о Жанне д'Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря» (1896). По-русски «Принц и нищий» впервые напечатан в 1882 году.

Юный король Эдуард VI, умерший в 1553 году всего семнадцати лет от роду, пользовался большой симпатией в народе. Правда, Твен придал ему многие героические черты, каких в действительности у него не было. Смерть Эдуарда была неожиданной и загадочной. Вельможи скрывали от народа, что король умер,— престол должна была занять сестра Эдуарда будущая королева Мария Кровавая, у которой было при дворе много врагов.

Пошли слухи, что на самом деле король не умер, а скрылся и скоро вернется, чтобы покарать жестоких аристократов и помочь голодным и нищим. Тех, кто распространял такие слухи, преследовали. Известно, например, что еще в 1599 году, через сорок шесть лет после смерти Эдуарда, был брошен в тюрьму некто Томас Воун — он утверждал, что Эдуард якобы живет в Дании и старается помогать английским беднякам хлебом.

Легенда продолжала жить и отразилась три века спустя в произведении Марка Твена.

Впрочем, не только в «Принце и нищем». Возможно, Твен читал и популярную в свое время книжку англичанки Шарлотты Йондж «Принц и паж» (1865), где рассказывается о короле Эдуарде I и его кузене Геири де Монфоре. Крупный феодал, Монфор взбунтовался против трона. Восстание было подавлено; Монфору удалось скрыться, переодевшись нищим. Он ведет бедную жизнь, прячась в толпе лондонских оборванцев. И все-таки он счастлив, потому что ему неведомо одиночество, убийственное для короля. Случайно опознанный на улице, Монфор предстает перед Эдуардом, который предлагает ему высокую придворную должность. Но Монфор отказывается от иее, предпочитая лохмотья и нищету, потому что лишь бедняком он изведал свободу.

Мысль Твена, конечно, намного глубже, а сама сказка под его пером приобретает высокий поэтический смысл, который воплощен прежде всего в мотиве духовного родства двух чистых сердцем мальчиков, хотя они и выросли в совершенно разных условиях. Написанный для детей, «Принц и нищий» содержит одну из любимых мыслей Твена, которая прошла и через его книги для взрослых: только борьба с несправедливостью делает человека человеком в настоящем значении слова.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Зверев. Марк Твен с Великой Миссисипи 3

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА. *Перевод К. Чуковского.* Рисунки Г. Фитингофа 17
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА. *Перевод Н. Дарузес.* Рисунки Г. Фитингофа 211
ПРИНЦ И НИЩИЙ. Главы I—XVI *перевел К. Чуковский.* Главы XVII—XXXIII и заключение *перевел Н. Чуковский.* Рисунки Н. Цейтлина 473

Комментарии 665

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(том 47)

Марк Твен

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
*
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
*
ПРИНЦ И НИЩИЙ

*

ИБ № 2639

Ответственный редактор
Н. В. Шерешевская

Художественный редактор
И. Г. Найденова

Технический редактор
Н. Д. Лаукус

Корректоры
К. И. Каревская
и Э. Л. Лофенфельд

*

Сдано в набор 16/I 1978 г. Подписано к печати 11/IX 1978 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 43,13. Уч.-изд. л. 42,43+9 вкл.=42,96. Тираж 404 (200 001—404 000) экз. Заказ № 1856. Цена 2 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм

Твен М.

Т26 Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна; Принц и нищий: Повести/Пер. с англ.; Вступит. ст. и коммент. А. Зверева.— М.: Дет. лит., 1978.— 671 с., ил. — (Б-ка мировой литературы для детей, т. 47).

В пер.: 2 р.

Т $\frac{70803—456}{M101(03)78}$ Подп. изд. И(Амер)

2 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»